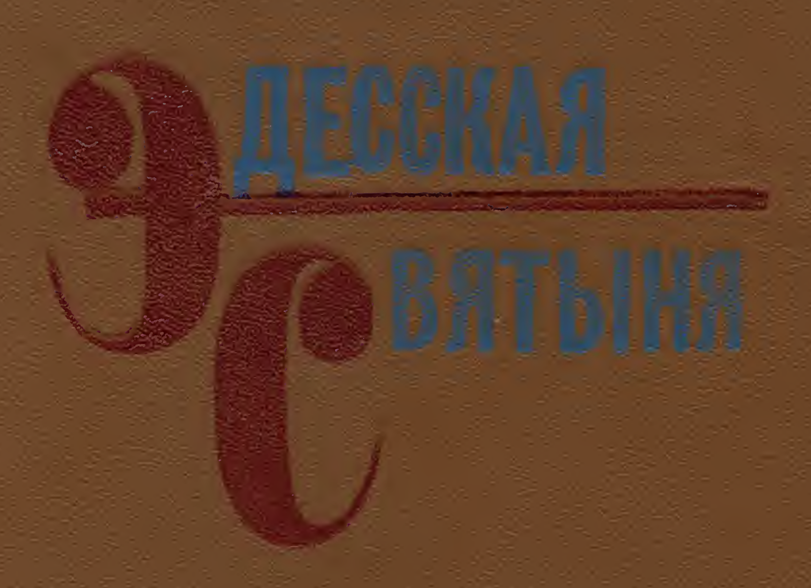
Всеволод Иванов



Всеволод Иванов

Эдесская святыня

Романы. Повесть.
Рассказы. Публицистика.

АЛМА-АТА
«ЖАЗУШЫ»
1986

84Р7—44
И20

Составитель *Е. ЦЕЙТЛИН*

Рецензент *П. КОСЕНКО*, член СП СССР

Иванов Всеволод.

И20 Эдесская святыня: Романы. Повесть. Рассказы. Публицистика. /Сост. Е. Цейтлин.— Алма-Ата: Жазушы, 1986.— 528 с.

Сборник отражает художественные искания одного из первопроходцев советской литературы Всеволода Иванова (1895—1963).

Казахстан занимает особое место в жизни писателя. Здесь он родился, сюда любил приезжать в течение многих лет; действие целого ряда произведений Иванова, принесших ему славу, происходит в Казахстане. В книге печатается первая часть знаменитого романа «Похождения факира»: сам автор рассказывает здесь о своей казахстанской юности.

И $\frac{4702010200-029}{402(05)-86}$ 218—86 84Р7—44

СЫН СВОЕЙ РОДИНЫ

«Одним из лучших воспоминаний моего детства навсегда останутся песни под домбру, услышанные где-нибудь в «джатаке», на окраине казахского поселка. Мы, казачата, с раннего детства знали два языка: русский и казахский — так нас тесно жизнь сталкивала с казахами. Помню темную закоптелую мазанку, окно, затянутое промасленной кожей. Зима. Сидим на черной кошме, пахнет дымом и куртом — сыром, а за окном такое сверкание снегов, что оно прорывается сквозь тусклую кожу «брюшины». Пастух берет домбру,— и голос певца вдруг поднимает весну, разлив Иртыша, колыхание трав и выход в степь — всю неистребимую тоску надежды.

Прошло много лет. Но какой сладкой тоской наполняется сердце, когда слышишь казахский язык певца...»[1] Всеволод Иванов постоянно думал о Казахстане. И в трех романах писателя — «Голубые пески», «Похождения факира», «Мы идем в Индию»— и во многих его рассказах нашли место описания разных периодов жизни республики.

«Пусть молодежь сравнивает что было и что есть. В романе «Похождения факира» мне хотелось изобразить жизнь юноши начала двадцатого века, со всеми его страданиями, радостями и надеждами. Изобразить дореволюционный быт Сибири и Казахстана»— писал Всеволод Иванов в «Истории моих книг».

«Похождения факира»— роман лишь слегка автобиографический. Наиболее автобиографичен он в первой своей части. Я вел эту часть от первого лица, позволяя себе юмор и шутку над собой и окружавшим меня мещанством».

«Мы шли пешком по тракту, приблизительно в тех местах, где пролегает теперешний Турксиб.

Не было тогда железной дороги, не было распаханной целины, богатых совхозов, заводов, институтов и университетов,— была бесплодная глушь, необузданная темень, нелепое и толстомордое самоуправство»[2].

Понятно, что Всеволоду Иванову всегда хотелось быть изданным в Казахстане.

Об этом он написал так:

«Я напечатал свой роман «Мы идем в Индию» впервые (1956 г.— Т. И.) в журнале «Советский Казахстан» (теперь «Простор»— Т. И.), издающемся в Алма-Ате.

Мне приятно было думать, что мой роман впервые набирают и печатают в тех самых местах, где сорок лет тому назад я шел пеш-

---

[1] Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми т., М., «Художественная литература», 1960; т. 8, с. 426.

[2] Черновики «Истории моих книг», Архив Всеволода Иванова.

ком и не находил себе работы. Может быть, думал я, в Лебяжьем и в Павлодаре еще живы ученики моего отца.

Я вдыхал одновременно воздух прошлого и воздух настоящего. Это ли не высшее счастье?»

Готовя материал к роману о Казахстане, Всеволод Иванов записывает:

«Теперешние мои путешествия по Казахстану, тщательное изучение трудов по истории этого края помогут мне показать большие социальные движения, которые дали ключ к восстанию казахов в 1916 году. (...) 1913 год был чреват волнениями переселенцев, захватом казной казахских земель и передачей их семиреченским казакам. Тогда же развернулись разбойничьи действия баев. Произошли забастовки на мошеннической постройке «Семиречки» и на свинцовых рудниках. Сколько я прочел и сколько видел да и вспомнил — хорошего и дурного.

Снимались, уходили с насиженных мест целые народы, а в деревнях и городах, где они раньше жили, поселялись другие люди.

Или вдруг возникал новый народ, которого из-за прежней бесправности его никто, кроме этнографов, не замечал.

Теперь у этого народа появилась выбранная из его среды власть, представители которой говорят на его языке. Появилась столица, промышленность, школы и, наконец, академия.

Страна, носившая при царизме название Семипалатинской губернии, Семиреченской области с городом Верный, приобрела свое исконное название — Казахстан, Казахская ССР со столицей Алма-Ата.

В городе Верном я побывал в юности, придя пешком. А когда город стал Алма-Атой, приехал туда в 1936 году для того, чтобы в соавторстве с казахскими писателями Беимбетом Майлиным и Габитом Мусреповым написать сценарий для первого казахского художественного фильма, посвященного народному герою, возглавившему восстание казахов в 1916 году,— Амангельды Иманову»[1].

В 1936 году я сопровождала Всеволода Вячеславовича в его поездке. С нами была еще и 16-летняя дочь Таня.

В одном вагоне с нами ехал из Москвы композитор Власов с женой, он ехал в Киргизскую ССР писать музыку для национальной оперы.

Стояла страшная жара, но окно открыть было невозможно из-за пыли и туч насекомых, врывавшихся в любую щелочку.

Чета Власовых покинула нас в Киргизии. Но в Чимкенте встре-

---

[1] Архив Всеволода Иванова.

тил Габит Махмудович Мусрепов, выехавший навстречу своему соавтору Всеволоду Иванову.

И дочь, и я впервые ехали в Казахстан. Нам было все ново и интересно, а Габит Махмудович охотно удовлетворял наше любопытство, рассказывая, как о местах, которые мы проезжали, так и вообще о Казахстане.

По приезде нас поместили (из-за жары) не в самом городе, а в Доме отдыха Совнаркома Казахской ССР, находившемся в горах на расстоянии километров десяти от Алма-Аты.

В поезде и первые дни по приезде Всеволод вел дневник, но записи такие беглые, что похожи на стенограмму, которую потом надо расшифровать. Поэтому я привожу их лишь частично.

«12. VIII. Возле Аральского моря, когда хотели отдохнуть от жары и распахнули мы окна, надеясь на влагу Сырдарьи, таковая надежда оказалась тщетной, т. к. хлынули в окна москиты и комары. Столичные пассажиры, которые пугали друг друга тарантулами, змеями, малярией и прочими ужасами Средней Азии, тут совсем испугались. Одни лишь пассажиры-казахи играли спокойно в карты. Появились (на станциях) арбузы и дыни. Я истреблял их, как мог. Один арбуз упал с верхней полки на Тамару, когда она открывала дверь купе. В правом окне показался горный хребет. Снизу он — сиреневый. Снегу на его вершинах все больше. Да и степь мне нравилась».

«13. VIII. В Чимкенте встретил нас Мусрепов. Мое ружье и огромное количество охотничьего снаряжения явно произвели впечатление на те два десятка людей, которые, по общественной обязанности, приехали встречать нас на вокзал в Алма-Ате. Расселись по машинам. Улицы все в зелени. Мы остановились возле арыка полюбоваться горами. До самого Дома отдыха нас сопровождали Майлин и Мусрепов с женами».

«М. Ауэзов, Джансугуров и Сейфуллин, к которым я поехал в тот же день, жили в юртах. Юрты старенькие, но внутри застланы коврами и кошмами. Писатели создают свои романы, стихи и даже учебники на камнях под елями. Жены варят варенье на примусах. Сейфуллин говорил со мной скупо, а Ауэзова не оказалось дома — уехал в горы, жена же его — в городе — заболела злокачественной ангиной. Молодой поэт-казах играл на домбре. Кругом бледно-розовые мальвы. Громадные лопухи — листья у них, как банановые. Между юртами бильярд под навесом».

Впоследствии, очевидно расшифровывая эту первоначальную скоропись, Всеволод записал в дневнике:

«Мне захотелось, кроме моих соавторов, повидаться тут же и с другими казахскими писателями. Я поехал в прекрасное ущелье, где возле шумного потока отдыхали писатели. Ущелье заросло великолепной травой и окружено тянь-шаньскими елями, но писатели жили

в рваных черных юртах. У республики не было тогда средств, чтобы выстроить им загородные дома. Теперь они живут в великолепных домах и некоторым из них уже воздвигнуты памятники».

Принимали нас необыкновенно радушно.

У соавторов Всеволода устраивались в нашу честь тои с традиционным бесбармаком. Габит Мусрепов жил тогда в маленьком глинобитном домике с садом, по которому журчал арык.

Семья же Майлиных уже переехала на второй этаж нового дома с водопроводом. И жена Беимбета нам жаловалась, что вода из водопровода невкусная, а до арыка далеко ходить. Такое же неудобство представляло для нее в ту пору и отсутствие сада или двора с надворными постройками. Зато новая квартира очень нравилась старшему сыну Майлина, которого все в семье называли не по имени, а «отличником» (он учился на круглые пятерки).

Этот двенадцатилетний мальчик был преисполнен гордости за свой народ, который, как он нам сказал, «небывалыми темпами осваивает индустриализацию».

Нас возили во все красивейшие окрестности Алма-Аты. А также и на охоту в Сюгатинскую степь.

Лично я и дочь Таня единственный раз в жизни видели мираж, представший перед нашими глазами именно в этой степи: вдруг появилось на горизонте дымное марево. То исчезая, то возникая, мелькало видение древесных кущ, осенявших ручей с пришедшими на водопой косулями.

Мухтара Омархановича Ауэзова не было тогда в Алма-Ате, а когда он приезжал в Москву, всегда посещал нас и один, и с женой своей Валентиной Николаевной.

Привожу два письма Всеволода к Ауэзову.

«10 августа 1957 г.

Дорогой Мухтар!

Дела задержали меня и я посылаю вперед своих художников: сына Мишу и Мишу Лянглебена. Живу пока в Москве. Постараюсь попасть к Вам в Казахстан,— к тому самому моменту, когда ты окончишь свою пьесу, а я — предисловие к своему Собранию сочинений. Предисловие началось быстро, но чем ближе к нашим дням, тем стремительнее течение и тем лодка моя движется медленнее. Не по течению что ли плывет?

Здоровье нашего дома хорошее, и в общем все довольно прилично. Наш дом кланяется Вашему!

Если художники обратятся к тебе с просьбой, не откажи, пожа-

луйста, помочь им. Они люди опытные, умелые и к путешествиям привычные, но у них могут быть какие-то неувязки. Обнимаю.

Твой *Всеволод».*

«6 января 1958 (Переделкино).

Дорогой друг Мухтар!

Спасибо тебе за новогоднее поздравление!

И мне, и семейству моему весьма приятно, что Ты и семейство Ваше вспоминаете иногда неких людей, заваленных сейчас в Переделкине снегом, скованных морозами (сегодня было 28 ниже нуля!), огорченных литературными неурядицами, восьмитомным Собранием Сочинений, с которым много возни, внуками, которые уже начинают говорить на городском жаргоне: «мирово! телик!» (т. е. телевизор) и так далее, и тому подобное.

А между тем, несмотря на мороз, а может быть, и благодаря ему,— на небе солнце, на деревьях великолепный упитанный иней, и на душе не так погано, как следовало бы ожидать.

На душе, я бы сказал даже, очень неплохо.

Мы любим тебя, Мухтар!

Любим в тебе — Казахстан, широкий, замысловатый, изящный весной и язвительный зимою. Мы любим вспоминать тебя и любим читать тебя. В твоих книгах есть мудрость — и наивность. А наивная мудрость — самая великая вещь на свете, самая несокрушимая и самая долговечная.

Обнимаю тебя!

Нежнейшие и дружелюбнейшие поздравления Валентине Николаевне.

И от меня и от Тамары Владимировны и от всего многочисленного семейства.

Твой *Всеволод».*

Мухтар Омарханович Ауэзов был прозаиком. Однако в беседах с ним Всеволода неизменно присутствовало обсуждение сущности поэзии.

Всеволод говорил, что без острого чувства поэзии не удалось бы Ауэзову так хорошо написать о поэте Абае.

Приведу высказывание о поэзии самого Всеволода.

«Поэзия — это то сияние солнца, когда оно восходит над белками гор. А горы — это всегдашний символ бессмертия народов. И едва ли в чем другом, как не в поэзии, народ передаст потомкам ту страстность творчества и боя с врагами, которой он охвачен. Отсюда у нас наслаждение народным творчеством»[1].

Всеволод Иванов всю жизнь любил Казахстан.

---

[1] Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми т.; т. 8. с. 426.

В послевоенные годы часто туда ездил.

Совершил длительные поездки на машине, на пароходе, верхом. Это нашло отражение в письмах ко мне:

«Алма-Ата, 16 мая 1946.

Дорогая Тамара! Дети! Друзья!

С поездками по Казахстану все устроилось хорошо. Вчера я был у секретарей ЦК Казахстана. Приняли меня превосходно. Я получил машину-вездеход, 300 литр(ов) бензина, продовольствие (...).

Маршрут поездки остается тот же, что я писал в прошлом письме, т. е. а) Джунгарский Алатау. б) Возвращение в Алма-Ату к 1-му июня на открытие казахской Академии наук. в) Поездка на Балхаш и Караганду (...).

В поездке по Дж(унгарскому) Алатау меня будет сопровождать казахский писатель и, кроме того, корр(еспондент) «Известий» Манохин. Поездка будет, по-видимому, очень интересная.

Для поездки на Балхаш будет предоставлен самолет.

Как видите,— против всех твоих ожиданий,— я еду со всеми удобствами.

Мало того. Один из секретарей предложил мне найти дом в Алма-Ате, где я жил 35 лет назад, когда шел пешком из Семипалатинска, отремонтировать его — и передать в мое распоряжение. Если же дом снесен, то на этом месте будет построен новый. Из этого можете заключить, что мои мечты о возможности жизни в Дж(унгарском) Алатау вполне осуществимы. Я еще не дал согласие на этот дом. Но почему бы мне не приезжать в А(лма)-Ату почаще? (...).

Сейчас прервал писание; приходили мои спутники, и мы составили список на продовольствие. Список такой, словно я действительно еду в поиски «Сокр(овищ) А(лександра) Македонского». Между прочим, любопытно, что Джунгарские ворота, куда я еду, были древнейшим путем, по которому китайцы сообщались с Европой и во времена А(лександра) Македонского везли «в греки»— шелк. Путь так и назывался «шелковый путь». А на озере Ала-Куль, куда я попаду, говорят, есть фламинго!

Вчера был вечер — встреча с казах(скими) писателями и читателями. Что значит — родина! Я говорил три часа, рассказывая о романе «При взятии Берлина» и Нюрнбергском процессе. Сегодня — еду на несколько часов в сельсовет, в 18 км от города, а вечером состоится собеседование на ту же тему, что и вчера. Завтра хочу написать статью о сельсовете для «Известий», завтра же Ауэзов дает обед в мою честь, а послезавтра — в путь! (...)

Всеволод».

А вот письмо, написанное после поездки:

«12.VI.46 г.

...Я проехал вдоль и внутри Джунгарского Алатау — 2000 километров: 1800 — на машине и 200 — верхом, по горам. Странствовал

я 19 дней и когда вернулся в Алма-Ату, то от усталости лежал недвижно три дня.

Сейчас чувствую себя нормально и уже написал очерк для «Известий».

(...) Впечатления — замечательные! Я недаром стремился в Джунгарский Алатау. Мы были в таких девственных местах, куда газеты приходят на 20-й день (...) Я даже охотился на медведей. Но медведь б(ыть) м(ожет) раненный (не мной), ушел — к счастью, так как, оказывается, медведи в Джунгарских горах весьма злые. (...) Материалу мною записанного хватит на три романа. (...) Боже мой, что я видел! Я даже искал в горах древние, наскальные рисунки. Заехал черт знает куда и, вдруг, обнаружилось, что скала, на которой были эти никому не известные рисунки и надписи,— рухнула совсем недавно. Я выкурил большую трубку, сел на коня, и весь мой караван тронулся обратно. Целую. *Всеволод*».

Еще во время Отечественной войны, в качестве творческой разрядки между написанием военно-патриотических статей, Всеволод Иванов задумал роман «Сокровища Александра Македонского».

О начале этой работы он писал мне в письмах из Москвы в Ташкент, где я находилась с заболевшими детьми.

«4.1.43 г. (...) Я по-прежнему читаю о Греции Ал. Македонского и делаю наброски. (...)»

«17.1.43 г. (...) Вечером я читаю книги об Ал. Македонском».

Вариантов этого романа очень много, но ни один из них Всеволод, к сожалению, не завершил.

Один из вариантов начинается так: «Написано в 1948 году, после поездки в Джунгарский Алатау».

Приведу начальный фрагмент: «Я пишу роман «Сокровища А. Македонского». Греческая культура, занесенная воинами А. Македонского, уничтожалась реакцией и оставшиеся культурные силы отходили на восток. Остатки сокровищ, преимущественно культурных, попали разумеется к преемникам Александра, тем, которых древние называли «дидохами». Однако в междоусобных войнах дидохов сокровища эти погибли. Но часть сокровищ осталась в Средней Азии.

Один из моих героев — профессор — утверждает, что они должны были сохраниться у отступивших. Он прослеживает по истории их отступление и приходит к выводу, ложному с точки зрения его оппонента, что сирийско-несторианское государство существовало в Семиречье (на территории теперешнего Казахстана.— Т. И.) и дало легенду о протопресвитере Иоанне; оно имело своей почвой именно греческую культуру, как наиболее высшую в древнем мире. Сирийцы шли же не на пустое место? Вот почему мой герой, опираясь на память народа, изучает сокровища древней культуры в Семиречье, в частности, в Джунгарском Алатау. И вот почему, да не покажется

вам это странным, в своем нынешнем путешествии, совершенном в мае месяце 1946 г., по Джунгарскому Алатау, поддерживая гипотезу своего героя, я расспрашивал охотников и аксакалов о древностях Джунгарского Алатау. Вот почему Алабаев рассказывает мне легенды и вот почему я поехал в глубину гор, чтоб посмотреть древние наскальные рисунки.

Я проехал этой весной 2000 км на автомобиле и верхом на коне по предгорьям и горам Джунгарского Алатау, и я очень доволен. Мне думается, что мой герой найдет сокровища, я уверен в этом. Пытливость народа поможет ему. Такие, как мой спутник Алабаев несомненно помогут»[1].

Всеволод Иванов буквально не мыслил себе жизни без гор. Каждый год они его к себе влекли и вспоминал он их в своих произведениях по-разному.

Привожу отрывок из его статьи «Кто за мир,— тот за цивилизацию». Статья была опубликована в газете «Известия» за 1949 год. Но мне кажется, что и сейчас цитируемые мною слова читаются так, как если бы они писались сегодня:

«У казахов есть древняя и очень умная пословица: «Хоть один раз в жизнь поднимись на гору, и ты поймешь Человека»,— говорит она.

Подняться на гору, говорит древняя мудрость, необходимо не только потому, что на горе легче дышать, но еще и потому, что с горы легче увидеть то великое, что сделал человек, и что ему еще необходимо сделать.

И если пословица эта важна и нужна была некогда, то куда нужнее она теперь современному человечеству!

Нуждается в осмысливании этой пословицы человечество потому, что всей цивилизации, всей мудрости человечества, его науке, искусству, его жизни вообще угрожает прямая и непосредственная опасность от империалистических властей США и Англии, готовящих новую войну, и всеми, доступными им средствами, разжигающих эту войну.

Древняя казахская пословица о вершине горы была, в сущности говоря, мечтой.

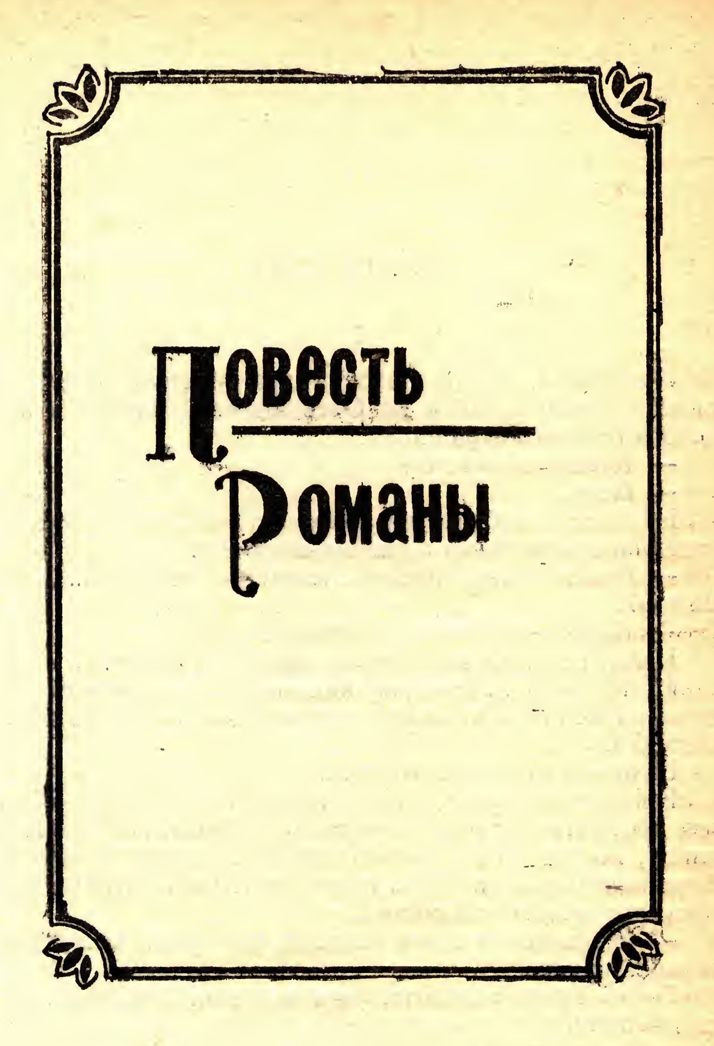
Не каждый мог в те времена, во-первых, подняться на гору, а, во-вторых, не каждый, даже и поднявшись, мог явственно и отчетливо разглядеть те великолепные и чудесные дали, которые суждены человечеству.

Завоевания Октября показали путь к истинному и бесконечному миру»[2].

Т. В. ИВАНОВА

---

[1] Архив Вс. Иванова.
[2] Там же.


Повесть
Романы

ПАРТИЗАНЫ

I

Костлявый, худой, похожий на сушеную рыбу, подрядчик Емолин ходил по Онгедайскому базару и каждого встречного спрашивал:

— Кубдю не видали?

— Нету.

Наконец голубоглазый чалдон, навеселе по-видимому, затейливо улыбнулся и указал Емолину:

— Подле церкви Кубдя... гармошку покупат... А тебе на что?

— Надо,— отрывисто ответил Емолин.

Чалдон подряд четыре раза икнул и отошел.

«Деньги есь... Гармошку кикиморе... Заломатся»,— подумал Емолин и пожалел потраченные сутки на езду в Онгедай.

Емолина то и дело толкали.

К прилавкам совсем нельзя было подойти. Емолин хотел пробраться между торговыми рядами, образующими улицу, но тут гнали целые табуны лошадей и жалобно блеявших баранов. Пыль грязно-желтыми пятнами стлалась над тесовыми лавками.

— Жарынь!— сказал Емолин, вытирая вспотевшую жилистую шею.

Горло сушила духота, уши оглушал базарный шум, на прилавках резали глаза яркие пятна бязей, шелковых тканей, китайских сарпинок.

— В эку духоту — и неймется!.. Сшалел народ!..

Подле церкви толкотни было меньше. Здесь торговали горшками, и у возов слышался только тонкий звон посуды да возгласы торгующихся. Кубдя, в синей дабовой рубахе и в таких же коротких, но широких штанах, в рваных

опорках на босу ногу, стоял у церковной ограды, рассматривая желтого глиняного петушка.

Высокий чалдон в сером азяме скучными глазами смотрел на покупателя.

— В день много работашь?— спрашивал Кубдя.

— Как придется.

— Полсотни поди так работашь?

Чалдон посмотрел на опорки покупателя и нехотя ответил:

— Бывает, и полсотни.

— Видал ты его!— с уважением сказал Кубдя, кладя петушка обратно.— Ты бы, брат, бросил петухов-то делать...

— А что, ворон прикажешь?

— Не ворон, а хоть бы туеса березовые, примером: все выгодней.

— Сами знаем, что делать.

— Эх ты, лепетун!

Кубдя увидел Емолина и, указывая на чалдона, сказал:

— Возьми вот ево, лепетуна,— петухов делат.

— Всякому свое,— строго сказал Емолин.— А мне тебя, Кубдя, по делу надо.

Кубдя взял опять петушка, повертел его в руках и купил, не то чтоб для надобности, а показать Емолину, что он, Кубдя, в деньгах не нуждается.

— Ну, говори.

— Пойдем, по дороге скажу,— сказал Емолин.

Кубдя сунул петушка в карман и отправился за Емолиным.

— Ты каку работу исполняешь?

— Работы по нашему рукомеслу много.

— А все-таки?

Кубдя улыбнулся под обвислые усы:

— Народ нонче бойко умират. Будто пал[1] по траве идет.

— Ну и что ж?

— Гробы приходится...

Емолин смочил языком обсохшие губы и пренебрежительно сказал:

— Ерунда! Гробовая работа — самая поганая... Горбулин-то с тобой?

— В селе.

---

[1] Пал — степной пожар.

— Беспалых?

— Есть и Беспалых. Соломиных тоже тут.

— Еще ребята поди есть?

— Как не найдутся! А тебе на что, лешай?

Емолин выкроил улыбку на желтом, изможденном лице.

— Что, не терпится?

Кубдя крикнул:

— Люблю артельную работу, Егорыч!

— А говоришь, у те тут есь.

— Живодер ты, никак тебе правды не скажешь. Все надо юлить. А то живьем слопаешь.

Кубдя взглянул на его скривившийся влево рот и подумал: «Сволочь». Емолин остановился и, поблескивая желтоватыми белками глаз, сказал:

— Потому что у вас, окромя как в себя, в никого веры нету, понял?

Кубдя крякнул.

— Крякнула утка, когда ее съели!.. А хочу я, Кубдя, вот что сказать вам. Подрядился я в Улейском монастыре амбары строить. Лес там имеется, инструменты поди при вас?

— Как же... Помесячно али поденнно?

— Поденно. Двадцать целковых на моих харчах.

— Дураков нету.

— Каких дураков?

Кубдя отошел от него на шаг и свистнул.

— Хитер ты, Егорыч! Прямо бяда. Кто к тебе пойдет, когда на сенокосе дадут две сороковки в день?

— Окурок ты! Сенокос — месяц, а тут и лето и осень.

— Да что мне, когда на колчаковские сейчас по сороковке в городе водку продают?

— Ладно,— сказал Емолин примиряюще,— пойдем ко мне чай пить.

— Самогонка сеть?

— Не самогонка, браток, а «николаевка».

— Вот панихида!— восторженно вскрикнул, хлопнув себя по ляжкам, Кубдя.

Они прошли базар, и Емолин свернул в переулок. Подрядчик выдернул деревянную щеколду, и большие тесовые ворота, визжа на петлях, распахнулись. На цепи, подпрыгивая, хрипло залаял на них пес. Из сутунчатого пригона протяжно спросил женский голос:

— Кто тама-ка?

— Я, Матвеевна, я,— отвечал Емолин, входя на высокое крыльцо из огромных кедровых досок.— Самовар бы нам...

— Сичас.

Молодая женщина, в светлом ситцевом платье и с подойником в руках, вышла из пригона. Емолин, входя в сени, спросил ее:

— Чо поздно доишь-то?

— Так уж приходится,— отвечала она, громыхая самоварной трубой.— Вы где пить будете: в горнице али, может, в затине?

Емолин звякнул посудой в ящике:

— Все равно. Можно в горнице. Там, кажись, мух мене.

— Прямо напасть с этими мухами! Уж мы их травили-травили, ни лешака на них нет... Намедни мужик поворот какой-то на них привозил, вот шибко подействовал.

— Не поворот, а водород. Сусликов травят,— поправил Емолин.

Женщина рассмеялась:

— Кто их знат. Нонче все наоборот. Вон царя-то в Омске не русского посадили и икватёром зовут.

Емолин рассмеялся жиденьким смехом:

— Необразовщина, прямо — тайга!.. Видмеди вы. Колчак-то старого роду, бают, и не царь,— а диктатёр...

— Одна посуда-то,— сказал Кубдя.

— Посуда-то одна, да вино разно. То тебе коньяк, а то самогонка.

— А то тебе ртуть.

— Ртуть не пьют, а киргизы от дурной болезни лечатся...

Емолин сидел на деревянной крашеной скамье со спинкой, Кубдя — на крашеном деревянном стуле. В горнице было прохладно,— сквозь маленькие окна свету пробивалось мало, да и мешали широкие, легко пахнущие герани в глиняных глазурованных горшках. Двери и печка были разрисованы большими синими по желтому полю цветами, а на полу лежали плетенные из лоскутков половики.

Пока хозяйка доставала из шкафа посуду, ставила на стол калачи из сеянки, пироги с калиной и молотой черемухой, Емолин самоуверенно рассуждал:

— Ты возьми, Кубдя, меня. Из кого, ты скажи мне, я поднялся?..

Кубдя ждал с нетерпением, когда Емолин раскупорит бутылку с водкой, и потому с усмешкой отвечал:

— Никуда ты не поднялся.

— Врешь! Был я, скажем, лапотной пермской мужик, а теперь имею дом с железной крышей, и хозяйство честь честью, и почет ото всех.

— Ну и слава богу!

— Известно, слава богу,— подтвердил и Емолин, выбивая пробку и наливая водку в стаканчики,— только ни черта не понимаете вы. Пей!

— Да уж пейте вы...— по обычаю отказался Кубдя.

— Пей.

— Не буду.

Емолин выпил, скривив лицо, грязными, гнилыми зубами откусил кусок пирога.

— Крепка, стерва... Пей.

Кубдя выпил, скривил тоже лицо и сразу всунул в рот целый пирог.

— Да-а...— замычал он,— ничего себе!.. Крепка!..

— Пей!..— сказал Емолин.

Кубдя уже не отказывался.

Емолин ел плохо, копошась длинными пальцами в хлебе, отламывая и откладывая в сторону корки. Кубдя же ел торопливо, глотая полупрожеванные куски. Глядя на его быстро двигающиеся желваки челюстных мускулов, Емолин с достоинством пил кирпичный чай и с достоинством рассуждал:

— Мало вы в народе кишите... В образованном народе, говорю, а потому доверие к другим плохое возбуждаете. А без доверия и курица яйца не снесет, не то что в народе жить...

Кубдя хватил стаканчик, и под ним мрачно закряхтел стул. Емолин продолжал:

— Ко власти стыд потеряли, одинаково с видмедями... За себя не стоите: черт вас знает, что вам требуется!.. Отдыхай, брат Емолин,— и никаких!

Кубдя рыгнул и отодвинулся от стола:

— Спасибо, хозяин, за хлеб, за соль.

Емолин налил еще.

— Пей, Кубдя. А не за что благодарить-то.

Кубдя взмахнул рукой и удивился про себя, что жест такой легкий.

— Раз я благодарю, ты принимай — и никаких. А что отдыхать тебе, Емолин, то не придется.

— Почему так? Раз мы заслужим, почему не придется?..

— А так.

— А кто мне мешать смеет?

— Найдутся.

Емолин стукнул ребром ладони по столу:

— Нет, ты говори! Я знать желаю.

Кубдя улыбнулся и подмигнул:

— Найдутся, Егорыч, другие отдохнут за тебя... Ей-богу!..

— Сыны, что ли?

— Усе мы сыны, да не одного батьки. Во-от... Ты вот дом строишь, думаешь: «Отдохну, поживу...» Крепко, браток, строишь — с железной крышей, с голландской печкой, скажем. А тут — на тебе, выкуси! Не придется. Получится заминка.

— Какая?

Кубдя широко раскрыл слипающиеся глаза и вдруг тихо и часто-часто рассмеялся:

— Хо-хо-хо-хе-е... Дёрон вы зеленный, дёрон... Хо-хо-хе-е...

Емолин тоже рассмеялся:

— Хо-хо-хо-хе-е... Темень ты стоязычная, темень... Хо-хо-хо-хе...

Из прихожей выглянула хозяйка, посмотрела, махнула рукой:

— Ой, девоньки, уморят!

И залилась клохчущим, мелким смехом.

II

С похмелья голова у Кубди никогда не болела, только скверно и остро першило в горле — словно обожжено чем. Утром, проснувшись, Кубдя, задевая ногами то о ведро, то о доски, разбросанные по полу, долго искал ковш и не найдя, охватил толстыми руками кадку с водой, поднял ее и, проливая блестящие капли в белые душистые опилки, напился.

Послушал, как булькает в животе вода, и вспомнил, что вчера нанялся к Емолину.

«Своей работы будто не хватает»,— неодобрительно подумал Кубдя, отламывая хрустящую краюшку хлеба.

Бабка Енолиха остро взглянула и крикнула ему:

— Опять пьянствовать, Кубдя? Базар-то кончился!

Кубдя потер пальцами глаза и ответил:

— Знаю.

— Робить надо.

— И то робить хочу.

— Так чего же в ворота-то поперся? Куда уходишь?

Кубдя, просовывая в рот кусок, заглянул в погреб. Там было прохладно и темно, а в избе мешали мухи.

Енолиха взглянула на него пристальнее, взяла отпотевшую по стенкам кринку молока.

— Ешь, Кубдя. Чо всухомятку-то? Молоко-то седнешнее.

— Не люблю молоко,— сказал Кубдя и подумал: «Ребятам надо сказать. Вот ругаться будут, лихоманки!»

Енолиха отставила молоко.

— И то ведь, ты не любишь.

Она спрятала руки под фартук, и широкий нос ее, похожий на яйцо, отвернулся от Кубди.

— Где робить-то?

— К Емолину нанялся.

— Один?

— Артелью думам.

Старуха, припирая тяжелую, растрескавшуюся дверь погреба, тише говорила:

— Смелости у вас, у нонешних, нету,— всё в артель метите. Вот и царь-то потому отказался от вас.

— Прогнали его.

— Ишь ведь...— недоверчиво растянула старуха.— Сказывай!

— Плохой царь был.

— Цари-то — они все плохи. Хороша-то нам и не надо.

— Пошто?

Старуха ловко подхватила пестерь с углями. На ходу она, немного не договаривая слова, бормотала:

— Цари-то должны быть плохи. Строго надо себя держать,— ну, кто строг, тот и плох. А без хорошего человека всегда жить можно. Вот царь-то хороший попал, ну, видит, дело плохо: с таким окаянным народом рази проживешь? Взял... да и ушел... Плюнул...

— Темень вы.

Обвислые щеки старухи покраснели. Она закинула пестерь на крыльцо и крикнула Кубде:

— А ты иди, лодырь, иди!..

— Уйду. Вот Колчаком-то поди довольна?

— Что он мне?

— Строгий.

— Все не русски каки-то. Чехи, говорят, поставили, из австрияков. Пленный он, что ли?

— Кто его знат.

— Я маракую, из пленных в германскую войну. Вот в Расее — так там царица.

Кубдя пошел было, но остановился.

— Как царица? Ты что, Христос с тобой, бабушка?

— Ну, а воюют-то пошто. Вот из-за царства и воюют. Тут-то Толчак самый, а там Кумыния... Не поделили что-то, а хрестьяне отдувайся... Нашему брату не легче...

Она вынесла из сенок решето с крупой и тонким голосом зачастила:

— Цыпи-цыпи-цыпи...

Маленькие желтенькие цыплята, похожие на кусочки масла, выкатились из-под навеса.

По улицам медленно проходили запряженные волами длинные ходки переселенцев. Скрипели ярма. Нехотя поднимали теплую и мягкую пыль копыта волов. Изредка пробегал, дребезжа, коробок кержака-старожила. Кержак лениво, одним глазом оглядывал ходки переселенцев и крупно стегал кнутом маленькую лошадь. Вдоль улицы в жирной, черной тени лежали парнишки и собаки, а вокруг села из-за изб густо и сыро зеленел забор тайги.

Кубдя шел к товарищам неохотно. Вчера, по пьянке, он много наговорил Емолину и о себе и о ребятах. И сейчас он тревожно думал: «А как, черти, не согласятся! Вот состряпают мне».

Поутру всегда почти Горбулин и Беспалых сидели у Соломиных. А потом все трое шли к Кубде и здесь или работали, или, если не было работы, говорили о девках и о самогонке.

Соломиных имели свою избу. Старую, еще строенную из кедровика; бревенчатый забор; большие ворота, словно вытесанные из камня, и над воротами длинный шест с привязанным к нему клоком сена, — зимой Соломиных пускал ночевать проезжих.

Двор у него тоже был огромный, черный, чистый. Завозни поросли зеленью, но были еще крепкие, и из них можно было построить две избы.

Сам Ганьша Соломиных сидел верхом на колоде посреди ограды и топором рубил табак. Голова его, лохматая, густо поросшая клочковатым волосом, была не покрыта, и пот вздымался чуть заметным паром. И весь он походил на выкорчеванный пень — черный, пахнущий землей и какими-то влажными соками.

На земле навзничь лежал Беспалых — веснушчатый, желтоволосый, похожий на гриб рыжик. Упираясь спиной в колоду, сидел Горбулин — широкорожий, скуластый, с тонкими прорезями глаз.

Когда Кубдя вошел во двор, они все трое обернулись в его сторону и выжидающе посмотрели на него.

«Знают, должно»,— подумал Кубдя и смутился.

— Дай-ка покурить,— сказал он, протягивая руку к табаку.

Соломиных достал зеленый кисет из кармана и глубоким своим голосом проговорил:

— Ты рубленый-то не трожь. Сырой. Из кисета валяй.

Беспалых мотнул ногами и быстро поднялся.

— Ты что,— пришепетывая, заговорил он,— в ладах, что ли, с Емолиным?

Кубдя, не понимая, развел руками.

— Счас я его встретил. «Когда, говорит, на работу пойдете?»—«Вот тебе раз, говорю, некуда нам идти».— «А в монастырь-то нанялись!»—«Еще чище!.. Какой?»— спрашиваю. «Да вот у Кубди, говорит, спросите».

Кубдя, быстро затягиваясь махоркой, стал рассказывать, что наняться он еще не нанялся, а так говорил.

— А там как хотите,— докончил он и пренебрежительно сплюнул.— По мне, хоть сейчас, так я скажу: не пойдем, мол. Только он тридцать целковых в день дает и харчи его...

Беспалых обошел вокруг колоды, и как только Кубдя замолчал, он мгновенно вскрикнул, словно укололся:

— Айда, паря!

Горбулин почесал спину о колоду, потом меж лопаток руками — и все так, напрасно, без надобности. Хотел подняться, но раздумал: «Успею, нахожусь еще». Ганьша Соломиных продолжал равномерно ляскать топором табак. Колода тихо гудела.

Кубдя ждал и думал: «А коли, лешаки, спросят: зачем с Емолиным николаевку пил? Не по-артельно».

На пригоне промычала корова.

— Чо в табун не пустишь?— спросил Кубдя.

Соломиных прогудел:

— Седни... отелилась...

«Будто колода гудит Соломиных-то»,— подумал Кубдя и присел на край колоды.

Беспалых схватил щепку и бросил в голубя. Голубь полетел, торопливо трепыхая крылышками.

Кубдя подождал. «Думают».

Потом спросил не спеша:

— Ну, как вы-то?

Горбулин, с усилием подымая с днища души склизкую мысль, сказал:

— Мне-то что... Я могу... У меня хозяйство батя ведет. Вот рази мобилизация. Угонят. Вот Ганьша у нас домовитый. Ему нельзя.

Беспалых хлопнул Кубдю по спине ладонью.

— Он молодец, ему можно доверять.

Соломиных воткнул легонько топор в колоду, собрал табак в картуз и встал.

— Пойдемте, паре, чай пить.

— Ну, а робить-то пойдешь?— вкрадчиво спросил Кубдя.

Соломиных немного с натугой, как вол в ярме, пошел к крыльцу.

— Я что ж,— сказал он твердо,— я от работы не в дупло, могу.

И громко проговорил:

— Баба! Самовар-то поставила?

Рыжеголовый щенок у поваленных саней сделал несколько шажков вперед и тявкнул. Кубдя с восхищением схватил Ганьшу за плечи и слегка потряс.

— Друг! Горластый!

Соломиных повел плечами.

— Ладно, не балуй.

Напившись чаю, они пошли говорить с Емолиным. Подрядчик запрягал лошадь. Затягивая супонь, он повернул к плотникам покрасневшее от напряжения лицо и одобрительно сказал:

— Явились, артельщики? Ну и добро!

Потом он выправил из хомута гриву, шлепнул лошадь по холке и подал руку плотникам.

— Здорово живете!

Говорили мало. Хотели прийти на работу через три дня, Емолин же настаивал: завтра.

— Дни-то какие — насквозь душу просвечивает! Что им пропадать? Тут десять верст — за милу душу отмеряете. А?

Он льстиво заглянул им в бороды, и видна была в его глазах какая-то иная дума.

— А то одинок я, паре, чисто петух старый... А еще с этими длинноволосыми...

Плотники согласились. Протянули Емолину прямые,

плохо гнущиеся ладони и ушли. Емолин, садясь в коробок, проговорил:

— Метательные ребята. Не сидится дома-то.

После обеда напились квасу и отправились. Соломиных запряг лошадь в широкую ирбитскую телегу, навалил охапки три травы, на траву бросили инструменты в длинных, из верблюжьей шерсти тканных мешках. Лошадью правила жена Соломиных и всю дорогу ворчала на мужа:

— Шляется бог знат куда... Диви работы дома не было б...

Соломиных сидел на грядке, свесив ноги. Испачканные дегтем придорожные травы хлестали по сапогам.

Беспалых излагал надоевшую всем историю, как он жил в германском плену.

— Били-и...— вскрикивал он по-бабьи.— Вот, черти, били-и...

Кубдя съязвил:

— Ум-то и выбили...

— У меня, паря, не выбьешь! Душу вынь, а ума не достанешь.

— Далеко?

— Дальше твоей избы...

Кубдя расхохотался. Баба хлестнула вожжой лошадь.

— Ржут, треклятые! Все на дармовщину метят. Нет чтоб землю пахать!

— Мы мастеровые,— сказал Горбулин,— ты небось без кадушки-то сдохнешь.

Баба раздраженно проговорила:

— Много мне мужик-то кадушек наделал? Кому-нибудь, да не мне. Так, околачиваетесь вы... Землю не поделили...

Баба всегда провожала Соломиных так, как будто хоронила; затем, когда он приносил деньги, покупала себе обновы и смолкала. Поэтому он сквозь волос, густо наросший вокруг рта, бормотал изредка:

— Будет! Будто курица яйцо снесла, захватило тебя...

Горбулин поехал ради товарищей, и ему было скучно. Он пытался было пристроиться соснуть, но в колеях попадались толстые корни деревьев, и телегу встряхивало. Позади, в селе, остались мягкие шаньги, блины, пироги с калиной,— он с неприязнью взглянул на Кубдю и закурил.

Кубдя насвистывал, напевал, смеялся над Бес-

палых,— нос, щеки у него, усы быстро и послушно двигались.

Считали до Улеи десять верст. Леший их мерил, должно быть, или дорога такая, будто по кочкам,— плотники приехали в Улею под вечер.

Над речкой видны были избы, темные, с зацветшими стеклами. Старой работы и стекла и избы.

Через речку шаткий, без перил, деревянный мост упирался в самый подъем горы, заросший матерым лесом. Направо по ущелью — луга. По ним платиновой ниткой вшита Улейка.

Монастырь, опоясанный низкой каменной стеной, задыхается в соснах и березах, одна белая выскочила и повисла над обрывом в кустах тальника и черемухи.

— Стой,— сказал Кубдя.

Плотники соскочили на землю. Кубдя сказал:

— Поздно будет бабе-то ехать. Много ли тут — пешком дойдем. Пусть едет домой.

Соломиных согласился:

— Пущай.

И сказал бабе сердито:

— Поезжай, дойдем.

Жена заворотила лошадь и, отъезжая, спросила:

— В воскресенье-то придешь, али к тебе приехать?..

— А приезжай лучше,— прогудел Соломиных.

Кубдя задорно крикнул:

— Гостинцев вези!

— Лихоманку тебе в зоб, а не гостинцев!.. Но-о!..

— Ишь, бойкая!.. Кумом не буду...

— Видмедь тебе кум-то!..

III

Мешки и одежда лежали на траве грязной кучей.

Горбулин смотрел на них так, как будто собирался лечь и сейчас уснуть. Всех порядком потрясла корнистая дорога, и все с удовольствием притискивали подошвами густо-зеленую траву.

Кубдя посмотрел на монастырь и довольным голосом проговорил:

— Доехали, лихоманка его дери! Ишь, на самый подол горы-то забрался, чисто у баб оборка... На зеленое — красным...

Соломиных деловито спросил:

— А квартера там какова? Говорил подрядчик, Кубдя?

— Квартера, говорит, новая. Не живанная.

— Таки-то дела...

Соломиных взял под мышки копошившегося у мешков Беспалых и вывел его на дорогу.

— Пошли, что ли?

Беспалых отскочил в сторону.

— Обожди! Поись надо...

— Растрясло тебя. Не успел приехать — уж исть.

На Кубдю словно нашло озарение. Он весь как-то передернулся, даже дабовые штаны пошли волнами, и ковким молодым голосом воскликнул:

— Эй, ломота!.. Али к черту этому старому, Емолину, сегодня идти?.. А ну его! Ночуем здесь, а завтра пойдем. Хоть там и квартера новая, и изба срубленная, свежая, а нам — наплевать, понял?

Выслушали Кубдю, и Соломиных проговорил:

— Проситься у кого, что ли, будем?

— Как мы есть теперь шпана,— сказал Кубдя с удовольствием,— то теперь нам в избу лезть стыдно.

— Под голым небом ночевать, что ли?

Кубдя по-солдатски вытянулся, и корявое его лицо с белесыми бровями потекло в несдерживаемой улыбке.

— Так точно!— весело выкрикнул он.

Беспалых сидел на траве и оттуда вставил:

— Замерзнем, паря!

Горбулин не любил ночевать в новорубленных избах и нехотя сказал:

— Не замерзнем.

Два часа назад, в селе, такое предложение показалось бы им не стоящим внимания, но сейчас все сразу согласились.

Кубдя повел их на площадь, к берегу речки. У Соломиных, когда он расстался с домом, бабой и лошадью, словно прибавилось живости,— он шел с легкой дрожью в коленках.

За ними, изредка полаивая, костыляли три деревенские собаки, и видно было по их хвостам и мордам, что лают они не серьезно, а просто от скуки.

Плотники легли на траву, домовито крякнули и закурили. Подходили к ним мужики из деревни.

Уже знали, что пришли они в Улею строить амбары, и все расспрашивали об Емолине, об его хозяйстве, и никто не спросил, как они живут и почему пошли работать.

Беспалых обозлился и, когда один из расспрашивавших, особенно липкий, отошел, крикнул ему вслед:

— А работников и за людей не считаете, корчу вам в пузо!..

Кубдя свистнул и пошел за сеном и ветками для постелей. Соломиных принес валежнику и охапки сухих желтых лап хвои.

— Хвою-то куда, коловорот?

— Заместно свечки.

Плотники зажгли костер и поставили чайник. В это время мимо костра пробежала, тонко кудахтая, крупная белая курица. Горбулин вдруг бросился ее ловить...

Гуще спускалась мгла. В речке плескалась рыба, по мосту кто-то ходил — скрипели доски. В деревне — молчание: спали. Кусты словно шевелились, перешептывались, собирались бежать. Пахло смолистым дымом, глиной от берега.

Горбулин, похожий в сумерках на куст перекати-поля, бесшумно догонял курицу. Слышно было его тяжелое дыхание, хлопанье крыльев, испуганное кудахтанье.

Вышел из ворот учитель. У костра он остановился и поздоровался. Фамилия у него была Кобелев-Малишевский. У него все было плоское — и лицо, и грудь, и ровные брюки навыпуск, и голос у него был ровный, как-то неуловимый для уха.

— Кто это там?— спросил он, указывая рукой на бегавшего Горбулина.

Кубдя бросил охапку хвои в костер. Пламя затрещало и осветило площадь.

— Егорка. Наш,— нехотя ответил Кубдя.— А тебе что?

— Курицу-то он мою ловит.

Кубдя ударил слегка колом по костру. Золотым столбом взвились искры в небо.

— Твою, говоришь? Плохая курица. Видишь, как долго на насест не садится.

Подошел Горбулин с курицей под мышкой. Оба они тяжело дышали.

— Дай-ка топор,— обратился он к Кубде.

Учитель положил руки в карманы и омрачившимся голосом сказал:

— Курица-то моя.

— Ага?— устало дыша, проговорил Горбулин.— А мы вот ей сейчас, по-колчаковски, башку долой.

Учитель хотел ругаться, но вспомнил, что в школе си-

деть одному, без света и без дела, скучно. В кухне пахнет опарой, в горнице геранью; на кровати кряхтит мать, часто вставая пить квас. Ей только сорок лет, а она считает себя старухой.

Кобелев-Малишевский скосил глаза на Соломиных и промолчал.

Соломиных, поймав его взгляд, сказал:

— Садись, гостем будешь. Счас мы ее варить будем.

Беспалых, видя, что хозяин курицы не ругается, схватил ведро и с грохотом побежал по воду. Черпая воду и чувствуя, как вода, словно живая, охватывает его ведро и тащит, он в избытке радости закричал:

— Ребята! Теплынь-то какая, айда купаться.

— Тащи скорей! Не брякай,— зазвучало у костра.

Кобелев-Малишевский снял пальто и постелил его под себя.

— Работать идете?— спросил он.

— Работать,— отвечал Соломиных.

— Слышал я. Емолин сказывал, что нанял вас. Дешево, говорит, нанял. Мерзостный он человечишка, запарит вас.

Соломиных грубо сказал:

— Не запарит. А тебе-то что?

— Мне ничего. Жалко, как всех.

— Жалко, говоришь?

— Такая порода у меня. У меня ведь дедушка из конфедератов был, сосланный сюда. Ноздри рваные и кнутом порот.

— За воровство, что ли?— спросил Кубдя, вороша костер.— Раньше, сказывают, за воровство ноздри рвали.

— Восстание они устраивали, чтобы под русского царя не идти. Поляки.

Учитель подождал чего-то, словно внутри у него не уварилось, и сказал:

— И фамилия моя — Малишевский, польская по деду. А Кобелев — это здесь в насмешку на руднике отцу прицепили, чтобы было позорнее. Был знаменитый генерал Кобелев, который Туркестан покорил и турок победил.

— Скобелев, а не Кобелев,— сказал Кубдя.

— Ты подожди. Когда он отличился, тогда ему букву «с» царь прибавил. Чтобы не так позорно ему было в гостиные входить. Мобилизовали меня на германскую войну, тоже я мечтал отличиться и фамилию свою как-нибудь исправить. Не пришлось. Народу воюет тьма, так, как вода в реке,— разве капля что сделает? Ранили меня

там в ногу, в лазарете пролежал, и уволили по чистой.

Соломиных повернулся спиной к огню и проговорил:

— И пришел ты Кобелевым.

— Видно, так и придется умереть.

— Царя вот дождешься — и сделат он тебя Скобелевым.

— Царя я не желаю, как и вы, может быть. Я ж вам сказал, что жалостью ко всем наполнен, и это у меня родовое. Вот ребятам в школу ходить не в чем — жалко, бумаги нет, писать не на чем — жалко, живут люди плохо — тоже жалко...

Малишевский долго говорил о жалости, и ему стало действительно жалко и себя, и этих волосатых, огрубелых людей с топорами. Он начал говорить, как его воспитывали, и как его никто не жалел, и сколько из-за этого у него много хороших дней пропало, и, может быть, он был бы сейчас иной человек. И Кобелеву-Малишевскому хотелось плакать.

Беспалых взял ложку и попробовал суп.

— Рано еще. Пущай колобродит.

Он развязал мешок и достал ложки. Самую чистую он подал Малишевскому. Беспалых нарезал калачей и, положив их на полотенце, снял с огня котелок. Кубдя подбросил хвои.

Плотники, дуя на ложки, стали есть. Учитель отхлебнул немного из котелка и отодвинулся.

— Что ты?— сказал Соломиных.— Ешь.

— Сыт. Я недавно поужинал.

Кобелев-Малишевский смотрел, как сжимаются их поросшие клочковатым волосом челюсти, пожирая хлеб и мясо, и ровным голосом говорил:

— Монастырь построили, чтоб молиться, а вы в него не ходите. Бога только в матерках упоминаете, ни религии у вас нет, ни крепкой веры во власть. И кто знает, чего вы хотите. Повеситься с такой жизни мало. Как волки, никто друг друга не понимает. У нас тут рассказывают... Пашут двое — чалдон да переселенец. Вдруг — молния, гроза. Переселенец молитву шепчет, а чалдон глазами хлопает. Потом спрашивает: «Ты чо это, паря, бормотал?»—«От молнии молитву».—«Научи, может, сгодится». Начал учить: «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое...»—«Нет,— машет рукой чалдон,— длинна, не хочу». Все покороче хотят, а жизнь-то и так с птичью любовь.

Учителю обидно было, что плотники ели его курицу

и не благодарили; обидно, что на него не обращали внимания; обидно, что из города не слали три месяца жалованья.

Он сидел перед огнем и говорил совсем не то, что хотел сказать. Похоже было, что за него кто-то сзади говорит, а он только шевелит губами.

Плотникам же мерещилось, что они голые идут в ледяной воде — и нет ей ни конца, ни края.

Трещала, сгорая, хвоя. Повизгивая, лаяли собаки за огнем,— им туда, в темноту, бросил Горбулин кости и куски.

Соломиных закрылся тулупом с головой и что-то неразборчиво мычал. Не то он спал, не то говорил. Беспалых и Кубдя лежали на боку, курили. Лица у них были красные.

Малишевскому никто ничего не отвечал. Уголек упал к нему на колено, он пальцем сбросил его и стал говорить о любви.

Горбулин ушел, и скоро по ту сторону костра из тьмы вышла его приземистая фигура и за ним три лохматых пса. Он усадил их в ряд, поднял руку кверху и пронзительно заорал:

— Ну-у!..

Собаки подняли передние лапы и сели на задние. Морды у них были измученные, и видны были их белые клыки. Малишевскому стало страшно.

Горбулин подсел к собакам рядом и, закатывая глаза, завыл по-волчьи:

— У-у-у-о-о-о!..

Сначала одна, потом вторая собака, и наконец все три затянули:

— У-у-у-о-о-о!..

И Кобелеву-Малишевскому казалось, что сидят это не три собаки и человек, а все четыре плотника и воют, не зная о чем:

— У-у-у-о-о-о!..

Внутри, на душе, что-то непонятное и страшное. Малишевский вспомнил — сибиряки не любят ни разговаривать, ни петь, и ему стало еще тоскливее.

— Ты гипнотизер,— сказал он, подходя к Горбулину.

Горбулин потянулся к нему ухом.

— Не слышу.

Кобелев-Малишевский повторил:

— Гипнотизер ты.

Горбулин завыл еще протяжнее:

— У-у-у-о-о-о!..

Собаки с красными, стекленевшими глазами вторили:

— У-у-у-о-о-о!..

Кубдя с размаху вылил ведро воды на костер. Огонь зашипел, пошел белый пар — словно в середину желтого костра опустился туман.

Малишевский пошел прочь от костра.

IV

Амбары рубили позади пригонов, где начинался лес и камень. По бокам — сосны, а сзади — серые, сырые на вид камни.

Дальше шли горы,— если влезть на сосну, увидишь белые зубы белков. Прямо упирались в глаза пригоны, за ними монастырские колокольни с куполами, похожими на приглаженные ребячьи головки, чистые строения.

Спали плотники в избе, срубленной недавно, рядом с пригонами. По вечерам неослабным говором, мерно и жутко отдававшимся в горах, били в колокол.

Плотники в это время играли в карты, в «двадцать одно».

Емолин у работы был совсем другой, чем в селе. И строже, и как-то у места.

Ходил быстро, длинный, как сосна, в рыжем зипуне и, спешно перебирая тонкими, словно бумага, губами, вкрадчиво и строго поторапливал:

— Вы живее, вопленики!..

Отвечать ему не желали, только Беспалых это нудило.

— Иди ты подале, кила трехъярусная!..

Емолин опалял постройку взглядом и смолкал, а через минуту, словно в недуге, опять говорил:

— Пошевеливайся мясом!..

Рубили углы амбара в лапу: бревна без выпуска концов, как тесовые ящики. Так хоть дерево бережется, но в избе холоднее.

Кубдя настоял, чтоб хоть наставляли стык бревна в зуб: конец на конец, стесав оба накось и запустив один в другой уступом.

— Эх, рубители!— вскрикивал Кубдя.

Гнулись в единых взмахах мокрые спины. Под один гуд тесались бревна.

Звенели дрожью, отсвечивая на солнце, большие, по-

хожие на играющих рыб топоры. Бледно-желтые, смолисто пахнущие щепы летали в воздухе, как птицы.

Емолин ходил вокруг, неизъяснимо улыбался и говорил сказками:

— Столяры да плотники от бога прокляты; за то их прокляли, что много лесу перевели.

Натирая «нитку» мелом, Беспалых отвечал:

— Кабы не клин да не мох, так бы и плотник издох!.. Уйди, человечий наструг, зашибу!..

Семисаженные мачтовики и трехсаженные кряжи лежали, тесно прижавшись желтой корой друг к другу.

На коре выступала прозрачная смола, и бревна пахли мхом.

Емолин не любил, когда курят.

— Надо скорей катать.

Плотники усаживались на бревна, закуривали и начинали разговаривать. Емолин ходил мимо, одним глазом смотрел на них, а потом, как гусь, заворачивал набок голову и смотрел в небо.

— Солнце высоко, ребята.

Сюда, в Улейскую обитель, забросило их, как перо ветром: везде, говорили, народ бунтуется и хочет свою, крестьянскую власть. Это говорили и приезжие мужики, и бабы, привозившие провизию, и Емолин твердил:

— Сруб кончите, запишемся в дружину «креста» — и айда большевиков крыть!..

Соломиных гудел что-то под нос, гудело под ним бревно, а Кубдя неожиданно спросил:

— У тебя баба брюхата?..

— На кой тебе ее, брюхату, надо?

— К тому, что скоро брюхатых мобилизовать будут. Народу не хватает.

Емолин качнул головой.

— Дурак ты, Кубдя, хоть и большой человек. Брякнешь зря.

— Ей-богу!.. Они такой-то народ боятся брать, бунтуют. А брюхаты как раз, как забунтует, так и скинет.

— Порют вас мало.

— На чей скус...

Плотники оставили топоры и хохотали.

— Уходи лучше, драч, уходи!..

Емолин хвалился:

— Донесу милиции: против правительства идете.

Плотники хохотали:

— Донеси только — нос отрубим.

Однажды пришел из лесу настоятель. Емолин перед тем матерно выругал Беспалых и, увидев настоятеля, согнулся, сделал руки блюдечком и подошел под благословенье.

На плече у настоятеля лежали удилища и в правой руке — котелок с рыбой. Он поставил котелок на землю и благословил Емолина.

— Как работаете?

— Ничего, слава богу, отец игумен.

Беспалых ударил топором в бревно и пропел вполголоса:

— Отец игумен вокруг гумен...

Монах, должно быть, услыхал. Он пошевелил удилищами на плече. Был он сегодня недоволен плохим уловом и сказал строго Емолину:

— А плотники-то твои, сынок, развращеннейший народ.

Емолин в душе выругался, но снаружи вертляво обошел вокруг монаха и заискивающе сказал:

— По воспитанию знаете, отец игумен.

У игумена была черная ровная борода, казавшаяся подвешенным к скулам и подбородку куском сукна.

Кубдя посмотрел ему в бороду и подумал: «Вот нетяг: ни на работу, ни на шутку!»

И неожиданно игумен бросил удочки на землю, как-то сразу пожелтел и, взмахнув широкими рукавами рясы, закричал на Емолина:

— Молчать!.. Не разговаривать, сукин сын!.. А-а?..

Емолин испуганно попятился, плотники взглянули на его сразу осевшую фигуру и захохотали. Монах обернулся к ним, подскочил к срубу, плюнул и крикнул:

— Прокляну, подлецы!..

И, не подобрав удочек и ведерка, ушел, издали похожий на колокол.

Емолин смущенно сморщился и нерешительно протянул:

— Вот нрав.— Немного погодя добавил:— Стерва, а?..

Плотники оставили топоры и хохотали.

За удочками пришел тонкий и длинный, похожий на камышинку монашек в облезлой бархатной скуфье и ряске из «чертовой кожи».

— Что ты, монах будешь?— крикнул ему Горбулин.

Монашек застенчиво ответил:

— Рясофорный я... не пострижен...

— У те чо, молоко-то буган эти высосали,— ишь ведь, как холстина!

— Они высосут!— подхватил Беспалых.

Монашек покраснел.

Плотники осмеяли его, и он, заплетаясь длинными ногами в больших сапогах, потащил удочки и котелок.

Емолин долго ругал игумена, а потом набросился на плотников. Кубдя послал его к «бабушке», и подрядчик смолк. С городскими рабочими он поступил бы круче, но эти могли бросить работу и уйти.

Говорили, что в Алтае ездят карательные отряды и усмиряют крестьян.

Теперь впереди «карателей» шло темное и страшное, что обрушивалось часто на «большевицкие» деревни и хоронило в огне и крови роптавших.

Но и каратели не появлялись по одному. Из леса стреляли поодиночке и, подстрелив, прибивали гвоздями к плечам погоны, а потом бросали посреди дороги — на страх и поучение.

На Зосиму — Савватия-пчельника Кубдя сказал Беспалых:

— Завтра — крышка!

— Чего?— не понял тот.

— Не работаем.

Беспалых подумал и недоумевающе вздернул плечи.

— Не пойму, парень.

— Зосим — Савватий...

— Ну?

— В Улее престол.

Беспалых даже подпрыгнул.

— Вот черт! А я и забыл. Идем, что ли?

Кубдя посмотрел вверх. Редкие, прозрачные облака, как кисея, застилали небо. Ниже они падали на тайгу.

— Люблю охоту... Айда пополюем.

— Ружья нету.

— Соломиных привез берданку.

— Не даст.

— Даст. Он в гости идет, с утра завтра, с Горбулиным вместе,— на престол, в Улею.

Беспалых поддернул штаны, быстро высморкался и пошел просить берданку.

Наутро день был чистый, чуть ветреный. Кубдя и Беспалых надели на лицо и шею сетки от комаров, зарядили берданку и спустились к речке.

В тальнике ветра не было; тонким, неперестающим

звоном пел комар, пролетал через сетку и яростно кусался. Под ногами, хрустя, ломались гнилые сучья, пахло илом, осокой.

Река казалась иссиня-черной, а мелкий песок — желтым.

— От солнца,— сказал Кубдя.

В речных тихих затонах, в опоясках камыша, было много дичи. Они стреляли. Кубдя всегда влет, а потом Беспалых снимал штаны и лез в воду. Лопушники хватали его за ноги, он фыркал и кричал Кубде:

— Егорка! Утону!

Кубдя, грязный, весь в пуху, сиял на берегу своим корявым лицом, отвечая:

— Ничиво. Монастырь близко: сорокоуст закажем.

Если утка была не добита, Беспалых перекусывал ей горло и говорил:

— Обдери душеньку свою.

Уже отошли далеко от монастыря. Виднелись белки с синими жилками речушек.

— Пойдем назад,— сказал запыхавшийся Беспалых.— Куда нам их бить, обожраться, что ли...

Кубдя лез через камыш, чавкая сапогами в грязи, и неторопливо покрикивал:

— Еще, Ваньша, немного еще...

Беспалых плюнул и сел на корягу.

— Не пойду,— сказал он.

Кубдя пошел один. Скоро где-то в камышах грохнул выстрел. Беспалых хотел пойти, но удержался. «Ну его к черту,— подумал он,— с ним не выйдешь».

— Егорка-а!..

— Ну-у?..

— Сюда иди-и, ха-ле-ра-а!..

Беспалых не откликнулся. Он хотел закурить, но вспомнил про сетку и выругался. Тогда он стал думать, нужно ему жениться или еще рано. Уже двадцать четыре года, а парень не женат.

«Пора уже»,— решил он.

На елани трава была под мышки, и Беспалых не было видно на коряжине, он решил отдохнуть и отправиться один. Беспалых прислонился головой к дереву, под голову положил утку, ружье в ноги и закрыл глаза.

Разбудил его Кубдя. Он стоял перед ним и, дергая его за рукав, улыбался:

— Буде, выспался, пойдем на престол.

V

Кубдя был доволен и охотой, и разыгравшимся теплым днем, и ломотой в пояснице с устатка. Шагая мимо сырых стволов осин, он посвистывал и, смеясь, оглядывался на вяло тащившегося сзади Беспалых.

Беспалых, как и всегда после сна на солнце днем, распарило, и во рту его неприятно сластило.

— Айда домой,— сказал он, перебрасывая уток с руки на руку.

— Нельзя, надо бога вести как следует: осмеет народ.

Они, как и все сибиряки, редко заглядывали в церковь, но не попьянствовать во время праздника считали грехом.

С утра густо дымились трубы: жирным черным пятном полз дым в небо. Сразу было видно, что пекут блины и шаньги. На скамейках у ворот сидели мужики и, покуривая, говорили о хозяйстве.

На них были новые, пахнущие краской ситцевые рубахи,— не измятые еще рубахи топорщились колом, и похоже, что одели мужиков в бересту.

Парни ходили в ряд под гармошку по деревне.

Испорченная гармошка врала. Они же молча изгибались из стороны в сторону, лица у всех были серьезные, и не верилось, что идут пьяные люди, далеко пахнущие самогонкой.

За парнями тоже в ряд, как утята за маткой, шли девки в ярких кашемировых платьях и голосисто пели:

Я иду-иду болотинкой,
Машу-машу рукой,—
Чернобровый мой миленочек,
Возьми меня с собой.

Кубдя и Беспалых бросили уток к учителю в сени. Хотели снять ружья, но Беспалых сказал:

— Возьмем для близиру: хоть штаны рваны, а берданку имеем.

Умылись, повесили ружья за плечи; Беспалых переобул для чего-то сапоги, потом вышли на улицу, поздоровались с парнями и пошли в ряд, под гармошку.

Гармонист шел в середине и, втянув губы в рот, так нес гармошку и с таким видом играл, словно научился и приобрел впервые ее. Солнце отсвечивало на жестянках клавишей, на кругленьких колокольчиках гармошки.

Под ногами гнулась молодая трава, из палисадников пахло черемухой, а на маленькой церковке торопливо, под «камаринского», трезвонили:

— Ту-лю-лю-ли-бо-ом!.. Бом!.. Бэм-м...

Когда так молчаливо и с удовольствием прошли две улицы, гармонист предложил:

— Айдате к Антошке?

Пискливый голосок из ряда сказал:

— Айдате.

Парни свернули к Антошке Селезневу.

Антон Селезнев, высокий и строгий мужик лет пятидесяти, встретил их у ворот. На нем был синий пиджак и штаны, вправленные в лаковые сапоги. Окладистой русой бородой, гладко причесанными, в скобу, волосами он тряхнул так самодовольно, что все ласково улыбнулись.

Он считался в селе всех богаче, и его всегда выбирали в церковные старосты,— поэтому-то он сегодня и угощал всех.

Селезнев провел парней к крыльцу, зашел в сени, постучал чем-то деревянным и проговорил:

— Заходи.

Парни один за другим заходили, выпивали по кружке самогонки, брали в руку пирог с калиной,— и кто был этим удовлетворен, тот выходил за ворота.

Кубдя выпил подряд две кружки, вышел на крыльцо, сел, откусил кусок пирога. К нему подошел петух, рыжий, с одним глазом.

Кубдя бросил ему корку, петух посмотрел пренебрежительно и тихонько отодвинулся. Беспалых чуть улыбнулся.

— Не ест,— сказал он.— Нравный.

Селезнев вышел с глиняной кружкой в руке и спросил:

— Еще, паря, не хочете?

Беспалых повел плечом.

— Потом, Антон Семеныч. У те петух-то пошто хлеб не ест?

— Время знат. Он у меня утром да вечером ест только. Два раза напрется — и ничего.

— Терпит?

— Не жалуется.

— Чудна Русь!— воскликнул Беспалых.— А самогонка у те добра. Табаку мешаешь, что ли?

— Ничего не мешаю,— сказал Селезнев, хозяйственно оглядывая двор.— У тебя что, голова болит?

— Не болит, а кружится.

Кубдя сказал:

— С большой ходьбы.

— Полевали?— лениво спросил Селезнев.

— Полевали.

— Бы-ват,— протянул Селезнев и замолчал.

Молчали так, словно вели большой и важный разговор. Селезнев выпил самогонки и выхлестнул остатки на землю.

— Пью, пью ее,— сказал он,— а не берет. Даже злюсь.

Беспалых посоветовал:

— А ты на голодно брюхо пей.

— На сохатого лихоманку напустить хочет. Ха-а!..— рассмеялся Кубдя не столько над Беспалых, сколько над собой: голова его начала медленно и весело наполняться туманом.

Селезнев сел на крыльцо, свернул папироску.

— Робите?— полунасмешливо спросил он.

— Робим.

— Та-ак... Али дома места нет? Земля высохла?

Беспалых стукнул себя кулаком в грудь:

— Потому мы странники!.. Разжевал, Антон Семеныч?

— Валяй в охоту тогда; что к чужому человеку в кабалу лезть? Не вникну я в вас. Чужую грязь гатить?.. Что проку-то?..

Кубдя с остановившимся, пьянящимся взглядом взял под мышки Селезнева.

— А ты, мил друг, не дури. Сам знаешь, с каких доходов на работу идешь. Потому-у: тоска-а!.. Был, я скажу тебе, в германскую войну, в Польше был, в Германии был,— и он, и он — все!..

Кубдя указал на Беспалых и еще на кого-то в ворота.

— Посмотрели: во-от народ... Живут, скажу тебе, робют. Чисто, сухо, кругом машина. Он тебе и человека убивать машину придумал таку — по воде и по воздуху, не говоря обо всем прочем.

— Не ври хоть...

— А ты переври лучше. Поработал он тебе в силу и отдыхает.

— А тебе плохо?

— Плохо?!— Кубдя разозленно заговорил:— Недо-

вольны мы, понял? Желаем жить — чтобы в одно за всеми, а не у свиньи хвост лизать. Вот тебе, дескать, мамкина сиська. И с такого положенья встосковали мы!..

— Не все сразу. Скоро-то, знаешь, насчет кошек говорят...

— Зря говорят! Ленив человек-то, ленив, стерва! Ему бы все в пузе ковырять да брата своего вылаять. Нет, ты прожгись через работу-то да выплачься — вот и поймешь, на какое место заплатку ставить надо.

— А ты научи.

Кубдя соскочил с крыльца и, пошатнувшись, рассмеялся:

— Сам-то во тьме иду.

— Свечку надо?

— Не из твоей ли церкви?

Селезнев провел рукой по бороде от горла к носу и ухмыльнулся глазами:

— Свечки-то все одинаковы, лишь бы светили. Ты думаешь — с такой, а я — с другой, а к месту-то одному придем.

— К одному ли, Антон Семеныч?

Кубдя подхватил Беспалых под руку и пошел.

— Сиди,— сказал Селезнев.

— Пойдем лучше, проветримся. А то парень-то скис,— сказал Кубдя.

Селезнев шумно вздохнул и возвратился в горницу.

Тут сидели и пили самогонку гости из соседней деревни: маслодельный мастер — жирный, лысый, как горшок, мужик; мельник, как и все мельники, большой любитель церковного чтения и большой бабник, со своей дочкой; священник с дьячком.

Жена Селезнева, широколицая, высокая баба, наливала гостям самогонку в рюмки и, колыхаясь перетянутым животом, говорила:

— Кушайте, не стесняйтесь, кушайте...

В избе было жарко. Пахло зерном прелым — от самогонки, хлебом, геранью, табаком.

Мельник пронзительно, словно в избе шла мельница о шести поставах, спорил с попом и дьячком о двоеперстном крещении.

Попу хотелось спать, но уйти было неловко, и он отпихивал от себя рукой мельника.

— Уйди ты от греха, уйди!..

— Я те докажу!— кричал мельник.— От закона бо-

жия докажу, от катехизиса, от всяких, всяких!.. Сознаешь?..

Псаломщик потрогал за плечо мельника.

— Что ты одно и то же затвердил? Ты факты приводи, а криком-то и дурак возьмет, да!..

Маслодельный мастер спорил со всеми тремя и, не слушая ни их, ни себя, бубнил:

— Поп! Хошь у те и рыло и брови как у пророка, а я тебя не желаю слушать, так как моя душа самого меня хочет слушать! У всякого человека есть внутри свой соловей... А ты мне там про Священно писанье!..

Мастер поднял вверх руки и басом заорал:

— Благослови, владыко-о!..

Псаломщик отскочил от попа и умильно взглянул на Антона.

— Блистательно народ живет.

Антон чувствовал усталость во всем теле.

Была долгая утреня и обедня, причем нужно было стоять впереди всех и, ощущая на себе взгляды, кланяться и креститься особенно истово и неторопливо; работник куда-то скрылся, и нужно было самому гнать лошадей к водопою, дать им сена.

И брала злость, а не хотелось ради праздника злиться.

Селезнев взял псаломщика за плечи, усадил рядом с собой и сказал:

— Ну, рассказывай, Никита Петрович.

Псаломщик повел высохшим лицом во все стороны и сказал.

— Домовитый вы, Антон Семеныч.

— Иначе нельзя.

— У нас в России не так.

Антон взглянул на него оживившимся мыслью взглядом.

— Знаю. Бывал.

Псаломщик стиснул зубы и вздохнул так, словно выпустил душу.

— Тоже хочу хозяйством обзавестись.

— Без хозяйства человек — ветер.

— А дальнейшее само собой, а?

— Что?

— Ну жизнь?

Псаломщик хитровато уставился на крупного чернобородого человека и подумал: «Крупен, дядюшка. А и плутень тоже».

Антон устало проговорил:
— Кто как хочет, тот и строит свою жизнь-то.
— А бог?
— Бог для ночи нужон. С ним дневать не приходится.
В это время к Антону подошла баба и сказала:
— Там те, мужик, спрашивают.
— Кто?
— Милиционеры, что ли. С ружьями, на паре приехали. У ворот.
Селезнев взглянул на ее побледневшее лицо и недовольным голосом проговорил:
— А ты уж скисла.
И, поскрипывая сапогами, мелким шагом вышел к милиционерам.
Их было двое. Они сидели в коробке и о чем-то разговаривали между собой. Каурые лошади утомленно отгоняли хвостом жужжащих мух.
Ямщик — молоденький мальчишка — смотрел на что-то у колес.
Селезнев подумал, что милиционеры свернули выпить, и он решил их угостить получше.
— Заворачивайте,— сказал он.
Милиционеры взглянули на него. Один из них был на городской манер — бритый, без усов и бороды, второй, совсем молодой, с начесанным на фуражку курчавым хохолком волоса.
Милиционер постарше сказал:
— Ты Антон Семеныч Селезнев?
И то, что сказал он эти слова так, как их говорят на суде, не понравилось Антону. Он сказал:
— Я самый.
Милиционеры переглянулись и, перегибая коробок, вылезли направо.
К коробу сбирался народ — парни, девки.
Старший милиционер оглянулся и увидел Кубдю и Беспалых с ружьями.
— Разрешенья есть?— спросил он все так же строго.
— Много,— весело отвечал Кубдя.
Милиционер потрогал кобуру у пояса, и говорить такие холодные, протокольные слова ему, должно быть, очень понравилось. Он сказал:
— Потом разберемся. Вы не уходите.
— Ладно,— сказал Беспалых.— Мы ведь здешние.

— А народ пусть разойдется. В свидетели охота? Где тут староста?

Вышел староста, заспанный мужик в сатинетовой рубахе без опояски.

— Я староста,— бабьим голосом проговорил он.

Милиционер с неудовольствием сказал:

— Дожидаться тебя приходится. Обыск вот надо произвести. Самогонку, говорят, курите?

— А кто их знат!— равнодушно ответил староста.

Милиционеры были городские, и при виде этих лохматых пьяных людей, узеньких линий глаз — где бог знает какие мысли прячутся — они вначале немного трусили.

Потом, увидав, как мужики торопливо расступились перед шинелями английского образца, пуговицами со львами и голубыми французскими обмотками, милиционеры развеселились и, вспомнив про свою трусость, осерчали.

Младший, не привыкший к ружью и постоянно поправляющий ремень, входя во двор, крикнул:

— Пьянствовать тут!..

Крик его походил на жалобу, и он смолк.

Аппарат для курения самогонки — два толстых глиняных горшка с рядом медных трубочек и жестяной холодильник — стоял под навесом, на телеге, накрытой кошмой.

Тут же стоял и бочонок с невыпитой самогонкой. Милиционер вытащил из кармана бумагу и чернильницу и начал писать протокол.

В толпе переговаривались:

— Ишь, хотят, чтоб цареву водку пили!

— Торговлю отбивашь, дескать!..

— И не говори.

Молоденький милиционер поджал губы и ссупил брови.

— Ишь ты, задело!

— Не пьет!

Составив протокол, милиционер разбил ружьем горшки, прободал штыком холодильник и сломал медные трубки.

Мужики молчали.

Милиционер опрокинул на землю самогонку. Образовалась лужица, блеснула темноватая крыша пригона, и самогонку впитала земля.

Запахло горячим хлебом.

— Вот паскуда!— крикнул кто-то из толпы.

Милиционеру было жалко и самогонку и себя, совершающего такие нехорошие поступки; он рассердился:

— Молчать, чалдонье!

Милиционер помоложе ухватился за ружье.

— Всех переарестуем.

Толпа задышала быстрее и нажала на милиционеров. Им было тесно; старший милиционер начал ругаться по-матерному, второй испуганно глядел в пьяные, быстро мигающие лица.

Мужики нажимали.

В груди и бока милиционерам уперлись чьи-то твердые локти и руки. Пахло самогонкой и еще чем-то нехорошим — кажется, прелым камышом от повети.

Затрещал коробок у ворот.

Старший милиционер попробовал пройти — не пускают. Кругом глаза и теплое человеческое дыхание.

Милиционер помоложе, вскрикнул, раздался его голос немного с хрипотцой. Его товарищ вдруг длинно, матерком каторжан, выругался.

Кто-то из толпы — вертлявый и маленький — выскочил и ударил его в зубы.

Милиционер горласто крикнул и выстрелил подряд три раза в толпу из револьвера.

Охнули.

Толпа расступилась.

Милиционеры, согнувшись, побежали к воротам.

Лица их вспотели, дрябло сморщились и иссиня побелели, как известка.

Они вскочили в коробок. Мальчишка-кучер гикнул.

Беспалых замахал руками.

— У-лю-лю-ю!..

И, сорвав с плеча ружье, выстрелил вслед им сразу из обоих стволов.

Один из милиционеров мотнул головой и нырнул в коробок. Ямщик на передке испуганно, по-бараньи, заверещал.

Кубдя снял берданку и выстрелил в воздух.

Коробок скрылся в переулок.

Мужики вышли из ограды с чувством большой беды.

У Беспалых обомлели ноги, он взглянул на Кубдю, и ему показалось, что Кубдя как будто доволен.

У Беспалых зашумело в ушах, и он быстро пошел в монастырь.

Кубдя догнал его на мосту и под стук каблуков в доски сказал ему прерывающимся голосом:

— Поохотились!..

Вечером Горбулин и Соломиных слушали, как Беспалых, задыхаясь и бегая по избе, рассказывал, как прогнали милиционеров.

Горбулин восторженно плескался руками в воздухе и поддакивал:

— Так их... так...

И было непонятно, почему так разбудилось это ленивое и сонное тело.

Соломиных сидел, поджав ноги калачиком, по-киргизски, и издали при свете сальника походил на божка.

Кубдя спал.

В монастыре протяжно пели.

В горах с шипом шумели кедры, и где-то далеко грохотало, должно быть, «плакали белки», рушились льды ледников. Тьма зеленоватым кошачьим зрачком щурилась в окна.

В конце рассказа в сенях застучали. Кто-то долго шарил дверь. Беспалых смолк. Вошел Емолин и испуганно заговорил:

— Под суд подвели, сволочи! Кубдя, где Кубдя-то?

Беспалых сказал:

— Спит.

Емолин отскочил к дверям. Из темноты по-иному звучал его наполненный чем-то другим, не всегдашним, голос.

— Спит!.. Убил человека и дрыхнет. Вот каторжане, а! Господи, ну и угораздило меня связаться с ним! Теперь и меня-то из монастыря выгонят. А он дрыхнет. Буди, что ли, его, Егорша!..

Соломиных спросил:

— В самом деле убил?

— Наповал. Так в шею, братец ты мой, и всадил всю дробь.

— Дробью убил?

— И черт его угораздил!

Емолин подбежал и толкнул ногой Кубдю.

— Вставай ты, леший драный...

— Теперь вошьют,— сказал Соломиных, и Беспалых показалось, что говорит он, точно радуясь.— Или повесят, или расстреляют.

— Обоих?

— Може, и всех четырех.

— А нас-то с чего?
— Разбираться не будут.
Емолин дергал Кубдю и ругался:
— Вставай, каторжная душа, лихоманка. По-людски бужу, человеку тебя надо.
У Кубди кружилась голова, он присел на голбце, зевнул — в челюстях пискнуло.
— Что те, подрядчик, надо?— сказал он хрипло.
— Человек тебя спрашивает.
— Кто?
Емолин отошел к дверям и крикнул в темноту:
— Иди-ка сюда, Антон Семеныч!
Селезнев перекрестился и поздоровался. Кубдя взял ковш и с шумом напился.
— Ну, парень, и самогонка!— сказал он с удовольствием.— А ты что на ночь-то глядя пришел, дядя Антон?
Емолин сказал:
— Вот, клин тебе в глаз, еще спрашивает! Убил человека — и хоть бы что?
— Всем одна смерть,— сказал Кубдя, садясь на лавку.
— Ну, а я пойду,— торопливо сказал Емолин,— мне тут рук марать не приходится. Разбирайтесь сами, а только как хотите, а повесят вас.
— Повесят,— равнодушно подтвердил Соломиных.
Помолчали, сколько требуется по положению, и Кубдя спросил:
— Самовар, что ли, поставить?
— Не надо,— сказал Селезнев.— Я ведь ненадолго. К тому пришел — собираться вам надо.
Кубдя положил ногу на ногу и посмотрел в потолок.
— Наши сборы не долги. Куда идти-то?
— В чернь.
Беспалых переспросил:
— В тайгу?
Селезнев промолчал и немного спустя добавил:
— Как хошь, мне одно. Только вам уйти надо. Расстреляют колчаки-то. Я седла и тюки приготовлю, поди под завтрашнюю ночь придут.
— Придут,— сказал Соломиных.
— В чернь одно. Нам с этой властью не венчаться. Наша власть советская, хрестьянская...
Беспалых спросил:
— Думаешь, самогонку даст гнать?
Селезнев опять не ответил ничего и спросил:

— Как вы-то маракуете?

Решили, что да, нужно идти в чернь.

Селезнев пошел к дверям так, словно поить лошадей — не торопясь, и у него была широкая, лошадиная спина с заметным желобком посредине.

Кубдя посмотрел на него с уважением и, когда он ушел, сказал:

— Здоровый, черт, и есть у него своя блоха на уме.

VI

Приземистый и краснощекий капитан Попов, начальник уезда в Ниловске, искренне был недоволен собой. В других уездах как будто ничего, а здесь — не то восстания, не то блажь.

— Балда! Бабища!— выругал он сам себя и велел денщику позвать прапорщика Висневского.

Возвращаясь к столу, он заметил, что нога у него как-то неловко косится. Он поднял ногу на стул.

Каблук скривился. Попов пощупал сапог. В таком положении и застал его прапорщик Висневский. Капитан, не глядя на него, сказал:

— Вот, говорят, деньги большие получаем. А сапог купить не на что.

Прапорщик считал себя очень вежливым и сейчас нашел нужным звякнуть шпорами и поклониться.

— Слышали?— спросил капитан, указывая пальцем на лежавшую на столе бумажку.— В Улее-то милиционера убили.

Прапорщик пожал крутыми плечами и подумал: «Меньше бы распускали их»,— а вслух сказал:

— Пьяные. Не думаю на большевиков.

— Напрасно,— сухо сказал капитан.— В газетах сводки «На внутренних фронтах» появились. Это тоже, думаете, не большевики? Э-эх!.. Углубления в жизнь у вас недостает.

Прапорщик обиделся.

— Возьмите сорок человек из ваших и успокойте их там, в Улее. Да имейте в виду: не на пьяных поедете.

— Приказ письменный будет?— спросил прапорщик.

— Будет. Напишут.

Капитан сделал плаксивое лицо и шумно вздохнул:

— Эх, господи! Вот времена подошли: не знаешь, откуда и народ рассмотреть. Измаешься... Курите?

Прапорщик закурил и, довольный назначением, подумал: «А он не злой».

В обед на другой день отряд польских уланов под командой прапорщика Висневского выехал усмирять крестьян.

Уланы были взяты из польского легиона, стоявшего в Барнауле.

Все они знали хорошо эту землю, горы и крестьян, которых ехали усмирять. Большая часть из них раньше работала у крестьян, еще при царе,— по году, по два.

Некоторые из уланов, проезжая знакомые деревни, раскланивались с крестьянами.

Крестьяне молча дивовались на их красные штаны и синие, расшитые белыми шнурками куртки.

Но чем дальше они отъезжали от города и углублялись в поля и леса, тем больше и больше менялся их характер. Они с гиканьем проносились по деревне, иногда стреляя в воздух, и им временами казалось, что они в неизвестной завоеванной стране,— такие были испуганные лица у крестян и так все замирало, когда они приближались.

Отъезжая дальше от города, уланы и с ними прапорщик Висневский чувствовали себя так, как чувствует уставший, потный человек в жаркий день, раздеваясь и залезая в воду. Там, у низеньких домишек уездного городка, осталось то, что почти полжизни накладывал на них город,— и уважение, и сдержанность, и еще многое другое, заставлявшее душу всегда быть настороже.

Все это сразу стерли в порошок и пустили по ветру бесконечные древние поля, леса, узкие, заросшие травой колеи дороги и возможность повелевать человеческой жизнью.

Все они были люди хорошие, добрые в домашнем кругу, и у всех почти были дети и жены, только прапорщик Висневский жил холостяком.

Прапорщик ехал впереди на серой лошади, заломив маленькую, похожую на пельмень шапочку, глубоко, с радостью дыша и воображая себя старым, древним паном.

Тонкоголовая лошадь с коротким, крепким крупом тоже чувствовала себя хорошо и, поигрывая мокроватыми желваками мускулов, шла легко и спокойно.

Вначале уланы ограничивались стрельбой в воздух, ловлей кур на ужин, но потом им это надоело, и они

начали искать большевиков. Призывали старосту в поле и допрашивали:

— Кто большевикам сочувствует?

И спрашивали не в той деревне, где останавливались, а в соседней. Староста указывал,— тогда уланы ехали туда, арестовывали и пороли плетьми.

Взятые мужики указывали на других, и так, переезжая из села в село, уланы имели возможность оставлять по себе кровоточащие долгие следы.

Недалеко от Улеи поймали действительного большевика-кузнеца, раньше бывшего в городе красногвардейцем и бежавшего в деревню после переворота.

Кузнец был низенький человек с длинными руками.

Кузнеца отвели к поскотине и тут, у избушки сторожа, пристрелили.

В этом же селе уланы вечером надолго ушли куда-то и, возвратясь, многозначительно друг дружке подмигивали и хохотали. Но, как и везде, никто не жаловался.

Уже поздно вечером в разговоре прапорщик понял, что они насиловали девок, и это ему было неприятно, а вместе с тем и радостно знать.

Неприятно потому, что в городе насилия над женщинами не одобряли и за это мог быть порядочный нагоняй, а радостно потому, что прапорщику давно хотелось обнять здесь, на просторе, простую, пахнущую хлебом, деревенскую девку, а если не поддастся сама, то изнасиловать.

Прапорщику казалось, что все презирающие насилие лгут и самим себе и другим.

На другой день приехали в Улею,— это было ровно неделя с того дня, как здесь убили милиционера.

Так же стояли темные избы, так же блистали радугой зацветшие стекла окон, улица была узенькая, как обшлаг сибирской рубахи, темная и прохладная.

На горе, как лицо девицы в шубном воротнике, тонул монастырь в лесу. По мосту постукивали копытцами овцы; пахло черемухой и водой из речки.

Мужики были на пашне. Висневский строго приказал старосте собрать их к вечеру, а сам прилег под навес на телегу и уснул.

Уланы зарезали у старосты овцу и стали жарить ее посреди двора.

От костра летели искры, староста боялся пожара, но ласково улыбался и семенил вокруг уланов.

На высокий забор вскочил с усилием, помогая себе крыльями, петух и кукарекнул.

Один из уланов прицелился и выстрелил. Петух, как созревший плод, грузно упал на землю. И тут староста ласково улыбнулся и проговорил:

— Ишь ведь, убил.

Улан взглянул на притворявшегося старикашку, ему захотелось выстрелить в эту ровную, как столешница, грудь. Он отложил ружье.

Под вечер собрались мужики.

Прапорщик отобрал десять из них, самых страшных на вид, и велел посадить в избу, приставив часового.

Остальных мужиков уланы выпороли и отпустили.

Прапорщик спросил старосту:

— А те, которые убили, скрылись?

— Так точно,— ответил поспешно староста.

— И не знаешь где?

— Не могу знать.

Прапорщик выгнал старосту и велел позвать учителя.

— Садитесь!— сказал прапорщик Кобелеву-Малишевскому.— Очень рад познакомиться с культурным человеком!

Прапорщик не любил деревенских учителей, и от мужиков, по его мнению, они отличались только бритой бородой. Так и этот хлипкий и конфузливый человек ему не понравился.

Прапорщик угостил Кобелева-Малишевского маньчжурской сигареткой и спросил:

— Как вы живете в такой берлоге?

— Привычка!

Кобелев-Малишевский чувствовал свою застенчивость, и ему было стыдно. «Вот одичал-то!»— подумал он и затянулся крепче, а затянувшись, поперхнулся, но кашель превозмог.

— Ну,— недоверчиво проговорил прапорщик,— не могу поверить, чтобы к такому месту привыкнуть можно! У вас, наверное, другие причины есть.

Кобелев подумал, что прапорщик, может быть, подозревает его в большевизме, и торопливо сказал:

— Мамаша у меня на руках, братишки. А в городе, знаете, тяжело жить. Теперь в деревню тянутся.

— Да, в городе не легко. Понятно.

Прапорщик подумал, о чем бы еще поговорить, и спросил:

— А крестьяне не теснят вас?

— Да как сказать... Не особенно... Известно — тайга, народ, сами знаете.

— Бродяги все у вас. И жулики.

Прапорщик поднял кверху брови:

— Много здесь еще крови прольется.

— Много,— согласился поспешно учитель.

— А вы как, не присутствовали тут... при безобразии-то?

— Нет, не пришлось.

— А кто убил, знаете?

Учитель подумал, что скрывать ни к чему, и так, наверное, мужики сказали,— он назвал плотников и Селезнева.

Прапорщик расспросил еще кое-что и спросил фамилию.

— Кобелев-Малишевский,—сказал учитель.

— Странная фамилия!— удивился прапорщик.

И тогда учитель начал излагать, каким путем образовалась эта фамилия. В конце рассказа он, как и всегда, разжалобился сам и, как ему показалось, разжалобил и прапорщика. Висневский сочувственно пожал ему руку и протяжно сказал:

— Да, невыносимо культурному человеку здесь жить.

Учитель выругал мужиков, вспомнил плотников — и тех тоже выругал, и сказал, протягивая руку с растопыренными пальцами к прапорщику:

— Вот пятеро, а против государства идут. Залезли, как сычи, на Смольную гору и думают — уйдут.

— Куда?— оживляясь, спросил прапорщик.

Учитель вдруг понял свою ошибку.

— Простите меня,— сказал он, побледнев.

Прапорщик озабоченно прошелся по горнице и, подойдя к учителю, взял его за талию.

— Ничего,— сказал он,— ну, проговорились — и ничего. Я не выдам вас. Я понимаю. С мужиками иначе как бы вы стали жить? Это хорошо.

Выходя от старосты, учитель испуганно и озадаченно спрашивал себя:

«Вот дурак!.. Вот дурак!.. Ну как ты это, а, как?»

И опасные, темные мысли торопливо заерзали в его мозгу.

— Завтра ты меня поведешь на Смольную гору. Далеко тут? Смотри, у меня карта есть, не ври.

Староста, заминаясь, проговорил:

— Десять... верст...

Замирая сердцем, прапорщик подумал: «Есть... Не уйдут...»

А вслух заносчиво сказал:

— А пока я тебя арестую, понял? Садись тут и не двигайся.

Староста сел, поцарапал у себя за пазухой, зашептал что-то про себя и подумал: «А меня засолил, паренек».

Прапорщик почистил запылившийся национальный значок на левом рукаве и приказал денщику:

— Готовь ужин!

В день когда прапорщик с уланами поехал ловить на Смольную гору бунтующих мужиков, эти пятеро скрывающихся людей — четыре плотника и Антон Селезнев из Улеи — тоже шли на Смольную гору ночевать, но только не со стороны Золотого озера, где ехали уланы, а с востока, по осиновой черни.

При восходе солнца было еще душно.

— К дождю,— сказал Селезнев.

Шли друг за другом, гуськом. Травы были по горло, ноги липли к тучной, влажной почве.

Тонко пахло узколистыми папоротниками и светлозелеными пучками, дикая крапива свивалась вокруг ног.

Подгнившие от старости темные осины, сломленные ветром, наполовину уткнулись верхушкой в большетравье, и приходилось идти под них, как в ворота.

Кубдя отвык ходить черныо и ругался:

— Тут пчела-то не пролетит, не то что человек. Что б озером-то пойти!

Селезнев обернулся и сказал:

— А смотри, парень, кабы озадков не было!

— А что?

— Всяк человек-то бродит. Вон поляки в Улею-то приехали. Баял я мужикам-то, айда, мол, в горы. Не хочут. Ну, теперь в тюрьме сиди.

— Кабы в тюрьме,— выкрикнул идущий сзади Беспалых,— а то пристрелят!

Селезнев быстро махнул рукой и поймал овода.

— Тощий паут-то,— сказал он, разглядывая овода,— зима теплая будет.

Беспалых воскликнул с сожалением:

— Эх! Пахать бы тебе, паря! За милую душу пахать. А ты воевать хочешь!

Кубдя пренебрежительно сморщился.

— Не мумли, Беспалых, словеса-то.

Селезнев полез через гнилой остов осины, обвитый хмелем. Остов хрустнул, поднялась коричневая пыль. Селезнев снял шапку с сеткой и потряс головой.

— Вот, лешак, весь умазался! Вы, робя, мотри под ноги-то, тут-таки нырбочки попадутся, неуворотному человеку — могила!

— Чтоб тебе стрелило!

Усталые, потные, покрытые пухом с осин и похожие оттого белизной бород на стариков, вышли они на елань, а оттуда ход шёл в гору легкий.

Ель, пихта, черные пни прошлогодних палов; где особенно задевал пожар, там росла осина с березой, но тоже молодая, веселая.

С кряканьем пролетела над березняком в сторону красная утка-атайка.

— На воду летит,— провожая ее взглядом, сказал Соломиных.

Горбулину, пока шли, все казалось, что идут по следу сохатого, сейчас он потянулся, и узенькие его глаза сонно блеснули.

— Скоро дойдем-то?— спросил он.

Беспалых рассмеялся:

— Посули ему озеро в рот!..

— А ты не гундось, кургузый!— обидевшись, сказал Горбулин. В минуты усталости он часто обижался.

Кубдя строго взглянул и сказал:

— А тут, ребята, не избу рубим, а свою жизнь... Надо лучше друг на друга-то смотреть. Нечего болтать!

Подниматься становилось все тяжелее...

Среди кедра и темно-зеленой пихты попались желтые поляны песчаных, с галькою, россыпей; серел покрытый мхом и лишайником камень.

Дул на россыпях ветер.

Селезнев снял шапку.

— Вспотел, как лошадь на байге,— сказал он и, крепко прижимая рукав к лицу, утерся.

По россыпи один за другим пробежали вихри, крутя хвою.

Селезнев блаженно улыбнулся:

— Опять к дождю, говорю, парни. Урожай ноне будет...

Он щелкнул языком, и Кубдя почувствовал смутно, нутром, его тяжелую, мужицкую радость. Кубде это не понравилось, и он усталым голосом спросил:

— Отдохнуть, что ли?

— Можно и отдохнуть. Тама-ка, за кедрой, глядень будет. Айдате!

Он свернул влево. Прошли мимо желтых, словно восковых, стволов сосен. Вышли на небольшую каменную площадку. Кубдя бросил суму и ружье и ухнул:

— У-у-у!..

— У-у-у-о!..— далеко отбросило эхо.

— Вот местынь,— сказал Кубдя,— аж глазу больно!

И он, слегка наклонившись, будто сбираясь прыгнуть, глядел, пока Селезнев ходил куда-то за водой, а Горбулин раздувал костер.

Далеко внизу, зажатое меж гор, уходило Золотое озеро. Оно было синее, с желтоватым отливом, похожее на брошенный в горы длинный блестящий пояс.

Оторачивали озеро лохматые пихты, кедры. За озером в высокое бледное небо белыми клыками упирались белки.

А кругом — лес, вода и камень.

Кубдя лег на брюхо и поглядел вниз. На мгновение он почувствовал себя сросшимся с этим камнем. У него зазнобило на сердце.

Глядень обрывался сразу сажен на полтораста, а там шел пихтач, россыпи и камни. За пихтачом — озеро.

На середине глядня в три человечьих прохода поднималась кверху тропка.

Кубдя обернулся к Селезневу и крикнул:

— Антош, а ведь это к нам в гору! Тропа-то! Узнал.

— К нам,— отозвался Селезнев, развязывая мешочек с солью.— Вишь, соль отсырела.

Озноб на сердце у Кубди не прекращался.

Селезнев, грузно ступая, подошел к Кубде.

— Иди, чай поспел. Что на него смотреть,— камень и камень. Никакого порядку нету, ему и бог не велел больше расти. Сколько места под пашню пропадат!

Антон зорко взглянул вниз по тропе и слегка тронул Кубдю сапогом.

— Видишь?— сказал он шепотом.

Кубдя не понял:

— Ну?

Селезнев дернул его за руку и тоже быстро лег на живот:

— Да вон, налево-то, мотри.

Голос у Кубди спал:

— Люди!.. На вершине!..

— Поляки,— сказал Селезнев и отполз.— Красные штаны, видишь.

Они на четвереньках проползли несколько шагов, встали и подняли берданки с земли.

— Поляки,— сказал Селезнев плотникам.— Туши...

Беспалых яростно разбросал огонь и начал топтать сапогами угли.

— И чаю не дадут напиться, коловорот им в рот!.. В чернь, что ли, пойдем?

— По-моему, в чернь,— сказал Горбулин и поспешно добавил:— Мужики донесли на нас.

Селезнев заложил патроны и пополз обратно.

— Кубдя!..— подозвал он плотника.— Айда-ка, попробуем.

Поляки поднимались медленно один за другим по тропинке и весело переговаривались.

Впереди на низенькой брюхатой лошаденке ехал староста.

За ним, на серой лошади,— солдат без винтовки, должно быть, офицер. Ветер нетерпеливо чесал гривы лошадям.

Офицер часто оглядывался по сторонам и даже привставал в седле.

Но мужиков он наверху не замечал.

Антон близко навалился к Кубде, так что борода его терлась о плечо плотника, и, обкусывая бороду, он проговорил:

— Ты тово... третьего... я уж офицера...

— А старик-то?

— Старик — зря он... силком, должно... Ну!..

— Жалко человека-то... Не привык я...

— Ну, и оставался бы... Ничего нет легче человека... убить.

Селезнев положил ему руку на поясницу и ласково сказал:

— Бери, что ли...

Кубдя изнемог, поднял ружье, прицелился.

— Ну, уж бог с ним,— сказал он и выстрелил.

Как бумажки, сдунутые ветром, две лошади и два человека вначале будто подпрыгнули, потом полетели вниз с тропы, кувыркаясь в воздухе.

На тропинке кто-то пронзительно завизжал.

Беспалых выскочил на рамку камня, перегнулся и тоже выстрелил. Поляки медленно пятились, лошади

храпели, а мужики, ощерившись, как волки, мокрые, бледные, стреляли и стреляли.

Староста погнал лошадь вперед, но она задрожала. забилась и вместе с седоком опрокинулась вниз...

Вечером действительно пошел дождь.

Мужики разложили большой костер под пихтой и варили щербу из сухой рыбы. Было темно, хвои словно перебирали пальцами, хрустели ветки.

Падал гром, затем желтая молния вонзалась в горы, и камень гудел.

— Гроза на Федора летнего,— лениво сказал Селезнев,— плоха уборка хлеба будет.

— А нам-то что?— спросил Горбулин.— Нам хлеб не убирать.

Селезнев как будто с тоской произнес:

— Не придется нам, это верно...

— Верно...— отозвался Соломиных.

Кубдя посмотрел на две темные глыбы — Соломиных и Селезнева, и ему стало как-то не по себе.

— Жалко землю, что ли?— спросил он резко.

— Землю, парень, зря бросать нельзя. Нужно знать, когда ее бросить...— твердо сказал Селезнев.

— Ну, и любить-то ее больно не за что!

— От бога заказано землю любить.

— Не ври!.. Бог-то в наказанье ее людям дал,— прокричал Беспалых,— трудитесь, мол...

Селезнев упрямо повторил:

— Ты, Беспалых, не ерепенься. Может, бог-то и неправильно сказал. А только земля...

— Ну?

Селезнев взял уголек и закурил.

— У меня, Кубдя, в голове муть...

— Поляков жалко?

— Не-е.. Человек — что его, его всегда сделать можно. Человек — пыль. А вот не закреплены мы здесь.

— Кем?

— Хрестьянами.

Кубдя озлился; сердито швыркая носом, он наклонился над котелком и помешал ложкой.

— На кой мне шут оно?

— Без этого нельзя..

Кубдя взглянул в его неподвижные глаза и словно подивился:

— Что я, поп, что ли?

— Може, больше...

— А, иди ты!..

— Надо, паря, в сердце жить. Смотреть... Понял?

— А что, я зря ушел? Граблю я? Грабитель?

Говорили они медленно, с усилиями.

Мозги, не привыкшие к сторонней, не связанной с хозяйством мысли, слушались плохо, и каждая мысль вытаскивалась наружу с болью, с мясом изнутри, как вытаскивают крючок из глотки попавшейся рыбы.

Беспалых, в нижнем белье, белый, похожий на спичку с желтенькой головкой, бил в штанах вшей и что-то тихонько насвистывал.

Кубдя указал на него рукой и сказал:

— Вот — живет, и ничья!.. А ты, Антон Семеныч, мучаешься. От дому-то нелегко оторваться тебе.

— Десять домов нажить можно, кабы время было...

— Ну?

— А вот не знаю, что...

Селезнев неловко поднялся, словно карабкаясь из тины, и пошел в темноту.

— Куда ты?— спросил его Кубдя.

— А так... вы спите, я приду сейчас.

Соломиных сожалеюще проговорил:

— Смутно мужику-то.

— Не вникну я в него.

— У тя душа городская. Не зря ты там года пропадал.

Соломиных достал ложки и начал резать хлеб.

— Теперь к нам народ повалит,— довольным голосом сказал он, стукая ножом по хлебной корке.

— Откуда?— спросил Горбулин.

— Таков обычай. Увидят, что за это дело как следует взялись.

Беспалых, натягивая штаны, вставил:

— А по-моему, возьмут берданки, переловят нас — да и в город. А у меня, паря, седни и вшей — у-у!..

— С перепугу.

— Должно, с перепугу.

VII

После избиения поляков отряд стал пополняться.

Ехали в большинстве из соседних с Улеею деревень,

боясь мести из города. Такие приежали вместе со скарбом, с женами и ребятами.

Но были из дальних деревень, почти все солдаты германской войны; они приходили впешую, с котомками и с берданками, у некоторых были даже винтовки.

Становище перенесли глубже в чернь, к Лудяной горе, и здесь разбили палатки. Уже было около полусотни человек.

Встретившись с Кубдей, Селезнев сказал:

— Начальника надо выбирать.

Кубдя словно вытянулся в эти дни, углы рта опустились, а может быть, придавал ему другой вид и прицепленный к поясу револьвер, снятый с убитого поляка. Кубдя согласился, и на паужин назначили собрание.

Кубдя влез на телегу, мужики сели на траву и закурили. Кубдя хотел говорить стоя, но раздумал и только снял картуз.

Среди пяти-шести телег, накрытых для затина кедровыми лапами, бродил белобрюхий щенок, из тайги пахло смолой, и казалось, приехали мужики на сенокос или сбор ореха.

Позади всех стоял на коленях Беспалых и улыбался маленьким, как наперсток, ртом.

Ему было приятно, что теперь они не одни и что с таким уважением слушают все Кубдю.

Кубдя говорил:

— Товарищи!.. Собрались мы сюда известно зачем, вам рассказывать не к чему. Никто никого не гнал, по доброй воле... А только против одного: не надо нам колчаковского старорежимного правления, желаем свою крестьянскую власть. Что мы, волки, всякого охотника бояться? У самих сила есть, а кроме — идет из-за Урала Красная Армия. Нужно продержаться, а там, как уж получится, видно будет. Та-ак... А теперь нужно выбрать начальника, потому овца — и та своего козла имеет, чтобы водить.

Мужики захохотали.

— Думал я, думал,— продолжал Кубдя,— ну, кроме одного человека, никого у нас нет. А так как надо назначить кандидатов, то мой голос за Антона Семеновича Селезнева.

— А мой — за Кубдю,— сказал Беспалых.

Кто-то еще сказал: Соломиных. Соломиных прогудел:

— Куда уж мне? Я с бабой-то едва справляюсь.

Долго мужики галдели, как на сходе. Начали подни-

мать руки. Большинство было за Селезнева, Селезнев густо покраснел. Беспалых сказал:

— Борода загорится.

— Мотри, паря,— добродушно рассмеялся Селезнев,— я теперь начальник.

Но вдруг сжал губы и быстро пошел меж возов к реке.

— Куда он?— недоумевая, спросил Кубдя.

Соломиных посмотрел на идущего по березняку Селезнева и ответил:

— Медвежья душа у человека, никак своей тропы не найдет.

Под вечер в лагерь пришел учитель из Улеи — Кобелев-Малишевский.

Он поздоровался со всеми мужиками за руку и сел рядом с Кубдей.

— А я ведь к вам,— неожиданно для себя сказал он.

Когда он шел, он думал только взглянуть на лагерь и уйти. Кубдя посмотрел на его вытянутую вперед голову, словно его хотели сейчас зарезать, напряженную улыбку и весело сказал.

— Милости просим!

Селезнев увидал учителя и обрадовался:

— Вас-то ведь нам и надо, Николай Осипович.

Учитель улыбнулся еще напряженнее.

— Приказ надо писать. А грамотного человека нету.

— Какой приказ?— спросил Кубдя.

— А вот что отряд действует, и пусть идут, кому надо. А наберется больше — мобилизуем округу.

Все одобрили. Селезнев достал бумаги. Учитель сел, взялся за перо, и робость его исчезла. Он весело взглянул на Кубдю и сказал:

— Что писать-то?

— Пиши,— говорил кратко Селезнев.—«По приказу правительства...»

Учитель запротестовал:

— Надо поставить, какого правительства.

— Лешего ли нас в деревне знают! Им на любое правительство начхать, абы их не трогали. Написал?

— «По приказу правительства...» Написал.

— Пиши дальше! «Объявляется сбор всех желающих... воевать с колчаковскими войсками... пешие и конные... старые и малые...брать с собой обязательно берданку или винтовку... оружия у нас мало...» Нет, это не надо! Сами догадаются. «Являться на сборный пункт...»

Во-о!..Как воинский начальник, чисто! А куда являться — не знаю.

— На небо,— сказал Беспалых.

Кубдя подумал и вставил:

— Говорим так: «Первый партизанский отряд Антона Селезнева»,— и никаких.

Селезнев запротестовал.

— Нельзя,— сказал Кубдя,— мужик имя любит.

Все согласились, что мужик действительно любит имя...

В деревнях шел слух, что в город приехал из Омска казачий отряд атамана Анненкова. Деревни заволновались. Казаки отличались особенным сладострастьем жестокости при подавлении восстаний. Происходило это потому, что в отряды Анненкова и Красильникова записывались все особенно обиженные Советской властью. Атамановцы на погонах носили изображения черепа и двух скрещивающихся костей.

На базарах загромыхали рыдваны, заскрипели телеги — съезжался народ, и после базара, у поскотины, за селами, долго митинговали.

Выступали какие-то ораторы, призывали к восстанию, говорили, что Омск накануне падения, в Славгороде и Павлодаре — Советская власть, и поутру видно было на таежных дорогах мужиков, с котомками и винтовками за плечами направляющихся к Антону Селезневу.

Город тоже жил тревожно.

Говорили, что десятитысячные отряды Антона Селезнева стоят где-то недалеко в тайге и ожидают только удобного случая, чтобы вырезать весь город, за исключением рабочих. На рабочих смотрели с завистью, а начальник уезда, капитан Попов, часто беседовал с начальником контрразведки.

И телеграммы «РТА» сообщали, что красные уже взяли Курган и подступают к Петропавловску, Омск эвакуируется, и, словно подчеркивая эти сообщения жирной красной чертой, ползли по линии железной дороги эшелоны с эвакуированными учреждениями и беженцами.

И по ночам горела тайга,— шли палы, и полнеба освещало алое зарево.

И при свете этого зарева из низенькой кирпичной тюрьмы выводили за город к одинокой белой цистерне «Нобеля» арестованных крестьян. Крестьяне кресті-

лись на горевший оранжевой ленточкой восток, и тогда в них стреляли.

И никому не известно было, кто их хоронил и где...

В середине июля поехал в тайгу отряд атамана Анненкова. Была это, вернее, часть отряда, две роты с пулеметами при четырех офицерах. Сам атаман со своими главными силами защищал тогда от восставших крестьян Семипалатинск.

Солдаты отряда были озлоблены и неудачами на фронте и тем, что сильнее разгорается восстание, а их перевозят из одного места в другое, и убивают, и заставляют убивать.

Озлобленные, они жгли деревни, скирды, пороли и вешали крестьян, а те отплачивали тем, что пристреливали отстававших или поджигали избы с ночевавшими там атамановцами.

Кубдя хотел ехать в город, дабы сговориться с большевистской ячейкой работавшей в подполье, но прибежавший из города рабочий с мукомольной мельницы сказал, что ячейка переарестована и члены ее перебиты. Да и в отряд прибывали и прибывали люди.

Имелась уже своя канцелярия, где главенствовал учитель Кобелев-Малишевский, хозяйственная часть, которой управлял Соломиных, и все больше скрипело телег в отряде, и все больше приходило людей к Кубде и Селезневу жаловаться.

Говорили теперь обычные крестьянские нужды: сожгли хлеба, избу, угнали скот, того-то убили; у всех было почти одинаково, и говорили одинаковыми немногословными предложениями, но от каждого мужика и от каждой бабы, отходившей после жалобы прочь, оставалась на сердце все увеличивающаяся тяжесть.

Осанка у всех партизан стала слегка сгорбленная, бросили пить, и даже Беспалых, если выпивал, то, ложась спать, стыдливо отворачивался к стене.

Никто этой перемены не замечал, все шло как нужно, люди строжали, отряд становился крупнее, лишь Кубдя временами судорожно хохотал, махая руками,— видимо, старался отойти дальше от обступившего всех чувства связанности с землей, с ее болями и от этих пахнущих таежным дымом людей, каждый день прибывавших на телегах, верхом и впешую на Лудяную гору.

Один Селезнев ходил с головой, откинутой назад, улыбаясь, обнажая верхние резцы зубов.

— Попом тебе, Антон, быть,— говорил Кубдя.

— А тебе — грешником.

Однажды прискакал верхом Емолин. Он радостно потряс всем руки, а Кубдю похлопал по плечу.

— Живешь, парень? Я вас, подлецов, в люди вывел. Молиться на меня должны.

— Достроил амбары-то?— спросил Кубдя.

Емолин закрыл глаза и помотал головой.

— Пока достроишь с вашим братом, нижний ряд сгниет. Ну и времена! И что такое деется, никак я не пойму. Спятил народ, что ли? И смешно и дико смотреть-то...

— А ты поменьше смотри.

— Неужто, нельзя?

Емолин плюнул и лукаво хихикнул:

— Я ведь хозяин. Мне любопытно, как люди жисть устраивают, я и смотрю.

— Ты помогай.

— Ну, от нашей помоги вшами изойдешь. Тут инова калибра человек требуется. Я вот метаюсь-метаюсь, езжу-езжу и никак не пойму, какой тут человек надобен. Режут друг друга, жгут и все ждут кого-то, а?

Емолин подтянул подпругу и залез в седло.

— А у вас тут слобода! Кто хошь приезжай. Вот они какие, нонешние разбойнички, видал ты их! Чудно живете, паре, чудно!

VIII

Шли разговоры о белых:

— Бегут, бают, колчаковские-то войска!.. Чуть ли не Омск взяли. Вся земля под Советской властью, паре, будет, но-о!..

Маленький веснушчатый Беспалых даже присел на корточки, словно не мог выдержать такой мысли.

Горбулин кормил из черепка белобрюхого щенка молоком. Щенок мотал мордой, белые брызги летели вокруг, сползали по мягкой шерсти. Между возами ходили мужики с тоскливыми и озабоченными лицами, в бору звенели топоры, ржали лошади.

— Где зимовать-то придется?— сказал Горбулин, похлопывая щенка по спине.— Одуреешь без работы-то. Мается-мается народ и сам не знает пошто.

— Знал бы — так не маялся. Анненков-то близко.

— Лихоманка его дери, сломит и он шею!

— А там как придется. Либо он, либо мы,— кому-нибудь придется.

— Чернь-то большая, уйдем.

— С пулей далеко не уйдешь. Им ведь английского пороху не жалко.

Беспалых удивленными глазами посмотрел в тайгу и со злостью вскричал:

— И как только английский мужик смотрит? Зачем таку пакость позволяет? Не может быть, чтоб неученых не было! Добро бы наша темень была, а то ведь у них, бают, и неученых-то нет.

— Врут!— сказал Горбулин с убеждением.— Не может быть, чтоб неученых не было; дураков везде много. А посылают снаряжение и морочат, что, дескать, охотиться народу надо.

— Из винтовок-то?

— Из винтовок на медведя, а там в прочего зверя.

— Обмундированье-то как, а?

Горбулин озадаченно посмотрел в лицо Беспалых.

— А это уж их дело, не знаю!..

Подошел Кубдя, немного вялый, с тревожным беспокойством на корявом лице.

— Собирай манатки-то,— торопливо сказал он.

Беспалых вскочил.

— Уходим, что ли? Я сказывал, Анненков близко.

Кубдя поправил пояс. Патронташ и револьвер как будто стесняли его.

— Никуда не уходим. Мы тут будем. Бабы с возами уйдут... от греха дальше. А нам, коли придется, так в белки надо...

— По другому следу?

Беспалых крепко уперся в землю и свистнул.

— Вот плакались, работы нету!..

Между возами шла спокойная широкая фигура Селезнева. Он хозяйственным взглядом окидывал телеги и рыдваны, и как поторапливал раньше при молотьбе, немного покрякивая, так и теперь торопил:

— Собирайся, крещеные, собирайся! Эку уйму лопотины-то набрали.

Какая-то старуха в грязном азяме всплакнула.

— Жалко ведь барахло-то, Антон Семеныч.

— Так... так...— деловито сказал Селезнев.

Горбулин довольным голосом произнес:

— Айда, большак!..

Через час по таежным тропам, подпрыгивая на корнях, тянулись в черни ирбитские телеги, трашпанки, коробки.

Пищали ребятишки, в коробках гоготала птица, мычали привязанные за рога к телегам на веревках коровы, а мохноногие, пузатые лошаденки все тащили и тащили телеги.

Поспела земляника, и пахло ею тихо и сладостно. Как всегда, чуть вершинами шебуршили кедры.

А внизу на далекие версты в тропах ехали люди: плакали и перекликались на разные голоса, как птицы.

Человек триста партизан пошли за обозами за Золотое озеро, на елани осталось не больше сотни.

Ушедшие были вооружены пистонными дробовиками, а оставшиеся — винтовками. Расставили сторожевые посты, часовых и по тайге секреты. Стали ждать.

— Доволен?— спросил Кубдя у Селезнева.— Али еще скребет?

— Как-нибудь проживем,— отвечал Селезнев, устало ухмыляясь.

— Вот и благословили тебя. Должон доволен быть.

В голосе у Кубди слышалось раздражение.

— Не жалуюсь. А кабы и пожалиться — какая польза?

— Будто новорожденный ты, ступить не знаешь куды.

Селезнев вскинул взгляд поверх головы Кубди и повел рот вбок.

— Слышал ты,— сказал он смягчающе,— Улея-то в персть легла?

Беспалых одурело подскочил на месте.

— Сожгли?..

— Спалили,— просто ответил Селезнев, вынимая кисет.— Ладно бабу вовремя увез. Повесили бы. Озлены они на меня.

— Придут седни.

Селезнев завернул папироску, прытко повел глазами и слегка прикоснулся рукой до Кубди.

— Седни не будут, помяни мое слово. А Улея-то только присказка, притча-то потом будет.

Он разостлал шинель на землю.

— Ложись, отдохни.

И, положив свое тело на землю, он углубленным, тягостным голосом проговорил:

— Самое главное — не надо ничему удивляться. А там уже и гнести нечему тебя будет, а? Кубдя! Ты как думаешь?

— Я вот думаю,— сказал Кубдя,— что у нас пулеметов нету, а у них три. Покосят они нас.

— Они укоротят,— с убеждением проговорил Горбулин.

Селезнев сорвал травку и начал ее разглядывать.

— Мала, брат, а так можно брюхо лошади набить, беда!— сказал он с усмешкой.— Ноне травы добрые. Оно, конешно, у кого косилка есть, лучше, чем литовкой. А я так маракую, что в кочках-то с машиною не поедешь, Кубдя?

Кубдя тоже ухмыльнулся:

— Не поедешь, Антон Семеныч.

Селезнев утомленно закрыл глаза.

— А и устал я в эти дни. Будто тысячу лет прожил. Ты, Кубдя, жиреть начал.

— Во мне-то и никогда жиру не было.

— Это плохо. Без жиру — как без хлеба. Завсегда запасы надо иметь.

Он прикрыл лицо картузом и крупно зевнул.

— Добро хоть гнусу нет. А то б заели.

И, лишь чуть прикрыв глаза, сонно захрапел.

Через два дня, поутру, партизаны встретились с атамановцами у Поневских ворот.

Поперек речки Буи лежит восемь громадных камней. Среди них с плеском и грохотом скачет вода, вскидываясь белыми блестящими лапами кверху.

У левого берега вода спокойнее, здесь даже можно проскользнуть на лодке.

Вверх дальше по Бую — горы, похожие на киргизские малахаи из зеленого бархата, а внизу — речная заливная равнина.

Партизаны спускались по реке, а атамановцы поднимались.

Атамановцы растянулись по елани длинной цепью, окопались, поставили два пулемета и начали стрелять. Мужики стреляли поодиночке, тщательно прицеливаясь, разглядывая, не высунется ли казак. Несколько раз атамановцы вскакивали и с неверными криками «ура» бежали на партизан.

Но тотчас же падало несколько убитыми и ранеными; атамановцы опять окапывались и торопливо щелкали затворами.

Мужики лежали за кедрами и молчали.

На небольшой елани, слева окруженной потоком, справа — чащей, в которой лежала не стрелявшая вто-

рая рота атамановцев, резались пули перестреливавшихся.

Людей кусали комары, и тех из атамановцев, которых ранило, пекло солнце, они просили пить.

Но пить им никто не давал; всем хотелось убить больше тех мужиков, которые спрятались за кедры и неторопливо метко стреляли.

Так они перестреливались около полутора часов.

Наконец офицеры устроили совет и приказали наступать, то есть во что бы то ни стало идти на стрелявших из-за деревьев партизан и перебить их.

И хотя бежать в высокой, опутывающей ноги траве было нельзя и не было надежды, что партизаны побегут и не будут стрелять, все же мысль эта никому не показалась дикой, и атамановцы, вместе с офицерами крича «ура» и стреляя, полезли по траве и по чаще. В раскрытые рты набивалась трава, осыпающая неприятную сухую пыльцу.

Рядом как-то немного смешно падали раненые и убитые, атамановцы же продолжали кричать «ура», стрелять и идти вперед.

Из-за кедров все так же помаленьку, лениво стреляли мужики, и казалось, что дерутся они не серьезно, а сейчас бросят ружья и выйдут просить мировую.

До кедров оставалось не более ста шагов, как вдруг атамановцы выстрелили разом и закричали:

— Ура-а!

От этого слабого крика ли или от чего другого, но атамановцы почувствовали, что им плохо и что им нужно бежать. Атамановцы остановились и закричали уже совсем не своим голосом:

— У-а-а-а...

И, повернув обратно, побежали.

Из-за таежных стволов, на окоемок, выскочили мужики в азямах, в ситцевых рубахах и нестройно заорали:

— Бросай винтовки-и!..

«Конец»,— думали атамановцы и бежали, сами не зная куда.

Позади себя им мерещилось мужицкое дыхание, оскаленные, лохматые лица, и медно-красные пятна заплясали в глазах у атамановцев.

Некоторые из них бросились в воду и поплыли на другую сторону.

Туда же прыгнули двое офицеров, но плыть они не

умели и, непонятно суетясь руками в воде, схватились за сучья повисшей над водой талины.

В это время на берег выбежали Кубдя и Беспалых и, увидев офицеров, словно напоказ, подождали, пока они крепко уцепились за сучья, тогда, вскинув ружья, выстрелили.

Напрягая волну, река потащила тела.

Насилу добежав до конца елани, атамановцы увидали здесь свои пулеметы.

Тогда они вновь почему-то почувствовали силу и начали отстреливаться.

— Назад!— оглушенно заорал Селезнев.

И, как цыплята под наседку, пригибаясь, мужики побежали в тайгу.

На берегу Беспалых почувствовал боль в голени и, пощупав мокрую штаниту, сообразил: «Ранен».

Он улыбнулся вдруг ставшим белым, как старая кость, лицом и сказал громко Кубде:

— Ранили меня...

— Эх, олово!— сказал Кубдя и, взяв его под мышки, повел.

Позади на елани опять шли вперед атамановцы.

Мужики, отстреливаясь, медленно повернули вправо и пошли в горы.

А их снова ровной цепью, стреляя и прячась за стволы, догоняли атамановцы.

— Ура-а!— время от времени кричали атамановцы.

Ноги у Беспалых ныли, голова тяжелела, и все тело словно было лишнее.

Его вели, подхватив под руки, Кубдя и Горбулин, а позади шел растрепанный и потный Селезнев и после каждого выстрела торопил:

— Иди, иди, не отставай!..

Вошли в березовую чернь.

В бледноватой зелени берез, как темные пуговицы на светлом платье, пихты.

Опять мешали идти огромные травы, не было уже папоротника, но резал руки сладко пахнущий осот.

Беспалых, словно охмелев от боли, начал заплетаться языком и при каждом шаге отчаянно кричал:

— Пустите, ребята, пустите!

И, ощущая цепенеющую усталость в руках, Селезнев пятился, стреляя, и печальным голосом повторял:

— Не ной, Беспалых... не ной, парень... Поторапливайся, поторапливайся... Не отставай...

Мужики уже всей оравой ушли вперед.

Подыматься в гору становилось все круче. Остановились перевязать рану Беспалых, но, услышав близко перекликающиеся голоса атамановцев, опять пошли.

Под ногами скользили гальки, далеко по окоемку приходилось обходить каменные «лысины», а позади не переставая щелкали впустую выстрелы атамановцев.

Селезнев повеселел и повесил за плечи винтовку.

— Уйдем,— сказал он.— Уведем их к лешему!

Голова у Беспалых покачивалась, как созревшая маковка под ветром.

Солдатские штаны смочились густой кровью, этой же кровью были запачканы руки и Горбулина и Кубди.

У Кубди на локтях сатиновой синей рубахи была широкая прореха, виднелось розоватое, искусанное комарами тело.

Селезневу стало муторно смотреть, и он отстал.

Чем они выше подымались крутыми подъемами между плитами камней, величиной с избу, серых, с ровными, словно отпиленными краями, тем сильнее они чувствовали какую-то ждущую их неизвестную опасность.

Они начали прибавлять шагу, несмотря на усталость, не огибая россыпей.

Кончились березки, осины.

Лохматились одни кедры, и хотя так же грело солнце, но с белков дул суровый, крепкий и холодный ветер.

Они затянули крепче пояса и, как будто желая разорвать опутывающие сети тишины, нарушаемой одним ветром, заговорили громче.

Под ногами захрустел мох.

Они остановились, вытерли замазанные глиной в черни ноги об седую, хрумкающую, как снег, траву, затянули крепче рану у Беспалых, переглянулись и молча торопливо пошли выше.

Ветер развевал волосы, горбом вздувал рубахи.

Мысли, с устатку ли, с другого чего, разжижались, и нельзя было заставить их исполнять свою обычную работу.

Селезнев теперь указывал дорогу.

Он был мокр,— даже толстый драповый пиджак вымок, будто был под дождем. Белки глаз его подернулись красными жилками, а зрачок все расползался и расползался, как масляное пятно на скатерти.

Он кинул фуражку и шел простоволосый, с расчесанной ветром черной бородой.

Кубдя чувствовал себя разопревшим, утомленным.

Рядом на руке висел маленький, кричавший все время рыжеволосый человек. У этого человека был постоянно разинутый рот с болтавшимся там обрубком языка, рот, издававший такие звуки, как будто резали ножницами листы железа, и временами Кубдя никак не мог вспомнить, где они видели эти мокрые усы и веснушчатую, морщинистую переносицу.

Вдруг россыпь расширилась, и они увидели перед собой голое холмистое поле.

По полю ровной цепью стояли люди с винтовками, и навстречу бежало шесть человек с револьверами.

Люди были одеты в английские шинели, и мужики, взглянув на них, почувствовали холодный ветер и заметили недалекие, похожие на синеватые сахарные головы белки снегов.

Селезнев сорвал оружие и крикнул и прервал крик выстрелом:

— Беги...

«Бу-о-ах!..»

Затем он замахал руками на Кубдю, лицо его неожиданно помолодело, и он торопливо сказал:

— Бросай... беги...

Он наклонился, сунул Беспалых револьвер и, пригибаясь, побежал.

За ними побежали остальные.

Беспалых стало страшно и, желая отвязаться от мыслей о себе, приставил револьвер к виску, но раздумал и выстрелил в бок.

— Все!..

Обрывками на бегу думал Селезнев:

«Путем... ошибся... Надо было... мокрой... балкой...»

И ему пришло в голову, что он хотел еще увидеть идущих из России красных.

«Посмотрим...»— мелькнуло у него в голове.

Он остановился и ровным голосом сказал:

— Стой, паря! Не убежишь!

Услыхав его голос, Кубдя подумал: «Мертвец»,— и быстро остановился.

Позади них лег Горбулин, потерявший винтовку в бегу.

— Посмотрим...— сказал Антон, всовывая обойму.

IX

Через неделю сводка «На внутренних фронтах» сообщала, что в районе Улеи бандитские шайки Антона Селезнева рассеяны, а сам он погиб в перестрелке.

А через два месяца партизаны и регулярные части Красной Армии взяли Ниловск, и крестьяне привезли с белков трупы Селезнева, Кубди и еще четырех неизвестных.

Вырыли глубокую могилу, пришли рабочие с красными знаменами, оркестр играл «Интернационал», ораторы в серых шинелях с жестяными звездочками на белых заячьих шапках долго говорили и указывали рукой на восток.

В стороне же, позади процессии, стоял подрядчик Емолин в желтом овчинном полушубке и смотрел на красные знамена, ярко сверкавшие трубы музыкантов. На душе у него было умиление и жалость. Он вытирал на носу слезы и говорил соседу:

— Заметь: хо-орошие парни были.

1920—1921

ФАКИР ПОДХОДИТ К ЦИРКУ *

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ

замечательных похождений, ошибок, столкновений, дум, изобретений знаменитого факира и дервиша

БЕН-АЛИ-БЕЯ,

правдиво описанных им самим в пяти частях со включением очерков:

о его «Соломенной собаке»; о поисках Волшебной библиотеки и восхитительной Индии; о его странствиях по Сибири и Уралу; о фауне и флоре виденных им местностей; о встречах и беседах с офицерами и солдатами времен империалистической войны; о Красной гвардии; об изучении им ремесел; о сочиненных им драмах; о стихах, написанных по разным поводам; о сборе им полезных сведений, общих и частных, во всех отраслях хозяйства, как-то: земледелии, огородничестве, садоводстве, лесоводстве, скотоводстве, птицеводстве, звериной, птичьей и рыбной ловле, в поваренном и кондитерском искусстве, в лечении обыкновенных болезней домашними средствами, во всем, что входит в круг хозяйственных занятий и может споспешествовать приумножению достатка; с присовокуплением, где нужно, изъяснений из естествоведения, физики, химии, страстей и увеселений, производимых цифрами, картами, зверьми, а также пословиц, анекдотов, суеверий, например: «Судьба треножника Пифии, жрицы оракула Дельфийского, сопровождаемая краткой мифологией и каталогом листков персидской сивиллы Самбетты», и т. д. и т. п.

1895—1918 гг.

---

* Первая часть романа «Похождения факира» (1934—1935).

Когда я поглядел на себя в осколок зеркала при тусклом свете фонаря, мной овладел такой страх при виде себя самого, столь похожего на ужасный труп, что я задрожал как лист и готов был отречься от своей роли.

Эдгар По, «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима из Нантукета»

— Пим!— шептал голос.— Не надо, никогда не надо забывать бедного Пима!

В этот раз я слышал совершенно ясно, что кто-то произносил эти слова совсем близко от меня.

Жюль Верн, «Ледяной сфинкс»

1

Вся моя семья отличалась удивительнейшей тщеславностью. Вот мне сейчас тридцать девять лет, я видел множество людей, иногда их расспрашивал с любопытством, почти страстным, объехал много стран, прочел много книг по истории, но нигде и никогда не встречал я людей более тщеславных, чем моя родня.

Дед мой с материнской стороны, Семен Калистратович Савицкий, когда ему было заведомо семьдесят лет, рассказывал всем, что ему сто семнадцать, что он ссыльный из польских конфедератов, что он каторжник. В переднем углу, возле божницы, висели громадные цепи, которыми его будто бы приковывали к тачке на каторге. Шесть дней в неделю он страшно враждовал с богом. Ругательства и подлости, которыми он награждал бога, сыпались из его рта непрестанно. Под конец он выбрасывал иконы в чулан, грозя их разрубить топором, и не рубил только потому, что фольговые ризы мог выдавать за серебряные. Приходило воскресенье. У деда собирались гости. Появлялся поселковый поп Андрей, ехидный и глуховатый старикашка, с пепельным лицом и короткими ручками, постоянно сморкавшийся в серый длинный платок. Он больше всех гостей восхищался рассказами деда Семена, и ради этого восхищения дед мой в воскресенье утром примирялся с богом. Дед протирал иконы постным маслом, зажигал лампадку, а поздней ночью целовал кандалы, утверждая, что только через кандалы он познал настоящего христианского бога, который являлся ему всегда при его страданиях, утешал его, а особенно ловко утешал тогда, когда деда пороли шпицрутенами.

— Каторжников-то, кажись, не пороли шпицрутенами?— осторожно говорил ехидный поп Андрей, так быстро орудуя сереньким своим платочком, что короткие ручки его, казалось, доставали до полу.

— Это почему же не пороть бы?

— Военных пороли шпицрутенами, и даже наказание это считалось для штатского приобретением. Некоторые гордились, когда подпадали к такому наказанию.

— Вот меня и пороли, поймавши после восстания! Я воевал за Польшу, будучи польским военным.

— Любопытно бы знать, через какой способ пороли шпицрутенами?

— Для каждого удара отдельная палка.

— А если три тысячи ударов?— спрашивал ехидно попик.

— Восемь тысяч я выдержал!— орал тощим своим голосом дед Семен.— Восемь тысяч, и на каждый удар отдельная палка. Пятнадцать возов палок на меня истратили, а я продолжаю стоять неподвижно. Тогда генерал рассердился, заковал меня в кандалы и сказал: «Послать его к чертям собачьим в Сибирь, на Иртыш, в поселок Лебяжий, и пусть он живет до ста пятидесяти лет». И проживу!

— Как не прожить,— соглашались гости.

О, эта родня моего деда! Выслушав, они рассказывали сами. Оказывалось, что поп Андрей приходился ближайшим родственником Ермаку и графу Демидову Сан-Донато. Крестный мой участвовал в штурме Варшавы, взял в плен моего деда и весь полк, которым тот командовал. А поселок Лебяжий раньше, несомненно, был столичным городом! А в Иртыше по ту сторону, на отмелях можно найти неисчислимые сокровища турецких богдыханов.

Трубки дымились, клокотал самовар. За крошечными окнами блистала широкая степная тишина. Каменные бабы торчали возле солончаковых озер. У тракта, по которому мчались лихие усатые почтальоны, беркуты рвали труп сдохшей лошади. Озера похожи на бельма, вокруг них камыши, за камышами — лога; а дальше — на десятки и сотни верст — заросли дикой клубники, где бродят пудовые жирные дрофы; а за дрофами — сосновые леса, «боры».

Бабка моя Фекла, жена деда Семена, неустанно желала быть святой подвижницей. Поэтому богохульство деда ей доставляло удовольствие: чем больше страданий,

тем легче стать праведником. Она любила водку, хорошую закуску, веселых гостей, но от всего этого отказывалась, а в последние годы, чтобы меньше видеть греха, начала притворяться слепой. Зимой и летом в тулупчике, кругленькая, курносенькая сидела она на крылечке, держа в руках мешочек с травами.

По двору, поглядывая на небо, бегал длинный, синий и тощий дед Семен с ружьем за плечами. Он любил стрелять ворон и коршунов, охотящихся за цыплятами. Мне казалось, что он хочет поймать и подстрелить бога, а бабка караулит, дабы удержать его от этого великого преступления.

Бабка Фекла ничего не понимала ни в травах, ни в болезнях, но так как все предания говорили о том, что святые излечивали больных травами, то лечила и она. Думаю, приходили к ней лечиться не столь больные, сколь желающие похвастать, что их излечила лебяженская святая Фекла. Денег за лечение она не брала, не брал их и дед Семен, который, хотя и ругался, что в доме завелась угодница, но тем не менее был явно доволен: если богу некогда спускаться к нему для борьбы, то он подсылает святых.

Бабка Фекла лечила однажды богатого киргиза Таксы-бая. Киргиз страдал болями в желудке, бабка велела съесть ему на рассвете полфунта желтой глины, смешанной с отрубями и травами, а затем поститься десять дней. Выздоровев, Таксы-бай привел мне в подарок необъезженного жеребца. Он подарил мне коня потому, что ни дед, ни бабка, ни тем более отец мой подарка б не приняли. Происходило это в рождественские каникулы 1910 года. Я тогда учился в Павлодарской сельскохозяйственной школе. За мною числилось пятнадцать лет жизни.

Конь, как и полагается необъезженному коню, бил копытами, раздувал ноздри, хвост — трубой. Ветхие заборы нашей ограды были унизаны любопытствующими казаками, все желали видеть, как я буду объезжать подарок, ибо, по казачьему обычаю, полагалось сесть на подаренного коня, если он объезженный, один раз, а если необъезженный — три раза, а сшибет он или не сшибет — это уже дело другое.

Коня оседлали. Отец смотрел на меня с гордостью. Бабка — в землю, дед — целился в небо. Я с трепетом уселся в седло. Конь взвился. Я перелетел через его голову. Конь перелетел через меня. Я перелетел через сугʼ

роб. Снежные бури перелетели через меня. Из сугроба меня выволокли за ноги. Отец смотрел скромно, бабка — готовясь излечить, дед — вспоминая свою молодость.

Я влез второй раз. Еще более стремительно я ударился в сугроб, и конь, испугавшись моего воя, перемахнул через бревенчатый забор. С укрючинами в руках за конем побежали киргизы. «Хоть бы им его совсем не поймать!» — томительно думал я. Широко вокруг меня расстилалась пустота, упиравшаяся в молчаливое презрение. Из снега торчали втоптанные конем мои рукавицы, шапка, полушубок; в ногах звенело; из ушей лилась вода.

— Ведут, — сказала бабка лечебным своим голосом.

И вот третий раз подвели мне коня. Он был страшен, пар клубился над ним, пена струилась изо рта, от каждого удара его копыта лиловый клуб снега взлетал над толпой. Треск из его желудка походил на треск лопающихся льдин при крещенских морозах. А глаза у него были нежные, голубые. Надеясь единственно на эти голубые глаза, я поставил ногу в широкое стремя. Киргизы совсем было отпустили поводья, но тут дед Семен потрепал меня рукой по валенку и сказал:

— Упадет, непременно упадет, и не в сугроб теперь, а в бревно головой. И никакими святыми не исцелить его.

— Христос и мертвых воскрешал, — обиделась бабка Фекла.

— А если я сегодня в Христа не верю, — завизжал дед, уцепившись синими руками за седло. — Если мне сегодня на всех богов начхать? Слезай, Сиволот!

— Мне надо проехать третий раз, — сказал я, немедленно слезая.

— Наездишься после меня. Я вам покажу, как надо коней объезжать!

Сам Таксы-бай почтительнейше подал деду Семену стремя.

— Я вам покажу, как объезжали коней сто лет тому назад, — сказал дед, усаживаясь в седло и подбирая под себя полы чапана. Он похлопал рукавицей вдоль заиндевевшей гривы и взял повод. — Пускай!

— Пу-уска-ай! — воскликнули киргизы.

— Эх ты, милый! — взвизгнул дед.

Киргизы отпрыгнули. Сердце мое екнуло от радости. Конь совершил такой невероятный прыжок, что мне было приятно подумать: вряд ли падал кто-нибудь с

такой высоты, с какой мог упасть я. А конь крутил, носился по двору, и голубовато-белые сугробы вертелись вокруг него. И вот, уже без всадника, махнул голубоглазый конь через забор, а дед мой лежит в сугробе как раз в том месте, где недавно лежал я.

Я схватил деда за ноги.

— Тащите меня под образа,— сказал дед Семен,— а ты, Фекла, зови всех богов меня исцелять. Не дожить мне до полутораста лет. Да и тебе, Сиволот, не дожить.

Мне было жалко деда. Я плакал. Я любил его синюю бороду, длинные синие рукава его чапана, его тощий голос, его каторжные цепи, его Варшаву. Сам я имел все основания сомневаться в божьем могуществе. Несколько лет назад, в селе Волчихе, отец определил меня в церковь прислуживать попу. На меня надели парчовый халат, серебристый и широкий. Я подавал кадило. Когда поп уходил из алтаря, я пил теплое, разбавленное кипятком вино, приготовленное для причастия, и курил украденные у отца папиросы, пуская дым в форточку печки. Слева висел чернобородый Николай Мирликийский. Он неустанно смотрел мимо меня. Его спокойствие злило меня, я подпалил свечкой его бороду. Я прожег его вплоть до дерева. Затем я съел четыре просфоры, приготовленные для причастия. Боги молчали. Я бросил таракана в питье, которым запивают причастие, и наш почтенный церковный староста выпил этого таракана. Бог молчал. И тогда, исключительно только с целью напакостить богу, я продал свою душу дьяволу. В нашем роду, причислявшем себя почему-то к польским выходцам, много рассказывали о пане Твардовском, который отдал свою душу сатане. У пана Твардовского, судя по всем рассказам, душонка была среднего качества, но дьяволу она почему-то понравилась, и пан променял ее с большой выгодой. Его, например, никак не могли арестовать, он безнаказанно совершал всяческие жульничества и подлоги, он исчез, нарисовав на стене углем коня. Но лично встречаться с дьяволом мне все-таки не хотелось. Я рассчитал, что, если напишу кровью обязательство и брошу его в церковную печь, оно непосредственно попадет в руки дьяволу, ибо дьявол как раз здесь сидит на углях, не решаясь вылезть в алтарь. Поп Андрей часто подходил к печке и плевал в нее. «Не иначе,— думал я,— что он плюет на дьявола».

С трудом я выпросил перочинный нож, который имелся у гимназиста Егорки, поповского сынка. Ножик ока-

зался тупым. Я попробовал прокусить руку — больно. Тогда я сбегал в сторожку и выпросил шило у звонаря. Ткнул шилом в руку. Показалась кровь. У меня было приготовлено гусиное перо, ибо я помнил, чем пан Твардовский подписывал договор.

Перо было очинено плохо. Писал я на подоконнике в алтаре. За окном лежали неисчислимые сугробы. Взлетали голуби. Шло говение. Поп сонно бормотал у алтаря. Угли в печке горели медленно, атласным огнем. Пахло ладаном. Весь подоконник заставлен был пустыми бутылками «церковного» вина. Оказалось, что писать целый договор, помимо незнания его формы, было трудно и потому еще, что поп мог заметить. Поэтому я просто написал: «Согласен В. Иванов» — и бросил эту бумажку в печь, но тут же, чтобы дьявол не обманул меня, я высказал ему шепотом мои условия. Я требовал: валенки-чесанки цвета яичного желтка в молоке, «барнаульские», расшитые; коньки; перочинный ножик и окончание романа «Таинственный остров», начало которого я нашел на поповском чердаке.

Дьявол, должно быть, удовлетворял запросы других своих клиентов и не торопился исполнять наш договор. Коньки я получил приблизительно лет шесть спустя. «Таинственный остров» прочел через восемь лет, перочинный ножик приобрел только зимой 1933 года в Берлине, а валенок желаемого цвета и расшивки все еще не имею.

Итак, дед Семен помирал. Помирал очень обиженный, объясняя неудачу тем, что конь заколдован, а бабка Фекла не сумела отколдовать. Бабка и здесь делала особое лицо. Ясно, ей хотелось исцелить деда, но в то же время — какая ж она святая, если начнет исцелять домашних? Общеизвестно, что святые исцеляли чужих. Она даже обмолвилась: «Эх, будь бы ты, Семен, посторонний!» Прах ее знает, но, пожалуй, она желала ему смерти. Теперь-то и начнутся для нее те чудовищные, неистребимые страдания, которыми мучились все святые! Дед Семен вносил легкомыслие в ее жизнь.

Дед Семен умер. Его похоронили, но тщеславие моей родни нисколько не уменьшилось. И не успел труп деда остыть, как уже говорили, что вот Сиволот не сумел коня объездить, а стосемнадцатилетнему деду удалось укротить. Кстати сказать, конь оказался очень смирным, а дурил он тогда оттого, что при поспешной седловке ему под кошму, заменявшую чепрак, попала щепка. Но

еще более удивительно: историю о том, как я не мог объездить коня, а стосемнадцатилетний дед мой объездил, я рассказывал еще совсем недавно.

Бабка Фекла ото дня в день святела все больше и больше. Просто износу не было ее святости! Притворяясь слепой, она требовала, чтобы ее вели под руки не меньше двух человек, причем эти водители бормотали бы за ней нескончаемые молитвы. Конечно, нашему дому было приятно, что вдоль всей Горькой линии о нас шла слава. К нам заезжали самые знаменитые люди, и однажды даже остановил свою тройку станичный атаман Егор Трубочев. Но моему отцу видеть это было обидно. Он должен чем-нибудь проблистать и переблистать!

Мой отец Вячеслав Алексеевич Иванов, был удивительнейший человек. Водку он не любил, переносил ее с трудом, но пил ее в неимоверном количестве. Мать его, Дарья Бундова, по ее словам, служила в экономках у знаменитого генерала Кауфмана, «завоевателя Туркестана». Есть все основания полагать,— хотя бы из того, каким мой отец был наездником-джигитом,— у бабки Дарьи случился грех с кучером. Но так как отец мой был «незаконнорожденный», то бабка рассказывала, что грех этот от Кауфмана. Отец мой работал раньше на приисках, затем прошел учительскую семинарию в Ташкенте, а оттуда явился пешком на Иртыш. Лебяженских мальчишек он обучал преимущественно маршировке и пляскам. Он даже арифметику умел преподавать с плясом. Да что арифметику! Уж на что чистописание, казалось бы, какой замысловатый предмет, но и туда он умел вносить пляску. Он играл на балалайке, а ученики плясали по кругу, вдоль которого были выведены на полу мелом правильно написанные буквы. Для того чтобы запомнить букву «ять», он навешивал слова с «ятью» на спины ученикам, и они опять-таки плясали.

И вот этот учитель Вячеслав Иванов сделался зятем святой Феклы. Ее святость огорчала его. Какое бы дело ни совершил отец для славы, все же бабка Фекла перекрывала его. Отец получил за джигитовку саблю с надписью. Он брал призы в «городке». Он скакал лучше всех. Тщеславие его было столь огромно, что он, несмотря на свою хилость, в байгу боролся с искуснейшими борцами — и часто побеждал. Но тут бабка Фекла исцеляет глухую! Бабка Фекла молится о дожде, и дождь выпадает. Заболеет корова — она мгновенно вы-

лечит. У станичного атамана Трубочева угнали аргамака — она помогла найти воров.

Отец приносил ей «кожаные» книги, читал «пролог» и Четьи-Минеи, указывая, что святые не таковы. Нигде не написано, например, будто святым подобает пить кумыс. От кумыса бабке трудно было отказаться, и она говорила: как и всем святым, у которых имелись зятья, ей предстоит испытать и не такие еще издевательства.

И точно, она их испытала.

Киргизы доверчивее казаков. К бабке приходило много киргизов исцеляться. Не в дар, а для разговора они приносили ей в турсуках кумыс, которого она выпивала не меньше ведра в день. Она сидела на крыльце, розовая, веселая, с закрытыми пускай, но хитрыми глазами.

Отец выписал почтой азбуку арабского языка, а несколько позже словарь. Он выучил арабский язык. Затем он съездил в степь к знаменитому ишану Гауказу Фахтулину проверить свои знания. Однажды он созвал к себе киргизов и стал читать им Коран по-арабски. Он читал и толковал по всяким поводам: при болезни, при несчастии, при счастии. Он объяснял будущее, он разъяснял настоящее. Он врачевал.

Киргизы повалили к отцу.

Он отказывался от кумыса. Вот он какой бессребреник! Он отдавал кумыс бабке.

Исцелять, по-видимому, возможно многими способами. Отец, например, исцелял посредством Корана. Но бабка Фекла не верила в силу Корана и говорила, что отец украл у нее тайну трав. Вскоре она нажаловалась попу Андрею. «Учителя Иванова посетил дьявол»,— говорила она. Он отнял у нее киргизов, которых она хотела обратить в христианство. Поп Андрей смутился и поехал за советом к благочинному. К отцу явились благочинный о. Гавриил, поп Андрей и станичный атаман Трубочев. Благочинный был высокий седой старик, большой любитель коней и сам отличный наездник.

— Ты чего это, Вячеслав Алексеевич, разводишь? В магометанство переходить собираешься?

— Нехорошо! Жил как человек, а тут...— Станичный атаман склонил толстую голову набок и задремал, ибо генерал Шмит, наказной атаман сибирского казачьего войска, тоже любил подремать.

— Надо, прежде чем осуждение, узнай причины,— сказал им отец.— Вот, смотрите, здесь написано...

Он раскрыл Коран и прочел по-арабски.

— А я киргизам объясняю, что все это ложь. Я их сшибаю с направления через неправильное толкование и тем склоняю к христианской вере. Вот вы киргизов-то спросите-ка, каковы их мысли теперь о своем Магомете.

— Охота мне,— сказал благочинный и уехал, довольный объяснением отца.

Отец был тоже доволен. Но битвы между ним и бабкой продолжались.

Получив раз двухведерный турсук кумыса, отец влил туда бутылку спирта, а через день, когда кумыс пробродил, принес турсук в подарок бабке Фекле.

Кумыс ей нравился. Она пила стакан за стаканом. Отец пригласил гостей. Он врал о какой-то необыкновенно страшной любви своей к великой княгине Софье, которая жила в городе Верном. И кстати, он рассказал о найденном им и немедленно пропитом кладе сасанидских монет. На дворе жара и высокое солнце.

Бабка охмелела. Она вдруг запела, но не церковное, а «Вот мчится тройка удалая». Отец смотрел насмешливо. У него желтое лицо. Внизу прокуренные зубы, сверху карие узкие глаза. Он весь стройный, ловкий, узкий.

Бабка пошла в пляс. Вначале гости подумали, что так полагается для святых или что она помешалась. Но бабка раскрыла глаза. Бабка прозрела! Бабка требовала водки. Она напилась вдребезги и заснула на паперти, облевав все вокруг и пририсовав углем великомученице Варваре — иконе, которая стояла у входа, нечто непотребное. Отец был жалостлив. Он принес домой бабку на плечах, уложил спать, а непотребность счистил.

Свержение Феклиной святости принесло отцу моему множество бед и страданий. Так как бабка теперь уже никак не могла возвратить себе святость, она пустилась в торговлю. Она подыскивала компаньонов, чтобы открыть мелочную лавку в Лебяжьем. Лавочник, брат атамана Трубочева, обеспокоился и побежал жаловаться.

— Она же кыргыз хочет взять с собой в коммерцию! Кыргызы будут заслуженным казакам, георгиевским кавалерам, товары продавать.

Станичный атаман призвал моего отца.

— Тебе, друг мой, лучше бы не сбивать людей с правильного... Вот ты к чему кыргыз-то Кораном потчевал. Приобрести с ними хочешь капитал? Я тебя для начала уволю, а там еще и под церковный суд отдам.

Отец испугался и захлопал глазами.

— Мирись, пускай лучше она святой останется.

Отец побежал мириться. Многое он придумывал, дабы вернуть бабку Феклу к святости. Он и Коран толковал, где выходило: киргизу не полагается торговать в компании с христианами. Он и грозил, что сам откроет торговлю. Не помогло. Слухи об открытии Феклой торговли не утихали, хотя компаньонов, особенно когда узнали, что станичный атаман обижается, не находилось. Бабка стала шинкарствовать. Отец, решив, что бабка, накопив денег, откроет торговлю и его тогда выгонят, обдумывал иной поворот своей жизни.

Отец мой решил стать ученым. К тому же он знал арабский язык, знал и киргизский. Свою ученую деятельность он начал с того, что взялся составить словарь киргизского языка. Тут какой-то проезжий старичок из Москвы описал ему замечательную форму студентов Лазаревского института восточных языков. «Пора мне сделаться студентом»,— вдруг сказал отец.

Он взял краюху хлеба, вырезал палку, зашил в полу тридцать рублей скопленных денег и пошел пешком в Москву — сдавать экзамен на студента Лазаревского института. Он ходил три года. Мать моя Ирина Семеновна в это время служила по людям в кухарках. Изредка мы получали от него письма. Одно из них было из Иерусалима. Сдав экзамен, он надумал по дороге посетить Мекку и для этого, по-прежнему пешком, направился в Одессу.

В Одессе он познакомился с богатыми мусульманами, которым сказал, что желает перейти, или даже перешел, в мусульманство. Он приобрел зеленую чалму и называл себя Иван-беем. Богатые мусульмане купили ему билет на пароход, который должен был везти паломников к Мекке. Перед отъездом, на постоялом дворе, он разговорился с паломниками, которые на другом пароходе уезжали в Иерусалим. Его начали стыдить... Тогда отец мой решил вначале съездить в Иерусалим... Как-никак он православный. Да и пароход, который шел в Иерусалим, отправлялся раньше, чем меккский. Отец продал мусульманский билет и купил себе новый билет, до Иерусалима.

В 1912 году, приехав из Павлодара, нашего уездного городка, уже наборщиком, то есть когда я считал себя человеком совсем самостоятельным, я спрашивал у отца:

— Ну, пап, каков из себя Иерусалим?

— Так, вроде Ташкента,— уклончиво отвечал отец.

Мы стоим у забора школы. Перед нами пыльная поселковая улица. Бредет желтый, отбившийся от стада теленок. Девчонка гонит его хворостиной, теленок прыгает и никак не хочет вернуться в пригон. Утки поднимаются лениво по откосу от Иртыша.

Отец вынес из странствований длинную костяную зубочистку. Эта зубочистка в поселке всех необычайно удивляла. Отец постоянно, даже во время обедни, ковырял ею в зубах. И сейчас он стоит, ковыряя ею.

Сдав в Лазаревском институте экзамен, отец достал зашитые тридцать рублей, купил тужурку с погонами, блестящими пуговицами и петлицами. На штаны не хватило. Через три года, подойдя ранним утром к поселку, он не вошел в поселок, а остановился у ветряных мельниц. Он ждал, когда наступит вечер и казаки выйдут на завалинки курить свои трубки. И казаки знали, что учитель В. Иванов ходит возле поселка, и они считали, что он поступает правильно. При закате солнца казаки надели мундиры, штаны с лампасами, фуражки с кокардами, зарядили трубки самым лучшим табаком и уселись на завалинках.

Тогда отец вынул из котомки великолепнейший мундир студента Лазаревского института восточных языков, вычистил сапоги, достал из котомки пять книг, взял их под мышку и медленно пошел по поселку, не глядя по сторонам.

И казаки вставали с завалинок и отдавали ему честь, и казачки кланялись в пояс.

Придя домой, отец снял мундир, выхлопал его и положил навсегда в сундук.

— Я не был в Ташкенте.

— Побывай, полезно,— отвечает отец, ковыряя в зубах.

— Нехорошо, пап.

— Чего нехорошо?

— Нехорошо этак легкомысленно действовать. Мать три года мучилась по чужим людям.

— Я тоже мучился по чужим людям,— говорит отец.— Кормили меня, браток, с трудом, придешь в монастырь, дадут похлебать рыбной дряни, а потом работать заставят, да еще шею набьют, если плохо работаешь. А в Иерусалиме, в подворье, заставили нужники чистить, честное слово! Ладно, сказал им, мол, студент

я, тогда на картошку пересадили. А я и дома картошки не чищу.

— Все-таки каков он, Иерусалим-то?

— Вроде Самарканда,— ответил, подумав, отец.— Собак, пожалуй, больше.

Я помолчал и сказал решительно:

— Эх, нехорошо!

— Чего нехорошего-то? Если бога нет, то просто прогуляться из любопытства, а если бог имеется, то все-таки подвиг, зачтут там, на небе-то.

— Тщеславие — штука нехорошая.

— Тщеславие?— повторил он с удивлением.— Этакого слова я вроде и не проходил в словарях.

— Тщеславие,— объяснил я,— присуще многим особям, пап, но больше всего жителям нашего поселка. Тщеславие — это когда гордятся пустяковыми, часто даже бесполезными вещами. Тщеславие заставляет людей совершать глупые и необдуманные поступки, которые часто губят всю их дальнейшую жизнь. Тщеславие особенно страшно, если оно вколачивается в семье последовательно и долго. Оно отражается на детях! Благодаря тщеславию на детей не обращается внимания, они растут покинутыми, предоставленные влиянию улицы, они вырастают самоуверенными, презирают науку, думают прожить очень легко — с размаху. Тщеславие тем еще опаснее, что оно ужасно прилипчиво, оно приобретается быстро, но трудно исцелимо. Тщеславие гибельно для женщин, но еще гибельнее оно для мужчин! Ты посмотри, что делается вокруг нас в поселке! Сельскохозяйственные машины, вместо того чтобы быть убранными в сарай, выставлены на улице под окнами, они ржавеют и портятся. Для угощения, чтобы показать свое богатство, скармливается все заработанное в течение года, лучших коней загоняют на скачках, девушек пропивают, как скот...

Отец крайне огорчился. У него текли по щекам слезы. Он припал к моему плечу. Я никак не ожидал, что моя речь подействует на него столь сильно.

Я тоже растрогался и прослезился.

— Ты прав, Всеволод,— сказал мне отец, смахивая зубочисткой слезы.

— Еще бы не прав.

— Ты прав, Всеволод. Не женись, брат.

— Я и не собираюсь,— сказал я, не понимая его.

— Не женись, сыночек. Я тебе выскажу откровенно.

Хоть мне и трудно это. Долго присматриваюсь я к тебе. Правильно ты выпустил слово — тще-е-еславие,— сказал он протяжно.— Сто лет думай, и лучшего определения нету. На те-е-бя, Всеволод.

Я оторопел.

— Для меня?

— Не женись. Загубит жену и детей, Всеволод, твое тщеславие.

— Я же про тебя говорил, пап!

Отец соболезнующе погладил меня по голове.

— Я тебя понимаю, Всеволод, когда ты на других сваливаешь. Как же иначе? Молодость любит говорить иносказательно. Только к старости приобретаешь откровенность. Теперь, будучи стариком, я могу тебе указать, что ты, Всеволод, поистине тщеславнейший человек. Повторю тебе еще раз: не губи ты себя, а главное — не губи своих детей. Будущих. Хотя бы! Я бы тебе в монахи посоветовал.

— Капусту жрать?

— Жизнь, конечно, там трудная. Дерутся они, пьянствуют. Но, по крайней мере, не кому другому, как только таким же испорченным, портят жизнь. А тут ты будешь приличным людям ломать хребты. Вот ты насчет сельскохозяйственных машин. Выставлены, действительно. Ржавеют. Тебе кажется — глупость, а на самом деле — коммерция.

— Какая ж тут, пап, коммерция?

— Значит, богатство, стоит на глазах. Больше кредита откроют. На земле все творится для кредита.

Он мечтательно посмотрел вдоль улицы. Девчонка все еще не загнала телушки. Утки все еще переваливаются с боку на бок. Все еще лениво светит солнце. Выгон. Кругом пески, а крыльцо у школы высокое, словно спасаются от болот.

Отец вдруг сказал:

— А ты слышал, у нас в поселке банк собираются открыть? Кредиты требуются для казачков крупные, а как без банка?

Он толкнул меня кулаком в бок и радостно рассмеялся:

— А мне, кажись, быть директором! Вот кабы не твое тщеславие, так и тебя пристроить бы. Почему я директором? Потому что я шестью восточными владею и западно-французским.

О языках он не врал. К тому времени, правда, плохо,

он знал шесть восточных языков и уже читал по-французски. И тем более обидно было мне слушать о банке, что я уже предчувствовал: вечером моя родня будет обсуждать кандидатуру директора, ему назначат не менее пяти тысяч жалованья, он накупит подарков, он осчастливит всех своих друзей, табак он непременно начнет выписывать из Турции, для переговоров Персия и Афганистан потянут к нему караваны.

Мне грустно.

— Вспоминаю... Ты и в детстве, Всеволод, уже тщеславился. Скажешь, нет? Прогуляйся-ка попробуй назад...

2

Отчетливо и последовательно я помню мое детство от жизни в селе Волчихе, Барнаульского уезда, где в начале русско-японской войны отец мой служил учителем.

Все, что происходило до Волчихи, я помню смутно.

Например, с рассказов ли матери, или это мне сохранила своя память: я вижу крыльцо школы; отец и мать ушли в лес по ягоды, меня оставили одного. Чтобы я не уполз, меня привязали веревкой за ногу к столбу. Возле подушки — тарелка с молоком и большая деревянная ложка.

Под крыльцом живет громадная черная змея. Когда родители скрываются в лес, змея вползает на крыльцо. Она спит на моей подушке и любит хлебать молоко из моей тарелки. Если она надоедает мне, я бью ее ложкой по голове. Змея отворачивается, позволяет мне сделать несколько глотков и вновь лезет в тарелку. Однажды я вижу у ворот необыкновенное, бледное лицо моего отца. Он испуганно смотрит на моего приятеля, затем осторожно обходит школу, взбирается в окно и возвращается с кочергой. Он оттаскивает кочергой змею, но не убивает, так как убить ужа грешно.

В детстве моем я встречал много змей.

Одно время отец учительствовал в селе Семилужки, возле Томска. Село окружено бесконечными болотами. Мне лет семь. Я хожу с отцом и с матерью по ягоды.

Рано утром мы приближаемся к полянке. Осенняя изморозь укрепила болотные кочки, и они не так шатаются, как летом. Осока засохла, идти легко. На полянке, впереди нас, широкая ярко-красная калина. Никогда

позже я не видывал столь громадного дерева. Если попытаться вспомнить сейчас его размеры, то эти багровые гроздья как бы заполняют собой все вокруг меня. Я останавливаюсь изумленно возле кочки. Сухая, звенящая осока вровень с моим плечом. Отец, размахивая корзиной, кричит, вбегая на полянку:

— Смотри, старуха, вот ряснá так ряснá! Вот это калина!

Мать медленно и степенно идет за отцом. Перед калиною серый пень в три обхвата. И вот с этого пня приподнимается голова, чем-то напоминающая лошадиную. Разверзается пасть, и нас останавливает яростное: «Вф-фшфзшш...»

Громадный полоз — болотная змея — обвил несколько раз пень. Полоз, видимо, грелся на солнце. В деревне о полозах мы слышали и раньше. Говорили, что они будто бы встречаются длиною в несколько сажен, что потревоженный однажды в камышах проезжавшим мимо мужиком полоз бросился в погоню. Он свертывался и прыгал! Он перепрыгнул телегу, упал на лошадь и был столь тяжел, что переломил лошади хребет, а мужик будто бы от испуга навсегда лишился языка.

Отец подхватил меня на руки. Мать размахивает палкой. Мы бежим и долго слышим за собой грозное шипение. Позже отец утверждал: полоз потому не зашиб нас, что не успел снять свои кольца с пня.

Страшная область болот изобилует дикими пчелами, гнездами шершней и длинных сердитых ос. Отец ловко умеет находить их гнезда, он берет с собой мешок с отверстиями для глаз, обмазанный дегтем. Когда бабы, за которыми отец идет следом, набирают достаточно ягод, отец где-нибудь поблизости от баб разрушает несколько гнезд. Бабы, побросав корзинки, с визгом убегают. Отец забирает бабьи ягоды.

У меня двое братьев — Палладий и Андрюшка. Андрюшке, наверно, лет пять. Он рослый, смуглый, весь в отца. Палладий походит на мать, хозяйственный, степенный. Мы с Андрюшкой лазим в огороды, воруем огурцы. Палладий, взяв плату за молчание, затем все-таки ябедничает матери.

В Сибири вокруг сел в радиусе приблизительно трех-четырех километров возводится «поскотина» — ограда из жердей, дабы скот мог ходить без пастуха и не проникал на пашни. Для дорог, пересекающих поскотину, сооружаются ворота, которые караулят старики или

дети. Отец за три рубля в лето направил нас, трех братьев, караулить поскотину.

Напрасно мы обрадовались предстоящей разгульной жизни! Палладий угнетает нас. К нам приходят с ночевкой мальчишки из села. Для угощения нужна картошка, а Палладий не желает поощрять воровство.

Мы с Андрюшкой, приложившись ухом к телеграфному столбу, слушаем его гудение и с испуганными лицами говорим:

— Ты слышал? Из Петербурга шлют телеграмму. Нонче ночью жди, Палладий, сильную грозу. Молния ударит в поскотину, самый раз возле нашей землянки.

— А я не слышу,— говорит Палладий.

Он верит нам, хотя и не слышит. Он боится грозы. Он уходит спать домой.

Долго мы обсуждаем вместе с деревенскими мальчишками, как бы нам украсть мак. Километрах в трех от нашей землянки — длинные поля мака, принадлежащие немцам-колонистам. Еще весной, когда он цвел, мы уже облизывались. Осенью колонисты навезли к маковому полю высокие скирды хлеба, разбили ток и с ружьями караулили свое зерно.

Нежные, тонкие снопы мака сложены в маленькие копны. Головки свисают в разные стороны, и ветер качает их. Мы несколько раз на дню проходим мимо макового поля. Немцы грозят нам кулаками.

Уже надоело открывать ворота. Далеко слышишь ты, как поскрипывает телега, бьется лагушка, мужик поет или ругается с бабами. Выдернешь жердь, которая заменяет засов, и «на весу» оттаскиваешь ворота в сторону. Изредка проезжают на почтовых торговцы, иногда они дают три копейки, но и эти три копейки отнимает отец, потому что Палладий тотчас же сообщает.

Мы, тайком от Палладия, вместе с деревенскими ребятами делаем из сухой бересты громадное чучело в два человеческих роста. Мы его укрепляем на крестообразной жерди. Прорезаем рот, глазные и носовые отверстия и закрываем их красной тряпочкой. Внутри мы ставим огрызок церковной свечки.

Когда ночью мы поставили это чучело в лесу, зажгли свечку и отошли в сторону, нам самим сделалось страшно.

Мы говорим Палладию, что пойдем отрывать в лесу клад.

Приближается полночь. Палладий трусит, но не по-

казывает. Он думает: «Если они найдут без меня клад, то непременно истратят его на пряники». Хозяйственная душа Палладия колеблется. Мы торопим его.

Когда мы выходим на полянку, он, увидав страшное берестяное чучело, кричит, ноги у него подкашиваются. Обратный путь он наполовину идет ползком. Мы тоже испугались и, бросив его, убежали в свою землянку. С той поры Палладий приходит караулить поскотину только днем.

Осенью, в глубокую темную ночь, мы, шесть мальчишек, поднимаем наше берестяное чучело и тащим его по дороге к скирдам. Мы переругиваемся и упрекаем друг друга в трусости. Раза два мы бросаем чучело, отходим и вновь возвращаемся.

За скирдами, возле громадного костра, сидят рослые молчаливые немцы, курят трубки. Изредка кто-то из них встает и подбрасывает сучья в костер. Мы подползаем ближе, зажигаем свечку, высовываем чучело и во всю мочь орем:

— Ой-ой-ой-ой!..

Немцы вскакивают. Мелькает огонь костра на испуганных лицах. Наверное, они только что окончили мирный разговор, вспоминая о прошлом, об урожае, о невестах, о приданом, о лошадях. Пора бы ложиться спать, но нельзя: в тайге ходят бродяги, да и деревенские люди не лучше бродяг,— страна дикая, холодная, чужая. Они закурили трубки, прислушиваются к далекому шуму бора. Вдруг выскакивает высоченная фигура, ревущая и кровавая. Огненный рот разинут, высоко вскинуты белые руки.

Мы долго прислушиваемся, как полем разбегаются немцы. Костер догорает. Бросаем в костер наше чучело. Костер вспыхивает ярким высоким столбом, и этот необычайный свет, наверное, совсем «допугивает» немцев-колонистов. Каждый из нас берет, сколько сможет, снопов. Всю ночь в землянке мы крошим головки мака. Мы начистили громадную кучу зерен. Животы у нас болят: доесть мак невозможно.

Я снимаю рубашку. Мы завязываем концы рукавов, ворот и ссыпаем в этот мешок оставшийся мак. Мы выкапываем под костром яму, сверху и с боков обкладываем ее сухими листьями и кладем туда мак. Над ямой мы сжигаем пустые головки и стебли.

Утром колонисты догадались: кто-то их обманул и обокрал. Они обыскивают нашу землянку, ее окрестно-

сти, находят несколько пустых головок. Мы утверждаем, что головки нам подарены проезжающими. Когда проезжали? Кто проезжал? Мы усердно врем. Ночью. Шесть мужиков в красных рубахах. С топорами и ружьями.

Я доволен своей выдумкой. Вот взрослые, большие люди, а не могут догадаться. Везде ковыряют, а на костер даже и не смотрят. Я подбрасываю валежника.

В деревне много говорят о краже мака у немцев. Мак быстро надоедает нам: не так вкусно, если нельзя рассказывать, как его добыли. Я вспоминаю стряпню своей матери. Выкапываю мешок и несу его в деревню.

— Мам, сделай в воскресенье пирожки.

— Откуда у тебя оно?

— Купцы подарили. За поскотину, мам.

Палладий бежит к отцу. Отец строго спрашивает:

— Какие они из себя купцы?

По голосу его я понимаю, что ему все уже известно. Наверное, кто-нибудь из моих сообщников, не найдя в яме мака, наябедничал.

Отец считает себя честным и правдивым человеком, он глубоко презирает воров. Он отводит меня к немцам и на их глазах долго порет меня ремнем.

После порки я обиженно думаю: уйти бы от них. Но у меня не хватает смелости уйти далеко в тайгу, чтобы пристать к бродягам. Деревенские мальчишки не соглашаются сопровождать меня и даже смеются надо мной.

Кто-то рассказывает: если взять в рот глоток керосину и выпустить его тончайшей струей мимо зажженной спички, которую вы держите в руке, то керосин разлетится во все стороны красивыми клубами. Я наливаю в бутылку керосину. Андрюшка сопровождает меня. Поскотина уже окончилась. Ночью нас не выпустят из дома. Андрюшка предлагает пустить огненные шары в темном школьном сарае, куда сметано сено.

Собираются все деревенские мальчишки. Мой рот наполнен керосином. Андрюшка держит зажженную лучину, Палладий стучится снаружи в запертую дверь, крича:

— Все равно отцу нажалуюсь!..

Я выплевываю керосин, чтобы сказать.

— Жалуйся,— отвечаю я.— А шаров тебе не видать.

Я брызгаю. Огромный огонь взметывается над мальчишками, падает на сено. Сарай пылает. Мы распахиваем дверь. Палладий уже убежал жаловаться.

На этот раз меня порют вместе с Андрюшкой...

Андрюшка решается сопровождать меня в тайгу. Но у нас нет коней. Украсть? Для запряжки нужно иметь силу затянуть супонь хомута. Я могу утащить коня, телегу, всю сбрую, но у меня не хватает сил для супони. Тогда мы решаем воспользоваться деревенским козлом Васькой. Это рослый серый детина с великолепной сивой бородой и круглыми рогами.

Мы берем у поповского сына игрушечную тележку. Поповскому сыну нравится, что мы уходим в тайгу. Он тоже ушел бы, но ему хочется быть дьяконом.

Я держу козла за рога. Козел впряжен в тележку. Андрюшка отходит на три шага и вынимает из-за пазухи краюшку хлеба. Я отпускаю рога. Козел идет к Андрюшке. Постепенно мы увеличиваем расстояние, и вот козел пробегает с тележкой целую улицу, направляясь к тайге. Я сажусь к нему в телегу, и он везет. Этот сивобородый зверь очень привязался к нам. Он является рано утром и стучит копытами по крыльцу. Мы берем его с собой в лес, в поле, к реке. Андрюшка догадался:

— Я с хлебом через всю тайгу иди, а ты будешь катиться в тележке?

Я понимаю Андрюшкину обиду. Я привязываю краюшку к палке и бросаю ее вперед. Теперь в тележке мы усаживаемся вдвоем. Все приготовлено к бегству: сухари, запасные портянки, топор. Поповский сын подарил одеяло. Нам надоели морозы, порки, скучная деревня. Мы уходим через тайгу в теплые далекие страны!

В солнечный день осенью мы последний раз испытываем нашего козла. Я бросаю с обрыва реки палку. Я приучаю козла к весьма различным рельефам местности. Река в Семилужках неглубокая. От берега до середины устроены мостки, чтобы полоскать белье. На мостках всегда стоят, согнувшись, бабы и высокими сдавленными голосами переговариваются. Сейчас в конце мостков только одна толстая баба в красной юбке, и рядом с нею длинная мокрая корзина.

Когда я бросил палку, козел побежал было прямо, но со средины дороги вдруг повернулся, наклонил голову и понесся к мосткам. Резкий топот. Баба поднимает голову. Глаза ее вытаращены. Козел бьет ее рогами в зад и вместе с корзиной, бельем и бабой летит с мостков в воду.

Оказалось, что сивобородый Васька ненавидит красный цвет.

Белье, которое утопила баба, принадлежит попу. По-

повский сын подло предает нас. Он говорит: «Они готовили козла, чтобы натравить его на папу». Надо полагать, что он хотел выслужиться. Но порют его не меньше нас.

Вообще нас порют много и часто.

Мне сшили новые штаны. Мы скатываемся по железной крыше сарая прямо на сметанное возле сарая сено. Я задеваю за гвоздь и разрываю штаны. Порка.

На другой день мы прыгаем с возка на пол. Возок стоит возле сарая... Возок крыт кожей, в нем поп разъезжает по приходу. Сбоку возка, подле облучка, висит палка с крючьями для пристяжной. Я прыгаю, задеваю за крюк ногой и почти напрочь отрываю кожу с пятки. Но, боясь порки, я молча иду домой. Кровь льет у меня из ноги. Я сажусь обедать. Ложка прыгает у меня в руке. Отец свирепо рассматривает меня.

— Ишь добегался, белый как бумага.

Я падаю лицом на столешницу. Мать замечает текущую по полу кровь, кидается за перевязкой. Отец сразу добреет. Я горжусь своей раной и его добротой.

Зимой поповский сын читает нам стихотворение «Спор». Спорят две горы. Мне кажется, что это спорят Палладий и я. Удивительно и страшно смотреть на этот спор со стороны. Затем поповский сын читает нам сказку о Щелкунчике. Я обещаю Андрюшке взять его с собой, как только пройдет зима, в царство, где был Щелкунчик. Прошлой весной мы с Андрюшкой лазили по огородам. Однажды мы лезли за огурцами в огород лавочника. Вокруг высокий плетень. Я влез и помог забраться Андрюшке. Мы прыгаем вниз, но лавочник хитрее нас. Он пробил насквозь несколько досок и разложил их на траве остриями вверх. Мы прыгаем прямо на гвозди.

Я обещаю Андрюшке лучшую весну, чем прошлая.

И вот она приходит, эта весна.

Сразу же за школой начинается березовый лесок. Утром «к чаю» мы должны собрать земляники. Осторожно держа наполненные ягодой стаканы, мы возвращаемся домой.

Андрюшка собирает быстрее всех. Вот он бежит к большому пню.

— А этой вы и не видали!

Он вскрикивает, приседает, дует на пальцы.

— Меня змея укусила, что ли?

Мы осматриваем пень. Он безмолвен. Ягоды толстые, пухлые, красные.

Пока мы бежим домой, рука у Андрюшки начинает синеть. Он не плачет. Он боится порки.

Отец разрезает ножом крошечную ранку и сосет кровь. Но рука у Андрюшки синеет все больше и больше. Приходит беззубая горбатая старуха заговаривать. Мать причитает. Мне велено поймать на колокольне живого голубя. Старуха утверждает, что если приложить голубя сердцем к ране, то голубь перехватит смерть, а мальчик выздоровеет.

Сняли повязку. Из ранки хлынула кровь, и на эту кровь приложили перья голубя, под которыми трепетно бьется сердце. Андрюшка уже бредит. Голубиные перья алеют. Голубь боязливо ворочает головой, раскрывает клюв, его долго держат у раны.

Отец хватает голубя и со злостью бьет его головой о косяк. Он выходит выкинуть умершего голубя. Отец стоит возле крыльца, плачет и крестится на церковь, которая упирается прямо в нашу школу.

Ночью Андрюшка умер.

С той поры у меня боязнь и ненависть к змеям. Все лето я хожу лесом с железной палкой и бью змей. Много я их натаскал к могиле Андрюшки. Отец запрещает мне таскать змей на могилу, это противобожественно. Я их вешаю на жерди поскотины.

3

Мы должны жить возле города Колывани, в обширных лесах, на берегу какой-то большой реки. Я не помню названия ни реки, ни селения. Город Колывань я запомнил потому, что отец, показывая черную лаковую табакерку, наполненную монетами, которые он собрал на берегу Иртыша, говорит:

— Вот здесь под цифрой года стоят две буквы «к. м.»

Гости щупают буквы.

— Это значит — колыванская медь! Раньше Сибирь свою монету плавила, делали ее в знаменитом городе Колывани. Но существует тайная монета, появившаяся из-за сибирской гордости.

— Какая такая сибирская гордость?

— Сибирякам, видишь ли, не разрешали выпускать золотую, так они отлили золотой империал и покрыли его медной оболочкой. Я его непременно найду!

— Что же, поймали их на жульничестве?

— Не на жульничестве, а на гордости. И тогда превратили этот знаменитый город Колывань в заштатный город.

Мне хочется увидеть Колывань и потому, что он заштатный, и еще более потому, что в нем плавили монету.

Нашей семье уже встречались заштатные чиновники, заштатные попы. Это люди, у которых остаток уверенности постоянно заслоняется страхом. Прежняя жизнь сломана, день, который раньше он пропускал с легкостью, теперь таит множество испугов, множество предчувствий. Можно подавиться и умереть от глотка воды. Корка хлеба кажется им тяжелой. Колокольчик почтальона, который раньше приносил скучный журнал, теперь, кажется им, несет ужасную весть в траурном пакете. Они придираются к словам родственников, намерения друзей кажутся им подлыми. Человечество отступило от них.

Но город...

И вот мы проезжаем через заштатный город Колывань.

Помню, перед этим наша телега, запряженная парой коней, мчится под крутую гору. Мы переезжаем в телеге, потому что в иной экипаж трудно поставить наши громадные сундуки. Сундуки привязаны спереди, позади, с боков. Мы с братьями сидим в перине на сундуках.

При спуске с крутой горы отрывается сундук и глухо падает в густую пыль. Мне любопытно потерять этот сундук. Я и сам не знаю, откуда во мне это любопытство; может, потому, что из-за сундуков наша телега идет вскачь только под гору, да и то не от силы коней, а оттого, что колеса катятся сами, и кони испуганно оглядываются, словно боясь, как бы их не задавило это высокое сооружение.

Внезапно мать замечает, что сундука нет. Поднимаются крик и споры. Я говорю:

— Он упал у горы.

Меня наскоро порют, развязывают веревки, снимают сундуки с телеги, сажают нас, детей, на сундуки, и отец с матерью и возчиком озабоченно скачут обратно. Мы сидим долго и неподвижно. Нам страшно. Мы ждем разбойников. Мы ненавидим эти сундуки. Мы знаем, что в них жалкая рухлядь — сковородки, горшки, утюги, вальки для белья, какие-то отрепья, которые уже носить невозможно, но над которыми мать еще долго размыш-

ляет, не зная, к чему бы их приспособить, все же надеясь на свою выдумку. А разве разбойники знают это?

Приближается вечер. Мы, держа друг друга за руки, тихонечько всхлипываем. Наконец среди высоких сосен показывается телега, и на ней наш сундук.

Заштатный город Колывань чрезвычайно удивляет меня.

Широкие улицы заросли нетронутой лесной травой. Дома заколочены, церкви заколочены, тротуары сгнили.

Мы проезжаем весь город и, словно в сказке, не встречаем ни одного человека. Мы едем по высокой траве через громадную площадь. Собор тоже покрыт травой, окна выбиты. В трехцветной будке спит стражник, и спит каким-то неестественно громким сном. Над городом нет голубей, над травой — ни бабочек, ни стрекоз, и солнце в небе необыкновенное, тусклое и чужое.

Тепло, но я весь дрожу. Мне кажется, что дома смотрят подозрительно, и вот-вот сами собой откроются ворота, и телегу затянет в пустынный двор. Мы заснем и окаменеем навеки! Разве этот сказочный город понимает, что мы проезжаем? Он, пожалуй, видит в нашей езде дурное стремление разбудить его сон. Мне хочется спросить: где же тут плавили монеты? Но у меня нет смелости, мне кажется, что такой вопрос город Колывань способен понять как насмешку. Да, заштатность его похожа на ту заштатность, которую раньше встречала наша семья, но та хоть сколько-нибудь была подвижна, а эта спит!

Села за городом Колыванью окружены громадными кедрами. Эти кедры, обросшие сизым и длинным мхом, эта «тайга», в которую я попал впервые, вызывали во мне нежность к самому себе, сознание ничтожества. Я долго хожу приниженный, слабенький, и все вокруг кажется мне пустынным и темным.

Летом отец затоговляет в тайге дрова для себя и для школы, потому что на отопление отпускается несколько рублей, и нет смысла покупать дрова. Мы уходим в лес ранним утром. Отец выбирает полянку и начинает таскать на нее гигантские сучья, рыжие и корявые. Он идет мимо кедров и сосен, сучья задевают за стволы и ломаются с треском. Мать готовит обед или помогает таскать сучья, которые полегче. Отец рубит сучья, потому что деревья распиливать ему не с кем — мать слабосильная. Странно, но я никогда не слышал, чтобы он попрекал мать отсутствием силы.

Отец, довольный и веселый, часто втыкает топор в пень, достает кисет, вышитый матерью, и, свертывая папироску, говорит:

— Непременно найду в сухом дереве дупло, а в нем клад. Сухое дерево — оно самое древнее и опять же приметно в лесу для разбойников.

— Какие уж в тайге разбойники, так, нищие бродяги.

— История Сибири мало обследована, может быть, здесь были какие-нибудь древние монтецумы,— говорит отец.

Дров нужно много. Отец рубит половину лета, затем нанимает лошадей и возит дрова, сложенные в поленницы. Мне нравятся поленницы, от них идет крепкий запах смолы.

Мы играем на дороге. В лес нам ходить запрещено. Отец обрубает сучья. Сверкает его топор, отец ухает при каждом ударе. Только что прошел дождь. Мы пускаем по колее щепки, сажаем муравьев пассажирами в наши пароходы. Мы привязываем к щепке травинку, это заменяет нам руль. Вода устоялась и прозрачная. Мы сначала пьем ее, затем бросаем сучья, мутим и поднимаем волны и пускаем в эту бурю наши пароходы.

Я слышу чей-то нежный и веселый голос в кедровнике. Братья не слышат его, они занялись пароходами. Мне хочется удивить братьев. Я иду на голос. Земля устлана мелкой и теплой хвоей. Я иду долго.

Возле крошечного кедра сидит длинная фиолетовая утка. Вот чей я слышал голос! Она шипит на меня. Ласковости уже нет в ее голосе. Мне боязно, но я упорно иду к ней. Утка отбегает, прихрамывая. На хвое несколько голубоватых яиц.

Я знал, что утка бежит от меня, притворяясь, но все-таки я думаю: а может быть, притворялись остальные, что они не умеют летать, а эта действительно разучилась? Я пощупал яйца. Яйца совсем теплые, я сгребаю их в подол и бегу за уткой. Я бегу среди кедровника. Яйца по одному выкатываются из моего подола. Утка вспорхнула.

Я остался один. Внезапно надо мной поднялись страшные и высокие кедры. Я понял, что заблудился. Я кричу. Я стою, подчиненный чужой и ужасной воле громадного леса. Я сознаю свое ничтожество, я чувствую к себе громадную нежность, и мне приятно, что я так испуган.

Отец выходит из-за кедра. Он ласков.

Он выводит меня на дорогу и опять начинает рубить сучья. Но внезапно лицо его сереет и руки дрожат. Он

всматривается напротив. Через дорогу розовый осинник,— значит, была уже осень. Осинник редкий и высокий.

Отец хватает нас, детей, и тащит к толстому кедру. Нас заслоняет мать. Отец, подняв топор, встает перед матерью. Затем он поворачивается к осиннику. Лицо отца наполнено обидой и пренебрежением. Он держит топор наотмашь.

Теперь мы слышим широкий шум среди осинника. Пыхтит громадное. Трещат деревья.

— Медведь,— тихо говорит отец.

Мать мелко крестится. Она прижимает нас руками к дереву. Отец дышит быстрей, топор поднимается выше. Шум осинника увеличивается.

Прямо перед нами, среди матово-серебристых стволов, показывается длинное бурое тело. Медведь идет, мотая головой и ломая направо-налево лапами осинник. Он величиной с корову, мохнатый, медленный и спокойный зверь. Он смотрит в землю, словно потерял что-то. Гораздо страшней, когда я заблудился в погоне за уткой!

Не знаю, почему медведь шел осинником, а не дорогой. Отец утверждал, что осенью этот зверь питается грибами. Не знаю, почему медведь даже и не посмотрел на нас. Отец утверждает, что ветер от нас — не на медведя.

Когда далеко заглохли медвежьи шаги, отец со злостью воткнул топор в пень и сказал:

— Хорошая шкура пропала. Не ребята, я бы его топором!

Позже отец любил рассказывать, что он гнал топором верст пятнадцать черно-бурого медведя, но, к сожалению, не догнал. Когда ему говорили, что медведи бегают быстрее лошади, отец объяснял: «Объелся он ягод и дикого меда и потому тяжел на подъем». Мать подтверждала отцовский подвиг. А мне казалось, что совершенно нечего добавлять к тому, как отец стоял с топором возле сосны, защищая своих детей. Этим подвигом может гордиться любой человек. Но отец осуждал себя за то, что он не мог в доказательство своего подвига представить хорошую медвежью шкуру.

4

Отчетливо и последовательно я помню мое детство от жизни в селе Волчихе... Итак, Волчиха. Узкие газетные полосы говорят о войне.

— Японцы-то? Наполеон погиб от мороза, да не в Сибири, а в Москве, где и десятиградусный мороз в редкость, а для нас сорок градусов вполне жизнеспособно.

Отец достал со стены пожалованную саблю и начал «отпускать» ее. Отец мой был красноречив. Рассказы его были пестры и огромны. Исчерпав свои рассказы и видя утомление слушателей, он уезжал в город хлопотать о переводе. Там уже, конечно, знали что он «незаконнорожденный» сын барона Кауфмана, что за джигитовку ему пожалована сабля, что он пьяница и великий знаток языков, что он, наконец, студент Лазаревского института. Он быстро получал перевод.

— Мне, Ариша, только в армии служить, там людей с великим прошлым уважают. Вернусь я с пятью «Георгиями».

Отпустив саблю, отец завязал ее в газеты и направился в город, захватив меня, видимо, для того, чтобы было кому подтвердить его подвиги.

— Ребенка-то хоть бы оставил,— плакала мать.

— В Спарте,— сказал отец,— дети с трех лет привыкали к оружию.

Я радовался и отъезду из Волчихи, и отпущенной сабле, и даже тому, что отец пойдет добровольцем, хотя я уже знал, как страшна смерть. И вообще я знал очень многое. Мы часто забываем, став в летах, как много мы знаем в детстве, и это многое знаем более здраво, чем взрослые. Особенно любовь.

Волчиха имела две школы — церковноприходскую, где учительствовал мой отец, старую, грязную, темную, и новенькую —«земскую», где и учителя-то были чище, получали больше жалованья. Школа просторная стояла далеко от церкви, и попы ее не любили. Я не помню всех «земских» учителей — ни их фамилий, ни их имен, помню только, один учитель был волосат, ходил в черной рубашке, с широким кожаным ремнем, рябой. У него я таскал книги для чтения. Учительница высока, бела, грудаста и неповоротлива. Все в ней есть, о чем поется в степи. Я влюбился в нее.

Брат ее Кузьма, розовый гимназист лет двенадцати, приезжал летом на отдых вместе с отцом, хромым и лысым чиновником. Вокруг Волчихи отличные леса и рыбная ловля. Отец мой любил ловить рыбу. За два часа он налавливал ведро окуней.

Учительница, Кузьма, отец их ходили на рыбную ловлю вместе с нами. Мой отец пылко рассказывал о пле-

нительной Москве. Сосны. Желтые кувшинки в тихом заливе тихонько кивали головами, их листья похожи на громадные подметки.

Учительница смотрела отцу в глаза, не замечая, как окуни склевывали насадку. Я завидовал и восхищался отцом.

Ночью мы зажигали костры на берегу, затем отец сталкивал в воду сухие лесины, делая из них небольшой плот, сверху наваливал лапы желтой хвои и зажигал. Плот медленно плыл по реке. Отец шел по берегу с шестом и отталкивал. Отец — багровый, высокий, ловкий. Эх, кабы не это любовное беспокойство, как бы легко и приятно!

Мы сидели с гимназистом поодаль, и он мне рассказывал сочинения Жюля Верна. Меня сердило, что он читал так много, а мне негде достать эти книжки. И вот я спросил его:

— А читал ты «Зеленую реку»?

— Нет,— ответил он, видимо предчувствуя что-то неладное. И он сказал на всякий случай:— Знакомые тоже не слышали,— значит, это интересно.

— А ты послушай.

Книга ему понравилась, он записал заглавие и автора.

— А читал ты, Кузьма, «Путешествие в подземной трубе»?

Теперь он просил рассказать и это путешествие.

В течение двух недель я рассказал ему содержание сорока книг, которые тут же придумывал — от заглавия, автора и до счастливого конца. Кузьма почувствовал ко мне большое уважение. Это было приятно, но слегка досадно, потому что он перестал мне рассказывать романы, считая, что я прочел больше него удивительных и страшных книг.

В зимний прозрачный вечер волосатого «земского» учителя нашли повесившимся у косяка на полотенце. Отец мой никогда романов не читал, презирая их. А полка над кроватью учителя была туго заполнена романами.

В тот вечер отец рассказывал в гостях у кузнеца, как рыцарь Дон-Кихот, начитавшись романов, произвел многие опустошения на своей земле. Один из мужиков вставил:

— Спасибо, народ наш смирный, заместо убийств — самое большое, повесится.

Отец мой читал монархическую газету, ту, какую при-

сылали в школу. В те дни газеты много печатали брехни о Максиме Горьком, о его книгах и, кажется, о пьесе «На дне», о том, что Горький пьяница, развратник и богач.

— Шесть домов имеет четырехэтажных,— сказал мечтательно отец,— выезд белых лошадей и сам саженного роста. Из генеральских сыновей, говорят. Может быть, даже самого Скобелева.

Больше всего мужиков поразило, что от писания книг можно завести дома. Мужик, который говорил, что наш народ смирный, добавил:

— Слово черное знает. На черное слово деньга идет. Черные книги пишет.

И все согласились, что без черного слова нельзя обойтись.

В селе шла ярмарка. Отец мне выдавал каждодневно по пятаку. Сияли голубой глазурью горшки среди соломы — желтой, хрустящей, наполненной морозом. Визжали глиняные петушки. Ситцы были как кусок неба. Над балаганами, словно вздыбленные кони, стояли сугробы.

Я бродил около лотков, на которых продавали книжки. Горячий пятак впивался в мою руку. За пятак я мог купить книжку в девяносто шесть и сто двенадцать страниц: «Как львица воспитала царского сына» или «Чудесные похождения прапорщика». В одном лотке, на самом низу, я встретил (сколько помнится, издание «Донской речи») книжки, над названием которых стояло «М. Горький». Они были по тридцать две страницы и меньше, и стоили по три копейки штука. За шесть копеек я мог купить только шестьдесят четыре страницы! Совершенно невыгодно! Я купил «Как львица воспитала царского сына». Но, купив, тотчас же раскаялся: всякому в Волчихе будет любопытно прочесть, что пишет человек, имеющий несметное богатство и выезд белых коней. Ясно, что до завтрашнего пятака книжки раскупят. Я побежал домой.

Отец отказался выдать мне завтрашний пятак. Я пожаловался приятелю своему Микешке. Микешка был великий игрок в бабки и великий опустошитель огородов. Он презрительно дернул меня за длинные рукава моего тулупа.

— А это что, зачем тебе дано?— спросил он гнусаво, подражая кузнецу.— Подпояшься потуже и в рукава, когда будто книжки выбираешь, в рукава их спускай! Пойдем. Мы вместе выбирать будем.

И вот мы украли у лотошника все книжки Горького. Мы спускали книжку в рукав, затем поднимали руку к

затылку, будто почесать, книжка и проскальзывала за пазуху. Отойдя от лотошника и пощупав книжки, мы испугались. Мы побежали к Микешке, залезли на печь, попросили лампу у бабки Феклы и, завесившись шубенками, начали читать. Печь была раскалена, было душно, мы сидели голые, бабка часто просыпалась и ворчала:

— Тушите, чего керосин переводите.

— Сейчас, сейчас погасим,— отвечали мы.

Мы читали всю ночь. Рассказы нам не понравились, многое было непонятно, и стало даже обидно, что на такой непонятности человек может разбогатеть и выезжать на белых конях, вроде царя. Но на сердце лежало томление удалой тоски. Я думал о море. Оно мне казалось молочно-белым, все в огромных застывших валах.

Я шел домой, книжки лежали у меня за пазухой. Пьяные мужики, горланя и ломаясь, ехали с ярмарки. Плетни в снегах. А дальше по сугробам — заячьи следы. Мне очень хотелось к морю и было очень хорошо.

Когда я дома раздевался, книжки выпали на пол. Отец увидал их; взглянул на меня искоса, пренебрежительно плюнул и бросил книжки в печь. Я его обругал теми словами, которыми ругались возвращающиеся с ярмарки мужики. Отец избил меня жестоко.

Я вырвался на двор, залез под амбар (амбары у нас строят на вкопанных в землю бревнах так, что между землей и полом амбара остается пустое пространство на пол-аршина или менее). Мне было невыносимо холодно, я дрожал, плакал. Отец бегал, искал меня, звал. Я прижимался к бревнам, грозил ему кулаком и сам про себя бормотал:

— А вот и не вылезу, замерзну, сдохну, плачьте, а не вылезу. Загубили, потом скажете, сына...

Не нравилось мне село Волчиха, не нравилось его богатство, особенно же не понравилось, когда я увидал, как вскоре после ярмарки били пойманного конокрада. Это был плечистый сизобровый цыган. Цыгана били толпой, скопом, трусливо, дабы не отвечать одному, а отвечать всем обществом. Его поднимали за руки и за ноги, подбрасывали, расступались, и он тяжело падал на дорогу. Его кинули умирать у забора. Он лежал с пятнистым, сизо-багровым лицом, кудри у него не развились, плисовые шаровары и желтая рубаха с туго застегнутым воротом были опрятны. Мальчишки долго стояли, смотря, как корчится цыган, хватает ртом снег и как на щеке его прыгает выбитый глаз.

Я решил завести дневник, где буду записывать всю свою неправильную жизнь. Я исписал целую тетрадку, но писал я совсем не то, что случалось со мной. Я писал что-то такое легкое и розовое, хотя оно каждый день и отмечалось теми датами, которые крупно напечатаны в отрывном календаре.

Меня везет какой-то корабль по тихому морю, и все округ — тихое.

Дата. Год.

«Море тихое, 45 градусов восточной долготы и 56 западной. Острова. Люди тихие. Ветра нет. Бурана нет. Конокрадов нет».

Дата. Год.

«Море тихое. Острова. Лодки. Нашли выброшенных крушением. Корабль их потонул, но люди все целы. Люди тихие. Опять острова. Мы плывем дальше».

Дата. Год.

«Море тихое. 67 градусов восточной долготы и 42 западной широты. Америка. Люди тихие. Проехали мимо. Опять острова».

Особенно нравилось мне писать — острова. Я помнил их на Иртыше. В половодье их заносит илом, и когда вода спадает и ты подплывешь, то на поразительно гладком песке видны одни лишь следы птичек. Тонкие синие прутья таволожника, обвитые у корня травой, склоняются перед лодкой. Выберешь место, сядешь удить. Хоть и не клюет, но все равно приятно.

Или еще вот остров на озере неподалеку от Волчихи.

Мы с отцом отправились за грибами, поднялась буря, лодчонка у нас была паршивенькая, дощатый плоскодонник. Нас качало, заливало водой, отец крестился, прижимал меня к себе, и оттого грести ему было трудно. Я испугался. Нас вдруг подхватило громадной волной. Бил гром, сверкала молния, величиною со все твое разумение. Нас широко мотнуло и посадило на куст. «Остров!»— крикнул радостно отец. И точно, остров. А мы, совсем как в книгах, сидим, закинутые вместе с лодкой на куст. Внизу торчат кочки. Мы идем по зыблющимся, покрытым острой осокой кочкам. Перед тем как шагнуть, отец пробует кочку шестом: прочна ли? Лодку он тащит за собой. Мы вышли на песчаный берег острова. Спокойные сосны встречают нас. Подле сосен — чистенькие грибы. Ветер прекратился. Было тихое утро.

Отец нашел и прочел мой дневник.

— Дураком ты у меня растешь, Всеволод,— сказал он снисходительно,— надо погоду записывать. Меня вот скоро заведующим метеорологической станцией назначат и могут выдать медаль.

На следующий день я записал:

Дата. Год.

«Погода хорошая. Острова. Был дождь, но не сильный. Шесть градусов по Реомюру. Острова. Индия! Проехали дальше. Погода средняя, тучи, но тепло. Опять Индия! Опять проехали дальше».

Я понимал эту необыкновенную снисходительность моего отца.

Белокурая, голубоглазая учительница любила его.

Об этой любви говорила вся Волчиха. Поп учил отца:

— Надо, Вячеслав Алексеевич, блюсти семейную чистоту, ибо и без того много смуты.

Мы составляли частушки против «земских». В большую перемену две школы делали друг против друга снежные городки. Мы, «церковники», влезали на городок и пели свои частушки. Пение это обычно кончалось дракой, выбегали учителя с папками, сторож с метлой, иногда церковный звонарь.

Теперь белокурая учительница не ахала, не взметывала руками, не говорила: «Перестаньте драться»— а какими-то чужими глазами смотрела поверх нас и, как я полагал, думала: вот, из-за ее молодости и любви вешаются люди, горюют, дерутся.

Я завидовал моему отцу и в то же время гордился им. Моего отца нельзя не любить. Он переписывал ей в альбом стихи разноцветными чернилами на восьми языках: на шести восточных, одном западном и одном русском...

Об этой любви знала моя мать. Хотя я уважал свою мать, но у меня к ней было какое-то неясное презрение. Жена учителя, а неграмотная. Обо всем и обо всех она говорила непререкаемо, всех осуждала. Отец, когда напивался, бил ее, она же всем рассказывала, что никто так не умеет управляться с мужем, как она. Все знали правду, все смеялись над ней за глаза, она думала, что никто ничего не видит. Ходила она в ситцевых платьях, потому, дескать, что они к ней шли, а на самом деле просто не было денег купить шерстяные. Я ее уважал за то, что она защищала меня от побоев, но было обидно, что иногда побои доставались ей, а не мне. Я не хотел, чтобы

она страдала, взамен получая от меня, хотя и скрытое, презрение.

Она выговаривала отцу:

— Бросаешь ты меня. В поселок мне до позора вернуться, что ли?

— Зачем бросаю? При двоих детях порядочные люди не бросают женщин.

— А учительница?

— Учительница — особая статья, Арина. Ты бывала у ней?

— Приходилось.

— Ножную швейную видала?

— Удивишь меня ножной швейной! Кабы поменьше пил, давно бы завели...

Моя мать постоянно мечтала приобрести швейную машину, хотя бы ручную, хотя бы за шестьдесят рублей. Через несколько лет мы ее приобрели: в рассрочку, по три рубля в месяц. Платить было тяжело. Агент компании «Зингер» приходил каждый месяц и вклеивал марки в нашу книжку, но так как мы часто переезжали, то агент, наконец, потерял наш след, и машинка досталась нам за тридцать три рубля.

— Так вот я тебе и открою, Арина: я ее обольщу, и так обольщу!.. Я вокруг нее на восьми языках кручусь и так закручу, что она мне машинку отпишет, а сама от несчастной любви повесится.

— Не повесится она,— отвечала моя мать спокойно.

— Я тебе говорю — повесится. Что, я баб не знаю?

— Баб-то ты знаешь,— отвечала с почтением мать,— но она ведь городская. Отец у нее чиновник. А они тебя засудят.

— Меня? Чиновники? Я к тому же сам чиновник.

— Либо сам ты повесишься.

— Не может такого случиться, чтобы в один год, в одном селе два учителя повесились.

Этот довод убедил мою мать.

— Конечно, она девка. Если завертится у ней ребенок от тебя, так она и повесится. А если ребенка не будет?

— Чего же не быть? У тебя от меня сколько их было? Сейчас двое, да Клавка, да Андрюшка помершие,— выходит, четверо.

Мать заплакала.

— Наша машина будет, Ариша! А дальше я ни за кем, кроме тебя. Пускай из-за меня хоть одна баба повесится. Зачем же иначе меня уродил барон фон Кауфман?

После нее не буду блудить. Вот тебе перед божницей перекрещусь.

— Да я не об том. Мне ребеночка ее жалко. Она девка блудливая, а ребеночек был бы у нас пятый.

Мне хотелось остановить учительницу, когда она проходила мимо меня в шелковом своем платье в церковь. На паперти она встретится с моим отцом, у нее длинная коса и голубые глаза. Вот я подойду к ней и скажу: «Отец хочет утащить у тебя машинку, не верь ему, не надо мне братьев». Но я не говорил ей этого: потому что я знал — полюбить она меня не может, и, кроме того, мне лестно было думать, что она способна повеситься из-за моего отца. В поселке Лебяжьем я рассказывал бы: был у меня знакомый гимназист, которого я погубил знанием бесчисленных книг, который стал пить запоем, а сестра его от любви к моему отцу повесилась. Я видел, как снимали ее с петли, как ревел отец, а мать везла к нам швейную ножную машинку.

Кончилась эта любовь тем, что учительнице кто-то вымазал ворота дегтем. Учительница уехала в город. Исчезли ее голубые глаза и широкая коса.

5

Отец хотел повидать в городе голубоглазую. «Кто ее знает,— говорил он,— не пошла ли она сестрой милосердия на войну?» Всю дорогу отец мне рассказывал о сестрах милосердия. Он сообщал о них всяческие пакости и особенно восхищался тем, как много они наживают денег в Харбине, какие там идут великие кутежи и как именитые князья проигрывают миллионы.

— Встречу я там, Всеволод, своего брата! Отвалит он мне тысяч пятьдесят. Небось не иначе как шулер и сразу выигрывает по громадным кушам.

— А разве у тебя есть братья?

— Двое детей законных произошло от барона Кауфмана.

Повторяю, в детстве мы знаем больше, чем думаем об этом знании взрослыми.

— Не призна́ет он тебя,— сказал я наставительно.

— Другие призна́ют и устыдят. Мы все трое на одно лицо, разница только в чинах.

К тому времени отец всюду именовал себя коллежским асессором.

— Братья-то у меня небось георгиевские кавалеры и генералы.

Остановились мы на постоялом дворе. Среди подвод ходили на костылях раненые солдаты в широких папахах. Солдаты сердито просили милостыню. Отец вычистил куртку, натянул штаны с лампасами, прицепил саблю и направился к учительнице. Вышел старичок чиновник.

— Дочь? Замужем она и переехала в Томск. Муж у нее землемер.

Старичок добавил хвастливо:

— Двести семьдесят пять рублей в месяц загребает. Сам весь лысый, водку не пьет. А каков у вас урожай нонче в Волчихе?

— Гречуха хороша, хотя и мышей много,— ответил отец и злобно хлопнул дверью.

У палисадника задержались. Чиновник смотрел в окно, обняв рукой графинчик зеленой настойки. Отец сразу развеселился, хотя, видимо, и обиделся, что чиновник не угостил его водкой.

— Врет старичок-то. Просто не взяли ее в сестры милосердия, она и отправилась к Сметанихе.

— Куда?— спросил я.

— В публичный дом, а куда же иначе? Придется и нам пойти туда, Всеволод.

— Придется, видно.

Я много слышал разговоров о публичных домах, мне любопытно было посмотреть, что же делает там голубоглазая учительница. Я только высказал отцу опасение, что всех хороших девок могли отправить в Маньчжурию и осталась шваль. Отец не удивился моим сведениям. Возможно, ему казалось, что он отвечает своим мыслям. Он сказал:

— Раз ее не взяли в сестры, так она с публичными девками в Маньчжурию не поедет. У ней тоже есть своя амбиция.

Возле голубого дома неподвижно стоял ржавый фонарь, широкий и разбитый. Из подворотни вылезла собака с черной, тоже разбитой, мордой и лениво тявкнула. Отец весело дернул за ручку звонка. Дверь быстро открылась.

Плотная хозяйка с толстой шеей медленно вышла к нам. Вдоль стены стояли венские стулья. Круглый стол был покрыт бархатной скатертью. На нем лежал альбом, и сверкала лаковая тройка. Лихой ямщик сидел «на об-

лучке, в тулупе, в красном кушачке». Отец придвинул стул к альбому и посадил меня.

— Кого пожелаете, господин офицер?— спросила вяло хозяйка.

— Гони всех девок.

— Да они в бане.

— Вот и гони их из бани. Плачу за всех. И угощаю коньяком.

Денег у отца было всего два рубля сорок. Мне стало страшно. Я знал, как бьют здесь, и даже слово «вышибала» мне было известно, но я тотчас же подумал, наверно, то же самое, что думал отец: за все наши проворства заплатит учительница.

Вышли багровые девки. Одна, в длинном халате, с веником, тощая, с длинными кудрями за ушами, показалась мне очень смешной. Они выстроились в ряд. Отец подошел к низенькой, белокурой, с голубыми глазами.

— Эту!— сказал он, стукнув ее кулаком по плечу.— На два часа. И коньяку полбутылки.

— Спеть, что ли?— спросила девка с веником.

— Допаритесь и споете,— ответил отец и вышел, не оглянувшись на меня.

Хозяйка сказала мне:

— Вы, молодой человек, только не ковыряйте пальцем лак, он отпадает, и вообще с вещами надо обращаться осторожно.

Когда комната опустела и я просмотрел весь альбом, я вдруг сильно испугался. Непременно нас будут бить, мало того, на постоялом отец меня будет бить еще и за то, что я не отговорил его! Мимо малиновых портьер в сенях, припадая на ногу, прошел широкоплечий детина с длинными руками. На дворе торжественно кричал петух. И тогда, впервые за всю свою жизнь, я заорал диким голосом.

Вбежала белокурая девка. За ней вышел отец. Лицо у него было злое. Я заорал еще сильнее. Отец вытолкал меня на улицу. Я продолжал орать. Улица пустынна, хоть бы какой-нибудь мальчишка удивился б на мое оранье. Я схватил кирпич и закричал, что расшибу окно. Появился отец. Он лихо крикнул с парадного:

— Тридцать копеек до воинского присутствия!

— Пожалуйте,— ответил извозчик.

Усевшись, отец развеселился.

— Пожалуй, ты прав, Всеволод, деньги мне и в армии сгодятся. Я, брат, немедленно карточную игру от-

крою. Вот жалко, за приглашение пришлось выплатить полтинник хозяйке. Зареветь бы тебе пораньше.

— Я ревел.

— Разве так ревут? Ты бы погрозил,— мол, альбомом в окно пустим.

Воинский начальник, зобастый, в синих очках и расстегнутом чесучовом кителе, одной рукой придерживая синюю папку, другой держа на ней длинный карандаш, вежливо поклонился отцу. Студенты в городе были редкостью. Солдаты, вдовы и писцы расступились.

Отец оперся на саблю.

— Добровольцем иду защищать отечество,— сказал он таким же высоким голосом, каким заказывал коньяк.— Прошу отправить немедленно на фронт, в действующие казачьи части около Харбина! Единоутробных своих братьев хочу найти на поле брани. И сам я погибну за родину, срубив предварительно несколько японских голов.

— Прелестное дело,— сказал одобрительно воинский начальник, указывая рукой на висевший за его погонами портрет Николая Второго.— Подвиньте стул и садитесь. Документы в порядке?

— У казака все в порядке.

— Прелестное дело,— повторил воинский начальник, рассматривая документы,— именно в порядке. Вдова будет получать пенсию. Сынишку устроим в кадетский корпус, а сами вы хотя и мертвый, но достигнете дворянства. Извините, начнем официально. Ваше имя и отчество?

— Вячеслав Алексеев Иванов.

— Прелестное дело. Откуда родом?

Отец побледнел. Идя сюда, он, наверно, думал, что воинский начальник поблагодарит его за усердие, выдаст медаль да прибавит еще денег. А тут вдруг: быть через полчаса солдатом, а через несколько дней помчат на «сопки Маньчжурии»!

Мне стало обидно за отца, но в то же время я радовался его испугу.

Испуг его длился недолго. Отец вскочил, уперся обеими руками о зеленый стол и, приблизившись к лицу воинского, крикнул неожиданно:

— Так-то вы, сукины дети, поступаете с добровольцами. Ура-а-а!..

Я схватил его за штаны, он лягнул меня. Я упал. Он выхватил саблю. Штаны с лампасами взметнулись на стол. На полу, под столом, я видел тонкие ноги воинско-

го начальника! На стене что-то затрещало. Этот треск протяжным вздохом отозвался в соседних комнатах и разнесся по всем коридорам.

Шлепнулась вырубленная из рамы голова Николая Второго.

Отец толкнул ее ногой и понесся по пустому коридору, размахивая саблей.

— Вперед, добровольцы, ура-а-а!..

На улице послышались свистки. Кто-то крикнул у окна: «Коня! Пожарных! Ловите сумасшедшего!»

Передо мной колыхалось зеленое сукно, а дальше лежала отрубленная голова Николая Второго. Я пополз. Зобастый начальник выполз раньше меня. Он сел на корточки возле срубленной головы, затем быстро обернулся ко мне, хлестнул меня несколько раз по щеке, поднялся на ноги и, пальцами отрясая пыль с брюк, басом спросил:

— Поймали?

— Ловят,— ответил вошедший солдат.

— Допросить! Следующий.

Но следующего не оказалось.

Присутствие убежало.

Воинский осторожно, двумя пальцами, поднял голову Николая Второго и еще раз хлестнул меня ею по лицу.

— Убирайся к черту!

Я был совсем одинок на этой пустынной барнаульской улице. Куда-то мчались свистки, скакали кони, обыватели бежали с кольями и вожжами. Все они ловили моего отца! Возможно, его уже поймали и уже бьют. Я плакал. Лучше бы оставить его с голубоглазой девкой, хотя она и не похожа на учительницу,— лучше б его избили там, в голубом доме. Все-таки мой отец остался бы тогда при мне. Кроме того, я боялся возвратиться на постоялый. Я вспомнил страшных раненых, чужие подводы, бородатых цыган, бродивших возле подвод, вспомнил я и рассзы о том, как цыгане воруют детей. Увезут они меня с собой!

Я направился к Сметанихе. Позвонил. Вышла хозяйка.

— Ту, голубую,— сказал я,— вроде учительницы.

Хозяйка начала меня выспрашивать. Она сочувствовала отцу, пока не узнала, как он изрубил портрет царя.

— За такие дела вешают,— сказала она хрипло,— а ты лучше уходи.

Она подала мне булку, но раздумала и отрезала мне горбушку от этой булки. Я ждал у палисадника, не вы-

глянет ли та, голубая. Я думал — вот она выйдет, обнимет меня теплой рукой за шею и поведет на постоялый, где остались у нас мешок с провизией и белье. Она найдет мне подводу и напишет длинное письмо матери. На прощанье она погладит мою голову. Я расплачусь. Она тоже прослезится.

Но не колыхалась герань в окне. Плотны и неподвижны были ситцевые занавески.

Так окончилась моя любовь к голубой учительнице.

На постоялом я сказал хозяину, что отца моего убили. Хозяин испуганно выдал мне наш мешок. Я направился пешком домой. Добрые люди подвезли меня к Волчихе.

Отца отправили в томский сумасшедший дом. У него нашли белую горячку.

Мы переехали в Томск.

Мать поступила в кухарки. Стряпала она плохо, кроме того, ей часто приходилось менять службу, так как я не нравился всем ее хозяевам. Службу она старалась найти неподалеку от сумасшедшего дома.

Каждое воскресенье мы навещали отца. Мне казалось, в сумасшедшем доме он стал рассуждать спокойнее и правильнее. Он составлял киргизский словарь, а в свободное время колол дрова для смотрителя. Жизнью своей он был очень доволен. Палаты чистые, опрятные, соседи смирные. Вскоре мне самому захотелось стать сумасшедшим.

— И долго тебя продержат?— спрашивал я с завистью.

— Да вот доктор говорит: прибавите еще десять фунтов, и можно выпустить. Главный доктор больного меньше пяти пудов не выписывает. Какой, говорит, он поправившийся, если не весит пяти пудов?

— Опять в Волчиху поедешь?— спрашивает мать с тоской.

— Надоели мне мужики, вернусь я в казачество. Кроме того, давно я стерлядей не ловил.

— Лов хороший,— сказала мать.

— Писали, что ли?

— Не писали, а наших казачков встретила.

А встретили мы наших казачков так. Возвращались мы поздно ночью с матерью из гостей. Она ходила к знакомой рябой кухарке помогать стряпать пельмени. В городе шел еврейский погром. Стряпая пельмени, кухарки рассказывали друг другу о том, как черная сотня сожгла

Народный дом вместе с митинговавшими студентами и рабочими.

Мы пересекали большую пустынную площадь. Где-то в стороне, у белого дома, горел костер. Не помню, было ли это зимой или весной, но пронизывающая, тоскливейшая изморозь поднимается вокруг меня и сейчас, когда я вспоминаю эту длинную площадь. Мать шла довольная — пельмени удались, она несла остатки, чтобы завтра утром поджарить и угостить меня: наша хозяйка, как и все хозяйки, обижалась, что кухаркин мальчишка много жрет.

От белого дома донесся крик. Затопал иноходец. К нам скакали с пиками наперевес широкие папахи. Мы остановились. Кони уперлись в нас. К седлу приторочено что-то пушистое. Я не испугался, я с любопытством ждал их. Они были пьяны, радовались своей удали; они не видели никакой подлости в том, что грабили людей; они радовались тому, что не попали в Маньчжурию, а сражаются в тихом и безопасном месте, они радовались будущим медалям.

Размахивая пикой, казак крикнул пьяным и ленивым голосом:

— Жидовка, чо, младенца спасаешь?

Второй закурил трубку, звякнул шашкой о стремя. Голос у него был еще ленивее, чем у первого.

— Не успели дорезать?

— Дорежем!

Мать молчала.

— Жидовка, отойди. Сейчас пронзать будем сына твоего пиками.

— Кетер, шайтан!— ответила моя мать торопливо.— Таре, дчал гасым?[1] Очумели совсем! Чо, своих не узнали, штоб вас язвило! Совсем перепились.

Казак с трубкой сплюнул.

— Чо? С Иртыша?

Первый казак спросил:

— Чо, какой станицы, тетка?

— Семиярской,— ответила мать.

Первый казак спросил:

— Прохора Хворостинина из Урлютюпа знаешь?

— Слыхала.

— Передай по всей линии, что сына его встретила в Томске. Жидов громит, дескать. А это бери себе.

Он отстегнул от седла черное и бросил матери. Мать

---

[1] Отойди, черт! Что надо?

пощупала и передала мне. Это был разорванный сюртук и шапка меховая с длинной тульей. Хворостинин слез с коня и, шатаясь, с протянутой рукой, подошел к матери.

— Чо, видишь, тетка?

На ладони у него лежали золотые часы.

— Мог бы тебе подарить, но скажут — не с удальства, а спал с ней. Смотри, тетка.

Он поднял коню переднюю ногу. Положил часы на землю и опустил копыто. Легонько хрястнуло. Хворостинин опять поднял ногу и показал сплющенные в лепешку часы. Пощелкал по крышке ногтем, плюнул и бросил изо всей силы в сторону.

— Вот как сибирячки-то поступают,— сказал он, отъезжая.

Мы долго ползали по земле, разыскивая эти часы.

Чуть светало, когда мать вернулась на площадь. Часов она так и не нашла. Тогда она обругала Хворостинина, который, наверно, только махнул рукой, а часы остались в ладони.

— Знаю я этих казачков, жадней зверя не встретишь.

6

В Томске мы прожили два года. Отец все еще не дотянул до пяти пудов. Мать испытывала к нему огромное уважение. Она теперь считала, что умный и ученый человек только тогда сможет быть настоящим ученым, когда посидит в сумасшедшем доме. Она, отличавшаяся и без того большим трудолюбием, теперь, слушая советы отца о тихой «подчинительской» службе, работала еще лучше. Хозяева прощали ей даже мое пребывание на кухне.

Отец мой важно басил и тучнел. Он уже заведовал библиотекой, а почерк его считался в канцелярии лучшим во всем сумасшедшем доме. Приняв нас однажды в кабинете начальника, под портретом бородатого ученого, отец надел пенсне и степенно сказал:

— Поехали бы вы в Павлодар. А я, если понадобится, приду пешком.

Мы и поехали.

У матери в Павлодаре находилось две сестры: Фиоза Семеновна, за подрядчиком Петровым, и Felицата Семеновна — вдова. Фиоза Семеновна жила на краю города, неподалеку от сельскохозяйственной школы, мрачного и громадного здания. Фелицата Семеновна — на берегу Иртыша. У одной — каменный дом и уже клали другой в три

этажа. У второй сестры — «деревяшка» в две крошечные комнаты, покосившаяся, с разноцветными от древности окнами. К богатой сестре мать моя побоялась пойти и поселилась у бедной.

Фелицата Семеновна поила чаем киргизов-грузчиков. Брала она три копейки с человека. Чай для киргизов заменял обед. За свои три копейки они пили часа по два. Кучами они сидели во дворе, в комнатах, в сенях. Тетка ходила между ними, раздувала несколько самоваров. Мать ей помогала. В течение всего лета день и ночь поили киргизов, а накапливали денег столько, чтобы с грехом пополам прожить зиму.

Тетка Фелицата обладала возвышенными стремлениями. Киргизов она поила чаем, чтобы облегчить их участь, впрочем, брала она с них не дешевле других «поилиц».

— Но у меня душевное обращение,— хвасталась она,— где им такую ласку найти?

Все возвышенные ее стремления оканчивались обычно чепухой. Покойный муж ее считался яростным пожарным и все мечтал иметь ребеночка. Фелицата не любила детей, но для возвышенной нежности она усыновила ребеночка. К тому времени, когда мы поселились у тетки Фелицаты, приемышу, Марье, шел пятнадцатый год.

Держать этого приемыша было трудно. Упрямо решил приемыш: надо беречь красивую фигуру свою, замечательные руки и ноги! Ходила Марья непременно в перчатках и за таскание самовара скидывала киргизам по копейке, дабы не портить фигуры. За это самовольство тетка била приемыша раза три-четыре в день.

Акушерка Мулутова занимала половину дома. Мулутова была фиолетовая какая-то и страстно разводила кошек. Она заботилась только о себе, но умела произносить пышные фразы; кошек она растила потому, что их разбирали купчихи. У нее были и ангорский кот, и две ангорские кошки. В комнатке постоянно пахло котятами. Она запирала комнатку, чтобы котята не разбежались.

Я сооружал удочку, привязывал к ней кусочек мяса и тащил. Котенок бежал за мясом. Я прятался под бочку у окна. Едва котенок появлялся на подоконнике, я хватал его и бежал с ним «на зады», оттуда к плотам, где у меня устроена была норка. Котенка надо было продержать по возможности дольше. Акушерка сначала обещала пять копеек, если я его найду. Затем семь. Дело доходило иногда, смотря по достоинству котенка, до двенадцати копеек. Особенно хорош был серый, с разно-

цветными глазами. Мне его страстно хотелось стащить. Акушерка, когда открывала окно, держала серого котенка зажатым между колен.

Однажды я сманил все-таки серого, привязав кусочек печенки на ниточку.

Я рассчитывал получить не меньше полтинника. Мулутова набавляла каждый день по гривеннику. Она волновалась, говорила пышные слова о справедливости и благе и обедала поэтому каждый день у тетки, которая была этим польщена и отдавала ей лучшие куски, до этого достававшиеся мне.

Пришел день, когда пушистый разноглазый комочек стоил уже сорок копеек. Я мечтал о полтиннике. Акушерка хотя и морщила свой фиолетовый нос, но платила деньги аккуратно. Утром она грустно сказала:

— Хорошо бы бараночек.

— Сходи!— сказала мне тетка.

Фелицата посмотрела на акушерку. Мулутова наглыми глазами на тетку. Тетка молча вздохнула, достала деньги. Впрочем, она была довольна, что акушерка словно бы нуждается.

— Иди. На гривенничек купи.

— Мало,— сказала акушерка.

— На пятиалтынный!

Грызя баранки, акушерка заявила, что она за котенка не даст ни копейки, искать его не стоит.

Мать сидела покорная, глядя на три самовара, которые она чистила, встав еще до рассвета. Правильно! Если ученая акушерка завладела Фелицатой и та отказалась брать за квартиру ввиду возвышенной любви к животным и расширению животного стада: правильно!

— И ведь действительно,— возвышенно глядя на самовары, подтвердила тетка Фелицата,— надо развести кошек... А то ведь сколько же мыши поедят зерна!

— И чуму разносят,— добавила акушерка.

Тогда я посадил котенка в корзинку и сунул его тетке под кровать. Я вымазал его в дегте. Котенок просидел до вечера, а вечером ему стало страшно, и он запищал. Акушерка выбежала на писк.

Мулутова ругалась и обижалась.

— Я вас считала возвышенной дамой, Фелицата Семеновна, а вы над животными смеетесь.

Тетка с огорчения выпорола Марью. Марья, пряча руки и ноги под себя, молчала. Молчала она потому, что недавно ее приняли в прогимназию, где открыли у нее от-

личный голос. Я сильно страдал. Я знал — Марья не скажет, кто испортил котенка. Она любила меня. И я ее любил.

Да, я ее любил! Нас клали спать на сеновале. Мы ложились в разных концах. Тетка целовала нас на ночь. Как только она уходила, мы соединяли наши постели, запирали плотно сеновал и кидались в объятия друг к другу. Сколько мне было лет? Тринадцать. Наверное, многие скажут, что это плохо, стыдно, я был нехороший мальчик. Я и сам сознаю сейчас: пожалуй, не столь плохо, сколь преждевременно. Но тогда я был счастлив. По утрам я был нежен и к самому себе, и к Марье. Я помогал сестре. Я гордился Марьей, когда она надевала коричневое платье и отправлялась в прогимназию. Я желал приобрести форму и блестящие пуговицы.

Тогда меня повели к дяде Василию Ефимовичу Петрову.

Мать моя к тому времени поступила к богатой сестре Фиозе кухаркой и прачкой. Сестра потребовала, чтобы Арина никому не говорила о родстве: просто женщина из одного поселка. Мать согласилась без протеста.

Василий Ефимович Петров происходил из пермских мужиков, отец его — пимокат. Город Павлодар был отменно ленивый город. Василий Ефимович отличался чрезвычайной пермской подвижностью, соглашался на все и брал любые дела, и притом немедленно. Он строил церкви, дома. Без архитектора, сам составлял планы и строил быстрее всех, метался по уезду, торопил, бил каменщиков, плотников. Церкви получались кособокие, с кривыми окнами, так что говорили: «А, это Петров построил». Люди дивовались и отдавали ему подряды, должно быть, только от изумления перед его вдохновением.

На тетке он женился внезапно. Фиоза ему попалась на дороге. У таратайки сломалось колесо. Фиоза шла с водой. Совсем как в песне! Он попросил ее указать ему, где живет кузнец. Тетка, только из лени, чтобы не тащить до дому ведра, проводила его к кузнецу. Василию Ефимовичу оттого показалась она страшно деятельной, и он ей немедлено предложил тут же обвенчаться. Ему вспомнилось, что он до сих пор не женат. На другой день они и обвенчались.

Тетка Фиоза приехала в город, купила громадную кровать, пуховик из лебяжьего пуха, прошлась два раза по городу. Город ей не понравился, а переезжать в другой она не хотела. Она и легла в постель. Она говорила и ду-

мала только об еде. Больше всего радовалась она, когда в городе открывали гастрономический магазин. К ней присылали приказчиков. Она подробно выспрашивала их, что поступило в магазин. Рыболовы ей приносили лучших стерлядей. Из поселка ей привозили пареный боярышник, язей. Кололи баранов. Она приказывала каждую неделю варить баурсаки в меду. Но ко всему тому она была скупа: мать мою наняла только потому, что Ариша брала меньше других. И еще любила она зверей. Волк, его звали «Вилькой», носился на цепи во дворе. Волку шел второй год.

Во дворе, перед возводимым трехэтажным домом, стоял Василий Ефимович в чесучовой рубахе и штанах. Увидев нас, он хвастливо крикнул, указывая на суматоху во дворе:

— Внизу предполагаю открыть лавку... и еще что-нибудь.

Среди возов с кирпичами пробирались к амбарам верблюды, навьюченные шерстью и кожами; толкались овцы; метался на цепи волк. Пока мы шли через весь двор, Василий Ефимович успел обежать вдоль фасада, слазил на чердак, заглянул в колодец, который копали тощие киргизы. Лицо у него сияющее и довольное. Все идет отлично. Жена возлежит, не работает. Отлично! Пускай лежит! Подрядчик Василий Петров десять жен способен содержать. Впрочем, он не думал о десяти женах, потому что если бы он подумал, то, несмотря на все неприятности, завел бы себе этих десять жен, даже если бы для этого потребовалось перейти в магометанство.

В теткиной комнате меня встретили таинственные запахи. Особое солнце лежало за густыми занавесками. Я впервые видел такую широкую алую постель и такую раскрашенную толстую женщину. Уважал я и атласное одеяло, под которым она лежала, несмотря на жару.

Мать, худенькая и покорная, остановилась у дверей за моими плечами.

— Ариша,— сказала ей тетка Фиоза,— ты чайку нам сготовь.

Тетка Фиоза со вздохом скинула одеяло и встала передо мной в рубашке до пят. Она не торопясь надела киргизский полосатый халат, расчесала волосы чудовищной длинноты и черноты. Я чувствовал — надо что-нибудь сказать, но губы мои одеревенели. Никогда и нигде не встречал я подобной красоты. Я понимал — нельзя ско-

ромно думать о тетке, но богатство отдаляло от меня родство. Марья показалась мне ничтожной.

— Грамотный?— спросила она, кладя в алый рот коврижку.

— Да,— ответил я тихо, весь пылая.

Она чмокала, щурилась, поводила плечами.

— Ну, иди в столовую.

На круглом столе, который я тоже видел впервые, уже кипел самовар. Мать расставляла чашки. Она было направила меня на кухню, но дядя Василий Ефимович остановил:

— Пускай здесь пьет. Поощрение полезно.

На скатерти — круглые прозрачные блюдечки для варенья. А сколько их, этих варений! Малиновое, яблочное, земляничное... Протяжной струей непрестанно текут они в тарелку к тетке. Мне положили клубничное, оно самое дешевое: неисчислимы поля дикой клубники в степи. После варенья тетка подвинула к себе торт, ела она жадно, торопливо. Ее громадные, круглые телеса колыхались. Дядя, рыженький, плотненький, постоянно вскакивал, убегал куда-то, возвращался, открывал окошко и ругал каменщиков. Прихлебывая из стакана чай, он стучал кулаком по столу.

— Надо строить кирпичный завод! Выгоднее иметь свой.— Он обернулся ко мне и пощупал мои бицепсы.— Учиться хочешь?

— Хочу,— ответил я, глядя на тетку.

Я завидовал и радовался удовольствию, с которым тетка Фиоза пила чай. Она жмурилась, вздыхала, в животе ее что-то благостно хлюпало.

— Учиться полезно. Поедем сейчас. Коней уже закладывают.

Дядя усадил меня править иноходцем. Мы проехали мимо мрачного здания сельскохозяйственной школы за город.

— Дорога отличная! Плоды отличные!

Дядя остановился и сорвал несколько арбузов. Подошедшему сторожу он дал пятак. Миновали много бахчей, полей. Поднялись на много пригорков. Я разомлел. Дядя просыпался на поворотах и указывал, куда мне свернуть.

Мы ехали часа четыре, пока не увидали желтых деревянных ворот. Меня удивило, что от ворот не идет ограда. На воротах надпись: «Опытная ферма Павлодарской сельскохозяйственной школы». «Наплевать,— подумал я,— буду и здесь учиться». Ворота мне понравились. За

воротами виднелось несколько саманных длинных домов, скирды сена и обмолоченной пшеницы, сараи, а в стороне, возле громадного огорода и озерка, беленький домик. Мы подъехали к домику.

Нас встретил заведующий школой. У него была странная фамилия — Своз, а имя самое простое — Иван Иванович. Он необычайно обрадовался дяде. Он радовался каждой встрече, толстоногий Своз! Он прослезился. Он жал дяде руку, гладил по плечу, по животу.

— Василий Ефимович, солнышко, откуда это тебя? Я ведь вас и не надеялся никогда увидать. Я на тебя сердился.

И он на самом деле изобразил на лице сердитость.

— Третьего дня видались у городского головы.

— Так разве это виденье? Виденье — это чтобы посидеть. Или ты не желаешь со мной знаться?— Он вспылил, впрочем, тотчас же отошел, увидав меня.— Сын-то у вас, Василий Ефимович, какой вымахал. Небось лет шестнадцать! В гимназии? Или посредством домашних учителей обучаете?

Он плясал, прыгал вокруг Василия Ефимовича. А тот прицеливался, как бы тут чего построить. Дядя болтал мало, он преимущественно действовал. Подумать можно, что они приятели сотню лет! Оказалось, он и в гостях у Своза впервые, и даже ничего не строил Свозу.

Узнав, что Василий Ефимович привез меня учиться, Своз и этому обстоятельству несказанно обрадовался. Не знаю почему, но ему не понравились мои штаны, хотя это были самые обыкновенные серенькие штанишки из бумажной материи, вправленные в низкие сапоги с голенищами. Заведующий хозяйством увел меня. Дядя остался пить чай. Я еще не успел дойти до склада, как увидел, что дядя уже садится на таратайку, видимо вспомнив какое-то спешное дело. Обо мне он уже забыл.

Своз тоже обо мне скоро забыл, хотя, увидав меня, он всегда делал крайне радостное лицо и вспоминал о самом удивительнейшем и деятельном подрядчике Василии Ефимовиче.

Нас, учеников, было сорок два человека. Мы все жили вместе в длинном саманном сарае. Спали мы на железных кроватях, соломенных тюфяках, которые сами набивали каждые две недели. Одеты мы все были в одинаковые черные штаны и рубахи из «чертовой кожи» с белыми пуговицами по вороту, а зимой, когда мы переехали в город, нам выдали черные шинели с зелеными

кантиками. Вставали мы рано, до рассвета. Мучительное вставанье! Вставая, я думал, что никогда мне больше не встретить такой тяжкой работы.

Я пахал, боронил, сидел на косилке, гонял волов в город за лесом, спал под солнцем на лесинах. Вокруг пустынная степь. Нос и рот забивала теплая пыль, глаза слипались, все время мучительно хотелось спать. Многое б было приятно, кабы не просыпаться так рано. Приятно с высоких сидений лобогреек перекликаться друг с другом. Кони бежали, махая хвостами. Оводы впивались в наши загривки.

— Подбавля-яй!..— начинал с одного конца поля молодой и звонкий голос.

— Подбавляй!— кричал другой.

Мы ничего не подбавляли. Мы хлопали бичами, хотя кони не могли бежать быстрее: поломалась бы машина. Но нам было приятно — мы как большие. Сами косим и жнем. Возвращаясь с поля, мы останавливались возле бахчей и срывали по арбузу или по подсолнуху. Мы щелкали семечки и врали друг перед другом, идя в туче теплой пыли. Отличная жизнь, кабы не вставать рано!

Отличная жизнь, кабы не кухня. Трое из нас каждый день дежурили на кухне. Один оставался убирать столовую, мыть посуду, выхлопывать постели, протирать окна. Двое помогали стряпухе. Надо чистить картошку, таскать дрова в печку, чистить капусту, лук, нарезать хлеб для завтрака и обеда, разливать чай по чашкам и добавлять молока. Все кричали. Одни — налил слишком густой чай, другие — слишком мало молока.

Обед. Мы, дежурные, вносим щи.

Середину стола занимают старшие ученики: плечистые, крепкие, расчетливые. Все, что они собираются сделать, они обсуждают долго и тщательно. Как покрепче зашить штаны? Сколько чашек чая можно выпить, чтобы не повредить учению? Как развеселить Сваза? Они осторожно работают, осторожно хвалят или бранят... Да нет, они до брани не доходят, куда им! Они боятся всего нового, неиспытанного. Нельзя, например, переставить им кровати. Они не выходят из школы без спросу. Они в большинстве из крестьян.

По краям пристроились «вьюны». Приютские подкидыши, дети нищих, бродяг, обедневших мещан, они постоянно ругались и дрались и, казалось, не размышляли.

Но все они, весь стол, и средина и края, постоянно пребывают в крайнем напряжении. Чем больше я живу

в школе, тем сильнее я понимаю его. Особенно напряжение усиливается зимой, когда мы приезжаем с фермы в город. Мне кажется, что течение мыслей у «средины» встретило высокое препятствие. «Вьюны» ломаются, дурачатся, форсят, но у них мысли опережают друг друга, словно воздвигнут фасад, а дома-то нет. Даже сам Иван Иванович Сваз потускнел. Сваз должен преподавать нам физику, геометрию и животноводство. «Какие глупые, пустые науки,— думал я,— если даже Сваз способен их узнать!» Уныло он раскрывает книгу, уныло читает название главы и затем откладывает книгу в сторону.

— Огласи, Иванов.

Он чувствует, что здесь учить невозможно и радоваться ему не на кого. Он смотрит на эти тупые лица, которые ждут только еды, думают только об еде, и ни с того ни с сего он говорит:

— Чайки еще не летают, и, по-моему, их вообще нет на Иртыше как предвестниц весны и хода рыбы.

Он чертит карандашом по столу и дремлет. Звонок.

— Что и требовалось доказать,— говорит он и уходит из класса, сияя радостью, надеясь встретить менее напряженных людей.

Каждые две недели нас водили в баню. Мы шли через город черными парами. Мальчишки кричали нам: «Козлы!» Улицы мы проходили молча. Многие из нас гордились позорным званием вонючих козлов, но я страдал. Когда мы проходили мимо прогимназии, сестра моя Марья, которая постоянно торчала у окна, отходила прочь. Еще бы! Город после нашего «прохода» делался напряженнее и злей. Сколько их проходит здесь, несчастных уродов, подкидышей, эпилептиков, золотушных, будущих убийц, воров, грабителей. Город смотрит на нас со злобой и омерзением, на эти наши черные шинели с зелеными кантиками...

Глупая моя форма!

И я подумал: «А что, если Марье не нравятся мои штаны, вправленные в сапоги? Если ей нравятся штаны «городских» учеников, которые в своих шинельках похожи на синиц?»

В следующее воскресенье я выпустил штаны поверх сапог. Никто у тетки Фелицаты не заметил моих прекрасных штанов. Я остался ночевать.

Тетка погасила керосиновую лампу. Мы с Марьей лежали рядом на полу, головами под стол. Я протянул Марье руку. Она спит. Как быстро она заснула. Будем

верить, что она заснула оттого, что ей хочется спать, а не оттого, чтобы скорее забыть вонючего козла.

Мы мало работали зимой. Истопишь печи, заправишь лампы, подметешь классы. Работы было особенно много в субботу, когда мыли всю школу.

В свободные часы я уходил на застекленную террасу первого этажа. Здесь предполагали устроить столярную мастерскую, но кто-то украл инструменты и лес. Ученики избегали террасы — слишком светло и холодно. Здесь я прочитал «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима», «Ледяной сфинкс», «Восемьдесят тысяч лье под водой», «Архипелаг в огне», «Дети капитана Гранта». Мне нравилось повторять: «Бедный Пим! Не надо, никогда не надо забывать бедного Пима!» Мне нравились терраса, холодное солнце, большой свет. Терраса похожа на пароход, особенно два деревянных столба, они совсем как мачты. Стекла голубовато-прозрачные, высокие, если всмотреться, то сквозь них снега, заполняющие площадь громадными валами (сюда мещане свозили навоз), очень похожи на Ледовитый океан и даже на полюс. Смотришь и думаешь — сейчас кончатся снега, попадешь в теплое течение и корабль понесется к запашистым островам. Дневник мне вести не хотелось. Я написал письмо. Я писал: «Вот здесь сидел мальчик Всеволод Иванов, читал и думал о том, что когда-нибудь он будет капитаном и поплывет в море. А пройдет много лет, это письмо найдет другой мальчик, прочтет и тоже будет мечтать о капитанстве». Долго я думал, куда же мне спрятать мое письмо. Я бросил его в щель столба, подпиравшего террасу. Столб был обшит досками. Три года спустя это письмо нашел Петька Захаров, и о встрече с ним и его замечательной жизни будет рассказано дальше.

К весне школьников кормят хуже. Они голодают. Мы едим гнилую солонину, гнилую капусту, тухлую и вязкую. Чай нам подают без молока. Правда, пища теперь похожа на ту, которую едят люди, потерпевшие крушение, но мне не нравится такое крушение.

В большом актовом зале висит портрет Николая Второго. Лицо у него такое же, как и там, в воинском присутствии, где отец мой записывался добровольцем. Но портрет вырос, а я такой же маленький. И все окружающее по-прежнему враждебно мне и внушает страх.

Вечером мы заправляем и развешиваем по классам керосиновые лампы. Нальешь керосин, идешь осторожненько с лампой, держа под ней тряпку, чтобы не обка-

пать пола. Классы пусты. Повесишь лампу в проволочную цепалку, зажжешь и слегка качнешь. Все поплывет вокруг, качаясь и наполняя желтым светом. В углу стоит громадная черная доска чистоты необыкновенной. Подойдешь и напишешь крупным мелом: «2 × 2 = 4. Индия! Балеарские острова».

Два раза в день — рано утром и вечером — мы должны обтирать пыль с портрета и золоченой рамы. Зачем он такой громадный? Почему на него ложится так много пыли? Почему и у него напряженное лицо? Мы переименовали портрет, как переименовывали все, что надоело нам. Мы назвали его «шадра́-барда́», что значит — ямки на лице от оспы. И нам нравилось говорить друг другу:

— Твоя очередь сегодня шадру-барду обтирать.

А главное — окаянная эта лесенка, на которой нужно было стоять, чтобы достать до верха портрета. Лестница качается, скрипит. Иногда с нее дежурный падал, и тогда весь класс целый вечер «поддувал»— смеялся над упавшими. После падения надо вернуться веселым, иначе «поддувальщики» будут кричать: «Перекачало!»

Перед исповедью, великим постом, накануне экзаменов, нас послали перебрать картошку в погреб к управляющему школой И. И. Свазу. Многое предполагали мы увидеть в этой «харчевой», но не такое. Толстые окорока встали нам навстречу, качались сушения, блестели маринады, улыбались пузатые банки с красными помидорами, поодаль несколько сорокаведерных бочек с арбузами, мешки сухарей. Десять морских судов можно было б кормить десять лет в этой «харчевой».

Нам сразу надоело заправлять лампы. Мы поняли наше напряжение. Мы поняли наш голод.

Мы думали три дня.

Проели мои экзамены!

Не скажет теперь поп того, что он говорит каждому после удачного экзамена, поглаживая бороду в седых крапинках:

— Будешь сельскохозяйственным техником. Пора. У меня в прошлом году саранча пожрала пищу и пшеницу.

Я отказался помогать в подкопе, не столько потому, что считал поступок этот опрометчивым накануне экзаменов, сколько потому, что не понимал жадности к еде. Голодать — так голодать. Вот сладкое — это дело другое. И «вьюны» и «средина» свалят вину на меня. Они сразу возненавидели меня за отказ. Чем я гордился? Я подо-

шел вместе с ними к складу. Лица у них стали еще напряженнее. «Средние» вползали в черную дыру подкопа, которая начиналась в пригоне. «Вьюны» отталкивали «средину», кусались, визжали. Я должен был влезть последним. Я слышал возгласы из подвала:

— Кормись!

— Расходуйся!

— Траться!

Экзаменаторы, когда обнаружится, что вся закуска съедена неизвестными ворами, сурово будут смотреть в наши глаза, сурово осматривать стены, и увидят они портрет Николая Второго. И это преступление с глазами Николая Второго тоже свалят на меня.

Дежурным надоело стирать пыть с этого напряженного лица, и они гвоздем выкололи ему глаза. Лицо утеряло свою напряженность, поглупело. «Козлы» осмелели. «Козлы» хохотали. Тогда-то «козлы» и придумали подкоп.

Выколоть глаза царю — это не то что скушать помидоры. Мне и хотелось быть «политическим», но я боялся, что меня сошлют на каторгу. Мне вспомнились цепи деда Семена, его синее лицо. Страшно. Там, наверное, на каторге, еще более напряженные лица, чем здесь, в школе. В голове клубилось, а в сердце как бы клевало. Да, вот и земля, да, вот и приближающаяся весна. Ох, надоела мне земля! Наскоро окончить экзамены, потому что Свазу надо посеять больше для себя. Надо вставать с рассветом. Сапоги и без того тяжелые, а выйдешь на двор — прилипнет земля, и еще станут тяжелей. Хочется спать. Ветер холодный, дождь. По краям неба сафьяновые весенние облака...

Я сказал Свазу:

— Пустите меня.

— Завтра экзамены,— сказал Сваз.

— Пустите меня совсем,— сказал я торопливо,— у меня отец помер.

Сваз перекрестился.

— Вечная память,— сказал он тихо,— прекрасный был человек.

Он никогда не видал моего отца.

— Хоронить поедешь?

— Хоронить.

— Ну, поезжай, а мы тебя проэкзаменуем отдельно, когда вернешься.

— Пустите меня совсем.

— Экий дурак,— сказал уныло Сваз,— разве у нас разрешены отдельные экзамены? Пора бы научиться высокому смыслу аккуратного разговора.

Кирпичный красный фундамент школы тоже какой-то напряженный, как и серые деревянные коридоры, как и все окружающее, которое, кажется, вот-вот готово расплакаться. Но не успел я пройти мимо фундамента, не успел шагнуть на пухлую великопостную дорогу, как напряжение окончилось. Я с наслаждением шагал по лужам, посвистывал, размахивал узелком. Я шел к дяде Василию Петрову.

Круглый самовар. Суетливый дядя Петров ругается в окно. По-прежнему перед теткой Фиозой бесчисленные варенья. Мать моя, всхлипывая, печет на кухне оладьи. Не вышло из Всеволода сельскохозяйственного техника!

Тетка Фиоза еще величественнее, еще румянее, еще белее. Я обмер, как никогда не обмирал. Какое счастье жить с нею рядом, видеть ее каждый день! Взял бы меня дядя хоть в кучера.

— В повара его разве?— вяло говорит тетка.— Там горячими ложками бьют по лбу, если плохо учится. Пища...

Она смотрит, как я неумело и жадно тянусь к варенью. Она думает: «Нет, из него повар не выйдет. Повар должен относиться к пище бесстрастно».

Василий Ефимович, обжигаясь, торопливо допил стакан, покрутил усы, поддернул штаны. Ему хочется угодить жене.

— Ушел, значит?

— Ушел.

— Вобче... Жениться тебе, Всеволод, рано...— Он растерянно взглянул на жену.— Куда б мне его направить?

— Направь его вниз.

— И верно, направлю я тебя, племянничек, в приказчики.

7

Ранним утром пароход высадил меня у крутого берега. Возле костра грелись киргизы. Тополя курчавились по высокому скату. Киргизы кинулись грузить бочки и кожу. Капитан с мостика кричал в широкий рупор. Из трубы парохода летели прощальные искры.

Я продрог. Большеголовый человек с белесым чубом, перекрывающим его лицо, потянул меня за руку. Боль-

щеголового звали Федор Малых. Он помогал моему «нижнему» дяде Кузьме Кузьмичу Македонову, заведующему лавкой Давыда Лыкошина в поселке Урлютюпском. В тележке Федор Малых всю дорогу от пристани до поселка рассуждал о своей судьбе, тяжелой и невыгодной. Вожжи то и дело выпадали из его рук. Он достал кисет и тоже выронил. Долго искал, поучая меня, что я неправильно сижу, что человек даже в сиденье должен иметь выгоду. Пряди волос падали ему на губы.

— Не ужиться тебе здесь, придется к «верхнему» дяде ехать.

Родственники наши делились на «верхних» и «нижних»: по течению Иртыша.

Дядя Кузьма Македонов жил в новом розовом доме. Говорили поселком — у него долгая и страстная любовь к хозяйке Юлии Лыкошиной. Сам владелец дела купец Лыкошин за убийство шансонетки в Омске был приговорен к четырем годам тюрьмы и уже отсидел два года. Дядя был лыс, тонок, с писклявым голосом. Холост. Хозяйством управляла его сестра, толстогубая Софья Кузьминишна, помогала ей дальняя родственница Клавдия, девушка с зелеными сережками в ушах. Жена купца Лыкошина ревновала дядю и часто ночами приходила внезапно: узнать, не лежит ли он с Клавдией.

Нравилось мне все вокруг. Я спал у дяди на кухне, вставал рано утром, шел подметать лавку, двор, пилил с работниками дрова, носил из склада тюки мануфактуры. Днем мы ездили к пароходу, обедали почему-то в сарае. Отпускали нас домой поздно вечером. Ночью я часто просыпался, прислушивался, не идет ли с ножом в зубах купчиха Лыкошина? Тощая, с зонтиком и сумкой в руках, она бранилась необыкновенно искусно по-киргизски, била работников и злобно смотрела на дядю. Я был уверен, что она зарежет его. Это было даже немножко любопытно. Я полагал, что у лысых мало крови, и мне хотелось проверить свои предположения. Удивляло меня еще и то, что дядя Македонов, явно боясь купчихи, поддакивал ей во всем, послушно исполняя все ее приказания, все же ухитрялся так ловко обманывать ее, так ловко воровать, что в течение пятнадцати лет его ни разу не поймали ни хозяева, ни приказчики. Весь поселок завидовал его воровскому искусству, а больше всего завидовал Федор Малых. Приказчики неустанно следили за дядей. «Неужели,— думал я,— и мне следить?» И я решил, что он ворует по приказанию купчихи. А если и спит с Клав-

дией, то это — чтобы купчиха смогла совершить преступление и проникнуть к своему купцу в тюрьму.

Но все мои размышления о любви и воровстве раздавило огромное количество сладкого на складе и в лавке. Нигде позже не видал я столько конфет,— шоколадные, клюквенные, земляничные, мармеладные, в белоснежных, пурпуровых, желтых и алмазно-прозрачных коробках, они лежали на прилавках, глядели с полос, загромождали самые отдаленные углы склада. Но к ним трудно было пробраться! Тюки кожи, сукна, сбруя, гвозди, цибики чая преграждали мне путь. К сладостям допускались только опытные приказчики. Приказчики раскрывали тюки с изюмом, урюком, винными ягодами, а мне доставались кожи и чай. «Неужели,— думал я,— казаки и киргизы столь лакомы?» И я понял, чем меня прельщала Индия. Прежде всего, она чрезвычайно сладка. Мне снился сахарный тростник. Качались под ветром белые сладкие стебли. Я твердо знал, что они не могут быть белыми, но все-таки я не верил в тростниковую зелень.

Я решил хорошо служить.

Я прилежно возил на пристань бочки с маслом, помогал принимать грузы. С парохода кричал сиплый голос: «Лови чалку!» Я ловил эту скользкую мокрую веревку. Дожидаясь парохода, мы жгли костры и рассказывали свои похождения.

Я сбирал в темноте валежник, ощупью — по хрусту возле ног. Я прислушивался к далекому шлепанью пароходных лопастей.

Тянулось лето. Несмотря на прилежание, я все еще имел право делать не более пяти шагов внутрь кладовой. До сладких тюков оставалось еще шагов двадцать.

Мне выдали тяжелые сапоги и поддевку. В руках у меня приемная тетрадь и привязанный к ней карандаш, изгрызенный и пачкающийся. Я доволен. Ну, еще месяц, ну, два — и я попаду в сахарную кладовую и туго набью конфетами огромные карманы поддевки.

А через неделю Федора Малых и меня отправили «вправо», далеко через степь, к опушке бора. В этом далеком и загадочном бору киргизы заготовляли лес и возили его в Урлютюп.

Лыкошины решили открыть в бору лавку, где бы киргизы и «переселенные» украинцы покупали мануфактуру и сбрую. Все равно возы к бору шли пустые, пусть лучше возят товары.

Мы ехали нескончаемо долго. Перед закатом волов

выпрягали. Я собирал сухой конский помет, разводил костер. Степь лежала глянцевитая и пустая. Я впервые попал в подлинную киргизскую степь. Как приятны молодые травы! Я вставал рано, ложился в траву и смотрел в небо. Волы пыхтели, от телег пахло дегтем. Небо в галунном блеске. Жаль, что мы везли плохие конфеты. Но и мануфактура тоже плоха.

По-прежнему у Федора Малых падали вещи из рук: рубахи, хлеб, чашки. Чуб валился по-прежнему, и, казалось, глаза тоже вываливались. Свесив дряблые ноги с телеги, он рассуждал:

— Вот кабы украсть!.. Такое... а что и как, хоть убей, не найду.

— Красть, по-моему, скучно,— говорил я.

— Не знаю, скучно или весело, а приходится. Все крадут. Ну, вот попробуй, укради в нашей боровой лавке. Македонов такие назначил хитрые цены, что киргизам и переселенцам за двести верст ехать за покупками выгоднее, чем к нам. Вот тут и назначь цены выше.

Казалось, Федор Малых знает, кто и сколько украл по всему миру.

— А кто не ворует? Укажи!— спрашивал он меня, возчиков-киргизов, всех встречных.

На краю громадного леса увидали мы нашу лавку. Лес был тяжелый, ровный, а если и выскакивала вверх какая сосна, то непременно карминно-красная. Рядом с лавкой киргизы в ситцевых чамбарах [1] неустанно пилили бревна. Сухая жара окружила нас.

— Нет, куда там покупателю явиться.

И точно: покупатель являлся туго.

Киргизы складывали новые плахи на возы. Опять я ходил среди возов с тетрадью, опять жгли костры. Только валежник собирать легче.

Поодаль от нашей лавки жил в зеленой избушке лесной объездчик Петр Водовозов. Объездчик уехал в Урлютюп. Нас угощала чаем жена его Елизавета, высокая, удивительно стройная, с тяжело-чугунными глазами. Я обижался на свой малый рост, я старался говорить мудро, ходил вразвалку, словно киргиз, и отпустил чуб, подобно Федору Малых.

Тетка Фиоза прислала вскоре к нам своего Вильку. Волк сорвался с веревки и передавил у нее всех кур, затем залез к соседям и задушил теленка. Волка привезли

---

[1] Чамбары — шаровары.

в клетке, на тройке взмыленных и перепуганных лошадей. Киргизы долго рассказывали, с каким трудом они запрягали эту тройку. Вся степь крайне недоумевала: зачем везти волка, когда и без этого пропасть волков?

Волка привязали на цепь в углу лавки. По вечерам он выл. Лес отвечал ему тоже воем. А кони и волы танцевали.

Елизавета, жена объездчика, учила меня «мягкому» разговору с животными.

— И человеку, и прочей скотине умей первым делом подольстить, милый мой.

Легкая, какая-то непачкающаяся, она заставляла верить многому. Она находила особые мягкие слова, и хотя все в хозяйстве было чрезвычайно грязно, хотя платье на ней болталось кое-как, в квашне плавали мухи, иконы висели косо, пол не подметался, все же, казалось мне, опрятность окружала ее. На другой день после нашего приезда она обнималась с Федором Малых, а ночью взволнованно видел я, как ее тискал за веселое возвышение киргиз, десятник пильщиков. Он приехал час тому назад, а Елизавету видел впервые. Мне стало легче. Еще вчера я завидовал удали Федора Малых. Мне хотелось сказать Федору о десятнике, но — зачем? Елизавета так же выпадет у него из рук, как падали все вещи, как падал аршин, которым он мерил киргизам ситец.

Волк сидел у крыльца и, смотря на громадные сапоги киргизов с каблуками пальцев в шесть, весело выл.

Пищу волку варили в особом котле. Когда подходишь без пищи — он позволяет гладить, жмурит глаза. Когда он совсем закроет глаза, то котелок, который до этого держишь за спиной, внезапно сунешь ему под нос. Но руку убирай скорей, иначе он тяпнет раньше всего за руку.

Елизавета не прятала пищи за спину. Она ставила котелок к волчьей морде, и волк не кусал ее. Он позволял гладить себя ночью, когда выл по-лесному и соотечественники откликались ему из лесу.

Елизавета ела что попадется, вроде волка. И это, и то, что она по-особому умела смотреть на мужчин, казалось мне чем-то нездешним. Она подолгу стояла возле козел. У нее был такой взгляд, что старый-престарый киргиз, засучая гачи [1], взволнованно говорил:

— Кэтэр, уходи!

---

[1] Гача — штанина.

Она облизывалась и сплевывала, когда перед пилкой киргизы снимали рубахи. Опершись обеими руками о желтое бревно, на котором таяли солнечные искры и редкий ветерок словно оставлял свое течение в жирной смоле, она говорила:

— Мало догадливы!

— Твой очень плохая баба,— отвечал старик.

— Перетолмачь, не понимаю.

Федору Малых она говорила:

— Мне много надо творенья. Я веселая, как весы.

Федор по-прежнему твердил:

— Умеют же люди ловко воровать. Пустая наука, а как подойдешь к ней?

Облокотившись на прилавок, она смотрела в сторону ласковыми глазами. Федор ей надоел.

— Хоть бы ты ограбил кого, Федор.

— Если даже и полную кассу украдешь, куда убежишь?

Иногда к ней приезжали верст за полтораста или за двести объездчики, якобы справляться, дома ли муж. Она оживлялась, но утром опять ходила с чугунными глазами. Я думал: никто не умеет поговорить с ней по-настоящему. Я искал в себе особые слова, но не мог ничего найти.

На закате Федор и я ходили в бор стрелять тетеревов. Вот странная, сдвинутая куда-то вбок птица! Тетерева перед закатом усаживались на вершины самых высоких карминных сосен. Темные, мохнатые, они сидели неподвижно, словно тоскуя по уходящему свету.

Подойдешь к самому дереву, выстрелишь. Если не попал, тетерев, сверкая пушистыми крыльями, летит на другую карминную вершину. Мы шли от одной вершины к другой. Это было глупое и тоскливое занятие. Мы набивали громадный мешок тетеревов: для себя и для Вильки.

А на следующий закат карминные вершины опять наполнялись тетеревами. Особенно отяжелели тетерева, когда созрела клубника.

По воскресеньям и двунадесятым праздникам мы ездили пить кумыс к богатым киргизам. Вся степь сплошь была покрыта дикой клубникой. Ягоды, величиной в наперсток, плотные, пахучие, лежали перед нами верста за верстой. Возле дороги бродили дрофы. Увидев нас, они, тяжело разбежавшись, поднимались, словно с якорями. Федор Малых все никак не мог собраться поохотить-

ся на дроф. Мне казалось, он навсегда увяз в скучных рассуждениях о воровстве.

— Ну, укради ты хоть десять рублей,— говорил я ему.

— Десять рублей — жульничество. Кража начинается от сотни.

Я резал птиц на кусочки и варил их в масле. Это кушанье по-киргизски называется «каурдак». Варить его нужно на чистом воздухе. Оно мне чрезвычайно нравилось. Приходила Елизавета, брала кусочек мяса, относила Вильке и, возвратясь, смотрела на огонь и тоскливо говорила:

— Увезли бы мое женство в город да посеяли в публичном доме. Только плохо, там и старики часто пляшут. А я не люблю стариков. Богатой бы мне быть, персики кушать. Для меня условиться легко, как перо сдунуть.

— Мужа тебе надо с кулаками, он бы тебя перетаврил.

— Увези меня, Федька, в публичный дом, вот тебе и кража.

Я впервые видел женщину, которая говорила о публичном доме так откровенно и просто.

— Зачем я знаю причину моей муки, а не могу изменить ее? Плохо, Федор, устроена моя жизнь. Ну, кто меня увидит в этом бору?

— Копи деньги.

— Сколько я скоплю от двадцати пяти рублей жалованья? Пять лет копи — купишь шелковое платье, а глядишь — молодости-то и нету.

Она брала опять кусок мяса и несла его Вильке.

Когда ягода в степи осыпалась, приехал желтый, как из латуни, объездчик Петр Водовозов. Он ненавидел лес. Он любил городскую жизнь, любил рассказывать о своих встречах с особыми людьми, помнил, как они были одеты, и особенно точно помнил все металлическое на этих людях: кольца, сережки, пряжки. Он хвастался часами какого-то чудесного завода и серебряной цепочкой. Лес он объезжал только опушкой. Ему нравилось, когда выбегали зайцы. Он останавливал коня, махал плетью, вставал на стременах и кричал. Голос у него был какой-то подплясывающий, к тому же он сильно шамкал.

Раз я шел из бора, нагруженный тетеревами. Объездчик не видел меня и кричал в степь, вслед зайцу:

— Поддай! Эй, Живой! Бросок! Кулунда! Нажимайте! Смирнов, Терентьев, да что вы, ослепли? Берите выше! Осинником, осинником, говорю!

Но вокруг него не было ни собак, ни людей, да и заяц давно скрылся, а он все шамкал, все оборачивался влево, разводил руками и хвастливо говорил:

— Ну-с, каковы мои леса, Матвей Сидорович? Дарю тебе сто десятин корабельного.

Елизавета ездила по лесу. Я думаю, она скучала с мужем, до его приезда она всегда сидела дома. Но лесные кражи от ее объездов не уменьшались. Переселенцы и киргизы посылали ей навстречу красивых парней. Лениво смеясь и пощипывая Федора за бок, она говорила, возвратясь из бора:

— Я будто Екатерина Великая. Только она, наверно, мужиков сгребала по другой причине, а может быть, и народ был иной. Почему же я не могу выбрать Потемкина? Зачем мне этакая страсть? И ребенка нету. Так просто живу, не для наказанья, а для беспокойства.

Тень ее беспокойства нависала над валежником, собранным для костра. Я боялся ходить в лес, чтобы не встретить ее. «А вдруг,— думал я,— она пройдет мимо меня?»

Водовозов знал какие-то свои приемы властвования над людьми. Лесные воры ночью стучали в окошко. Он выходил. Ему сообщали о крупных порубках. Он не ездил сам и не ловил порубщиков, он писал письмо, и порубщики присылали ему взятку. Он называл это «цапаньем за щиколотку». Он копил деньги, чтобы под каким-нибудь предлогом уехать в Павлодар или в Урлютюп и пропить. Елизавета ли, лес ли очень хороший, но постоянно из бору доносился стук топоров. Мне думалось — порубят весь лес, а он стоял по-прежнему густой, и по-прежнему неисчислимые тетерева сидели на карминных вершинах.

Петр Водовозов и женой своей Елизаветой владел умело. Он ссорил ее с любовниками, рассказывал про них сплетни, и рассказывал так умело, что ему верили.

— Вот Петька, он врать не умеет,— говорила Елизавета.

Он поймал Федора Малых и Елизавету на прилавке.

— Дверь-то бы хоть запирали,— сказал он и вышел.

Водовозов выписал четверть водки, настоял на смородине, подержал водку положенное количество дней на солнце, велел жене сделать пирожки из сушеной клубники и вечером пригласил Федора Малых. Комнату он украсил сосновыми ветками и хвостами тетеревов,

Малых понимал, что произойдет битва. Целый день он сидел на крыльце лавки с грустным лицом и чистил ружье. Ружье блестело в его тонких руках. Он зарядил его крупной дробью.

— Не украсть мне крупной суммы,— говорил он, вздыхая.

Я смотрел в окно. Мне было любопытно, как же убьют Федора Малых.

Они долго и медленно пили из толстых матово-ржавых рюмок. Пирожки плоские, алые. Объездчик сверкал глазами, тыкал пальцем в тонкую свою латунную грудь. Тускло горела керосиновая лампа, а пузырь в ней был очищенный.

Они допили четверть. Водовозов потряс и опрокинул посуду. Медленно из нее капали в рюмку длинные капли. Держа под мышкой четверть, Водовозов опрокинул в рот рюмку, ударил четвертью о стол и, освирепев, схватил висевшее среди зелени ружье.

Елизавета кинулась к дверям. Мне показалось, что лицо у нее было веселое и довольное. Федор Малых побледнел, затрясся и выполз через порог на карачках.

Дорогу вдоль опушки освещала луна. Я бежал впереди всех с криком и плачем. За мною Елизавета. А позади всех Федор Малых. На Елизавете было розовое платье, волосы ее развевались, дышала она легко.

Шамкая, догонял нас объездчик и стрелял с ровными промежутками сразу из двух стволов. Больше всего меня пугало: почему они все бегут по дороге, а не хотят свернуть в лес? Петр Водовозов улюлюкал так же, как он улюлюкал на зайцев.

— Максим Петрович, Иван Егорович, Сосвитуй, Пономарев, все смотрите, как уничтожаю жену-потаскуху и сажусь на каторгу.

Федор Малых бежал развинченно. Деревья, казалось, обвисали на него. Он падал. Тогда Елизавета перегоняла меня с визгом. Я вопил:

— Убивает!

Федор язвительно вскрикивал:

— Ясно, и тебя убьют.

— Убью!— откуда-то издалека подтверждал объездчик. Наконец Водовозов выпустил последний патрон и свалился. Елизавета медленно подошла к нему. Ощупала, взяла ружье.

— Эк, дуло-то раскалил,— сказала она, легонько смеясь.

Она потрогала у Федора щеки, Федор достал из кармана гребешок. Голос у него дрожал. Он ударил каблуком объездчика. Елизавета спокойно сказала:

— Глаз только не вышиби. Бей его в живот.

Затем они свернули в лес. Я забрался в стог сена и задремал.

Вернулся Федор совсем пьяный. Елизавета презрительно молчала. Федор жаловался мне:

— Завеличалась пакостная баба. Смерти избежала. Богу бы молиться надо, а она мне чуть душу не вывихнула разговорами.

— Ты разговорчив,— со злобой отозвалась Елизавета.

Федор, приседая, быстро пошел домой. Елизавета осталась возле мужа.

У лавки, сверкая глазами, вертелся Вилька. Из лесу выли. Луна уходила в степь.

Внезапно Федор Малых перекрестился и полез целоваться к волку. Он наклонил к нему лицо. Волк прыгнул и молча начал его кусать. Я затрясся, зарыдал. Федор Малых протягивал к волку руки, желая его обнять. Это было очень страшно, это сверканье зубов, луна, бормотанье Федора, звяканье цепи и пасть, скачущая по телу Федора.

Я кричал, но никто не отзывался. Киргизы заперлись в землянках и юртах.

Федор поскользнулся и упал на меня. Цепь была коротка, и волк рвался, но не мог допрыгнуть.

Волк скрылся под крыльцом.

Федор Малых, залитый кровью, в изорванной одежде, оттолкнулся от меня. Он добавил валежника в костер.

— Давай плясать, парень.

Он упал и заснул. Меня пугало больше всего его плоское, поперек разорванное ухо, из которого густо текла кровь. Я вспомнил, что где-то я читал — зола затягивает раны. Я пригоршнями браз золу и посыпал Федора. Я оттащил его в сторону, раздул костер, подтянул широкую плаху и лег на нее. Федор застыл, мне казалось, в мертвом сгибе.

Я проснулся поздно. Уже давно сверкали пилы. Федора Малых возле костра не было.

У крыльца лавки стоял объездчик Водовозов. Латунь его лица отдавала широкой синью. Подняв высоко кулак, он шамкал:

— Я ее отпущу! Я ей буду выплачивать все мое жа-

лованье! Сглазила она меня. Я после выстрелов прозрел! Даю ей свободу. Она много счастья способна принести, но не мужу. Мужа ей не требуется. И тогда многие скажут — правильно сделал, что отпустил, благодетель ты людской, Петр Водовозов.

— Все равно подаю в суд,— слышался внутри лавки сиплый голос Федора.

— И для казны благодать. Лес воруют не потому, что на моем участке лес лучше, а из-за удивительной бабы.

Малых, весь перевязанный, вышел из лавки. В руке он держал кол.

Лениво покачивалась в окне Елизавета.

Петр Водовозов разжал кулак и протянул руку.

— Сглоданная моя жизнь...

— Меня сильнее обглодали,— сказал Федор Малых.

— Но ты же меня обесчестил. Ты меня бил. И ты же меня тянешь к мировому.

— А кто меня волку в зубы бросил?

Объездчик тяжело вздохнул.

— Ничего не помню, может, и я.

Елизавета рассмеялась. Федор Малых сказал резко:

— Плати десять рублей и получай мою руку.

— Три!

— Пять!

— Три!

— Давай!

Малых сложил втрое бумажку, сдул невидимую пыль. Елизавета подбоченилась. Малых пожал руку объездчику:

— Для обезвреженья раны водки бы.

— Кваску бы,— прошамкал объездчик.

— Квасу захотел? Кумыса привезли, хочешь?— сказала Елизавета.

Высоко держа ковш, наполненный до краев синеватым кумысом, объездчик медленно пил, поглядывая на кол.

— Для меня приготовил?

— Вильку убью, грубой обделки животное.

Елизавета вдруг, зыбко смеясь, сказала:

— Ну, так начинай.

Федор Малых, размахивая колом, подбегал к волку с разных сторон — как бы половчее ударить. Волк злобно скалил зубы.

— Эх, вы! И зверя убить не можете. Привязанного.

Елизавета закрутила цепь короче.

Они захохотали. Они вспомнили, что вчера с испугу Елизавета высыпала весь порох в простоквашу. Иначе волка пристрелить бы. «Как ей не жаль Вильку?»— думал я. Она жевала калач и смотрела на волка чугунными глазами. Где-то в себе она нашла оправдание этому убийству, оправдание, которого я не понимал и которое обижало меня. Мне хотелось убежать, но тягостное любопытство, такое же, как когда убивали цыгана-конокрада в Волчихе, удерживало меня.

Волк подпрыгивал, мотал головой. Малых сплевывал перед каждым ударом. Лицо у него было скучное. Наверное, перед тем как убить, он долго рассуждал и нашел какую-то выгоду. Он старался удар направить в нос. Малых ловко прыгал, ловко целился, но удары попадали волку по ребрам. Наконец Малых изловчился и выбил глаз. Волк завыл. Он струсил. Трусость его быстро прошла. Он пал на живот и молча грыз цепь. Изредка он лязгал зубами, стараясь поймать кол, но поймать ему не удалось, и тогда он опустил голову. Мне показалось, волк положил презрительно голову на землю, дабы ударили — и конец. Малых слегка передохнул, вытер шею, потную и тоненькую, и с большого размаха ударил волка между ушей. Волк подыхал долго. Изо рта его шла кровь, он хрипел и быстро крутил хвостом.

Петр Водовозов выпросил на память волчью шкуру.

— Наше место свято, если поругание снято,— сказал он неизвестно к чему.

За чайным столом они говорили о порубщиках, о торговле, смеялись над своими синяками. Федор Малых перерыл свои соображения о пользе воровства. Объездчик вспоминал пышный и шумный город. Елизавета опять глядела в окно.

Я удивлялся на этих людей и, признаюсь, несколько восхищался их легко исчезающей злобой, их дешевым лукавством. Елизавета не появлялась в лавке, она охладела к Федору, и Федор не обижался. Елизавета завела кошку. Из поселка ей привезли жирную беременную суку — сеттера. Даже глухой осенью, в распутицу, когда невозможно воровать лес, когда объездчики разметаны врозь, Елизавета сидела одна в доме.

Зимой торговля шла совсем плохо. Киргизы откочевывали в «джетаки» к Иртышу. Степь была пустынна, дороги не было, непрестанно дули ветра. Федор Малых

купил четверть водки, настоял ее на кореньях, пригласил в лавку объездчика и его жену. Я уже не ждал стрельбы и убийства. И точно — трое целовались весь вечер, говорили ласковые слова, и на другой день мы с Федором переехали жить в избу объездчика.

Избу топили жарко. Меня заставляли пилить и колоть дрова, но помогать мне в пилке по лени не хотели. Я ходил в лес, рубил сучья и топил печи. Меня заставляли стряпать. Я стряпал «баурсаки» и блины. Я научился делать пельмени, месить квашню.

Федор Малых перешептывался с объездчиком, объездчик качал отрицательно головой.

— Не годится.

Федор Малых предлагал, видимо, необыкновенную кражу.

Однажды заехал богатый киргиз Таесчи. У него были длинные черные глаза, воловья шея. Елизавета вспыхнула и пожелала прокатиться по степи. Но у киргиза была верховая лошадь. На другой день он приехал в санках. Пара вороных подхватила и унесла Елизавету. Когда Елизавета подбирала под себя полы тулупа, меня удивило ее чужое лицо, сухие губы. Кошка смотрела в окно. Опираясь на полозья, позади саней ластился сеттер.

Объездчик бессильно плакал в избе. Федор Малых махал деревянной лопатой возле санок. Он расчищал дорогу от избы к лавке.

— Заказывай, чего тебе из Урлютюпа привезти,— сказала Елизавета.

Федор опустил лопату в мягкий снег.

— Того, чего мне надо, ты, Елизавета, не привезешь.

— А чего тебе надо, Федор?

— Умения.

Киргиз свистнул, кони исчезли в снегах.

— Не вернется,— сказал Водовозов, когда мы вошли к нему в избу.

Она и не вернулась.

Весной нам велели переезжать в Урлютюп.

Лыкошинский двор тесно забили подводы. С крыш валились со звоном молочно-белые сосульки. Опять передо мною лежал склад, наполненный доверху сладостями.

И опять я не попал в склад. Каждый день меня посылали за пятнадцать километров встречать почту: дороги возле Урлютюпа испортились, и почта проходила стороной. Я скакал по оврагам, объезжая рыхлые снега, изредка на меня наскакивали мокрые снежные бури. Ино-

ходец быстро несся обратно. На боку у меня висела почтовая сумка. Я размахивал нагайкой. Мне вспоминались киргизы-охотники, которые нагайкой, на всем скаку, убивают в степи горностая. Шкурка стоит пять рублей. Я бы купил много конфет, рыжее портмоне, лаковый пояс. Но горностаи не попадались мне.

Каждый день я отважно соскакивал у почты, привязывал «чембырь» к столбу и вразвалку подходил к сетчатой перегородке. Купец писал из тюрьмы своей жене каждый день. Мне хотелось прочесть эти письма. Меня волновали эти длинные синие конверты, размашистый почерк. Наверно, приятно сидеть богатому убийце в тюрьме.

«Забедокурю,— думал я, скача по степи,— забедокурю, когда вырасту большой. Убью шансонетку, разбогатею, попаду в тюрьму».

На поездку я тратил полдня, остальное время я проводил в «джетаках»— окраине поселка, где киргизы блюли скот купца Лыкошина. Мне поручалось наблюдать, как они кормят скот, но я ни за чем не наблюдал. Я лежал на кошме в землянке и время от времени седлал коня и выпускал на улицу самых бойких в пригоне телят. Телята, задрав хвосты, бегали по узким уличкам. Я схватывал «укрючину»— длинную палку с веревочной петлей, садился на коня и ловил телят.

Приятно скакать по мерзлой, утоптанной дороге. Приятно гикать и размахивать гладкой укрючиной. У пригонов киргизки, поправляя на голове чувлуки [1], с уважением смотрели на меня. Дым пах молоком и кизяком.

«Вот придут пароходы,— думал я,— придется перекладывать товары, и без помех попаду я в склад».

Опять высокие препятствия.

Едва Иртыш очистился от льдов, нас послали в глубокую степь «переездными».

8

Нам поручалось менять мануфактуру и галантерею на киргизское масло. Впереди, крытые холстом, двигались донельзя перегруженные четыре фуры с товарами, каждая запряженная парой коней. На передней фуре сидел Федор Малых, на последней я. За фурами шли телеги с пустыми бочками. В эти бочки мы сливали выменянное

[1] Чувлук — белое покрывало.

масло и отсылали их с киргизами-возчиками в Урлютюп. Оттуда киргизы привозили нам новые тюки мануфактуры, цибики чая «Цейлон № 42», мешки с сахаром, зеркала, одеколон.

Много дней мы шли в степь. Мы миновали овраги, перевалили через высокие холмы медного цвета, останавливались возле переселенческих поселков у белых хат, среди широких улиц. Мы пробовали торговать с украинцами, но они говорили:

— Всяк своим воровством живет. Продавайте нема́каным.

Одна только дивчина, алебастровая, с голубыми глазами, купила у нас зеркальце величиною с ладонь, но и то, оказалось, потому, что ночью она пришла к Федору. На ночь мы составляли наши фуры четырехугольником и ложились спать, прикрывая телом наши товары. Работники спали снаружи. Всю ночь Федор уговаривал дивчину. Она требовала женитьбы. Он обещал, но хотел, чтобы она подождала его удачи при ближайшем удалом воровстве. Ей смешно: сколько человек знает о воровстве, сколько пространно говорит «за» и «против».

— Ты раньше, Федор, в конокрадах хаживал? Лучше не сознавайся. Иначе — не пойду. Изобьют тебя, а я, перечаявши встретить, сколько ночей плачь?

Он громко глотал слюну.

— Небрежно судишь. Ты бы лучше подвинулась ближе.

Ночь шафранная и длинная.

Я впервые узнал, о чем могут говорить всю ночь девки и парни. Мне это показалось скучным. К утру у дивчины голос совсем ватный и холодный. Она не объясняла, а коротко на его длинные речи: «Нет, нет». А Федор говорил одно и то же. И мне думалось: «Зачем же им так глупо лежать всю ночь под одним одеялом?» Но я старался запомнить их разговор. Когда подрасту, к этим разговорам я прибавлю что-нибудь от себя, более ловкое.

Взошло щеголеватое солнце. Дивчина исчезла. Федор с бранью начал меня будить.

— А я и не спал,— ехидно сказал я.

— Дураком размышляешь, много не напромышляешь.

Мы ушли далеко в степь, километров за семьсот от Урлютюпа. Каждый вечер за два рубля мы покупали свежего барана. Мясо съедали, а сало курдюка добавляли

в масло, наполнявшее бочки. На каждом баране мы наживали полтинник, помимо шкуры.

Обычно мы останавливались у края аула. Товары раскидывали по кошмам. Киргизы усаживались подковой перед нашими фурами и, прежде чем покупать, осматривали шелка. По шелкам они узнавали, богатая ли торговля, хороши ли у нас товары. Они спрашивали, щупая юно-розовые шелка:

— Эт барма? Мясо есть?

Они помогали нам колоть барана, разводить костер и внимательно наблюдали, как мы едим: не жадничаем ли, не лениво ли? Если жадничают,— значит, запросят лишнее. Если лениво,— значит, объелись и тоже запросят лишнее.

Время от времени Федор лез в котел, доставал пальцами кусок мяса и клал какому-нибудь киргизу в рот. Киргиз с легким присвистыванием проглатывал мясо. Рядом с нами сидеть допускали мы только аульного старшину.

Киргизы присматривались к нам день, иногда два. Торговаться приходилось бешено. Федору хотелось украсть, а крал он пока, только подливая сало в масло. Киргизы отлично знали цены. Федор браковал масло, но и тут с киргизами спорить трудно: они осмеивали все знания Федора.

Мы сливали в бочку масло и шли к следующему аулу.

Мы увидели иных киргизов, не похожих на тех, которые жили в прииртышских «джетаках». Меньше ситцев, штаны сшиты из целых бараньих шкур. Лицом они темнее, с толстыми губами и стремительной улыбкой. Говор их значительно отличен от прииртышского. Они не потребляли хлеба, питались сыром «ирюмчук» и мясом «каурдак». Монет они не брали, татары-торговцы завозили к ним много фальшивых.

Перед торговлей они спрашивали:

— Сколько на фунт масла получу аршин?

И они указывали на шелка.

И степь иная. Травы выше. Далеко где-то на юге виднеются водянистые горы. Небо васильковое.

Мы стремились к аулу Рахман-Аяза.

— Здесь произойдет кража так кража,— говорил Федор.

Но вещи и дела по-прежнему падали из рук Федора Малых. По-прежнему его чуб свисал на губы. Малых

жадно хотел обогащения, но ничего не мог придумать, никак не мог уговорить себя: такое количество мыслей доказывает предстоящую неудачу. Вот здесь — люди не знакомы с монетами, можно всучить им новый медный грош вместо золотого, купить подлинно «на медные гроши» какого-нибудь сказочного коня, а попробуй! Ведь даже и тут обманут: киргизы лучше Федора понимают коней и подсунут ему сказочную дрянь.

Мы приближались к роду султана Рахман-Аяза, к его кочевьям. У подножья красновато-розовых скал мы увидали его белую юрту, похожую на «вершину горы, расшитую солнечным закатом». У прикольев множество коней. Мы достали новый зеленовато-золотой сундук, где были приготовлены самые редкие товары: фольга и «дикого цвета» бархат. На эти товары и на султана Рахман-Аяза очень надеялся Федор Малых.

— Уж я-то его сумею обузить. Я покажу вам, какой он двусторонний.

Работник в богатом, «для гостей», искристом бешмете пригласил нас к султану.

Возле дверей на полочке качался ручной беркут. Голову его покрывал легонький колпачок. Султан сидел в глубине юрты на белых коврах, возле кумысного турсука, из которого торчала мешалка. Вдоль стен стояли казанские сундуки, обитые яркой жестью. Через открытый верх юрты солнце золотилось на сундуках. По правую руку от хана сидела увешанная серебряными монетами, в круглой бобровой шапке с павлиньими перьями, в фаевом кафтане и розовых сапожках его дочь, круглолицая Нюр-Таш.

Снаружи султан был какой-то эмалевый, а изнутри, мне показалось,— его сдвинуть невозможно.

Рахман-Аяз хорошим русским языком говорил Федьке:

— Что такое жизнь? Жизнь, молодой человек, это не извод положенных вам сил, а сближение вас с очень большими явлениями природы. Вот я веду по нескончаемой степи свои бесчисленные стада и в середине лета привожу их к моим горам. В моей семье растут возвышенные души. Мы уже видели много гор, много степей! Теперь мы хотим увидеть море. Разве вы сможете продать мне море?

— У меня есть фольга лучших варшавских фабрик. Уверяю вас, господин султан, что она цветом лучше любого моря.

— Красота понятна даже скоту. Я вожу свой скот по

самым красивым местам. Такого принципа не выдвигал еще ни один скотовод. У меня скот жирнее голландского. И вот теперь я жду со дня на день покупателей из Китая. Весьма возможно, что моих кобыл, мой кумыс потребуют ко дворцу китайского императора.

— Прямой свет, не отраженный, лучше даже и не в торговле,— ответил вежливо Федор.

— Но, кажется, в Китае революция,— сказал я.

Федька остро взглянул на меня. Федька знал — русские чиновники обирают Рахман-Аяза. Он весь в долгах, сундуки ему продают втридорога. Из уважения к императору Китая он отдает свой скот за гроши. В погоне за красотой и возвышенностями султан изменил вековечные кочевые дороги своего рода — прочие роды на него обижаются и воруют у него скот. Вообще здесь много можно украсть, но как?

Нюр-Таш подвинулась ко мне. Я подумал — она хочет спросить меня о китайской революции, но я забыл и причины, и все, что сопровождало революцию, все прочитанное мною в «Огоньке». Я знал гораздо больше о Панамском канале, о живом бронтозавре, найденном в болотах Северной Родезии, о том, что, по свидетельству Карла Гагенбека, местожительство чудовища находится в озере-болоте между реками Лунга и Кафу, о кораллах и коралловых островах, о парадоксах равновесия, о находках мекензско-финикийского периода, о собирании почтовых марок, о межзвездных пустынях и о многом другом, что я читал в [журналах] «Природа и люди» и «Вокруг света».

Нюр-Таш была вся бальзамическая, душистая, опрятная. Она чистила все, что ей попадало в руки. Она многим походила на меня: лунообразное лицо, коротенькие ручки, серые глаза, окаймленные припухлыми веками; впрочем, на киргизский вкус я тогда был красив. Кроме того, она смотрела на меня как на вещь, которую необходимо вычистить. По правде сказать, я давно не мылся.

Она положила на мои ладони свои руки и быстро сказала:

— Я люблю тебя.

Впервые, в степи, у гор, которые я видел тоже впервые, на чужом языке мне суждено было услышать это слово. Услышать от чужой девушки из народа, которого казаки иначе не называли, как «немàканым» или «собачкой». Сердце мое треснуло! Голова закружилась.

— Я тебя люблю,— сказала Нюр-Таш громко,— протяни мне свою голову. Зачем тебе в такую жару волосы?

Их надо снять. Ты будешь совсем круглый и совсем хороший.

Во мне все томилось и ликовало. Но я молчал и не двигался к ней. Я боялся султана,— Рахман-Аяз трунил над Федькой и одним глазом посматривал на меня.

Федька жадно пил кумыс. Ему казалось, что он сейчас выпьет все богатства султана.

Султан описывал Бухару и всю поездку туда. Ему и его любимой дочери не понравилась бухарская неопрятность. Бухарский эмир за отличную и умную деятельность султана по распространению магометанства обещал орден. Да, Рахман-Аяз исправит свою степь, наполнит ее просвещением, науками, обновит магометанство и перенесет «купол Ислама» из Бухары к подножьям своих гор.

Нюр-Таш перетрогала все мои одежды. Глаза ее сверкали. Как она вычистит меня! Только мои глаза казались ей достаточно прочищенными, да и то потому, что серые.

— Я убью себя если ты меня не полюбишь,— сказала она.

Я уходил оробело, натыкаясь на телеги, на кобылиц.

Я совсем взрослый!

Я ушел далеко в степь, будто бы посмотреть спутанных коней, и здесь долго плясал и прыгал.

Тут же на киргизском языке я составил стихи:

Кыздарай учун Юртуп-нан базарнан,
Барыб кельдемауй, дейды.
Юртуп-нан базарнан быр кебис алдымауй, дейды.
Быр кибис-сын багасы — крык мын теньга
Кыздарын сюйткены: бағасын чок, дейды [1].

Когда я вернулся, Нюр-Таш стояла возле нашей лавки, Федька раскидывал шелка.

— Назначай любые цены,— говорила она,— отец купит, потому что я люблю твоего приказчика. Назначай. Хотя ты и мошенник, но и мошенника украшает любовь.

— Такого отца нельзя не любить. Прикажите мне его уведомить: не о любви, а о ваших покупках.

Я прочитал ей стихи.

Она смеялась прямо в лицо Федору, а тому казалось, что он поймал самую главную ловкость в своей жизни.

---

[1] Ради девушки ездил в Урлютюп я на ярмарку,
В Урлютюпе на ярмарке
Купил я ей башмаки.
Башмакам цена сорок тысяч рублей,
А поцелую любимой — цены нет.

По-разному мы все были довольны. Я помогал Федьке достать «дикий» бархат и золотую фольгу. Цвета индиго, с удивительным ворсом, мягкий, легкий, этот бархат пришел в нашу степь из далекой страны — Франции. Он стоил восемнадцать рублей аршин, сбоку у него была выткана европейскими буквами фамилия фирмы, его приобрел накануне убийства купец Лыкошин для любимой своей шансонетки. С великим трудом выпросил Федька Малых этот кусок в степь с собой. Вот почему Федька страстно желал поймать кочевья Рахман-Аяза.

— А фольгу для короны!— говорил он.— Непременно если хан купит бархат, то пожелает соорудить королевскую корону. Временно, пока нет золотой. Эх, так бы изворотиться, чтобы бархат рублей по полтораста за аршин продать. В куске-то двадцать пять аршин.

Но Нюр-Таш отвернулась от бархата. Она смотрела на меня и говорила Федьке:

— Я люблю его.

Мы готовились обедать. Она велела мне вымыть ложки и так ловко поставила мои пальцы, что ложки — лучше новых. Везде она уничтожала грязь и пыль.

— Идет к ней чистота,— подобострастно говорил Федор.

Беспокойство осенило меня. Неужели всякая любовь беспокойна?— пришло мне в голову. Перед закатом Нюр-Таш поцеловала меня в щеку, пошла было, но вернулась и прижалась к моим губам.

Я встал рано, с рассветом. Я вычистил чайник. С мылом промыл чашки. Я принес из колодца шестнадцать ведер воды и вымыл колеса телег. Я вымыл гривы коней, заплел хвосты. Я вычистил сбрую и смазал салом хомуты.

Пришел султан Рахман-Аяз, сонный, плотный, малорослый. Мы расстелили для него новую кошму. Солнце стояло над головами. Киргизы робко уселись поодаль. Нюр-Таш стояла рядом со мной за прилавком.

— Какие же товары вам дадим вначале?— спросил Федор.

Сегодня султан мне казался лентяем, соней, что называется все вместе «байбаком». Сонно он указал на меня пальцем.

— Лучшие товары имеются,— сказал Федька.

— Дочь мне призналась.

Окружающие киргизы подтвердили вздохами султанский вздох.

— Я не буду спать много ночей,— сказал медленно Рахман-Аяз.— Будь я иным, безвозвышенным и бессовременным, я б плюнул этому молодому приказчику в морду и сказал: запрягайте ваши фуры! За мою дочь уплачен калым. У моей дочери есть богатый жених. А мне она признается в любви к приказчику. Позор! Стыд! Но я хочу вместе с ней любоваться тайгой и морем и вместе с ней поехать путешествовать в Париж и Америку. Она одной крови со мной. Она убьет себя, если я ей откажу.

— Убьет,— подтвердил Федька.

Я придвинулся ближе к Нюр-Таш.

Султан продолжал:

— Будь бы у этого приказчика черные глаза, он был бы совсем красив, а то словно капнули на лицо загрязненным молоком. Впрочем, наш род всегда имел глупые вкусы.

Я потупился.

— Не обижайся на правду стариков, молодой человек. Не обижайся, и далеко пойдешь. Ты хочешь на ней жениться? Как тебя зовут?

— Всеволод.

— Я отдам ее за тебя, Сиболот. Хочешь?

— Хочу!

Хан ушел.

Федька чувствовал ко мне уважение. Вот великолепный план, который он придумал. Вот что значит далеко предвидеть! Вот что значит французский бархат! Теперь он продаст не только бархат, но и все, что есть в этих фурах, все, что есть в Урлютюпе на складах. Хан приглашает нас вечером к себе! Он режет жеребенка, десять жеребят, он устраивает трехдневный «той»— пир! Что поделаешь, если его дочь полюбила русского? Обидно, правда, что не только не офицера, но даже не купца, а приказчика, мальчишку.

— Кажись, мне пятнадцать лет, а женят только восемнадцати,— сказал я.

— Казаки — обычаем собаки, мы подделаем документы.

Я опять плясал в степи. Я был так счастлив, что уж не мог составлять стихи.

Перед солнечным закатом мы подходили к юрте хана.

Высокий холм весь покрыли белые кошмы. Внизу расстилалась каменистая сухая долина.

Федька весь день не ел, готовясь к пиру. Он велел надеть мне чистую рубашку, отрезал шелку на пояс и дал

на время лучший гребешок. Он дрожал от жадности, он боялся грядущей подделки документов, подтверждающих мои восемнадцать лет. Страшился он и гнева моего отца, хотя совершенно не знал ни отца, ни его характера.

— Как-никак на немаканой женишься. Султанская дочь, а все равно казачки в свои семьи не пустят.

— А мы уедем.

— А деньги? Я же все деньги заберу у хана. Опять ты, Сиволот, будешь в полной зависимости от меня. Хана я нищим пущу!

К белому холму со всех сторон верхами съезжались киргизы. Каждый всадник долго держал в своих ладонях руку Рахман-Аяза. Вскоре все кошмы прикрылись разноцветными халатами. Нюр-Таш сидела со мной рядом. Работники, багровые, лоснящиеся от жары, внесли и громадные корыта вареной «казы». Самое большое корыто они поставили перед султаном.

Рахман-Аяз положил жирный кусок жеребятины своими пальцами мне в рот.

— О-о-о...— почтительно промычали киргизы.

— Да, это так,— сказал Рахман-Аяз, вытирая о бороду жирные пальцы,— это так. Моя дочь полюбила приказчика, а по всему миру передают: я современный и ученый. Ученые же мудро говорят: зачем угнетать детей, пусть они идут своей дорогой, а ты, старик, своей. Так ли? Мне хочется видеть моря и леса, а им свое сердце. Пускай лежат в юрте и смотрят друг у друга сердца.

Из дальних рядов спросили:

— Много ли у приказчика скота?

— У него нет скота.

— Его отец купец?

Еще более дальние ряды спросили:

— Или офицер?

Рахман-Аяз ответил:

— Нет, его отец мулла.

— В большом городе мулла или где поменьше?

— Его отец мулла в поселке Лебяжьем. Приказчик — очень бедный и глупый мальчик, но моя до́чь балованная, и что я с ней могу сделать, если я уважаю науку?

Передние ряды сказали:

— Ты поступаешь правильно, Рахман-Аяз.

— Еще бы не правильно! Вы огорчаетесь, родственники: у приказчика нет скота. А я сейчас покажу вам, сколько он будет иметь скота, когда я умру или буду ласков и щедр.

Федор Малых наклонился к моему уху и прошептал:

— Заболванит он тебя! Ты на меня, Сиволот, направляй надежды.

Подали шкатулку. Рахман-Аяз долго рылся в гербовых бумагах. Со дна он достал шелковый платок, большой и лиловый. Рахман-Аяз высморкался в платок, затем высоко поднял его над головой.

Всадник поскакал на закат. Спину его покрывала жемчужная луна.

Не успели съесть второе корыто «казы», как в степи послышался глухой гул. Рахман-Аяз указал мне платком на следы заката. Нюр-Таш наклонилась ко мне и протянула чашку с кумысом, указывая то место, куда прикасались ее губы. Я допил кумыс.

Федор Малых начал торопливо и несвязно рассказывать султану о замечательных бархатах. Султан не слушал его. Все мы смотрели на закат.

Сначала проскакали внизу холма по лощине, потрясая укрючинами, пастухи в лохматых малахаях. Затем пошли стада.

Бежало множество коней, молодых, необъезженных. Они шли непрерывным, нескончаемым потоком. Они шли часа три. За ними двинулись солидные объезженные жеребцы. Они ржали. От них несло потом. Тяжелая пыль колебалась над ними. Хлынули кобылицы, окруженные жеребятами. Лоснились и сверкали под тонкой луной конские спины. Скот шел тесным потоком, величиною с улицу. Мелькали рога коров, мычали бугаи, прыгали телята, и вот, наконец, двинулись овцы. Они шли, прищелкивая копытцами. Долго стояло у меня в памяти это прищелкивание.

Овцы шли всю ночь.

Федор Малых повис на моих плечах.

— Вот оно, хозяйство-то,— бормотал он неустанно.— Вот оно, хозяйство! Какое! Неужели я его все украду!

Федор Малых мне давно надоел. Мне опротивел его гнусавый голос и то, что вещи падают из рук, словно у него нет пальцев. Чему он радуется? Даже мне, ослепленному любовью, ясно: султан сегодня узнал о любви дочери и тотчас же согласился на ее брак — это бывает, но нельзя в тот же день согнать со всей степи стада! Федор Малых знает не меньше меня законы степи. Сердце у меня заболело: а не искал ли хан предлога, чтобы похвастаться своими стадами?

А стада все шли и шли. Светало.

Опять идут кони. Они разделены по мастям. Вот идут белые, в тумане рассвета они похожи на розовый пух. Мы устали и уже не слышим топота и крика пастухов. Многие из киргизов, опившись кумыса, спят.

По-прежнему сверкают глаза Нюр-Таш. По-прежнему султан Рахман-Аяз говорит о высоких и длинных путях. Он непременно привезет сюда из путешествия моторную лодку. Федька Малых гнусавит: «А где же здесь вода?» Султан Рахман-Аяз будет в лодке кататься на верблюдах. Или поставит ее на сани. Рахман-Аяз зевнул. Я стремительно хотел спать. Я устал думать о богатстве и о любви.

Киргиз с длинным и вишневым ртом, сидевший против меня, спросил:

— А как же вера?

— Вера есть вера,— зевая, сказал султан,— сколь искусно ни составляй скорлупу, если она без зерна, то не получишь плода.

— Вот и я то же самое говорю.

— Выходит — мы с тобой согласились и потому ляжем спать.

Длинноротый указал на меня.

— А как же его вера? Его вера одна, его жены — другая.

— Его вера одна?

Султан погладил меня по голове.

— Этот приказчик всех перегораздит выдумкой. Их вера будет одной, ибо истинной вере могут принадлежать такие стада. Что дала ему его вера? Этого?— И он указал на уснувшего Федора Малых.— Твоя вера будет истинной верой. Ступай спать, сынок.

Я сильно ударил Федьку в плечо. Он закачался и сел. Я тихо сказал ему:

— Я не верю ни в того, ни в другого пророка. Я не верю ни в Магомета, ни в Христа, ни в Будду. А кроме того, я не желаю брить голову и производить над собою обряд обрезания.

Федор смотрел на меня заспанными и злыми глазами. Он был слегка напуган: сколько «против» встало перед ним. Опять не удастся совершить великую кражу! Этот русский, этот христианин, этот богомольный и богобоязненный казак готов был продать меня. Как я одинок, как мне жаль себя! Я обернулся к Нюр-Таш и протяжно сказал:

— Я не хочу быть магометанином.

— Наша вера опрятнее,— ответила Нюр-Таш.

У нее переменились глаза. Она осуждала меня. Я понял — мне не убедить ее. Я горестно встал во весь свой рост.

— Я не хочу быть магометанином.

Рахман-Аяз одобрительно прислушивался к тому ропоту, который окружал меня.

— Приказчик, ты глуп и неуч. И ты никогда не будешь ученым. Что такое для ученого вера? Для него важна наука, и только стада дадут тебе науку, а не этот...— Он пренебрежительно толкнул ногой Федьку.— Ты не научился многим наукам, приказчик. Ты бы мог через мое богатство довести мой род до самого синего моря. Моему роду не хватает кораблей!

— Чего?— спросил я.

— Кораблей! Рахману-Аязу пора сломить перегородку песков и плыть по обыкновенному синему морю.

— Правильно!— подтвердили киргизы.— Нам пора быть мореплавателями.

Рахман-Аяз махнул направо и налево шелковым своим платком.

Киргизы расступились. Я кинулся в проход. Я побежал.

Султан хохотал. Окружающие валились со смеху. Они уходили в сторону. Некоторые катались по кошмам, смеясь и взвизгивая. Ухабы, раскаты смеха, гряды, уступы. Они меня прижигали смехом. Они туго-натуго перетянули мое сердце. Они проказничали, тыкали меня пальцами в бока: «Хт, эх, галка!»

Нюр-Таш сказала мне вслед:

— Ты просто глуп.

Пьяного Федора вели под руки.

Работники торопливо запрягали коней. Федора положили в глубь фуры на тюки. Я пытался ругаться: нам нужно торговать. Работники злобно посмотрели на меня, испуганно на ханскую юрту. Я все понял.

Кони побежали крупной рысью.

Работники свистели бичами.

Мы мчались краем лощины. Трава была истоптана,— это следы бесчисленных стад. Еще висит над травой их запах. Это как бы высыхающая река.

Федька Малых крепко спал. Горы оставались по-прежнему высокие, но аул уже давно скрылся. Я был как бы в беспамятстве.

— Кого это?

Всадник скакал по следам нашего обоза.

— Забыли на «тое» бумажник, что ли?— переговаривались работники.

Бобровая шапка подпрыгивала, развевались перья.

Нюр-Таш на полном скаку прыгнула из седла ко мне в телегу. Конь ее бежал рядом, посматривая на меня. Работники тотчас же остановили фуры. Они не желают умирать за то, что угнали девку.

— Вы дураки!— крикнула им Нюр-Таш.

Она поцеловала меня. Я плакал. Большим шелковым платком, таким же, каким махал ее отец, она утерла мне слезы и повязала мне платок вокруг шеи. Она положила мне в руки кусок душистого мыла в блестящей красной обертке, где нарисован черный персианин в желтой чалме, зеркальце, гребешок в розовом футлярчике.

Нюр-Таш молча вспрыгнула в седло, огрела нагайкой работника, который торопил ее. Она повернула коня. Мне хотелось спросить, что же она думает о своем отце, но слезы помешали мне.

Фуры двинулись дальше.

9

Федор Малых возненавидел степь.

— Цветец недурён, да голова от него как бубён.

Он придумывал всегда чрезвычайно глупые поговорки.

Я скучал по печеному хлебу, по людям, которые говорили бы более понятно, чем Федька. Торговали мы плохо. При первых заморозках Лыкошины разрешили вернуться нам в Урлютюп.

Дули холодные ветры. Низкие тучи волоклись почти по травам. Вставать утром трудно, морозно, дождь. Дорога тяжелая. Чем ближе к Иртышу, тем больше глин. Мы закутывались в овчины. Дождь их быстро отяжелял, а сушить было негде.

Мы увидали на лугах стога. Еще дальше — и вот синеет Иртыш, казачья река. Мы приближались к парому.

У переправы Иртыш шириною километра в три, и мы не успели пробиться к берегу. Наш паром затерло «шугой». Двинулся внезапно лед, и вокруг нашего парома образовался затор. Лед наступал, нас могло раздавить.

Колеса парома действовали плохо. К счастью, льдины начали тянуть нас к берегу. Нужно было доставить канат на берег. Казаки много говорят о геройстве! И паромщиков, и Федора Малых я считал героями. А тут они стру-

сили и только хрипло кричали казакам, стоявшим на берегу:

— Чего же вы канат не даете?

Казаки так же хрипло отвечали им с берега:

— А вы чего не даете?

Какая брехня вдруг поднялась вокруг! Казаки окружили меня, хвалят. Я вспрыгнул на коня. Взял в руки конец бечевки. Казаки столкнули коня с парома. Вода нестерпимо холодная. Я очень испугался. Я обвил ногами лошадиную шею, уцепился рукою за гриву. Конь плыл искусно, минуя льдины. Когда конь выскочил на берег, я не мог его остановить. Я бросил бечевку казакам, и конь помчался вперед. Он страстно желал согреться. Не помню, как я очутился в селе. Я узнал джетаки, деревянную церковь, лавку Лыкошина. Я свалился в лужу возле дома дяди моего Кузьмы Македонова. Мокрый, дрожащий, но довольный своим геройством, я вошел в дядин дом. По правде сказать, это подлинный и, пожалуй, единственый геройский поступок в моей жизни.

Клавдия, девушка с зелеными сережками в ушах, стояла на табурете, поправляя лампадку перед иконой. В кухне было по-прежнему тихо и опрятно. Я ожидал — она спросит: где это я ухитрился так вымокнуть? Она сказала с незнакомым мне набожным лицом:

— Разве ты у нас будешь жить?

Ее набожность быстро улетела. Она ее приготовила для Кузьмы Македонова. Это его она пугала богом и какими-то особыми молитвами.

Я желал сообщить о моем геройстве. Она выслушала и спокойно сказала:

— Ноньче шуга красивая. Ступай в баню. Веник в сенях.

Она отправила меня в баню не потому, что боялась, что я захвораю, она ждала Кузьму. Она шла со мной не для того, чтобы проводить меня, а полюбоваться на ледоход. Она могла часами смотреть на природу. Она вставала ночью и слушала, как течет Иртыш, уходила в степь, знала все цветы и запахи их, она готова была всю жизнь провести в деревне, не понимала людей, восхищающихся городом. Дядя Кузьма возил ее в Омск, показывал театр. Она сказала спокойно:

— Балуются. Жизнь-то скрытней.

Она недоверчивая, замкнутая. Я ее спросил о Лыкошиных. Она уклончиво ответила:

— Много про них болтают, а зря. Люди в полном ми-

ре живут. Сам-то приехал, выпустили его, передурил он всю положенную ему дурь.

Но спокойствия в доме Лыкошиных я не нашел. Купчиха Юлия Лыкошина неустанно ходила по комнатам. Множество вещей окружало ее, а ей все казалось, что комнаты чересчур просторны. А Давыд Лыкошин помещался в крошечном чуланчике, на другом конце дома. Говорят, он сожалел, что ему не удалось посидеть в тюремной одиночке — сидел он в общей. Дядя Кузьма Кузьмич радовался: приехал хозяин, даст настоящие распоряжения. Давыд Лыкошин распорядился так же, как и прежде: скупать кожи и масло. А это теперь не выгодно. Новоселы вырабатывали масло лучше киргизского. Заказов на кожи не было. Распорядился также Лыкошин: прекратить Кузьме Кузьмичу встречаться с Юлией. Кузьма Кузьмич подчинился без протеста: все по-старому.

Давыд Лыкошин упрям, самострастен. Узкое лицо его обведено жесткой каймой рыжих волос, зубы перемолоты, вставные. Ему кажется — он все знает наперед.

— Не кожи нам надо заготовлять,— вздыхал Кузьма Кузьмич.

— Кожи негожи, а рогожи для одежи тоже не кожи,— без всякого почтения вставлял Федор Малых.

— Другое снадобье пора заготовлять. Я полагал, он в тюрьме поразмыслит.

Лыкошин вдруг поверил, что товары, которых никто не покупал, он продаст на ярмарке зимой. Три года он думал в тюрьме — правильны ли все принимавшиеся им раньше решения? Получалось, правильны. Так и будет поступать он в дальнейшем. Он брал в кредит дорогие товары. «Не потому ли он полюбил шансонетку,— думал я,— что на ней были такие драгоценные камни, какими он, Лыкошин, не может торговать?»

Наготовили длинные мешки пельменей. Готовили их два месяца, всем домом. На ярмарку поехали тоже всем домом.

Снега. Укатанные ухабы. Мы шли в новых полушубках и длинных валенках возле розвальней. Постоялые дворы в станице Рамолинской были переполнены. На площади стояли новые дощатые балаганы. Купцы в толстых шубах, а сверху еще тулупы с громадными воротниками. Нам тоже выдали тулупы.

Давыд Лыкошин радовался: его балаган самый богатый и пышный. Ночью приказчики посменно караулили внутри балагана. Мы грелись возле лампы-молнии и са-

мовара. Стояли удивительно прозрачные холодные ночи.

Выйдешь — площадь пустынна, сквозь щели балаганов видны в лавках желтые «молнии». Небо черное. Приказчики ходили из балагана в балаган гостить, играли в шашки и хвастались: у чьей хозяйки больше любовников.

Лыкошин привез шелка, бархат, дорогие сладости, серебряные украшения для седел и хомутов, сафьяны — зеленые, красные, голубые. Товар превосходный, но торговали мы хуже всех.

Лыкошин рано утром приходил в балаган и выгонял приказчиков. Видимо, ему приятно было сидеть одному. Он читал под нос Библию.

— Уважение надо внушить покупателю. Чего его приманивать? Чего его переманивать? Хороший товар сам приведет покупателя.

Приказчики убирали коней, распаковывали тюки: Лыкошин вдруг приказывал запаковать один товар, раскрыть другой.

Вечером ели пельмени, пили водку. Лыкошин быстро съедал несколько тарелок пельменей, выпивал два стакана водки и уходил к ярмарочным девицам. Кузьме Кузьмичу хотелось остаться с хозяйкой, но все-таки он ушел за Лыкошиным, ища распоряжений. Юлия Лыкошина сумела и здесь нагромоздить вокруг себя множество вещей. Видимо, ей было лень останавливать Кузьму Кузьмича, она придвигала к ногам любимый свой желтый чемодан, доверху наполненный мельчайшими штучками: костяными собачками, металлическими жучками, слониками, раковинами, какими-то искусно выбитыми монетами, принадлежавшими некогда великим угодникам перед самым их уходом в спасение.

Кузьма Кузьмич никогда раньше не делился со мной, но Клавдии не было, и он сообщил мне свои огорчения:

— Разоряется Лыкошин, а Юлия Петровна охорашивается, жеманная. С чего бы?

— Как же быть?

— Мозги надо Лыкошину жать...

— Его не сжать, а как бы сожрать,— вставлял Федор Малых.— Где такой ход найти, чтобы кредиторы его товары вместо своих складов ко мне перекинули?

Кузьма Кузьмич покорно готовился к бремени разорения. Приказаний и распоряжений он не мог добиться, на себя он не надеялся. Так оно и шло.

Наш балаган разбирали последним. Лыкошин ждал: придут-таки покупатели! Они не пришли. Наши обозы

бешено гнали в Урлютюп, словно мы там могли застать покупателей. Но и в Урлютюпе нас забыли. Лыкошин выгонял приказчиков и сидел один. Он не показывал выручки, не позволял заносить ее в книги, он надеялся еще кого-то обмануть. Подвоз товаров прекратился. К новому году Лыкошин должен был платить по векселям.

— Год велик только избытком снегов,— говорил Малых.

Дом дяди Кузьмы стоял на высоком яру. Мы полили яр водой от верху до средины Иртыша.

Льды сейчас были завалены снегами, а в былые бесснежные дни Лыкошин, говорят, подковывал коня на стальные шипы и мчался по льду на коньках, держась за вожжи. Девки влюблялись в него. Клавдия рассказывала нам о его победах. Заложив пальцы в рукава, она говорила:

— Как прекрасно и величественно! Я обожаю лед, по которому еще никто не катался.

Мне нравились ее книжные слова, ее определения чувств, ее особый взор на природу. Она помогла мне увидеть иной Иртыш. Я читал смысл волчьих следов на снегу, понимал хитрый рисунок их. Сквозь снег пробиваются льдины, и каждая иного цвета: зеленовато-бурая, глинистая, клюквенная. Водовоз поднимается с бочкой по яру, и от его бочки откалывается и падает лед коленкорового цвета.

— Чудесно ты, неизвестное творенье,— медленно волочила Клавдия слова.

Когда ей хотелось сказать при посторонних о боге, она путалась и мямлила. Она готовила резкие слова о боге и его гневе для Кузьмы Кузьмича!

Клавдия низко повязывала платок и садилась в мои санки. По казачьему обычаю, скатив девушку, я мог поцеловать ее. Я стеснялся, и девушки деловито сами целовали меня.

Чем дальше уносились в снега наши санки, тем крепче Клавдия целовала меня. Избежать бы этого целования: она целует не меня, а природу! Если санки опрокидывались, Клавдия долго лежала. За шалью у нее таял снег, забивался в ее валенки. Она, казалось не имея сил встать, смотрела вверх во все глаза и говорила:

— Как прекрасно! Смотри, подходит закат, и все изменится.

Я уважал ее. Я желал такой же способности видеть и понимать природу, хотя меня больше всего тянуло к лю-

дям. Я старался быть подольше возле Клавдии. Я вставал рано, поливал дорожку, чистил санки. С каждым днем ледяная струя «катушки» все дальше и дальше уходила по Иртышу.

Я ждал от Клавдии удивительных поступков. Где ей любить дядю Кузьму, оба они цепляются за грех, так как если они расстанутся с этих грехом, то они совершат другой, еще более страшный. Они цепляются за бога и лампадки! Бог должен быть разрушен мной. Мне казалось, Клавдия лишь со мной откровенна. К другим в санки она не садилась. Я не спал ночей. Я пылал. Я опять любил.

Дни и ночи я думал о Клавдии, об ее скрытой любви ко мне. Ну что ж? Пусть! Вначале она целует меня, как всю природу, но придет час, когда она поцелует меня, как человека, самого важного для нее! Недоверчивая, замкнутая, искалеченная ленивой казачьей жизнью, она менялась, когда мчалась в санках к удивительным снегам, которые иные каждый час. Так что, видите, я не был заинтересован в кожах. Их выдумал другой приказчик. Вечером в одно из катаний кто-то притащил кожу, широченную юфть. Множество парней и девушек уселись на нее с визгом и хохотом. Я виноват только в том, что чрезвычайно выгладил ледяную дорожку. Кожа неслась по ней не хуже санок.

Клавдия села в мои санки. Она отказалась от кожи. Это походило на свидание. Забрезжила измена! Пусть поплачет дядя Кузьма Кузьмич. Я вел санки безрассудно. Они опрокинулись на половине дороги. И все-таки Клавдия крепко поцеловала меня. С яру послышался голос дяди:

— Клавдия, иди, поставь-ка мне горчичник. Что-то в боку закололо!

Я долго катался один. Клавдия не пришла. Ну, придет завтра.

Утром Федор Малых дал мне тяжелый ключ.

— Принесешь шесть ящиков розового «Эйнем» и ящик гильз Катыка.

Наконец-то я открою сладкий склад! Я медленно повернул ключ, распахнул высокие двери. Липкий мешок с урюком стоял у моих ног. У меня не было сил перешагнуть. Я набил карманы брюк этим урюком. За урюком лежал мармелад. Я сразу вскрыл две коробки. Рядом — шоколадные конфеты. Длинные, толстые, они лежали аккуратными рядами, в тонкой оболочке. Я совал их в

карманы, совал в рот. Из конфет брызгало вино. Я был хмелен, весел, сыт, я обладал подлинным счастьем. Я ел и ел. Мне хотелось найти такие конфеты, которые сегодня же вечером можно было бы поднести Клавдии. Я раскупорил несколько ящиков. Мелочь, мелочь, мне нужна конфета с кулак!

Я увидал узкий металлический ящичек с наклейкой на чужом языке. У дверей валялся топор. Я сбегал за топором и рубанул им по ящику. В щель сверкнуло что-то жидкое и розовое. Я попробовал на палец. Это было похоже на мед. Я сунул палец в рот. Остро, протяжно, вкусно... Но как это назвать и во что налить?

Тут меня схватили за ухо.

Я встал. Я понял все, что произошло. Я готов был отвечать.

Давыд Лыкошин сжалился. У него злое зеленое лицо, рыжие волосы.

— Он испортил кожи!

Кузьма Кузьмич смущенно смотрел в сторону.

— Судя по конфетам...

— И ты еще, Кузьма Кузьмич, переносишь такого племянника? Я ставлю тебе в счет все слопанное.

— Слушаюсь,— покорно сказал Кузьма Кузьмич.

Было и стыдно, но было и приятно причинить гадость дяде, которого я ревновал к задумчивой Клавдии.

Я пришел на кухню. Увидев меня, Клавдия ушла в горницу. Дядина сестра вынесла мне мой узелок. Меня посадили к ямщику, возвращающемуся в Павлодар.

Тетка Фиоза по-прежнему лежала в постели, поправляя атласное одеяло пышной розовой рукой.

Дядя Василий Ефимович, улыбаясь, прочел письмо двоюродного брата Кузьмы Македонова. Василию Ефимовичу я, видимо, нравился. Я чем-то походил на те кривые здания, которые он строил. Он посмотрел на мои губы.

— Придется устроить тебя, где кушанье не занозистое. Надо что-нибудь тебе, Всеволод, все-таки перенимать у людей.

Он устроил меня в павлодарскую типографию, принадлежавшую Викентию Ивановичу Владычкину.

Мать униженно благодарила Василия Ефимовича. Она все еще служила у сестры.

Я поселился у тетки Фелицаты. Она готовилась поить чаем киргизов. С верховьев Иртыша уже двинулись плоты.

Я вышел на яр. За Иртышом темнели Три Острова. Налево затон и пристани с пароходами. Я привыкал к городу.

Сестра Марья почти не разговаривала со мной. Вместо акушерки появился новый квартирант, о котором Марья с уважением рассказывала, что он каждую субботу ездит в публичный дом, получает в казначействе семьдесят рублей жалованья, вдов, у него дочь шести лет, припадочная. Квартирант ходил в форменной тужурке, с такой необыкновенно аккуратной бородой, что она мне почему-то казалась бряцающей.

10

Я приходил в типографию к семи часам утра. Я поил белого жирного коня, помогал кухарке таскать дрова, давал коню и коровам корм, подметал типографию, а когда приходили рабочие, вертел колесо печатной машины. Перед обедом я опять поил скот, подметал двор и уходил к тетке Фелицате. Наскоро проглотив несколько тарелок щей, я опять возвращался вертеть машину. Привыкать к верчению было трудно. Я потел, задыхался, спина болела, вставать утром было тяжело. Недели через три я привык. Я вертел одной рукой и думал о тех книгах, которые брал в городской библиотеке, о тех странах, где мне непременно нужно побывать.

Печатник Бьюков пел песни. Иногда я подтягивал ему.

Типография имела одну скоропечатную машину, четыре реала со шрифтами, маленький тискальный станок, большой тискальный для афиш, крошечную переплетную с ножом для резки бумаги, с папчиром и набором шрифтов для золочения корешка. Я с удовольствием ходил в эту типографию. Я проходил берегом мимо прогимназии. Миновав две улицы, сворачивал к двухэтажному дому, в подвале которого мы работали. Вскоре оказалось, что дорогу я выбрал счастливо.

Однажды, возвращаясь с обеда, возле прогимназии я встретил девушку под громадной черной шляпой. Она шла, размахивая желтой сумкой. Я оглянулся ей вслед. Меня удивили ее голубые глаза. И она оглянулась.

Каждый день ровно в два часа я встречал ее. Она оглядывалась. Я быстро заучил лихой поворот ее черной шляпы. Я останавливался и смотрел ей вслед. Это была дочь владельца павлодарской гостиницы господина Шмидта. Он славился длинными рыжими усами и еще

тем, что ездил по городу верхом на толстом вороном коне. У нас полагалось ездить верхом только в исключительных случаях, только в степи, верхом ездят «немаканые», порядочный мещанин или казак должен ездить в таратайке.

Господин Шмидт, развевая усами, мчался верхом по городу. Вечером, когда горожане выходили гулять на яр, взад-вперед — от кинематографа к складам «Пароходство Плотниковых»,— господин Шмидт скакал по яру, и все шарахались от сверкающих копыт вороного его коня. Ах, не эти копыта раздробили мое сердце, а черная шляпа его дочери, голубые ее глаза!

Тихо гуляла по яру его дочь. Локоны падали ей на плечи, черное платье сказочно обтягивало ее стан! Как я любовался ею! Расслабленный, пораженный, я проходил мимо нее. Она оглядывалась на меня. Я оглядывался на нее. Я, очень довольный, уходил спать. Как бы да мне и впредь этак оглядываться на девушек!

Печатник Бьюков тяготил меня своей аккуратностью. Он желал, чтобы при печатании непременно выходили все буквы. Он долго подклеивал на барабане, выстукивал, ровнял краску. Таков он был и в остальной его жизни. Квадратный, с длинными темными зубами, похожими на железные гвозди, он говорил:

— Варвары вы. А я во всем сам разбираюсь. Обопрусь на свою совесть и разбираюсь.

Наборщиком работал Гришка Заботин. Он себя звал любовно скороговоркой «Гришка-маленький». Крохотный, в диагоналевых синих штанах, синей куртке в обтяжку. По праздникам он надевал лаковые сапоги и чесучовую рубашку. Кроме этой одежды, он не имел имущества. Всякое имущество он считал обременительным, путающим людские отношения. Он бранил Бьюкова за стремление скопить на дом.

— А если ты захочешь бросить дом? Ведь трудно!

Бьюков не понимал.

— Как же бросить? Раз я всей своей совестью решил иметь дом и украсить его.

— А если твои близкие начнут уговаривать тебя бросить дом.

— Кто меня сумеет уговаривать, если я сам внутри себя разбираюсь.

Бьюков презирал Гришку: «Легко плавится, будто олово». Гришка действительно, если замечал, что мимо окна бежит красивая кошка, догонял ее, лез даже за ней

на крышу, ухаживал, кормил ее несколько дней, а затем покупал ей бант и дарил ее кому-нибудь. Если он видел серьезного фотографа, он стремился понять фотографию. Его пленяли стекольщики; девушки с крикливыми голосами «во всю варежку». Работал он небрежно, держали его потому, что в Павлодар, в унылый городишко, наборщики не заезжали. Я не понимал, чем Павлодар уныл, мне казалось, в нем могло сбыться все, о чем мечталось.

Печатника Бьюкова постоянно сопровождал Иона Зипунов, наш переплетчик. В опрятнейшей холщовой рубахе, с черными усами, высокий, он пугал меня своими знаниями: о переплетном деле, о золочении, о брошюровке. Он часами рассказывал о замечательных переплетчиках, которые наживали «тысячи тысяч», но сам он работал плохо. Любил он рассказывать, как пришлось ему служить в солдатах, унтером, как он, конвоируя, заразил плохой болезнью «политическую». Этот рассказ особенно меня смущал. Я знал о «политических» только то, что они ходят в черных рубахах, с кожаным ремнем, волосатые (я сам носил длинные волосы до плеч), что «политические» убивают исправников, что «политических» вешают. Я жалел их. Иногда Иона Зипунов напивался и лез ко всем «своевольничать». Он начинал с кухарки Аниcьи. Он приходил на кухню и многозначительно говорил:

— Я такое знаю о переплетном деле, посмотри на меня ласковей, Анисья.

— Щука сома не съест,— отвечала так же многозначительно Анисья.

Анисье было лет девятнадцать. Ловкая, с густыми бровями и ресницами, похожими на щетки, она избегала рабочих. Все мы знали, что она желает открыть трактир, что выписывает и учит «бухгалтерию на дому», а по ночам ведет по книгам запись заказов типографии Владычкина. Опрятная, постоянно вся в белом, она умело охраняла себя и свое единство.

— Я желаю тебя увещать,— орал переплетчик.

Анисья швыряла на пол трубу от самовара. Являлась пани Марина, жена Викентия Ивановича Владычкина. И сам Владычкин, и пани Марина были выходцами из Польши. Дебелая, волоокая пани Марина уважала Анисью, хотя постоянно уговаривала ее забыть о трактире.

— Загжите себе другой факел, Анисья,— говорила пани Марина.

Пани Марина много заботилась о своем будущем. В ее спальне стоял громадный желтый шкаф. В нем, говорили, лежат книги об освобождении Польши. Я однажды робко попросил у нее почитать книг. Она сурово ответила:

— У вас другой факел, пан Всеволод. Я вам не дам читать этих книг, так как они снабжены факсимиле.

Никто не мог объяснить мне слово «факсимиле». Я решил, что это относится к политике. Я верил теперь переплетчику Зипунову, когда он утверждал, что «здесь нет никакой бакалеи»: если Марина Мнишек продала Польшу русским, то Марина Владычкина поможет Польшу освободить! Пани Марина постоянно торчала в типографии. Ей все казалось, что работаем мы медленно, она торопила нас. Когда Иона Зипунов напивался и глаза у него становились глупые и влажные, как сыр, пани Марина понимала его.

— Ай-ай, какой вы, Иона, последовательный.

— Если долбить, так долбить до конца,— отвечал ей переплетчик.

Она отсчитывала семьдесят пять копеек и посылала меня за извозчиком. Печатник Бьюков брал под руку Зипунова и выводил его за ворота. Пани Марина торговалась с извозчиком: туда и обратно за четвертак, а полтинник извозчик должен был передать Ковалихе. Ковалиха содержала в Павлодаре публичный дом.

Переплетчик стучал кулаком по облучку.

— Вези, кыргыз, важнее.

Пани Марина наказывала извозчику:

— Поскорее его обратно. У нас срочные заказы.

И, возвращаясь в типографию, она тихо восклицала:

— О, смерды!

Ее хозяйственность мы уважали. Уважали ее также и за то, что она читает латинские книги. Меня удивляла способность ее одновременно читать польскую книгу и править нашу корректуру. Для этого, думал я, нужно обладать великими страстями и великим умом. Хозяина, Викентия Владычкина, мы презирали. Владычкин постоянно говорил о своем здоровье и о чахотке. Прежде он был акцизным чиновником, скопил денег, ушел в отставку, и жена уговорила его открыть типографию. Он часто приходил на кухню, говорил:

— Анисья, опять бухгалтерией занялась, щи перегорят.

— Кого, кого, а себя я понимаю,— отвечала Анисья.

Он вставал по будильнику. Он любил вкусно покушать, после обеда вздремнуть ровно пятнадцать минут, а затем уходил бродить по городу. У него часто собирались гости. Он утомлял своей мнительностью, сводя все разговоры на случаи отравления или заразы. По его мнению, прогресс задерживается из-за людской небрежности. Если он появлялся в типографии, то непременно говорил мне:

— Когда же ты, Иванов, волосы остригешь и вымоешь шею? Зачем же свою жизнь укорачивать?

В середине лета в доме Владычкиных появился маляр Глеб Журавко. Он красил кабинет хозяина в белый цвет, потому что Владычкин вычитал из отрывного календаря, что белый свет самый здоровый для глаз, а на глаза Владычкин постоянно жаловался. После кабинета маляру поручили окрасить в желтое коридор, сени и крыльцо. У маляра жирное, какое-то мылистое лицо и потрескавшиеся, облупленные руки. Журавко уважал лаковые краски. Двигая кистью по стене, он говорил:

— Редко понимают, какое изменение способны наделать лаковые краски. Я сам родом почти из Германии...

— Фамилия-то у вас русская,— сказал я ему.

— Я рожден в Германии. Меня мамаша на курорте родила, в Карлсбаде. У меня папаша был крупный вор и жену всегда держал при курортах. Мне бы офицером вырасти, а он возьми да от тифа и помри, возле Павлодара. Мамаша превратилась в портниху, а из меня — маляр.

Мне хотелось узнать, что он думает про Анисью. Мне казалось, что он нравился Анисье. Хотя я все еще продолжал оглядываться на девушку под черной шляпой, но и Анисья волновала меня.

— Вы, Глеб, красите великолепно.

— Маляр я не из слоняющихся, но маляр я для лаковых красок. Германия стала опрятной только после того, как употребила лаковые краски. Бездельники не понимают лаковых красок.

— Чему же способствует опрятность?— с грустью спросил я, вспоминая Нюр-Таш.

— Опрятность в современной работе, милый мой, очень многому способствует: например, уважению к своему делу. Я склонен к философии, к единой любви, а мне позволяют черт знает какими красками красить. Думал я: один умный человек в нашем городе — Владычкин. Но и тот клеевой краской покрыл свой кабинет.

Глеб Журавко старался разговориться с Анисьей Оп-

ракса. Кухарка отвечала ему осторожно. Мне казалось, между ними уже шел какой-то сговор. Теперь я обедал на кухне у Владычкина. Кухарка советовалась со мной:

— Почему он убивается о прошлом и папаше-воре? Нет хуже, если человек женится и начнет убиваться о прошлом.

— Он тебе предлагал жениться?

— Жениться каждый предлагает.

От обиды на маляра я внезапно осмелел:

— Вот я, Анисья, жениться тебе не предлагаю.

Она замолчала.

Подала еду медленно.

Видимо, по ее расчетам, подошло время, когда ей пора узнать любовь, чтобы в старости вспоминать: вот и я когда-то забавлялась. Но она не желала терять самостоятельность. Журавко казался ей чересчур степенным. Перед моим уходом она взяла меня за пояс:

— Вечером ты чего делаешь?

— Коня запрягу и пойду домой.

В девять часов вечера, съездив на Иртыш за водой, я обычно перепрягал коня в тележку. Владычкин ехал с женой кататься за город или же в кинематограф «Заря», хотя и до кинематографа всего четыре квартала.

— А ты не уходи. Посидим.

Я и остался.

Анисья подробно разъяснила мне, как она начнет дело. Бабе хотя и трудно начинать, но всякие случаются бабы. Надо, главное, избавить себя от забот по женской части. Она, хоть и решительна, все же планы кажутся ей трудными и великими. Ей необходимо поощрение близкого человека. Родственников у нее нет, замуж выйти она страшится, и она знает только один способ — чтобы к ней привыкли. А кроме того, все так делают.

Она спросила:

— Скоро поди хозяева придут?

Я встал. Она положила мне руку на пояс.

— Ты не больной?

Я рассмеялся.

— Снаружи, надеюсь, видно.

— Избезумеешься с тобой,— сказала она ласково.— С девками, спрашиваю, у Ковалихи бывал?

Я покраснел.

— Ну вот, теперь видна правда. Полезай на полати, а то хозяйка, когда придет, непременно в кухню зайдет.

Я трепетал. Мне предстояло сделаться настоящим мужчиной. Страх мой увеличивался тем, что едва я влез на полати, как приехали хозяева. Владычкин долго распрягал коня. Пани Марина передала записать Анисье какие-то накладные. Анисья спокойно отнесла им ужин, долго читала молитву и причесывала длинные волосы. Я укатился к самой стене, возле которой шли толстые железные трубы из плиты.

Анисья легла навзничь.

— Ну, иди, дурачок.

Все мои движения казались мне удивительно ловкими, но когда я кинулся к Анисье, одна из моих ног сорвалась и с громадной силой ударилась в железную трубу. Я до сего времени не понимаю, зачем протянули вдоль полатей железную трубу. Раздался дикий грохот.

Владычкин с воплями промчался коридором. Он выскочил на крыльцо и вопил:

— Слезай! Я здоровья своего не пожалею, а застрелю!

Ему показалось, что кто-то лазит по крыше. Анисья уже стояла у открытого окна и спокойно говорила Владычкину:

— А вы на двор выдите. Вор-то, наверно, за трубой сидит.

— А если он меня кирпичом оттуда?— тихо ответил ей Владычкин.

Он выстрелил. Я забился под одеяло. Охая, Владычкин вернулся в спальню. Анисья закрыла окно.

— Слазь, мочало,— услышал я злой ее шепот.

Она протягивала мне плоские мои брюки.

— Штиблеты в зубы возьми, а то опять загрохочешь.

Она тихо распахнула окно. Лицо у нее было строгое и утомленное. Я выскочил и упал на кирпичи. В кухне перекладывали русскую печь, и печники не успели убрать материал. Я сильно зашиб колени. Забор высокий, из толстых плах. Калитка крепко замкнута. Студенея сердцем, я долго лез на забор. В лицо мне глядела точеная луна. Обиды трепали меня.

Улица была пустынна, залита песком. Сторож, постоянно дремавший со своей колотушкой возле типографии, видимо испугавшись выстрела, убежал. Верхом на заборе! Грустно я натягивал свои ботинки. Грустно рассматривал улицу.

Спрыгнув, я долго растирал колени. Когда я поднял голову, передо мной стоял маляр Глеб Журавко.

— Ты от хозяйки или от Анисьи?

Голова у маляра была прилизанная, а тальково-бледные щеки корчились. Он был мертвецки пьян.

— Мое дело! Может быть, у меня их двоечка.

Маляр ухватился за мой ворот:

— Гони три рубля! А то всю морду развалю и размалюю.

Откуда он догадался, что в кармане у меня ровно три рубля? Я желал страдать и сражаться, но нелепо биться из-за трех рублей. Глеб Журавко сунул деньги в карман, расправил штаны и сказал презрительно и вяло:

— Помоги!

Подсаживать это грузное тело было гораздо обиднее потери трех рублей, но мне хотелось покончить с позором. Я подсадил.

Журавко качался и бранился на заборе. Он требовал, чтобы Анисья помогла ему слезть. У поворота улицы я услыхал вдруг его испуганный крик. Обернулся. Мелькнули вздетые его руки, и Журавко рухнул вниз головой в типографский двор. Тотчас же раздался вопль Владычкина и за ним — выстрел.

Попробуй быть недовольным! Первое мое знакомство с долго ожидаемой любовью ознаменовалось убийством. Я не спал ночь. Я подбирал слова, которые скажу на суде. Кто виновен в его убийстве? Я ли, который опрокинул железную трубу? Хозяева ли, возводящие трубы в сомнительных местах? Суд придет освидетельствовать место смерти маляра Глеба Журавко; зрители будут рассматривать меня и думать: что в нем нашла красавица Анисья?

Утром выяснилось, что Журавко от выстрела упал в обморок. Очнулся он в участке. Владычкин хихикал: револьвер был заряжен холостыми патронами.

Анисья Опракса ходила по кухне такая же опрятная. Недели две спустя маляр пришел. Он зарекся пить, говорил о своей отчаянной любви и, сидя возле кухонного окошка, до приторности тщательно рассматривал бухгалтерские книжки, по которым училась Анисья. Я понимал его принужденность и не осуждал его.

Гришка Заботин заметил мое расстройство. Я уныло вертел колесо. Он правил корректуру, ловко и весело выдергивая шилом литеры из набора.

— Тоскуешь?

— Приходится,— ответил я, вяло держась за рукоятку, деревянную и лоснящуюся.

— Влюблен?

Я не желал сплетен и сказал уклончиво:

— Просто так.

— Грамотный?

— Как же!

Он бросил шило на пол.

— Тю! Зачем тебе вертеть колесо! Ты афект должен иметь. Тебе надо, парень, помочь. Хочешь, я из тебя наборщика сделаю?

— Кто не захочет?

— В три месяца!

— Хоть бы в год.

— Говорят, в три месяца. Цепляйся!

Он яростно принялся за мое обучение. Учиться я торопился. Гришке я мог быстро надоесть, так же как ему надоели все веселые девушки в городе, все кошки, воспитанные им, битье стекол у Ковалихи, числящиеся за ним несколько протоколов. Он был родом из Семипалатинска. Каждую весну он уезжал куда-нибудь подальше от родных мест, к осени терял свой паспорт и возвращался всего чаще по этапу. В Семипалатинске его отмывали и залечивали от тюремных побоев, друзья устраивали его в епархиальную типографию, и он работал, пока не начинал вновь тосковать.

Вначале он учил меня разбирать, затем преподал мне правила сплошного набора, афишного набора и под конец — акцидентного. Если хозяин хворал, а пани Марина уходила собирать по городу заказы, то Гришка вертел колесо, а я работал вместо него. Самоуверенность ли его, мои ли старания, но я действительно научился в три месяца.

Однажды он поставил меня у кассы и велел набирать сплошняк: в час восемьдесят строк на четыре квадрата, корпусом. Я торопился. Я понимал, что это экзамен. Потный, с перетрескавшимися от волнения губами, я метался возле кассы. Я пригибался и отгибался. Литеры послушно ложились в мою верстатку.

— Выходит,— похвалил меня Гришка.

Он передал рукоятку машины повертеть переплетчику, а сам убежал за водкой.

— Единозвучным будь по заработку, Всеволод, вот тебе мое завещание,— кричал Гришка, размахивая наполовину опорожненной бутылкой.

— Как вы понимаете единозвучие, пан Григорий?

На пороге, за его спиной, стояла хозяйка.

Гришка пошатнулся. Его выпуклые глазенки смотрели на меня ласково:

— Всеволод, труби сбор!

Он вдруг показал хозяйке язык и плюнул к самым ее ногам.

— Расчет! Совесть моя чиста, я вам рабочего сделал.

В тот же день мы его проводили на пароход.

Я остался наборщиком. Вертельщиком наняли киргиза. Работать мне приходилось до поздней ночи: то ли заказов было много, то ли я не успевал. Приближалась осень. И я подумал: вот выпадет снег, нет сюда, в Павлодар, ни пароходного пути, ни железнодорожного, откуда появиться наборщику? Я желал подражать благородному Гришке Заботину. Я желал, чтобы совесть не изнуряла меня. Я потребовал у хозяев жалованья.

— Пока есть дорога, вы имеете возможность выписать вместо меня другого наборщика.

Пани Марина кинулась к Викентию Ивановичу.

— Сбрендил! Вот он, твой Иванов. Сколько за ним ухаживали! А он жалованья требует.

— Никогда с ними не выздоровеешь,— уныло сказал Владычкин,— пьяница на пьянице, нахал при нахале.

Хозяйка вернулась ко мне и сказала с пренебрежением:

— Четырнадцать.

— Восемнадцать,— ответил я.

— Семнадцать, иначе хоть закрою типографию.

Я возгордился. Из-за меня закрывают целое предприятие, целый город будет без прессы. Зима будет без афиш.

— Окончательно восемнадцать,— сказал я.

Пани Марина выругалась очень нехорошо.

— Отбывать вам часть вашей жизни в тюрьме или даже на каторге, пан Всеволод. Да, я вам даю восемнадцать. Но вы должны жить при типографии, платить мне шесть рублей за квартиру и за хлеб, дабы постоянно быть под руками.

— Согласен, пани Марина.

Я мечтал примириться с Анисьей. Но и восемнадцать рублей жалованья не всколыхнули ее погашенного сердца. Маляр Глеб Журавко вскоре женился на ней. Она отменила бухгалтерию и готовилась снять малярное заведение. Маляр опять пил. Она ушла от Владычкиных. Позже я встретил ее. Она несла большой и от-

логий живот, лицо ее было покрыто синяками и нос свернут на сторону.

— Какую же там бухгалтерию?— ответила она и заплакала.

Самые выгодные заказы поступали из магазина миллионера Дерова. Их приносил непременно вечером приказчик, обладающий чудной фамилией — Жде. Пощипывая коротенькие усики, широконосый, широкобедрый, он повторял:

— Ну-да-ну... Прошу напечатать к завтрашнему дню. Ну-да-ну...

«Зачем такая торопливость?»— думалось мне. Но я быстро понял. Приказчик Осип Жде жил на хлебах у печатника Бьюкова. Жена Бьюкова Варвара молода, здорова, «перепеченная», приказчик Осип Жде холост. Бьюков, полагаю, понимал деровскую спешность, но жадность владела им. Осип Жде пользовался уважением Дерова.

Ни сдельных, ни сверхурочных мы не получали, и все-таки Бьюков работал часов до трех ночи и меня заставлял. Иногда он останавливал машину, и по лицу его было видно, как бьется его сердце. Он думал вслух:

— Вредно сокращать мысли, надо во всем разобраться без прикрасу, чтобы со стороны совести не увидеть противовесу.

Подражая Гришке Заботину, который никогда не отводил смысла беседы в сторону, я спрашивал:

— Дом хочешь отломить?

— Ну и отломлю, если найду в совести опорную лампу!

— Привередничаешь,— говорил я ему с достоинством.— А ты попроще.

— Вот и попроще выходит: утомление мне без собственного дома.

Я видел его входящим в церковь. Мне любопытно было посмотреть, как он молится. Я пошел за ним. Он стоял неподалеку от алтаря, смотрел в окно и, видимо, гадал: удастся ли ему при помощи Осипа Жде купить или выстроить дом? Или приказчик обманет? Он любил жену, но еще больше любил свой будущий дом, и в церковь, должно быть, зашел потому, что все люди перед постройкой своего дома советуются, а здесь, в таком щекотливом деле, с кем посоветуешься? Еще осмеют. Я порадовался, что бог опять впутался в гадость, явно поощряет ее всем этим не тускнеющим благолепием

храма. Но печатник Бьюков был противен мне не меньше бога. Я поспешно ушел из церкви.

Добившись жалованья, я решил: пора знакомиться с девушкой в черной шляпе. В обед она все еще встречала меня. Вечером она все еще оглядывалась. Я узнал ее имя. Ее звали Ирма Шмидт.

Это редкое, далекое имя воодушевило меня.

Я написал ей громадное письмо.

Я с первых же строк открыл ей великую тайну. Я ни больше, ни меньше как индийский принц, брошенный к берегам Иртыша коварными претендентами на престол моего отца. Мой отец, Саид-Ахмет-хан, принадлежит к древнему роду, который ведет начало от потомков Магомета. Его предки, пришедшие в Индию из Центральной Азии, занимали высшие должности при дворе Могольских императоров. Он умер в Аллаха-Баде. Я описал корабль, на котором меня везли по океану. Корабль качало, дул скользкий ветер. Острова обозначались удивительными запахами. Вокруг меня стража, готовая при первой попытке к бегству содрать с меня шкуру. Но и эта дикая стража пожалела меня! Ей приказано сбросить меня в Охотское море, а она выкинула меня в Павлодар. Что я предлагал девушке? Точно не помню, но, кажется, я звал ее быть моим другом, помочь мне убежать в Индию. Я обещал ей золото, любых коней, яхту, Европу.

Твердо знаю, что исписал не менее двадцати страниц. Я писал красными и синими чернилами. Я называл города: Пенджаб, Бегар, Оутт, Гузератт. Я называл восточные части Индии, я перечислял ей южные края центральных провинций, Берара, Бомбейского декана. Наконец мне надоело вспоминать города, реки и озера, и я начал выдумывать их. По моему письму ходили слоны, мяукали тигры, гиппопотамы хрюкали на каждой странице. Ничего малюсенького! Я купил громадный розовый конверт. Я накапал сургуча и прикрыл его пятаком, но так ловко сдвинул пятак при нажиме, что каждый должен был принять российский герб за мой собственный.

В обед я дал нашему киргизу-вертельщику Ахтыру четвертак и попросил его пойти со мной. Когда девушка вышла из-за угла, Ахтыр передал ей мое письмо.

Больше она не выходила ко мне навстречу. А когда встречала меня на яру, то отворачивалась.

Получив первое жалованье, я приобрел рубашку

«фантази», пышный голубой галстук, черный плащ-накидку с капюшоном, застегивающийся на львиные морды, суконные брюки навыпуск, зеленое толстое кепи. Я завел дутую железную трость с никелированной рукояткой. Я поднял капюшон и отправился гулять на яр. Была сильная жара. Дули стремительные ветры. Все удивленно смотрели на меня. Жалко, что не хватило на бинокль! Я стоял бы на яру и смотрел на подходившие пароходы.

Галстук мой развевался. По утоптанной дороге густо шла мимо меня толпа мещан. Вот прошла Ирма Шмидт. Она не смотрела на меня. Мне показалось, что она улыбается.

Из-за деревянного здания прогимназии белый конь грузно вывез моих хозяев Владычкиных. Они ехали в кино. Черный плащ обвивал меня. Далеко внизу плыли по реке тяжелые выцветшие плоты. И я так же медленно и упорно плыл потоком жизни.

Я стою гордо на высоком яру. Я уже наборщик. Я пишу удивительные письма и рассылаю их со своими слугами. Я могу уехать, куда хочу, работать, где хочу, у кого хочу.

Ветер бил по моим тесным ботинкам легким песком. Из сарая, возле кино, выскакивал голубой дымок: там действовал электрический двигатель, снабжавший током «электротеатр». Приятно смотреть на прогресс и цивилизацию создателю этого прогресса!

Хозяйская тележка медленно приближалась. Она пройдет в двух шагах возле меня. Я вежливо сниму толстую суконную кепку и скажу:

— Добрый вечер, Викентий Иванович! Добрый вечер, пани Марина!

— Добрый вечер, Всеволод Вячеславович,— ответят мне они.

— Гуляете, Викентий Иванович?

— В кино едем, Всеволод Вячеславович.

— Хорошее дело, Викентий Иванович. А я вот смотрю на Иртыш и все не могу насмотреться.

Превосходный разговор, отличный разговор! Как доволен Владычкин, как он рад, что не уволил меня, какой исполнительный и грамотный наборщик, как он цивилизует типографию. Ведь вы подумайте, он любуется на природу! А по правде сказать, черта ли лысого на нее любоваться? Желтый высокий яр, желтый ветер, течет

громадная желтая река и несет тусклые плоты. В кино куда любопытнее: хроника комическая, научная и видовая, страшная драма. Весь мир мелькает перед вами. На пианино играет дочь священника, почтенная дама в синих очках. Сеанс окончится, пригласишь гостей сыграть в карты, выпить вина, поговорить об эпидемиях и неопрятности киргизов.

Когда тележке осталось до меня шагов пятнадцать и она, перед тем, как выкатиться ко мне, нырнула в овраг, непонятный, огромный стыд охватил меня. И я опрокинулся под яр.

Я перекувырнулся и упал на песок.

Яр высотою метров в пятнадцать, но песок спружинил. Я подпрыгнул и шлепнулся лицом в Иртыш. Вода холодная, тугая.

— Осень скоро,— сказал я, лежа на животе.

Плащ прикрывал меня. Я лежал, пока не стемнело.

Утром пани Марина, передавая мне для набора заказ, спросила лукаво:

— Какой это англичанин прыгнул вчера с яру?

— Пани Марина, я работаю здесь не для издевательства, а для просвещения,— ответил я. Эту фразу я обдумывал целую ночь.

Но трудно перекудрявить словами пани Марину. Она вздохнула.

— Ах, просвещение столь опасно, пан Всеволод!

Я понял ее. Дело в том, что в город Павлодар, впервые за все его существование, приехал цирк А. Коромыслова. На площади, возле дома купца Дерова, сколачивали огромное здание из досок, и руководил постройкой мой дядя Василий Ефимович Петров. Пани Марина уже успела полюбить борца-легковеса Роальда Максимовича Азгерц.

11

Осень была томительная, вязкая, непрерывные ливни затопили город. Цирк занял в гостинице все номера. Я видел, как долго с парохода выгружали имущество. Стриженные, как люди, пудели, обезьяны с оранжевым задом, высокие черные ящики, кольца, сети, вагончики. Но оказалось, что осенью цирк открыть невозможно. Василий Ефимович выстроил цирк криво, и его еще более скосило от упорных дождей. Спешно пришлось перестраивать.

Циркачи ходили в длинных плоских шляпах. Город неустанно говорил о борцах и акробатах. Мне казалось, что мещане и на себя смотрят лучше, что сам город как бы вырос на их глазах, как бы его продули особыми целебными ветрами.

Любительские спектакли, для которых почему-то всегда выбирали украинские пьесы, не делали сборов. Обыватель берег деньги на цирк.

Дядя Василий Петров, любуясь топорами плотников, хвастался:

— Уверяю, цирк оставят навечно. Я под него кирпичный фундамент подвожу.

Мать рассказывала, что укротитель и владелец цирка Коромыслов пьет много чая и любит сахарные печенья. Коромыслов рычал и торопил, дядя вертелся возле него, клятвенно обещая прямую постройку.

Однажды у ворот типографии меня остановил паренек в лаковых сапогах, в пальто с бархатным воротником. Тоненький, весь покрытый застенчивыми веснушками, он скромно улыбался.

— Я хотел бы поступить в типографию,— сказал он.

— Как тебя зовут?— солидно спросил я.

— Пашка.

— Не подойдешь, Пашка,— важно сказал я.— Нам надобны вертельщики, народ сильный.

— А учеников?

— Не принимаем.

Но тут великодушная мысль осенила меня. Почему мне не поступить так же, как и Гришка Заботин? Он облагодетельствовал меня, зная хоть что-то обо мне, зная, что я люблю просвещение, книги. А если облагодетельствовать человека, не зная его? Это возвышенней и трудней. Пашка не понравился мне, его скромность казалась напускной, а затем — откуда его щеголеватость: лаковые сапоги, зеленые диагоналевые брюки в обтяжку, фуражка с широкими полями, розовая шелковая рубашка? Почему он решил поступить в ученики?

— Как твоя фамилия?

— Вот возьми, тогда и узнаешь.

— Иди к хозяевам.

Пани Марина посмотрела со странной улыбкой на его опрятную хулиганскую щеголеватость. Хозяин выходил кашлять на крыльцо. Он стоял, прислонившись к двери, и вежливо кашлял, грустно глядя на пригоны. В столовой, против буфета, сидел Роальд Азгерц. Я до сего времени

не знаю подлинной его фамилии. Тогда я его считал иностранцем. Меня удивлял только его отличный русский язык, его великолепная способность ругаться. Это был громадный розовый атлет с матовым затылком, весь в сером. Передавали, что он вел чрезвычайно аккуратную жизнь. Он съедал в день ровно три фунта мяса, выпивал ровно шесть стаканов воды, спал семь часов, а если пил водку, то никак не меньше и не больше, а ровно четверть ведра.

Пани Марина, не обращая внимания на нас, пристально рассматривала Роальда. Вдруг она, точно выплескивая что-то, сказала:

— Легче жить, если освободишь себя от избытка страстей.

— Вот именно,— забасил атлет,— во всем надо знать пределы и уметь избавиться от избытков.

— А избытки в любви, например, вам известны, пан Роальд?

Голос у пани Марины был особый, он не нравился мне. И пани Марина не нравилась мне. Голос у нее был какой-то раздетый. Пашка как будто понимал больше меня. Он смотрел смелее, даже несколько нагло.

— Известны избытки, пани Марина.

— А врачевание?

Пани Марина обернулась к нам. Я впервые увидал ее безмерно обнаженные плечи. Сердце у меня захолонуло. Я отвернулся.

— Что вам нужно, мальчик?

— Я пришел. Говорят, вы требуете ученика.

Пани Марина рассмеялась каким-то своим мыслям.

— Вот мы и не думали требовать в типографию ученика.

Пашка улыбнулся еще наглее.

— Значит, наврали.

Пани Марина как будто вдруг охладела. Румянец покинул ее щеки, движения ее стали медленными. Она держала в руках глубокую тарелку и пристально смотрела в медь стоящего на буфете самовара. Наверное, это было ее последнее размышление. Если ее тогдашнее размышление перевести на мое теперешнее понимание, то она подумала приблизительно так: возможен ли более интеллектуальный путь для освобождения Польши, чем тот, который хочется ей избрать?

Она улыбнулась опять той улыбкой, которую мы видели, когда вошли в столовую. Движения ее опять стали

стремительны. Меня злило, что я не понимал связи между Пашкиной наглостью и размышлениями пани Марины. А эта связь была. Доказывало мои предположения и последующее обращение пани Марины к Пашке:

— Куда же ты хотел поступить? К переплетчику?

— Нет, в наборное.

— Вы беретесь его научить, пан Всеволод?

— Пан Всеволод берется,— сказал Пашка.

Я угрюмо ответил:

— Надо подумать.

— Чего же тут думать, если взялся?— нагло сказал Пашка.

Пани Марина легонько потрепала меня по плечу.

— Я его принимаю. Идите в типографию, мальчики.

Пашка оказался понятливым. Учился он быстро. Я вскоре привязался к нему. Я узнал его фамилию: Герасимов. Но фамилия ничего не объясняла мне. Мы ходили с ним гулять вдоль яра, я рассказывал ему содержание книг. Читать он не любил, но ему нравилось слушать содержание прочитанного мною. О себе он молчал. Словно у него не было ни детства, ни родителей, ни товарищей. Удивляло меня, что рабочие обращались с ним с какой-то презрительной почтительностью, а веселый почтальон в зеленой куртке Донесенко, щеголь и весельчак, постоянно торчавший в нашей типографии, весьма странно подмигивал Пашке.

Холода ударили рано. Пожарная команда устроила возле кинематографа каток с платою пять копеек за вход. Для нашего города платный каток тоже был нововведением, как и цирк. Раньше мы катались или на Иртыше, или с обледенелого яра возле «торговых бань». По воскресеньям на катке играл оркестр пожарных. Пожарные сидели в страшных медных касках, завязанные пуховыми шалями: со степи всегда дул свирепый ветер.

Если на катке появлялась сестра моя Марья со своими подругами, коричневыми прогимназистками, я смелел и приглашал девушек прокатиться. Сестра важничала, на каток ее провожал чиновник с бряцающей бородой. Марья хвасталась, что нахлебника повысили «втрое в окладе».

— К семидесяти годам,— язвил я,— его впятеро повысят.

— Ух вы, молодежь,— пренебрежительно отвечала мне Марья.

Каток в день открытия цирка пустовал. Мы катались

вдвоем с Пашкой. После обеда пришло несколько барышень, Марья, три чиновника. Барышни важно проплыли мимо меня. Я поклонился им. Они не ответили.

Огорченно я подкатился к Пашке.

— Играют они со мной?

— А ты спроси,— сказал он, косо и нехорошо улыбаясь.

Улыбка его встревожила меня. Я направился к Марье. Она тихо и боязливо ответила мне:

— Ты просто подлец, Всеволод. Тебе еще нету и семнадцати лет, а ты уже ходишь в публичные дома.

Мне льстила эта боязнь, этот тихий голос сестры, и я важно сказал:

— Возраст вполне подходящий. Но откуда тебе известны мои похождения?

— Ты имеешь право на твои похождения,— сказала она с почтением.— Все же кататься возле сына бандырши Ковалихи просто безобразие.

— С кем хочу, с тем и катаюсь. Захочу, девок приведу.

— Весь в папашу,— удрученно сказала Марья.— Я с тобой больше не знакома. Я и дома и везде с таким развратником не разговариваю. Если на то пошло, лучше бы тебе переехать в публичный дом.

— Вместе с твоим чиновником?

Марья ударила ножкой в лед и откатилась.

Теперь мне все ясно. Ясны пряные улыбки пани Марины, смешки печатника, подмигивание зеленого почтальона.

— Пашка, зачем ты сказал мне фальшивую фамилию?

Пашка нагло смотрел на меня, облокотившись на забор. В лицо ему бил свет кино. Между ног стлался по льду снег. Девушки поспешно покидали каток. Встревоженно переговариваясь, они шли, одергивая платья, поправляя косы. Впереди них Марья.

— Девчонок напугался? Ничего. Из них в наше заведение еще многие попадут,— сказал Пашка.— Можешь и ты мне не кланяться, не учить меня.

Не кланяться? А вот возьму и научу, возьму и буду кланяться. В конце концов это настоящий подвиг и нечто похожее на книгу. Весь город удивится. Так думал я.

Я пожал Пашке руку. Он прослезился. Мне было лестно видеть его слезы. Я тоже уронил слезу.

— Я хочу научиться печатать, чтобы сочинить исто-

рию нашей злосчастной семьи,— сказал Пашка.— Вот отчего я и решил поступить в типографию.

В этот день Роальда Азгерц пригласили обедать к Владычкиным.

— Употребляете вы водку?— спросил его Владычкин.

— Да.

Я принес четверть водки. Пани Марина велела внести водку в столовую.

Глаза ее были наполнены удивительным блеском, плечи опять обнажены.

— Зачем вам освобождать Польшу?— мычал борец.— Освободите меня!..

Возле буфета Владычкин осторожно капал в маленькую ложечку лекарство. Он следил напряженно: не перекапать бы лишнего. Роальд Азгерц тем временем целовал пани Марину в шею. Пани Марина взяла у меня сдачу — и ни она, ни борец не поглядели на меня.

Кухарка отнесла нарочно сваренную для борца курицу весом ровно в три фунта. Не знаю, почему так водка подействовала на борца, но вдруг в типографию прибежал бледный Владычкин и крикнул:

— Господи, какая зараза! Метлу!

Я влетел в гостиную с метлой.

Роальд Азгерц, должно быть, попробовал удержаться за книжный шкаф — и опрокинул его. Все книги, освобождающие Польшу, выпали. Азгерц блевал на этот атлас, на эту свиную кожу, на эти красивые заглавия, напечатанные аккуратно латинским шрифтом. Лицо пани Марины говорило о негодовании, о брезгливости, о любви. Плечи ее потускнели.

Что я мог придумать? Я подставил под рот борца свою метлу. Водка и курица текли безостановочно.

— Господи, какая зараза! Разве вы не можете остановиться, господин Роальд?— беспомощно говорил Владычкин.

Господин Роальд тупо посмотрел на него и пошевелил локтями, как бы показывая: где уж там, мол, останавливаться? Владычкин вышел на крыльцо.

— Такой закат, а он блюет,— сказал Владычкин.

Он понимал полное свое ничтожество. Он знал, что не так освобождают Польшу, но даже изругать и выгнать борца у него не было сил. Ему было совестно перед собой, совестно передо мной, но он любил свою жену и, главное, боялся ее. Я понимал его трепет. Ему плевать

на закат, ему пора вернуться в столовую, а если вернешься не вовремя? И он поплелся за мной в типографию.

Цирк клонился набок, но отклонение искупала новизна цирка. Отклонение давало цирку даже некоторую стремительность. Яростно горели дуговые фонари. Оркестр рассаживался в громадной ложе. Капельдинеры, щеголяя бронзово-бурыми мундирами, расстилали васильковые ковры. И вот выскочили клоуны. Весь цирк захохотал. Киргизы кричали: «Уй, бой!— Здорово!» В бархатном, березкового цвета костюме выбежала канатоходец Антуанетта Сирбо. У нее было блеклое лицо. Проволока гнулась, как струна, и пела, как струна в моем сердце. Канатоходец распустил глянцевый, дивно алый зонт. У нее были круглые «вредные» брови. Я любил ее. Я любил весь цирк, и когда вышел, щелкая бичом, укротитель и дрессировщик Коромыслов, толстый, жирный, всеми ненавидимый, я его тоже любил.

Коромыслов был во фраке густого дегтярного цвета. Эта блестящая манишка, этот черный галстук, этот фрак сжигали мое сердце.

Последнее отделение. Капельдинеры очистили арену. Вышел низенький, широкогрудый арбитр и свистящим тенором закричал:

— Музыка, марш! Парад, алле!

Шли борцы, увешанные, как генералы, орденами и медалями. «Эх, кабы да мне,— шептал я,— как бы да мне хоть одного орденочка добиться!» Я испарялся в любви и в восторге. Над ареной высоко сияла проволока — и дивная Антуанетта Сирбо все еще, казалось мне, размахивала нам глянцевитым зонтиком.

Я посмотрел на пани Марину.

Среди арены стоял Роальд Азгерц, розовый, в черном шелковом трико, с бурной мускулатурой. В его голубых глазах еще отражалась четверть выпитой водки, он икал. Но какая любовь светилась в ее глазах! Муж, сидящий рядом, как бы крошился. Как поднималась ее грудь, как она его любила и как, наверно, кипяще целовала она его. А я, все равно, любил борца, и пани Марину, и даже Владычкина. «Все пройдет, все минует, но цирк останется»,— думал я.

Арбитр провозгласил:

— Чемпион Северной Норвегии и всех островов Скандинавии господин Роальд Азгерц.

Борец вышел вперед и поклонился. Как ему пышно хлопали! Он поклонился особо низко ложе, где сидела

пани Марина. Пани Марина закивала головой и захлопала так, что и она и все поняли: зря этак не хлопают. Она все простила ему. Простила испорченные книги, забытую Польшу, свою испорченную жизнь. «Вот это любовь, вот это чувство!»— ошпаренно думал я.

Арбитр прислушивался к хлопкам. Он смотрел внимательно вдоль рядов. Я еще не знал, что арбитр старался догадаться по аплодисментам: кому из борцов предстоит быть любимцем этого города. Хлопали больше всех Роальду Азгерцу. И тогда арбитр начал самозабвенно прибавлять к его заслугам все больше и больше побед.

А пани Марина считала, что самая лучшая победа прекрасного Роальда — это победа над ней.

Я вышел из цирка. Чувства мои были разъединены, как разводят мосты для пропуска судов. Я отрекся от того, что хотел сделать, но что я хотел сделать вновь, я и сам еще не знал.

Дула метель. Я шел, покачиваясь. Цирк все еще тайно сиял вокруг меня. Я шел, подняв лицо к небу. У, как высоко мы вознесемся! Высоко, чуть ли не у Млечного Пути, я протяну свою проволоку и понесусь по ней, одетый в огненное трико. И весь мир будет смотреть на меня, и чудесная Антуанетта Сирбо обнимет меня за шею и скажет... Я и сам не знал, что она мне должна сказать, но что-нибудь непременно сгорающее на губах.

Тетка Фелицата приняла на хлеба рыжего капельдинера Сережку Трошкина. Ему было девятнадцать лет, он гордился своей бронзово-бурой ливреей, чистил ее два раза в день, широко расставляя длинные, тонкие ноги. Он часто повторял, что все в жизни преобразовывается, развивается, что судьба тащит нас правильно. Если имеются борцы,— значит, борцы нужны для развития цирка. Он желает промышлять борьбой.

Мне хотелось учиться канатоходству. Но у кого? За ученье, рассудительно сообщал Трошкин, циркачи берут крупные деньги. Лучше всего посещать цирк и подсматривать. Сережка подметил уже много приемов.

— Давай практиковаться?

Я утащил у тетки Фелицаты большую кошму и расстелил ее на чердаке амбара. Мы боролись все свободное время. Перед борьбой мы пожимали крепко друг другу руки и выше колен закручивали кальсоны, чтобы они походили на трико. Трошкин свистел и дискантом приказывал: «Музыка, марш!»

По-разному мы снимали нашу жатву с арены цирка.

Сережка великолепно воспринимал и воспроизводил все эти «тур де бра» и «двойной нельсон». Я же мог перенять жесты, оттенки голоса, какое-то еле уловимое выражение лица, походку борцов. Я мог подражать только звукам, а ловкость и, главное, сила движений ускользали от меня. Я ощущал сильное чувство разлада. Сережка испытывал удовлетворение: все, что он проделывает сегодня,— нечто более удачное, чем вчерашнее. Эта ловкость ему нравилась, она вызывала в нем приятное расположение. Вытирая полотенцем тело, он добродушно смотрел на мое расстроенное лицо и говорил:

— Подожди, отвалится и от тебя мешковатость. Ты и сам не заметишь, как тебя подопрет цирковая панорама. Наблюдай за ней, Всеволод, крепче.

Я веселею, передразниваю арбитра, борцов, их пыхтение, их выцветшее дыхание. Сережка хохочет.

— Торопись, спроваживай, Всеволод, навоз из головы. Смелость надо! Головную. Мускулатура? Она прогрессирует более быстро.

Город готовится к масленице.

Масленичное гуляние идет кругом по двум улицам, похожим на крендель, мимо базара, собора, прогимназии, купеческих дворов и двух гостиниц. Улицы наполняются кошевками, санками, розвальнями. Иные убраны коврами, а победнее хозяин — расшитыми кошмами. Экипажи идут тесной толпой. Деревянные тротуары наполнены мещанами, казаками, киргизами.

Пани Марина презирала павлодарские гуляния, но не поехать было нельзя. Мне велели запрячь белого коня в беговые санки. Пани Марина надела беличью шубку.

Люди вытащили все лучшие одежды. Здесь хвастаются конями, шубами, количеством детей, иные семьи сразу выехали на нескольких санях. Некоторые вместо сидений ставят громадные сундуки с добром.

Деровские рысаки выскакивают из общего потока, обгоняют, ломают санки свои и чужие. Купцы бахвалятся поломанными санками! Вот мчится на огромном дымящемся бегуне Осип Жде. На нем бобровая шапка, а позади в санях сидят Варвара и муж ее, унылый печатник Бьюков. Дядя Василий Ефимович нарочно пригнал из степи два десятка коней: должны ехать все родственники, все работники, все киргизы. Санок у него не хватает. Он предлагает мне ехать верхом.

Вечером город до изнеможения ест блины и пьет водку. Утром город встает с тяжелой головой, с трудом на-

тягивает мохнатую шубу, падает в сани и опять крутится по этим двум улицам. Опухшие, заспанные лица! Я знаю, у кого сколько съели блинов, кто сколько настряпал пельменей. Возле цирка артисты с почтением любуются этим катящимся мимо них степным обжорством.

Я отказываюсь ехать. Я обертываю свою шею «соломенной собакой» и брожу пешком. Меня злит тонкость и точность борьбы Сережки Трошкина. Я завидую ему.

Паперть собора заполнена нищими, калеками, юродивыми, странниками. Все они забыли свои несчастья и страдания. Они восхищаются этим клубящимся вокруг богатством.

Улицы покрылись ухабами. Сани ныряют, выскакивают. Маслянисто-серые спины коней, в мыльной пене уздечки. Малахитовые ковры, лисьи малахаи работников, опаловые шубки девиц, пестренькие их платья, посеребренные кудри купцов — все это потрясает паперть. Она забыла свое уродство, свой добровольный отказ от удобств и благ жизни земной, от выгод жизни общественной, от родства кровного. Она, некогда принявшая облик безумца, не знающего приличий, стыда, кривляки, насмешника, нагая, босая, распустив волосы, «трясясь и биясь», бегущая из города в город,— теперь...

«Жирная степь опоила вас, дураков,— думаю я со злостью, глядя на паперть.— Погибло ваше обличение».

Дома я собирал лохмотья. Сережка Трошкин помог мне разрисовать себя. Мы купили в парикмахерской тресу, клея. Соорудили длинные усы и бороду. На всякий случай я приобрел длинный кинжал в деревянном футляре, оклеенном малиновым бархатом. Мы вырезали из картофеля тоненькую пластинку, проделали в ней несколько отверстий, так что пластинка являла собой круг, внутри которого болтались белые полоски. Эту пластинку я вставил в рот. Я завязал грязной тряпицей щеку, надел рваную шапку. Страшная рожа, волосатая, клыкастая, юродивая, глядела на меня из зеркала. Сережка поднес мне длинный корявый посох, накинул быстро сооруженный деревянный крест, покрыл его сумой, куда кинул куски хлеба и тряпки.

Для начала я решил обличить тетку свою Фиозу Семеновну Петрову.

Разве это подлинная жизнь? Это дрейф какой-то! Лежит на кровати, под атласным одеялом, кушает варенье, оплывает жиром, а ее родная сестра служи ей! И вообще

Петровы совершают много несправедливостей. Дядя Василий Ефимович обсчитывает не только киргизов, но и более грамотных русских каменщиков и плотников, строит кривые дома, дает взятки уездному начальству.

Кухня пуста. Я подождал, кашлянул.

Из столовой появляется в длинной белой рубахе, в туфлях на босу ногу, тетка Фиоза. Уже два часа дня, пора бы ей и одеться! Тетка Фиоза взглянула на меня. Лицо ее делается беспокойным и плоским. Она махнула рукой и торопливо сказала.

— Сейчас.

Она возвращается с необычной для нее поспешностью. Она встревожилась: в доме нет защитников, а если зубастый нищий с обманом? Вот он мычит, и дрожит его протянутая рука. Тетка Фиоза успела переодеться. Она протягивает мне пятак.

Я убрал руку. По лицу тетки разливается бледность. Ее откормленные толстые щеки вздрагивают.

— Чего же тебе еще надо?— еле выталкивает она из себя.

Мне смешно. Нужно снизить себя. Я поднимаю кверху руку. В другую беру суковатую палку и крест.

Тетка затряслась и повалилась на колени. Картошка в моем рту мешает мне обличать. К тому же я не могу удержать смеха. Я бросаю палку, крест и поспешно бегу.

Я слышу, как за мной закрывают на засов дверь. Сквозь двойное окно я вижу испуганное и словно бы подметенное лицо тетки. Она мелко-мелко крестится.

Глупо! Я огорчен. Я вскакиваю на извозчика. Мне уже кажется, что за мной гонится полиция, что тетка успела спосылать в участок. Я испуган. Извозчик удивляется моей суме, моей бедности и говорит:

— Не повезу.

Тогда я выхватываю кинжал. Извозчик затих. Он увозит меня на окраину. Я вручаю полтинник и грожу кинжалом. В глухом переулке я зарываю в сугроб суму, бороду, картофельные зубы.

Вечером я прихожу к матери. У Петровых гости. Ох, как тетка разделывает меня! Странное видение посетило ее сегодня на кухне. У нее стронулось сердце. Ей требуется съездить на богомолье. Кто в этом городе растолкует ей виденье? Она умолчала только о том, что я оставил возле плиты палку и крест, ибо виденье вряд ли могло оставить ей так неискусно сделанные предметы.

Я постыдно молчу. Я доедаю оставшуюся после гостей пищу.

Масленица продолжается. Ухабы все глубже и глубже, лица катающихся совсем заплыли, и едва ли сорок дней поста смогут отделать их заново.

У нас остался трес и клей. Днем мы играем с капельдинерами в карты «двадцать одно», на спички. Купленный кинжал жжет мне руки. Его блестящая сталь часто выходит из футляра. Я щупаю нежный малиновый бархат и неуверенно говорю Сережке:

— Вот мы проигрались с тобой...

— Все развивается правильно. Игра и та совершенствуется.

— Правильно-то — правильно,— уступчиво говорю я,— а счастье в игре бывает, по приметам, от награбленного.

Сережке не хочется, чтобы с него спадало величие. Он говорит:

— Отвык я грабить.

Смелость явно убывает во мне, но если я позволю загонять себя в цирковой борьбе, то здесь, в степном рыцарстве, я должен уложить Сережку.

Из кинематографа «Заря» около десяти часов вечера, после сеанса, последнего и малолюдного, возвращаются мещане и купцы. Некоторые из них сворачивают вправо, через площадь, мимо пожарной команды и городского училища, а редкие направляются яром, около дома тетки Фелицаты и складов пароходства «М. Плотников и Сыновья». Возле складов, на углу, горит большой керосиновый фонарь — от воров.

Прицеплены бороды. Кинжал лежит за пазухой. Верхнюю половину лица прикрывают плисовые маски. Мы останавливаемся за углом и выглядываем. Скоро десять часов.

Очень сложные чувства заставили меня пойти на ограбление. Это и обличение, которое не удалось мне с теткой. Вот сейчас купец вынет из кармана десять тысяч рублей, и мы скажем: «Награбленные тобою деньги пойдут по принадлежности, то есть бедным людям». Было здесь и желание показать себя более ловким и сильным, чем Сережка Трошкин. Хотелось мне также достать сразу побольше денег, купить завтра необыкновенного рысака, лучше, чем все деровские, и обогнать весь город. Хотелось мне в карты играть не на спички, а на большие суммы. Хотелось, наконец, сидеть в цирке не по контрамаркам, а на свои собственные деньги в первом ряду и

в бенефис Антуанетты Сирбо поднести ей серебяное блюдо.

Мы пропустили несколько плохо одетых мещан.

Вот показался тот, кого мы ждали.

Он шел в бобровой шубе, в бобровой шапке, подпираясь железной тростью. Рядом с ним — жена, накрытая лисами. Сердце охватила тоска. Это идет купец.

— А вдруг у него в палке вынимающаяся шпага?— сказал Сережка.

Я начал расплату. С каким наслаждением я тихо ответил ему:

— Трус!

Я нарочно, чтобы показать свою храбрость, выскочил под свет фонаря.

Купец замедлил шаги. Жена его остановилась. Я высоко поднял кинжал над купеческой головой, «и луч фонаря заиграл на его ужасном лезвии».

— Руки вверх,— сказал я басом.

И вдруг я испуганно увидел: купец действительно поднял вверх руки. Жена его тоже подняла руки. А я не знал, что мне делать дальше.

— Руки вверх!— сказал я еще раз.

— Я и так их вверх,— ответил купец.— Куда же мне их выше?

Купец, видимо, обладал юмором. Я рассердился.

— Давай деньги!

— Руки-то можно опустить?— спросил купец.

— Давай деньги,— сказал я.— Я вот тебе покажу — опустить руки. Садану металлом в живот, так опустишь их на всю жизнь.

Я опять сверкнул ножом. Купец глубоко вздохнул.

— Господи, вы бы хоть не изголялись,— сказала издали купеческая жена, со страху опустившаяся на снег.

Я приказал Сережке:

— Лезь к нему в карман.

Сережка, весь дрожа, сунул руку в боковой карман купеческого пиджака.

Купец тихо сказал:

— В брюках.

Сережка еще тише проговорил:

— Ой, не могу.

Я сверкнул на него кинжалом, и Сережка поднял вверх руки. Дело совсем плохо. Еще немножко, и Сережка убежит. Держа кинжал на изготове, я торопливо дос-

тал тяжелое купеческое портмоне и сказал возможно страшней:

— Уйдешь отсюда через час. Иначе наши дежурные пристрелят.

— Слушаюсь,— сказал купец.

Мы скрылись за углом. Выглянули. Купец стоял, подняв кверху руки. Упавшая шапка лежала у его ног.

— Шапку надо было бы взять,— сказал Сережка.

— Трус,— ответил я ему.

С трепетом открыли мы дома портмоне. Там лежало медью и серебром один рубль двадцать копеек. Скрывая следы, мы сожгли портмоне, а кинжал мой Сережка кинул в иртышскую прорубь.

Утром за пятьдесят копеек из сумм, мною награбленных, я купил открытку, на которой изображена пышная девушка с накленными волосами и с серебристыми блестками на громадной груди. Эту открытку я положил в глянцевый прозрачный конверт. Я написал адрес, а на груди девушки, возле сердца: «Люблю вас всю жизнь. Неизвестный разбойник».

Эту открытку я отправил с извозчиком Антуанетте Сирбо.

Хотя Сережка теперь и уважал меня, но борьба оказалась трудно изучаемым искусством. Руки и ноги болели. Постоянно ныла шея. Я плохо спал. Сестра Мария шипела, указывая на мои синяки:

— Все по девкам шляешься. Вот схватишь сифилис.

К тому же мы протерли кошму. Испорченная кошма напомнила мне катание на коже в поселке Урлютюпском, сладкий склад, мое изгнание. Я предложил Сережке:

— Давай лучше бороться на сене.

— На сене козлы борются,— сказал он строго,— у козла прогрессу не дождешься.

Я выпросил у дяди Петрова на время двухпудовую гирю. Утром, в полдень и вечером я поднимал гирю пятнадцать раз. У меня заболел живот и почему-то открылся насморк. Но я упорствовал. Я питался сырым мясом, пил молоко вместе с пивом, каждый день ходил в цирк — высматривал.

Тем временем Роальд Азгерц приобрел в Павлодаре гигантскую славу. Он клал любого борца через пятнадцать минут. Каждую неделю у него бенефисы. Он выдумывал пантомимы. На его голове гнули железнодорожную рельсу, через его тело, стоящее «мостом», переезжла тройка коней. О нем говорили приказчики, ему зави-

довали мясники, в него влюблялись прогимназистки, казаки, потягивая «носогрейки», говорили:

— Приличный бы урядник вышел.

Я завидовал великолепному Роальду. От зависти мне показалось, что мускулы выросли. Явившись в контору цирка, я выразил желание бороться с любым из чемпионов. Против меня назначили самого слабого борца, самого рыхлого, старого.

Я боролся под маской.

Я держал маску цвета охры. Мне предложили надеть трико, но я отказался. Я скинул рубашку. Подле столика, наспех сколоченного из горбылей, стояло высокое парикмахерское зеркало. Я тоненький и, наверно, очень шаткий. В уборной пахло кожей, все углы завалены седлами. Я открыл дверь в коридор. Антуанетта Сирбо, в белой шубке и высоких ботинках, пробежала мимо меня. Она не посмотрела на меня. Разве она знает, что я борюсь ради нее! Возле голубого сугроба ее ждет деровский рысак, усатый кучер дремлет.

И вот я на арене. Публика! Я трепетно держу собою громадную буйную силу, как держит ее новая плотина. Павлодарская сила смотрит, ждет. Звенит звонок. Арбитр свистящим тенором провозглашает этой силе:

— Господа! Павлодарский борец-любитель, скрывающийся под желтой маской, против волжского чемпиона и богатыря Ильюши Произвол. Музыка, марш!

Пожав старую волосатую руку борца, я мгновенно забыл все заученные приемы. Ильюша Произвол пыхтел, переминался с ноги на ногу и скучными, старческими глазами смотрел на меня. Храбрость слоями спадала с меня.

Борец положил меня в несколько секунд, шлепнул по заду и уныло сказал:

— Туда же лезешь, сопляк.

Тонкий девичий смех вспыхнул в первом ряду. Грохот хохота ответил с галерки. Хохот потрясал здание. Я снял маску. В первом ряду девушка с высокой шеей хохотала, закрыв лицо руками. Толстая баба смеялась, взвизгивая: «Ой, тошнехонько, сдохну я, смеючись». Смеялись старые, молодые. Весь павлодар смеялся, вся его сила. В ложе я увидал пани Марину. Она тоже смеялась. Смеялся Владычкин. «Тебе-то совсем ни к чему»,— с озлоблением подумал я.

Я спал тревожно в эту ночь. Проснулся рано утром.

Я страдал. «Необходимо решительно воспитать свою волю»,— думал я.

Вы, ровесники, помнящие нашу юность, знаете, наверное, эти объявления в тогдашних газетах и журналах: «Сила внутри нас», «Воспитывайте волю». Их много было, этих объявлений. Словно вся страна обезволилась!

За рубль двадцать я выписал «Полное руководство воспитания воли».

Я читал внимательно, долго. Брошюра рекомендовала упорно смотреть в одну точку, по возможности блестящую, и говорить всегда раньше вашего противника.

Я купил дюжину никелированных пуговиц и прибил их на самых видных местах. Отрываясь от верстатки, я смотрел на пуговицу. В обед она висела над моей головой. Перед сном я видел ее в моих ногах. Упорный взгляд воспитать оказалось так же трудно, как понять искусство борьбы. Я давно забросил гири, но и от упорного взгляда у меня болела поясница, ныли руки, подгибались ноги. А зачем в нашем городе нужна решительность? Вот я хожу другом Пашки Ковалева, не пью водки, не курю — и все-таки воля моя никому не нужна.

Деньги? Скот? Дом? Зачем мне все это? Торговать? Я помню, каким я был торговцем в степи и в Урлютюпе. Вот печатник Бьюков передоверил свою жену Варвару деровскому приказчику Осипу Жде, а тот ему купил дом. Бьюков уже заказал живописцу вывесок домовладельческую жестянку. А стал ли Бьюков счастливее? Я видел, как тетка Фелицата мучается со своим домом.

В цирк я уже не мог ходить, хотя мне и хотелось посмотреть, как Роальд Азгерц будет бороться с приехавшим из Санкт-Петербурга мировым чемпионом «Черной Маской». Я торжественно передал Пашке свою верстатку. Крепко поцеловал его, как целовал меня Гришка Заботин, и с первым пароходом уехал в Лебяжье.

12

Вот почему я и мой отец задумчиво стоим у забора школы. Перед нами пыльная поселковая улица, возле черного выгона девчонка гоняет хворостиной телушку. Мы говорим с отцом об Иерусалиме, Москве, монастырях, но чувствуем — пора начинать более серьезную беседу. Я держу в руках отцовскую зубочистку и думаю: если где

и надо применить волю, так к моему отцу. Будущее моей матери и моего брата Палладия беспокоит меня. Мать моя теперь не кухарка, но каждый день над ней опасность: вернуться в прислуги.

Отец продолжает разговор:

— Да, братец, ты и в детстве был тщеславным. Учил я тебя, учил — и все без толку. Чего же теперь тебе от меня надо, Всеволод?

— Мне хотелось, чтобы ты не сваливал тщеславия на меня, а видоизменил себя и свои намерения, пап.

Я быстро проговорил давно приготовленное:

— Мадам Рюизье пишет: «Из тщеславного человека делают все, что угодно, льстя его тщеславию». Боатт подтверждает это, говоря: «Тщеславный человек никогда не может быть свободным; люди, мнения, их взгляды порабощают его: он раб того, кто его видит». Монтескье говорит: «Чем более людей бывает вместе, тем они тщеславнее, непрестанно ощущая в себе желание отличиться маленькими вещами».

— Умные мысли.

— Пап, тот же Боатт говорит: «Тщеславные люди надоедают друг другу».

Отец радостно сказал:

— Вот самое справедливое изречение, которое, братец, мне когда-либо приходилось слышать. Дай я его запишу.

Он отложил карандаш, которым было начал записывать изречение.

— А ты его против меня? Ведь тогда казаки должны бы мне надоесть? А никто еще не надоел мне! Тщеславие, по-моему,—это, братец, когда человек вроде тебя ездит без толку и теряет хорошие должности. Мало того — ездит: он приезжает и смеет учить своих родных. Тщеславие — это когда сын, не зная ни одного иностранного языка, не побывав в Петербурге или в Иерусалиме, не перевалив хотя бы через Уральский хребет, берется перевоспитать своего отца. Тщелавие — это когда сын не уважает своей родины, а почему-то уважает Индию, где сплошная сырость и змеи толщиною с бревно и люди ходят в разрисованных одеждах, пестрее клоунов. Тщеславие — это когда читают книги без разбора, от Майн Рида до Спинозы. Тщеславие твое, Всеволод, подобно суеверию, которое все превращает в чудеса...

Отец искренне жалел меня. Слезы капали из его глаз.

Он говорил слабым голосом. Он хотел передать мне подлинную правду.

— Вот ты, Всеволод, даже в банк не веришь, а ведь это безверие уже предел всяческого тщеславия. Как же нашему Лебяжьему существовать без банка? Город без банка? Без директора? Смешно! Я полагаю, он вырастет в Объединенный Иртышско-Китайский банк с филиалами, вплоть до Пекина.

Он топнул ногой от удовольствия. Он развеселился. Он как бы вдруг сдунул с себя все тревоги.

Грусти он подольше, я бы чувствовал себя лечге. Но такое явное предпочтение несуразной мечте перед моим серьезным разговором тяжело отозвалось на мне. Я вспомнил, что приехал сюда сгоряча, и средств у меня только на обратный билет до Павлодара. У отца ничего не было, кроме зубочистки. Если оставались какие-нибудь деньги от получаемых им в месяц двадцати пяти рублей, он их тратил на пустяки. Например, он выписал глобус с названиями городов и морей, почему-то на немецком языке. Пускай, дескать, казачата учатся, вдруг придется завоевывать Германию. Или появлялась модель самого новейшего английского паровоза. А мать все еще не могла скопить денег, чтобы купить корову. Питались плохо. Братишка Палладий жаловался на липкий, как глина, хлеб. Палладий страдал малярией, лицо у него было темно-оливковое, тощее. Он считал меня беспутным, глупым, шептался с матерью о хозяйстве. Мать страдала: из-за меня, из-за мужа, из-за Палладия.

Отец посмотрел на меня сияющими глазами:

— На правду нельзя, братец, сердиться. Не будь ты мой сын, я бы утверждал, что ты вырождаешься. Очисти себя, Всеволод, от сучьев тщеславия.

— Да ты подумай над окружающим, отец.

Он оглядел выгон, девчонку с хворостиной, избы, дешевое небо.

— Живут люди хуже. Откроем банк, жизнь, несомненно, улучшится, Всеволод.

— Пап, да откуда банку появиться-то? Ты вспомни, как мы питаемся, во что одета мать. А где лекарства для Палладия? В степи тысячные табуны, а ты не каждый день выпиваешь крынку молока.

Упреки показались ему чрезвычайно обидными. Он вспыхнул.

— Мне? От сына? Выговоры? Я приказываю тебе замолчать. Откуси язык, но замолчи! Всеволод! Прокляну.

Ему понравилась мысль о проклятии. Лицо у него стало озабоченным. Он, видимо, вспоминал и прицеливался, откуда начать проклятия. Губы его быстро шевелились. Надо торопиться, а сложный обряд проклятия он никак не мог вспомнить. Учил он ребят молитвам, но ни в одном из молитвенников не имелось, хотя бы примерного, отцовского проклятия. От напряжения на лбу его показалась испарина. Он то ставил ногу на забор, то убирал ее.

— Не отговаривай, не отговаривай,— скороговоркой бормотал он,— раньше б подумал об устранении препятствий.

Я рассердился настолько, насколько нужно для ухода из отчего дома.

Я вошел в классную, взял с парты шерстяной матрас, набитый соломой, распорол шов и вытряс с крыльца солому. Матрас был из кашемира, зеленого и дрянного. Набитый, он напоминал спящего пса, и про себя я так матрас и называл «соломенная собака». Он заменял мне иногда шкаф, иногда сумку. Сейчас я положил в «соломенную собаку» несколько книжек, краюху липкого хлеба, две луковицы, щепотку соли, бутылку с водой.

Мать уговаривала:

— Отец отходчивый. Изображает, а к вечеру, глядишь, и свернется...

Мне нравилась мысль об уходе. Кроме того, пренебрежение отца к моей воле, к заученным сентециям огорчало меня. Да и что мне делать в Лебяжьем, зачем объедать и без того полуголодных людей?

Вот я выйду. Утро. Утки по-прежнему, переваливаясь, медленно поднимаются по откосу. Отец шлет мне вслед ужасные проклятия. Мать стоит возле крыльца на соломе и покачивается горестно. Она причитает. Обыкновенное дешевое небо над нами. Обыкновенные пухлые облака. Обыкновенная река Иртыш блестит за тополями.

Я перекинул через руку черный свой плащ, взял «соломенную собаку», пригладил на плаще львов. Я остановился против отца. Он рассеянно посмотрел на мою сумку.

— На рыбалку пошел? Нонче рыба на переметы идет плохо.

Не вспомнив ни одного проклятия, он рад был поговорить хоть о рыбе.

— Я ухожу совсем, пап.

Отец сказал лениво:

— Ну, иди. А когда банк откроем, я тебе выхлопочу место и сообщу...

— Не открыть вам банка, пап.

— И тебе не уйти из Лебяжьего. Ты на себя посмотри, разве с такой мордой уходят. И лучше тебя были физиономии, да возвращались.

Он сердито отвернулся от меня, поднял самовар на крыльцо. Самовар потух. Из него могут вывалиться угли, когда отец начнет раздувать, могут зажечь солому. А убрать солому лень! Отец снял сапог и пристально уставился на стершийся каблук. Я медленно отошел от крыльца. Я направился не к пристани, а к тракту. Я опасался, что на пристань, пока я ожидаю парохода, прибежит мать и начнет меня уговаривать: примирись. А завтра опять тот же самый спор.

У поворота я обернулся. Отец стоит ко мне лицом, слегка склонившись над самоваром. Позади отца широкий и черный выгон. Отец весь в желтом. Он раздувает самовар длинным сапогом. Острые искры летят на черный выгон. Я стоял, думал. Отец качает сапогом. Искры летят шумней. Он не смотрит на меня. Мне жалко себя. Я ухожу так обыденно! Этот длинный черный стоптанный сапог! Отец его чистит тщательно, ежедневно. Зря! Зачем летом носить сапоги? Это и не выгодно и жарко, потеют ноги, от пота сапоги портятся, преют. Грязи летом нет, а вот носит и носит — потому что так положено казачьей тщеславностью.

На Крестовском перекате, в трех километрах от поселка, пароходы идут тише. Здесь Иртыш изобилует мелями и корягами. За десть копеек рыбаки отвезли меня к пароходу. Бока лодки обиты рваной медной жестью.

— Зачем вам медь?

— А для красоты,— ответил рыбак.

— Сети рвете.

— Сеть починить можно.

— Вячеславу Алексеевичу нравится?— ехидно спросил я.

Рыбак улыбнулся.

— Учителю-то? А как же, он казачью красоту понимает.

До Павлодара я плыл грустный. Если просить денег, то, пожалуй, лучше у Пашки Ковалева. Он, подобно мне, потребовал у хозяев жалованья, и ему назначили восемнадцать рублей. Должен он своего учителя снарядить вниз до Омска? Обязан. Я отработаю и пришлю ему. Бродя

среди тюков, возле машинного отделения, размышляя о Пашке и Павлодаре, я как бы износил свою тоску.

Я поднимался поздней ночью на палубу во второй класс. Я надевал плащ и ходил мимо окон, не смея опереться на перила. Занавески кают были плотно задернуты. Тишина, молчание. Какая-то высокая дама прижималась к белому кителю чиновника. Плечистый чиновник басил:

— Тести бывают и приличные. Мой тесть объедает меня и позволяет себе стравливать моих детей, как щенят. Я н-н-не разрешу...

— Но ты, Ксенофонт, совсем-совсем не понимаешь его...

— Н-н-не разрешу!

При каждой моей встрече с ними я слышал это слово «не разрешу», и каждый раз чиновник говорил его поразному. Оно звучало то глухо, то высоко, то гневно, то пренебрежительно. Какая сложная наука, какая громадная государственная машина воспитала этого плечистого человека, чтобы он умел так удивительно многообразно выражать в одном слове «не разрешу» великое множество понятий! Проходя мимо этой пары, я поддерживал полы плаща. Дама надкусывала яблоки, делая это чрезвычайно изящно. Она к тому же и шепелявила.

Яблоки у нас в семье были величайшей редкостью. Отец покупал их только для именитых гостей. «Странно,— думал я,— но вот я уже самостоятельный человек, а еще не ел яблок. Мог бы вместо дорогого галстука купить галстук подешевле, а на остатки приобрести яблок. И зачем мне плащ?»

Красные и белые бакены отмечали фарватер. Пароход иногда садился на мель. Нагруженный до отказа, он снимался с трудом. Меня раздражали эти стоянки. У меня оставался только полтинник, а я очень хотел есть.

Подходя к Павлодару, пароход празднично загудел. Сделал лихой круг. Из трубы повалил густой дым. Пароход блестел и сиял, его долго мыли. Матросы кидали тяжелые швабры в Иртыш, и смеясь, волочили их за собой. Пароход пристал к барже. Пассажиры толпились у трапа. Меня сжали, толкали. Из уборной, подле сходен, воняло карболкой. На лестнице, упираясь чемоданами в медный поручень, стоял плечистый чиновник, бася: «Не разрешу».

Если пароход приходил в Павлодар вечером или в праздник, то вся городская молодежь и вообще легкие

люди спешили «гулять». Все время, пока киргизы грузили тяжелые десятипудовые тюки с кожами, мешки соли, бочки масла и сала, пока они, обливаясь потом бегали по качающимся мосткам, поддерживая на спине тяжести крюками,— тесная и густая толпа мещан кружилась по палубе, мимо окон кают и салонов первого и второго классов.

Киргизы-грузчики питались одним хлебом, мясо ели не больше одного раза в месяц, часто болели тифом, они все были изможденные, сутулые. Все знали об их несчастье, но никто не замечал и не говорил о них. И я не замечал и не говорил об этом. Я тоже «гулял» на пароходе. Мне нравилось, что капитан стоит на мостике в чистом новом мундире и все вокруг чисто и празднично. Погрузившись, пароход отваливал, толпа гуляющих долго стояла на берегу и слушала его гудки.

Прижатый к стене мешками и ящиками пассажиров, я ждал, когда сбросят трап, и смотрел на эту павлодарскую толпу, тоже ожидающую трапа. Был праздник. Они желали гулять. Я увидел здесь Ирму Шмидт с черными бровями. Она одна в городе красится, а если девушка красится — это позор. Краситься могут только замужние. И она ходила одна, даже деровские приказчики, славящиеся своей беспутностью, не подходят к ней. Неподалеку — Викентий Владычкин, лицо у него несчастное и тоскливое, он стоит, опершись на палочку, и ищет кого-то в толпе глазами. Сестра моя Марья, окруженная коричневыми прогимназистками. Рябой сапожник Лев Удавов в ярко-серой шляпе и зеленом галстуке, приятель Пашки Ковалева. Мечется Василий Ефимович. Наверное, встречает знакомого. Весь город здесь, все, кто оглушительно и яростно хохотал, когда меня положили в цирке!

И вот я должен выйти к ним. Они небось уже знают, почему я вернулся в Павлодар. Какой хохот встретит меня, какие лоснящиеся наглые рожи! А я должен буду подойти, поклониться и попросить денег. У кого? У Пашки Ковалева! Он тоже здесь, он улыбается кому-то и приподнимает фуражку.

Ну, зачем нужен мне был этот детский лепет об индийском принце, об Индийском океане, о далеких островах? Вымаливать у мещан веру в дикую и нелепую выдумку; разве в этом заключается твоя воля, Всеволод Вячеславович? Вот они валятся по сходням и понесут важно свои тела, браслетки, часы, брюки, кофты, бархатные платья, надетые, несмотря на жару. Все они в черном.

Почему? Над ними такое ясное, великолепное небо, такое солнце, которому позавидует Индия!

Какой там, к черту, индийский принц! Вытравить из себя, отменить!

Отныне я не принц. Отныне я человек низшей касты, но воспитавший в себе чудовищную волю, перед которой должен преклониться мир. Я получаю возможность отомстить всем, кто смеялся надо мной, но воля моя так велика, что я вычеркиваю все мысли о мести и прохожу мимо этих удивленных лиц, растрогав своим милосердием даже эти черствые сердца! Да, я теперь факир. Да, я теперь дервиш. В сущности, остается сделать немного. Водки я не пью, табак не курю, пищей я не избалован, буду питаться черным хлебом и отчасти молоком. Женщины? К ним я не так уж и очень привык, а помечтать о любви и факиру не возбраняется. Я возвращусь в Павлодар мощный, великовольный, презирающий все блага мира. Итак, я дервиш.

Итак, я факир и дервиш. Итак, меня зовут...

...меня зовут Бен...

Имя короткое и невнушительное, хотя вполне достаточное для человека низшей касты. Но кто такой Бен? Беном назовется любой немец! Предположим, Август Бен. Нужно прибавить нечто восточное. Али? Это имя всем напомнит «Тысячу и одну ночь». Бен-Али? Правда, это похоже на имя слуги. Надо бы повнушительней. Разве прибавить Бей? Это, кажется, значит господин. Господин Бен-Али! Разве не может факир называться господином? Ведь он прежде всего господин над самим собой.

Я устремил очи свои вперед. Резко и внушительно глядел я.

Итак, меня зовут Бен-Али-Бей, великий факир и дервиш.

Нет, не сойдет Бен-Али-Бей на павлодарский берег. Не смеяться вам над ним больше, господа.

Я попятился.

Я постучался в каюту к младшему помощнику капитана. Лицо его, отцветшее и усталое, показалось мне добрым. Я сказал робко, но в то же время внушительно.

— Не будете ли добры, господин помощник, отвезти меня в Омск? Я, видите ли, издержался...

Вдруг его симпатичное лицо как бы уплыло по скату. Он отвернулся от меня. Он доставал конторскую книгу. Когда его лицо поравнялось с моим, от него как будто отломана была добрая часть.

— Терпеть не могу, когда клянча-ат...

Я отошел, слиняв. Я торопливо огляделся. Возле машинного отделения, у пустых еще пассажирских коек, я увидал громадную бочку в полтора человеческих роста. Такие бочки наполняет «головной» сахар. Она сколочена наскоро. Я заглянул в нее. Крышка свалилась внутрь до середины. Я приподнял крышку. Обрезки плах, стружки, солома, тряпки для обтирания машин заполняли ее. «Бедный Артур Гордон Пим!» — вспомнил я.

Я залез в бочку.

Бочка узка, но лежать в ней, скорчившись, можно. Я прикрыл себя сверху соломой, тряпками, дощечками, а еще выше положил крышку.

Погрузка шла долго. Я слышал постепенно уменьшающийся топот ног. Заскрежетала лебедка, поднимающая якорь. Раздалась команда: «Отдай концы!» Пароход заревел, отчалил. Я с трепетом ждал контроля. Если меня поймают, то ссадят на Три Острова, стоящих поодаль от Павлодара. Таков обычай для пароходных «зайцев». По обычаю, их били, перед тем как высадить, три раза по шее. Сила удара зависела от характера матроса. Хорошо, если саданут покрепче, — поплачешь подольше, злости накопишь для того, чтобы влезть на следующий пароход.

— Ваши билеты, господа, — раздалось возле бочки.

Кто-то заговорил вкрадчиво. Знакомый голос, но теперь ласковый и мяукающий, ответил вкрадчиво:

— Терпеть, не могу-у, ко-огда у меня кля-янчат...

Помощник капитана, надо понять, соглашался на взятку. Он постучал в мою бочку карандашом.

— А здесь небось тоже ваше?

— Здесь, господин помощник, пустая нераспорядительность. Бочки возле пассажиров.

— Да, надо эту бочку в котельную отправить, — сказал помощник и приподнял мою крышку.

Я увидал длинную руку с тросточкой. Тросточка эта быстро опустилась, проверяя. Раз-два! Она стукнула меня ловко и больно по лбу и упорхнула. Мне показалось, что бочка покачнулась. Возможно, что помощник потрогал ее и она показалась ему легкой.

— Скатите ее к топке, — сказал помощник, отходя.

Я пощупал вспыхнувший лоб. Высокая шишка поднималась от бровей к волосам. Словно опасаясь, что меня еще кто-то ударит, я завязал лоб «соломенной собакой». Сидеть было очень неудобно, ноги затекли, колени боле-

ли. Чтобы развлечься, я попробовал просверлить сбоку отверстие попавшимся под руку гвоздем. Сухое березовое дерево не поддавалось. «Бедный Артур Гордон Пим!»

Пассажиры пели «На диком бреге Иртыша». Кто-то откупорил бутылку. Смеялись. Слышались шутки. Плыла, должно быть, большая и дружная компания. Я подумал: «Если они дали взятку, то почему бы заодно не попросить их присоединить меня к себе?»

Я потихоньку толкнул крышку и выглянул.

Белые койки завалены перинами, сундуками, чемоданами. Волосатые веселые люди пьют водку. Рюмки сверкают в их руках. Пена от пароходных колес отражается в стекле.

Я узнал их. Это уезжал цирк Коромыслова! Я узнал актеров, оркестрантов, капельдинеров, борцов, фокусников. Антуанетта Сирбо держала рюмку с водкой. Подальше стояли клетки, ревел попугай, блеяла коза, прыгала обезьяна с оранжевым задом. Возле перил, обняв пани Марину за покатые плечи, стоял розовый Роальд Азгерц.

Итак, вот где факир и дервиш Бен-Али-Бей встретился с ними!

Я опустил крышку...

Опять я вспомнил этот страшный хохот в цирке. Вот я выгляну сейчас с огромной синей своей шишкой на лбу, и опять повторится этот хохот. Они заорут, завизжат, засвистят: «Вот он где! А мы-то вас искали!» Они узнают, что я безбилетный. Хохот увеличивается.

Ноги у меня будто сломанные, голову печет, рот пересох. Я сорвал зеленую повязку. Боль усилилась. Я вспомнил отца. Весь в желтом, отец раздувает сапогом медный самовар. Летят тяжелые искры с крыльца на широкий черный выгон. «Несчастный Артур Гордон Пим!», «Бедный Артур Гордон Пим!» — повторил я и горько заплакал.

1934

ЭДЕССКАЯ СВЯТЫНЯ

I

Отец поэта выделывал превосходные кривые ножи, какие ковал и дед отца, и прадед. Оттого земля дома ремесленников иль-Каман от беспрерывного поступления угля и сажи стала несравненного черного цвета. Однако и на эту прокопченную землю зарились богачи, раскинувшие вокруг мастерской оружейника свои сады, увеселительные беседки и влажные фонтаны.

Народ уважает тех, кто кует хорошее оружие, и отчасти из страха перед народом, а главным образом из трепета перед острыми ножами, которые умели не только выковывать, но и применять с редким искусством ремесленники иль-Каман, судьи признавали право их владения.

Споря с богачами, не разбогатеешь. Иль-Каманы любили целительный блеск цветов и сочные плоды, но как они ни рыхлили землю, как ни заботились о ней, она дарила им лишь семь жалких кустов роз. Вдобавок копоть и сажа быстро превращали расцветшие розы из белых в серые, а из алых — в махрово-черные. И все же цветы эти возвышались среди ржавых кусков железа, куч шлака и угля, подобно драгоценным выпуклым шелковым узорам на какой-то онемелой ткани, которая давно выцвела и обветшала.

II

Мальчик Махмуд и в ковке ножей, и особенно в отделке их проявлял изумительную ловкость и разумение. На рукоятку ножей он ввел орнамент роз, а лезвие украшал тремя полуразвернутыми лепестками. Заказчики

предсказывали ему большое будущее. Быть может, ему суждено увидеть лучшие времена Багдада и он будет каким-нибудь крупным купцом, или мореходом, или устроителем процветающей компании караванов? Не его ли верблюды пойдут в далекую Бухару и Китай, а корабли — в Индию и Цейлон?

И отец его, обольстившись догадками заказчиков, подумал: «Что я знаю о будущем? Они много ездили и, несомненно, видят будущее лучше меня».

И отец повел мальчика к своему другу, судье багдадского базара, кади Ахмету. Кади Ахмет считался шутником, а это, как ни странно, украшает суд обещая победу истцу и легкое наказание ответчику. Кади Ахмет преподал мальчику начатки грамоты и поэзии сказав, что остального — а оно огромно! — он должен добиваться сам. Иначе какая цена его ножам, если торговец, продающий ему железо, будет продавать ему уже готовые лезвия и рукоятки?

Затем отец повел его ко второму своему другу, законоведу Джелладину, который скривился и закалился, изучая Коран, лучше и крепче самого удачного из ножей, выкованных отцом, и дедом, и прадедом.

III

Едва мальчик успел погрузить свое сердце в грохочущие и оглушительные видения пророка Магомета, за которыми Джелладин настойчиво указывал на Закон,— отец мальчика погиб, и мальчик вернулся к горну, к наковальне и к токарному станку предков. Всепожирающий, страшный «греческий огонь» поверг отца в глубины Средиземного моря, когда тот, в обществе таких же осунувшихся и голодных ремесленников, вздумал плыть в Италию, чтобы там выгодно продать свои изделия, а при случае подраться с теми, которые не желают покупать эти изделия. Багдад в те дни раздирали смуты, сталь для лезвий и рог для рукояток подорожали. Детей и жену нужно кормить,— и не продавать же свой домишко богачам, посредники которых все чаще и чаще стучались в деревянные ворота, источенные временем и червями.

Заказчиков не было. Ища занятий, молодой человек выходил к набережным Тигра, куда, медленно уравнивая бортами беглый свет на переливающихся волнах, пришвартовывались морские суда, пришедшие из Красного моря и груженные товарами Индии: душистым и драго-

ценным деревом, лечебными травами, пряностями, шелком.

Моряки с рыжевато-бурыми от ветров щеками спрыгивали на камни набережной и торопились в притоны, пить,— о, беззаконные!— пить вино и ласкать таких же беззаконных и бесстыдных женщин. Глядя на моряков, молодой человек вспоминал своего доброго и ласкового отца, и сердце его клокотало. Он предлагал свои услуги морякам, а они говорили:

— Видишь эти товары и видишь склады, тоже полные подобных же товаров? Мы их привозим напрасно. Караваны могут, конечно, отвезти их к Средиземному морю, но какой толк?

И они подробно рассказывали о неистовом владычестве византийцев, которые овладели всем Средиземным морем и не позволяли Багдаду переводить индийские товары в Европу. Молодой человек, рдея от злобы и желая вонзить все свои ножи в горла и утробы византийцев, говорил:

— Да, да! Мой отец погиб в море от огня византийцев. Я хочу им мстить, и хочу научиться плавать по морю, и прошу вас взять меня! Я научусь и пойду в Средиземное море во имя пророка и халифа...

— Да будет прославлено имя его!— восклицали моряки.— Но мы не знаем, пойдет ли еще в путь наш корабль. Команды наши полны, а новых кораблей не строят. Пойдем с нами и выпей с горя вина!

— Пророк запретил пить вино,— говорил молодой человек, отходя от моряков, а они, глядя ему вслед, говорили между собой что из него выйдет добрый моряк, в свое время, конечно.

Тогда Махмуд иль-Каман,— ему в те дни шел девятнадцатый год,— начал сочинять стихи. Поэт жил в блистательном Багдаде во времена халифа ал-Муттаки-Биллахи,— да будет прославлено имя его!— и стихи были о силе Багдада и о силе халифа, законного имама пророка, меча правоверных. Он прочел стихи кади Ахмету, и тот сказал:

— Стихи твои, пожалуй, еще лучше и оригинальней твоих ножей. Но если Багдаду не нужны твои ножи, то зачем ему поэзия?

IV

Поэт, светлый душой и телом, часто повторял про себя волнистые и жгучие, как пламя, слова 74-й суры Ко-

рана: «Эти одежды — твои. И ты держи их чисто! И ты избегай гнусностей. Например, не раздавай милостыни в надежде вновь собрать ее». Поэтому он все чаще и чаще составлял стихи и оглашал их перед потухшим горном, когда, после судебных занятий, кади Ахмет навещал его. Поэт говорил:

— Заботящийся о вере и месте за веру, я хочу быть лучшим поэтом! Не затем, чтоб низко льстить халифу и быть плетевидным, подобно плющу, а во славу пророка.

Кади Ахмед, подвязав торбу с кормом к голове своего гнедого и пожилого мула, садился возле узкой двери мастерской на коврик, который расстилала госпожа Бэкдыль, мать поэта. Кади выпивал из тыквенной бутылки, которую постоянно держал у пояса вместо ножа, некоторый целительный состав и говорил:

— Мне нравятся разговоры о поэзии. Но когда поэзией роют землю, словно конь передней ногой, это тревожит меня.

— А как же иначе?— восклицал поэт.— Багдад видит, что халиф стал чересчур уступчивым. Багдад хочет силы, а не уступок! И кто, как не поэт, должен быть посредником между халифом и Багдадом?

— Хм...— бормотал кади, отхлебывая из тыквенной бутылки, лоснящейся в его руках.— Хм... посредник... Посредник его перелетающая птица, ведущая свои крылья с севера на юг? Посредник тепла и света, быть может, ха-ха? Я несколько иначе думаю о поэзии, дорогой мой. Она напоминает мне женщину, утомленную ночными ласками и перед сном выбалтывающую много прелестных безделиц. Жизнь наша — ворочанье с боку на бок перед вечным сном, и ничто так крепко не помогает уснуть, как безделицы. Признаться, я огорчен, что познакомил тебя с поэзией, Махмуд. Мне кажется, ты понял ее превратно.

— Я понял ее превратно?— восклицал своим грохочущим голосом Махмуд.— Разве она не меч и не огонь ислама? Поэзия должна наполнить гордостью сердце халифа!.. Мне горько думать, что не халиф, а эмиры, его вассалы, гордятся своей силой. Вы слышали, наверное, кади, что некий нечестивец — начальник одного дикого племени — мерзавец Али, выстроивший мощный замок в Алеппо, возгордился и присвоил себе прозвище Сейфф-ад-Даулы, «меч династии»...

— Вот дурак! Ему мало хлопот с самим собою, так он

придумал хлопоты над покроем платья для какой-то новой династии.

Поэт продолжал:

— Увы! Это не династия халифа аль-Муттаки-Биллахи...

— Суд требует,— сказал наставительным тоном кади,— при каждом упоминании достопочтенного имени халифа прибавлять: да будет благословенно имя его!

— ...а его, подлеца Али, собственная династия! И не позор ли для Багдада, что кое-какие арабские племена склонили перед нечестивцем Али свои бороды, а поэты воспевают его в стихах? Теперь именно, как никогда, мы, оставшиеся поэты, должны воспеть нашего халифа!..

— Да будет прославлено имя его!— сказал кади и отпил из бутылки.— Что касается меня, то я полагаю, что при таких сложных обстоятельствах полезнее было б употреблять настой мускатного ореха, полыни, хмеля, который, как видишь, употребляю я. Иначе твое чело раньше времени покроется морщинами, глубокими, как трещина в горной породе, а нрав твой станет подозрительным и выпытывающим. Если бы мне удалось увидеть халифа, я б сообщил ему немедленно рецепт моего состава...

— А я бы прочел ему свои стихи!— прокричал, задыхаясь от страсти, поэт.

V

Кади Ахмет жалел поэта и желал ему добра. Наполнив до краев свое сердце добрыми пожеланиями, кади Ахмет, видя, что поэт чересчур часто ходит к набережным Тигра, в результате чего уйдет когда-нибудь в море, а богачи, потеряв Махмуда из виду, вновь затеют тяжбу, и старуха мать и малолетний брат поэта останутся без крова, кади уговорил законоведа Джелладина пойти к визирю и выхлопотать для Махмуда небольшой заказ на ножи.

И он получил заказ.

Вновь запылал горн, младший брат качал мехи и подкладывал угли. Махмуд шлифовал нож или вытачивал ему из рога подобающую рукоятку.

Кривыми ножами перерезают горло скоту и неверному, если он попадет в руки мусульманина. Горло в таких случаях перерезают с молитвой во славу пророка и халифа,— вот почему поэт для визиря особенно тщатель-

но выделывал ножи, а один нож, тонкий и короткий, сделал таким, что на нем как бы постоянно жила слизь, струящаяся из горла перепуганного и умирающего врага.

Когда принесли к визирю первую партию ножей, он, вспомнив, что ножи эти рекомендовал ему шутник кади Ахмет, пересмотрел сам все ножи и, остановив свой взор на тонком и коротком, как бы покрытом слизью из горла ужаснувшегося врага, остался очень доволен и сказал:

— Действительно, этот Махмуд иль-Каман искусный мастер. Я возьму этот нож себе.— И, разглядывая нож, он увидел на лезвии его семь роз и три изящно выгравированных лепестка на рукоятке.— Необыкновенно искусный мастер.

Визирь призвал кади Ахмета, передал ему свою благодарность и приказ о новом заказе.

Кади сказал в ответ:

— Не удивляйтесь, о визирь, что мастер Махмуд пришлет вам благодарность стихами. Он грамотен, знаком с каллиграфией и в свободное время составляет стихи.

— Стихи?— И визирь сказал:— Халифа утомили поэты. Пишут о любви к женщине, воспевают ее рот и ноги. Как будто у нас нет коней и оружия!

— Поэт Махмуд поет лишь об оружии и мести византийцам.

— Оружие? Превосходно. Византийцы?.. Хм... Истинный правоверный ненавидит византийца, но... мы ведем сейчас с ними некоторые переговоры об эдесской святыне... Ты слышал? Скоро я соберу законоведов и кади. Ты будешь приглашен. Можешь взять с собой и этого поэта. Если будет свободное время, мы послушаем его. И я ему сам посоветую не писать о женщинах. Тьфу. Недавно, обсуждая повод, почему эмир Эдессы вдруг подарил мне тридцать пять своих самых любимых невольниц,— мы осмотрели их. Возможно, я отношусь к эмиру Эдессы несколько предубежденно и мне не нравится его манера вести переговоры с византийцами, но эмират у него большой, он выбирал для себя лучших женщин, и уверяю тебя, кади, я не нашел среди них хотя бы одну, которая была достойна поцелуя в лоб. И тогда Джелладин выразился о женщинах так метко, что даже ты, кади, позавидовал бы.

Визирь расхохотался.

— Ха-ха-ха! Джелладин сказал... ха-ха! Истый воин Закона должен относиться к женщине, как садовод к ивовой корзинке для упаковки фруктов. Не все ли ему равно: старая корзинка или новая? Лишь бы довезти до Базара Суеты свои фрукты. Ха-ха! Я бы добавил — коль есть вообще расчет везти фрукты.

Кади Ахмет возвел глаза к небу. Визирь, читавший в глазах кади одобрение своим словам,— ошибался. Кади Ахмет хотел бы сказать: «О верхушки Закона! О зубцы Мысли! Любили ль вы женщину?» Но даже болтливый кади умел иногда молчать перед сильными.

Кади, верхом на своем гнедом муле, плелся из дворца визиря.

Был вечер, сонный, спелый, когда все вокруг тебя кажется свежим и новым, словно видишь это впервые. И небо, размышляющее над твоими делами, и последний луч заката, и первая звезда, и слабый вздох ребенка, засыпающего в колыбельке, которую мать осторожно уносит с плоской крыши своего дома. И Багдад, и вся жизнь казались кади Ахмету большой, значительной, поддерживающей и заботящейся о нем... И он стал мурлыкать про себя песни. Он хотел бы спеть какую-нибудь любовную песню, сочиненную его молодым другом — оружейником. Искал — и не мог найти. И он опечалился в сердце своем, потому что если ты в такой вечер не найдешь песни друга, то что значит дружба твоя?

VI

Кади напрасно печалился.

Мореход с радостью пристает к материку. Но с не меньшей радостью он видит и острова, направляя к ним свой корабль. Багдад и его слава для поэта — материк. Но если вам встретится на долгом и тяжелом пути поэзии небольшой остров, влекущий вас тенистыми деревьями, травой лужаек и рыхлой, влажной почвой возле родника, разве вы минуете его?

Махмуд глядел в тот вечер, так же как и кади, в средину неба и видел его повелительную и массивную глубину такой же сочной и ласкающей, какой видел ее кади. А может быть, он видел ее еще более целительной, чем кади Ахмет. Ведь кади Ахмет на своем пути мог сейчас разговаривать лишь с гнедым мулом, а поэт говорил с возлюбленной. Он стоял с нею, рука об руку, на маленькой и плоской, как лужа, крыше своего черного

одноэтажного домика. Он стоял и пел новые стихи в честь этой женщины, пел их вполголоса, но звуки эти были для нее столь оглушающи и прославляющи, что она и дрожала и плакала от радости счастья.

А он, кичась нежностью и плавностью своих стихов, позволял им смягчать опаленную пожаром корабля, на котором сгорел его отец, свою воинственную душу.

И душа его сладостно и несколько испуганно ныла, точно очищенная от коры часть древесного ствола.

VII

Госпожа Бэкдыль, мать поэта, хорошо вела хозяйство его. Получив второй заказ на ножи, она попросила задаток. Одну треть она отдала сыну, чтоб он купил сталь для лезвий, а две трети взяла себе, сказав, что задолжала и что надо выплатить долги. Между тем долгов у нее не было, а, наоборот, еще от первого заказа она удержала кое-какие деньги. Ей не терпелось купить трех хороших коз, которые бы давали молоко и тонкую шерсть для прядения. Сыновья, особенно младший, нуждались в еде, а сыр и козье молоко весьма полезны. Кроме того, они сильно пообносились.

Разумеется, госпожа Бэкдыль рассчитывала, что ее сыновья когда-нибудь заработают достаточно много денег и она наведет должный порядок в доме. После потери мужа госпожа Бэкдыль часто прихварывала, пальцы ее дрожали, и, подобно блуждающему огоньку, ее дразнила надежда, что она приобретет трех невольниц, коня, двух ослов и множество овец и коз!.. Невольницы прядут, ткут, делают сыры, убирают полы и двор, подкидывают угля в горн, качают мехи. Когда они плохо работают, госпожа Бэкдыль слегка бьет их, они кричат, и все соседи, слыша крики, говорят между собой, что у госпожи Бэкдыль крутой характер.

Поэтому, прежде чем спуститься на площадь, где продают коней и коз, госпожа Бэкдыль, томимая надеждой на покупку рабынь, обошла ряды, крытые дырявыми циновками, сквозь которые щедро падало жаркое солнце, и где было душно и тесно, и где продавали невольников и невольниц.

Конечно, мать хотела б купить белую невольницу с плотным телом, отлично выкормленную, от которой легко можно было б добиться послушания. Черные невольницы много спят и едят, подвержены чесотке, и от них

плохо пахнет. Белые — зато дороги, особенно сейчас, когда багдаские воины слоняются без дела, а если вздумают воевать, то, наоборот, сами попадают в невольники к византийцам!.. Были у нее, кроме рабочих, и другие соображения. Сын ее возмужал, силен, и в нем уже клокочет желание, создающее много несчастий, если его не победить с помощью жены. Женить, женить!.. Люди болтают, что Махмуд безобразен и потому не сможет увлечь красавицу, которая бы согласилась на бегство или пустить его в гарем, опоив своего мужа.

«Безобразен! Безобразия нет, а есть трусость. Он же не труслив, а значит — красивее многих красавцев. Если же он не увлекает красавиц, то лишь потому, что работает для матери и своих стихов. Значит, я должна найти ему рабыню!»

Она не спешила. К солнцу и пыли она привыкла, базарный шум доставлял ей наслаждение. Она шла мелкими шажками, пыль тонкой мутно-желтой струей катилась между пальцами ее тощих ног, голых до щиколотки. Она размышляла вслух:

— Безобразен? Широкие, растопыренные уши, как парус? Подсмеивайтесь!.. Этими ушами мой сын слышит в мире то, что ваш ленивый слух никогда не услышит! Толстой, короткий, как кулак, нос с огромными ноздрями? Он чувствует далеко запахи счастья! Вашему ли расслабленному носу обладать таким нюхом, дряблые псы! Узкие глаза? А зачем ему видеть все горе в мире, бездельники, не видящие ничего, хотя глаза у вас больше подноса!..

Размышляя так и прицениваясь, госпожа Бэкдыль шла по рядам, где, по одну сторону, в своем естественном безобразии, сидели и возлежали на полу многочисленные черные невольники и невольницы, а по другую — раскрашенные и завитые — на скамейках, которые подчеркивали их иноземное происхождение, сидело несколько белых женщин. Позади, стремясь оттенить их подержанную красоту, висели ковры.

Поодаль, на коврах, возлежали купцы, изредка глотая кофе. Иногда вставал какой-нибудь продавец и подходил к белым невольницам, чтобы похвалить красоту их, а где красоты невозможно было обнаружить, восхвалял их послушание и работоспособность.

Обойдя ряды, госпожа Бэкдыль оцепенело остановилась и сказала с глубоким вздохом:

— Неужели ничего нельзя поймать лучше? Чахнет,

чадит Багдад, факел ислама! Разве это женщины? Разве таких женщин продавали лет десять тому назад? Кобылицы были, и племенные кобылицы притом, а не женщины!

Торговец сказал:

— Мать, ты сама была, быть может, десять лет назад кобылицей, а теперь ты сжатая полоса.

VIII

Шакал не перекричит торговца рабами, гиена не поборет его своими гнусностями. Госпожа Бэкдыль смолчала. Стоящий рядом с нею знакомый мастер морских лодок и припасов рыбной ловли сказал:

— Ваша правда, госпожа Бэкдыль. Мы разоряемся! Всех сильных невольников забирают себе вассалы, а в столицу халифа — да будет прославлено имя его! — поступает дрянь, отчего происходят язвы, вред и ущерб. Поверите ли, вчера я купил у этого негодяя черного раба, с виду мощного и, казалось, даже щеголявшего своим здоровьем. Приказываю ему сегодня тащить лодку к реке, чтобы испробовать ее ход... он падает, у него горлом кровь! Я привожу его обратно, чтоб обменять или получить свои деньги, а торговец не хочет ни того, ни другого!

— Негодяй!

И госпожа Бэкдыль добавила:

— Подумать только, господин мастер лодок! Ведь давно ли, при покойном халифе ал-Матадида, в двухсот восемьдесят первом году хиджры привели сюда три тысячи пленных...— И она продолжала, передавая базарной прозой одно из стихотворений своего сына: — А теперь? Сын одного из этих сопляков... их за бесценок продавали вот здесь, возле этой навозной кучи, которая называет себя торговцем рабами!.. Подлец Али, прозвавший себя «мечом династии», смеется над Багдадом! Пощечина аллаху!.. И он еще осмелился при своем вонючем дворе завести каких-то поэтов. Поэты?! Паралитик ал-Мутанаби, пьяница Абу-Фарас, гнусавый Ан-Нами. Всех их пора выставить вот сюда, в эти ряды!..

И она продолжала, указывая дрожащей рукой на белых невольниц:

— Смотрите, до чего дошло. Какую-то грязную черную девку выдают за белую, а просят за нее столько же, сколько за коня или верблюда! Купите-ка, попробуйте. Она не только не сможет услаждать ваш вкус и

слух, она так малосильна, что, поставь на нее клеймо вашего дома, она сдохнет от волнения!

И мать Бэкдыль радовалась, говоря это, потому что ее неудовольствие происходящим вполне соответствовало ее денежным средствам. За невольниц просили так много!

Едва она закончила свою речь, как одна из белых невольниц, высокая, худая, с повисшими грудями и впалыми голубыми глазами, вдруг склонилась набок и упала со скамьи прямо на каменный пол головою. Лицо ее, и без того равнодушное, стало не живее камня и словно бы покрылось плесенью смерти.

Торговец закричал, махая кулаками в сторону матери Бэкдыль:

— Она сглазила ее, этот дух преисподней, эта чахлая рвань!

Между тем надсмотрщик базара, он же и врач, наблюдающий за чистотой и здоровьем, кинулся к владельцу невольниц:

— Ты обманул меня, подлец! Я поверил тебе, что она здорова. А ты просто показывал мне ее в тени, а стоило выйти солнцу, как она упала! Ты заражаешь базар и других невольников.

И он повел его к кади Ахмету.

Торговец, склоняясь перед кади Ахметом, бормотал:

— Господин кади! Она была вся прелесть и блеск. Я ее кормил сладкими лепешками, мясом и давал ей даже вино, да простит мне это аллах. Она была как померанцевый цвет, но эта старуха сглазила ее, и я требую от старухи вознаграждения!

Кади Ахмет узнал мать поэта. Ему захотелось сделать добро и невольнице, и матери поэта, а кроме того, торговец был отвратителен. Пока торговец и старуха бранились, кади рассматривал невольницу. Она лежала на полу, сырая от болезненного пота и как бы вся закутанная страданиями. И все же кади Ахмет увидал в ее лице что-то свежее и ясное, а в движениях ее тела — гибкость.

Кади Ахмет сказал, обращаясь к матери поэта:

— Женщина! Ты могла сглазить, сама не зная того. И ты должна понести наказание.

И он сказал, обращаясь к торговцу рабами:

— Мужчина! Ты своими беспутными словами вызвал действие дурного глаза. И ты должен понести наказание.

Подумав, кади Ахмет добавил:

— Женщина! Ты возьмешь невольницу и заплатишь за нее цену двух коз. Мужчина! Ты подчинишься этой цене. Молчите, иначе вы оба будете ввергнуты в тюрьму.

Он глотнул из тыквенной бутылки и сказал:

— Уходите. Суд окончен.

IX

Махмуд посмотрел на невольницу, худощавую, чужую, со светлыми спутанными волосами, которые катились по ее костлявой спине, словно дрова, сплавляемые по горной реке россыпью. И он посмотрел на худую козу, которую купила мать, потому что, испуганная Законом, она отдала слишком много денег торговцу рабами и козу пришлось купить самую плохую.

Махмуд сказал:

— Зачем они? Что с тобой случилось, мать?

Она проговорила, уважая Закон и слова кади Ахмета:

— Девушка будет чистой, теплой, тяжелой, как морской прилив. Я откормлю ее. И коза тоже будет откормлена!

Как ни уважал он свою мать, но он не мог удержаться от хохота.

И, вспоминая хвастовство матери о морском приливе, он хохотал всегда, когда видел козу и невольницу вместе.

X

Минуло три месяца, и он перестал хохотать, глядя на нее. Слова матери сбылись. Невольница стала чистой, и ее походка расстраивала его чувства и мешала ему составлять песни. Он издалека чувствовал ее теплоту и ее глаза, уже не впалые,— они сияли голубым огнем, и взгляд их, нежный и приятный, останавливающийся на нем, заставлял его насвистывать и потягиваться.

А девушка с улыбкой вспоминала свой испуг, когда впервые вошла в этот черный дом, обитатели которого показались ей неграми. Но вскоре она увидала, что их зачернила работа и что если их мыть долго, то, быть может, отмоешь и добела! И она с радостью взялась за стирку. Затем оказалось, что это добрые, ласковые люди, любящие цветы, и она с радостью поливала семь ку-

стов жалких роз, и розы цвели так, как они не цвели никогда.

Так произошло начало любви.

Любовь взрастала медленно и осторожно. Даже кади Ахмет не замечал ее. Правда, он долго не появлялся к ним, возможно сомневаясь в своей прозорливости, но однажды, чересчур много хлебнув из тыквенной бутылки и боясь в таком виде явиться домой, приехал к ним и, садясь на коврик, спросил:

— Женщина! Довольна ли ты своей покупкой?

Мать Бэкдыль ответила:

— Я довольна. Даже коза и та поправилась.

И она поклонилась ему.

Кади Ахмет сказал:

— Из всех судебных процессов, проведенных мною, этот, пожалуй, был самым удачным. Дело в том, что я редко лживо толкую Закон, а тут я толковал его совершенно превратно. Не сделать ли мне из этого подобающие выводы для следующих процессов?

И он долго сидел у них, наслаждаясь своей бутылкой и своим остроумием, и в первый раз поэт слушал его с неудовольствием: не потому, что кади говорил плохо, а потому, что поэт спешил к ней.

В любви к ней поэт проявил ожидание. Он не набросился на нее, как должно хозяину рабыни. Он дал взрасти и ее и своему чувству, и когда эти чувства слились, они охватили их, словно огромный вал прилива, и он сказал матери:

— Мать, ты была права. Она — чистая, теплая и чувство к ней у меня огромно, как прилив.

Мать радовалась его словам, хитро улыбаясь. Она знала, что когда она купит ему еще двух невольниц, его чувство ко всем трем будет огромно, как океан, а она будет хлестать рабынь по щекам, упрекая их за нерадивость, и они будут кричать, и соседи будут говорить, что у госпожи Бэкдыль крутой характер.

XI

Однако бывали часы, когда он грустил. Любовь, как поется в песнях,— цветок. И он нашел этот цветок! Но все же, сколь ни мил цветок,— это флора небольшой местности. Его цветок, его букет — меч, обнаженный в защиту халифа! И халиф, направляющий этот меч! И Багдад, воплями и песнями воспевающий этот меч!

И над жидкой кровью неверных цветут его стихи, стихи Махмуда иль-Каман!..

Девушка думая, что он огорчается любовью к рабыне, сказала ему:

— Я не простого рода. Я скажу тебе то, чего не говорила и в чем не признавалась другим арабам. А даже отрицала это и хворала непрерывно от этой лжи. Я не хотела, чтоб византийцы хвастались, что они продали дочь князя! Мой отец — начальник одной из дружин князя Игоря и сам княжеского рода. И братья мои, Сплавид и Гонка,— князья.

— Кто такой князь Игорь?— спросил поэт.— Багдад никогда не бился с ним и не получал от него дани.

— Князь Игорь никому не платит дани. Он со всех берет дань! Он — владелец обширной земли Русь, где лето с теплыми и короткими дождями, а зимой земля покрывается колеблющимся и зыблющимся снегом.

— Мой отец в детстве видел снег. Он выпал однажды в Багдаде. Снег держался три дня. Много людей тогда умерло от холода и испуга.

— Мы не боимся ни холода, ни испуга. Мы — Русь. Помнишь базар? Я собиралась умереть от негодования, что какая-то черная негритянка торгует меня, но добрый судья помог мне увидеть видение счастья. Я верю, что принесу тебе счастье, а свое я уже получила от тебя.

Махмуд спросил:

— Где же ваша страна, скажи?— И он поспешно добавил:— Удивительно, как плавко сердце, охваченное любовью. Твоя страна уже близка мне, и я томлюсь по ней. Я хочу знать о ней все, что ты только помнишь!

— Моя страна лежит далеко, по ту сторону шипящей, как змий, на весь мир Византии. Моя страна растирает в пыль и в песок своих врагов, и с времен князя Олега Византия платит нам дань! Три года назад Византия отказалась платить нам дань. Тогда наш князь Игорь собрал войско и с обширной реки Днепр пошел к Византии...

— А, поход варваров!— сказал поэт.— Я слышал о нем. Византийцы ведь прогнали вас?

Даждья, дочь Буйсвета, сестра Сплавида и Гонки, сказала, чувствуя, что по правам своим она уже обязана предостерегать поэта:

— Ты опрометчив, Махмуд. Верить утверждениям византийцев! Их правда всегда в тумане, несмотря на то, что над Константинополем всегда ясное небо. Варва-

ры? В нашей стране — большие чудные города, наши ладьи управляют всем Черным морем, и наш меч, ослепляющий врагов, грозен всем и каждому! Варвары?! Ха-ха!.. Завистливая, струящаяся ложью Византия, стараясь унизить нас, называет нас варварами, и ты повторяешь это унизительное слово, Махмуд?

Защищаясь от ее справедливых упреков, поэт спросил:

— Как же случилось, что страна ваша велика, богата воинами и оружием, а ты, дочь князя, попала в плен?

— Как?! Из-за слабости Багдада.

— О-о! — воскликнул он с горечью.

XII

Дав улечься буре, поднявшейся в нем от ее обжигающих слов, Даждья, дочь Буйсвета, сестра Сплавида и Гонки, продолжала:

— В девятьсот сорок первом году, по общепринятому византийскому летосчислению, князь Игорь, повторяю, собрав войско на множество судов, двинулся на Константинополь. Три года назад... Горе, горе, о Перун, бог Киева и славян!.. Я преклоняюсь перед твоими стихами, Махмуд, но никакой сборник твоих стихов не сможет описать страданий, перенесенных мною. Когда я придумываю месть византийцам, любые их мучения кажутся мне только подбиранием колосьев, а не полной жатвой. Мсти им, Махмуд, мсти им! Они убили твоего отца, и вот я плачу о нем теми же влачащимися долгими слезами, какими плачу о моем брате Сплавиде!

Она вытерла свои слезы, и рукав ее платья от пальцев до локтей был мокр от слез.

— В числе других женщин, желающих увидеть славу Руси, я сопровождала войско. Еще при Олеге мой отец, витязь Буйсвет, погиб накануне того дня, когда наш князь прибил свой длинный коленчатый щит к Золотым Воротам столицы византийцев. Олег огромным молотом вбивал гвозди с такой силой, что гром стоял над Константинополем и жители прятались в погребах и ямах, опасаясь землетрясения!..

— О, красота, о, прозрачность аллаха! Твой рассказ, милая, идет стройной линией, как войско. Говори, говори!..

— Повторяю, под Константинополем коварный византиец убил моего отца, спрятавшись за дуб, когда

отец подвел своего коня, чтоб напоить его из родника. Я была в дни похода Олега еще ребенком, но я помню вопли матери. И теперь, когда Игорь направился в поход, я сама хотела видеть, как он прибьет к Золотым Воротам свой щит. И я поднесла ему небольшое золотое украшение для этого щита. Так сделали многие наши девушки, отчего щит заблестел как солнце и был тяжел, как телега, груженная зерном. Но князь наш силен, и он носит щит с легкостью...

— Он красив, ваш князь Игорь?— спросил, побледнев от ревности, поэт.

— Нет, нет!— поспешно сказала Даждья, дочь Буйсвета, сестра Сплавида и Гонки.— Он сутул. Вернее сказать, горбат! И он косит одним глазом. Он совсем некрасив, и редкая девушка влюбится в него...

— Редкая! Значит, все же влюблялись?

— Я говорю в том смысле, что не знаю такой девушки! Уважение к князю и любовь — это совершенно разные вещи, Махмуд.

Она солгала? Едва ли. В свое время, как и многие девушки Киева, она притаенно вздыхала по князю Игорю. А теперь и на самом деле он казался ей уродливым, и она искренне клеветела на него, называя его и горбатым и косым. Не будем осуждать любовь, она прекрасна, даже и при такой, правда наивной, клевете.

Слова ее звучали искренне. Поэт сказал:

— Братья тебя обожали, наверное? И ты у них единственная сестра? Но как же случилось, что они взяли тебя с собой в битву? Согласись, брать девушку в поход, да еще против таких гнусных врагов, как византийцы, по меньшей мере неразумно.

— Я убедила их, сказав, что наше хозяйство расстроилось и мне самой надо последить за их добычей. Они легкомысленны! Они склонны к игре в кости, к вину. Кроме того, им не везет в игре! Так, недавно вернувшись из похода на печенегов, братья привели шестьсот пленников, и ни одному из пленных не было больше двадцати лет...

— О, богатая добыча!— воскликнул поэт.— У нас такой витязь уже презирал бы халифа, называя себя — тьфу!—«мечом династии». Хочу повидать твоих братьев!

— И вы подружитесь!— сказала она, сжимая его руки.— Но только Сплавид уже погиб, а выздоровел ли другой — не знаю...

Она помолчала.

И он спросил:

— Подозреваю, они проиграли шестьсот пленных печенегов?

Грустно улыбнувшись, она сказала:

— Да, проиграли, в пять дней. И вот, когда я им напомнила об этом проигрыше, добавив, что они проиграют и богатую византийскую добычу,— они взяли меня с собой.

Был вечер. Над высокими стенами, окружавшими дома Багдада, шелково шелестели деревья, уходя в сиреневую тьму вскачь приближающейся ночи. Весна кончалась, и этим вечером, быть может, прошел последний ее, тихо мерцающий, дождь. Во всяком случае, между вершинами деревьев и водой, шумящей у их корней, прижавшись друг к другу, расселись соловьи и пели, всячески расцвечивая свои песни.

Вслед за деревьями в сиреневую мглу скрылись и широкие разноцветные купола мечетей, и только тонкие минареты, как мечи пророка, пронзали небо. И небо, пронзенное мечами веры, истекало нежным светом, постепенно заменяясь другим, тревожным и мрачным. Это было световое кольцо вокруг луны, которое показалось раньше самого светила, и показалось оно над медресе эль-Мустинсериэ.

По переулку проехал всадник. Быть может, это был кади Ахмет? Мул всадника хлябал подковой, и он, в такт этому хлябанью, бормотал какую-то песню.

— А возможно, твои братья и правы, проигрывая все в кости? Зачем нам добыча, пленные и золото? Воин и поэт не должны ли быть расточительными?

И он расточительно назвал ее луной, и небом, и красной медью трубящего радость сердца, и мечтой счастья!

И, захватив ее мизинец указательным пальцем своей руки, ходил с нею по крыше домика, такой же тесной, как и дворик внизу, где лежали под навесом куски металла, из которого он ковал свои кривые ножи, украшенные лепестками, и лежал сухой помет для топлива, спрессованный в кирпичи, и лежали древесные угли для горна. Там же, возле козы, укладывалась на ночлег мать поэта, госпожа Бэкдыль, потому что дом она предоставила любовникам. Мать радостно вздыхала, слыша глухой говор счастья, доносящийся с крыши. Ах, если б еще двух рабынь, и как бы все было великолепно, и как бы соседи завидовали тогда иль-Каманам!..

XIII

Они не спали всю ночь, и на рассвете, ослепленный счастьем, поэт поднял голову с ложа и спросил:

— Однако, моя любовь, ты не объяснила мне, как же Багдад мог помешать князю Игорю в его мести византийцам?

— В год нашего похода,— сказал Даждья, дочь Буйсвета, сестра Сплавида и Гонки,— в Багдаде и во всем халифате была смута. После смерти халифа и поэта Ар-Гади...

— Он был плохой поэт!

— Может быть, поэтому вы не могли так долго выбрать нового халифа и резали друг другу горло?

— Я, как и ты, ненавижу смуты!

— Прекрасно. Тогда ты скоро поймешь меня. Тебе известно, что на восток от Византии, направленный против Багдада, стоял тогда с большим войском умный и опытный доместик схол Иоанн Каркуас?

— Да.

— И тебе известно также, что, когда Багдад ослабел, Иоанна и его войско византийский император увел к западу? На нас.

— Нет. Этого я не знал. Я слышал только, что Иоанн ушел.

— Иоанну добавили войска, которые готовились вторгнуться в Южную Францию. А мы уже в это время дрались с византийцами в Вифинии. О, мы их били! Я имею основания думать, что мы били их прекрасно! Они пускали от нас коней и свои тонкие ноги во всю прыть. Мы подошли к Никодимии, а по берегу Черного моря — к Гераклее и Пафлогонии. Византийцы перепугались. Они собрали все имеющиеся у них таинственные машины, извергающие воспламенительный «греческий огонь». Привели свой флот, которому в иные времена стоять бы против багдадского флота...

— О, горе!— простонал поэт.— Горе Багдаду!

— Византийцы сожгли наши ладьи. Наше войско отступало. Старшего брата Сплавида изрубили мечами. Младшего, раненного, уносило трое дружинников — все, что осталось от славной дружины князя Буйсвета! Защищая братьев, я взяла лук. Меня ранили в плечо. Вот сюда, смотри! Трое дружинников всего... кого же нести? Меня? Брата? Я сказала: «Разложите костер. Зажгите. Я встану на вершину огня. А скажите в Киеве, чтобы

Русь пришла сюда за моим пеплом. И чтоб посыпала этим пеплом главу византийского императора и растоптала его корону на моей могиле!»

— Хорошие, всегда вспыхивающие слова!

— Костер пылал. Я сидела на вершине его. Дружинники унесли брата, так как византийцы были близко. Но у византийцев большой бог, он вставляет иногда днище в такую бочку, которая, казалось бы, совсем развалилась. Вдруг хлынул ливень, потушил костер, и меня сняли с костра обгоревшей, но живой. Я не хотела выздоравливать. Я звала и видела дух моего отца Буйсвета и дух моего брата Сплавида!.. Тем временем Иоанн Каркуас, отправленный вновь на восточную границу, увез меня с собой. Больную, они пытали меня, чтоб узнать мое звание. Я молчала! Тогда они плюнули мне в лицо и в числе других рабов обменяли за какого-то проткнутого багдадским ножом византийского старикашку-вельможу... Я сгорала, духи отца и брата стояли рядом со мной... Ты, Махмуд, подарил мне сердце и создал мне душу. Я жива! И я сильнее, чем когда-либо, жажду мести византийцам.

Ее слова радовали его. Он сказал:

— Мы будем мстить!

XIV

Мстить! Но как?

Несколько дней подряд, не отходя от горна и станка, поэт делал ножи. Подруга его дергала веревку, которая раскачивает мехи, подающие воздух в горн. За работой поэт неустанно думал: «Если визирь заказал мне так много битвенных ножей, то, значит, ожидается сражение с неверными. Багдаду, а значит, и всему халифату известно, что византийцы подошли к стенам Эдессы и, упоенные славой, требуют выдачи эдесской святыни. Властный эфир Эдессы притих и приехал советоваться с халифом. Не пора ль пропеть песню перед халифом?»

Поэт стучал молотом по металлу, и ему грезилось, что он стоит перед халифом и слова его стучат по сердцу повелителя, извергая искры.

Даждья спросила:

— Что такое убрус, о котором мать принесла весть с базара?

Махмуд сказал отрывисто:

— Эдесская святыня.

— Чьей веры святыня? Мусульманской? Христианской?

— Той и другой.

— Как же — и той и другой? Вы называете себя правоверными и, однако, признаете христианскую святыню?

— Пророк Исса, или, как его называют византийцы и несториане, Иисус, освящен в Коране.

— Еще одна слабость Багдада!

— Где ты нашла слабость?

— Говорят, святыня — это полотенце, которым однажды утерся пророк Исса. На полотенце нерукотворно отпечатался лик пророка Иссы. Как же так? Ведь пророк Магомет запретил поклоняться идолам и всяческим изображениям?.. О, вы рабы собственной слабости! Вы поклоняетесь какой-то тряпке, потому что ее нарисовал византийский художник. У греков были великие художники, а у вас, арабов, никогда не было художников, и не потому ли пророк Магомет запретил рисовать портреты?

Махмуда раздражала ее болтовня, тем более что в ней заключалась правда. Но что она твердит — слабость, слабость! Нельзя же, в самом деле, ковать ножи и собираться на битву, сознавая в то же самое время себя слабым?

И он сказал:

— Молчи. Ты мешаешь работать.

— Наоборот. Я помогаю тебе работать, так как развиваю твои мысли. Нужно быть последовательным. Если ты мусульманин, зачем тебе христианская святыня?

— В халифате много христиан, и Коран...

— Коран приказывает тебе уничтожить неверных!

— Молчи! Что ты понимаешь в Коране? Ты языческой веры...

— Я языческой веры? — воскликнула она. — Моя вера одна: если любишь, люби со всем, что есть в этом человеке. А ты кричишь: молчи! Убей меня тогда. Коран приказывает тебе уничтожать неверных, а ты мне не веришь!

На лице ее выразился гнев и презрение. Отталкивает ее, дочь Буйсвета, сестру Сплавида и Гонки? И губы ее сжались так, словно она собиралась плюнуть ему в лицо.

Как, плевать в лицо арабу? Поэту? Нечестивая! Он

отбросил молот, потому что был зол и чувствовал опасность.

Она, распахивая одежды и указывая на свою белую грудь, воскликнула:

— Бей ножом! Вот ножны для твоего ножа, неверный и неверующий.

Он отступил от нее и сказал:

— Ты глупа.

— Значит, ты меня не любишь?

Он молча ушел.

XV

— Что такое поэт?— спросил сам себя кади Ахмет, увидав входящего к нему Махмуда.— Это основа радости. Человек и его жизнь зачастую — игра судьбы. Поэт берет из этой игры наиболее веселые моменты и словами, тающими во рту, рассказывает о них другим, с тем чтобы люди были выносливы и снисходительны. Итак, мы ждем твоей песни, поэт!

— Я сам жду от вас, добрый кади, и от вас, о перст Закона Джелладин, помощи и указаний.

— Прекрасно! Будем утешаться вместе.

И кади Ахмет подбросил ему подушку, чтоб поэт мог облокотиться, и указал место на ковре, рядом с собою. Вследствие своей снисходительности к людям кади был беден. Однако он никогда не жаловался на свою бедность, а даже восхищался ею, говоря, что у бедного всегда отлично работает желудок и он оттого может без помехи наслаждаться благами жизни, вроде воздуха, солнца или цветущих деревьев. Багровый, полнокровный, рыжебородый, он возлежал на рваных, жестких подушках с таким счастливым лицом, словно подушки мягче пуховиков, а лохмотья их глаже шелка. Он курил дрянной табак и пил с удовольствием плохой, дешевый кофе, который варил себе сам не потому, что его не уважала или не любила жена, а потому, что не хотел затруднять ее. С женой, что редко бывает среди праведников, он жил дружно.

Против кади сидел законник Джелладин, согнутый, изможденный и порядком озлобленный. Его уму принадлежало изречение: «Есть Закон, есть и ты». Встретив вас, он не желал вам ни доброго утра, ни доброго вечера,— он желал вам законно провести свое время. И он пичкал людей текстами законов, как неразумная корми-

лица ребенка грудью, обижаясь и негодуя, что обкормленный ребенок кричит. Джелладин глядел на людей так, точно готовился бить их сейчас кнутом или подвергнуть пытке. И только когда человек не подавал признаков жизни, Джелладин смотрел на него милостиво, передав его другому судье, который, он допускал, знает Закон так же, как Джелладин.

Из всех людей, пожалуй, только один кади Ахмет находил удовольствие от встреч с Джелладином. «Наш ум как нож — остер, когда имеется хороший брусок,— говаривал кади.— Кроме того, у него, бедняги, имеется лишь одно наслаждение — Закон, а его, как я знаю по опыту судьи, очень тяжело переварить. И я надеюсь в конце концов познакомить его хоть с парочкой из тех многочисленных и разнообразных наслаждений, которые известны мне».

Чего хотел сам Джелладин от кади Ахмета? Быть может, свидетельствования на суде беззаконий кади Ахмета, когда проницательный халиф — закон законов — разглядит все проступки кади Ахмета и сменит его и отдаст самого под суд, и на этом суде будет главным судьей Джелладин? Кто знает! Как бы то ни было, Джелладин, ходячий сборник форм и образцов, ежедневно посещал кади Ахмета, ходячий сборник сомнений в необходимости незыблемых форм и образцов.

— Какой же помощи ты ждешь от меня, Махмуд?— спросил Джелладин.

Махмуд сказал:

— Я хотел бы прочесть свои стихи перед лицом халифа, да будет благословенно имя его!

— Так. Да будет благословенно!

Джелладин проговорил:

— Махмуд! Не считаешь ли ты нужным прочесть вначале свои стихи перед моим лицом? Твои стихи, я знаю, излагают закон правоверных. Кто же лучше меня толкует Закон?

Махмуд, огорченный своей первой ссорой с подругой, думал, что не сможет с должным чувством прочесть свои стихи, призывающие к битве против Византии. Оказалось, что ссора не помешала пылу чтения, а придала ему большую силу.

Джелладин, обдумывая стихи, смотрел в пол. Кади Ахмет улыбался, щекоча рыжей бородой свой нос. Он сказал:

— Мило. Очень мило. Мне представилось, что это

стихи не об усмирении Византии, а о важности усмирения возлюбленной. И не лучше ли отбросить Византию и оставить возлюбленную, которой у тебя, Махмуд, еще нет, но которая придет, если ты будешь по-прежнему с таким совершенством сочинять. Что же касается халифа, то ему теперь не до стихов. Эдесса! Святыня!.. У халифа, насколько мне сейчас известно, слабый и частый пульс, и, кроме того, халиф жалуется — да будет благословенно имя его!— что его мучают мурашки на спине и зуд в пятках. По-моему, он чересчур много кушает дынь, а дыни к весне, уже теряя свою целебность, вызывают лихорадку.

— Беззаконно так низко говорить о халифе!— торжественно провозгласил Джелладин своим воспитывающим голосом, один звук которого напоминал формат какой-то толстой книги законов. Даже в обсуждении болезни халифа должна появляться сдержанность.

Он стал.

— Махмуд, при случае я сообщу твои стихи визирю. Я их запомнил, у меня отличная память. Тебе нужно, правда, внести кое-какие вставки, необходимые с точки зрения Закона. Зайди ко мне завтра, я тебе их сообщу. Возможно, стихи твои визирь передаст халифу. Другого пути нет. Стихи, как и тексты Закона, идут по соответствующим ступенькам.

Махмуд сказал:

— Я хотел спросить еще: что такое эдесская святыня и как могло случиться, что мусульмане и христиане чтут ее равно?

Джелладин, остановившись в дверях, сказал:

— Предание, которое скоро халиф введет в форму Закона. На эту тему я рассчитываю сказать длинную речь в совете, созываемом визирем.

— Вернее сказать, предрассудок,— проговорил кади Ахмет.— Один из обаятельных предрассудков, которые так любит человечество. Чудо. Будучи мусульманином и кади, я допускаю чудеса. С ними легче жить. И потому чудес на земле много. Не удивляйся, Махмуд, нерукотворному убрусу, или мандилии, как называют эту картину византийцы. Я слышал, например, что в Индии на скале имеется отпечаток ступни некоего пророка Будды. Отпечаток этот цел и поныне.

Он вздохнул и продолжал, ласково глядя на Джелладина, который высказывал нетерпение:

— Чудес много, и всего чудеснее моя жена в полно-

луние, хотя я и устаю на другой день. Именно сегодня мне предстоит встреча с ней. Она, когда появляется полная луна, начинает испытывать ко мне благосклонность. Надо думать, родительница зачала ее при полной луне, и жена моя, вам это известно, наверное, тщетно добивается от меня продолжения нашего рода...

Джелладин прервал его, торопясь к своим свиткам:

— Аллах вас наказывает, кади, за беззаконие, не давая вам продолжения рода!

Он скрылся, а кади продолжал:

— Скорее всего, аллах заботится о моем спокойствии. По слабости своей я отдал бы своего сына на воспитание к Джелладину, а этот ученый в преподавании слишком любит ускоренные переходы, подобные военным переходам. Дорога Закона — суха, камениста, раскалена. Не будем торопиться.

XVI

Кади Ахмет сказал:

— Возьми ступку, Махмуд, и потолки кофе, он уже прожарен. У тебя сильные руки, а мне нужно беречься к сегодняшней встрече с женой.

Глядя, как Махмуд ловко толчет кофе в каменной ступке, кади говорил:

— Вернемся к твоей просьбе, мой милый поэт. Завтра, повторяю, я буду усталым,— годы, поэт, годы!— и мне вряд ли захочется говорить об эдесской святыне перед приехавшим эмиром и нашим почтенным визирем. Халиф, да будет тебе известно, не принял эдесского эмира. Почему? Халиф знает, что он делает, и пока он не сказал нам своих дум, нам незачем о них догадываться. Завтра поэтому визирь и собирает нас, чтобы в присутствии эмира Эдессы обсудить в сильнейшей степени затруднительное положение с эдесским чудом, именуемым убрус или, чаще всего, мандилия. Чудеса приятны, но с ними столько хлопот и усталости! Аллах, я заболтался, и ты столько успел натолочь кофе, что мне его хватит на месяц, а он выдыхается. Сыпь сюда!

Он подставил ему кожаный мешочек для кофе и, глядя, как запашистый коричневый порошок тонкой струей льется в мешок, говорил:

— Итак, я буду усталым, как луна на ущербе. От усталости скажешь глупость. Бездельники вдобавок извратят смысл слова. И пищеварение твое испорчено на

неделю. А в пятьдесят лет весьма необходимо заботиться о желудке, Махмуд! Поэтому я с удовольствием передам тебе мои соображения, Махмуд. Ты соединишь их со своими,— получится убедительно, красиво. Два мешка всегда лучше, чем один.

— И я могу читать стихи?

— Стихи? Избави тебя аллах от стихов! Кто же читает стихи на государственном совещании, да еще по такому сложному делу, как эдесская святыня? Тебе нужно, чтоб на тебя обратили внимание. Визирь уже знает о твоих ножах. Теперь он узнает о твоем уменье говорить, которым ты обладаешь, как я заметил давно. Ну а затем придут стихи. Джелладин прав — надо помнить о ступеньках!

Он отложил мешочек с кофе в сторону, достал кофейник и попросил Махмуда раздуть угли в жаровне:

— Я все забочусь, видишь ли, о том, чтоб у меня было поменьше усталости. Но впрочем, что такое жизнь, если в ней не будет усталости? Получится сплошная беготня! Я верю в чудеса и думаю, что, возможно, ты, Махмуд, получишь когда-нибудь командование кораблем, хотя ты совершенно не знаком с морским делом. Но, аллах, мало ли мы знали адмиралов, которые, получив командование флотом, именно в тот момент впервые вступали на корабль. И всего удивительней — они побеждали! А ты, Махмуд, хоть знаешь поэзию, что для командира корабля имеет немаловажное значение. Таким образом, я считаю, что есть вероятность рассчитывать тебе и на штурм Константинополя. Кстати, скажи, Махмуд, что ты будешь делать в Константинополе, когда войдешь туда?

— Я сожгу его!

Кади вздохнул:

— Вот так поступают все влюбленные. Сначала они добиваются любви, а затем, добившись, сжигают ее. Один только я постоянен, хотя, признаюсь, очень устаю в дни полнолуния. Что поделаешь! Старуха моя толста и тепла, и мне было б жаль сжигать ее. Это обстоятельство я тоже отношу к области чудес.

Кофе сварился. Кади Ахмет налил две чашечки. Они неторопливо выпили, рассуждая об эдесской святыне, а затем кади зевнул и сказал:

— Мне нужно поспать перед вечером. Прошу тебя не обижаться и хорошо запомнить мои слова об эдесской святыне, которые я тебе советую сказать завтра. Что

главное? В таких запутанных делах, как багдадские, лучше терпимости нет ничего. Джелладин, если рассуждать по совести, недопустимо омерзителен. Мое мнение — святыню надо удержать в Эдессе, она связывает и христиан и арабов вместе, иначе они поссорятся. А христиан у нас много.— И, потягиваясь, он добавил:— И это самые кляузные люди из всех, кого я видел на суде.

Он дотронулся до его щеки своей медной бородой и быстрой, резвой своей походкой подошел к ковру, поправил подушки, лег и немедленно уснул.

XVII

Когда Махмуд вернулся домой, Даждья подметала пахучим веником из полыни комнату, где он имел обыкновение отдыхать. Рваные ковры были выбиты и починены. По углам комнаты стояли в больших горшках розы. Она отбросила веник и обняла его. Руки ее пахли розами и полынью. Он сказал:

— Забудь ссору. Я был глуп.

— Я давно простила тебя. Мне казалось без тебя, что ты ушел совсем. Где ты был?

Он сказал ей о совете у визиря и о том, что кади Ахмет предложил ему говорить.

— А свои мысли ты сказал ему?

— Он меня о них не спрашивал.

— Лень! Но, насколько важно для тебя, что ты скажешь визирю, настолько же важно, чтоб визирь захотел выслушать тебя.

— Он захочет!

— Захочет, если ты и в безмолвии своем покажешь ему себя умным.

— Как же я безмолвно могу показать себя умным?

— Это называется придворным поведением. У нашего князя Игоря тоже есть свой визирь. Он часто посещал наш дом, и я беседовала с ним; наш визирь умен. Ваш, мне думается, похож на него. Слушай... Нет, вначале поговорим об эдесской святыне. Отдавать ее, по-твоему, или нет?

— Никогда!

— Твое мнение и мнение кади Ахмета сходятся?

— Да.

— Понятно, что ты не мог сказать ему своего мнения, потому что своего у тебя и не было.

— Я имею свое мнение!

— Какое же?

— Отдать святыню — невозможно!

— Ты только что говорил, что это мнение кади Ахмета, и, наверное, Джелладина, и вообще всех ученых дураков. Ты не в счет, потому что ты мало учен. А я училась в Киеве кое-чему, и, быть может, большему, чем твои ученые дураки, и их хорошо понимаю. Итак — не отдавать? Допустим — не отдавать.

Она помолчала, пристально глядя в глаза Махмуду, а затем сказала:

— Тебе известно, что на багдадской границе по-прежнему стоит доместик схол Иоанн со своими войсками?

— Да.

— И тебе, быть может, известно, что князь Игорь за три прошедших года после последнего похода на Византию сильно вооружился? И что он опять пойдет на Византию?

— Допустим.

— Допустим. Также можно допустить, что доместика схол Иоанна уведут с багдадской границы против князя Игоря, если византийцы почувствуют, что Багдад слаб?

— Да, да!..

— И теперь-то, несомненно, князь Игорь разобьет доместика схол Иоанна! И мы с тобой будем пить вино из черепа Иоанна! И я буду петь песню... Слушай.

Она вполголоса стала напевать. Слова песни были непонятны, но мотив ее говорил о торжестве возвращения домой. Она пела и одной рукой била в воздух, словно в руке ее был тяжелый молоток, в другой — щит, а перед нею высились очертания Золотых Ворот!

Не допев песни, она сказала:

— Но если доместик схол Иоанн не покинет вашей границы, нам трудно будет с тобой нанести византийцам поражение. Нам, багдадцам!

Он поцеловал ее в губы. Отшатнувшись, она сказала шутливо:

— Я же язычница! Кого ты целуешь? — И добавила: — Не кажется ли тебе, что, требуя эдесскую святыню, византийцы испытывают наши силы и поход Игоря уже начался? Значит, вам сейчас выгодно показать византийцам вашу слабость. Халиф у вас — человек превосходного ума. Выскажи ему то, что он думает, и он выслушает твои стихи.

— Что же он думает?

— Халиф думает, что сейчас полезно показать византийцам свою мнимую слабость. Халиф думает, что Багдад должен отдать византийцам эдесскую святыню, что полезно озлобить Багдад этим грабежом. Отдача святыни не рассорит, а соединит багдадских мусульман и христиан. Они понимают, что после этой святыни византийцы могут потребовать и жен их, и детей... Что ты на это скажешь, Махмуд?

Махмуд молчал. Он согласился с ее доводами. Он пробормотал, уступая:

— Но честь Багдада...

— Тебе дороже честь Багдада, чуть-чуть поколебленная, или победа над византийцами и череп доместика схол Иоанна, отделанный в виде чаши?

Помолчав, он воскликнул:

— Откуда в тебе столько ума и лукавства?

— Я — женщина,— смеясь ответила она. И добавила:— А теперь позволь я расскажу тебе, как поступить, чтоб визирь обратился к тебе с предложением речи.

XVIII

В полдень кади Ахмет верхом на своем муле приближался к дворцу визиря. Мул, несмотря на свой пожилой возраст, подобно хозяину, был любопытен: он часто останавливался и осматривался. Кади не торопил мула. Люди заблуждаются, когда говорят, что куда-то опаздывают. Никогда и никуда нельзя опоздать. Горести везде найдут вас, а счастье — совершенная случайность.

Махмуд шел рядом, ведя за повод мула.

На площади перед дворцом они увидали множество съехавшихся всадников, слуг и мальчишек. Продавцы воды и сладостей выкрикивали цены. Кади сказал:

— Я истинно чувствую усталость: полнолуние в моем возрасте вредно. Мне хочется выпить, а баклажка моя пуста. К сожалению, я не вижу ни одного знакомого торговца, продающего тайком нужный мне настой. Неужели я их всех успел упрятать в тюрьму? Весьма жаль, если так.

Они подошли к воротам, чтобы через них вступить во двор и подняться по лестнице, предназначенной для бедных и скромных посетителей. По ту сторону ворот, в деревянной клетке, сидел, для примера другим, какой-то мудрец, ложно толковавший Коран. Он выл от голо-

да и болезней, и кади Ахмет сказал, направляясь к нему:

— Печально лишать визиря удовольствия слышать эти вопли, но пусть, если ему нравятся вопли, прогуляется он по окраинам Багдада. Он много сидит, а прогулки рекомендуются врачами. Кроме того, конечно, я свершаю, как судья, беззаконие, кормя этого негодяя. Но я слаб, и в подобных случаях мне мерещится клетка, которую для меня сколачивает Джелладин, и мне делается стыдно, что я не помогаю самому себе.

И он сунул в клетку мудреца кусок лепешки, которую держал за пазухой, так как знал, что за столом визиря, если даже кади и пригласят к нему, он получит лишь воду для мытья рук.

Дворец визиря примыкал своей оградой к дворцу халифа. Дворец халифа был из розового плотного камня, дворец визиря — из зеленоватого и порыхлей. Все это знаменовало собой, по замыслу архитектора, цветущую розу и листву, поддерживающую розу. Дворцы разделял обширный сад с дорожками, посыпанными редкостным черным песком, с лужайками, фонтанами и бассейнами. В воде плавали диковинные рыбы, а на лужайках бродили прирученные дикие животные.

Когда кади и поэт проходили мимо евнухов и невольников во дворец, то, несмотря на то, что они поднимались по самой бедной лестнице, слуги с безмолвным неодобрением оглядывали их жалкие одежды. Махмуд по молодости застыдился. Кади Ахмет заметил это и сказал:

— В жизни, как и на войне, важно, чтоб хорошо прикрывалось главное укрепление. В данном случае — ум. Ты не страдай, поэт. Твои внутренние одежды блистательнее одежд любого из этих блюдолизов. Впрочем, впоследствии, одевшись сам в блистательные одежды, ты с удовольствием вспомнишь свои страдания на этой лестнице бедных. Но тогда твои внутренние одежды, к сожалению, будут бедней.

В зале совета они были усажены в пятом ряду, позади богатых торговцев и видных мастеров оружия, сухопутного и морского снаряжения. Впереди всех сидел Джелладин. Законовед, вымытый, вычищенный, глядел вперед со свирепым видом, готовый во имя Закона подобно псу, стерегущему отару овец, броситься с воем навстречу любой опасности. Законовед не видал никого и ниче-

го, кроме дверей, через которые должен был войти визирь. Тем не менее кади раскланялся с ним и сказал:

— Вежливость — большая обуза. Она мешает видеть мир в истинном свете. Но это, пожалуй, и лучше. Когда имеешь возможность, вроде меня, часто судить людей за пустяки, надо хоть вежливостью исправить вздор, который ты порешь.

Знакомый мастер морских лодок, услышав резкий голос кади, обернулся к нему и озабоченно спросил, почему рабы нынче столь малосильны. Вот он покупает в течение года уже четвертого раба, и все они страдают желудком и малокровием! Он разорится. Ему самому приходится сталкивать тяжелые лодки в воду, это унижает его достоинство, отпугивает покупателей!

И мастер лодок с соболезнованием осведомился у Махмуда: жива ль их белая невольница, которую он отговаривал покупать, а госпожа Бэкдыль все же купила. И ему стало неприятно, когда Махмуд живо сказал ему, что девушка здорова, отлично трудится и все ею довольны. Тогда торговец осведомился, жидкой или твердой пищей они кормят невольницу и дают ли ей рыбу. Прошел слух, что злой волшебник Аббикон, насланный византийцами, портит в реках и море рыбу и что именно поэтому питающиеся рыбой ослаблены.

Кади Ахмет сказал:

— Во-первых, Аббикон не волшебник, а лишь злой дух, присылаемый неким волшебником Бади каждые семь лет для ловли рыбы. Последний раз он был в наших водах четыре года назад, и сейчас ему здесь делать нечего. Во-вторых, рекомендую вам давать рабам впятеро больше рыбы, чем вы даете, и тогда никакой волшебник или злой дух не ослабит их. Вообще я заметил, что люди довольно легко справляются с волшебниками или злыми духами и гораздо трудней с самими собою. Я могу вам рассказать совершенно достоверную историю о волшебнике Бади...

Но тут вошли стражи, за ними чиновник, который громко прокричал о приближении визиря и глубокоуважаемого гостя его, эмира Эдессы, достопочтенного Омара ал-Бараби-Сагайн.

Визирь медленно нес на тоненьких ножках свою большую желто-серую яйцевидную голову, старавшуюся изобразить уважение к гостю. Гость, попадая в шаг визирю, семенил за ним толстыми ногами, и маленькая властная головка его, круглая, с густыми черными бро-

вями, часто вздрагивала. Эмиру казалось подозрительным, что халиф так долго не принимает его, и он боялся узнать по лицам законоведов и кади свою судьбу. Эмир приехал в Багдад, рассчитывая свалить на плечи халифа, как религиозной главы ислама, всю ответственность за передачу эдесской святыни византийцам. И эмира злило, что его принимает визирь, которого халиф всегда может сменить, утверждая, что по глупому приказанию визиря передана святыня.

XIX

Визирь сказал:

— Законоведы и судьи! Халиф — да будет благословенно имя его!— повелел мне спросить вас: отдавать или нет великую святыню Эдессы, так называемый убрус, или мандилию пророка Иссы. Византийский император в обмен клятвенно обязуется отвести свои войска от стен Эдессы, вернуть нам три тысячи пленных, а за понесенные нами в войне убытки выплатить немедленно двенадцать тысяч себеряных монет. И, разумеется, заключить вечный мир.

Законоведы и кади задумались, стараясь угадать то, чего хотят халиф и визирь. «Великая святыня»— значит, раз великая — отдавать нельзя! С другой стороны, слова «вечный мир» визирь произнес без иронии. Значит, надо отдать. Но слово «клятвенно» он, несомненно, произнес с усмешкой. Значит, нельзя отдавать?!

Встал Джеладин, быть может единственный, кто не вдумывался в затаенный смысл слов визиря и кто пришел на совет с готовой речью. Выпрямляясь в воздухе, как пес во время прыжка, он заговорил. Он говорил долго и обстоятельно, подтверждая свои слова изречениями из Корана.

Прежде всего Джелладин разъяснил собранию, что убрус, не будучи *законной* святыней, вследствие ложно толкуемого предания, является тем не менее *святыней*, поскольку ей поклонялись много веков мусульмане. Стало быть, эдесский убрус — Закон, и мы его чтим! Затем Джелладин перешел к требованиям византийского императора. Они — *незаконны!* Святыня принадлежит Эдессе, и в продолжение веков *никогда* византийский император не требовал ее, тем самым признавая законность пребывания ее в Эдессе. И честь ислама *никогда*, а сейчас тем более, не позволяла и не позволит признавать требования императора Константина осуществимыми.

Нельзя желания византийцев принимать как закон, потому что, принимая их как закон, мы должны и самих византийцев принять как друзей, а 5-я сура Корана говорит: «Тот, кто примет христиан за друзей, кончит сходством с ними. И тогда аллах не будет путеводителем нечестивых!»

— Нам путеводитель аллах и Магомет, пророк его, начертавший эти слова в Коране. Коран есть Закон, и Закон *говорит:* эдесскую святыню нельзя передавать византийскому императору!— заключил торжественно Джелладин.— И эти слова, с которыми, мне думается, согласится все собрание, я прошу вас, достоуважаемый визирь, передать могучему халифу, да будет благословенно имя его!

Визирь почтительно наклонил голову, и некоторым показалось, что он согласен со словами Джелладина.

Тогда встал другой законовед, рослый и красивый старик в зеленом парчовом одеянии. Несмотря на свой внушительный вид, он не привел иных доводов, чем те, которые высказал Джелладин, и визирь попросил его говорить короче. Затем говорил третий, размахивая свитком Закона с таким убеждением, что свиток упал на ковер и кое-кто рассмеялся.

Визирь зевнул, втягивая щеки далеко внутрь.

Лицо Махмуда не потому, что он добивался этого, а потому, что много и долго спорил о том с подругой, невольно следовало за выражением лица визиря, и, когда визирь зевнул, Махмуд тоже зевнул и даже потянулся.

Эти повороты тела, эти изгибы лица и даже излучины одежды Махмуда — все показывало визирю на какую-то взаимность между ним, визирем, и этим молодым человеком с широкими, как бы закоптелыми руками, почтительно склонявшимся к кади Ахмету. «Да это, пожалуй, тот оружейник и поэт!»— подумал визирь, и он еще раз поглядел в горячие, упрямые глаза молодого человека. Уловив взор визиря, кади Ахмет полузакрыл веки, словно задремав; и, внутренне улыбнувшись этой невинной хитрости, визирь, выслушавший к тому времени четвертого и пятого законоведа, которые говорили приблизительно то же, что и Джелладин, сказал:

— Говори о ты, молодой человек, сидящий рядом с кади Ахметом. Халифу будет любопытно знать, что думает багдадская молодежь об эдесской святыне.— И, желая ободрить Махмуда, визирь добавил:— Говори смело.

Визирь любил гулкие и звонкие голоса, и его голос казался ему самому чрезвычайно гулким. Поэтому визирь порадовался, когда голос Махмуда наполнил не только зал совета, но и разлился по всем лестницам.

Махмуд говорил:

— Да будет благословенно имя халифа! Неподатливым, норовистым, строптивым врагам ислама — смерть!.. Да будет то, что я выскажу, понято в истине, а что будет не понято, пусть не будет рассмотрено как намеренное умолчание, а лишь как обмолвка моя, человека неопытного в совете и впервые представшего перед светлые очи нашего уважаемого визиря. Благодарение аллаху, смуты в халифате залечиваются. Но их целиком залечит хорошая победа над неверными. Нам не долго ждать этой победы. Однако, к сожалению, надо признать, что победу эту мы не получим под прославленными вратами Эдессы, потому что город расслаблен плохим руководством, трусостью отдельных военачальников и — я не побоюсь сказать — явным предательством! Да, я вижу предательство, хотя еще, по неопытности своей, не вижу лица предателя. Зато, я уверен, это лицо видит халиф, да будет прославлено имя его!

Голос Махмуда гремел.

Визирь уже не предавался зевоте. Положив тонкие руки на острые колена, он наклонился вперед и рассматривал Махмуда. Щеки визиря надулись и были розовы, как щеки дремавшего кади Ахмета. Визирь, с легкостью принимавший настроения халифа, как гипс принимает очертания статуи, делается слепком ее, с радостью и одобрением смотрел на молодой гипс, из которого скоро отольются замыслы халифа. «Только бы он не вздумал читать стихи о войне с Византией,— мелькнуло в голове визиря.— Зачем говорить о войне, когда мы говорим о мире!»

Лица законоведов побледнели. Лишь Джелладин ничего еще не понимал, злясь на кади Ахмета. Зачем кади, обжорливый дурак, привел сюда этого молодого самоуверенного болтуна? И над участью его думал Джелладин! И ему преподал он начатки Закона?!

Визирь перевел глаза на лица законоведов. Бледные? А не подозревали ли вы или даже знали о переговорах эмира Эдессы с проходимцем Али, «мечом династии»?

XX

— Багдад нанесет поражение врагу. Ислам покроет их города кровью, а сердца позором, как штукатур покрывает здание той краской, какой захочет! И мы уничтожим всех, кто, подобно преступнику Али, осмелившемуся назвать себя «мечом династии», мешает нам в создании победы. Но нужно быть здравым. Поражение главного врага придет некоторое время спустя после того, как мы *отдадим* эдесскую святыню. Святыню *нужно* отдать. Сегодня нет другого средства бороться с византийцами и получить мир и многочисленных арабских пленных, которых они обещали вернуть и вернут несомненно, так как им *тоже* необходим мир с Багдадом. Мне кажется, что на Византию идут славяне, князь Игорь... Мы же, заключив мир, получив наших пленных и византийские деньги, сможем вооружиться...

Визирь снисходительно прервал Махмуда:

— Ты слишком много говоришь о вооружении.

— Я — оружейник,— сказал Махмуд.— Я, о визирь, кую ножи.

— А, это ты куешь хорошие ножи, которые принес мне кади Ахмет? Продолжай же, кующий ножи.

Махмуд сказал:

— Утверждают, что убрус, или мандилия,— несокрушимая защита Эдессы. Но эта защита *не защитила* Эдессы, и мы вынуждены вести довольно постыдные переговоры с византийцами. Зачем же нам держать святыню, которая, будучи защитой, не защищает? Не лучше ли вернуть ее византийцам, тем самым усыпляя их настороженность. Пусть она теперь «защищает» их! Отдать не позволяет нам честь Багдада? А держать при себе святыню, отказывающуюся нас защищать,— честь? Она смеется над нами!.. Весьма полезен этот поступок будет и для греков-христиан, подданных халифа, и тех, что византийского толка, и тех, что несторианского. Они, увидав, что убрус безропотно переходит к византийцам и не защищает Эдессы, не замедлят, разочаровавшись в своей религии, перейти в истинную, в ислам. Говорят нам, что мусульмане чтут убрус. А зачем? Вовсе не нужно замыкать дом на десяток замков, достаточно иметь один, но хороший. Коран — вот замок ислама! Истый мусульманин в иных святынях не нуждается. Именно силою и правдою Корана будет взят Константинополь, и, когда он будет сожжен, на пепле его халифу поднесут

золотой поднос, чтоб он выпил чашку кофе и отдохнул от трудов своих!.. Я сказал все, о достопочтенный визирь.

Махмуд поклонился визирю, эмиру, всем законоведам и кади, а затем особо поклонился своим учителям — кади Ахмету и Джелладину. Кади Ахмет сделал вид, что проснулся. Его багровое лицо и рыжая борода лоснились от удовольствия. Ему казалось, что Махмуд смело и горячо передал собранию как раз те мысли, которые хотел высказать и сам кади. Кади Ахмет забыл вчерашнее свое мнение, покоренный остроумным софизмом Махмуда относительно «чести Багдада» и «чести эдесской святыни». Такая фраза стоит многих святынь!

Джелладин негодовал по-прежнему. Он встал и прокричал:

— Закон открыл глаза Махмуду. Он прав в части преследования преступников, благодаря которым наши войска потерпели поражение. И да покарает закон предателей, которые вещь накладного золота выдают за золотую. Что же касается передачи святыни византийцам, он говорит неправильно, и не слушай его, о визирь! По молодости лет он еще не знает всего Закона!

— Что еще скажут законоведы и кади?—спросил визирь.

Законоведы и кади сказали, что Махмуд прав и что аллах осветил его разум.

— Тогда мы поблагодарим аллаха,—сказал визирь,— и пойдем каждый к своему делу.

И когда все ушли, визирь сел на коня и поехал во дворец халифа.

Два дня спустя было обнародовано решение халифа о передаче эдесской святыни византийцам. В иных обстоятельствах это решение обрадовало бы эмира Эдессы, но тут он опечалился, багдадские врачи внезапно нашли у него какую-то опасную болезнь, которую можно излечить лишь в Багдаде. И визирь приказал ему не покидать столицу.

Визирь призвал Джелладина, кади Ахмета, Махмуда и сказал им:

— Джелладин, знаток Закона! Ты поедешь передавать византийцам эдесскую святыню. Ты прост и честен, и хотя ошибся, но ты все-таки лучше всех знаешь Закон. Тебя посылает халиф.

— Халиф — Закон, и да будет благословен Закон,— сказал Джелладин.— Я всегда повинуюсь Закону.

— Мы так и думали,— проговорил визирь.— И нам кажется, ты лучше других сможешь защитить перед византийцами честь Багдада. Чтоб показать наше миролюбие, ты будешь сопровождать эдесскую святыню до Константинополя. Мы не посылаем с тобой грамот к императору, потому что не знаем, примет ли он тебя. Но если примет, передай ему нашу дружбу.

Обращаясь к кади Ахмету и Махмуду, визирь сказал:

— Поедет также кади Ахмет, он наблюдателен, любопытен и сможет увидеть в Константинополе то, что полезно перенять Багдаду. Кроме того, он весел, знает толк в кушаньях, и он усладит ваше путешествие. Начальником вашего конвоя будет оружейник Махмуд. Идите, и да будет с вами благословение халифа!

Они пошли. Визирь, подумав, сказал:

— Ты Джелладин, останься. Ты — первый среди посланцев халифа, и мне нужно передать тебе деньги и одежду, потому что вы все честны и оттого плохо одеты, и византийцы могут подумать о вас дурно. Махмуд! У тебя византийцы сожгли отца?

— Сожгли, о визирь. И мое сердце...

— Понимаю, понимаю. Чувство мести законно, и сам пророк настаивал на этом. Но нужно считаться и с государственными соображениями. Кади Ахмет, знаком ли ты с мифологией древних и читал ли ты Аристотеля?

Кади Ахмет осторожно сказал:

— Давно когда-то и почти забыл, о визирь.

— Надеюсь, однако, ты сможешь объяснить своему ученику, что Пегас древних уже не обгоняет коня халифа.

— Так, визирь, так!

XXI

Когда они вышли из дворца, Махмуд спросил у кади:

— Кто такой Пегас? Что он говорил?

Он хотел сказать, что воинственные стихи рано или поздно будут петься. Как ни плотны и долголетни были бы слои мира, под ними всегда лежит война. А военная песня облегчает войну, ведет напрямик к врагу, и поэт представляется воинам совлекающим доспехи с врага. Кто же совлекающий доспехи не будет прославлен? Будь уверен, Махмуд, что к славе ведут окольные и не

различимые во мгле времени пути. Таково мнение визиря об Аристотеле.

— А Пегас?

— Пегас — конь, которого тебе даст визирь. На нем ты въедешь в Константинополь. Это ретивый конь, но он любит, чаще всего не к месту, воинственно ржать. Бей его чаще по морде, и он не станет особенно беспокоить тебя.

И кади, не без грусти, добавил:

— У нас слишком большое различие в возрасте. Иначе я б рассказал тебе о преимуществе любовной песни перед воинственной, и, быть может, ты, вообразив, что оставляешь в Багдаде нежную возлюбленную, спел бы нам что-то очень удивительное.

Махмуд смолчал. Песня эта теснилась у него на сердце. И на самом деле, не с рыжим же кади Ахметом делиться ею?

Он пропел ее в тот вечер своей возлюбленной.

Он пел о судьбе, кривой, как его ножи. И пел о семи розах на рукоятке. Это семь дней недели, в которые он беспрерывно страдает по Ней. Пел он о трех лепестках на лезвии. Не напоминают ли они Тебе, о милая, клочковатые облака на небе, которые уходят, уходят... Как ни крива судьба, но перед нашей любовью она очистится, словно лезвие. Исчезающие туманы разлуки не напомнят ли Тебе когда-нибудь, когда мы всегда будем вместе, эти уходящие клочковатые облака? Я приду к Тебе! Я приду к Тебе, милая.

Конь его был далеко за Багдадом, когда Даждья вышла на крышу его дома и, глядя на запад, запела эту песню. Багдад спал. Но шел мимо дома оружейника один влюбленный. И он услышал песню, и она пронзила его сердце, и он запомнил ее, и пошел к своим друзьям, и поделился с ними своей находкой. Он исполнил песню, и друзья одобрили ее. Обнаруживший песню был скромным, он говорил, что в устах неизвестной певицы эта песня во сто крат великолепней. На другую ночь друзья пошли искать певицу. Влюбленный забыл улицу и дом. Друзья шли и в пути пели песню, надеясь, что эхо приведет их туда, где рождается этот переливчатый звук. И в поисках дома, с крыши которого неслась чудесно-тоскливая песня, они обошли весь Багдад, и когда остановились, то услышали, что весь Багдад поет эту песню, потому что весь Багдад услышал ее. Был конец весны, а любовь в конце весны

особенно чутка. Кроме того, город Багдад обширен, и обширна любовь его, и многие хотели прийти к Ней, а Ее не было.

— «Я приду к Тебе. Я приду к Тебе!» — пел Багдад.

Халиф проснулся на рассвете, разбуженный этой песней. Он спал хорошо, чувствовал себя бодрым, даже молодцеватым. Ему подали серебряный кувшин и таз для омовения. Радостно содрогаясь от холодной воды и слыша в кустах сада щебетанье и лепет птиц, а за оградой эту песню, он спросил, глядя на светло-лиловое, прохладное небо и редкие облачка на востоке, схожие с цветками гвоздики:

— Я не разберу слов. Что они поют?

Ему объяснили. Он улыбнулся благосклонно и сказал:

— Дети. Ну что ж, пусть поют.

XXII

Жарким летом 944 года бесконечный лес копий князя Игоря двинулся, шурша сухой травой, по днепровским степям. Войска шли к Дунаю, оставляя позади себя широкие пыльные дороги. Тут были люди великого племени русь с широкими, тяжелыми мечами; рослые всадники племени полян с круглыми белыми щитами, на которых были охрой нарисованы змеи; приземистые, быстроногие тиверцы и белобрысые кривичи, которых никто не мог победить, когда нужно было драться внутри укреплений. Кроме того, шли нанятые князем Игорем гладколицые, с тонкими бровями печенеги.

А по Днепру спускались ладьи, и когда они вышли в Черное море, они покрыли его, как покрывают ковром пол. Впереди, сотрясая море и пугая волны, плыла огромная ладья князя Игоря. Она была украшена золоченой статуей Перуна, а по борту узором из серебряных пересекающихся линий. Рядом с Перуном стоял большой щит, сверху донизу унизанный золотыми бляшками. Время от времени князь Игорь, высокий, длиннолицый, с проседью на висках, подходил к щиту и поднимал его, словно готовясь поднять его еще выше, к цоколю арки Золотых Ворот.

И византийцы содрогнулись. Зажглись толстые свечи перед иконами, дым ладана наполнил храмы, неистовым всенощным бдением молились монастыри, и сам трудолюбивый император Константин отложил разрисовку

киноварью и золотом заглавных букв к гигантским сборникам «Житий святых», которые должны были состоять из ста томов, изложенных красивым слогом ученого мужа Симеона Метафраста. Император встал на молитву, высказав сильное желание, чтобы в Константинополь для спасения столицы возможно скорее прибыла эдесская святыня и войска доместика схол Иоанна Каркуаса.

XXIII

И в Эдессе была засуха и жара, и сады эдесские, славящиеся плодами, были бедны, так что цена на оливки поднялась, и жители жаловались, поражаясь своей скудости. Они объясняли бедствие тем, что их великая святыня покидает город. И никто из жителей не вышел навстречу посланникам халифа.

Джелладин, кади Ахмет и Махмуд долго стояли на высоких стенах городской крепости.

С крутых каменных стен видны были рвы, наполненные тухлой водой, в которой плавали трупы. По берегам рвов стояли вымазанные толстым слоем глины стенобитные машины византийцев. Машины были так высоки и громадны, что, казалось, до них невозможно было дотянуться рукой. Возле машин, на земле, в прикрытиях из циновок, утомленные зноем, спали византийские солдаты, и слышен был их безмятежный храп.

К посланцам халифа, на стены, пришел в сопровождении знатных прихожан эдесский епископ Павел, низенький лысый старичок с воспаленными глазами, говоривший хриплым басом. Поодаль от них шел епископ несторианского толка со своими священниками и дьяконами. Джелладин принял их, сидя на бочке с древесной смолой.

Христиане были одеты нищенски, но разговор их изобиловал обещаниями золота, и видно было, что они не лгут. Они выкупят арабских пленных! Они выплатят халифу те деньги, которые ему обещают византийцы, и в срок более быстрый. И это не дерзость или стремление отделаться словами, а вполне ясные предложения, которые они готовы осуществить хоть сегодня! В речах, задыхаясь от волнения, они делали частые остановки, и Махмуд дивовался на них, и ему хотелось посмотреть эту странную эдесскую святыню.

Джелладин сидел непреклонный, довольно однообраз-

но повторяя слова о Законе и законности всех распоряжений халифа. После долгих прений Джелладин резко, от имени халифа, приказал выдать убрус.

Епископ Павел воскликнул:

— Лучше закрыть глаза Эдессе, как покойнику, чем отдать икону!

И епископы, священники и миряне ушли не поклонившись.

Джелладин приказал подать коня. Он направился в лагерь византийцев, чтоб сообщить им решение халифа. Завтра убрус будет выдан.

Джелладин долго не возвращался. Был уже вечер, и Махмуду, начальнику конвоя, сообщили, что народ оцепил главный эдесский собор, устроил вокруг него возвышение из камней, перекрыл камнями центральные улицы города. Город теперь разделен на две части, и одна половина в руках восставших. Махмуда особенно взволновало, что мусульмане города помогают христианам оружием и таскают им камни.

Весь дрожа от волнения, Махмуд нашел кади Ахмета, который спал в прохладном месте погреба для вин. Махмуд сказал кади о восстании, которое он намерен немедленно подавить с ужасающей жестокостью. Он готовит своих воинов к атаке. Во имя халифа и Корана, он приказал им не щадить никого! Он пылал от злобы и жажды сражения, и пот лился по его темному лицу.

Кади Ахмет выпил из своей баклажки, вытер шею мокрым полотенцем и сказал:

— Жизнь подобна дорогой гостинице, где за все нужно платить. И лучше было б мне научить тебя спать на собрании у визиря, чем говорить блестящие речи. Впрочем, дело испортил не ты, а Джелладин. Вместо рыбы, которая переваривается желудком легко, он вздумал кормить народ дровами. Я предпочитаю, как и народ, рыбу. А также отговорки, которые похожи на рыб резвостью своего бега, легкостью в еде, и только идиот может подавиться их костью. Едем!

— Ты поедешь со мною сражаться?— спросил Махмуд.

— Нет,— кротко сказал кади.— Это ты поедешь со мной, без оружия, и будешь смотреть, как я сражаюсь словом. Помни, что я судья и привык говорить в столице, а здесь глухая провинция.

Кади приказал заседлать своего мула, взял лепешку в

руку и, жуя ее, направился к главной баррикаде восставших, к эдесскому собору.

Подъехав к баррикаде, он почтительно поклонился древнему зданию собора и, вызвав предводителя восстания епископа Павла, повел перед ним речь. Вначале он с глубоким почтением отозвался о святыне. Он никак не хотел порочить ее или презирать. Отнюдь! Он также не желает круто изменять взгляды восставших, и они, пожалуй, правы, что взялись за оружие. Он приехал только затем, чтобы напомнить восставшим о главном положении, которое они упустили из виду и которое он, кади Ахмет, глубоко чтит. Они забыли о существовании чуда, то есть о сущности эдесской святыни. *Чудо!* Чудес много, и они замечались неоднократно. Во-первых, в Эдессе много церквей, и в каждой из них имеется копия убруса. Не кажется ли вам, что *копия,*— а это будет чудо,— представится византийцам оригиналом? Копия убруса из второстепенной церкви, ночью, перейдет в главную, а отсюда, завтра, к византийцам. Во-вторых, если допустить, что византийцы увезут оригинал, то опять-таки нужно помнить о чуде. Эдесская святыня свершит чудо и сама возвратится домой, обратно в Эдессу! Неужели эдессцы так уж сомневаются в себе, что не могут умолить святыню вернуться обратно? Эдессцы, доблесные, отважные, показавшие чудеса в защите своей святыни! Эдессцы, трупы которых наполняют рвы, окружающие город!.. И в-третьих, нужно принять во внимание и теперешнее положение города. Город разрезан на две части. Одна половина города будет драться с другой, стены будут обнажены, а византийцы что же, будут смотреть? Они начнут штурм, немедленно возьмут город и ограбят его так, как еще не грабил никто и никогда! И в-четвертых, есть одна замечательная, всегда победоносная вещь. Эта вещь называется — ожидание.

— Я прошу вас подумать об ожидании,— заключил кади Ахмет.— И я жду вашего ответа.

Он отъехал от баррикады в тень платана, достал свою лепешку и начал ее есть. Когда он собрал с платка, разостланного на коленях, крошки и высыпал их в свой рот, он повернулся к баррикаде. Эдессцы разбирали ее. Он хлебнул из баклажки, чмокнул языком и сказал, обращаясь к Махмуду:

— Разве я был неправ, утверждая, что здесь глухой угол и что здесь не трудно говорить? Они даже и не зна-

ют, что представляет из себя истинный оратор! Здесь я мог бы пойти далеко вперед, не опасайся я лишней заботы.

XXIV

Джелладин вернулся в сопровождении Авраамия, епископа византийского города Самосата. Авраамий по распоряжению константинопольского патриарха должен был принять икону. Епископ, продолговатый и бледный, как гребок для мешания извести, был одет в широкие, украшенные камнями и золотом, парчовые одежды. На голове его качалась митра, нагрудный знак горел драгоценностями, а жители Эдессы кляли его и смотрели на него с ненавистью, словно он совершил растрату общественной кассы.

Воины-рабы выстроились на площади, рассматривая отделанный крапчатым мрамором собор. Епископ Авраамий, громко читая молитвы, поднялся на ступени паперти и здесь остановился. Он стоял, клал крестное знамение и о чем-то думал. Затем, повернувшись к епископу Павлу, сказал, что ему было сейчас видение. Убрус находится не в этом соборе. Здесь лишь копия убруса. Эдессцы спрятали подлинный убрус, но он найдет его. Видение укажет ему путь!

И Авраамий, сев на коня, поехал по улицам Эдессы. Он ехал, не спрашивая ни у кого дороги, хотя в городе был первый раз. И эдесский клир в глубокой горести шествовал за ним. Они подошли к храму, расположенному возле городского рынка. Авраамий опять поднялся на паперть и опять долго молчал, размышляя. И опять он сказал, что ему было видение и что в этом храме не подлинный убрус, а тоже, хотя и хорошая, но — копия. И он сказал, что видение направит его стопы дальше.

И все окружающие ужаснулись такой проницательности. Ужаснулся вслух и Махмуд, сопровождавший шествие.

Кади Ахмет сказал:

— Несомненно, это ужасно. Но ужасно не потому, что видение, а потому, что у византийцев всюду прекрасные шпионы. Кроме того, у епископа прекрасная память, раз он, со слов шпиона, по памяти узнает дорогу. Впрочем можно допустить, что шпион его, известный лишь ему, идет впереди нас, в толпе. Кроме того, епископ ужасно хороший мим, как и все византийцы, добавим. Един-

ственно, что они наследовали от древних эллинов,— это отличную актерскую игру. В политике и в театре их следует опасаться.

Наконец, в жалкой кладбищенской церкви епископ Авраамий обнаружил подлинный убрус. Византийцы возликовали, а жители Эдессы стали рыдать и бить себя в грудь и в голову. В арабов полетели камни. Один угодил Джелладину в плечо, а другой рассек Махмуду лоб. Кади Ахмет, перевязывая его, сказал:

— А в меня, хвала аллаху, камень не попал. Вы заплатили пошлину за проезд через ораторский мост, принадлежащий мне, и пошлина эта не велика.

Подали балдахин из серебряной парчи с золотыми кистями. Балдахин внесли в храм, и оттуда, с песнопениями, в облаках ладана, эдесская святыня направилась к воротам города, которые были распахнуты. На стенах Эдессы стояли жители, рыдая и крича. А за стенами, на равнине, распростерлись византийские воины, и стенобитные машины были пусты, потому что все византийское войско ползло на коленях к главным воротам.

Кади Ахмет сказал Махмуду:

— Если ты хочешь знать, что такое жизнь, вглядись внимательно в эти стены и в эту равнину. Жители Эдессы плачут и стонут от горя. Византийские войска делают то же самое от радости. Мы же не понимаем ни того, ни другого. Мало того, мы не видим, а возможно, и не увидим, из-за чего одни радуются, а другие горюют. Рассуждая здраво, мы вправе предполагать, что под балдахином вообще нет ничего.

— Что же тогда, кади, представляет из себя жизнь? Бессмыслицу?

— Грохочущий с гор поток, Махмуд, в котором не трудно утонуть, если не научишься плавать.

Джелладин, оборачиваясь к ним, воскликнул:

— Ты учишь его безнравственности и пороку!

Кади Ахмет сказал:

— Я учу его хладнокровно задумываться над жизнью, быть справедливым, а также и страстным в чувствах. Тогда он не только переплывет поток, но сам будет создавать горные потоки.

К убрусу вели раненых, слепых, калек и убогих. И слышны были крики, что уже появились первые исцеленные. Жители Эдессы, умоляя икону вернуться к ним, рыдали так, что казалось, стены города колеблются.

Кади Ахмет сказал:

— Вот я недавно говорил о чудесах. Но не удивительное ли чудо, Махмуд, что мы видим все это? И я предчувствую, что мы увидим еще более чудесные вещи. Я не хотел бы присутствовать при главном чуде, хотя именно я выдумал его: внезапный уход убруса из византийского войска и возвращение убруса в Эдессу. Мне хочется повидать Константинополь.

— Гнездо разврата и вместилище беззаконий?— спросил Джелладин.

— Определение, допустим, правильное. Константинополь — гнездо злых духов. Но разве для того, чтобы бороться со злыми духами, не нужно знать их силу и их возможности? Например, мне говорили, что у византийцев чудесное вино. Я охотно верю в это чудо и с удовольствием проверю его. Византийцы много пьют, а кто много пьет, тот, естественно, ищет лучший источник. Я не спорю, что Багдад имеет свои достоинства, но вино в нем отвратительное, и у меня всегда жжет под ложечкой, когда я пробую его, с тем чтобы узнать состав злого духа. И мне тогда делается тошно, точно уже наступило полнолуние...

Махмуд, думавший о чудесах, которые свершал убрус, спросил:

— Кади! Византийцы — неверные и нечестивые, подлежащие мукам и в этой жизни и в будущей. Как же аллах,— а чудеса, несомненно, свершает аллах,— как же он свершает их сейчас над неверными?

— Аллах свершает чудеса над неверными затем, чтобы ослабить их. Неверные в конце концов перестанут верить в свои силы, будут надеяться на чудо, и тогда верные, то есть мы, победят их. А нам, верующим, аллах свершает меньше чудес, чтоб мы не ослабли и верили в свои силы. Он открыл нам лишь Закон, что есть непрестанное чудо, и его вполне достаточно нам.

Джелладин воскликнул:

— Впервые в жизни ты высказал хорошую истину, кади!

— Но...— продолжал кади, кланяясь в сторону Джелладина со своего мула.— Но возможно, что главное чудо, по неисповедимым путям аллаха, заключается в том, что все это нам лишь мерещится. Эдесса, убрус, вот эти войска, сквозь которые мы сейчас проезжаем и которые нас не замечают, кроме византийского чиновника, указывающего нам дорогу, и даже вот это персиковое дерево, на котором, из-за необычайной жары, так мало плодов. Я поверю в достоверность всего происходящего тогда

лишь, когда попробую константинопольское вино. По-моему, нет ничего реальнее вина, хотя оно иногда и опьяняет. Но что такое опьянение? Состояние, в котором животное кажется человеком, а дурак — умным. В трезвой жизни подобное состояние случается урывками, а в пьяной — оно идет непрерывной полосой. Но что лучше: ухабы или полоса гладкой дороги? Дерево, покрытое цветами, или голые сучья зимой? Если персиковое дерево покрыто сплошь плодами, это вам кажется милым и реальным, а если я, пьяный, вижу весь мир, как персик, прекрасным, почему это вам не кажется реальностью из реальностей?

Джелладин плюнул через голову коня, и плевок его, как удар копыта, пал на землю так, что пыль встала столбом.

— Ты, кади, бродяга мыслей! — вскричал он. — И я горько раскаиваюсь, что только что похвалил тебя.

И он проехал вперед, чтоб не слышать кади Ахмета.

XXV

Джелладин отъехал, а кади Ахмет продолжал говорить в том духе, высматривая в лагере византийцев какую-нибудь харчевню, где можно было б закусить и выпить. Харчевни были закрыты. Все торговцы вышли встречать убрус. Кади Ахмет огорчился и сказал:

— Это печально. Неверные не должны быть столь ретивы в своей вере, которая есть туман и наваждение злого духа. Ведь получится таким образом, что мы до самого Константинополя будем питаться сухими лепешками и пить сырую воду, которая при жаре очень вредна. Я ожидал другого. И неужели у них другие торговцы, чем у нас?

После благодарственного молебствия в палатке византийского военачальника состоялся пир. Арабам в их палатку принесли обильную пищу, но так как византийцам было известно, что арабы не употребляют вина, то вина и не подали. Кади Ахмет отозвал стольника подальше и сказал ему:

— Дорогой! Путь до Константинополя далек. У меня старый и глупый мул, и я уже проверил, что, когда он не идет, ему полезно дать кружку вина.

Стольник удивился и сказал, что в таком случае византийцы дадут немедленно уважаемому посланцу молодого и крепкого на ноги мула.

Кади Ахмет сказал:

— Уже держась на этом муле двадцать лет, трудно слазить с него. Кроме того, сколько я потратил денег! Подумайте, в Багдаде поить мула вином! Когда я влезаю на него, у меня такое чувство, будто подо мной мешок денег. А я человек бедный, и мне жаль расставаться с такими чувствами. Лучше дать ему вина, поскольку пророк нигде не запрещал употреблять мулу вино.

Стольник приказал подать вина. Но так как византийцы не знали, сколько же употребляет мул вина, то обратились к кади. Кади сделал удивленное лицо и сказал:

— Он, старый дурак, не видит разницы между водой и вином и пьет вина столько же, сколько и воды.

И ему принесли большой мех, и кади привязал его на спину мула, позади седла. Кади прикрыл мех свисающим с плеч дорогим пепельно-серым плащом, выданным ему по приказу визиря. Когда фляжка была пуста, кади под плащом, ощупью наполнял ее и говорил, поднося ее к своей рыжей бороде:

— Это небольшое чудо, но оно приятно.

Мула же он водил сам поить, и византийцы, которым было выгодно видеть, что арабы пьянствуют, делали вид, что не замечают обмана.

Византийский военачальник прочел перед воротами Эдессы грамоту, «хрисовулл» императора Константина о вечном мире, передал арабских пленных и положенное количество серебряных монет, и византийские войска отошли от Эдессы.

Балдахин серебряной парчи с золотыми кистями двинулся к городу Самосату.

Арабские посланцы ехали в конце процессии. Между ними и византийцами наблюдалось такое расстояние, какое необходимо для того, чтобы улеглась пыль.

XXVI

Влажная и плодоносная долина Евфрата была выжжена солнцем. Ореховые деревья, оливы и виноградники пожухли и поблекли. Кони и козы, тощие и жалкие, бродили, не находя пищи. Река была так мелка, что ее перешли вброд, не замочив колен. Однако поселяне, надеющиеся на чудо дождя, которое им принесет убрус, радостно выбегали навстречу процессии. Их широкие наивные

глаза были наполнены слезами. Они дарили мясо и рыбу несшим икону и целовали следы ног священников.

Кади Ахмет сказал:

— Они неверные, и я должен бы желать им зла. Но мое сердце болит, глядя на эти несчастные нивы, и мне хочется молиться с ними о дожде.

Ночи были душные. Жаркая тьма обнимала землю. Сон не приходил. Так как они ехали по горестным местам, где, несомненно, орудовали злые духи и волшебники, то кади Ахмет, не боявшийся действий злых сил днем и даже насмехавшийся над ними, ночью ощущал страх и потребность защиты. Он будил начальника конвоя, и они покидали палатку.

Отовсюду из тьмы шли на них шорохи, трески и какое-то сухое быстрое шуршание, похожее на шаги. Кади узнавал во тьме очертания злого духа Аббикона, уничтожавшего рыб и зверей. Мерещился ему также волшебник Бади и его похотливая любовница Гозар, которые портят людей, насылая им судороги и ломоту в костях. Он видел и злого духа Фозуллу, безобразного, способного одним взглядом испепелить ум человека. Кади Ахмет вздыхал, прижимался к Махмуду, а тот хватался за меч. Кади поспешно читал суры Корана. Махмуд молился рядом с ним. Махмуд не видал ни злых духов, ни волшебников. Ему виделись синие глаза Даждьи, и сердце его исступленно ныло, и ему хотелось домой, и он думал, что это злые духи показывают ему возлюбленную, чтобы он не выполнил приказания халифа и бежал к ней.

— Даже вино и то не помогает мне! — шепнул кади.

Но приходило утро, и духи зла исчезали, и опять булькала влага в тыквенной бутылке кади, переливаясь в его горло. Улыбаясь, он говорил:

— Благодарю тебя за помощь, Махмуд. Я слаб, но счастлив, что слабость моя усиливает мне наслаждения утра.

В городе Самосате эдесская святыня оставалась несколько дней, пока не записаны были все чудеса, свершенные ею. Скорописцы, со слов исцелившихся, заносили на пергамент подробности болезней; свидетели, священники, врачи подтверждали их своей рукой и печатями, и курьеры мчались в Константинополь, чтобы доставить императору и патриарху эти драгоценные пергаменты. Записано было также, что после того, как убрус удалился из долины Евфрата, над всей долиной пронеслись обильные дожди.

Узнав об этом, кади Ахмет сказал:

— Есть и омерзительные чудеса, и из них самое омерзительное то, которое творят чиновники и блюдолизы.

XXVII

Через несколько дней после ухода из Самосата они увидали горы и вступили в них. Они медленно поднимались по широкой каменистой дороге, усеянной обломками желтых скал. Скалы поросли колючими серыми кустарниками. Монахи пели непрерывно и громко, утверждая, что ранним утром на звуки этого пения из серых кустарников к процессии приближались львы, чтобы увидеть и поклониться святыне. Одетые в грубо выделанные шкуры, дикие племена выстраивались на дороге. У ног их лежало оружие, и свирепые лица выражали покорность.

— Таких людей и такое оружие любопытно посмотреть,— говорил кади, стараясь приблизиться к диким племенам.— В иных обстоятельствах вы имеете возможность увидать их лишь мертвыми.

Однажды ночью, при свете факелов, они вошли в замок какого-то феодала. Их на мосту замка встретил епископ этой местности в кольчуге и препоясанный мечом, который он обнажил во славу своего бога и кинул на каменный настил моста, чтобы убрус пронесли над ним. Рыцари, неловко сгибая колени, склонились рядом с епископом. И в замке пировали до утра, восхваляя убрус и дальновидность императора, овладевшего этим убрусом.

Погреба, из которых носили прислужники вина, были расположены неподалеку от помещения, где возлежали арабы. Им принесли барана, изжаренного целиком, но, так как Джелладин не знал, зарезан ли баран согласно Закону, арабы отказались есть. Когда уносили барана, кади Ахмет нырнул во тьму вслед за прислужниками и вернулся нескоро. Но вернувшись, он весело размахивал руками, и от его бороды пахло вином и жареным мясом. Он сказал:

— Они будут пить до рассвета. Я начинаю верить, что по-своему они крайне набожные люди.

Кади Ахмет рано разбудил Махмуда. Кади думал о чем-то хорошем, и глаза его влажнились, словно пропитавшись превосходными мыслями. С его лица не ускользала улыбка, и Махмуду тоже стало весело. Он вскочил:

— Пора ехать?

— Смотря куда,— сказал кади.— Если в Константинополь, то мы поедем вечером. Епископы пьяны. Их протопросвитеры пьяны. Пьяны все, и если б аллах не возбранял мне это, я бы прославил пьянство. Благодаря их пьянству мы увидим с тобой поучительное зрелище. Город!

— Разве здесь есть город? Вчера ночью мы не слышали шума города, не видели огней и не было колокольного звона. И большой город?

— Большой. Такой большой, что Багдад и Константинополь по отношению к нему что ступица к колесу.

Они прошли двор замка, где в беспорядке спала пьяная прислуга. Ворота замка были открыты, и вратари тоже спали пьяным сном. Мост был опущен. Махмуд возмутился такой беспечности, а кади сказал:

— Я же тебе говорил, что они надеются на чудо и глупеют с каждым днем.

На мосту они остановились и, садясь в седла, посмотрели на замок. Во втором этаже, в зале, где стоял балдахин с убрусом, догорали свечи, и возле свечей на коврах, положив головы в направлении святыни, спали монахи. Свечи образовали, оплывая в одну сторону, большой нагар, и от них несло запахом горячей одежды.

— Превосходный замок и превосходнейшее вино!— сказал кади. И он стегнул мула, чтобы тот поскорее обогнул гору, на которой стоял замок.

Они увидали великую плоскую равнину и русло высохшей реки. Вдоль этого русла, заваленного валунами, тянулась набережная и стояли руины домов, церквей и увеселительных ристалищ.

— Развалины!— сказал Махмуд.

— Иные развалины поучительнее цветущего города,— проговорил кади, погоняя мула.

Они въехали в предместье, где некогда были маленькие домики бедняков. Вскоре перед ними начали подниматься большие белые, и красные, и синие колонны, облепленные колючими травами. Трава хрустела под ногами, как некогда под ногами времени хрустели, разрушаясь, эти высокие мраморные дворцы и храмы.

Да, это был когда-то могучий и славный город! Так как равнина возвышенна и к тому же было раннее утро, то весь город можно разглядеть довольно ясно.

Они поднялись к акрополю.

Кади достал свою тыквенную бутылку, лепешку, предложив Махмуду позавтракать. Махмуд отказался.

— Как называется город? За какие грехи и кем он уничтожен?— спросил он.

Кади сказал:

— Никто не мог мне сказать этого.

И он продолжал:

— Люди думают, что устроить праведную жизнь так же легко, как перенести парус с одного борта лодки на другой. Но гляди, вот что осталось от их намерений.

— Это потому, что тогда не было пророка Магомета!— сказал Махмуд.

— У них был свой пророк, и они строили свой город на развалинах другого. Вспомни замок, из которого мы только что выехали. Разве владелец замка не старается выстроить возле себя новый город и разве он не уверен, что знает правила жизни лучше, чем кто-либо до него?

Махмуд строго посмотрел на кади:

— Что же делать? Не жить?

— Я говорю это именно к тому,— ответил кади,— что жизнь прекрасна и что не нужно отчаиваться. Как ни удивительно, но и старый глупый властитель, у которого умно лишь его вино, немножко прав. Он знает действительно немного больше, чем жители этого разрушенного города. Жизнь! О Махмуд! Законы жизни более просты, чем те, в которые веришь ты и похожий на тебя нерастворимый Джелладин.

Махмуд засмеялся — таким нелепым показалось ему сравнение с Джелладином. От смеха ему захотелось есть, он попросил у кади кусок лепешки и немного отхлебнул из бутылки.

Они продолжали объезд города. Кади, вглядываясь в развалины зданий и разбитые фигуры богов, сказал, что город, несомненно, принадлежал древним эллинам, когда они поклонялись Зевсу и Аполлону.

— Джелладин утверждает,— проговорил Махмуд,— что эллины наказаны аллахом за беззаконие, так как хотели людскими руками вылепить бога, которого никто не может изобразить. И не ходят ли и сейчас по развалинам призраки этих ужасных богов?

И он положил руку на меч.

Кади ничего не ответил, заинтересованный холмиком крупного серого песка, сквозь который просвечивало что-то ослепительно-белое и манящее. Он спрыгнул с мула, разгреб песок руками и обнажил мраморную фигуру младенца с крылышками и колчаном и луком в руке.

— Идол!— воскликнул в страхе Махмуд.— Отбрось его!

Разглядывая кроткое, улыбающееся лицо ребенка, кади Ахмет сказал:

— Быть может, Джелладин и прав. Смотри, какое человеческое выражение у этого мальчика. Они достигли удивительно многого в деле создания богов, эти эллины! Не помешай им варвары, они, пожалуй бы, создали и истинного бога. Вглядись. Мальчик почти смеется от удовольствия, что ему еще раз удалось посмотреть на мир. Разве тебе не хочется смеяться вместе с ним?

Кади рассмеялся, ребенок улыбался, а Махмуд смотрел на них с ужасом.

— Не находишь ли ты, Махмуд, что наш халиф немного похож на этого божка? Правда, халиф, занятый серьезными делами, редко улыбается и староват, но есть у них что-то общее...

Тогда Махмуд в двойном негодовании, что кади похвалил божка неверных, а затем сравнил его с халифом, стегнул коня, подскочил к кади, выхватил божка и кинул его на близстоящую колонну. Божок разбился в мелкие куски.

У кади на глазах показались слезы, он всплеснул руками, а затем улыбнулся и сказал:

— Что разбито, то разбито. Разрушен целый гигантский город, и что в сравнении с этим какой-то жалкий божок?

И они повернули к замку.

Когда они возвратились в замок, Джелладин готовился к утреннему намазу и омовению. Во всей его фигуре видна была строгость и страх, точно вокруг он видел такое, что исправить и повести по дороге Закона совершенно невозможно.

И они встали на молитву. Махмуд молился с достоинством воина. Кади — с повелительным лицом судьи, заканчивающего скучный процесс. Джелладин молился так усердно и долго, что казалось, он молится о том, дабы вся земля провалилась, и никак этого вымолить не может.

К концу молитвы начали просыпаться византийцы. Послушные и дисциплинированные воины, они, согласно повелению императора, глядели на все, что делают арабы, одобрительно. Кроме того, ненавидя своих еретиков, вроде несториан или нечестивых поклонников Ария, они чужую, воинственную религию меча и зеленого знамени

уважали. Особенно им нравился начальник конвоя — плечистый, в латах, посреди которых поблескивал тщательно начищенный серебряный полумесяц. Лицо Махмуда казалось им каменным и глубоко равнодушным ко всему, кроме приказаний своего невидимого командира.

XXVIII

Незадолго до прихода в монастырь Евсевиу, где убрусу предстояло пробыть довольно продолжительное время, на горном перевале процессию захватила буря.

Вокруг них лежали лиловатые скалы, которые от дождя стали агатовыми. Ветер бешено носился вокруг скал, таща откуда-то снизу толстые и широкие листья, которые прилипали к лицу и закрывали глаза. И это было страшно.

Над балдахином, взметнутые кверху, блестели неестественно ярко при свете молний золотые кисти, и видны были черные фигуры монахов, которые по-прежнему продолжали исполнять свои службы. Голоса монахов не было слышно, и их большие черные рты беззвучно раскрывались, принимая в себя, как в промасленные воронки, целые потоки дождя. Каменистая почва не впитывала влаги, и чистые прозрачные ручьи журчали возле ног коней и мулов, точно торопясь уйти из этих мрачных нелюдимых мест.

И сразу же, как только вышло солнце, скалы высохли, опять стали тускло-лиловатыми, а небо над ними походило на самую лучшую сгущенную глазурь, которой покрываются дорогие вазы.

Кади Ахмет, стряхивая с плаща капли, сказал:

— Неоспоримое преимущество бури в том, что после нее испытываешь довольство и хочется есть.

И он обратился с просьбой о пище к византийскому чиновнику, сопровождавшему их. Кади жевал кусок мяса, густо посыпанный крупной солью, а Махмуд сказал, с грустью глядя на чистое небо:

— Мне бы хотелось идти именно в этой буре на Византию, а не в шуме этой нелепой и безбожной процессии.

— Так, сын мой, так,— одобрительно промямлил Джелладин, который никак не мог согреться после бури.

Кади Ахмет сказал со смехом:

— Ого! Он уже тебя называет сыном.

— Берегись,— сказал сердито Джелладин,— как бы я не назвал тебя отступником!

— Путешествие наше дошло едва ли до средины, а мы уже ссоримся,— сказал с грустью кади Ахмет.— Неужели к концу его, здесь, на чужбине, мы обнажим друг против друга ножи? Прости меня, Джелладин.

В конце концов Джелладин был приятный старик! Когда он не говорил о Законе, а случалось это с ним редко, он высказывал дельные мысли. Так, например, он хорошо рассказывал о науке вождения караванов в пустыне и не плохо высмеивал преподавателей Корана в медресе эль-Мустинсериэ. Кроме того, он понимал медицинское дело и оказывал врачебную помощь в случае нужды своим спутникам.

Он понял кади и мягко сказал:

— Во имя Багдада я прощаю тебя. Держи свой дальнейший путь с миром.

Из-за бури, вызвавшей облавы и преградившей камнями дорогу, процессия задержалась на перевале. Неподалеку, в неприступных горах, жили пустынники и аскеты. Дабы не мешать их созерцательной жизни, епископ Самосата приказал не извещать пустынников о движении убруса.

С перевала видна была желтая гора и черные пятна пещер, где жили пустынники. Когда вгляделись, то увидали, что дорога к ним выстлана ровным плитняком. И стали говорить, что ангелы спустились ночью, перед приходом убруса, и выстлали эту дорогу.

Должно быть, ангелы сообщили также пустынникам об убрусе, потому что, как только установилась ясная погода и стража начала расчищать перевал от камней, на плоской дороге от горы показались шатающиеся тени. Шли волосатые, завернутые в травы люди, опираясь на длинные посохи. Они поддерживали друг друга, шатаясь от непривычного хождения, хотя дорога была глаже пола дворца визиря. На отполированных плитах, как в неподвижной воде, отражались старцы, и вся процессия поклонилась им в ноги. Побежденные такой святостью, арабы слезли с коней и тоже поклонились пустынникам.

Махмуд воскликнул:

— О Джелладин! О кади! Я ничего не понимаю.

Джелладин молчал, не находя соответствующего текста Закона, а кади пробормотал:

— Быть может, волею этих людей создается добро, удерживающее огонь, которому предстоит испепелить все грехи Византии.— И он добавил:— Что такое добро? Дружба честных людей, верящих друг другу. Дружба со-

здает чудо жизни. И чем она чище, чем ее больше, тем лучше и возвышенней жизнь. Я предвижу время, когда дружба и правда уничтожат границы и примирят враждующие народы...

Пустынники поклонились убрусу, сотворив песнопения. С лиц их струилось ослепительное сияние, и они почти юношеским шагом повернули обратно, и казалось, что их гора приближается к ним.

Так как пустынники были нищи и голы, то они поднесли в дар убрусу несколько ветвей какого-то дивно благоухающего растения, которое цвело лишь на этой неприступной горе. Всю дорогу до Константинополя ветви испускали благоухание, пересиливающее благоухание ладана, и кади Ахмет был очень доволен, когда однажды кусочек ветви упал в пыль и никто не заметил падения, кроме кади. Кади Ахмет подобрал кусочек с пятью плотно прилегающими к стволу светло-коричневыми листочками. Он сунул кусочек в свою тыквенную бутылку и сказал:

— Моему настою не хватало именно этого запаха.— И добавил:— Я все более и более убеждаюсь, что люди очень похожи на тех жуков, которых почитают в Египте и которые необыкновенно искусно умеют скатывать в шар пищу, необходимую для их потомства. Если правда, как утверждали древние,— а их знания были очень прочны,— что земля наша похожа на шар и аллах выкатал ее из ничего, то есть из навоза, то почему же из навоза жизни не может и человек выкатать себе хорошее будущее? В конце концов что такое эта удивительная гора с пустынниками, которую вы видели? Навоз, не больше. И, однако, смотрите, каких результатов добились пустынники, упорно стремящиеся к своей цели! Слюной своего восторга они растворили камни и выстлали гладкую дорогу, какой мы не видали и во дворце визиря. Причем они лишь косвенно дотрагиваются до истины. А чего ж достигнут люди, когда они будут жить не толчками, как эти тощие византийцы или как даже мы, хотя багдадцы способны делать более резкие толчки, а плавно и осмысленно?— И, глотнув из своей бутылки, он заключил:— У них будет великолепная жизнь и чудесное вино! Но, впрочем, я не пожалуюсь и на это, которое пью. Замечательная трава. Она разглаживает душу!

Джелладин сказал:

— Кади! Ты опять потворствуешь преступникам и нечестивцам.

А Махмуд проговорил:

— Если б подобное подвижничество помогло Багдаду в войне с византийцами, я бы заселил одним собою и своими песнями не только эту гору, но и окрестные!

Кади сказал:

— Ты и так на горе, хотя и не видишь ее. Но если б ты на самом деле переехал сюда, мне б было жаль тебя оставлять здесь. Твои песни вызывают во мне многие и весьма разнообразные мысли, полезные не только тебе, но и мне. Весьма гадательно, чтоб я встретил другого такого внимательного и в то же время так пренебрегающего мною слушателя.

Ночью в горах было зябко, и странно было вспомнить, что еще недавно они с таким удовольствием пили холодную воду. Зажигали костры, и монахи швыряли в пламя целые деревья. Неловко подпрыгивая, монахи старались согреться не только огнем костра, но и телодвижениями. Арабы сидели неподвижно, закутавшись в свои верблюжьи плащи, и прыжки монахов казались им молениями.

— В горах и холоде,— сказал кади,— жизнь мне с трудом представляется имеющей смысл, и я понимаю христиан, восхваляющих вино. Быть может, у них много гор и им нечем согреваться? Кроме того, вино придает содержание любому бессмысленному камню.

Дрожа от холода, Джелладин говорил:

— Содержание жизни — лишь в Законе. Я не одобряю, кади, что ты ставишь вино выше Закона.

Махмуд редко вступал на скользкий путь спора. Подождав, когда спорящие, исчерпав свои аргументы, умолкали, он оборачивал лицо к востоку и из учтивости, не желая мешать песнопениям возле балдахина, заводил свою песню. Он пел о Багдаде, о его набережных, о теплых камнях, сковывающих Тигр, об его воинах, об его искусных и неустрашимых ремесленниках и торговцах, об его несравненной красоте и оружии! В синем, мерцающем блеске светился ему Багдад, а глаза его возлюбленной были синей индиго, и слезы ее увеличивали блеск их!.. Перед самым его отъездом она сказала, что ждет ребенка. Кто он будет, этот маленький иль-Каман? Оружейник? Поэт? Торговец? Воин? Или законовед вроде забавного Джелладина? Или судья вроде милого и веселого кади Ахмета? Приходила в голову песня: «Я приду к Тебе. Я приду к Тебе», но он стеснялся ее исполнить и умолкал.

Кади, выражая общее чувство, говорил:

— Порядочно!

И добавлял:

— Наискось от присутствия, где я сужу людей, есть кофейня. Твоя песня напоминает мне ее. Там приготовляют превосходное яблочное пирожное с каплей вина и ломтиками апельсина. По приезде в Багдад я немедленно угощу тебя, о поэт!

Затем они ложились спать.

XXIX

Убрус медленно приближался к столице.

Они шли долинами, где жара была умеренней, так как недалеко было море. Люди убирали жатву. Повислые парчовые кисти балдахина покрывались вялой бархатистой пылью, поднимаемой грубыми подошвами подбегающих отовсюду поселян. Жнецы втыкали свои серпы в снопы. Пастухи бросали стада. Богатые несли в подарок убрусу лучшие свои украшения и одежды, а бедняки — смиренную кисть винограда или меру пшеницы. Опять всех сопровождавших икону обносили холодной водой, от которой сладко дергало в деснах и испарина выступала на плечах Подавали воду и арабам, и кади Ахмет говорил:

— Порядочно. А помните — горы?

И все улыбались.

Благоуханная свежесть садов дышала на них. Возле дороги начали поблескивать многочисленные источники, струи которых катились по желобу, заканчивающемуся головой какого-нибудь зверя, иссеченного из камня. Дорога кишела навьюченными мулами, ослами и телегами. Это торговцы и крестьяне спешили снабдить столицу фруктами и мясными припасами. Блеяли овцы, ржали кони, гоготала птица, сквозь решетку корзин поблескивала рыба. Иногда через толпу, щелкая бичом, продирался всадник в серо-зеленом плаще и высоком блестящем шишаке с гербом. Это посланец какого-нибудь командующего армией или начальника крепости спешил доставить письмо императору.

Наконец в лицо им пахнула тяжелая и сильная прохлада. Один раз, другой. Сады на холмах расступились. Напрямик, развевая их одежды, дул решительный и свежий ветер. Перед ними был Босфор.

Кади Ахмет почтительно дотронулся правой рукой до головы и до сердца и сказал:

— Прекрасен ты, о Босфор! Из-за твоей воды пролито уже столько крови, сколь ты несешь сейчас струй. Я — слаб, и некоторые упрекают меня в чрезмерном человеколюбии. И я ничего не обещаю тебе, как только всю свою кровь, лишь бы ты ежедневно позволил мне любоваться на тебя.

— Ты — поэт, кади! — воскликнул Махмуд.

— Я — человек, — скромно ответил кади.

И Махмуд, вспомнив восклицание Даждьи: «Я — женщина», увидал глаза ее в синих волнах Босфора. Не эти ли глаза привели его сюда? И он сказал:

— Слава человеку.

— Да будет благословенно имя его, — благоговейно ответил кади.

Среди зелени и плодов мерцали белые виллы богачей. Пахло незнакомыми цветами. Процессию встречали золоченые колесницы, коней еле сдерживали искусные и сильные наездники. Кони перестукивали копытами о ровную дорогу. Корабли, влекомые бечевой, веслами или парусом, приставали к берегам, и корабельщики кидались на землю, чтоб поклониться убрусу.

Парчовый балдахин ушел от арабов далеко. Несметные толпы народа отделяли их от него. А арабы вглядывались в черное облако дыма ладана, которое теперь стлалось над местом, где шел убрус. Передавали, что корабль императора приближается.

На раскрашенном затейливо судне, похожем формой на дельфина, арабов перевезли через Босфор. Когда они переходили по мосткам на судно, кади Ахмет посмотрел вниз.

— Увы, — сказал он. — Уже не вино, а часть моря будет отделять нас теперь от Багдада.

Затем они увидали зубцы стен и квадратные и круглые башни, стерегущие Константинополь. И сердца их сжались. Стены казались им темницей. Они спросили у чиновника, сопровождавшего их по-прежнему, когда они увидят императора и когда передадут ему дружбу и привет халифа. Чиновник снисходительно ответил, что император, несомненно, их примет, но когда? Кто знает!

Арабов вели по улицам. Улицы были пустынны. Все население столицы ушло встречать убрус, Чиновник показывал им на дворцы — два высоких квадрата по бокам, а в середине, по фасаду, множество тонких, украшенных резьбой колонн. В церквах звенели неистово колокола. Иногда проходил мул, нагруженный свечами, или спешил

монах, почему-то опоздавший на встречу. И словно от звона колоколов колыхалось на рейде множество кораблей. Арабам хотелось спать, и они зевали.

Их поселили в широком и пустом доме, в предместье святой Маммы.

Они уже засыпали, когда кади Ахмет поднял свою рыжую бороду и сказал:

— Встанем пораньше и пойдем исполнять приказание визиря.

— Какое?— спросил поспешно Джелладин.

— Ты забыл? Визирь приказал высмотреть все, что полезно перенять Багдаду! Здесь, я вижу, обширное и поучительное поле для наблюдений.

Джелладин сказал:

— Неужели визирь считает возможным чему-нибудь научиться у византийцев? Я бы хотел лишь узнать одно: вели ли они особые переговоры с эмиром Эдессы?

Так, невзначай, кади Ахмет узнал о тайном поручении визиря.

XXX

Когда Махмуд проснулся, Джелладин стоял на молитве, а кади Ахмет уже куда-то скрылся.

Арабов хорошо кормили, поили сладкими напитками, кони их находились в отличных стойлах, у ворот сидел дежурный чиновник,— и все. Джелладин спросил у чиновника, скоро ли их поведут к императору. Чиновник посмотрел на них с некоторым удивлением и сказал:

— К императору попасть трудно. Он сейчас молится.

— По поводу чего он молится?— спросил Джелладин.

— По поводу того, по поводу чего следует молиться,— ответил чиновник, и разговор окончился. Джелладин успокоился: что иное мог ответить ему сын беззакония?

День был жаркий и длинный, и чувствовалось, что таких дней будет много. Махмуд гулял по саду возле дома, глядел на фонтан. Ему не хотелось ни есть, ни пить, и даже не хотелось составлять стихи. Он видел, что тоска охватывает его, и он не знал, как с нею справиться.

К вечеру вернулся кади Ахмет. Он был багров и весь покрыт пылью города, от огненно-рыжей бороды до синих, вышитых цветной шерстью сапог, превозносил византийскую кухню, точно он целый день ел. На нем был новый розовый с голубым шелковый пояс, и тыквенная

бутылка его была полна так, что пробка не входила туда. Он описывал цветных женщин: каштановых, черных, как аспидный камень, желтых, как только что раскрывшаяся водяная кувшинка, белых, как борода Джелладина...

Джелладин, видимо соскучившийся по кади, ласково плюнул в сторону.

— Пойдем вместе, и ты убедишься, ученый муж!

— Не желаю и выходить,— сказал Джелладин.— Все вокруг, как вообще у нечестивых, похоже одно на другое, и я не вижу разницы между первым моим шагом по византийской земле и вот этими, по их столице. Мне думается, что мы топчемся на одном и том же месте, хотя я уже износил подметки сапог. Мне жаль подметок: я не взял запасных, а византийцы — плохие кожевники, и подметки у них стоят дорого.

Он снял сапог и глядел на него с грустью. Визирь отпустил ему много денег, но он был скуп и жаден и не желал тратить эти деньги в Византии. Кроме того, он грустил и оттого, что византийцы наслаждаются и совсем не думают о текстах Корана. Кади говорил, как мастерски здешние повара жарят в масле тонкие ломтики мяса, предварительно вымоченного в настое разных целебных трав... Джелладин прервал лакомку:

— Пустяки!

И он начал вдруг вспоминать молодость, глядя на прислугу, которая повела поить коней. В его молодости не было ни жалости, ни забав, и казалось, что все его радости заключались лишь в том, чтобы хорошо вызубрить уроки и лучше всех сдать экзамены. И больше всего он радовался, что вместо тонкой книги ему выдавали толстую, а после толстой — необъятно огромную. Ему было шестнадцать лет, когда ученейший муж Зади иль-Азари, составитель сорока учебников, хотел поймать его на ошибке в толковании 36-й суры. Но Джелладин не сдавался, настаивал, и ученейший муж должен был сказать наконец, что Джелладин прав. И думалось, что Джелладину никогда не светило солнце, не улыбались женщины, он никогда не садился на коня, и невольно хотелось спросить: ну, почему у тебя шестеро детей и почему они живут с тобой, а не убежали хотя бы в пустыню? Рассказ его был неистово длинен и скучен, но когда он окончил его, кади Ахмет, обшаривавший себя, точно его кусали блохи, сказал оживленно:

— Подожди, у меня, кажется... впрочем, ты прав — пустяки!.. Вернемся к твоим рассказам. Ты говорил печальное, Джелладин, ибо любая казуистика, даже казуистика любви, печальна. И все же я слушал тебя с удовольствием! Пусть твои науки сомнительны, ценность твоих занятий — невелика, но ты пытался мыслить, а это очень хорошо! Печальнее, если грядущие поколения думали бы о нас, что мы только резали друг друга, рыча от наслаждения и злобы, подобно диким зверям, когда их кормят сырым мясом. Мы все же думали! Мы даже думали, что мир можно устроить лучше, да и надо устроить лучше. Разумеется, мир этот еще темен для нас, и светильник наш, при помощи которого мы двигаемся вперед во тьме, еле-еле теплится. Но тем не менее и мы думали о благе потомков! И когда, быть может через тысячу лет, до наших потомков, дойдут стихи Махмуда,— а они, я уверен, дойдут,— мне бы хотелось: пусть потомки поймут — мы не потому жаждали уничтожения Константинополя, предания его огню и позору, что он богат, славен и мы завидуем ему, а потому, что здесь много зла, пиратов, работорговцев и мучителей истины, мошенников! У меня, например, как я сейчас обнаружил, выкрали кошелек.

Махмуд захохотал.

— Я знаю, над чем ты хохочешь, Махмуд. Тебе кажутся нелепыми мои сопоставления? То хвалил византийскую кухню, вино, женщин, а вдруг обнаружил кражу кошелька и принялся обличать! Я вижу зло, но я редко говорю о нем, так как верю, что зло испаряется от правды, как вода от лица огня. Сейчас же мне хочется высказать пожелание, чтоб потомки наши видели — мы хоть немножко, но лучше византийцев. Мы — арабы. Византийцы называют себя наследниками древних эллинов, но кто сохранил Аристотеля, Платона? Мы. Кто сохранил эллинскую простоту жизни, наивность, прямодушие? Мы. Арабы. Я люблю людей, хотя моя профессия по странной игре судьбы создает мертвецов и заключенных. Но вот сегодня, за один день шатаний по Константинополю, я видел здесь жестокосердия, деспотизма и ханжества больше, чем за прожитые в Багдаде пятьдесят лет. И зло Багдада кажется мне трещоткой сторожа по сравнению с оглушающим прибоем константинопольского зла, и я искренне разделяю твое мнение, Махмуд, что Византию следует уничтожить. И с завтрашнего дня я пойду в город с твердым намерением — не пить ничего, кроме воды,

не глядеть на женщин и отворачиваться от лакомств, питаясь моей сухой лепешкой. Последний раз,

Он сделал из своей тыквенной бутылки большой глоток.

— ...я пью этот настой. Отныне баклажка будет полна только влагой родника. Я подробно разгляжу и опишу гнездо византийского зла: их вооружение, их способы торговли, их систему укреплений — и, быть может, доберусь до тайны «греческого огня», которым они жгут суда своих противников. Будет записана оснастка кораблей, количество боевых припасов, все солдаты! Я запишу каждую их стрелу и ощупаю вот этими пальцами, которые — глупые!— стремятся щупать только женщин и держать вино,— ощупаю каждую тетиву и дерево их луков!

— Иду с тобой!— воскликнул Махмуд.

— Да, да, идем вместе. Ты больше меня понимаешь в вооружении. О мошенники! Вам будет горько вспомнить о моем приезде сюда!..

И он отхлебнул из бутылки.

— Аллах да осветит ваш путь,— сказал Джелладин.— Конь растряс меня, и я чувствую слабость. Но через день или два я оправлюсь и пойду с вами. Аллах видит праведных и помогает им. Мы свершим великое.

— Да, да, аллах!— сказал кади.— Аллах, несомненно, велик... но так же несомненно и то, что через тысячу лет потомок наш улыбнется, читая учение пророка, находя его наивным. Однако мне думается, что в этом наивном учении потомок найдет крупинки истины и добра, из которых, через тысячу лет, могла быть вылита огромная золотая гремящая чаша жизни, полная вином творчества...

И он добавил, печально глядя в пустое дно бутылки:

— ...в то время, как я пил обыкновенное и довольно дешевое вино!

— Что?— сказал грозно Джелладин.— Потомки улыбнутся? Учению пророка? Учение пророка — вечно. И лучше нам не плодить детей, чем думать, что дети детей наших будут улыбаться над тем, над чем мы плачем от восторга!

— Я хочу сказать только, о неподвижная звезда Закона, что, несомненно, придут другие пророки, которые еще более ясно и отчетливо укажут пути добра, истины и честности, пути освобождения людей от зла...

— Вздор! Если не вечно учение пророка, то, значит, не вечен и аллах? Ты это хотел сказать, кади?

Кади испуганно пролепетал:

— Я и не думал говорить такое...

— Пьяный глупец. Иди спать. Я прощаю тебе твою болтовню потому лишь, что у тебя пробудились высокие стремления.

— Возблагодарим аллаха,— сказал кади, поспешно укладываясь на ложе сна,— да будут наши молитвы к нему многочисленны, как зерна проса, и красивы, как крутой раскат куска атласной материи.

— Да будет так,— проговорил Джелладин, благочестиво проводя правой рукой по своей длинной седой бороде.

XXXI

Махмуд поверил, что кади Ахмет и на самом деле намерен изучить до дна весь Константинополь. Махмуд встал с восходом солнца. Кади спал долго. Затем он совершил сложное и несвойственное ему омовение и молился так, будто ему впредь и не придется совсем молиться. Затем он думал и выбирал чистый пергамент для записей и, сказав, что лучше не брать пергамента, чтоб не наводить византийцев на лишние мысли, поднялся. Но пошел он не на улицу, а к фонтану. Он наполнил водой свою бутылку, прополоскал ее, понюхал.

— До омерзения пахнет вином,— сказал он и принялся вновь ее полоскать.

Наконец бутылка показалась ему чистой, и он прицепил ее к поясу.

— Удивительно,— проговорил он,— бутылка стала очень тяжела.

И он отлил из нее.

Затем он разглядывал своего мула, а мул его. Он думал: ехать ли ему верхом или направиться пешим? Верхом — почтеннее для посланца халифа, пешим — незаметнее. С одной стороны, надо соблюдать достоинство, с другой — незаметность действий. Затем он начал рассуждать: пойдет с ними чиновник, сидящий у ворот, или нет, и нужно ли говорить чиновнику, куда они уходят? Затем он начал жаловаться на жару, потому что солнце уже стояло высоко и старому его сердцу будет трудно переносить пекло, когда все неверные сидят в тенистых кофейнях.

Махмуд молчал.

Кади Ахмет сказал:

— Мне нравится твое открытое лицо и твоя чистосердечность, Махмуд. Ты говоришь смело, свободно. А мне, если нужно купить сыру на одну монету, приходится покупать на три.

Наконец они вышли за ворота, Кади Ахмет сказал, глядя на чиновника:

— Если он примет нас за дураков и пьяниц, это хорошо. Но мы не будем пить, и он примет нас за соглядатаев, а законы для соглядатаев в Византии очень свирепы. Лучше всего, пожалуй, взять его с собой. Ведь не столь важно то, что ты видишь, сколь важно — насколько осмысленно ты видишь! Возьмем его? Тогда нас никто не заподозрит в соглядатайстве.

— Он спит.

— Спит? Счастливец. Спать в такую жару очень приятно. Я его разбужу и хоть этим немного отомщу мошенникам, укравшим у меня кошелек. И его замучаю, водя за собой!

Пот капал с его рыжей бороды. Махмуд, жалея его, все же твердил:

— Нужно идти. Пойдем.

Наконец кади сказал:

— Пойдем! Но как? Пешком — невыносимая жара...

— Тогда поезжай на муле.

— Назовут, повторяю, соглядатаем.

— Пойдем пешком, медленно.

— А честь Багдада? Что мы — слуги, ходить пешком?

Махмуд схватил его за рукав и повел.

Кади вскричал:

— Ты берешь на себя всю вину, веди меня!

— Да беру.

— Но я гублю тебя! Такого поэта!

— Вся вина на мне, учитель.

— Учитель? Если учитель, и старше тебя, я должен тебя образумливать!

Так дошли они до рейда. Увидав вблизи множество морских судов, приплывших сюда из Вавилона, Шинара, Египта, Ханаана, купцов из Индии, Персии, Венгрии, страны печенегов и хазар, воинов Ломбардии и Испании; увидав бочки с медом и вином, кипы льна, полотна, шелковых тканей и нежнейших сирийских материй, длинные слитки пахучего и желтого воска; увидав менял, монеты всех стран Европы и Азии, склады золотой и серебряной парчи и восточных пряностей,— кади Ахмет всплеснул руками, как ребенок, и радостно вскричал:

— Аллах! Ты освежил мое сердце красотой мира. Я тебе очень признателен, Махмуд, что ты привел меня сюда. Бегущая жизнь ускользает, и как приятно отведать ее бег.

Он, по привычке, достал бутылку, глотнул. Лицо его изобразило отвращение.

— Какая гадость! Кто мне сюда налил воды? Испытывая такой восторг, разве можно пить воду? Зайдем на минуту в эту кофейню.

— Мы увидали корабли, а теперь должны встать с ними бок о бок. Солнце на полдне, и нам много дела. Кофейни посещают после труда. Нужно посмотреть, как и где расставлены матросы и командиры. Из какого дерева построены корабли.

— Зачем?— спросил кади.

— Чтобы запомнить, записать и передать все визирю.

— Разве мы корабельщики, чтобы знать и понять корабли? Разве мы первые арабы, приехавшие в Константинополь? В молодости визирь и сам бывал здесь, однако мы не читали его записей. Для того чтобы понять корабли и их силу, нужно пойти в мастерские порта...

— Хорошо, мы пойдем в мастерские.

— Сегодня?

— Сейчас!

Они осмотрели правительственные верфи. Кади Ахмет, пыхтя и страдая жаждой, шел за Махмудом между обрезками досок, основами кораблей, по опилкам. Пахло смолой, всюду валялись куски пеньки, раскрытые бочки со смолой, и никто не обращал на них никакого внимания, так что казалось, возьми они все, что здесь лежит, некому будет и слова сказать. Между тем в работе виден был большой порядок, и по всему чувствовалось, что работают владыки морей.

— Ты уразумел что-нибудь?— спросил кади.

Махмуд ответил откровенно:

— Очень мало. Я вижу лишь силу.

— Вернее сказать, ум. Ум зла. Но мы увидали этот ум и вне мастерских. Нам же нужно понять лад их работы, а здесь это трудно. Не пойти ли нам в другие мастерские?

— Куда?

— Например, в монетный двор. Монета — весьма важная составная часть государства, и визирь будет признателен нам, если мы откроем ему способ изготовлять множество дешевых монет.

И они направились в монетный двор. Осмотрев его, кади сказал:

— Теперь мы можем сказать, как легко изготовлять монеты. Но мы не сможем сказать, откуда брать золото для монет. О монетном дворе лучше умолчать. Пойдем в гинекеи, изготовляющие весьма высокие сорта пурпурных и шелковых тканей. Халиф так любит пурпур, а визирь — шелк!

— Пойдем.

Кади посмотрел на солнце:

— Ого, близок закат, а мы еще не ели.

— Успеем, успеем,— торопил его Махмуд.

— Ты успеешь, потому что ты молод, а я уже могу опоздать. Смотри, какая уютная и прохладная харчевня, как пахнет вкусно мясом и как приветливо лицо продавца! Я не встречал в Византии таких милых лиц! С ним будет любопытно побеседовать.

— Позже, позже.

Из гинекей они вышли грустные и усталые.

Махмуд сказал:

— Мои знания ничтожны, и я не могу охватить знаний византийцев. Зачем я сюда приехал?

— Мы меряем пространство и время, чтобы учиться,— сказал кади.— Мы научимся.

А в глазах Махмуда мелькали поставленные один на другой бочонки, скрепленные обручами из ивы и наполненные дубильным орешком; ящики с камедью, растительным клеем для проклейки тканей; холмы каменной соли; потрескивали станки, сновали мастера, поправляя челноки; звучал голос надсмотрщика мастерской, почему-то хваставшего, что дом покрыт штукатуркой из смеси извести, песка и цемента, который доставляется сюда из Пелопоннеса Таврического. Где находится Пелопоннес Таврический? Махмуд не знал даже этого.

Сквозь улицы и крепостные ворота виден был Босфор, два корабля, скрепленные цепями, грузчики, перетаскивавшие товары на пристань, и много ласточек, скользивших над недвижной серо-зеленой водой. Здесь же, над головой, назойливо жужжа, кружился крупный шершень. Откуда он? И что мы знаем в этом огромном мире?

Между площадью Августион и Тавром, на улице Меса, они увидали множество мастерских, где изготовлялись на продажу драгоценные и редкие товары: вышитые золотом, малиновые, или цвета морской воды, или цвета черного

янтаря, или желтые ткани; женские уборы из дорогих камней; изделия из бронзы и серебра: византийские эмали и мозаичные иконы; тонкие сосуды из стекла. Продавалась слоновая кость дивной резьбы; прозрачные и блестящие платья из Фив и Пелопоннеса.

Они стояли долго, рассматривая все это, и один торговец, глядя на них, спросил другого:

— Зачем они смотрят?

А другой ответил:

— Они смотрят и ужасаются золоту. Золотом, которым мы обладаем, мы поведем против наших врагов силы всей Европы и Азии. И мы разобьем наших врагов, как глиняный горшок. И они будут подобны глиняному горшку, который уже не починить, потому что он из глины.

Махмуд, услыша эти слова, сказал печально кади Ахмету:

— Пойдем в кофейню.

И ни он, ни кади Ахмет, ни один торговец и не другой еще не знали, что князь Игорь переправился через Дунай и что если раньше отступали отдельные части византийского войска, то теперь оно стремительно бежало все.

XXXII

Махмуд, отхлебывая кофе, молча смотрел на узор ковра, себе под ноги. Кади наполнил свою тыквенную бутылку вином, нашел его приятным и теперь наслаждался, заткнув за пояс полы своего кафтана, беседой с женой владельца кофейни. Владельцу кофейни, бывшему переплетчику книг, он говорил, что в Багдаде книги глянцуют не яичным желтком, а на смеси бычьей крови с перцем, жене — что у нее такие глаза, которые способны лишить сна любого из смертных, и что теперь в бессонные ночи он будет приходить в их кофейню. Женщина хихикала, кади касался ее плечом. Муж смотрел на это спокойно и деловито.

Поболтав, кади молодцеватой походкой, браво выставив грудь, вернулся к Махмуду. Махмуд сказал:

— Византия знает больше, чем мы...

— В наслаждениях? Да.

— В науке войны и торговли! — сказал Махмуд.— А нам надобно знать больше. С чего начинать? Как поглотить науку Византии?

— Ты ошибаешься, Махмуд,— сказал кади.— Нас послали смотреть, а не поглощать науку Византии. У них

языческая наука! Если бы народы учились друг у друга, им бы некогда было драться. Разве мы с тобой можем узнать самое главное?

— Что здесь самое главное?

Кади прошептал ему на ухо:

— «Греческий огонь». Тайна его — для нас с тобой неперевapима.

Он икнул и сказал:

— Мясо оказалось тоже неперевapимым. Оно пережарено! Хозяин! — крикнул он. — Дай мне крепчайшего вина. Мясо ты пережарил, и я обязан запить его.

Хозяин принес высокую глиняную кружку с вином, кади отхлебнул и улыбнулся:

— Порядочно. — И он сказал Махмуду: — Если б визирь дал нам очень много денег, руководителя поумнее Джелладина и тысячу писцов, мы б и тогда чувствовали себя бедняками и нуждающимися. Вчера я ходил по мастерским, где скорописцам диктуют книги. Какие здесь прекрасные каллиграфы, Махмуд! Я пересмотрел много книг. Император Константин, собрав вокруг себя много ученых и поэтов, составил громадные собрания книг по военной тактике, сельскому хозяйству, медицине, придворному церемониалу. Есть пятьдесят три книги, рассказывающих историю Земли от начала до наших дней! Я выбрал одно довольно дорогое сочинение, принадлежащее перу самого императора. Оно называется «О фемах» и разбирает вопросы географического характера, говорит о составе империи, о ее краях, людях...

— Визирю такая книга понравится. Ты купил ее?

— Если бы я ее купил, визирь, развернув книгу, бил бы ею меня по голове до тех пор, пока не истрепал бы и книгу, и мою голову. Ты не найдешь там сведений о Византии новейшего времени! Книгу написал сам император, а однако, о хитрец, он сообщает в ней сведения, относящиеся еще ко времени императора Юстиниана. Нового в ней только название да указание деления провинций, что мы знаем и без книги. Когда я выходил из квартала переписчиков, у меня выкрали кошелек.

— Что же делать? — спросил в отчаянии Махмуд.

— А делать то, что делает Джелладин: не обращать на византийцев никакого внимания. Народы как подогреваемая жидкость, — они закипают тогда, когда будет достаточно тепла, и здесь-то обжигают все, что нужно обжечь. У тебя есть способность к стихам. Пиши. Это тоже

подогревает народы. Арабы уважают стихи,— после оружия.

— Никто не знает моих стихов!

— Узнают.

— Когда?

— Когда нужно.

— А пить вино, ласкать женщин, которых не любишь, балагурить где попало,— тоже подогревает народ?

— Радость — это втулка, которой держится колесо.

— Прости, кади, но мне твои мысли кажутся безнравственными.

— Отлично. Ты иначе и сказать не можешь. И быть может, придет время, когда ты проклянешь меня, а если будет твоя власть, то и повесишь или посадишь в клетку возле ворот визиря, которому ты будешь первым другом. Все зависит от того, скоро ли придет новая война. И, однако, я прав. И ты — тоже прав. И если в Багдаде будут долго существовать такие люди, как ты и я, Багдад победит византийцев. И всегда, при всех горестях, я с удовольствием буду вспоминать твою дружбу.

Он допил кружку и сказал:

— Зачем огорчаться незнанием? Учись, и знание придет. Византия для нас с тобой сейчас как то странное лицо, которое мы сопровождали сюда до Константинополя и которое не могли увидать, так как парчовый балдахин был слишком плотно закрыт для нас. Ни буря, ни жара, ни ветры не распахнули его, а между тем я знаю его.

— Откуда?

— Мне вспомнился рассказ какого-то перса об этом пророке Иссе. Не знаю, насколько достоверен рассказ, но мне приятно было его слышать. Шел пророк Исса среди цветущих полей. На пути его лежал разлагающийся труп пса. Ученики содрогнулись. Но пророк Исса сказал им: «Зачем содрогаетесь и отшатываетесь? Вглядитесь в зубы пса. Он скалил их, защищая своего друга, и теперь они остались прекрасными, как жемчуга, даже на этом гниющем трупе».

Махмуд сказал:

— Меня грызет тоска.

— Да, здесь мы с тобой сейчас как зерна, выпавшие из мешка. Быть может, нас склюют птицы, а быть может, мы и прорастем. Кто знает?— И он, улыбаясь, сказал:— Все-таки жалко, что ты так резко и быстро отша-

тываешься от любви, точно это падаль. Я бы мог познакомить тебя с одной прорицательницей, в области любви, разумеется. Но ты бежишь женщин, а это в твоем возрасте просто опасно! А почему бежишь?

— Я люблю,— внезапно для самого себя выговорил Махмуд.

Кади Ахмет даже покачнулся:

— Неужели я так много выпил?

— Я люблю,— повторил Махмуд.

— Почему же ты так долго не сознавался? Или ты любишь женщину чрезвычайно высокого положения? Дочь визиря, быть может? У него три дочери, и они красавицы. Которая из них? И где ты ее видел?

— Она не дочь визиря.

— Аллах! Тогда она дочь халифа?

— Она не дочь халифа.

— Но она умна?

— Да. Ее наущением составлена моя речь перед визирем.

— Ого! Кто же она? Я не слышал в Багдаде о таких умных женщинах. Быть может, иноземка?

— Да.

— Жена какого-нибудь проезжего князя? Торговца из Индии? Наемного витязя? Строителя дворцов? Морского пирата?

— Она рабыня.

— Чья?

— Моя бывшая рабыня, а теперь жена. Я жду от нее ребенка.

— Та, которую купила госпожа Бэкдыль?

— Да.

— Та, которая упала на рынке головой вниз? Та, владелец которой был судим мною?

— Да.

Кади крикнул хозяину кофейни:

— Еще кружку вина!

И, не дожидаясь кружки, он хлебнул из тыквенной своей бутылки, а затем сказал, весело блестя глазами:

— Махмуд! Ты женился на ней благодаря моей сообразительности и тому, что я понимаю толк в женщинах, даже когда они лежат у меня в присутствии, словно грязная ветошь. И верь моей проницательности, Махмуд. Ты будешь с нею счастлив, и доживешь до глубокой старости, и будешь обладать богатством и по-

четом и, вдобавок, веселостью, которой владею я. Кружку тебе, Махмуд.

— Я не пью.

— За ее здоровье. Опусти губы в вино. Его губы сладки, как губы возлюбленной.

Махмуд прикоснулся губами к вину.

Кади Ахмет сказал:

— Я до сих пор не знаю, откуда она. Кажется, из Египта?

— Она из страны Русь.

— Вот как! Стало быть, она проезжала через Константинополь? Не училась ли она здесь?

— Нет, она училась у себя, в стране Русь.

— Вот видишь! И заставила визиря выслушать тебя, и приготовила тебе речь. Значит, не только в одном Константинополе царит ум и наука? Есть где-то и еще? Есть наука и в Багдаде, Махмуд. Надо лишь ее увидеть. И ты увидишь. Жена поможет тебе. Так ты говоришь, она из страны Русь? А ведь в Константинополе есть торговцы со всей Европы. А значит, есть торговцы и из страны Русь? Найдем их! Узнаем о здоровье ее родных... об ее стране. Ого! Смеешься? Видишь, и в Константинополе можно найти радость! Я рад за тебя, Махмуд, я очень рад за тебя. Любовь редка, береги ее. Выпьем? Пей, пей, теперь и аллах нам разрешает!..

XXXIII

Джелладин задумчиво чертил прутиком на песке ровные линии. Резкая светло-лиловая тень навеса оканчивалась как раз на его тонких желтых руках и, казалось, трепеща Закона, не осмеливалась двигаться дальше. Против него, прямо на горячем, словно плавящемся от солнца песке, сидел византийский чиновник в высоком войлочном черном колпаке, под которым лицо его казалось зеленым, похожим на неспелую дыню.

Византиец и Джелладин молчали, и видно было, что молчание доставляет им удовольствие, и византиец с таким умилением глядел на ровные линии, проводимые Джелладином, словно чувствовал сквозь них какую-то дивную мелодию, над которой можно рыдать.

— Мир вам,— сказал Джелладин, не поднимая головы.

— Мир и тебе,— ответил кади, понимая, что между Джелладином и византийским чиновником произошло что-то важное.

Чиновник поднялся и, важно пожелав посланцам халифа спокойной ночи, ушел.

Джелладин, сровняв прутиком линии на песке, сказал:

— Корыстолюбивы. Все продажно. Много золота — много наемников. Привези ты больше золота, наймешь их вместе с их наемниками.

— Да, да!— подхватил кади.— Город большой, но мелочной. Ты уговаривался с чиновником о приеме нас императором?

— Нет, о другом,— неопределенно ответил Джелладин.— Он дорожится.

— Что — деньги?— молодцевато воскликнул кади.— Они хрупки, как трава осенью.

— Деньги принадлежат Закону.

— Да, да! Но я не люблю борьбу деньгами. Легко поскользнуться, как на мокрой апельсинной корке.

И кади продолжал:

— Есть три вида борьбы. Или Исав, боровшийся с богом или Прометей — с Зевсом. Второй вид — борьба с наводнением или с саранчой, когда полезно призывать доброго духа Шерлаха. К этому же виду борьбы относится борьба на поле брани. И отчасти борьба деньгами. И, наконец, третий вид — борьба для забавы, из которой я больше всего предпочитаю борьбу на поясах. Видел ли ты эту борьбу, Джелладин?

— Видел. Мне было пятнадцать лет, и мои товарищи по школе боролись во дворе медресе. Я в тот день превосходно ответил учителю и позволил себе посмотреть на борьбу. Я был доволен собой.

— И борьбой, наверное?

— Не помню.

Кади вздохнул, с сожалением и страхом глядя на Джелладина, и продолжал:

— Первый вид борьбы, вроде борьбы Исава или Прометея, прельщает меня, но я слаб, боюсь, что не выдержу, и все откладываю борьбу. Второй вид борьбы доставляет мне меньше удовольствия. Привыкши размышлять над свершающимся, я опасаюсь, что, пока я выбираю лучшие способы борьбы, наводнение снесет мой дом, саранча сожрет мои поля, вражеский воин проломит мне голову, а что касается денег, то разорюсь я обязательно. Поэтому я наслаждаюсь невинной борьбой и весь дрожу от страсти, когда два борца таскают друг друга по земле. Пояса скрипят, от борцов идет пар и пот, и

земля вокруг них влажная!.. Махмуд, я слышал, ты умеешь бороться на поясах?

— Работа у наковальни закалила меня. Но бороться мне приходилось редко: я все время работал или составлял стихи.

— Побеждал ли кто-нибудь тебя?

— Никто.

— Видишь, Джелладин! — воскликнул кади.— Его никто не побеждал в Багдаде. Неужели ты допускаешь мысль, что его победят в Константинополе?

— А если мы победим византийцев? — сказал Джелладин.— Они обидятся. Я узнал, что византийские войска недавно разбиты на Дунае русским князем Игорем. Византийцы просят у русских мира.

— Вот как!

— Византийцев сейчас лучше не раздражать.

— Я согласен с тобой, Джелладин. Тогда Махмуд будет бороться не с византийским борцом, а с кем-нибудь из гостей.

— Например?

— В предместье Маммы, неподалеку от нас, живут русские купцы. Русские ходят свободно. Мы сейчас шли мимо их подворья, они веселились, пели песни, и Махмуд услышал что-то знакомое... Джелладин, подумай! Византийцы узнают, что мы побороли русского богатыря. Доносят императору. Император пожелал нас увидеть. Ты говоришь императору все, что тебе приказал визирь...

— Мысль недурна.

— Вот видишь!

Кади Ахмет привык на суде читать мысли по лицам. Мысли Джелладина совсем не сложны. И кади решил пооткровенничать:

— А у нас есть частная заинтересованность в этой борьбе. У Махмуда подруга — русская, из дружины князя Игоря. Она хочет узнать, что делается в стране Русь.

— Это мог бы узнать и я,— пробормотал Джелладин.

«Через кого?» — хотел было спросить кади, но удержался. Понятно и без вопроса. Джелладин пообещал византийскому чиновнику золото, которое вложено в пояс Джелладина визирем. Чиновник выдал ему голову эмира Эдессы, указал на человека в Эдессе, ведшего тайные переговоры с византийцами...

Кади Ахмет поспешно сказал:

— Так и должно быть. Русские купцы придут сюда, и

ты порасспросишь их, о толкователь Закона! Подругу Махмуда зовут Даждья, она дочь князя Буйсвета... какие трудные имена!

Джелладин сказал:

— Мне не нужно имен. Зачем я буду вмешиваться в частные дела? Поручил ли вам это визирь?

— Нет.

— И спрашивал ли ты у него разрешения на упоминание имен?

— Зачем я буду лезть к визирю со всяческой мелочью?

— Ты же сам назвал этот город мелочным. Здесь всякая мелочь приобретает вид Закона.

— Но это просто любовь! Она хочет знать — что и как на родине?

Джелладин сказал:

— Любовь? Я не представляю себе, что такое любовь. И вам не советую. Визирь ничего не говорил мне о любви.

— Но он ничего не говорил и о борьбе на поясах!

— Борьбу на поясах я разрешаю. Но любовь... любовь, по-моему, глупость и вред.

— Сам пророк Магомет любил! — воскликнул Махмуд.

— Молчи, дурак,— сказал Джелладин.— Что ты знаешь о пророке? Поучись столько, сколько я, и тогда рассуждай!

Махмуд раздражал Джелладина. Он раздражал его своим громким голосом, важными движениями и тем, что никогда не советовался с ним, как и где расположить на отдых конвой и какой соблюдать церемониал при встрече с византийцами. Поэт? Трезвонит и трещит. Песни о Багдаде иногда трогательны. Но все, что говорится о родине на чужбине,— трогательно. Кроме того, Джелладин не мог простить Махмуду его внезапного появления и речи перед лицом визиря. И теперь — победи Махмуд в состязании, дойдет его победа к императору, а значит,— дойдет и до халифа. Возможны награды от халифа... Но награды возможны и Джелладину, разрешившему борьбу с русским богатырем?

И Джелладин еще строже добавил:

— Смотри, не вздумай свалиться в борьбе.

— Не свалюсь,— ответил, смеясь во весь рот, Махмуд.— Скорее ты свалишься от злости.

И, не слушая брани Джелладина, пошел мыть, со ску-

ки, своего коня. Конь, подаренный ему визирем, был вороной, молодой, трепетно-неугомонный, и по совету кади Махмуд дал ему имя Пегас, хотя не знал толком, что значит это слово.

XXXIV

Накануне, перед приходом русских, Махмуд спал плохо. То мерещился ему Багдад, его домик, крыша и синие глаза Даждьи. Ей скоро рожать. Как то пройдут роды? Махмуд пытался представить личико своего ребенка — и не мог. Ему все виделся почему-то ребенок лет пяти, круглый, черноволосый, но с синими глазами — в мать... То вдруг с удивительной отчетливостью представлялись ему картины путешествия с убрусом, и особенно — горы. Горы под скользящей среди туч луной — синим-сини. Дует ветер, и пламя огромных восковых свеч отклоняется, и видны расходящиеся пятна света, падающие то на камень, то на голову монаха, то на длинный посох, с которым идут священники. Золотые кисти балдахина очень чисты и кажутся слитками золота, ветер их двигает осторожно, точно пробуя их тяжесть...

Под вечер пришли русские купцы. В саду, возле фонтана, нашли площадку и стали ожидать кади Ахмета, который ушел еще с утра наполнить свою баклажку и не возвращался.

Русские были рослые, красивые люди, а богатырь Славко был на голову выше всех, и казалось, глядя на него, что и нет выше его людей в Константинополе, хотя по столице ходит очень много сильных и рослых людей. Махмуд был значительно ниже, но плечист и крепок на ногу, что в борьбе немаловажно. Махмуд глядел на русского богатыря, слегка побаиваясь, а того больше желая помериться с ним силой.

Хотелось и поговорить с русскими. Но византийский чиновник сказался не знающим славянского языка, хотя в Византии обитало очень много славян: они заселяли и Фракию, и Македонию, и Фессалию, и Эпир, и жили в Аттике и Пелопоннесе, даже возле самых ворот Афин, в Элевзине, были славянские поселения. Джелладин, ссылаясь на занятость, обещал выйти только к самой борьбе. Конвойные, опасавшиеся влияния злых духов, которые невидимо стоят за плечами язычников, держались в стороне. Махмуд остался возле русских один.

Русские принесли с собой дубовый бочонок с медом и угощались. Борцу меда не давали, чтобы тот не ослабел

перед состязанием. Опасения эти подбодрили Махмуда. Понемногу он осмелел, подошел к русским поближе, стуча себя в грудь ладонью, сказал одному седоусому и, как ему думалось, самому почтенному и понятливому:

— Даждья!

Он знал, кроме того, и еще несколько слов, слышанных от Даждьи, но все они относились к любви, и он боялся показаться старику легкомысленным. Он повторил:

— Даждья! Князь Буйсвет!

Старик сначала смотрел на него строго, но затем заулыбался и, показывая на восток, спросил:

— Даждья — в Багдаде?

— Да, да. Багдад — Даждья!..

Старик начал было выспрашивать его, но тут прибежал кади Ахмет, исцарапанный, помятый. Новая одежда его была вся в лохмотьях. Он оттащил Махмуда в сторону и спросил:

— Ты что у них спрашивал?

— Говорил о Даждье...

— Так я и знал! Зачем торопиться, зачем? Что, ты не мог подождать меня?.. А в рассуждениях Джелладина есть доля правды. Это очень печально, но его надо опасаться, Махмуд.

— Я ей обещал!

— Мало ли что мы обещаем женщине! — И он сказал, оглядывая себя: — Я знал, что одежды снимаются. Но я не подозревал, что они делятся на столько частей! Я начал уже было думать сегодня, что между мной и голым человеком трудно найти различие...

— Тебя били, кади? Кто?

— Ах, Махмуд, женщины так неосмотрительны и так легкомысленно назначают свидания! Бить? Меня хотели бить, но я подставлял византийцам другую часть тела, противоположную той, которую они хотели бить! И, таким образом, они были опозорены и обмануты. О, я их отучил драться!.. Женщина, правда, была недурна, вино — превосходно, и я выпил его столько, что не смог заплатить! Кто они? Этот вопрос был бы отвлекающим в сторону, если б я сейчас не догадался, что меня били справедливо.

Он поднял многозначительно палец вверх и тихо сказал:

— Она живет возле храма святого Ильи, и когда приезжие не отвлекают ее от основной работы, она шьет. Она — швея!

— И что же?

— А то, что благодаря ей я сделал величайшее открытие, за которое визирь будет мне несказанно признателен. Он был прав, этот визирь, советуя мне наблюдать! Все сделано, Махмуд, мы можем возвращаться спокойно. Она зашивала мне изорванные в драке штаны и полу кафтана... Я взглянул... О Махмуд! Я захлебываюсь от счастья! Я открыл...

— Тайну «греческого огня»?

— Больше! Гораздо больше! Пусть поднимет тебя в твоем состязании мое открытие, оно очень велико. Я не открою пока тебе этой тайны, но помни, Махмуд, что Багдад отныне победил!

Появился Джелладин.

— Начинайте борьбу,— сказал он.

Борцы схватились.

Теснили друг друга к краям площадки, обсаженной самшитом, позади которого высились кипарисы. Выкидывали на средину. Волочили, быстро и легко дыша, через всю площадку. Взрыли землю, обнажив корни деревьев, и сразу же, ногами изучив расположение корней, стали на них опираться, а затем и вырывать. Русский приподнял, оторвав от земли, араба. Араб пальцами ног ухватился цепко за корень. Русский рванул, и корни потащили за собой кусты самшита. Русский отбросил ногой кусты в сторону, но ему для этого надо было скосить глаза, а в это время араб уже оторвал его от земли, дернул в воздух... Толпа охнула:

— Перун!

— Аллах!

Русский изловчился, и опять он на ногах. Опять тискают, таскают, крутят, вертят. Упали оба на кипарис, и высокое дерево зашаталось, покренилось.

Толпа, тяжело содрогаясь, яростно дышит! Даже византийский чиновник, потеряв самообладание, сорвав с головы черный колпак, мнет его в руках и кричит:

— Русь, Русь, хорошо!— И через мгновение:— Араб, араб, хорошо!

В самый разгар исступленной схватки, когда зрители, дрожа от волнения, жадно ловили и расценивали каждое движение борцов, когда опустел не только дом, но и весь квартал, а деревья сада и окрестные крыши были усеяны любопытными, и мальчишки визжали так, что их слышал весь Константинополь, сквозь толпу пробрался розовый

живчик юноша. Живчик что-то быстро прошептал на ухо седоусому почтенному русскому.

Русский старик громко крикнул.

И тогда русский богатырь вдруг снял свои руки с пояса араба.

Махмуд глядел на него недоуменно. Разве нарушено какое-нибудь правило? Или кончился срок? Ведь борьба назначена без срока?

А русский, пошатываясь от злости, но послушный, шел за своим стариком.

— Куда он?— спросил Махмуд, шагая за русскими.

Византийский чиновник преградил ему путь и сказал:

— Сенатор и друг императора господин Аполлос, уважаемый и почитаемый, пригласил к себе немедленно русских купцов.

Чиновник направился к своей скамеечке возле ворот, а кади Ахмет сказал:

— Говорят, князь Игорь потребовал немедленной выдачи своих задержанных византийцами купцов, грозя в ином случае прервать переговоры. Жаль! Борьба была славная.

Джелладин повернулся к Махмуду и злобным, свистящим шепотом прошипел:

— Бороться б тебе смелей и лучше, русский лежал бы на траве, а нас бы уже пригласили к императору. О, сын шакала и гиены!

— Я!..

Махмуд схватился за меч. Джелладин побежал в дом, проклиная самоуправца, а кади Ахмет сказал:

— Никогда не нужно обнажать оружие против Закона, даже когда Закон злится.— И вздохнул:— Но мне все-таки печально, что ты не зарубил его. Он становится отвратительным. Еще твое счастье, что он не знает и не узнает, о чем ты говорил с русскими купцами.

— Они вернутся?

— Кто?

— Русские. Я хочу бороться.

— Где хочешь ты, там не хотят византийцы. Я думаю, что русские не вернутся.

— Но поняли ль меня русские?

— А зачем? Печальней, что ты не узнал, как живут родственники Даждьи в стране Русь. По-видимому, мы скоро вернемся в Багдад, и хорошо бы облегчить твоей жене роды, привезя ей весточку с родины. Не знаю, ка-

ково тебе, а я уже тоскую по своей старухе. Да, мы скоро вернемся, Махмуд.

Но вернулись они не скоро.

Три месяца ждали они встречи с императором. На четвертый им сказали, что император отсутствует, а их примет друг императора, сенатор господин Аполлос. Господин Аполлос говорил с ними ласково, однако подарки его были жалки. В заключение приема он пожелал посланцам халифа счастливого пути и сообщил, что вслед за ними к халифу едет особое посольство, которое везет письмо императора, дары и пожелания вечной дружбы между Византией и Багдадом.

И они направились в обратый путь.

В тот день, когда они покидали Константинополь, император Константин в своем загородном серо-зеленом, цвета морской волны дворце, составив текст письма к багдадскому халифу, передавал особые пожелания, которые посол Византии, сенатор Аполлос, должен был высказать халифу после аудиенции. Император был гневен. Впереди византийских пленников, которых можно было потребовать у багдадцев, приходилось называть имя киевской принцессы Даждьи, попавшей в Багдад благодаря оплошности доместика схол Иоанна Каркуаса. Так требует князь Игорь! Откуда он знает, что Даждья в Багдаде? И почему доместик схол Иоанн не знает, что Даждья была у него? Доместик схол по-прежнему уверен, что среди нескольких русских женщин, которых он обменял багдадцам на коней, не было никакой принцессы. Ему не верили. Он был уже в немилости. Считалось, что в тайных сношениях с эмиром Эдессы он вел себя глупо, что он дорого заплатил за эдесскую святыню, которая так и не принесла победы.

— И откуда русские могли узнать, что Даждья в Багдаде?— повторил свой сердитый вопрос император.

Никто не мог ответить ему.

Разве только Махмуд.

Но не к Махмуду был обращен гневный вопрос императора. Император гневался на русских, гневался на Багдад и опять на русских, с которыми ему пришлось подписать вечный мир —«дондеже солнце сияет, и весь мир стоит,— в нынешние веки и в будущие». Он страшился этих врагов, одному из которых он должен был платить теперь дань, которую платил некогда князю Олегу. И он не знал, как их облукавить, и как задарить, и как устрашить!

XXXV

Махмуд далеко разглядел Даждью. Она опять стояла на крыше его дома! И он громко рассмеялся. Он скакал один, конвой был распущен, и он жалел, что не мог поделиться своей радостью ни с конвоем, ни с кади, который утверждал, что уже близко полнолуние и ему пора домой. Она скользнула рукой по лицу, словно все еще не веря, что видит и его самого, и его вороного коня... Какое милое движение и как он хорошо помнит его! И он опять рассмеялся.

Было утро.

И утро было на его душе.

Стройная и массивная,— уже мать,— с тонкими и длинными волосами цвета спелой соломы, будто наполненными солнцем, со свежим и нежным лицом, которое освещалось плавным светом синих глаз под ровными и словно лощеными бровями, Даждья легко пробежала через весь дом босая и, подбежав к нему,— он еще не успел спрыгнуть с коня,— схватила его шею руками. Воображение всегда представляло ему ее красавицей, но оно слабо показывало ее, как слабо показывает свет свечи окружающие предметы. Это было — солнце!

И он смутлися, ошеломленный этой красотой, распространяющей вокруг себя такую благосклонность, такую ласку! Мать Бэкдыль и его брат выбежали и смотрели то на него, то на нее, безмолвно повторяя: «А, она расцвела! Ты доволен?»

— Я доволен!— сказал он.— Где же мой ребенок?

— Дочка,— ответила госпожа Бэкдыль.— Но хорошая дочка. Будут внучата — воины. Будет много внучат!

Госпожа Бэкдыль по-прежнему была полна тайными мыслями. Да, когда-нибудь две рабыни будут стоять позади, ожидая приказания матери Бэкдыль и старшей жены Даждьи. Правда, Махмуд и Даждья,— по ее словам,— собираются уехать погостить в какую-то далекую, холодную страну Русь. Ну что ж! Их будет сопровождать, будем надеяться, не скудный эскорт, а пристойное для важного лица украшение из трех закутанных в покрывала жен, которые, поблескивая глазами, будут любоваться, как господин их едет впереди каравана!..

— Будет много внучат,— повторила мать Бэкдыль, идя впереди сына.

Он глядел в колыбельку. Они были одни. Мать и брат ушли готовить завтрак. Ребенок спал, сжав розовые губы.

Махмуд наклонился и поцеловал дочку прямо в губы. Даждья прошептала:

— Тише, разбудишь! У нее такой чуткий сон.

И она обняла его опять, прошептав:

— Ты хотел сына?

— Я доволен и дочерью.

— Но все же ты хотел сына.

— Надеюсь, будет и сын,— сказал он, тихо смеясь.

— Не сын, а ты прибьешь щит к Золотым Воротам. Ты видел Ворота?

— У византийцев много ворот,— сказал он.— Они их любят строить. Золотые Ворота не крупнее других.

— Но на них был щит Олега.

— Да, был щит.

Она почувствовала в голосе его усталость.

— Что случилось?

Он рассказал ей о Джелладине, о своей ссоре с ним и о ссорах, которых повторялись часто во время дороги. Старик окончательно возненавидел его.

— Пустяки,— сказала она.— Ты ведь не собираешься быть придворным или законоведом? Ты — поэт. Ты — воин. А он?

И она начала выспрашивать о Константинополе:

— Видел ли ты князя Игоря?

— Он не был в Константинополе.

— А его послы?

— Я их видал издали.— И он рассказал о своей незаконченной борьбе с русским богатырем, рассказал и о седоусом старике.

— Знаю, знаю, Славко. Он очень сильный. Пожалуй, тебе б...— Она взглянула в его глаза, прочла там недовольство и быстро сказала:— Нет, ты победил бы его! Но скажи мне, почему они не прибили щит к Воротам?

— Я не знаю.

Она воскликнула:

— Византийцы опять обманули русских! Щит, а не дань! Щит!.. О Перун! Опять ты обманут хитрым византийским богом. А ты еще...— обратилась она к нему, сверкая глазами,— ты еще вез к ним святыню! Ты должен был ночью подкрасться к ней и изрубить ее. Пророк запрещает вам покровительствовать идолам, а ты покровительствовал.

И, впав в отчаяние, она наговорила много дерзких слов самой себе. Она была виновата в том, что эдесская святыня благополучно прибыла в Константинополь! А она

так долго ждала мести. Ее мысли казались ей пророческими. Она видела поверженную Византию, окруженную с одной стороны войсками халифа, с другой — Русью. И в мечтах ее Византия виделась как упавшее дерево. Она лежит, уставив в небо растопыренные ветви своих башен, рвов, укреплений, которыми теперь ни поддержать дерево империи в равновесии, ни охранить.

— И ничего этого нет!

Византия стоит по-прежнему, растопырив мощные ветви своих укреплений, замков, рвов и башен, стоит, тихо посмеиваясь, как человек, делающий свое дело. Не поехать Даждье в свою страну с возлюбленным! Нужно забыть белые, песчаные берега Днепра, теплые ивы, тесно прижавшиеся друг к другу. Хороши здесь деревья в садах Багдада, но они стоят каждое отдельно, и нет здесь густых сплошных лесов, как у нас!..

Месть, месть, месть! Упорно и настойчиво держала она мечту о мести, воспитывала, лелеяла в себе. Месть просачивалась сквозь нее всю.

А теперь? Византийские послы едут с льстивыми грамотами. И обманут! И будет мир. И византийцы перебьют поодиночке русских и арабов.

— Едут послы. Халиф будет принимать их. И ты будешь говорить им приветственное слово?

Он расхохотался:

— Ты слишком много и высоко обо мне думаешь. Кто позовет меня во дворец к халифу? И почему халиф скажет: говори, Махмуд! Ха-ха! Джелладин наговорит теперь про меня так много злого, что не видать мне ни халифа, ни визиря. Жена моя! Пожив в Константинополе, я понял, что такое двор. Наши мечты с тобой, оказывается, не так-то легко исполнить...

— Какие мечты?

— О щите.

— Вот как!

— И как я жалел, что не могу наслаждаться мгновениями, подобно кади Ахмету.

— А он наслаждался и с женщинами?

Махмуд покраснел:

— Я совсем не об этом!

— Да, да! Вас только отпусти,— сказала она, смеясь и целуя его в шею.— Вот поедешь во дворец, прославишься, забудешь, развращенный Константинополем, меня. И тогда мне будет плохо, совсем плохо.

И глухим голосом она сказала:

— Тогда я умру.

И тотчас же быстро сказала, стараясь рассмеяться:

— Прости, прости! Я поглупела, но только от радости, только от радости!

XXXVI

Халиф ожидал визиря.

Грузный, крупный старик со свисающими на короткий воротник рубашки из верблюжьей шерсти складками толстой шеи, поджав под себя ноги и часто вытирая платком выпяченные серые губы, сидел в беседке сада на земле. Перед ним стоял низкий столик, грубый глиняный кувшин с водою и деревянное блюдо с финиками. Халиф, подобно Омару, великому наследнику пророка, любил простоту в обыденной жизни и сильные выражения.

— Куда пропало это блеклое животное?— бормотал он.

Сквозь кусты полураспустившихся роз видна была черная дорожка сада, высокая стена, выкрашенная синим, и кусок яркого серо-зеленого неба. Опять приближалась весна, и опять за стеной кто-то проезжавший мимо напевал: «Я приду к Тебе».

«Дети! Пусть поют»,— думал халиф. Но все же песня раздражала и мешала думам. А дум было много, и хотелось поделиться ими с визирем. Злили козни вассалов, мешавших единению халифата, и злил эмир Эдессы, вот уже полгода твердивший, несмотря на все пытки темницы, что он не вел тайных переговоров с византийцами. Неизвестно, обнаружили ль мудрецы и мастера вооружения секрет «греческого огня». Вот уже два года заперлись они в замке под Багдадом, на берегу Тигра, что-то жгут, плавят, пробуют, посылают гонцов во все края страны, ищут жидкую серу... И непонятно, с какими мыслями и зачем едут в Багдад византийские послы. Хотелось думать хорошее: вот возьмут да и пропустят в Европу суда халифата с индийскими товарами, а из Европы к Багдаду разрешат ездить с итальянскими и другими товарами, с медью, железом, оловом, свинцом...

— «Я приду к Тебе..»— пел удаляющийся голос.

— Да иди же скорей, глупец!— сказал громко халиф.

Приближающийся визирь, подумав, что слова относятся к нему, прибавил шагу и засеменил, кланяясь и касаясь руками земли.

— О владыка! Меч ислама! Гроза...

— Перестань,— прервал его халиф.— Далеко ли византийцы?

— Еще ночь, и они будут в Багдаде,— сказал визирь деловито.— Прикажешь задержать?

— Зачем?

— Повелитель, быть может, хочет осмотреть все пышные и неслыханные украшения дворца, сада и улиц столицы. Повелителю, быть может, угодно высказать свои желания? Мы привезли пятьсот десять диких зверей, войска; вдоль улиц будет выстроено сорок три тысячи воинов, не считая евнухов и невольников. На Тигре будут стоять морские суда...

— Ну и пусть торчат!

Халиф посмотрел на визиря тусклым взглядом давно выцветших глаз и, медленно вытирая рот платком, спросил:

— Скажи лучше, узнал ты, зачем едут сюда византийские послы?

— Согласно приказу повелителя, в Константинополь были посланы люди, способные к малому узнаванию. Повелитель не хотел раздражать византийцев пытливостью...

— Но все же они, посланные, ведь не совсем же дураки? Как ты думаешь, пропустят нас византийцы в Европу? Игорь побил Византию, заставил платить дань, как при Олеге. Византийцы ослабели. Они должны искать дружбы с нами. А что за дружба, если они преградили нам путь в Европу? Пусть откроют путь, или — война!

— Война,— наклонив голову, грустно сказал визирь.

— Но разве они едут с войной? Или они предполагают словами, точно волшебники, заворожить меня? Мы тоже умеем говорить и думать.

— О повелитель, и еще с какой силой!

По лицу визиря было видно, что он не знал, с чем едут византийцы.

Халиф сказал недовольно:

— А «греческий огонь»? Если война, мы должны сжечь много вражеских судов. Пока, я вижу, вы жжете их на словах и плавите мои деньги.

— Повелитель...

— Быстрей!

— Мудрецы открыли секрет огня, повелитель!

— Покажи.

— У них беда: мало основного состава. Дознано, что византийцы привозят основной состав «греческого огня»

с гор Кавказа, где Зевсом был прикован Прометей. Там и поныне живут дикие племена, поклоняющиеся огню. Поэтому мудрецы повсюду в нашей стране ищут основной состав и утверждают...

— Нашли?— грозно прохрипел халиф.

Визирь ответил поспешно:

— Нашли, нашли, повелитель! Не минует и месяца, как три бочки «греческого огня» будут доставлены в Багдад.

Халиф испытующе посмотрел на визиря:

— «Я приду к Тебе»?

— Нет, нет, это не пустая песня, о повелитель, а истина. Клянусь моей недостойной головой...

— Запомню.

И, помолчав, халиф спросил:

— Кстати, о голове. Эмир Эдессы...

— Сознался!

— О! Почему?

— Джелладин привез доказательства. Мы схватили передатчиков эмира, и они выдали его.

— Отрезать всем головы.

— Сегодня же...

— Не сегодня, а завтра, когда византийские послы будут возвращаться из моего дворца. Пусть они посмотрят, как падает голова их слуги. Им это полезно.

— Еще бы, о повелитель!

— Джелладин? Кто бы мог подумать! Научился у византийцев? Обо что трешься, тем и пахнешь, а, ха-ха?! Я награжу Джелладина. И тех двух... как их?

— Кади Ахмет и оружейник Махмуд иль-Каман, повелитель.

— Да. Позови их всех на прием византийских послов. Собери также всех выдающихся ораторов, законоведов и поэтов, которые в присутствии послов в своих речах и стихотворениях превознесли бы славу и силу ислама, мое царствование и величие моего дворца. Слова — так слова!

И он задумался.

Была ранняя весна, и сквозь трепетные тучки падал мерцающий блеск на влажные, готовые распуститься, почки розовых кустов. В саду было тихо, и казалось, что даже нетерпеливая весна и та задумалась вместе с халифом.

«С чем же едут византийские послы?»— думал халиф, и о том же думал визирь.

XXXVII

Послы несли через весь Багдад послание византийского императора халифу.

Из особого уважения к халифу послы шли пешком.

Впереди послов шел Аполлос, сенатор и друг императора. Это был желтолицый, худой мужчина лет сорока в длинной серберисто-палевой одежде без складок. Глаза его, огромные, агатовые, казалось, испускали скользящий и жалящий блеск, и, когда он пренебрежительно оглядывал толпы народа, запрудившие улицы, всем видна была его ненависть, и все начинали дрожать от ярости. У него была привычка, тоже всех сердившая, сказав три-четыре слова, Аполлос умолкал так важно, точно ожидал, что ему будут восклицать — слава!

Перед дворцом задолго выстроились войска и шумный народ говорил, что войска выстроено сто пятьдесят тысяч.

Послы вступили в ряды войск. И войска, все сто пятьдесят тысяч копий поднялись на воздух и опустились на землю с такой силой, что гром был подобен землетрясению. Так говорил народ.

И послы увидали тысячу тонких и светлых минаретов Багдада. И со всех минаретов пять тысяч муэдзинов запели хвалу пророку и наместнику его халифу, и народ говорил, что пение их было подобно второму землетрясению.

Но лица послов были неподвижны, и ни один волос на их голове не шелохнулся.

И они увидали зеленый дворец. На площади, перед дворцом, семь тысяч евнухов в шелковых разноцветных одеждах и изукрашенных поясах — четыре тысячи белых и три тысячи черных евнухов — безмолвно склонились, и поклон их, как говорил народ, был такой ровный, точно поклонились семь тысяч братьев.

Послы вошли в сад дворца. На лужайках они увидали стада диких животных. Львы и олени прирученные искусными охотниками, направились к послам. Сто львов издали рычание, а двести оленей вознесли вверх свои широкие рога и протрубили.

И это, как говорил народ, было подобно третьему землетрясению.

Но лица послов были по-прежнему неподвижны.

Их вели мимо позолоченных клеток. Множество птиц с позолоченными перьями и клювами пели.

И тогда старший посол Аполлос, сенатор и друг императора, сказал:

— Вот это очень красиво,— и добавил:— Великолепный дворец у халифа.

И он улыбнулся. И тогда улыбнулись все послы.

Визирь сказал:

— Господин посол! Вы видите не дворец халифа, а только мою жалкую хижину. Дворец халифа за этим садом, вон там, где за деревьями колышутся ковры.

И они пошли дальше.

Темно-пурпурный дворец халифа сверху донизу был закрыт коврами. Ковры были и голубые, и розовые, и синие, и белые, ковры всех цветов и всех провинций халифата. Народ говорил, что там висело двадцать две тысячи великолепных ковров, а три тысячи занавесей из парчи и индийского шелка, стоящие тридцать тысяч динаров, украшали все внутренние стены и двери здания.

Халиф ал-Муттаки-Биллахи сидел на троне из слоновой кости. На нем был надет простой плащ бедуина, тот, который, говорят, носил великий Омар. С правой и левой стороны трона висели и сверкали на солнце по девять длинных тяжелых нитей драгоценных камней. Позади и впереди халифа стояли евнухи, а вожди племен и родственники поодаль нитей с драгоценными камнями. А еще дальше стояли, содрогаясь от восторга и славы, законоведы, кади и поэты.

И там же стояли Джелладин, кади Ахмет и Махмуд.

Византийский сенатор и друг императора Аполлос поцеловал землю и сказал, что он принес могучему халифу послание императора.

— Читай,— проговорил халиф.

Сенатор Аполлос снял шелковую желтую материю с серебряного ящика с золотой крышкой, на которой было сделано из разноцветного стекла изображение императора Константина. Сенатор раскрыл ящик и достал послание. Послание было начертано на пергаменте небесно-голубого цвета золотом, греческими буквами, и к нему прикреплена золотая печать в четыре мискаля весом, на одной стороне которой был барельеф Христа, а на другой — императора.

Посол огласил первую строку по-гречески, тотчас же переведя ее на арабский язык:

— Константин Седьмой, верующий в мессию, император, владычествующий над греками.

Он помолчал, поводя огромными глазами и точно ожидая восхвалений.

— Халифу ал-Муттаки-Биллахи, могучему повели-

телю арабов в Багдаде.— И опять помолчал.— Да продлит господь бог жизнь могучего халифа!

Огромные глаза его остановились на жирном лице халифа, и он продолжал:

— Слава богу!.. Всесовершенному, великому!.. Милосердному к своим рабам... Тому, кто собирает народы... Кто разъединяет...и примиряет их... спорящих во вражде.. до тех пор... пока они... не соединятся воедино...

Сенатор Аполлос читал и читал голубой пергамент. Послание плескалось в руках посла, насыщая сердце халифа такими словами, которые мог найти лишь человек, необычайно долго лазивший по лестнице мыслей. Слова ласкали, нежили, лили масло и елей на душу, макали уста слушателей в мед и наслаждения. Они уверяли халифа в дружбе, расположении, вечном мире.

«И все?»— думал халиф, как и послы храня недвижное лицо.

Затем сенатор Аполлос взял другой драгоценный ящик и достал оттуда желтый пергамент, по которому было написано по-арабски серебряными буквами перечисление даров, которые посылает император Константин своему брату халифу. Тут был и золотой поднос для кушаний, и дорогие одежды, и золотая посуда, и мускус, и амбра. Под конец посол подал халифу три небольших золотых стакана. Халиф скосил глаза, принимая их. На дне стаканов он увидал стада крошечных хрустальных зверей: львов, оленей, жирафов и рысей, расположенных в том же порядке, в каком звери эти встретили послов в саду визиря.

— Редкого умения у вас ювелиры,— сказал халиф, а про себя подумал: «А еще более редкие соглядатаи! И неужели тем, что вы знаете расположение зверей в саду моего визиря, вы думаете сказать мне, что знаете все происходящее в моей стране? Глупцы».

Но лицо его по-прежнему было неподвижно, и посол не мог угадать, понял халиф намек византийцев или не понял. И, приняв дары, халиф сказал:

— Велик аллах и пророк его! Я напился дружбы брата моего Константина и наполнен любовью к нему, как виноградная лоза солнцем. Я не могу надеяться, что найду слова, которые бы передали наружу лежащее внутри моего сердца. И я призвал лучшего своего законоведа Джелладина Жете-и-Тогос, чтобы он, ловитель мыслей, подмел своими и моими словами пол у ног моего друга, императора! Слова наши немногочисленны

счетом, но совершенны и справедливы, и я трепещу от радости, что почтенный Джелладин выскажет их!

Рокот одобрения пронесся среди родственников, вождей племен, законодателей, кади и поэтов. И все обернулись к Джелладину.

Джелладин, шатаясь от волнения, в широкой и длинной одежде, пробрался через толпу и приблизился к трону. И все качали головой, одобряя его вид. Как он талантлив! Как он умен! И как быстро он идет в гору! Говорят, благодаря ему сегодня обезглавят эмира Эдессы?

— Халиф, да будет прославлено имя его!..— начал Джелладин, и голос его поднялся так высоко, что казалось, поздоровался в небе с самим пророком.

Мороз прошел по коже присутствующих. Какое великолепное начало, как умеет начинать!.. Каково-то пропродолжит?

Но продолжить Джелладину не пришлось. Архангел запечатал уста его. Джелладин покачнулся и упал.

Он лежал в глубоком обмороке у ног халифа, а халиф с неподвижным лицом проговорил:

— Так велика любовь наша к брату нашему Константину, что сердце одного, даже лучшего законоведа Багдада, не в состоянии высказать ее. Джелладин — великий законоучитель. Он река законоучителей...

Халиф обвел взором своих тусклых глаз всю толпу придворных. Взор его остановился на кади Ахмете, рыжая борода которого горела возле Махмуда. Халиф сказал:

— Брату моему императору Константину отвечала река. Но и река остановлена плотиной восторга. Она остановилась, увидав море. Ты море мудрости, кади Ахмет, продолжай речь!

Кади Ахмет вышел:

— Халиф, да будет прославлено имя его!— начал он.

И он остановился.

— Да будет прославлено имя его!— повторил он, уцепившись обеими руками за свою бороду.— Халиф...

И у него, от величия и великолепия обстановки, от неожиданности и от радости, что свалился Джелладин, прервалась нить мыслей, и знаменитый оратор остановился, тщетно стараясь вспомнить то, что надлежало сказать в подобном случае.

И тогда выступил вперед Махмуд иль-Каман.

Визирь наклонился к халифу и тихо сказал:

— Это тот искусный ремесленник и поэт, о повелитель, который воспламеняюще говорил у меня о Византии и эмире Эдессы, назвав его предателем.

Халиф так же тихо пробормотал:

— Двое онемевших от восторга — недурно. Но если онемеет третий — получится, что у меня все подданные идиоты, обалдевшие при виде двора.

Халиф предпочитал сильные выражения.

XXXVIII

И халиф сказал, обращаясь к Махмуду:

— Эй ты, соблазнительный урод! Сунь нам, сын тины, свойственные тебе соображения!

И он откинулся на спинку трона, довольный своим словом. Он находил, что с подданными иногда полезно обращаться так же, как с конем, закусившим удила.

Махмуд, весь дрожа, чувствуя себя расточительным, но в то же время разумным и ровным, твердо подошел к трону халифа и встал на то место, где только что стоял Джелладин. Сладчайшим, звонким голосом, глядя прямо в мутные глаза халифа и в его выпяченные серые губы, Махмуд говорил о славе Багдада, о красоте его, о его спокойствии, о согласии, о смелых его воинах, о резвых его конях и о той славе, которая упадет на тех, кто дружит с Багдадом. Он говорил слова скромные и скупые, но ставил их в такие сочетания, могучие и высокие, что они казались скалами.

«Недурно, совсем недурно,— бормотал про себя халиф.— Но не мешало б и припугнуть византийцев. Слишком многое они себе позволяют! Золотой стакан, а внутри звери? Мои звери? Пусть бы он сказал, что оружие наше на врага — готово!.. Неужели не скажет, сын тины?»

Махмуд не сказал.

Он воспел Багдад, но ему и в голову не пришло, что пора припугнуть византийцев. Ему казалось, что он научился придворному обращению в Константинополе, и он забыл, что сердце поэта — самый правильный сборник церемониала. Сердце приказывало ему надсмеяться над византийцами. Жена ему советовала то же самое. Она говорила, что, если халиф и аллах дадут ему слово, это слово должно быть смелым! Душа его ненавидела византийцев, но он глядел в глаза халифу, слушал его слова, полные дружбы и любви к Византии, и ему каза-

лось, что если он умолчит о Византии, прославляя лишь один Багдад, то и это будет смело!

Но как бы то ни было, он сказал блестящую речь, заключив ее великолепным стихотворением, в котором, еще более возвышенно, повторил свои мысли о Багдаде.

Халиф по окончании речи сказал, обращаясь к визирю:

— Он говорит темновато, но он не усыпляет, этот перл овчарни! Наградить его, уместно случаю.

Махмуду поднесли одежды, плоскую золотую чашу, до краев полную монетами.

И халиф сказал:

— Кстати вспоминаю, тождественное происшествие случилось со мной во времена моей молодости, при покойном халифе аль-Мутанаби.

И он передал собравшимся короткий рассказ о происшествии в пустыне, когда он шел в поход против одного взбунтовавшегося турецкого племени. И византийские послы, и арабские сановники слушали его, вытянув вперед головы, изображая на лице охотное и живейшее внимание. Когда они заговорили громко, прославляя халифа как выдающегося поэта и рассказчика, халиф улыбнулся и пригласил их на пир.

— Будем кутить, как молодожены,— сказал он, любя крепкие выражения.

Махмуд, получив подарки, спросил визиря:

— Могу ли я, о визирь, просить — отправить эти подарки матери, чтоб она насладилась, так как для меня достаточно лицезреть халифа?

И визирь одобрил его, и пять евнухов отнесли подарки к госпоже Бэкдыль, крича в толпу:

— Дорогу, дорогу! Подарки от халифа — да будет прославлено имя его!— знаменитому оратору и поэту Махмуду иль-Каман. Дорогу, дорогу!

Слова эти издали услышала мать Бэкдыль. Она приняла подарки еще в начале улицы, на которой стоял ее дом, и, взяв три небольших горсти монет, потому что руки ее высохли и сжались на работе, пошла на базар. Был еще день, пир только начался, а госпожа Бэкдыль уже купила двух невольниц и пять коз, ибо она давно ждала это добро, и в простоте сердца думала, что и все ждут этого же добра.

Госпожа Бэкдыль купила девушку по имени Чооны. Она была родом из Афганистана, где высокие горы и где нужно обладать большой выносливостью, чтобы ходить

по этим горам. Торговец уступил ее по сходной цене, так как мать Бэкдыль сказала ему о славе сына, да и весь базар уже знал об этой славе и о подарках халифа. Кроме того, старуха торговалась яростно и выпустила столько слов, сколько торговец не слышал за всю свою жизнь. Рабыня была широкобедренна, точно раковина, разговорчива и сыпала слова, словно рис из мешка. Она умела ткать, и по ее бедрам мать Бэкдыль заключила, что часы с нею будут приятны и просты, ибо она плодоносна.

Мать Бэкдыль купила также рабыню именем Гахара. Она была родом из Греции, с архипелага. Ее привезли с трудом, она была еще совсем не укрощена и не понимала Багдада и его прелестей. Сильная, рослая, она при наслаждениях, видно, наливается кровью, как петуший гребень, и ты испытываешь радость, словно трубящий рог! И эту рабыню мать Бэкдыль приобрела дешево и радовалась своей покупке.

Мать привела рабынь в дом и сказала Даждье:

— Вот тебе няня для ребенка, и вот тебе другая для помощи. Они будут подчиняться тебе.

Даждья, побледнев, спросила:

— Но будут ли они подчиняться мне во всем, что я потребую?

— Да. Так указано пророком,— сказала мать Бэкдыль.— Ты будешь старшая.

— Старшая среди жен?

— Да, старшая среди жен.

Даждья сказала:

— А если я прикажу им покинуть мой дом?

— Ты поступишь, милая, глупо и против Закона.

— А если этого пожелает мой муж?

— Твой муж не может пожелать этого. Он — правоверный,— сказала гордо мать Бэкдыль.— Как ему идти против велений пророка, который приказал всем оружием умножать род правоверных, а эти женщины — наиболее доступное и приятное оружие!

Тогда Даждья сказала:

— Мать! Была ли я тебе послушна?

— Ты всегда была мне послушна, милая, иначе зачем же мне покупать тебе это облегчение?

— Мать! Ты думаешь, эти девки для меня облегчение?

— Разумеется. Они будут облегчать твою работу. В конце концов опасаюсь, что мой сын чересчур страстен и он утомляет тебя.

— Мать! Помоги мне! Отпусти этих женщин.

— Нет, я не могу их отпустить.

— Тогда их отпустит Махмуд!

Даждья ушла в темную мастерскую, села возле горна и стала глядеть на ворота глазами более сухими, чем пыль на этих поникших мехах. Она чувствовала себя пустой, пыльной, одинокой и старой. Ребенок просил груди, она накормила его, но сердце ее не смягчилось. Ей хотелось домой, но она чувствовала, что дом ее, и Днепр ее, и Киев ее так далеки!..

Однако они были близки.

Халиф пригласил к своему столу сенатора Аполлоса, предложил ему чашу душистого вина и сказал:

— Я вот думаю во время всего пира и никак не могу придумать, что бы такое поднести в подарок другу моему, императору Константину? Что он любит?

Сенатор ответил:

— Император доволен всем... у него... все есть...

Халиф с наивным лицом ребенка сказал:

— Да, да! Я и забыл. Ему во всем помогает эдесская святыня! Я слышал, она очень помогла ему в борьбе с русским князем Игорем?

— Посланная тобой, о халиф... эдесская святыня... свершила множество чудес...— медленно ответил сенатор.— Что больше всего... любит император?.. Он любит справедливость.

— Мы все любим справедливость,— сказал халиф.— Но какого цвета он любит справедливость?

— Например... он любит освобождать... пленных...

— Я вернул всех византийских пленных. Осталось несколько полудохлых стариков, я прикажу их собрать.

— О халиф! Византийцы слышали, что в Багдаде находится пленная русская княжна Даждья, дочь Буйсвета, сестра витязей Сплавида и Гонки.

— О, гуро!— воскликнул насмешливо халиф.— Эдесская святыня заметно изменила византийские нравы. Насколько мне известно, византийцы презирают женщину, считая ее скопищем зла, сосудом язв. Это мы, арабы, относимся к женщине с уважением, если она не рабыня, разумеется. Что случилось?

Уязвленный Аполлос сидел неподвижно. Еле шевеля губами, он ответил:

— Императору было видение.

— Я и говорю: эдесская святыня!

И, считая, что он достаточно отплатил за ядовитый

намек в виде трех золотых чаш с хрустальными фигурками зверей внутри, халиф наполнил послу чашу и, вытерев платком губы, замолчал. Он ждал, что скажет посол. Посол тоже молчал. Тогда халиф сказал:

— Княжна Дождья будет сегодня же у тебя.

И он уставил в лицо посла тусклый взгляд своих глаз. Он ждал, что посол передаст сейчас самое главное — разрешение Багдаду торговать с Европой. Какие условия? Все равно. Можно найти еще десяток святынь, подобных эдесской, но лишь бы торговать. Войны редко бывают выгодны для государства. Но еще более невыгодно подчиняться насилию.

И халиф решился высказать свою мысль.

— Подарки друга моего, императора Константина,— сказал он,— весьма прекрасны. Но, к сожалению, не хватает одного.

Посол молчал.

— Нам бы хотелось,— продолжал с раздражением халиф,— чтобы Средиземное море, лужа в великих владениях друга моего, было очищено от пиратов, мешающих нашим кораблям ходить в Европу. Мы просим друга нашего императора поднести нам этот подарок.

— Я передам императору... желание халифа, о могучий правитель!

«И все?»— спросил глазами халиф.

Лицо посла было, как всегда, неподвижно, лишь огромные его глаза подернулись влагой волнения: он ощущал грозу, но не мог остановить ее. «И все»,— ответили глаза посла.

Халиф встал.

Все поднялись.

— Продолжайте, продолжайте пир,— ласково сказал халиф.— Я хотя и молодожен, но все же стар, а вы молоды.

Все время пира Махмуд ждал, когда подойдет надлежащая пора и он прочтет то, что ему чрезвычайно хотелось теперь прочесть: о предстоящей битве с византийцами. Поэтому, чтоб не мешать дыханию, он едва касался пищи. Сидящий рядом кади Ахмет, бормоча, что это, быть может, единственный случай, когда можно поесть вволю придворных блюд, не понеся за это наказания, ибо придворный хлеб горек, набросился на еду. Пища действовала усыпляюще на обремененные длинной церемонией желудки. Кто-то дремал, а кто-то в полудремоте напевал.

Халиф шел через пирующих с непроницаемым лицом. Взор его на мгновение остановился на Махмуде и, словно процедив его, прошел дальше. Он забыл о поэте. Но вот халиф услышал полудремотное бормотание песни. Кто-то пел: «Я приду к Тебе!» Халиф, чуть скривив серые выпяченные губы, тихо, чтобы не беспокоить остальных, сказал с омерзением визирю:

— Отправить его на базарную площадь и дать пятьдесят палок. И пусть он под палками поет: «Я приду к Тебе!» Наказать также и того, кто составил эту песню. Мне нужны другие песни.

XXXIX

— Дорогу несравненному поэту Махмуду иль-Каман!— кричали его поклонники, и все на улице расступались.

И Махмуд проезжал по улице на своем вороном коне в ало-синем индийском одеянии с расшитым золотом широким поясом. Он представлял себе, что будет, когда его любовь увидит это одеяние и эту свиту и услышит эти крики. Он спрыгивал мысленно с коня, целовал ее,— и все же он не торопился ехать, дабы не показать, что он ослеплен славой, а разумен и спокоен, ибо счастье людей зависит от аллаха.

Сопровождаемый толпой поклонников и уличных ротозеев, он въехал в услужливо распахнутые новыми друзьями ворота и придержал коня, дабы еще раз услышать возгласы:

— Слава несравненному поэту! Урагану слова — слава!

И он сказал, почтительно поклонившись матери:

— Сыта ли ты, о мать? Получила ли ты подарки?

— Я получила подарки,— ответила мать,— и я сыта. Но хорошо ли накормили тебя во дворце, иначе я прикажу изготовить для тебя обед. Тебя накормят рабыни,— произнесла она с гордостью.

— Какие рабыни?

Мать Бэкдыль ответила:

— Я купила двух рабынь. Пойди посмотри их.

И она указала на двух рабынь, которые вышли на шум, также на топот копыт коня своего нового повелителя. Спускался уже вечер, и мать взяла масляную лампу, чтобы получше осветить их лица. Одна рабыня была яркого, не золотистого, а светло-алого цвета зари, так

она рдела перед новым господином. Он узнал сразу родину этой женщины.

— Да, она с архипелага,— подтвердила мать.

И чтобы доставить удовольствие заботливой матери, он благосклонно поглядел на другую женщину. От волнения она была желто-оранжева, как лимон.

— Я таких не видывал,— сказал он с удивлением.

Мать объяснила:

— Она из Афганистана, есть такая гористая варварская страна. Ну что же, одобряешь мою покупку?

— Она хороша,— ответил он.

И он услышал неистово срывающийся голос из мастерской:

— Ты говоришь — хороша, Махмуд?

— Горлица!..

— Горлица смерти, Махмуд!

Удивительные люди эти женщины! Что он мог сказать матери? Не мог же он сказать любимой и уважаемой матери, что ее покупка и не нужна и плоха! Во-первых, покупка хороша, а во-вторых, рабыни будут помогать матери. Мать должна отдохнуть, он часто отвлекал Даждью от хозяйственных дел, читая ей стихи, и старухе приходилось чистить дом и ухаживать за козами. А теперь появился еще конь, да и мало ли что еще появится... А ребенок? Как можно забыть о ребенке?!

Он вбежал в мастерскую и хотел обнять подругу. Она отклонилась от него резким и быстрым движением:

— Она купила двух женщин! Женщин!..

Возбужденный славой, он не вдумался в ее слова о женщинах и сказал:

— Тщеславие старухи простительно.

— Для тебя!..

Он шлепнул ладонью по ее плавному плечу и, смеясь, сказал:

— Для меня вечное блаженство с одной.— И он прочел ей стихи, которые сочинил дорогой:

Мой нежный друг! Неужели ты забыл недавнюю любовь?
Неужели ты можешь спокойно и беззаботно спать?
Не я ли восклицаю тебе: проснись!
Проснись, моя прелестная роза, мой благоуханный цвет.
Проснись! Заря встает! Я пришел к Тебе!

— Убей их!— сказала она, приблизив к нему то самое наполненное страстью лицо и отуманенные глаза, которых ждал он.— Убей!

— Убить? Зачем?

— Зарежь их!— воскликнула она.— Они тебе куплены на любовь. Но ты их любить не должен.

И со снисходительностью мужчины, который не совсем понимает женщину, и почти наслаждаясь ее ревностью, он проговорил:

— За рабынь заплачены деньги. Надо их, раз ты желаешь того, продать.

Она сказала:

— Но они тебе куплены на любовь, а если куплены на любовь, честь не позволяет теперь продавать их! Так в моей стране не поступают. Их нужно уничтожить!

— Законы Багдада — иные.

И он оглянулся на Багдад, освещенный последними ярко-красными, самого густого цвета розы, лучами солнца. Мать Бэкдыль держала коня, который тяжело дышал, словно понимая смятенное состояние духа своего хозяина. Рабыня из Афганистана взяла у матери повод уздечки.

Он подошел вплотную к Даждье. Губы ее прыгали, обнажая два ряда мокрых и белых зубов. Он поцеловал ее, но поцелуй не был целительным. Она, оторвав от него губы и откинув стан, положила ему руки на плечи и сказала:

— Разве Закон твоей страны не принадлежит мне? А мой — тебе? Ты меня любишь? И ты умертвишь их?

— Я не понимаю, зачем мне умерщвлять их?

— Я — княжна. И неужели ты будешь спорить из-за каких-то рабынь ради любви княжны? Я — княжна страны Русь! А одна из этих — византийка, а другая — просто падаль.

— Это будет избиением беззащитных!

— Жертву моей стране, по ее Закону, ты считаешь избиением?

— У вас искаженное понятие о Законе! И мне понятно, что ваша княгиня Ольга переменила Закон. Уж лучше византийский, чем такое искажение...

— У меня искаженное понятие о Законе?— проговорила она с ужасом.— Моя любовь — искаженное понятие?

Руки ее скользнули, чуть коснувшись его лица, и она, быстро пройдя дворик, скрылась в доме. Послышалось качание колыбельки, заплакал было ребенок, а затем утих. Должно быть, она кормила его.

Он стоял, прислонившись к притолоке, ошеломленно раскрыв широкий рот. И вдруг он почувствовал во рту едкий и соленый вкус. Он провел ладонью по лицу. Это были слезы. Что произошло? Он, такой сговорчивый с ней, и она, такая сговорчивая с ним? Не оттого ли, что она кормит ребенка?.. Но он?..

— Мать,— сказал он тихо.— Что с нею? Что за странная пылкость. Она требует — зарежь двух невольниц!

— Я слышала,— ответила мать,— могут быть и глупые законы, но это самый глупый. Не надо ее поощрять.

— Она поссорилась с этими двумя?

— Бросив на них только один взгляд?— И мать добавила:— Мало ли что скажет влюбленная! Такие проворные и сытые рабыни,— и вдруг зарезать? Я их так долго выбирала,— и зарезать? Закон?! Много стоит страна с такими глупыми законами! Она сама выдумала этот злобный Закон! Нет, сын, нельзя поощрять ее к таким разорительным поступкам.

Он вошел в дом.

Хотел было подойти к дверям, за которыми подруга качала, по-видимому, ребенка,— но не смог.

Поднявшись на крышу, он сделал вдоль нее несколько шагов, пересек ее раза три, а затем, склонившись через парапет, еще теплый от солнца, которое уже скрылось, крикнул вниз матери:

— Мать! Поди убеди ее, что моя любовь неизменна. У меня не находится приличных такому случаю слов! Я ее люблю!— повторил он громко, во весь свой гремящий голос.— А ей мало!..

Снизу, от дверей, донесся голос Даждьи:

— Любовь должна быть деятельной. Докажи! Убей их. Я хочу поцеловать нож, покрытый их кровью! Вот он, последний из ножей, над которым мы работали вместе. На нем орнамент из роз и три лепестка на лезвии. Видишь? Возьми этот нож и убей!

— Никогда.

— Никогда?

— Иди сюда, Даждья,— позвал он тихо.

Ему ответил стон.

— Мать! Почему она молчит?

На крышу вбежала мать. Привыкшая подниматься по лестнице, она на этот раз запыхалась.

— Я нашла ее лежащей ничком!— крикнула мать.— Я так плотно ее кормила! Я так радовалась этой покупке!

XL

Попировали славно! Кади Ахмет, отягощенный вином, хорошим поведением своего ученика и плохим — Джелладина, садился на мула, чтобы ехать домой и рассказать там подробно о пире. К нему подошел евнух и сказал, что визирь повелел кади немедленно явиться к нему.

— Не находит ли визирь, что несколько поздновато нам видеться?— спросил кади.

Евнух ответил, что визирь не находит этого, и кади повиновался.

Путь от дворца халифа до дворца визиря — короткий. Однако кади, услаждая и свой путь, и путь евнуха, успел поделиться с ним своими воспоминаниями о константинопольских банях и массаже. А какое сладкое миндальное тесто и как оно приятно после бани!.. А женщины, тело которых белей и слаще миндального теста!.. Багдад, конечно, лучше, но когда у вас жена и полнолуние... Кстати, сегодня будет, кажется, полная луна?..

Визирь сказал кади:

— Мы с тобой не успели потолковать о Константинополе. Я был очень занят, прости, а теперь вот освободился вечер и я призвал тебя. Ты не устал?

Кади, улыбаясь, ответил, что разве он может устать на пиру, но вот не устал ли ты, о визирь?

Визирь сказал, что не устал, к тому же беседа будет коротка. Он приказал подать кофе, а затем спросил:

— Что же ты нашел полезного для нас в Константинополе?

Кади, захлебываясь от восторга, сказал:

— О визирь! Я открыл великую тайну.

— Вот как?

— Я узнал поразительную вещь, и совершенно случайно!

— Тем более поразительно. Горю нетерпением узнать ее.

— И ты узнаешь, о визирь! Слушай. Мне понадобилось починить одежду. Смотрю — шьют с чудовищной быстротой. Почему? А потому, что у нас — кожаные наперстки, а византийцы делают их железными. Железными, о визирь! Железными! Вот что нужно сообщить всем, и мы будем все одеты, обуты, и не будет тогда нищих, босых, оборванных. И ради интересов государства...

— А не лучше ли тебе поискусней судить интересы

базара и не думать о государстве?— зловеще спросил визирь.

Кади побледнел и замолчал.

— Мне думается,— сказал визирь,— вы немногому научились, сопровождая эдесскую святыню.

И, помолчав, он спросил:

— Кто составил песню «Я приду к Тебе»? Песню о ноже, рукоятка которого украшена орнаментом из семи роз, а лезвие — тремя полураспустившимися лепестками?

— Такие ножи делал оружейник Махмуд.

— А такие песни кто делал? Я знаю о ножах, а я спрашиваю тебя о песнях. Молчишь?

— Но, всемилостивейший, он не пишет таких песен!

— Какие же песни он пишет?

— Я предлагал тебе, всемилостивейший, выслушать его.

— Он сегодня мог их прочесть и не прочел. Почему? Быть может, ему не хотелось тревожить византийцев? Быть может, это византийцы покупали у него кривые ножи и платили чистым золотом, вес за вес?

«О Джелладин!— подумал кади.— Узнаю твой язык».

Визирь продолжал:

— Не скажешь ли ты мне, откуда стало известно византийцам, что русская княжна Даждья находится в Багдаде? Халиф, да будет прославлено имя его, очень интересуется этим. Мы ведь могли перепродать княжну в Вавилон или Индию, а византийцы упорно утверждают, что она в Багдаде! И почему они ее требуют? Не требуют ли ее, в свою очередь, у византийцев — русские? Ты не находишь?

— Возможно, о всемилостивейший,— пролепетал кади, вытирая мокрый лоб.

— Я тоже нахожу, что возможно. Но откуда русские могли узнать, что княжна именно в Багдаде?

— Ума не приложу, всемилостивейший!

— А не находишь ли ты, кади, что начальник вашего конвоя Махмуд побеседовал на эту тему с русскими купцами?

— Он виделся с ними один раз, всемилостивейший. Он боролся с их богатырем, и он не понимает их языка!

— Ты уверен в этом, кади?

— Я знаю это, о всемилостивейший!

И кади подумал: «Звезда Закона, Джелладин, узнаю твои шаги! Ты был здесь».

Вошел плечистый, с громадным черным зевом, че-

ловек. Кади вначале подумал, что несут кофе. Плечистый нес мешок. Поклонившись визирю и не обращая внимания на кади, плечистый, скривив свой черный зев, опустил мешок на ковер у ног визиря. В мешке что-то перекатывалось, точно камень по сухому песку.

— Раскрой,— сказал визирь.

Плечистый человек раскрыл мешок. Визирь наклонился и, с интересом пошарив рукой в мешке, достал оттуда голову эмира Эдессы. С головы сыпалась окрашенная розовым соль. Визирь вглядывался, видимо надеясь увидеть страх в лице кади. Но губы кади были сжаты и глаза не опускали век.

Визирь спросил:

— Не находишь ли ты, кади, что отрубленная голова всегда кажется короткой? А у этого эмира была длинная голова и еще более длинный язык.

И кади подумал еще: «О Джелладин, о проклятый язык проклятого Закона! Будь же и ты проклят».

И кади сказал:

— Я всегда в восхищении от твоего остроумия, о визирь!

Визирь продолжал, указывая на плечистого, с ртом длинным и грязным, как канава:

— Я дал ему свой любимый нож с орнаментом из семи роз и тремя лепестками на лезвии. Нож этот он употребляет вместо моей печати, исполняя мои приказания, которые есть приказания халифа.

Он взял пергамент и, глядя в него, сказал:

— Итак, разыскивается в Багдаде русская княжна Даждья, дочь князя Буйсвета, сестра витязей Сплавида и Гонки. Ты знаешь, кому и когда продаются рабыни, ты ведь базарный судья. Ты помнишь также, что мы неоднократно издавали приказы — обращаться с рабами милостиво. Но наши приказы не исполняются. Возможно, что не исполнен приказ и в отношении рабыни Даждьи. Быть может, ее нет в живых, кто знает? Или, вернее сказать, знает один Махмуд, ха-ха-ха! В таком случае,— я говорю о неисполнении нашего приказа,— человек, не исполнивший его, будет строго наказан. Его голову мы вынуждены будем положить в этот мешок с солью и выдать мешок и голову византийцам. Что поделаешь. Таковы законы дружбы. Халиф обещал выдать принцессу. Труп ее выроешь и также передашь византийцам.

И визирь толкнул ногой мешок с солью, из которого была только что вынута голова эмира Эдессы.

— Голову эмира положи в новый мешок,— сказал визирь,— а с этим мешком поедешь вслед за кади Ахметом, куда он укажет. Так повелел халиф...

Кади низко поклонился и сказал торопливо:

— Да будет прославлено имя его!— Затем он добавил:— Мне не нужен мешок, о визирь. А того менее нужен человек с ножом. Даждья жива и через час, не позже, будет у тебя.

— Все-таки человека с ножом возьми. Вдруг окажется, что женщина привыкла, не захочет уйти или ее не будут отдавать?

— Она будет здесь, о визирь! Человек, у которого она находится, хотя и любит ее, но халифа любит больше.

— Кади, ты плохо выбираешь слова. Любовь к рабыне ты осмеливаешься сравнивать с любовью к халифу!

— О, прости меня, визирь! Ум мой ослабел от забот.

— Вот поэтому я и думаю, что человек с ножом будет полезен тебе. Идите. Комнатный воздух ранней весной несколько расслабляет меня, я пойду отдохнуть, кади.

XLI

Влезая на своего гнедого мула, кади Ахмет пробормотал то, что висело у него на языке во время всего разговора с визирем, но что, разумеется, он не осмелился бы сказать визирю никогда, разве лишь увидав голову его в соленом мешке:

— У нас так торопливо снимают головы, точно нет других твердых преметов для мощения багдадских улиц.

И кади испуганно оглянулся. Плечистый человек сопровождал его на коне в почительном отдалении.

Кади размышлял и не торопил своего мула. Да и что он скажет другу своему Махмуду? Одно лишь — что плохо помогла эдесская святыня и византийцам и арабам, и если произошло чудо, то плохое! Возлюбленную придется отдать. Жаль. Она превосходно сложена и высокого рода. Ну что ж. Поэты быстро забывают своих возлюбленных, это ведь не стихи. Кстати, о стихах. Это происшествие даст ему повод написать хорошее стихотворение, а быть может, и поэму.

— В конце концов Багдад имеет свои преимущества,— бормотал кади, утешая себя.— Для меня, во всяком случае. Я судья и сужу дураков, и это умилительно, даже и тогда, когда меня четвертуют за то, что я их судил плохо. Затем, я вернулся из опасного пути в Константи-

нополь, где пил хорошее вино, и, кажется, отделался довольно легко. В Багдаде я и величествен, и немножко смешон. В Константинополе я был только величественным. И, наконец,— я забыл?— здесь моя жена, которая мешает мне быть и окончательно величественным, и окончательно смешным. Что мне еще нужно?

И он вздохнул. Ему хотелось, чтоб Махмуд был счастлив. Но только один аллах, если это вообще возможно, знает, куда и к какому счастью их направить. А что он может сделать, он, слабый кади?

Путь его лежал через базар. Базар шумел. Кади проехал уже половину базара и увидел вдали кофейню, в которой хотел угостить Махмуда яблочным пирожным. Ему стало тяжело, и он повернул мула.

— Самый короткий путь,— сказал он,— не всегда самый удачный.

И он поехал окольной дорогой, которая проходила мимо тайного кабачка. Он оставил плечистого сторожить своего мула и долго пил вино, наслаждаясь, что палач сидит без вина и что его черная пасть суха.

Затем он сказал содержателю притона:

— Я пивал и лучшее вино, а это ты разбавляешь водой, и, собственно, тебя б надо судить, но я устал от правосудия Багдада.

Но все же он вылил остатки вина в свою тыквенную баклажку.

И кади опять направился к базару.

Светила полная луна, и лавки были, за исключением отдельных кофеен, закрыты. Шныряли зубастые собаки. Он вспомнил свой рассказ о пророке Иссе и о красоте дохлой собаки, когда-то рассказанный им Махмуду, и кади снова загрустил. Вино не помогало. Вот он, друг Махмуда, собака, которой бы охранять его покой, едет, чтобы оторвать друга от теплого стана возлюбленной, от ее ослепительной груди, похожей на две луны в облаках, тела которой тот касается сейчас всем лицом, как мул кади касается земли всеми копытами. О ты, судья! Что ты везешь? Кого ты судишь? Ты гибелью, как плитами, хочешь выстлать полы жизни твоего друга.

Такие размышления были чересчур отяготительны. Душа его болела. Он счел благовременным стегнуть своего мула. Мул, однако, не спешил и не прибавил шагу. И кади Ахмет позавидовал своему мулу.

— Страдания животных многочисленны,— сказал кади Ахмет,— но неоспоримое преимущество их в том, что

животные не знают грязного коварства Закона и среди них не бывает Джелладинов.

Наконец он подъехал к домику Махмуда и постучал в ворота своего друга тыквенной бутылкой, отполированной до блеска долгим употреблением.

Обнимая мертвую Даждью, Махмуд стоял перед ней на коленях. Лицо ее было повернуто к луне, деятельно льющей свой свет и медленно подвигающейся по грузному весеннему небу. Он целовал горло жены, желая остановить поцелуями кровь, которая текла теперь так же медлено, как луна, и лицо его, и молодая курчавая борода его были темны от крови.

— Мать,— сказал он,— стучится друг. Отвори. Так он всегда стучал в Константинополе, когда мы привезли туда эдесскую святыню.

Мать Бэкдыль, желая утешить его, кричала первые попавшиеся слова. Она кричала, что любовь тем и хороша, что быстро проходит. И она кричала, что остался ребенок, и кто теперь будет кормить его. И она кричала, что вот стоят возле две сильные и вполне доступные девушки и не помогают горю. И она подскочила к рабыням:

— Что же вы молчите? Когда не нужно, вы многословны? Что вы растянули рты?

И так как те действительно растянули рты в улыбке, ибо они слышали, что старшая жена требовала их смерти, и они испугались, то мать Бэкдыль с громкой и подходящей к случаю бранью ударила их по широким и твердым щекам.

И тогда соседи, прислушивающиеся к воплю, сказали, что у матери Махмуда иль-Каман, госпожи Бэкдыль, крутой характер.

Махмуд же повторил:

— Мать, открой. Мне нужен друг, и он стучится.

Въехал на своем гнедом муле кади Ахмет.

Он сказал:

— Где твоя горлица?

— Вот моя горлица,— ответил Махмуд и возопил:— Она впустила себе в гортань мой кривой нож!

И он опять упал перед ней на колени и схватил ее мизинец своим указательным пальцем, так, как делал когда-то, в начале их любви. Мизинец был холоден и тверд, как гвоздь, и словно холодный гвоздь вошел в его сердце.

Кади спросил, так как не знал, что спросить иное:

— Это — Даждья, дочь Буйсвета?

— Это была Даждья,— ответил, не поднимая головы, Махмуд.

И опять, не зная, что сказать, сказал кади:

— Это умерло твое счастье, Махмуд.

— Да, ты прав, друг,— ответил Махмуд.

И так как он видел тень за спиною кади и думал, что это Джелладин, Махмуд поднял голову. Незнакомый плечистый человек раскрывал мешок, где при свете луны синевато поблескивала крупная соль. За поясом его Махмуд увидел кривой нож, и он, знающий свою работу, узнал нож, который он преподнес визирю. Он не удивился. Визирь волен дарить ножи кому хочет. Но Махмуд желал узнать, зачем здесь этот плечистый, с широким, как канава, ртом. И Махмуд спросил:

— Кто это?

Плечистый человек сказал, вынимая нож:

— Подойди сюда и наклони голову. Спеши.

XLII

Так жил и умер поэт.

Он жил и умер в блистательном Багдаде во времена халифа ал-Муттаки-Биллахи, да будет прославлено имя его! Он умер, но он и жил.

Когда началась великая война с византийцами, его воинственные песни воскресли и, словно сверкающий меч, встали над Багдадом и ринулись в самую гущу боя! И говорят, что мертвая голова поэта, которая, вместе с трупом Даждьи, увезена была нечестивыми византийцами в Константинополь, встала над бегущими в страхе врагами, и голову эту держал в руках призрак синеглазой, светловолосой Даждьи. И смеялась, торжествуя, голова, и смеялся прижимавший ее к своей груди призрак!

Таков конец романа о поэте Махмуде, об его друзьях и врагах и об эдесской святыне. Не будем судить ни его, ни друзей, ни подруги, ни визиря, ни халифа. С тех времен прошла тысяча лет, и имена их давно забыты. Забыты и песни Махмуда иль-Каман, и только иногда молодой араб, укрываясь от жгучего ветра пустыни за холмом, в своем рваном коричневом шатре, споет песню о возлюбленной, которую он еще не знает, и в песне этой упомянет о судьбе, кривой, как нож, рукоятка которого украшена орнаментом из семи роз, а лезвие тремя лепестками. Араб поет, но кем и когда написана песня, он не знает. Да и нужно ли ему знать?

Рижское взморье,
11 сентября 1946 года

Рассказы

Публицистика

ПО ИРТЫШУ

За рекой далеко — сонно кудрявится ленточка дыма. От берега с блестящей гальки сорвалась чайка и исчезла в алмазных омутах воздуха. Тянет смородиной и черемухой.

Буран гребет лениво. Жарко! Бордовая сатинетовая рубаха присосалась к плечам — блестит от пота и грязи... Курчавые волосы на висках — мокры.

Не знаю, кто этот Буран. Пришел к нам в Лебяжье месяца два тому назад, отрекомендовался мне каким-то техником и живет. Роет на Вострой горе алебастр, продает и пропивает. Вот и все, что я про него знаю. И имени как будто нет. Говорил мне раз пять свое имя, но каждый раз новое. Прозвали Бураном казаки его — врет здорово.

Теперь мы переправляем учительницу из Ямышева, нашу хорошую знакомую, домой. До Ямышева сушей верст двадцать, а водой и все полсотни: вертит хвостом тут Иртыш. Но это пустяки — нам давно хотелось подальше прокатиться.

Мне давно нравится учительница; Буран на нее поэтому, как и на меня, смотрит с полупрезрением. Хотя, кажется... ничего у него не разберешь!

— Пристал, холера тебя возьми!— Буран опустил весла.— Надо пораньше было — поперли в жару-то!

— Сейчас хорошо...— Учительница полуобернулась к Бурану. Видно, как около глаз побежали лукавые морщинки.— Почему вам не нравится?

— Погреби-ка ты, матушка, другое зачирикаешь! Вся природа-то в пятки влезет,— отрезывает Буран.

Учительница отворачивается. По-видимому, ей хо-

чется сказать: «Зачем взяли?» Ведь мы сами предложили ей ехать.

От берега заковылял киргиз. Поил коня. Треплется меж камышей лисий малахай. Серого иноходца бьют по бокам серые метелки камыша.

— Дело — ерш,— ворчит Буран.— Еще, поди, верст тридцать осталось, да где у черта,— больше! Эту язву Черную косу еще не проехали.

— Что ты ворчишь?— возражаю я.— И не ехал бы.

— Не еха-ал!! А что я буду в Лебяжьем делать? Твои братцы «кошмоеды» мне надоели, поглядел я на них — будет!

— Разве вы не казак?— спрашивает учительница.

— Я?! Да я ошалел, что ли, язви их в нос!.. Буду я из дворян города Семипалатинска. Учили сначала в гимназии, но из третьего класса вышибли меня. Посему поступил я в сельскохозяйственную школу в Павлодаре.

Буран врет. Говорил он мне прежде, что ездил с какой-то экспедицией в Тибет и начал это путешествие с восьми лет. Ездил по Тибету пятнадцать лет, знает тибетский язык и даже посвящен в чин ламы.

Учительница внимательно смотрит на Бурана. Кажется, в ее уме не вяжутся вместе гимназия и его внешность — и эти плисовые приискательские шаровары и яркая сатинетовая рубаха.

— Кончил. И сделался техником сельского хозяйства. Отправили нас кобылку в степи изводить. Дали какой-то дряни — прыскай знай. Ладно. Прыскаем, и надоела, я вам скажу, мне эта волынка... Остановились мы раз в ауле у бая, волостного старшины,— а дочка у него — краса-авица!! Ну-с...— Буран выдержал паузу.— Полюбила она меня — и раз, к чертям, я с дрожек свои аппараты. Запрягаю свою троечку — да эдак в ноченьку темную и подъезжаю к аулу... Выходит она, садимся — и понеслись!.. Обнял за талию, речи любовные, а тут слышу: «Ста, ста! Держи!..» Киргизы за мной с три черта! Я по лошадям. Ну, а те измучены... Вижу — дело плохо, соскакиваем с лошадей... пустили их — полетели! А мы — в камыши... А у тех, бритоголовых, собаки, оказывается... Слышу — крадутся... Раз!.. Я тут одного, другого ножом — и айда! Понес рвать! В камыши зачесался — не нашли немаканые!..

— А девушка?— взволнованно спрашивает учительница.

— Поймали ее, да потом — через неделю — сулемой отравилась. Померла...

Буран молчит. Учительница вся повернулась к нему,— я наклоняюсь от руля к реке, будто хочу пить, гляжу на нее. Удивительно хороша она теперь.

— Как красиво...— шепчет она.

Я не знаю, что красиво, но мысли она не доканчивает...

Буран начинает рассказывать про тибетское путешествие. Говорит он веско и отрывисто, словно колет лучину: раз, два!

Лодка тихо плывет.

Сумерки замыкают небо в ночную горенку. За Черной косой мигают белые и красные бакены, шныряют по волнам одноглазые водяные.

Из-за плеча курчавого бора выглядывает налившееся кровью око луны. Кажется, кто-то громадный встал одной ногой на правый берег, другой — на левый и чертит по воде серебряные каракули.

Мимо нас пыхтит и трепещется пароход, сплошь обрызганный молочными и электрическими искорками.

— Ба-ат, на-бат!.. Восемь... Се-емь с по-ло-ви-ной...— тонет по черным логовищам ночи.

Иртыш морщинится.

— Че-ерти!.. Тише!..— орет Буран.

Нас вздыбивает, как на качелях. Кусают лицо и шею водяные пульки...

— Туу-ту-туту.. Туу-ту-туту...— покрикивает пароход. Нырнул в мрак.

И еще острее колет тишина. Вьются за лодкой бархатные тени,— и хищные лапы кустов осторожно щупают нас, когда лодка скользит у берега...

Мне не хочется молчать... Мне кажется, что молчанием мы как будто соглашаемся на что-то необычное и страшное. Я начинаю говорить бессвязно и долго.

Вижу, как Буран придвинулся к учительнице, и ее рука — в его лапе. Тревожно колышется белая кофточка... Он басит тихо-тихо. Я не могу разобрать, но мне почему-то неинтересно. Я доволен даже, как будто то, что смущало меня, теперь открылось внезапно.

Буран посверкивает на меня. Смотрит долго и задумчиво. Что ему? И не походит он на себя — такой важный стал и тихий, как ночь...

...Мне опять чего-то жаль, как будто сон вижу страшный...

— У меня дома отец остался и мать,— говорю я и сам не знаю зачем.— На пригорке у самого Иртыша стоит у батьки дом... Да... Старик уже стал отец, домой бы пора ехать!..

— Ну, и ехал бы!— внезапно прерывает меня Буран. Он встает на ноги, лодка тревожно качается. Голос у него дрожит, как будто кто настраивает скрипку.— Ну вас к черту! Тоску наводите только! Где она, боязнь-то, где? ну? И ничего тут нету, езжай один, а я не хочу... Чо мне тут с вами. Ночь да ночь, тоска меня берет — уйду я!.. Наврал я вам, что дворянин,— сапожник я, а не дворянин! И на Тибете не был — кули в Омске таскал на баржи,— вот мой Тибет! И в гимназии не учился,— шпана я, а не техник! Сидите тут, любуетесь,— а мне чо! Ишь наводишь буркалы-то, думаешь — отобью... Не лезь! Пошли вы к черту!

Буран вдруг прыгает в воду, судорожно зыбнулась лодка... Буран уже далеко, фыркает...

— К черту! Ухожу...

Не зная зачем, я бросаюсь вслед за ним. Слышу, как вскрикивает учительница,— и что она вскрикивает, когда бросился я, а не Буран, утешает меня.

Я ныряю и плыву за Бураном; брезентовые туфли намокли и пудовыми гирями прилипли к ногам. Нахлестывает вода. Силюсь не пить, но она наливается, ползет — безвкусно-тяжелая...

— Бу-у-ура!..— захлебываясь, кричу я. В уши бьет колоссальным молотом... И почему-то пахнет земляникой. И как будто в синее прозрачное одеяло укутывают меня.

Больно рвануло волосы... И за пояс уцепился железный крюк...

Как спокойно!..

...Кажется, Буран говорит. Но так не похоже на него! Так ласково.

— Тоже благородство, подумаешь... А потом — я виноват был бы... Папиросы вымочил — чо курить-то будем! Балда великодушная!..

Лодка у берега коряжится.

Белая кофточка дрожит и плачет: «Поедемте, страшно...»

— Ладно.— Буран отряхивается.— Еще уговаривайте — я и сам поеду. Толкни лодку-то, слышь! И как она умудрилась всадить ее в песок-от. Ишь — да ну-у!!..

Лодка скачет.

Буран замерз и гребет вовсю. От его спины ползет пар. Холодно.

Я сижу, укутанный в шаль учительницы, и начинаю понемногу согреваться. Скоро сменю Бурана грести.

Как скоро отколдовалась ночь!

Секут небо кровавые мечи; клочья облаков, как пурпурные одежды, мечутся от утреннего ветра. Крякают утки далеко... Поползло чуть заметное кружево тумана. Дохнуло от какого-то аула дымом.

Щелкают огненные бичи по кустам — это красавец день гонит горбатую ведьму ночь...

В Ямышевом спят... Спускаем учительницу и не идем за ней. Она не смотрит на нас и говорит, опустив глаза...

Пошла... Обернулась, благословила меня туманным взглядом и скрылась...

— Куда?— спрашиваю я.

— Теперь?— Буран надел фуражку.— Теперь? Давайте спустимся вниз немножко, я знаю местечко одно там. Лодку оставим — ребята завтра ее с пароходом пригонют. А сами мы пехтурой домой... На, греби!..

Буран загнул руль и заорал:

Мой отец — Иртыш седой.
Моя мать — нужда слепая...

Ползло над рекой эхо...

1917

КИРГИЗ ТЕМЕРБЕЙ

Темербей спал на кошме, когда прибежал сынишка и, дергая отца за рукав кафтана, прокричал плаксиво:

— Эый, апа! Лошади нету.

Темербею спать не хотелось, но все-таки он (дабы сын не думал; сильно, мол, отец беспокоится) повернулся на другой бок и вяло проговорил:

— Уйди! Спать хочу.

Сынишка же плаксиво продолжал рассказывать, что спутал лошадь, пустил в степь, а она порвала путы и убежала. И он тряс плетенными из конского волоса путами:

— Нету лошади, апа.

Темербей полежал, сколько ему понадобилось, затем

встал, пощупал жесткие путы и, повесив их на перегородку, сказал:

— Долго воевать русские будут? Штанов нету, брюхо, как арбуз, голое — тьфу!..

Лошадь, знал Темербей, бродила недалеко, и он решил отправиться пешком, лошадь смирная, и ее можно изловить без аркана. Он подтянул пояс, хозяйственно оглянулся, взял недоуздок и пошел в степь.

Аул Темербея маленький: семь темно-серых, похожих на грибы юрт. У прикольев, полузакрыв розовыми веками влажные глаза, дремали тонконогие жеребята. Пахло кизяком и овцами.

За прикольями — степь: жгущий ноги песок и беловатое, безоблачное и жуткое поэтому небо. День только что начинался, а жара такая же, как и вчера к вечеру,— и словно не было короткой ночи.

Темербей ходил долго, откуда бы достать чаю, выбирал в уме, какого барана отвезти к казакам для мены — может, у них найдется чай. А черные зрачки в узких разрезах глаз шарили по степи — нет ли лошади. Одно время он почувствовал под пяткою в сапоге песок, он отставил кривую ногу, наклонил голову, взглянул. Как раз над пяткой у сухожилия ичиг лопнул.

— Тыу!..— недовольно шлепнул губами Темербей.

Он сорвал пучок высохшей травы и заткнул прореху. Срывая траву, он вспомнил, что в степи засуха и что с самой весны(а вот скоро и конец лета) не было дождя. Ему стало тоскливо, и, чтобы скорее вернуться домой, он пошел быстрее.

Он исходил верст восемь, когда встреченный киргиз сказал:

— Темербей! Лошадь твою Кизмет поймал и к тебе отогнал домой.

С Кизметом Темербей давно был в ссоре, и известие такое ему не понравилось.

— Что он обо мне заботится? Сам бы нашел,— сказал Темербей, отходя от киргиза.

Знакомец хотел предложить довезти Темербея до аула, но, видя его недовольное лицо и вздернутые кверху два клочка волос на подбородке, попрощался.

— Кошь!

И слегка тронул лошадь толстой нагайкой. Лошадь весело махнула хвостом и бойко пошла иноходью.

Темербей же досадовал и на Кизмета и на знакомца, не предложившего довезти. Он, не зная зачем, пошел

дальше в степь. Так он прошел с полверсты и успокоился, а как только успокоился, то почувствовал усталость.

Он поднялся на холм и лег в кусты карагача. От них ложилась, правда, жидкая тень и пахло смолистостью. Темербею захотелось спать. Он заложил за щеку носового табаку, попередвигал по деснам мягкий ком и скоро почувствовал приятный туман в голове.

— Что мне!— довольным голосом сказал он, сплевывая.

Потом он снял бешмет, свернул его клубочком и остался в грязной ситцевой рубахе и в штанах из овчины шерстью наружу. Он рукой выровнял песок, положил голову на бешмет и, проговорив: «Хорошо!»— уснул.

Проснулся он от конского топота и еще какого-то странного, не знакомого ему звука, словно били чайником о чайник. Темербей взглянул вниз, в лощинку.

К холму, на вершине которого в кустах карагача лежал Темербей, подъезжали одиннадцать человек. Правда, это спросонья показалось Темербею, что они подъезжали,— двое из одиннадцати шли пешком, а один был даже без шапки. В сопровождавших этих двух пеших людей Темербей узнал нескольких знакомых из поселков казаков. Он хотел выйти из кустов и поздороваться, но странный звук повторился.

— Дьрынн!.. Дьрынн!..

Качавшийся в седле казак бил шашкой по стволу ружья и подпевал:

Волга-матушка широка,
Широка и глубока...

Лицо казака — круглое, с маленькими, цвета сыромятной кожи, усиками, весело улыбалось. Ему, должно быть, доставляло удовольствие и собственное пение и звук, производимый им ударом шашки о ружье.

Разглядывая его, Темербей заметил, что все казаки с ружьями, а двое пеших без ружей, и Темербей подумал, что лучше ему не вылезать.

Люди и лошади спустились в лощинку, и казак с бородой, блестящей и чистой, как хвост у двухлетка-жеребенка, с нашитыми на плече белыми ленточками, сказал что-то по-русски, после чего все казаки спешились. Лошадей увели в степь и спутали там.

Темербей подумал, что, вероятно, хотят варить чай, и ему опять захотелось выйти из кустов, но он подумал:

«Почему сразу не вылез? Трусом назовут и будут смеяться».

Он очень уважал себя — ему стало стыдно, и он остался.

Казак помоложе принес две лопаты с короткими плосковатыми рукоятками, он стукнул их одна о другую, сбивая присохшую на концы лопат глину, после чего передал их пешим людям.

Один из пеших — высокого роста человек, без шапки, в черных штанах, спущенных на сапоги, стоял, широко расставив ноги и насупив бритое с острым носом лицо. Концы штанов были очень широки, и сапоги почти тонули в этих больших кусках сукна. На нем была коротенькая тужурка с блестящими пуговицами, как у чиновника, и на тужурке лежал выпущенный ворот рубахи. Рубаха была из белого холста, а длинный ворот падал на спину, закрывая лопатки, и ворот этот был синий с белыми каемками. Лицо у этого человека загорело тем особенным коричневым загаром, который приобретают люди, впервые приехавшие в Туркестан. Солнце, должно быть, сильно палило ему голову, и оттого он часто поводил выгоревшими, почти белыми бровями и с силой сжимал веки.

Второй был ниже своего товарища, с рыхлым сероватым лицом. Он был курнос, и его толстые губы постоянно, словно нехотя, улыбались. Одет он был так же, как и казаки: в штаны и рубаху цвета осенней травы, на макушке головы торчала тесная фуражка с полинялой красной ленточкой у козырька.

Казак с белыми тряпочками на плечах отмерил три шага и, топнув ногой, сказал что-то по-русски. Маленький пеший человек подошел и ковырнул землю там, где топнул казак. Казак отодвинулся и еще топнул, пеший человек опять ковырнул лопатой. Второй пеший, отвернувшись от товарища, держал лопату под мышкой и, почти не моргая, глядел в степь, и непонятно было Темербею, скука или что иное было на его лице.

Остальные казаки лежали и курили, горячо о чем-то рассуждая. По обрывкам киргизской речи, вставляемой время от времени в разговор, Темербей понял, что они говорят о покосе и о том, что старики неправильно роздали делянки покосов. Один казак, заметив пристальный взгляд в степь человека без шапки, поднял кулак и погрозил ему.

Человек без шапки отвернулся и стал глядеть на сво-

его товарища. Маленький человек уже отмерил четырехугольник, и всковырянная черная земля походила на крышку широкого и длинного ящика, брошенного среди зеленой кошмы трав лощинки.

Потом двое пеших взяли лопаты и стали рыть землю. Казаки лежали там же и спорили о покосах.

Казак с белыми тряпочками на плечах сидел в трех шагах от работавших; в руках у него была винтовка, а шапку он положил на колени. Его кирпичное с редкими усами лицо выражало скрытое удовольствие, словно он в первый раз присутствовал в гостях у какого-то большого чиновника, а с другой стороны — ему, должно быть, очень хотелось домой; надоела эта степь, горячее солнце, и хотелось тени. Он несколько раз взглядывал на кусты карагача, где лежал Темербей, но они были далеко — шагов двадцать, двадцать пять, и ему не хотелось или нельзя было идти. И он сидел по-киргизски, поджав ноги и положив грубые и грязные пальцы рук на ложе ружья.

Двое же продолжали, низко пригибаясь к земле, рыть. Влажная черная земля с блестящими нитями корней травы отлетала и жирно шлепалась. Уже появился бугорок, а Темербей все никак не мог понять, для чего роется эта яма.

Низенький человек уронил лопату, и высокий, быстро наклонившись, подал ее ему. На курносом лице низенького промелькнуло неудовольствие, что уронил лопату, и радость от услуги.

Высокий далеко отбрасывал землю и, видимо, работал неохотно, так что казак указал ему лениво рукой — поближе, мол, клади! И Темербей сразу узнал хорошего хозяина — действительно, зачем отбрасывать далеко, если землю понадобится засыпать, только лишняя работа. Высокий же не послушался и продолжал, словно со злостью, далеко откидывать землю. Темербею такое непослушание не понравилось. Казак ничего больше не сказал, и Темербей подумал: «Наверно, работа казенная, раз так к ней относятся».

Низенький же работал лучше. Он не спеша брал полные лопаты земли и складывал их аккуратно, иногда сверху пришлепывая, и, когда стукала лопата о землю, он улыбался толстыми губами. Скоро он вспотел и, расстегнув ворот рубахи, закатал рукава. Высокий человек скинул короткую тужурку, отбросил ее в сторону. Молодой круглолицый казак, разбудивший Темер-

бея пением, вскочил и быстро схватил тужурку. Торопливость эта показалась непонятной и жуткой Темербею, а казак понес и показывал тужурку с таким видом, словно она стала его собственностью.

У Темербея начинала болеть голова — и от неудобного положения тела в кустарниках, и от солнца, и от непривычки думать так долго. Хотелось к тому же пить, а вылезти — страшно.

Он закрыл глаза, но с закрытыми глазами было еще хуже. Казалось, войдет сейчас в кусты казак и спросит громко:

— Ты что подсматриваешь здесь, Темербей?

Он опять стал глядеть на работу двух людей.

Низенький, должно быть, устал и, вытащив из кармана грязную тряпку, отер ею пот и, как всегда при тяжелой земляной работе, глубоко и часто дыша, поднял голову и оглянулся. Лицо его искривилось болью, глаза покраснели; высокий заметил это и сурово указал на землю: дескать, работай! Низенький перервал вздох и продолжал копать.

Казакам надоело спорить о покосах; они по одному, по двое подходили к яме и, взглянув туда, громко ругались. Темербей понимал русскую брань, и, когда казаки ругались, он думал, что они, значит, недовольны медленно двигавшейся работой. Темербею тоже стало все надоедать, и он хотел, чтобы яму скорее выкопали и ушли, чтобы он мог тоже уйти домой и в прохладной юрте, на белой мягкой кошме, прислонившись спиной к ящикам, выпить чашку или две кумыса, а потом пойти к соседям и рассказать им о виденном. Или нет, соседей лучше пригласить к себе.

Но уж давно там, внутри, плескалась мысль: «А зачем они роют? Для чего? Кому?» А сейчас она поднялась, как река во время разлива, и затопила все. И только, как сучья верхушек из-под воды, одиноко прыгали и дрожали мысли об ауле, скоте, сынишке.

И ружья в руках казаков, и лопаты, царапающие землю, и человек с белыми тряпочками — все как-то сразу соединилось и крикнуло словно в лицо Темербею гнилым словом:

«Убить!..»

Сразу как-то понял это Темербей, а когда понял, стало ему страшно. Он почувствовал себя одиноким и в то же время связанным с людьми, совершающими убийство, а сказать: «не хочу»— не было силы. И показалось

Темербею, что он словно ест дохлятину, и даже начинала щекотать горло тошнина.

А двое «кызыл урус», красные русские, продолжали работать.

Уже низенький ушел по пояс в землю, а так как двоим в яме работать было тесно, то человек без шапки встал на краю ямы и глядел в степь поверх холмов и кустарников. Темербею было виднее с холма, он подумал, что высокий, наверное, ждет кого-то из степи; Темербею стало жалко их, и он, в тайной надежде увидеть кого-то там, взглянул.

Никого.

Серела редкая полынь кустарника на розовом песке. Глубоко и жарко дышало цвета жидкого молока небо, и горячий воздух был почти уловим глазом.

А высокий человек все смотрел и смотрел, словно хотел улететь глазами в степь. И Темербею было боязно глядеть на его крепкое тело, на загорелое, похожее на заношенное голенище, лицо.

Казак выругался, и высокий человек прыгнул в яму сменить уставшего. Рыхлый пеший, тоже взглянув в степь, отвернулся. Он присел на выброшенную землю, и лицо его, словно по принуждению, жалобно улыбнулось.

Казак с белыми тесемками на плечах крикнул по-русски. Остальные казаки, вдруг став сразу серьезными, вскочили, схватили ружья и выстроились в ряд, как жеребята у аркана приколья. Видно было, что стоять так и слушаться тусклого здесь крика старшего казака было им приятно. Они понимали, что скоро уедут, и лежать здесь на жаре им надоело.

Услышав крик и движение, работавшие выскочили из ямы, и высокий с силой отшвырнул лопату в сторону, так, что она врезалась ребром в землю. Они почти одновременно взглянули друг на друга и стали на краю ямы.

«Убьют»,— подумал Темербей, и ему стало стыдно знать по именам и лицам этих казаков и думать, что придется еще где-нибудь встретиться. Он, сгибая хрупкий кустарник, старался плотнее прижаться к земле. Сердце у него билось так, что казалось, стук его отдается в земле, а телу стало холодно, и голова болела, словно был самый лютый мороз.

Под руками Темербея хрустнул сучок, он весь расслаб и с открытым мокрым ртом глядел, как против двоих встали с ружьями восемь и как один, самый старый,

встал в стороне и приготовился кричать, одергивая рубаху.

Высокий протянул руку низенькому, и тот, подержав ее, как-то нехотя опустил и отвернулся. Высокий дернул подбородком, как дергает лошадь, оправляя узду, и сделал шаг вперед. В это время старший казак закричал, а как только он закричал, восемь казаков выстрелили разом, и Темербей зажмурил глаза. Ему показалось, что выстрелили в него, и он даже ощутил большую боль в плече.

Когда он решился взглянуть, пеших уже не было, а двое казаков засыпали яму, но им надоела скоро эта работа. Они взяли лопаты и, очищая землю о подошвы сапог, подошли к лошадям и поскакали догонять уехавших в степь казаков.

Темербей долго не выходил из кустов, но вот поднялся, спустился с холма и подошел к могиле, оставляя на влажной земле следы шагов.

Убитые были почти засыпаны землей, только торчала из земли кисть руки, должно быть, человек упал на спину и вытянул кверху руку. Рука эта была белая, с желтоватым отливом и у большого пальца на ссадине темнело пятно крови.

Темербей наклонился, чтобы хотя как-нибудь засыпать могилу, но едва он дотронулся до земли, как вспомнил эту белую руку с длинными пальцами, отскочил от могилы и почувствовал, как непослушные, вдруг вспотевшие ноги, быстро подгибаясь, понесли его в степь. Он бежал, и в то же время его всего охватывало ощущение чего-то большого, неясного,— сознание, что самое страшное начнется сейчас, что у этой могилы он похоронил прежнего, давешнего, тихого, спокойного киргиза Темербея...

1921

БЫК ВРЕМЕН

I

Ночью, когда юрты спали, туркмены пригнали табун пленных.

А Трифон не спал, Трифон искал бабу.

Синий песок щекотал потный волос ног, щекотал,

жалобно струясь меж пальцев. Сухой ломотой покалывало колени.

Юрты истошно пахли молоком и айраном. Бесшумно пробегали худоребрые псы, словно составленные из прутьев. Месяц мелькал у них на клыках.

Не шла баба. Забыл Трифон, в какой юрте она, и, разгоняя собак, бродил позади юрт. Он свистел русскую песню и бил нагайкой по песку. Шел босиком, чтоб не шуметь, сапоги оставил в палатке.

— Эй, кым!— звал он тихо.

Звонким желанием натягивались жилы. Десны облепляла клейкая слюна. Засвистал громче, выругался:

— Омманула, стерва!

Здесь-то отошел от юрт, в пески, и увидал пленных.

Стукая палками-укрючинами с длинными из шерсти петлями, показались туркмены. Остро несло конским потом и размякшей кожей от седел.

Шарахнулась лошадь от Трифона: в прорыве он увидал темное кисловатое стадо человеческих голов.

Дальше кто-то в глубине тихонько бормотал русские буквы, а слова подавал туркмен, спросивший по-киргизски:

— Что тебе?

— Ничто,— грубо сказал Трифон, отходя.

«Раз отряд к аулу, можо, на шум выйдет». Возвратился Трифон. Опять лихорадил у юрт.

Синеватая, прозрачная, как листья джидде, марь не давала узнать приколья с тремя телятами и заплатанный медью котел-казан Кызымки.

Кровь завинчивала до боли жилы. Шипя, позвянкивало-потенькивало в ушах. Чубатый волос мокр и липнет на пальцы.

Продвинулся Трифон к костру.

Старая туркменка, с острыми, как нос, шафрановыми скулами, оправила на голове грязный чувлук, спросила:

— Что надо?

Зажала в клыках ворчание лохматая собака.

Плеснул плетью, собака прыгнула за костер.

И только хотел спросить, где юрта Кызымки, как белая грива коня повисла в дыме костра.

Склонившись, поправляя аракчин, мясистобородый туркмен спрашивал:

— Зачем ходишь? Чужой лагерь зачем ходишь? Надо свой лагерь сидеть, вот!

Клубилась у Ибрагима красная, по-персидски, борода; летел над седлом полосатый лампасами бешмет; седло сжимало коня афганским серебром чеканок.

Обмерклым голосом сказал Трифон:

— Лошадь потерял.

И словно не принял ответа Ибрагим. На карем иноходце к костру подошел густоусый бледный офицер.

От офицера Трифон в тьму. С полковником Степановым, ну его к черту!

Двинулись они рядом. Один тонкий, перетянутый ремнями, другой широкий, как кустарник зерик, и цветные волосы на спине, словно ягоды...

— Хорошо, сапоги не надел. Может, про мир?

Рысью за ними, рысью. Углядывай, парень.

Задержались у пленных. Устало, неслышно, как овцы, спали пленные. Как пастухи — туркмены с длинными укрючинами.

Указывал толстой и круглой рукой Ибрагим на Ийктау, скалу Быка времён. Одна она выбегает из песков, выше всех мечетей Туркестана и темна, как плита из черного нефрита на могиле Тимура.

Одна она. А за нею барханы в семь саженей — пески нетленные. А на барханах саксаулы с чешуйчистой, как сыпь, листвой.

Ветви мертвые скрипят, песок шелестит у стволов. А на барханах волк и шакал.

— ...Не поймешь, говорят тихо.

Это люди неслышно, а пески, а пески как стада, и как зверь песков — молчаливый и жаркий — скала Ийк-тау, камень Быка времён...

Как их услышишь, человек?

Я их слышал, я! Ухом птичьим, чутким прошел по пескам. Волосы мои, как лоснящаяся шерсть коней. Как ящерица варан проскользнул я через саксаул, руки мои в песках, грудь пахнет молоком кобылиц.

Эх, ветры мои степные, серебряные! Корни трав твоих, пески кызылкумские, обнажили мое сердце, и, как верблюд на пятидесятиверстном пробеге, в пене оно, в крови оно!

Эх, ветры мои, степные-серебряные, помните!

II

Поднялся Трифон утром злой.

Вышел из палатки и сразу узнал юрту Кызымки.

— Ишь, гадина!

Мылись коротконогие, с пухлыми животами казаки. Отъехал от палатки полковника Ибрагим.

Спросил Трифон:

— Куды он таку рань?

Крепкощекий молодой Васька Талых сказал:

— Ноне байгу туркменье назначило. Праздновать победу хочут. Забрали вчерась пленных, бить их будут.

— Русских?

Талых захохотал:

— Там всех мастей. Австреяки есть, новоселы, хохлы, киргизье и опять-таки русски. Одно слово — красногвардей!

— Вешать, что ль?

Талых хлестнул себя по холкам и, весело махая кулаками, сказал:

— Ибрагим этот — башковитый! Недаром из ханов ихних. Я, грит, туды вашу, джигитов распотешу. С камня, грит, усех пленных пошвырям.

Талых свистнул:

— Лети на девяти, прямо в Москву. Это я понимаю!..

— Совсем сдурел народ,— сказал Трифон и, шарясь в карманах добавил:— У те на завертку не найдешь?.. Надула меня баба-то.

— Но-о!.. Ее, парень, сразу надо за юбку. Востры. Табак-то есть, да гумага вся.

— Гумагу найдем.

Ветер от солнца жаркий, даже верблюд потеет. Крыльцы у казаков мокры, брови в поту, как сучки в воде. Починяя потник, Талых рассказывал:

— Полковник приказал, чтоб наши не мешались, потому зверства. А сам, грит, я ничо не вижу — в палатке буду сидеть. Ибрагим ему туды турсук кумыса привез. Сиди. А ты, Трифон Якимыч, на камень пойдешь?

Слова у Трифона острые и твердые, как куян-суек — дерево зверя.

— Надо бы бабу заметить. Ни... тянуть-то баушку за хвост. Не то и по хребту можно.

— Куды хошь. Я коли тоже, с тобой. А как их там, эти немаканы? Вон ведь куды, камень-то высок, парень.

— Одно слово — скеля.

Узловат мясом Трифон. Хозяйство вел дома широкое, шаг у него низкий и вязный. А Васька Талых шагает, словно коза листья щиплет.

Камни Ийк-тау под ногой будто стремя, пять дней

не сползавшее. Саксаул в колючках прячет жару. Пески, задыхаясь, бегут от камня.

Собрались джигиты в праздничных халатах — жарких цветов. Малахаи из красного бархата опущены лисицами. Кони играют жилами, ржут.

У джигитов стальные пики. Джигиты внизу, у отвеса скалы Быка времён.

А на скале в бухарском фаевом бешмете с золотыми медалями, в бархатном желтом аракчине сам Ибрагим-бей из рода Дженгеля, потомка Тимура. На большом копье подле него конский хвост.

Слово старейшин — как растенье ранчи для красных полей — Кызылкумов. Не будет ранчи, не будут обитать люди. Не будет крепких слов, все уйдут туркмены к бунтующим русским.

Сказал Ибрагим:

— Сбросить на камни со скалы пленных кызыл-урус[1]. Чтоб кровь их, как вода, чтоб жилы их, как корни, обтянули камни. И родится для вас спокой и радость.

И запел уянчи-певец. Домхра-балалайка в две струны звенит, танцует, голос у него лучше волка, губы у него — дыни.

Поет:

— Ты, Ибрагим-бей, как гора, тучен ты, как жеребая кобылица, сопишь ты, как самовар, бегаешь ты, как летящий иноходец, твои руки протягиваются на пять верст, глаза твои видят через степь. Сладок ты, как арак...

Сказал Ибрагим:

— Веди!

Повели джигиты пленных.

Взглянул Трифон вниз под откос и ухнул.

Гикнули, отликаясь, джигиты, кони переменились местами, солнце переблеснулось на пиках.

Попарно шли пленные в гору. Утром их забыли попоить, и рты их были как серые, потрескавшиеся солонцы. Засыпанные пылью песков, волосы липли к вискам и тощим каменистым шеям. Было их больше сотни — впереди киргизы, в рваных бешметах и солдатских гимнастерках. За киргизами русские, а позади австрийцы в голубоватых куртках.

Длинная пыльная лента, с запахами страха и смер-

---

[1] Красные русские.

ти, волочилась по дороге. Колыхая белыми чувлуками, прорывались туркменки через охрану, плевали пленным в глаза и выдергивали бороды. Жидкая беловатая слюна висела на бровях, а подбородки алели мутно.

Визжали ребятишки, под горой лаяли собаки, и, как желтый ящер, грелось на камнях солнце.

Увидал среди туркменок Трифон Кызымку. Расталкивая плечами баб, дернул ее за чувлук:

— Ты что не пришла?..

Улыбнулась Кызымка румяными щеками, а губы мокрые от плевков — до середины подбородка. Выплевывая пыль в лицо пленного, крикнула:

— Приду. Вчера мясо-махан варил, бий Ибрагим звал. Много бий Ибрагим гость был, помогать звал. Приду седни!

Одернул Трифон новую сатинетовую рубаху и перевалкой, не спеша, отошел.

Перекрикая шум и визг туркменок, Васька Талых спросил:

— Ну, что?

— Придет.

— Недаром ты нову рубаху оболок!

Скинул Ибригим фаевый бешмет на руки подскочившего джигита. Подозвал первую пару пленных, повел крашеным ногтем по рубахам,— джигиты, теребя, перекидывая пленных, сдернули с них платье.

Сбросил вниз с обрыва рубаху и бешмет пленного Ибрагим. Джигиты бросились ловить. Сталкиваясь, звенели стремена и пики. Туркменки оставили пленных, и одна из них крикнула вниз:

— Эый, Докой!

Махнул в ответ джигит пойманным бешметом.

Опять повел пальцем Ибрагим. Двое джигитов, подталкивая пленных в лопатки, концами пик подвели к обрыву и вдруг, как сено с вил, скинули их. Джигиты гикали. Подвели вторую пару, сдернули одежду, пленные упали на живот, джигиты пиками за шею подцепили их с камня.

А на пятой паре Ибрагим оттолкнул джигитов, сам сорвал пуговицы и, приподняв пленного на руках, кинул. Повисая на камнях клочьями мяса и жижей мозга, брызгая багрово-бронзовой кровью на золостисто-серый камень, тела кувыркались... Отлетел почему-то один далеко и вдруг упал на круп лошади джигита. Лошадь вздыбилась, понесла, прикрывая гривой седока.

Потом они стали падать в одно место, и от красной кучи густо пошел пар. Один повис в камнях, из затылка жирно прыгнула кровь. Руки все прижимали к голове, а ноги били камни, как крылья.

Сказал Трифон:

— Тошнит.

Тряс Васька челюстью, скаля желтые зубы. Проговорил в нос:

— Ничо, пройдет.

Расправлял Ибрагим уставшие руки. Тер джигит ему плечо. Потели скулы темной яшмы, голубой и синей лазури камни Ийк-тау. Млеет камень, пески, как индийские шелка, солнце, как желтый ящер.

Кисловатым потом пахли пленные, много лежало на животе, стонало и материлось. Джигиты подтаскивали их к обрыву за мокрые руки и, словно мешок за другой конец,— за ноги переворачивали под откос.

Утомились и не стали снимать одежды. Надуваясь, скидывая пыль, тела грузно падали на камни, лопаясь, как большие пузыри.

Подходил в последних парах маленький, узкоглазый и смуглый. Шедший с ним покорно упал, а маленький визгливо ругался:

— Сволочи... собаки...

Залезая на седло, Ибрагим сказал про него:

— Этот как гадат-ранг, роза семицветная. Глаза у него как песком засыпало, скулы как лошадиные ляжки. Чаксы [1] русский!..

Натягивая поводья, сказал:

— Оставить его.

— Па-але,— подтвердили джигиты,— оставить!

Бежали вверх на скалу джигиты, чтобы посмотреть на русского, оставленного за красоту.

Подтягивая ремень со штанами, Васька сказал:

— Пойдем, Якимыч, жарко. Немаканы-то ишь сколь на себя наздевали, им что, а тут сквозь рубаху пропекат. Один баской ишь по-ихнему.

— Ишшо женят!

— Очень выдет просто. А по-моему — спустил бы и его. К одному перед богом отвечать.

III

Вот на песках, на барханах пена. Не пена, не ветер — люди. Кони из песков, винтовки из песков,

[1] Хороший.

Камень Ийк-тау. Бык времён молчит.

А люди кричат. Криком ли прогонишь страх, он овладел, искромсал лицо, брызнула кровь из жил на кожу.

Кричат костры. Котлы звенят.

В обед к лагерю на иноходце примахал киргиз. Месил седло дряблым напуганным телом, обмерклым голосом кричал:

— Беги... беги. ...зый!.. Уый-бой, уый-бой, кызыл-урус кольды. Уый-бой, кызыл-урус![1]

Наклубило пыль. По кострам — всадники, по кострам — пыль. По пескам — искры, горят пески. По шерсти — искры, горит шерсть.

— Ой, русские подвигаются, русские. Серпом смертоносным, железным.

Жаром обдуло уши. Отвалил голову, а тут полковник Степанов за плечо. Обобранное лицо, голое, голос обобранный — нутро бороздит:

— Давай, стерва, лошадь!

А где возьмет Трифон лошадь? Самому бы только. Лови лошадь! Лошади, которые успели,— под человека.

Коням умирать не хочется, бегут кони, рвут прикола.

Нет у полковника Степанова лошади, нет и не будет до смерти. Из нагана — в казаков, пули не угодят казакам. Казаки бегут — никто не ждал, никто не думал.

— Эй, кызыл-урус!..

IV

Вот огни над песками, вот огни в песках. Лошадь врывается потной грудью в пески, рвет...

Полоснули кровями, полоснули.

Мокрые гривы до земли. Мокрые от крови руки над седлами.

Где собирать юрты? Беги.

Поймал-таки двух иноходцев Ибрагим. На одного — сумы с серебром, на другого — красавца русского. Русского надо с собой. Обменять ли, продать.

Сам Ибрагим на верблюде. Бел верблюд, бел и легок, по горлу до земли шерсть. Иноходцев по бокам привязал,— ну, лови...

---

[1] Беги! Беги! Красный русский идет! Красный русский!

— Да, да, лови, русские, лови...

Ну и поймаем!

Бежит барханами Ибрагим. Гривы иноходцев — на верблюде. Верблюд над песками, как облако. Пески под мягкой подошвой, как тень.

А за Ибрагимом, позади — Трифон. Изловил себе лошадь, нашел. За Ибрагимом, он все знает.

А за ними в погоне — киргизы и русские. У кызыл-урус на шапках красные л е т в ы, а на шашках — кровь. Гони!

Убежит, не убежит?

Не знаю.

Саксаул, бал-курай прыгают, вцепились в барханы. Потные лежат пески. Ремнями приторочен русский. Голова у него как пустая тыква, а глаза — высохшие ягоды.

Убежим!

Пала у Трифона лошадь, занозилась пулей. Ногой еще скребет, торопится бежать.

А Трифон руки поднял. Не поднимай. Зря.

Вместе с кистями рук отрубил догнавший русский голову. Рубаха у Трифона синяя блестит, может — офицер. Трясет отрубленной головой — пусть кровь стечет, а другой русский — за Ибрагимом.

И видела мертвая голова Трифона:

Рубанул шашкой Ибрагим по поводьям, остался иноходец с сумой,— перебросил к себе русского, в седло — один, подминая под себя пески, понесся бел-верблюд. Убежал Ибрагим.

И еще не видала мертвая голова Трифона:

Вечером, как всегда, поднялся волк на скалу Ийк-тау, камень Быка времён. Зажал хвост меж ног и лег у откоса, нюхая жаркий, пахнущий кровью воздух.

И, как всегда, выбегал из песков синий Бык времён и каменным рыком мычал в небо слова непонятные и вечные.

1922

ЛОГА

I

Уйдет она на пригон, в предбанник, скинет рубаху, сморит на себя: плотно прижалось мясо к кости — алое, как калина, и пахнет хрупким осенним мхом.

Скажет она горестно:

— С чего оно в тоске? Зачем?

А небо бело-белое, белее молока. Земля снизу его поджигает, дышит на него прелым духом.

Люди вокруг огромные, широкие как земля, из твердого мяса сбитые. Ходят по полям победителями, высовывая из бород насмешные улыбки. Они покойны!

Хотя б муж ее Петр — у него черная, точно унавоженная борода,— земля, сто лет не паханная. И говорит, точно корни корчует:

— Нонче, паря, урожай. Бог послал!

Иль дед Емолыч — хан казанский. Лыс, как курган, хитер и слово бережет, словно клады земля. Молчит. Бешмет у него киргизский, пестрый, на ногах ичиги, и не ходит — летает человек. Лошадь у него иноходец; трашпанка — легка, будто из бумаги.

И все дань из города привозит.

Привезет, в сундук, жестью цветной обитый, складывая, улыбается лысиной. А лицо, как темя, недвижно.

Петр говорит ему:

— Пушшай бунтуют. У нас земля удойная, а город, ён все припрет сюды. Им бы бунтовать.

Идет Аксинья мимо мужа; в глаза ему посмотрит — как колодец степной, сух и темен глаз. А ночью, когда жмет ее, давит и зыбко дышит на ее тело,— закрывает она глаза. Тогда ей совсем страшно.

Шла бабка Фекла по пригону: яйца курица несет несуразно в этом году — искала. Шарила прелую землю, навоз сухой и едкий, сено. Шебуршала, как сеном, губами:

— Ребятишки, баю, в Расее-то без ног родятся. Ксинь, а?

— Не знаю.

— Ничо народ ноне не знает! Ране хоть старова слушались, теперь вот своим умом зажили. Слякотной народ.

— Тошно, мне, баушка!

— А ты Миколе Мирликийскому да Пантилимону свечку вверх ногами поставь. Сглазили, усю Расею антихрист сглазил!

И опять зашарила руками, зашебуршала сеном.

— Силы у меня нету, в бор бы не то пошла. Иди хоть ты, Ксинь.

— Видьмедя там я не видала, что ли?

— Гриб собирай! В городе-то заместо хлеба гриб

жрут, провалиться им совсем! Собрала бы вот да на платье бархатно выменяла, а то на шелково, а?..

— Куды мне шелка? Скука.

И дом огромен, темен, как из камня рублен. Пахнет вечным сиплым хлебным духом. Все лето окна настежь — не выходит дух.

И все село такое огромное. На версты — в лесу, в хлебах.

Из города, как начался голод, приходили тощие, с широкими пустыми мешками, просили.

— Бог подаст!— отвечало село.

Не стали приходить. Собакам скучно, лаять не на кого. Да и приходившие завидовали им:

— Собаке на день скармливаете больше, чем нам на неделю дают.

— А ты не бунтуй!

И лохмоногие псы рвали сапожонки уходивших. Тоска и широта.

2

Желтым вечером — с юга дул песчаный ветер — из степи приехали киргизы.

Скрипели высококолесные тяжелые арбы. В них на тонкой протершейся кошме лежали тесно тонкие, как жерди, сухие люди.

Лупящаяся кожа пластами, как алебастр, прорывала острые кости. На рваных овчинах, закрывавших тела, густым слоем надуло песок.

— Нан хлепа, нету чок...— говорили они.

Голоса их были, как ветер в курганах,— свистящие и одинокие.

— Хлеба нету!..

Мужики широко, крепко втискивая в землю босые ноги, покрытые пыльным волосом, смотрели на лишаи и струпья. Отходя, говорили про кригизов:

— Не выживут...

Петр сказал киргизам:

— Проезжай!

— Нан нету!.. Хлепа нету...

Ветер вырывал из прорех халатов клочья шерсти. Из малахаев тоже ползла верблюжья шерсть. А верблюды тощие, с вяло повисшими горбами, были голы, и кожа их морщилась, как солнце в засуху.

Петр встретил Аксинью в воротах и молча посторонился.

Дед Емолыч шел за ним и, улыбаясь лысиной, велеречил:

— Я им на хлеб, баю, меняй верблюда-то! Не хочут, халипы. Мало даешь, грит, а? Пуда пшеницы ему, немаканому, мало за верблюда.

— Гнать их — и больше никаких.

— И то гнать. Чуму припрут!..

— Ты в город-то когда торговать?

...Киргизы сидели на траве подле арб.

Курчавый казак Санька Убычев резал сделанным из литовки ножом толстые ломти хлеба. Один за другим, не спеша, кидал ломти на траву.

Киргизы жадно хватали с земли хлеб вместе с травой. Жевали всем телом — плечами, грудью, ногами.

Курчавый подбрасывал ломти, кричал:

— Лопай, ну!.. Ешь досыта, ешь...

Лежавшие же в арбах молчали, и остро выдавались под грязными овчинами их груди.

Киргизы, хватая ломти хлеба, благодарили:

— Щикур, Санка, щикур. Спасибо.

Скотина на Иртыше пила теплую воду, обмакивая в струю пыльные морды. С морды по шерсти текла вода, и глаза у скота были тоже как огромные темные капли.

А курчавый Санька Убычев все резал и резал хлеб.

— Лопай! Бог один, вера разна! Ешь.

— Берна, берна!..— бормотали киргизы.— Берна.

Заметил Аксинью.

Выцветший, как ковыль, волос подняло ветром с его широкоскулого лица. Открылись глаза — голубые, большие,— как мокрое блюдечко.

— Чего ты?— спросил он.— Зачем пришла?

А у ней зарумянилась улыбка, сошла с лица на высокую, как старинное крыльцо, грудь. Во всем теле отдалось радостным холодком.

— Ничего, парень!..

Ушла приминая траву, и трава увядала под ее ногой. Думала: «Есть на земле еще жалость».

...А фиолетовой душной ночью, крадучись, нагребла из сусека мешок зерна. Пригибаясь к редкой траве, упираясь пальцами в теплый песок, еле-еле донесла мешок до каравана.

Здесь обнял голову запах кизяка и айрана. Залаяли

шепотом голодные киргизские собаки. Не выдержала. Опустила мешок, убежала.

Киргизы подняли мешок, спрятали.

3

Лога заковали село кольцами темной жирной земли — не то свадебные кольца, не то острожные. Трава в логах — скот плутает, молоко приносит из них густое, как сметана, и сладкое, как мед.

Гриб — огромен и ядрен. (Атаман Черняев в былые годы, сказывали, царям в подарок посылал. Но у царя внутре для гриба кишка переварная не годилась, и поедали гриб митрополиты. Атаману Черняеву же лента брильянтовая подарена за грибы была.)

Через лога дорога извилистая по кустам и березняку на юг...

Дорогу трава заедает. И заела бы, кабы не киргизы и не дед Емолыч — они по ней в город ездят.

И жмут дорогу лога — колею украсили чертополохом. Синий колючий чертополох за колеса цепляется.

Стала уходить Аксинья в лога, будто скотину разыскивать.

Идет она березняком, боярышником — кажется, что запах его за платье цепляется, в волос лезет. А перед глазами дорога — убогая, тонкая, как киргизы те на арбах, голодные.

Цепляются мысли за дорогу, как чертополох за колеса, сердце в горькой и едучей полыни сохнет:

— Господи... Где же люди-то? С жалостью...

Идет Аксинья, томится.

— Господи! Может, и твой глаз спален, как эта вот степь-то? А?.. В городах-то, бают, землю гложут, камень, сухой да твердый... А и то по правде жизнь переделывают... Пошто так-то, господи?.. Здесь-то эвон на полземли распахнуло хлебами-то... Через леса прут, пашня ей мала... А людям жадно, все жадно... Хамство ты наше окаянное!..

...Курчавый Санька,— один только, красным лампасом штанину окрасив, изогнулся, стоит поодаль, киргизам ломти широкие бросает. А глаз у курчавого голубой, жалобный...

Идет Аксинья, под кусты склоняется.

Пахнет боярышник ее сердцем, ее тоской, а лога

жадные влажно дышат, прижимают к себе травы, колки березовые, чудесные подарочные грибы...

Пьет сердце и он, курчавый. И еще дорога, попираемая травами. И пески с голодными киргизами, а больше всего он — город... Посмотреть бы, какова там жизнь?

Идет Аксинья, плачет:

— Господи! Может, и твой глаз спален, не видишь!.. Где они, очи твои, господи?!

Обнимает трава-лепетун ноги. Обнимает голову боярышник, ягоду тяжелую и мягкую на темя роняет. Утки крякают в травах.

— Спален, может, господи?..

Молчит господь, онемел. Непонятно глух. И только лога говорят слова жадные и немилые.

4

Встретил курчавый Аксинью за селом, глаз его голубой плывет, тает в небе.

— Гуляете, Аксинья Семеновна?

— Скотину сбираю... Скот в логах.

Стоит он у боярышника, куст тоже курчавый — ягода мягкая... «А какие у курчавого губы?..»

Потупилась Аксинья, а потом подняла неспешно глаза, темно на душе стало у курчавого, темно и жутко, как в самом темном логу.

И разошлись они. Она в лога. Он в село.

А на другой раз — сел напротив, в травы.

— Торгует муж-то?— спрашивает. На губах — хмель: не то смеется, не то завидует.— Торгуют ваши-то?

— Наши-то?

— Ну?

— В городе, меняют. Обида ведь это, Саньша! Ведь на голоде наживаются!

— И Петр?

Вспомнила она Петра — его черной земли бороду. Ноги тяжелые, прямые, как деревья, шагают. И на груди как после надсады... и на память дед Емолыч, хан казанский... Жадность какая!..

Хохочет курчавый.

— Что ты, Александр Григорич?

— Чудной народ, прямо не поймешь!

Аксинья говорит:

— У меня душа гниет, Александр Григорич, и не пойму никак... Сомневаюсь...

— В хозяйстве непорядок?
— Да нет!..
— Бабушка, Фекла-то, должно, стерва?
— И она ничо. Другое.
— Пошто, а?
— Болит, места нету... Не найду...
Курчавый ухмыльнулся и ногой пошевелил.
— Это бывает... Тело...
Пошло у него лицо ходуном. Руки затряслись, помокровели губы.
Положил руку свою к ней на колени. Обратно взять сил нет...
...А потом так же, как и Петр, брызгая слюной, давил и мял ее тело. И так же, как Петр, откинулся прочь, потно задышал в небо.
...Сорвала Аксинья пучочек травки и легонько на глаза ему положила.
Горячий у ней голос — радость тушит его — ничего не выскажешь.
— Трава-то, вишь... сохнет... милай!
Курчавый утомленно повернул лицо набок и сронил траву.
— Листопад, потому оно и... сохнет.
Вздохнула Аксинья, глянула из лога вверх, по скату. Травы вновь по-весеннему подымаются, хоть опять коси. За небо березка уцепилась, дрожит:
— Уйдем мы, Санька, с тобой!..
— Куды?
— Жадный народ, боюсь я!.. Душа у меня гниет... Не могу, уйдем... а ты добрый...
Поднялся курчавый, расставил ноги так же, как расставляет их Петр. Медленно опуская голову, сказал спокойно:
— Ты коли с мужика своего тоскуешь — плюнь. А бить будет, уйти от него завсегда можно, ноне закон легок. Ехать-то, конешно, можно, а куды?.. Некуда ехать, да!.. Да и хозяйство у меня.
Погладил шею, сплюнул.
— Ты вот у мужика спроси: у него на пригоне бревна валяются, не продаст ли?.. Рубить народу не найдешь, да нонче какой работник пошел, знаешь сама...
— Не пойму тебя я, Саньша, шутишь? Рубить?
— Дом рубить буду!
И тут от слов тех опять накатилось под душу, зато-

мило тело. Забилась опять внутри горящая береста — сердце. Вскрикнула, полоснулась душой она:

— А киргизы-то?.. Санька!.. Киргизов-то кормил?

Захохотал курчавый.

— С киргизами-то, Аксинья, потеха-а!.. Дай, думаю, покормлю их всласть, наголодались. Взял я у матери булки-то и давай их напихивать. Лопай! И верна, ведь трое подохли... Обожрались, немаканые, а? Ловко я сыграл, а?— Заглянул ей в темный — как глубокий лог — глаз и ничего, не дрогнул.— Завтра у меня гости будут, воскресенье... Ты в понедельник сюда приди. Ладно? А с немакаными ловко!

Ушел курчавый.

...Ударилась Аксинья в землю, заголосила.

Чертополох попал под грудь, переломился. Отдернулись под телом травы, и, хрустя, как травы, ломалось в груди...

А сумрак зеленый нашел лога. Убрал травы, тупо пахнувший боярышник и одинокую, хилую, заглоданную травами дорогу через лога, на юг...

1922

ПОДКОВА

1

Перемеченные огнем снарядов — красные, кроваво-красные, тяжелые,— низко обламывались облака над городом. Невнятные гулы шли по деревянным тротуарам: между досок их — мокрая, седая осенняя трава. Люди в узких деревянных щелях домов; слышен шепот.

— Через Сусловицу перешли...

— Сначала коммуну бить... начнут...

— Говорят, всех прощают, только масштабы их признавай..

— Какие масштабы?

— Господи, а мы-то при чем?..

В этот вечер, когда калечили облака желтые — пахнущие углем и серой — снаряды, когда солнце в маслянистой крови, как незарубцованная рана, уездный кузнец Василий в горне варил картошку. Был он подслеповат — не от кузнечной, а от портняжной работы; от болезни глаз и в кузнецы пошел.

Кузница была под горой —«на подоле»; ниже — город; выше, на горе — кладбище. Почему кладбище на горе, а не город — неизвестно. Живым и так весело, а мертвецу с горы лучше видно: может быть, так думали?

Подручный Ерошка — кузнец всех подручных Ерошками звал — качал мехи. Голосенко у него какой-то подтянутый, словно пищали мехи или скрипела сухая кожа. Грызя полусырую картошку, махал он тонкой, как ремень, рукой и спрашивал:

— А обозы белу муку скоро повезут? Утикают...

— Муки белой не полагается, муку белую едят белые, а нам надо исть муку черную.

Кузнец погнул в пальцах изржавевший жестяной обручишко, изорвал его в куски и бросил в угол. Обошел вдоль стен, выглянул, вдохнул сладковатой сырости и захлопнул торопливо дверь.

— В городе-то — тьма, даже в тюрьме огня нету. Ты картошку не проследи, уплывет... Белые поди сегодня придут, надо б домой идти. Пущай здесь убивают, одна могила, да и та хоть своя, а?.. Всех трудящихся чересчур, говорят, убивают. Возьмут нас, Ерошка, да и повесят вот тут, в станке на перекладинах, где коней куем.

— А за ноги вешают? У которых шея поди тонкая, не выдержит, дяденька?

— Проси — повесят за ноги.

— А на том свете в рай попадем?

Василий оттянул котелок, щепочкой попробовал картошку. Седоватая бороденка отсырела и запахла табаком. Ему захотелось курить, он поскоблил в карманах.

— А на этом свете в рай хочешь?

— Хочу.

— Давай табаку, дорогу расскажу.

Ерошка выпустил ремень и сказал медленно:

— Я некурящий.

Подумал и, подхватывая ремень, кашлянул тихонько.

— У нас, дяденька, парнишки порешили в бога не верить.

— Ишь!

— Большевики в бога не верют... Кипит!..

— Кипит. Доставай.

В крестах, на горе, ухнуло и посыпало мелким треском.

— Бонба,— сказал боязливо Ерошка.

— Ешь, пока картофель горяча.

А сам кузнец не стал есть. Разломил, понюхал: пахнуло сыростью. Отложил. Поднялся и вдруг, ссутулясь, накрыл корчагой угли в горне. Ерошка зачавкал медленнее:

— Темно, дяденька.

Василий стоял у дверей. Ржала где-то далеко лошадь; по дороге неустанно шел ветер. У станка для ковки, подле кузницы, свистела, как бич, веревка. Кузнецу стало холодно, он вспомнил, что у воротника рубахи нет пуговиц. Тоненько пискнул в углу Ерошка:

— Дяденька, темно... Пойдем в город... тут крысы...

Обстрел, должно быть, кончился. Щели дверей расширились.

Запах угля отяжелел.

Здесь, от станка для ковки, глухо и медленно позвал голос:

— Хозяин!

2

Ерошка для чего-то задергал ремень мехов; метнулась зола в очаге. Василий хотел было промолчать, но туго потер загривок и хрипло крикнул:

— Чего ты-ы?..

— Хозя-яин...— протяжно и густо позвал голос.

В распахнутую дверь сразу, под бороду и на потную грудь, хлестнуло холодом.

У станка, фыркая и звеня уздой,— лошадь. Выше ее — темный, широкий голос:

— Подковы есть?

Звякнуло стремя, мягко осела земля под пятой.

— Кузнец?

Василий порылся в карманах, сплюнул и, ленью голоса стараясь преодолеть дрожь, сказал:

— Покурить нету?

— Огня давай.— Потом, расстегивая одежду должно быть, медленнее добавил:— Коня куй.

— Откуда ты?

— Куй.

Человек стоял поодаль; дыханье у него было медленное. Тонко, прерывисто запахло кислым хлебом.

«Крестьянин»,— подумал радостно Василий и стукнув кулаком по бревну станка, твердо выговорил:

— Ерошка, дуй уголь.

Василий подошел к станку.

— За ночную работу берем вчетверо. От ночной работы у меня глаз сочится, оттого ремесло переменил. Опять, кто ночью кует? Лошади спать надо. Каков размер копыта?

Также, словно роняя грузный мешок, повторил тот:

— Куй.

Огонь в горне поднялся, и отблеск переломился в синей луже за дверью. Огромное и теплое, лежало копыто перед Василием, как темное блюдо. Волос от копыта шел длинный, жесткий и седоватый, пахнущий прелой соломой. Ерошка, стукая пяткой по ящику, тащил подковы. И вот, перекидывая железо, набивая ладонь едкой ржавчиной, стал выбирать Василий подкову. Одна за другой, в связках, в одиночку, старые, стертые, блестящие и совсем шершавые, и новые, еще пахнущие огнем, ложились подковы на кочковатую ладонь и звякали, падая обратно в ящик. Не то! От старых битюгов, давно, еще до войны, возивших барские клади, уцелело шесть пар, валялись они в углу. Ерошка вытащил их, свистнул и подкинул угля в горн — чтобы было светло. И эти — не то! Лежали они, словно кольца, на ладони.

Человек, сошедший с лошади, звякнул чем-то позади станка. Василий обернулся и поглядел на него.

Тоненькой ниточкой на огромном куске солдатского сукна блеснула винтовка. Ушастая, островерхая шапка с пятиконечной звездой оседала на широкий лоб.

Василий поспешно спросил:

— Какой губернии?

— Я-то?.. Муромской.

Василий обежал кузницу, запнулся за подвернувшийся обруч, откинул его в угол. Подбросил для чего-то угля в горн, махая над углем куском железа, крикнул:

— Нету подходящих подков! Нету!

Звякнула тяжелыми кольцами узда.

— По коню куй.

Человек, сошедший с коня, огромным грузным шагом отошел куда-то в темень, и оттуда раздалось:

— Куй.

Раскаляя железо, Василий над искрами его хотел было охнуть, пожаловаться, а засвистел, заскрежетал молотом:

— И-их!.. И-их!.. Ирошка-а!

И Ерошка вился худеньким телом: тоже под искра-

ми, под молотом рвал мехи, в горн надавливал воздух, потел, попискивал:

— Их, дяденька-а! Их...

И только тогда, когда подкова лежала, как темновато-алая ржаная булка, крикнул Василий:

— Туда, что ль, на них?..

— Прямо! Куй.

— Кую! И-их!.. Пря-ямо?

— Прямо.

— И-их!..

Лошадь дышала тепло, прямо в затылок Василию. Человек в островерхой шапке так и не показывал лица.

Шлепая, разрезая грязь, прошел в гору обоз.

Хотел Василий пожаловаться, рассказывать долго и правильно, чего он, кузнец Василий, хочет. Конь, словно лопатами, откидывал подкованными копытами звонкую пахучую грязь. Седло под рукой Василия — теплое, ласковое.

Он сказал, указывая на гору:

— Город-то надо сюда перенести.

Из тьмы опять, как грузные пласты земли, последний раз упало:

— Перенесем. Обожди.

1922

ЛОЩИНА КАРА-СОР

1

Кони наши, неистово стряхивая пену с удил, вбежали на холм.

Холмы, чуть вырастая, подходили к самому озеру и обрывались небольшими, похожими на седла, утесами.

А дальше за утесами, влево, низкие и солончаковые берега. Направо, на самом высоком холме, несколько юрт. Издали еще можно было приметить табуны тощие и костлявые, и бедные двери — есык из крепкого камыша. У богатых есык кошемный и пестро расшит.

— Едут,— сказал Егорка.

Я посмотрел влево по солончакам.

Шелковая и узорчатая, словно арабское плетенье, вилась по горизонту пыль.

— Да,— ответил я,— едут.

Мы спешились и отправились к юртам выпить молока.

Теперь я скажу несколько слов о Егорке Хвоще и как я попал с ним в лощину Кара-Сор, в Голодную степь, на дорогу Кан-Джол, что значит Кровяная дорога.

Наш отряд стоял, охраняя подходы к Тюмени. Белочехи заняли Петропавловск, перерезали ревком, перестреляли Красную гвардию,— наш отряд поредел, устал, и мы ждали своего конца. Крестьяне косились на нас, часто у нас пропадали лошади, и покидали нас мобилизованные подводчики.

Комиссаром отряда был Гейдань, латыш. Он теперь на Украине. Это был огромный белесый человек с необыкновенно прозрачными глазами, до того, что часто казалось, не глаза у него, а слезы. Он был очень суров, постоянно держал за плечами в кожаной сумке деньги отряда и у костра читал Маркса,— я чаще всего видел у него работу «Гражданская война во Франции». Марксистом он стал недавно, и доставалась ему эта наука с великим напряжением. Читая, он словно вырывал у себя жилы.

Дисциплиной мы хвастались.

Так вот, однажды, когда я сидел рядом с Гейданем и пытался расспросить его о травосеянии (я тогда интересовался, не помню почему, клеверной культурой в Сибири) и он отмалчивался о своей сельскохозяйственной работе: он был колонист, и у его отца было огромное хозяйство, разоренное же, к слову сказать, отрядом сына,— пришли сказать — какой-то очень толстый человек спрашивает товарища Гейданя. Мы имели тогда некоторые основания недолюбливать толстых людей (увы, теперь многие из нас растолстели), и Гейдань со всей своей белобрысой суровостью сказал:

— Веди его.

И вот мы увидали тело! О, это тело! Оно было стогоподобно, неимовернейше жирно и гладко. Руки его были ровные, розовые и настолько толсты, что совсем не хотелось смотреть на прочее. Всегда дрожащий рот — влажен, розов и пухл.

— Где тебя поймали?— спросил Гейдань.

Детина посмотрел на нас сверху вниз и — вдруг сел рядом с нами.

— Меня не ловили, я сам пришел,— ответил он своим прыгающим, словно студень, ртом. Голос его тоже был жирный и какой-то расползающийся.

Гейдань понял, по-видимому, что пришедший сел не из неуважения, а от неспособности держать на ногах свое неимоверное тело. Все-таки Гейдань проговорил на всякий случай:

— Поймали бы — расстреляли, и сам пришел — расстреляем.

Детина отнесся к такому делу спокойно, закурил трубку, огляделся и попросил посторонних отогнать. Гейдань оставил только меня.

— Секретарь,— представил он меня.

Детина пожал мне крепко руку и проговорил:

— Я из Тюмени пришел. Вам осведомители из тыла противника не требуются?

Гейдань молча покачал головой и вдруг ни с того ни с сего показал пришедшему кукиш. Здесь произошла странная история, которую, наверное, читать сейчас Гейданю будет очень весело. Детина наклонился — и укусил его за кукиш.

Гейдань вскочил, прозрачнейшие его глазенки поплыли совсем куда-то прочь, он выхватил револьвер, но детина заорал так, что со всего лагеря прибежали на крик красногвардейцы.

— Не позволю смеяться над собой, тело можете оскорблять, а душу не смеете... Я сам на «Потемкине» был...

Револьвер в руке Гейданя дрожал,— и едва ли смог бы он застрелить или, вернее, попасть. Мне казалось, что он не столько разозлен, сколько напуган, на пальцы он смотрел, как будто их укусила бешеная собака.

Детина уже орал сбежавшимся, что он пришел честно работать с советской властью, а над ним пытки устраивают. Вдруг из толпы, где имелись тюменьские красногвардейцы, раздался возглас:

— Братишки, да ведь это Егорка-мясник!

Здесь Гейдань плюнул на землю и сказал, почему-то очень презрительно:

— Иди к черту!

Егорка-мясник не замедлил уйти, а Гейдань достал Маркса.

Егорка Хвощ рассказывал, пространно ругая буржуазию, как он, приехав после восстания девятьсот пятого года в Тюмень, пошел в мясники, как ему повезло в этом деле. Сначала долго революционная совесть потемкинского матроса не позволяла ему торговать, но на пароходы пойти он мог из-за своей распустившейся тол-

щины только коком, а он презирал речные пароходы и особенно коков на них. Обыкновенные трактирные поваришки, блинопеки! В меру помучившись, он открыл лавочку и начал торговать. Торговля пошла необыкновенно успешно, он завел домик, хозяйство, жену, от которой пошло тоже увеличение, но почему-то белобрысое и необыкновенно тощее. Дети!

Его выбрали даже однажды в гласные городской думы, но за неявки в продолжение года — исключили. Пришла февральская революция, он начал мучиться: его товарищи, наверное, в необыкновенных почестях в Петербурге, а он сидит в Тюмени. Он попробовал сходить в газету и рассказать свою историю, но ему никто не поверил и даже как-то очень сложно обидели.

Он попробовал к анархистам, но, хотя анархисты были очень тертый и веселый народ, взять они его отказались. Так толстяк бродил долго по деревянным тротуарикам городка. Наконец пришло наступление белочехов, и Хвощ понял, что за революцию надо биться.

Он бросил всю свою торговлю, детей, дом и помчался вслед нашим красногвардейским отрядам в степь.

— Одна надежда на вас, братишки,— заключил он с отчаянием.

Гейдань посмотрел на него и вдруг милостиво спросил:

— Ты какой табак-то куришь, дай затянуть.

Затянулся и сказал протяжно и как будто с ленцой:

— Не плохой табак, теперь такой табак реже встретишь, чем правдивую женщину.

Увы, Гейдань был в меру сентиментален (теперь он не тот). Егорка молча протянул ему кисет, похожий на чемодан, и было в нем не меньше трех фунтов. Гейдань отсыпал себе в меру (табак был действительно недурен), сказав:

— Что же ты, братишка, думаешь нам принести?

— Принесу все сведения,— ответил Хвощ,— как у них там в Петропавловске, сколько войска и также настроения.

— Иди,— сказал Гейдань, покуривая и раскрывая Маркса.— Иди, и если через неделю не вернешься, буду считать предателем рабочего класса и дезертиром самым злостным. Расстреляю при случае.

Еще покурил.

— Денег не надо?

— Ничего мне не надо,— ответил Хвощ.

— Тогда иди, говорю окончательно.

Но Гейдань был верен себе, и недаром изучал он диалектику по Марксу: вслед за Хвощом он послал второго осведомителя — следить. Осведомитель был из робких и вернулся через три дня, одобряя Хвоща.

— Только одного не понимаю,— обмолвился он.

Но чего он не понимает, мы от него так и не добились: он, по-видимому, боялся Хвоща.

Ровно через неделю Хвощ явился, принес действительно очень ценные сведения, которыми нам так и не суждено было воспользоваться, и еще — сорок тысяч керенками. Тогда это были огромные деньги, и Хвощ заявил довольно нагло, что половину он отдает рабоче-крестьянскому правительству, а половину берет себе. На наши возмущенные возгласы он достал ассигновки от белочехов и атамановцев на его имя, в которых говорилось ясно, что деньги эти выданы Хвощу на поставку мяса для армий Учредительного собрания.

— Меня же теперь за жулика считать будут, по-вашему, ничего моя честь не стоит?— воскликнул он в возмущении.

Впрочем, матросская совесть опять вскорости, по-видимому, заговорила в нем, потому что он заявил — деньги эти употребит на вербовку отряда имени Хвоща. Его стали упрекать, и скоро все сорок тысяч перекочевали в кожаный мешок Гейданя, рядом с тщательно сложенными отчетами, писанными моей рукой, и Марксом, завернутым в сахарную синюю бумагу. Атамановцы возобновили наступление, мы стали заметно убывать, и однажды Хвощ исчез.

Нам некогда было думать о нем, вспомнили как-то за обедом, что хорошо умел готовить щи,— и забыли. Затем наступила памятная битва наша с казаками у речушки Ишим, подле переправы, где много легло смешных и хороших людей, которым совсем не следовало бы умирать подле нелепых тополей и мельницы с шестью крыльями. Мы отступили и оставили противнику обозы. Нас уцелело всего три десятка, и мы не имели никаких сведений о Тюмени. Мы сидели — усталые беглецы — среди стогов в лугах, называемых почему-то Помойными,— когда заметили несколько подвод, мчащихся на нас. Гейдань крикнул окопаться, но через весь луг раздался вдруг голос Хвоща:

— Пополнения не надо?

Это Хвощ явился с двумя десятками людей и под

странным желтым знаменем, которое он немедленно же и порвал.

— Другого нигде не мог достать, вся красная материя в уезде израсходована.

Казаки между тем продолжали продвигаться, и вскоре мы были вынуждены пожать друг другу руки и разойтись, кто куда знает, в одиночку или, на худой конец, по двое. Я полагал, что Тюмень уже взята, и решил идти на казачьи поселки, ближе к родным могилам.

Хвощу конечно же надо было возвращаться на Тюмень, но он, помнится мне, икнул и хмуро сказал:

— Я с тобой.

И вот мы проделали большой и невеселый путь до казачьих поселков. В Павлодаре Егорка остался и уехал, чтобы его не арестовали, ловить стерлядей на Три острова. Историю моего бегства из родной станицы я уже описывал. Вернувшись, я заехал на Три острова за Хвощом, и вот мы двое решили промчаться через Голодную степь на Сергиополь, оттуда — в Россию. Тяжелей всего жалеть себя, и на лошади человек делается в пять раз храбрее. Мы и поехали, а лошадей мы добыли отличнейших. Мы были переодеты киргизами, в поясе у меня зашиты удостоверения от Омского отряда Красной гвардии, организованной профсоюзами, написанные как-то очень сложно, не помню.

На Хвоще была зеленая чалма, и он выдавал себя киргизам за арабского ученого.

Наивная кошемная страна; библейские седобородые старцы, поившие нас кобыльим молоком; курганы в степи и странные намогильные памятники каракалпаков.

Тогда (с такой огромной, как эта белая ночь, радостью) услыхали мы, что степью идут тоже на Сергиополь разбитые под Красноярском отряды мадьяр (одни из первых вступивших в Сибири в Красную Армию). Мы свернули и помчались к ним навстречу.

И вот холм над лощиной Кара-Сор, вдали пыль, и, пыхтя, говорит Хвощ:

— Едут!.. Они!

2

— Да,— отвечаю я.— Едут. Они.

Мы смотрим вниз, в лощину.

Всадники приближаются, спешиваются и дают коням отстояться; они не смотрят вверх, они привыкли к киргизам.

Тогда мы спускаемся, и они очень удивлены русской речью. Больше всего их поражает огромная туша Егорки Хвоща; они переглядываются и, кажется, принимают нас за шпионов. Хвощ шепчет тревожно:

— Доставай документы, тут их за кукиш не укусишь. Они дяди серьезные.

Мадьяры загорели, все они в красных штанах, выцветших от солнца и приобретших цвет хаки. Они рваны, но все до одного тщательно бриты. Не показывая нам недоверия, они толпой стоят вокруг меня, распарывающего пояс. От них пахнет приятным запахом солдатского хлеба, их двухсотчеловечье дыханье стройно и сильно.

Я распорол пояс, достал бумажки, развернул — и подавать их комиссару отряда было незачем. От продолжительной скачки, когда мы в жару и духоту мчались по барханам и саксаулам, стараясь пересечь мадьярам путь,— документы пропотели, чернила и печать, расползлись, и ничего нельзя было прочесть.

Комиссар еще раз посмотрел на Хвоща и сказал:

— Нам некогда говорить и допрашивать вас, за нами гонятся неделю... мы не будем думать, кто вы такие... идите вы своей дорогой, мы своей, и не будем мешать друг другу.

Я попробовал было говорить об общих знакомых, но комиссар перебил меня:

— Не задерживайте отряд. Мы подозрительны.

Мы с Хвощом вернулись на холм.

— Разве про Гейданя им сказать,— проговорил он задумчиво,— тоже был иностранец, а мог людям доверять.

Я обернулся, чтобы посмотреть на всадников.

— Хвощ, видно, не зря испортились наши бумажки.

Хвощ тяжело, точно ветряная мельница, повернулся.

— У тебя все не зря. Нельзя же всю человеческую жизнь...

Он не додумал своей мысли, они у него ползли, точно сало по стеклу. Он хлопнул вдруг меня ручищей.

— Там, что ли? Это ты про пыль? Там?

— Там,— ответил я.— Пыль.

— А ведь едут, парень, братишка... За ними...

— Едут. Погоня за мадьярами.

И он закричал на всю лощину:

— Едут, братишка... едут!.. Гонятся!

Он помчался вниз, но какой-то необыкновенно усатый

мадьяр поднял на него карабин. Все обернулись, и Хвощ опять зашагал ко мне.

— Братишка,— сказал он мне тревожно,— ведь и померεть с собой не допускают. Как же так?..

Всадники, догоняющие мадьяр, приближались. Они сидели строго и прямо на конях и словно не знали монгольской посадки.

— Чехи,— сказал Хвощ,— ложись на землю. Пойти принести разве наши дробовички? Постреляем, братишка, хоть из дробовичков.

— Не успеешь дойти. Лежи.

Хвощ тяжело ухнул на землю.

— Пожалуй, и впрямь вернее будет полежать.

Приближающиеся всадники спешились, дали несколько выстрелов, мадьяры ответили им очень нестройно. Белочехи вновь вспрыгнули на коней — и вновь вперед, по лощине.

— Ни лешего не понимаю,— сказал Егорка,— на явну смерть бегут... они же их из пулемета... встретят, мадьяры...

Но странно, пулемет мадьяр молчал. Они дали еще один нестройный залп.

— Я-то их считал за вояк... разве так воюют?.. Куропаткин так воевал, сукин кот...

Оба отряда опять вспрыгнули на коней. Пыль на минуту заслонила их столкновение. Затем мы увидали обычную кавалерийскую отскочку, несколько разрубленных трупов; хрипящих и нелепо скачущих лошадей; на песке кровь от рубленых ран.

Хвощ начал кое-что понимать.

— Не терпится. Ага? Ждать не могут, своей рукой, а?

Он привстал на колени, раскрыл свой влажный и пухлый рот.

— Не кричи,— сказал я ему.

— Да не буду. Ведь это что же такое, а?

Всадники продолжали пятиться и что-то кричать друг другу. Наконец один всадник из отряда мадьяр, помню, очень высокий и, как мне показалось, с очень длинной головой, соскочил с коня, выхватил из-за пояса германский штык, который мы в Сибири носили вместо кинжала, и, припадая на одну ногу, побежал навстречу белочехам. Тотчас же вслед за ним спешились остальные мадьяры. Лошади их сбились в кучу.

Белочехи тоже кинули коней,— и вот, вооруженные одними ножами, два отряда кинулись друг на друга.

Пыль Голодной степи густа, как войлок! Но почему же ясно я помню этот огромный клубок человеческих тел, ерзающих, давящих друг друга, хрипящих и зубами — прямо зубами — грызущих друг другу горло? Я видал разрезанные лица. Странную бледность рук, отпускающих нож.

Клубок иногда разрывался. Отскакивал человек. Отбегал три-четыре шага в сторону — и валился со смертным хрипом!

Иногда клубок ширился. Казалось, люди вскакивали на ноги, бежали к ружьям. Нет, это ширились пыль и песок.

Хвощ стоял на ногах, трясся всем своим невероятным телом и кричал мне:

— Разними их... разними, парень... невозможно...

Наконец пыль улеглась, поднялось несколько десятков уцелевших чехов, и медленно, задыхаясь и устало поднимая руки, они начали добивать пленных.

Хвощ рухнул подле меня и, кладя на мое плечо руку, сказал:

— Те-то... Те-то за нас резались как... Мадьяры-то?

Оставшийся десяток белочехов, устало замогилив своих соотрядников, не посмотрев на нас и не поднявшись даже на холм, умчался обратно.

Мы поймали в степи несколько оставшихся мадьярских лошадей. Киргизы вылезли из юрт.

— Надо бы хоть начальника-то нам похоронить,— сказал Хвощ,— комиссара, который...

Но мы не могли узнать среди трупов начальника.

Мы оседлали коней и пустились в иную сторону, влево от озера Кара-Сор, по прежнему нашему пути, дорогой Кан-Джол, мимо озера Тогой, Чун-Куля, чтоб через горы Чингис-Тау спуститься на Сергиополь. В степи было прохладно, поднималась луна.

3

Возможно, я никогда бы не написал этого. Мне все труднее и труднее писать о себе.

Но вот теперь весна двадцать четвертого года. Я получил письмо из Тюмени, от Хвоща, он зовет меня летом в гости.

Я прочел и подумал: «Не торгует ли он опять мясом?» — и решил написать рассказ.

Пускай в своем домишке за самоваром прочтет Хвощ рассказ, плюнет на все, может быть поедет... Помчится разыскивать свою молодость...

1924

ГАФИР И МАРИАМ

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

в которой описывается, как герои настоящего рассказа презирают время, деньги и американских бизнесменов, выдумавших соответствующую пословицу

Лет этак десять тому назад на одной из улиц Лещинска, позднее без особенного труда разрушенной снарядами враждующих партий и непогодой, враждующей с пустыней, стоял одноэтажный домик в четыре каких-то заплесневевших окна.

Подле окон висела выцветшая вывеска с нарисованными чайником и самоваром и с надписью: «Медник и циник Авраам Кашевец».

Это был единственный еврей в Лещинске, если не считать провизора казачьей аптеки, под влиянием наказного атамана перешедшего в христианство и даже принявшего фамилию Крестовоздвиженский.

Авраам Кашевец — мальчишки дразнили его «кож да овец» — имел многочисленное потомство, пухлые перины и желание переехать навсегда жить в Минск.

Часто бородатые уральские казаки подсаживались к нему на завалинку и, отмахиваясь от комаров, рассказывали, как некогда в молодости участвовали они в еврейских погромах. Ко многому привыкает человек, и Авраам Кашевец привык без содрогания слушать страшные те рассказы. На славу и утешение родителей росла у него дочь, красавица Мариам, и вот к завалинке, под веселую вывеску, стали присаживаться казаки с подбородками, гладкими, как чайник, и кипящие страстями, как свежевылуженный самовар.

Ко многому привыкает человек, и Авраам Кашевец не без гордости смотрел на тонкие сукна шаровар, отороченные алыми лампасами, и думал, что казачий сарафан будет к лицу его высокогрудой Мариам.

Огромное пахучее степное солнце, медленно оправляя в золото травы, медленно уходило за Яик.

Пахнущие солнцем стада медленно возвращались из степи.

Киргизенок пастух Гафир свистел кнутом так, что дрожали окна, и старухи, крестясь, предсказывали, что быть Гафиру конокрадом. Молоко из вымени коров с такой силой бежало в подойники, что звенели дужки.

Руки казачек, несших наполненные молоком ведра, были спокойны, величавы и медленны, и ласку мужей казачки принимали спокойно, словно земля зерно. В тишине и глине бежал мимо города Яик, наполненный красной и черной рыбой. Словно красный лещ, выплывала над степью луна, называемая казачьим солнышком...

Попробуй-ка вскипятить самовар, наполненный вместо воды спиртом! Попробуй залуди такой самовар! Попробуй устрой жизнь по-прежнему. Черт разве залудит такой самовар, черт разве разберется в такой жизни!

Первым же снарядом, попавшим в город, снесло вывеску Авраама. Закрутило так, что будто было это не добротное железо, а папиросная бумага.

Отсюда начались все несуразные дни.

Какой смысл в жизни, если нет у тебя вывески! Выручай ты миллиард в день, все пойдет зря.

Многое умерло, многое изменилось. Многие из семьи Авраама уехали в Минск, многие поженились, у многих завелись лысины на голове и в сердце, а сам Авраам вместо лужения занимается рыбой и мануфактурой. Из Оренбурга возит мануфактуру, а в Оренбург — эту соленую да сушеную штуку, от которой плохо пахнет. Ну, если желают есть, пускай едят!

Мариам в полном мясе и жире, как рыба, идущая метать рыбу.

Сукно тонкое теперь не носят,— как разглядишь настоящего жениха? И к тому же, вместо того чтобы ехать в Минск, она желает в Москву.

Что Москва? Говорят, в Москве четыре рубля зернистая икра, когда она в Лещинске сорок копеек. Не мешало бы проверить. Ну, разве с девкой, у которой грудь трепещет при первом взгляде парня, как рыба, выкинутая на берег,— разве с ней можно говорить о цене на икру?

Непонятная, как в кипящем самоваре, жизнь.

Или ходит, рассказывают, по улицам Гафир, бывший

пастушонок. Но есть у него револьвер и штаны-галифе с такими карманами, в которых зарядов можно напрятать на целую роту. Состоит, говорят, секретарем комсомола, получает огромное жалование, кроме автомобиля... а... пастухом Михайло Иваныч Кочетов, некогда станичный атаман, предки которого с успехом Пугачева усмиряли и награждались самой Екатериной — крестами и кроватью.

Не напрасно ли мы так назвали эту главу? Можно было бы этак шутить десять лет назад, а теперь, когда Гафир...

ГЛАВА ВТОРАЯ,

описывающая состояние и быт города Лещинска теперь, когда Гафир влюблен

Теперь, когда Гафир стоит под яблоней в самых лучших своих галифе (это говорится и про Гафира и про яблоню, ибо ветви ее, отягощенные плодами, свисли, как самые лучшие галифе) и говорит:

— Вступайте, особенных препятствий не будет...— можно подумать, что он забыл о газете, лежащей в кармане, в которой подробно приведена его речь на уездном съезде комсомола, о том, что в восемь часов собрание ячейки, а в десять он должен прочесть (для самообразования) начало работы Ленина «Государство и революция».

Длинная кисть, и на ней ласковые пальцы, широкий рот и глотка, словно привыкшая глотать кости. Пальцами бы провести по ее «ажар». А вместо этого он переводит самому себе, что «ажар» значит глянец на сукне и что глупо называть так цвет ее лица.

Таков Гафир.

— Дай пять,— наконец кричит он. Охватывает ее пальцы и намеренно грубо спрашивает: — Пойдешь?

Он, этот азиат, упрямо смотрит ей в глаза, будто предложение вступить в комсомол есть величайшее блаженство для человека ее возраста.

Она деловита в меру своих страстей, она уважает Гафира, а в общем, ей самой многое непонятно. Хотя бы, например, то, почему она не говорит отцу, что встречается с Гафиром.

Она строго пожимает Гафиру руку так, как ей самой не хочется, и говорит то, что ей не нужно было бы говорить:

— Я затрудняюсь. Вам известно, Гафир, что мой отец уже давно не медник, а торгует рыбой и мануфактурой, и дела его идут...

Она мужественна, эта крепкотелая девушка.

— Дела его идут неплохо... Ваша рекомендация только бы повредила вам... и меня бы не приняли...

Но почему ж ей не быть с ним откровенной? Хочется тебе быть в комсомоле или нет? Думаешь ты по ночам о Гафире и его большом рте или нет?

А Гафир говорит ей не то, что нужно, и даже не то, о чем он думал месяц или более того назад:

— Автобусное сообщение открываем через Уральск на Оренбург. Шестьсот километров в пустыне по неустроенной грунтовой дороге.

Она отвечает с грустью, хотя о чем бы ей грустить:

— Да, большое достижение.

Гафир медленно протягивает ловкую свою руку:

— Ну, до свидания, Мариам.

— До свидания, Гафир.

Сильный вихрь несется через сад, и яблоки гулко ударяются о землю. Белое платье Мариам исчезло с дорожки, заросшей травой. Рыжий муравей перетащил через эту дорожку блестящую соломинку. Вернулся и с недоумением посмотрел на галифе Гафира. Воды, вертящие колеса чихаря, ушли на отдых.

Нет, не все еще можно понять и выучить в партшколе, хотя бы и была она республиканского масштаба. Так бы нужно было подумать Гафиру, одиноко возвращающемуся из сада в город.

Он же достал газету из кармана и сказал:

— Газету-то нужно было передать, хотя абсолютно несомненно, что отец у нее спекулянт.

И от этих слов стало еще обиднее. Он еще раз перегнул газету, так что она стала иметь вид спичечной коробки, и глубоко всунул ее в галифе.

Страдай не страдай, сворачивать с дороги не приходится. Ясно. В восемь часов собрание.

Гафир достал большие стальные часы, чем-то отдаленно похожие на револьвер. Часы показывали пять минут шестого. Он пришел к Мариам ровно в пять. Неужели только пять минут и было всего разговора?

Гафир даже обрадовался. Ловко он ее — в пять минут

заставил признаться в паразитическом своем существовании и беспомощности порвать со всем этим. Если человек может в уездном городе организовать четыреста человек комсомольцев, то себя-то он не может разве поставить на рельсы разума? Смешно!

Однако солнце закатывалось, и тени от крутого яра переходили на другой берег Яика. Такая густая и ехидная тень бывает только в пору «тамыза» (самое жаркое время с 10 июня), а в «тамыз» солнце закатывается в восьмом часу.

Проще послушать часы.

Слушай и часы и свое сердце!

Часы стоят. От сердца на все тело ехидная большая тень, как от солнца.

Дело ясное. Нужно занести исправить часы, а затем идти на собрание.

Часовщик Урманов прославился в Лещинске своей философией. На каждый день он вывешивал на стену своей мастерской «правила мудрой жизни и порядка». По воскресеньям он рекомендовал не пить, а по понедельникам не опохмеляться. Стригся он по-старомодному — в кружок, голос имел писклявый и слова любил на «о».

В дверях мастерской с писком летали огромные мухи. Веснушчатый мальчишка ржавым долотом выдергивал из пазов мох и мелкими кусочками кормил громадного жирного верблюда, привязанного к палисаднику.

По голосу можно было узнать дите Урманова.

Широкий зад почти закрывал весь прилавок мастерской. Зад был умело обтянут крепким синим сукном; воротник пиджака умело закрывал деловито-грязную шею.

Человек с синим задом торопливо тянул:

— Мне бы хотелось, гражданин, приобрести такой изумруд или лунный камень, такой, чтоб не менее ста каратов. Оправа ж, видите, рассчитана на камень менее пятидесяти каратов, а ее можно так расширить! Бесконечно расширить! Дочь моя собирается ехать к родным... в Минск или куда далее, это мое дело. Я ей должен преподнести подарок в хорошей оправе и не стыдясь за убытки.

Из-за прилавка пискнули, и Гафиру показалось, что читают «правила» на сегодняшнюю среду.

— Человек должен располагать собою в силу своих возможностей, не очень гордиться и пить и есть в меру. Человек должен понимать, что жизнь его коротка, и камни часто попадают ему под ноги или в руки его врагов.

Поучающий чихнул. Показался трепаный хохолок волос.

— Вам безусловно, гражданин, часы?

— Часы,— ответил Гафир.

От возмущения «синего» заколебался ветхий прилавок.

— Хотя вы и мудрец, гражданин Урманов, но нужно же соблюдать очередь для заказчиков.

— Успеем, гражданин Кашевец, все успеем, помимо того что мне необходимо ехать за таким делом в Оренбург, а передвижения хотя и обогащают душевно человека... Дайте, гражданин, ваши часы. И зайдите за ними через два часа, они будут в исправности...— добавил он со вздохом, не успев вывести никакого заключения, так как Гафир поспешно шел мимо громадного верблюда и дальше, дальше по песчаной и печальной улице.

Чье сердце не занесет песком печали, если отец твоей возлюбленной покупает дочери кольцо в сто каратов или больше и если он аккуратно платит все налоги советскому правительству?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

о том, что такое тамга, что такое лещинский базар и почему много рыбы в Яике; касается также слегка ветел на берегу Яика

Зачем, вместо того чтобы заседать в ячейке типографии, попал Гафир на лещинский базар,— нам точно не известно. Страдание, конечно, страданием, но что делать на базаре, если торговля там почти кончилась и где такая вонь от рыбы и прокисших выкинутых огурцов, что даже собаки обегают такой базар за два квартала.

Мы полагаем следующее. Как-никак отец Гафира был пастухом, а дед, по преданию, хаживал в великих салаватовских походах (Салават — знаменитый степной бунтарь, сподвижник Пугачева). Про деда бы многое можно рассказать, но главное, много старики понимали в лошадях, а по средам в Лещинске издавна конские базары, и самый торг разгорается под вечер, когда садится солнце и когда человеку хочется поехать прокатиться по прохладной степи. Ради прохлады иногда люди большие деньги за лошадь переплачивали.

Вот по старой думке и привели ноги Гафира на конский базар позади деревянных ярмарочных навесов.

Молодежь узнает Гафира.

— Тамыр Гафир, друг Гафир, не хочешь ли кумыса?

А Гафир идет мимо, не откликается. Или работы много, или горд?

Кони тянут уздечки, шипит привязанное к седлам в «тарыбастык», мешках, просо. Коней потные азартные кулаки тычут под бока, в шею, тянут за ухо. Охлябью и в седлах пробуют в степи бег. Идут в пивную вспрыскивать продажу. Цыгане, киргизы, казаки. Лихие бороды, высокие скулы и рваные выцветшие лампасы.

И по старой памяти, по привычке, что ли, вдруг сбоку среди возов сена приметил Гафир аргамаков. Шесть штук на подбор. К огромным арбам привязаны железными цепями. Ноздри в судорогах, в глазах видно, как убывает и прибывает кровь. Тысячные кони.

«Подымается страна, коли таких коней стали в Лещинске продавать»,— подумал Гафир с важностью и захотел узнать цену.

Подле аргамаков шесть киргизов нарядных, кушаки из бархата, с серебряными пряжками. Смиренные деловые лица достойно несут размытые молоком бороды.

— Какие деньги?— спросил Гафир и, не удержавшись, потрепал солового аргамака по шее.

— Проданы,— ответили киргизы в голос.

А у солового аргамака тамга на холке в виде буквы «н».

Тамга эта — всегда одна у целого рода, отметины же на ушах — масал — может делать всякий владелец посвоему.

Тамга «н» принадлежит Бакеевскому роду.

А Бакеевский род кочует в Нариманском уезде, под Астраханью. Тысячи верст от Лещинска.

Вести из Наримановского уезда лошадей в Лещинск?!

— И кто их мог здесь купить? Кому проданы?

Уже совсем темнело, а может, и не знали киргизы, с кем они так непочтительно разговаривают.

— Иди, не твое дело! Иди.

Через час только пришел Гафир в ячейку. А ребята его не ждали и прикололи на дверях бумажку: «Отправились купаться на Урал».

Там он их и встретил.

Широко рассыпая ногами пенистый беловатый песок, промчался он по берегу, заухал по воде, ловко выкидывая широкие кисти на лунный свет. Веселой сладостью омывается тело. Синяя тишина в пахучих и густых вет-

лах. Гафир плывет по Яику, а на берегу, поджав по-киргизски ноги, сидят ученики — наборщики типографии, и курчавый Ерошка рассказывает:

— Как заплыли, значит, они вместе с Разиным по Каспию до Яика, как, значит, заняли городок, то астраханские воеводы хлебу им не посылают и объявили, выходит, вроде блокады. Казакам, значит, смерть с голоду; приходють к Разину. «Так и так, выручай!» Ну, а тот спрашивает: «А если по триста пудов рыбы в день на человека добывать будете, можно тогда хлеба достать?» — «Обязательно,— говорят,— нам киргизы доставят. Менять можем и тогда просидим, пока к нам еще казаки, значит, не подвернутся. На подмогу».— «Ну, держись»,— говорит им Разин. Встал, снял шапку, побормотал — рыба и поперла в Яик. Заговорил, значит, и никаких гвоздей...

— Ер-ру-у́-унда,— орет Гафир из реки.— Я вам минералогически сейчас докажу, откуда сюда рыба идет и почему. Обожди.

— Мы и то ждем,— говорит курчавый Ерошка.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

описывающая день, красотой подобный луне в пятнадцатую ночь

Стоит только не понять один случай в жизни. Дальше повалит и повалит.

В среду Гафир не мог понять, почему ушла Мариам, и как он, Гафир, не мог ее убедить покинуть отеческий дом и пойти с ним на работу и любовь. Мало того убедить,— он ей и сказать-то толком ничего не мог.

Дальше и пошло. Авраам с жирным задом, покупающий дочери кольцо в сто каратов. Киргизы из Бакеевского рода с аргамаками.

Можно об аргамаках сообщить в угрозыск. Но почему?

Ведь не потому же, что ноет сердце.

А оно и ноет, словно раскаленную тамгу положили.

Вывели на площадь автобус № 1. В стеклянной будке шофер. Автобус желтый, свеженький, похож на дыню. В нем пассажиры с лицами еще свежее автобуса. Должно быть, перед поездкой все в баню сходили.

На переднем месте сидит ювелир и часовой мастер

Урманов. В одном кармане толстовки у него кошелек, а в другом тщательно переплетенная книжка с изречениями, которые он везет издать в Оренбург — на русском и киргизском языках. Черт возьми, должна же советская власть поощрять философию! А раз поощрять — издавай!

А рядом с ним — сам Авраам Кашевец. Ну, этот, конечно, едет по делам. Конечно, он промчится шестьсот верст в автобусе и, может, обгонит по дороге свой обоз, что везет в Оренбург рыбу. Попросит остановить автобус, отдаст несколько распоряжений, посмотрит, не давят ли ярма шеи быкам, и покатит себе дальше.

Дальше сидят пассажиры помельче, хотя тоже примечательны каждый по-своему. Один с бельмом...

Но, дорогой читатель, я вам не Диккенс, автобус не дилижанс и СССР не Англия с разными там королями и Чемберленами.

— У-у-у!— Автобус отправляется, первый гудок.

И заметьте, в то же самое время, в четверг, в час дня, ровно за шестьсот верст, в Оренбурге, такой же точно автобус № 2 отправляется навстречу. Через пустыню, где раньше верблюды, да караваны, да «цари-орлы» гадили на телеграфные столбы.

Вот и не печатай после этого размышления философа Урманова о жизни и о различных ее видах. На каждый день!

Трубы оркестра пожарного общества нарочно начищены так, что будто медь-то расплавлена. Милиция сапоги начистила не хуже медных труб.

Мариам с лаковой сумочкой для пудры там или для платочка. Кто знает, что у женщины на уме и что у ней в сумочке? Так Мариам держится за ручку дверки, и лицо у ней невозмутимое. Может быть, она не знает, что готовится ей такой подарок и что будут ходить по магазинам великолепного Оренбурга ювелир Урманов и негоциант Кашевец. Что человек знает о себе?

Например, первый гудок. Через полчаса автобус помчится по пустыне. Уже идет в «Известия» и «Правду» телеграмма, извещающая мир о мчащемся автобусе. Речь перед отправлением автобуса от имени киргизского народа должен сказать представитель молодежи Гафир Аструллин.

А Гафира нет. Ждут. Час. Полтора.

Поймали какого-то проезжавшего мимо конопатого

казака с разорванным ухом. Послали за Гафиром на квартиру.

Гафира нет. Еще ждут.

Здесь казак прослушал второй гудок автобуса, почесал разорванное свое ухо и лениво сказал в рыжую свою бороду:

— Это вы ильбо Гафирку ждете, пастушонку? Так он ведь ускакал в степу. Я ведь как в город ехал, встретил. Скачет верхом, как угорелый. Прямо в степу. Я ему еще кричу: «Коня загонишь!»— а он...

— Зачем же ты на квартиру ездил за ним?

— А зачем посылали? Думал, может, он как вернулся. Еще подумал: ильбо другой Гафир у вас имеется?

Автобус уже мчался, а казак с разорванным ухом бормотал:

— Ильбо брат его... Послали меня, ну, я и съездил, а теперь вот недовольства.

Пыль за автобусом золотая. Орлы бросаются в небо. Клювы орлов такого же цвета, как шины автобуса. Суслик уходит в нору. Там прохлада и тьма. Выжженные травы на пологих холмах измяты ветром до красоты сусликовой шкурки.

Но автобус № 1 не догнал, не встретил и не услышал ничего о Гафире Аструллине.

ГЛАВА ПЯТАЯ,

эстетическая, описывающая ночь, красотой подобную солнцу в дни «тамыза»

Самого старшего из шести звали Тат, что означает отведать вкус. Тат Какчи звали его полностью, когда пригоняли отбитый косяк лошадей или стадо овец. Тат Какчи — это значит ловкий вкус. У Тата была редкая борода, и в большие праздники он надевал сапоги, отделанные зеленым сафьяном.

Младшего кликали Муймулда, что значит: будет блестеть. У него были штаны из овечьей шкуры и рваная отцовская купа. Отца у него убили прошлой весной за плохую кражу.

Красть и грабить нужно много и упорно учиться. Еще хорошо красть и грабить, чтоб носить позже сапоги, отделанные зеленым сафьяном.

Комара в этом году было, как у бедного человека голоду. Шестеро разложили костер из кизяка: от него нет

пламени, и дым хорошо отгоняет комара. Поодаль лежал айкастыр из ружей. Айкастыр — значит крест-накрест.

Тат пил кумыс, а Муймулда — айран. Тат рассказывал, а Муймулда слушал. Остальные тоже слушали.

Костер был разожжен в глубине лога; поодаль, в полсотне шагов, звенели железными путами аргамаки, сверху шелестел синий кустарник, таволга. А рядом с кустарником белая дорога с телеграфными столбами — тракт на Оренбург.

— Не каждый ходит в Моншу-баню,— говорил седой и хитрый Тат,— не каждому дано понимать даже русскую винтовку. Ко всему надо привыкать и всему учиться. Почему мы винтовки сложили отдельно и слушаем, чтоб у нас не потревожили коней, а чтоб винтовки потревожили, не слушаем? К коням мы привыкли, а винтовок боимся, хоть и умирали из-за них люди, и мы были виной этим выстрелам. Я вам говорю: довольно гонять табуны, попробуем остановить «от-арбу» (автомобиль). Едут торгующие, у которых деньги лежат рядом в кармане, потому что они думают: большая машина, хорошо едет. Верная пуля может остановить любую машину...

— Так,— сказал Муймулда.

— А ты, щенок, молчи. Твое дело — подкладывать кизяк в костер и слушать: не стучит ли «от-арба» по тракту.

— Не стучит,— сказал Муймулда.

— И здесь ты ответил не так. Ты должен молчать и, если стучит, должен по-русски сказать: «есть». Вот как водится в хороших местах.

— Палле, прекрасно,— подтвердили все,— русские умеют грабить. И слова у них хорошие.

— Что? Русские умеют хорошо грабить? Это ты, наверно, говоришь про чиновников? Так нашлись солдаты, шайтан их знает какого племени, они так ограбили чиновников, что чиновники перестали быть русскими и решили умереть. Русские! Был у нас старик Суйо Аструллин.

— Э, расскажи про Суйо.

— Молчи, Муймулда, пока я не разбил твою плохо бритую голову. Сам расскажу. Старик Суйо был великий конокрад. Он мог увести из-под тебя лошадь, даже если ты полчаса лишь сел в седло. Он мог бы увести лошадь у самого царя. Ха-а... Такой был человек, а не богател. Сын у него пошел в пастухи, а внук... даже никто не знает в Бакеевской орде, где теперь внук Суйо.

— Тэ-эк!..

— Суйо мог распутать любые путы и снять без ключа стальные цепи, и ни один человек и ни одна собака не слышали его. Суйо знал самого Салавата, и рука его лежала между двух салаватовских рук. Не один раз лежала и не два. Я сам говорил не раз Суйо: «Зачем теперь тебе знать так много, и почему ты не хочешь мне сказать, что лежит в твоей голове?»

— А он?

Тат потянул на ноги халат.

— Будто куян (заяц) будоражится в кустарнике или сурок. А? Муймулда, где твое молодое ухо?

— Здесь, отец, но там ничего нет. Ничего.

— Ничего? Вот всегда так. Как выпью кумыса, так у меня шипит в ушах. Так вот, говорю я Суйо: «Помирать собираешься,— стар ведь».—«Собираюсь, говорит, а передать тебе успею даже после смерти»,— такой был веселый.

Киргизы помолчали. Даже Муймулда напугался.

Вдруг он наклонился вперед и забормотал:

— Бар!.. Бар!..

— Ча-а!— сказал Тат, вставая.—«Есть». Я пойду на дорогу. Едут.

Самый старший из них, Тат, вышел из лога. Пел легкий ветер в телеграфных проволоках. Сапоги казались тяжелыми, а пыль — как вода.

Далеко стучал автомобить, а еще дальше вдруг расслышал Тат конский топот.

— Приготовь коней, Муймулда. Там, позади «от-арбы», будто едет охрана или едут пустые люди. Патроны приготовь, и подайте мне сюда мою винтовку.

Автомобильный стук становился шире.

Таволожник словно осел подле дороги.

Столбы, словно от страха, отодвинулись. Луна посерела. Но тут закричал истошно из лога Муймулда:

— Эй, апа, отец!.. Эй!.. Нет наших аргамаков, и путы, аллах, сброшены!.. Эй!..

— Чего ревешь?— стальным голосом сказал Тат.— Кто может снять железные путы?

А сам уже скатился в лог, щупал раскрытые замки пут. И железо замков плыло у него под руками, словно масло.

— Бисмилля,— выговорил он наконец,— угнали аргамаков. Бисмилля!.. Положите винтовки в кусты, и давайте молиться аллаху, чтобы из наших винтовок не угодили в нас. Без лошадей — мы песок. Пыль.

И тогда автобус № 1 мчится, подымая белую пыль, мимо лога. Покачиваясь, дремлют в нем пассажиры. Белая пустыня впереди, белая пустыня позади. И еще тишина. И, как огромная печать за советским счастливым гербом, луна на синем звездчатом конверте. Печать, удостоверяющая истину, что в степи тишина и мир.

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

несколько возвращающая действие

Перед тем как произнести речь об автобусном движении в пустыне, Гафир неизвестно почему опять ушел в сторону.

Среди остатков сена бродила со скукой серая собака, и еще жарче казался оттого пустой базар.

Гафир прошел взад и вперед. Было раннее утро, дню, видно, быть сухостойному, непереносному. Надо бы прочесть какую-нибудь газету перед речью, вставить бы туда об урожае, что ли? А вместо этого Гафир бродит по пустому базару. От стыда стало еще жарче и захотелось искупаться. Послышался позади пустых ярмарочных сараев, влево за церковью, густой конский топот.

Дорога за церковью идет к Яику. Этим и объяснил Гафир то, что он вышел на эту дорогу.

Шесть аргамаков быстро уносили в степь всадников. Мало ли ездит киргизов по степи, и стоило ли Гафиру вместо Яика повернуть в город, взять у знакомого казака лошадь и тоже мчаться в степь? Видно, стоило. Тракт от Лещинска идет сначала между холмов, по логам. И вот между холмов скрылись аргамаки, и там же скрылся Гафир. Он закатил рукава толстовки, низко пригнулся к луке и другим (не городским, как, скажем, на конференции) взглядом окидывал степь. Ему стало сразу весело, седло под ним будто с детства, и захудалая казачья лошаденка словно помолодела на пяток лет. И день вышел, верно, сухостойный, и лог, где с аргамаков спешились киргизы, был сухой, темный и глубокий.

Гафир не доехал до киргизов версты две, привязал повода узды к седлу, стегнул нагайкой коня, и конь пустой умчался в город к хозяину. Гафир неизвестно чему погордился, глядя ему вслед, лег в кустарники, закурил и стал ждать ночи. Потом он видел, как Муймулда спутывал железными путами аргамаков. Сонно как-то вытащил Гафир перочинный ножик и долго тер его о сапог. Лежал и думал.

Позже киргизы разложили из кизяка костер, и самый старый и самый умный, Тат, рассказывал им о деде Гафира, великом Суйо.

Внук великого Суйо лежал над ними в кустарниках, жевал веточку таволожника, и ему очень захотелось закурить.

Затем великий внук Суйо подполз к аргамакам и сразу вспомнил, как нужно открывать перочинным ножом замки стальных пут, как погладить лошадь, чтобы она поняла, каков новый хозяин и как из отрезанного хвоста сделать недоуздки.

И вот под утро шесть аргамаков очутились во дворе милиции города Лещинска. А солнце увидало Гафира купающимся в Яике.

Вода была теплая и быстрая, на кувшинках еще не высохла роса, а ветер из степи уже пахнул сухой полынью. Гафир вылез на берег и очень гладко и очень красиво причесал густые черные волосы.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

У секретаря укома

— Это что ж, товарищи,— сказал недовольным голосом секретарь укома,— что ж вы это пропадаете, и речь экспромтом надо мне говорить, это что ж?

— Дело было,— хмуро ответил Гафир,— не сердись. Личное дело. Не сердись, дай пять. Пойду домой, усну. У тебя книжки нету по первобытной культуре?

— Что ж, напился?

Но тут заревел телефон, и секретарь уткнулся в трубку.

— Ты подожди, Гафир. Дело еще есть...

Трубка почти закрыла целиком маленькое лицо секретаря. И Гафир видел, что трубка начала покрываться потом, ползущим с подбородка.

— Ну-у?... Чего? Какие аргамаки?

Секретарь от удивления даже сунул было телефонную трубку в карман.

— Что ж это, а? Совершенно удивительно! Пригнал кто-то шесть аргамаков во двор милиции, и записка привязана к гриве, что в Маринкином логу ждут ареста шесть бандитов из Нариманского уезда, и даже указано, что винтовки, наверное, в таволожнике спрятаны. Поехали

и — верно, арестовали. Ничего не понимаю. Откуда аргамаки? Что ж это?

— Бывает,— хмуро протянул Гафир.— Значит нету книжки?

— Чего бывает? Почему бывает?.. Совершенно поразительный случай!.. Ты куда же?

— Спать.

— Успеешь выспаться. Поезжай вот в уезд беспартийную конференцию проводить. Там тебе...

Секретарь всмотрелся в лицо Гафира и махнул рукой.

— Впрочем, что ж, поди проспись. Вечером зайдешь?

— Зайду.

Подле крыльца укома Гафир встретил Мариам. Он вяло поклонился ей и пошел было мимо.

— Гафир,— сказала со свойственной ей нежностью Мариам,— куда вы направляетесь, Гафир?

— Спать.

— Может быть, вы меня проводите, Гафир?

— Могу.

Он хмуро и молча шел с ней рядом. Галифе у него как-то осели и даже казались заплатанными, хотя были совершенно целы.

— Над чем вы грустите, Гафир?

— Так.

— Может быть, вы мне скажете?

— Никогда не предполагал спасать буржуев и нэпачей. А пришлось.

— Я не понимаю, Гафир.

— И хорошо.

Опять хмуро и молча солдатским шагом вперед.

— У меня свои поводы грустить, Гафир. Папа прислал письмо. Нет, вначале телеграмму. Письмо привез с обратным автобусом Урманов. Я там так понимаю, что тресты снизили цены на мануфактуру, а папа закупил ее по высоким ценам и теперь потерпел большие убытки, а рыбу его комиссия отказалась принять как испорченную. Я хотела посоветоваться, куда бы ему поступить на службу. Разве в Кирторг, он специалист по рыбе... Притом он совсем одинок.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Несколько размышлений философа Урманова

«Многое на свете устраивается как-то само собою». Так записал это в своей книжке философ Урманов.

Дело в том, что зашел к нему за часами Гафир. По всему лицу веселая улыбка. Веснушчатый мальчишка сидел на пороге и про себя считал у него зубы. В верхнем ряду насчитал восемь, а затем начал считать у Мариам и насчитал девять. «Должно, у ней мельче — больше вмещается»,— подумал мальчишка с презрением.

— Часы были готовы почти неделю тому назад, а вы не заходили за ними. Без часов человеку жить трудно.

— Некогда было,— радостно отвечал Гафир, поглаживая крышку часов.

— Оно, конечно, труды часто заставляют отвлекаться от необходимости многое помнить. Письмо получили, Мариам Авраамовна?

Он поглядел на лихие ее брови, достал из столика громадное золотое кольцо с пустым отверстием для камня.

— Папаша ваш думал сюда... лунный камень по крайней мере. Обстоятельства повернулись неожиданно.

Урманов глубоко по-философски вздохнул.

— Нужно сказать, неудачная и у меня поездка была. Убыток.

Он показал кольцо на свет.

— Тяжелое, заметьте. Очень легко могу сделать два обручальных кольца. Я уже ваш размер знаю,— теперь, возможно, вы мне свою руку покажете, гражданин Гафир?

Но тут Урманов вспомнил что-то, опустил кольцо и опять вздохнул.

— Извините, не думал обидеть. Коммунистам ведь кольца нельзя, а также и комсомолу?

— Нельзя,— весело ответил Гафир.

И Мариам строго подтвердила:

— Нельзя.

Ну, что ж, вот и все. Разве рассказать, как вели милиционеры мимо мастерской шестерых киргизов и как в переднем ряду шел старый Тат, а в заднем Муймулда. Как умный Тат увидал выходящего Гафира и как присмотрелся к нему, а затем через пять шагов охнул. И все

шестеро охнули и вместе со старым Татом оглянулись.

— Бисмилля,— сказал коротко старый Тат.— Бисмилля, я узнал эту рожу. Будет нам скорая смерть, если еще раз встретится нам этот киргиз в военных штанах, похожих на турсуки. Бисмилля, у него походка и рожа Суйо!..

И милиционер, старший по команде, тоже остановился. Встревожился и сунулся в карман, где вместе с подсолнухами лежали у него запасные обоймы. Подтянул винтовку и пристально посмотрел в палисадник, под яблони, куда испуганно глядели шестеро. Ну, целуются. Так мало ли кто в такую жару целуется!.. Нашли чудо! Двигай дале, вы!..

1925

ПРО ДВУХ АРГАМАКОВ

С крутых яров смотрелись в сытые воды Яика ветхие казацкие колоколенки. Орлы на берегах караулили рыбу. Утром, когда у орлов цвели, словно розы, алые клювы, впереди парохода хорек переплывал реку. Пожалел я о ружье, низко склонившись к перилам и разглядывая его злобную рожу. А он, фыркнув на пароход, осторожно стряхивая с лапок капли воды, юркнул в лопушник.

Великое ли диво — пароход? А в этом году впервые за всю свою жизнь видит славный Яик гремучие лопасти. А тянется этот Яик от Гурьева до Оренбурга — больше чем тысячу верст, и до сего лета не допускали казаки на свою реку парохода: рыбу, говорят, перепугают. И довелось мне видеть, как целые поселки, покинув работу, бежали смотреть на пароход.

Старуху одну, в зеленом казакине, полной семьей вели на пароход под руки. Надо было старухе ехать в Уральск лечиться. Крепко боялась старуха парохода, истово крестилась при гудках и с великой верой взирала на ветхие колоколенки.

Долго не хотела говорить со мною старуха. А потом, когда рассказал я ей, какие у нас на Иртыше переметы, стала она меня учить, как правильно рыбачить и какая должна быть «кошка» у перемета. Попутно выбранила сибирских казаков. И к вечеру уже, когда и колоколенки, и яры скрылись в лиловом, пахнущем по-

лынью и богородской травой сумраке, поведала мне Аграфена Петровна семейную свою притчу.

— Ты ведь, поди, нашего хозяйства, не знаешь? А наше хозяйство, по фамилии Железновское, известно по всему Яику. Ильбо от Разина — сказывают, великий он колдун был,— ильбо от чего другого прадед наш, Евграф Железнов, развел аргамаков. Таких аргамаков развел, что из Хивы приезжали и многие тысячи платили за породу. Табуны наши были в скольку сот голов — уж не помню. Мать моя, царство небесное, сарафан обшивала по вороту индицким зерном-жемчугом, а дом у нас кирпичный, двухэтажный и под железной крышей.

Детей? Детей у меня много было, все больше девки, а парня уродилось два — Егор да Митьша. Егор-то русой был, на солнце, бывало, отцветает, что солома, а Митьша — черный, чисто кыргыз кыргызом. Разница меж ними в двух годах была, а учиться довелось им вместе. И по хозяйству все тоже вместе держались. Вот перед тем, как Егорше в лагеря идти, «сам»-то и подарил им по жеребенку наилучших ног. Он, царство небесное, в ногах беда как понимал — лучше самого хитрого цыгана. Егору дал Серко, а Митьше — Игренку.

И выросли те жеребята, как сказ. На войне, говорили, на смотру генерал оглядел наших аргамаков и Егорку спросил: «Каким, дескать, овсом кормлена такая чудесная лошадь?» — «Нашим, грит, яицким». И велел генерал записать адъютанту про тот овес, чтоб кормили им любимого генеральского коня.

Сколько раз казацкую жизнь спасали кони — я уж и запамятовала, а только раз на том коне Митьша полковую казну вывез из немецкого плена и получил за этот подвиг два «Георгия».

Осенью пустили их ильбо самовольно приехали — не знаю уж. Подойти к ним тогда было — чисто сердце отрывалось. Ходят по двору: один — вправо, а другой — влево. А как сойдутся, так Митьша крестами на груди трясет и кричит: «Царя, мол, отдаю, а веру мою не тревожь! Имущество, грит, с кыргызами да другими собаками делить не хочу».

И почнут кричать, будто не братья, а бог знает кто. Я поплачу, поплачу, свечку перед образом зажгу. «Утиши, господи, их сердца»,— молю. А самой все-то непонятно, все непонятно: как? из-за чего? Шире — боле. Я уж говорю Митьше: «Разделить вас ильбо что?» А тот: «Не хочу, грит, добра зорить». А Егор, тот кричит: «Все

народу отдам!» И в кого он уродился такой заполошный?

Тут еще одна беда — Егорова молодуха собою красавица была: лицо — чисто молоко, сама — высокая, с любою лошадью управлялась лучше мужика. Приглянулись ей Митьшины кресты, что ли,— только начала с ним шушукаться. Я уж ее однаж огрела помелом, а она белки выкатила да на меня. «Ты, грит, старая чертовка, за сыном бы Егором лучше смотрела: несет он разор всему нашему роду, в большевики пошел». Мы тогда большевиков-то не знали.

Казаки-отпускники ездят из поселка в поселок, кричат, что офицерское добро делить надо, что пришла намеднись воля. Только однажды приходит станичный атаман, говорит Митьше: «Собирайтесь, грит, герои, в станичное правление — по городу ходят, на манер пугачевского бунта, солдаты. Надо, грит, ихних главарей переловить».

Егор-то в ту пору в городе находился. Надел все кресты Митьша и отправился, на меня не взглянув.

Только не вышло у них, что ли,— не знаю. Вернулся Митьша — прямо на полати в валенках залез. А тут немного погодя и другой сыночек. С порога прямо кричит: «Митрий Железнов, слазь с полатей! Я тебя за бунт против народной власти арестую!»

Тот молчком спускается. А на чувале у нас всегда дрова сохнут. Поставил это Митьша ногу на поленницу, а потом как прыгнет, схватит полено и брата-то — господи, родного брата!— по голове, и бежать! Ладно, у того кыргызский треух был. Охнул Егор и пал наземь, а потом через минуту, что ли, поднялся и говорит: «Никуда, грит, от наказания не уйдешь! Я, грит, на замок коней запер».

У нас конюшни-то на железных болтах были. Я его было за руки, а он отвел меня и говорит ласково: «Не тревожься, матушка. Буду я народным героем!»

И за дверь — тихонечко.

Я, как только очнулась немного,— за ним. А он на дворе, слышу, кричит: «Кто смел открыть ему конюшню, когда один ключ у меня, а другой — у моей жены?»

Посмотрел он на молодуху, покрутил усы. «Выпустила, грит, ты убивца и предателя. Прощай!» А пуще его озлило, полагаю, что отдала молодуха Митрию Егорова Серка. А был этот аргамак из лучших лучший —

где было тягаться с ним Игреньке, хоть и получил на нем Митьша два креста! Вывел Егор оставшегося Игреньку, потрепал по шее, оседлал тихонько и уехал, не взглянув на жену.

Сказывали, что в ту ночь в нашем городе переворот доспелся. Одолела в том деле Егорова сила. Отступили за реку те казачки, что за генералов были. Вот в погоню и отрядили под началом Егора сколько ни на есть народу. Месяц-то ноябрь был, убродный да лютый. По снегу — след, так и видно, куда поскакали казаки. Догнал их Егор под Лужьим логом. «Сдавайтесь, грит, а то всех перепалю из пулеметов». А генеральские казачки-то — шашки наголо, да — на них. Ну, оседать начали Егоровы силы. Хотел было Егор приказ отдать отступить, потому видит — не одолеть ему генеральских казаков.

Только заржал в ту пору под ним конь, Игренька. А из супротивников другая ему лошадь откликнулась. Узнали, вишь, конь коня, Серко — Игреньку. Закинул Егор голову да и спросил громко: «Брат Митьша, ты?..» — «Я,— отвечает тот,— я!»

Через всех казаков проскакал Егор к брату. «Эх, грит, Митьша, прощай, изменник. Стыдно мне за тебя и за все семейство наше казацкое! Помирай от моей руки». И вдарил его шашкой.

Потом что?.. Ну, напугались генеральские казаки. Уж коли брат своего брата не пожалел, значит, за Егором правда. А с правдой как воевать? Она победит. Генеральские казаки и сдались.

А Егор револьвер вынул, подходит к коню Серко. У самого слезы на глазах. Ведь конь — тварь бессловесная, ее винить в чем?.. И говорит Егор тому коню: «Конь ты, конь серый! Возил ты меня, возил и брата. И всю жизнь будешь ты напоминать об изменнике. Жалко мне тебя, но стыдно будет всем смотреть на тебя. Прощай!»

И убил коня.

...Сердце-то у меня с того времени будто полынью поросло. Все-то времечко на нем горечь горькая.

1926

О КАЗАЧКЕ МАРФЕ

У ворона вон гнездо куда какое крепкое, хоть и сделано из прутиков. От Каспия, когда подует ветер, камни несет в голову, столетнюю вершину ломит, как соломин-

ку, а вороново гнездо серым цветом цветет, смеется будто — цело.

Только и ведь так бывает: подрастут воронята, перо сизым налетом покроется — раздерутся. С чего раздерутся — никому не известно; может, из-за какой ни на есть насекомой. Глядишь ты — в драке-то развалится тое гнездо — чисто скорлупа.

Я к тебе с гнездом этим не к примеру, а вот даве видела — нищая одна под ветлой плакала. Обличьем мне та нищая показалась знакома, а присмотрелась и — подумала: все нищие на одно лицо, и на одну суму. А над ней писк, и в гнезде воронята дерутся,— выходит, конец лету... Вот и плачет нищая, что теплу конец, что сума снегом скоро покроется, сгниет: нонче и сума денег стоит... А до воронят ей — что? Воронят ей и в сказку вставить нельзя,— ноне в сказках-то ароплан подавай, в ковер-то-самолет не верят...

В нашем поселке Лещинском (это его в прошлом году — для смеха, должно,— хоть и назвали городом, так ты не верь) строй глинобитный, деревянное только одно — пожарный сарай. Крыши одни только казачью удаль выдают — тесовые, а у богатых — крашеные.

Вот из-за крыши такой богатеем прослыл у нас Климентий Федосеев. А и было у него всей богаческой силы — что сыны покрасили ему крышу. Произошло их у него шесть человек, один другого на голову обгоняет — красавцы.

И только успели доспеть ему крышу,— даже скворешник не воздвигнули — в тот же час как раз пришла ерманская война. Муторно стало смотреть Федосееву на крышу, взглянет — и слезами, бывало, зальется: «Лучше, грит, я, как расейский, вшивая губа, сидел бы под соломенной покрышкой...»

Судьба — не баба: слезой не возьмешь. А получилось так, что целехоньки пришли с фронта казаки. Как сказали Климентию, что видно сыновью пыль за ярмарочными балаганами,— силы в ногах ушли. Отправился он в избу, лег на скамью. «Я, грит, маленько вздохну». Да так с таким словом и помер.

Подъезжают сыны, смотрят на крышу — покоробилась та, облупилась. Думают — надо перекрасить.

Встречает их мать у ворот.

— Мир тебе, мамаша!— говорят казаки.— Что ж ты стоишь — и думаешь и плачешь?..

— А вот стою,— отвечает мать их Марфа,— думаю:

помер счас от радости по вашим лицам отец. Неужто станете вы теперь, как у всех, делиться и рушить хозяйство в такую тяжелую жись?

Казаки и говорят ей:

— Вот тебе перед отцом и богом слово: будем жить по-прежнему сообща и тихо... Покой свою жись!..

Ну, а дни тогда — что торопкий да далекий путь: и лошади вспотели, и телеги заскрипели. А ямщик-то гонит да гонит...

Ты и сам знаешь, и повторить не грех: наши-то степи уральские — еройские степи. Разин тут и Пугач гуляли, Маринка, жена Гришки, жила, тут Чапаев с атаманом Толстовым сражался и в Яике потонул.

Слово, что ли, дали, что не делиться, или так уж вышло — только довелось всем шести братьям Федосеевым попасть в отряды к тому царскому генералу Толстову, которого большевики, сказывают, анафеме предали...

В бога, гришь, не верют? А как же они всех победили, коли в бога не верют? Может, вера в него другая — не наша, может, и скрытая какая — бог-то один: он знает, кому помогать. Знает.

Ну, и разбил тот ерой Чапаев толстовскую армию, казаков дивно перерубил и начал над всеми суды судить.

Забрал он всех шестерых братов (тоже ведь к горю, видно, их в бою-то пощадило), выстроил, посмотрел на них и приказал судить — истребить их без пощады, как комара.

Суд-то тогда был короче вздоха.

Спрашивают их судьи:

— Вы ли с нами воевали так, что от вас дух гнилой по земле прошел?

— Так точно,— отвечают те шестеро в голос,— воевали!

Прочитали им присужденную бумагу: так, мол, и так, за то, что воевали вы с нами, дается вам смерть — к расстрелу.

Надели казаки разом шапки. Самый молодой, так тот даже набекрень и чуб не забыл выпустить.

— Господи, благослови!— говорит.

Я беду свою тебе сказывала, а что моя беда перед такой смертью? Мошка! На ногах-то у командира опорки ильбо что еще хуже, а пала Марфа к тем опоркам, щекой прижалась, воет:

— Простите, христиане, хоть одну смерть, хоть од-

ну жизнь-то оставьте. Буду служит за ту смерть всей своей кровью Советской власти... хоть самого малого простите...

Сняли свои шапки перед Советской властью пятеро казаков и в голос сказали:

— Просим!

Посмотрели красные командиры на малого, на бабу Марфу, значит, посмотрели, а той хоть без нескольких пятьдесят, а на тело и тридцатилетней не дойти.

— Ладно,— говорят,— прощаем одного: посмотрим на твою службу...

И верно: малого-то пустили, а остальных пришлось засыпать в одной могилке.

Пошел полк тот али дивизия дальше, а за полком отправилась Марфа. Остался младший дома хозяйничать, женился вскоре,— хозяин из него вышел ладный. Одно: к деньге был жаден.

Марфа-то сперва около полковых казанов ходила, а дале — позорище для казачки-то невиданное — и на лошадь вскарабкалась. Смеху-то, поди, много над ней было: как-никак — парень, а волос — седой. Шире-дале — ружье да шинель она себе обнаружила. И пошла с того дня об ней слава.

Бают у нас поселком: «Баба Марфа ротой командует и к советским отличиям представлена». Командовала ли она ротой — бог знает: слов ведь тогда много говорили, а еще более того — им не верили. Коли деньги без цены ходили, то слова — что?

Так, значит, с летошним снегом и перестали об Марфе говорить. Жена-то Василия Федосеева — невестка, значит, Марфы — даже в церкви панихиду отслужила.

Вот и вышло, что поторопилась. Война кончилась. Народ про семена начал думать. Выйду это я за поселок, а мужики стоят да на землю смотрят. И диво было — страшная какая-то земля была: багровым бурьяном заросла, корни какие-то в ней ползут, толще руки. Вот и вышел так однажды казак Абрам Новопольцев на пашню посмотреть, а видит — по тракту тройка мчится, аж от лошадей пена клочьями летит. Комиссарам-то раньше не все радовались,— вот и захотел Абрам посмотреть, кого это леший к нам несет. Заглянул в кошевку-то, а там — Марфа. В солдатской шинели с наличниками комиссарскими, вся грудь в орденах, рука на черной перевязи и — постарела.

— Как,— спрашивает,— сын мой Васенька живет?..

А у самой руки трясутся от нетерпенья, и больным локтем ямщика в спину торопит.

Ошалел Абрам. Еройски, видно, отплатила Советской власти Марфа. Шапка у него аж свалилась, ничего ответить не мог, так и промчалась трашпанка мимо. Только через полсотни сажен услышала Марфа, как орет Абрам «ура»,— а не обернулась.

Греха, по-моему, в хорошем хозяйстве нету, а только нельзя, коли мать приехала, первым делом в трашпанку заглядывать, много ли добра привезла, и спрашивать: «Пенсию-то тебе, мамаша, большую назначили?»

Отвечает ему Марфа:

— Я, грит, не за пенсию, а долг платила...

Видно, такая горькая дорога вышла Марфе. Жаловаться она не жаловалась, выйдет на яр, подберет больную руку и в Яик смотрит. А разве казачке в Яик смотреть? Казачке надо робить. А тут невестка ее до самого худого горшка не допускала, а дале — лишним куском стала попрекать, расчеты стала вести на Марфину жизнь. Сын тоже посмотрит за обедом в сторону, скажет сурово так:

— Коли, грит, воевать, так надо, чтобы до победного конца. Зря, грит, домой калеки не приходят — в такую жизнь людей объедать...

У Марфы-то ложка тяжелей топора станет.

Сказали ей как-то старухи:

— Тижелова сына ты оставила, Марфа...

А она так выпрямилась, будто поленницу уронила:

— Кому он и тяжел, а мне — легче его нету...

Так и пресеклись все.

Дале-то совсем замолкла Марфа. Вид делает, чтоб про сына не болтали чего: будто и кормят ее мясом каждый день, будто белый хлеб ей из города заказывают, а от платьев, от обновок будто отказывается. А сама все худеть да худеть, под конец одни глаза остались.

Земля (я тебе говорила) в тот год тяжелая была. Вот и соблазнился Василий на легкую работу: начал самогон варить. Граммофон купил на те самогонные деньги, двухлетку хороших аргамаковских пород, тарантас с крытым верхом. Как привел он тарантас да как устроил гулянку, так Марфа пришла в поселковое правление, попросила пакет, положила туда ордена свои

и велела отправить в город самому главному комиссару.

Не знаю, что у них еще было. Сказывают, будто ударил свою мать Василий, а может, она его ударила,— только видал вечером в тот день шляющийся Абрам Новопольцев, что подле кладбища развязала Марфа какой-то платок, достала суму, сломала с ветлы палку и ушла по тракту. За поселком суму-то надела, чтоб сына не позорить (а может, и врет Абрам), только где она теперь — никому не знаемо, разве что в новую войну объявится...

1926

НА ПОКОЙ

Ермолай Григорьевич на работе был строг, часто упрекающе вскрикивал, и упреки его были почему-то особенно обидны. Его желтые зеницы ехидно смотрели вбок, в сторону, словно там, за плечами человека, он видел и знал самое плохое, о котором ему не только говорить, но и думать было противно. И когда вдруг оказалось, что фабрика убыточна и выделывает не то, что необходимо республике, и что ее нужно закрыть,— сотоварищи обрадовались, что наконец-то Ермолай Григорьич попал в беду. Но его желтые глаза по-прежнему уверенно и ехидно блестели под круглыми, какими-то косматыми бровями, и они поверили, что Ермолай Григорьич всегда справедлив и строгость его от большого знания своего места на земле, и они разозлились так, что когда выходили из конторы и расставались, может быть, навсегда, то никто не подал руки Ермолаю Григорьичу. Ермолай Григорьич скосил крепкие щеки, желтые глаза его последний раз увидали за плечами товарищей то, чего никто не видал и не знал, и он бодро вышел впереди всех. Но сердце у него ныло, и, казалось, закрыли не всю фабрику, а выгнали его одного.

Он прошел два квартала вдоль фабричной красной стены к трамвайной остановке. Подле светло-синей, быстро на глазах высыхающей лужи стояла небольшая очередь. Он гулким голосом, крепко выходящим из его выпуклой пятидесятилетней груди, спросил, кто последний, и так уверенно стал позади какого-то чахоточного человека в грязном парусиновом пальто, что человек сра-

зу затосковал, да так и, мучаясь, не смог понять, что с ним происходит. И когда исшарканная трамвайная подножка уже была подле его колена, Ермолай Григорьич догадался, что он сбирается ехать к своим сыновьям. И он так уверенно отошел от трамвая, что никто не подумал о его ошибке, а всем было ясно — ему не понравился вагон. Кондратий и Евдоким, его сыновья, работали на другой фабрике, кондитерской, кочегарами. Кондратий был лыс, выше почти на голову Евдокима, говорил раздельным тенорком, а Евдоким неумело хрипел, и все же и посторонним и даже отцу казалось, что братья всегда говорят в голос, может быть, потому, что всегда говорили о хозяйстве, деньги до последней копейки посылали в деревню, сами впроголодь жили в какой-то провонявшей селедкой и мочой кухнишке и к отцу в его опрятную комнатку ходить не любили. Каждый вечер они начинали меж собой разговор о сбруе,— им хотелось иметь кожаную сбрую с ременными вожжами,— и всем чудилось, что мечтает о сбруе один какой-то очень недовольный голос. Изредка они брали на ночь девку, уговариваясь, что спать с ней будут двое, и, хватая девку за ляжку, лысый Кондратий говорил: «скидывай сбрую»,— и девка почему-то всегда была ими довольна, и, уходя, она старалась думать, что спала с одним каким-то необычайно сильным человеком. Поспав с девкой,— это чаще всего происходило в субботу,— братья шли в гости к отцу, и всегда они встречали там кипящий самовар на столе, связку пухлых баранок, полбутылки водки и в окне довольного снегиря. Отец весело и снисходительно расспрашивал их о деревне, хвалил деревенскую жизнь, легонько трогал пальцем клетку, говорил: «Как птицы живете»,— и заглядывал далеко куда-то за плечи сыновьям. Но сам он никогда не высказывал желания поехать в деревню, и, расставаясь, все трое чувствовали, что между ними многое не договорено,— и тогда они враз все трое улыбались и хлопали суетливо друг друга по плечу.

Были у него еще две дочери — Василиса и Вера, жившие в деревне и правившие хозяйством вместе с женой Кондратия, Анной. О дочерях Ермолай Григорьич вспоминал с нежностью: они были беспечны, певуньи, а женихи как-то не шли к ним,— и, что им суждено остаться в девках, тоже трогало нежностью сердце Ермолая Григорьича. Но с сыновьями о девках Ермолай Григорьич не говорил, и, когда сыновья уезжали в отпуск, он давал им по ситцевому отрезу и хмуро бормотал:

«Ублажите.. пущай по кофте сошьют, глядишь — и хватят кого за душу».

Весь день он был доволен, что не пошел к сыновьям, покрякивая, пил чай и сам не заметил, что снегирю три раза насыпал зерна в кормушку. Проснулся он рано, легкий весенний морозец чуть тронул окно; снегирь играл перьями в розоватом и блестящем тумане света. Трамваи звенели так, словно неслись в небо. Сидевший на тополе грач, увидав проходившего мимо Ермолая Григорьича, радостно тряхнул перьями и, показалось, что весь синий тополь тоже задрожал. Вчера, за чаем, Ермолай Григорьич выбирал, на какой бы ему завод пристроиться: он не любил людных зданий и завод выбирал подальше от города и почему-то с коротким названием, может быть, потому, что фабрика, с которой его убрали, имела огромную вывеску в добрую сотню букв и при открытии ее говорилось много речей и посылались длинные приветственные телеграммы. И вот Ермолай Григорьич направился на выбранный им вчера завод. Знакомые на заводе долго жали ему руку и, оглядываясь на дверь — словно их кликал кто, сказали: «Что поделаешь, кризис... у всех...» Дверь была обита клеенкой, неимоверное количество ржавых гвоздей в бешеном беспорядке гнездились на клеенке. Ермолай Григорьич, ласково улыбнувшись, ушел. И чем больше он ходил от завода к заводу, от фабрики к фабрике, от окошечка биржи к другому, тем все больше он приближался к людным местам и тем все обиднее разговаривали с ним люди. Сразу во всем: в разговорах, в поступках людей — увидал он обидный до слез беспорядок и, вспоминая многие резолюции, за которые он голосовал в ячейке, он замечал чепуху и непонятное в этом, казалось бы, налаженном деле.

Явилась нужда пойти в пивную со знакомыми, один из которых, угрюмый, с кривыми грязными пальцами, одетый в парусиновый пиджак поверх грубой толстовки, обещал ему поденную работу. Ермолай Григорьич поставил дюжину пива, и сразу после двух бутылок знакомый развеселился, начал расхваливать себя, рот у него размок, и можно было ясно понять, что зря ему поставлено пиво. В другое время Ермолай Григорьич прогрохотал бы тяжелыми своими сапогами и ушел бы, а тут он вдруг почувствовал себя усталым, веки его с трудом подымались, и в бровях кололо так, словно веки были стеклянные.

— Цыпленок-то вот дважды родится, а ни однажды

не крестится,— сказал он и пристально, словно удивляясь чему-то, взглянул в пивную бутылку.

Все посмотрели на него вопросительно, а он тихо расставил крепкие ноги и между ног опустил руки, и все с какой-то робостью увидали, что руки его почти хватают до полу.

— А я вот дважды крестился. Сперва в Христа, а потом в коммунизму. Под крестом-то на шапке я всю Галицию проходил, до немца через все болота докатывался, а из-за коммунизмы и на Украине и на Колчака... много скитанья принял.

— Ты к чему поешь-то?— весело спросил хмурый знакомый, играя грязными пальцами.

— А к тому, что спокойствия, а выходит, и меня — не рождалось еще!

— Найдешь, найдешь работу, не тоскуй.

Между столиками стояли сделанные из фанеры пальмы. Пиво пылало желтым солнцем. Ермолаю Григорьичу до головной боли было непереносимо смотреть на эти пальмы.

— Я в Закавказье не на таких пальмах кашу варил,— вдруг, со злобой глядя на угрюмого знакомого, сказал он,— там пальмы... в обхват...

— И верю, верю,— напряженно прикрывая рот грязными пальцами, испуганно ответил ему знакомый.— Ты пиво пей. Говорю, будет тебе работа!

Но Ермолай Григорьич взял шапку, постоял: никто не сказал, чтоб он платил за пиво, и он грузно вышел. Ложась спать, он подумал, что завтра встанет бодрый и уверенный, дабы искать работу, но поутру усталость еще более овладела им. Он даже не застегнул пуговиц на рубашке, и неприятно было чувствовать голую, казалось — одряхлевшую шею. Вспоминалась вчерашняя выпивка, и мысль опять вернулась к скитаньям, и он вспомнил, как он вступил в партию. Случилось это накануне сражения с каппелевцами, когда все думали, что полку нужно сдаться. Военком воскликнул, указывая на него: «Товарищи, учитесь смелости у Тумакова!» И сто одиннадцать человек в ту же минуту пожелали вступить в партию. Каппелевцев разгромили, и приказом по полку была отмечена выдающаяся храбрость тов. Ермолая Тумакова. Потом пришло на ум, как на Урале, на хозяйственном фронте, дивизия заготовляла дрова. Должен был проехать нарком. Красноармейцы десять верст, прямо через снега, шли к рельсам для того, чтобы про-

кричать мчащемуся мимо поезду «ура», и Тумаков пришел первым. А теперь усталость (что как тень лежит на воде и не тонет) — усталость овладела им, и он чувствовал себя стариком. Ему захотелось посмотреть на себя в зеркало, но и зеркала, оказалось, он не имел. Последний раз, перед отъездом на фронт, жена подарила ему маленькое зеркальце в ладонь величиной. Он разбил его случайно прикладом и, помнится, пошутил, что с бабой-то видно, плохо, а баба почти в те дни и умерла от тифа. Вспомнив и зеркало, и терпеливую старуху, он вспомнил и свое хозяйство, которое он не видал лет восемь,— и тогда он направился к сыновьям.

Сыновья, как оказалось, уже знали, что фабрика закрылась и что отец не может найти работы.

— Деньги-то заместо пропивок надо было б в деревню посылать,— сказал Кондратий и самодовольно погладил лысую голову.

— Барин,— подхватил Евдоким,— хамунист, вояка...

Сыновья держали себя заметно развязнее, и когда Ермолай Григорьич сказал, что он устал и ему пора на покой, сыновья промолчали. Серая кошка с гноящимися глазами развязно прошла по вонючему полу кухни. Ермолай Григорьич хотел было прикрикнуть на сыновей, но как-то получилось, что он утомленно сказал им, что дом его и скотина им не отписана. Сыновья, видимо, испугались, хотя бояться им было нечего, и вот, побродив без толку еще неделю по городу, Ермолай Григорьич уехал в деревню.

В Волгу врывалась речонка, желтая, бойкая, и бойкие рыбешки с красными крылышками, словно обгоняя струи, выпрыгивали из воды. Речушка же, врываясь в Волгу, пересекала ее прямо до противоположного берега, и казалось, что через Волгу лежит свежий сосновый горбуль. На песчаных холмах синели избы деревни под веселым названием Тоша. Ласковые холмы неустанно кружили вкруг деревни. Прыгали по ним с веселым пчелиным звоном зеленые хлеба. Церкви блистали среди рощ, и, казалось, Волга шла под колокольный звон.

Тело к ухабам сразу привыкло, но Ермолаю Григорьичу казалось, что сердце вздрагивает у него от толчков телеги. Ермолай Григорьич держался одной рукой за телегу, а другой прикрывал глаза от солнца, хотя солнце было тихое. Когда вдали, с холма, перед ним блеснула Волга и скрылась, легкий страх охватил его. И чем более он ощущал звенящую тишину полей, чем более сли-

вались перед ним стоявшие вначале в одиночку колосья,— тем сильнее и увереннее отягощал его страх. Ему не то что казалось, что его не допустят до околицы, но не было даже уверенности, что эта родная ему околица есть. Медленно и как-то боязливо отвечая его мыслям, тряслась телега. И вот вместо оврага, по которому когда-то тек высыхающий летом ручей, он увидал громадину воды. Новая мельница, вся в ласковом пушке пакли, как хвост распустила за собой большой пруд, усеянный кувшинками.

— Общество-то экую сляпало,— с гордостью сказал возница, и от его немудрых слов Ермолая Григорьича всего потрясло, и даже скулы заныли.

Чумазый карапуз медленно распахнул перед ним жердевые ворота. Ермолай Григорьич кинул ему две копейки. Карапуз медленно, не спеша, поднял их и с достоинством пошел к дому. Собак не встречалось, и Ермолаю Григорьичу смутно подумалось, что, забреши сейчас собака, он, пожалуй, повернул бы обратно. Когда телега остановилась у его дома, он несколько раз снял и надел картуз и без нужды сказал вознице:

— Домище-то какой я сыновьям оставляю! Из-за такого домища меня и столетнего не выгонят.

Но в локтях была обидная дрожь; входя в сени, Ермолай Григорьич чувствовал, что теряет походку. В сенях пахло мокрой кожей. Сундук, который он купил лет двадцать назад на ярмарке, был прикрыт незнакомым ему половиком с наглым серым узором по желтому полю. Он скинул половик и присел. Ноги его крепко упирались в покосившиеся половицы пола, а руки беспокойно бегали по пиджаку. Вошел возница и, удивленно глядя на него, обидно спросил:

— Деньги-то сейчас платить будешь, али ждать придется?

Здесь из кухни прибежали дочери. Они были в заплатанных кофтах, постаревшие, с надтреснутыми голосами. Они распахнули дверь в горницу, и Василиса робко спросила его:

— Иконы-то сейчас снимать, тятя, иль обождешь?

И тогда Ермолай Григорьич бодро встал с сундука, обнял дочерей. Отдал картуз и драповое пальто вознице и сказал:

— Вез-то ты хоть и плохо, а все-таки заходи, чаю выпьешь.

За чаем он был немного смущенный и несколько раз говорил вознице:

— Дочери-то каковы... хорошие дочери...

Возница, корявый, и запуганный, и тоскующий мужик, ничего не находя в девках хорошего, вздрагивая от его благодарного голоса и сам в то же время чувствуя какую-то непонятную благодарность, торопливо поддакивал:

— Эх, да кабы мне таких обходительных дочерьев!

После чаю Ермолай Григорьич, хотя ему и не хотелось, лег соснуть. Он прикрылся толстым одеялом и с тихой благодарностью слушал, как дочери его ходили на цыпочках по горнице и как Вера уронила кусок хлеба, а Василиса прикрикнула на нее и тихо ворчала потом. Заснуть ему так и не удалось; он полежал час-другой, придумывая, чем бы ему теперь заняться, затем встал, умылся, причесал голову и вышел раздавать дочерям подарки. Дочери отмахивались, говорили, что напрасно, им ничего не нужно, а им действительно ничего не нужно было, а Ермолаю Григорьичу все казалось, что он мало привез.

— По кольцу бы надо,— сказал он, ухмыляясь, и тогда вдруг сестры спросили о братьях.

— Живут,— угрюмо ответил Ермолай Григорьич и ничего не добавил.

Под вечер, когда нагретая солнцем лавочка, на которой сидел Ермолай Григорьич, охладилась и он лениво вложил руки в карманы,— с базара приехала жена Кондратия, Анна. Кондратий женился на ней, когда отец воевал на Ураине, в город ее не привозил, и Ермолаю Григорьичу не доводилось ее видать. Она вошла, легко неся в руках жирную баранью ляжку с прилипшими травинками. Переступая порог, хотя дверь была и высокая, она, видимо привыкнув к низким дверям, наклонила голову, и оттого ее высокая грудь прикрыла плотскими тенями ее нежное, чуть-чуть широкое лицо, убранное легкими волосами. Ермолаю Григорьичу она поклонилась низко, в пояс, и голос у нее оказался такой же, какой некогда был у Веры и Василисы. Да и веселой походкой, беззаботными руками она напомнила ему дочерей, но только расцветших, удовлетворенных, таких, какими они не будут никогда. И легкая грусть овладела им.

— Детей-то нету?— спросил он.

— Не дает бог,— тихо ответила Анна.

Ермолай рассмеялся на ее тихий, какой-то виноватый ответ.

— Муж редко бывает,— и она, будто поняв его мысли, вдруг густо, всем лицом вспыхнула. И тогда Ермолая Григорьича, помимо благодарности, охватила такая беспричинная радость, какой он не чувствовал давно. Ему не захотелось есть, и он ел, дабы не огорчать дочерей, и сам умилялся этим.

— Баню истопить на завтра?— тихо спросила Анна, видимо не имея силы отделаться от нахлынувших мыслей.

— А истопи, пропарюсь,— задорно сказал Ермолай Григорьич, отодвигая тарелку, которую беспрерывно наполняли ему дочери. Даже мухи, казалось, лезли ему в ложку не оттого, что им хотелось есть, а от радости.

Анна раскинула ему постель, Вера принесла подушку. И подушка и постель пахли мятой. «Не думал, не думал, что так встретите»...»— хотел было сказать Ермолай Григорьич, но почему-то не сказал, а по глазам женщин он увидал, что не сказанные им слова им понятны и они отвечают ему мысленно: «А как же иначе?»

Проснулся он рано и вышел на двор выбирать работу. Утро было легкое и пушистое, как хмель. Глубокое, словно омут, небо вещало жару. Напряженно зеленели в небе листья яблонь.

С дровами к бане прошла Анна.

Надо было бы переменить ось в телеге, но эта работа показалась ему необычайно легкой. Потяжелей бы. Работа потяжелей была на пашне, а ему не хотелось покидать дом. «Отдохну денек-то...»— сказал он сам себе и потрепал яблоню по стволу. Возвращающаяся от бани Анна ласково улыбнулась и не спеша сказала:

— Нонче на яблоки урожай будет: шиповник-то густо расцвел.

Ермолай Григорьич не понимал, чем связано густое цветенье шиповника с урожаем яблок, но сразу поверил Анне и громко рассмеялся:

— Я вас вино из яблок научу гнать. Куда самогону!

И Анна улыбнулась милостиво и долго, и уши ее залились краской.

Весь день Ермолай Григорьич ходил по соседям, рассказывал о войне, о коммунистах,— и рассказы получались такие, словно он читал вслух газету. Мужикам это и нравилось. Своих, крестьянских разговоров никто с ним не вел,— получалось несколько обидно,— но обида эта

еще более усиливала бушевавшую в нем радость. Опять незаметно подошел вечер, теплый, тихий. Ветер вынес было запахи молодых нив и цветущего шиповника, но и ветру, казалось, не хотелось тревожить редкое человеческое спокойствие, и он скрылся. Пришла Василиса — звать в баню. Ермолай Григорьич выбрал побелее рубаху и подштанники, достал голубой вязаный поясок.

В пребаннике на скамье он заметил юбку.

— Мойтесь, что ж. Я попозже приду.

— Никто не моется,— раздался из бани голос Анны.— Угар выбздаю, да полок надо промыть.

Анна показалась в дверях. Накаленная, плотно облепившая тело рубаха была дымчатого какого-то цвета. Черные круги сосцов мутно просвечивали через ткань. Глаза у нее были липкие, и круглый, упруго трепещущий от дыхания живот глубоко уходил к костям.

— Иди, иди,— торопливо сказал Ермолай Григорьич,— сам выбздаю угар.

Анна взглянула на его щеки. Поспешно схватила юбку.

Ермолай Григорьич долго снимал сапоги, затем налил в шайку воды и, крепко прижимая шайку к животу, вошел в баню. Ему надо было б вылить шайку на каменку, а он вылил на себя. Распаренный веник плохо держался в руках, он его отложил, и долго, неподвижно вытянувшись, смотрел Ермолай Григорьич в потолок. Потом он вскочил, облил кипятком веник, сунул на камни и почти мгновенно охлестал его о свое тело. Окатился, и ему стало скучно, и было ясно, что в бане больше делать нечего и что он отвык париться в деревенской бане. К тому же заболела голова, и он вспомнил, что угар-то он и забыл выбздовать. Возвращаться же столь быстро из бани было как-то неудобно, пожалуй — обидно для дочерей; посидеть бы хоть на пороге, повздыхать, посмотреть на яблони,— но Ермолай Григорьич не мог.

Над столом клубился самоварный пар. Черная почти струя чая, зыблясь, наполняла его чашку.

— Отвык поди от наших бань?— спросила Василиса.

— Отвыкнешь,— угрюмо ответил Ермолай Григорьич и почему-то взглянул на Анну.

— Выбздовал угар-то?— спросила та ласково.

— Выбздовал,— и Ермолаю Григорьичу стало стыдно, что у него нет сил сказать правду. Вчерашняя радость, казалось — на всю жизнь наполнившая его, прошла бесследно.

Неподвижно вытянувшись, лежал он в кровати, пытаясь уверить себя, что все, что томит его,— это от бани. Ветер пронесся по улице. Тонкая ветвь через окно упала и задрожала на подоконнике. Ермолай Григорьич не выдержал, притянул к себе с силой ветку и сломал. Из соседней комнаты раздался сонный голос Анны: «Кто там?», и Ермолай Григорьич не нашел сил ответить ей. Анна же, должно быть, тотчас заснула. Долго он ждал второго вопроса, и долго его тянуло пойти на голос.

— Квасу бы выпить, што ли?— сказал он вслух тревожно и громко.

Кошка прыгнула на печь, оттуда с шипеньем скользнула лучина. Ермолай Григорьич вздрогнул. Заснул он на рассвете.

Томительная тревога овладела им с того дня. Он быстро раздражался, стал малоразговорчивым, и, когда дочери собрались однажды ехать на почту получать деньги, Ермолай Григорьич крепко обругал Кондратия: дескать, не доверяет жене, а деньги шлет сестрам. Анна посмотрела на него удивленно, да и все другие удивились. После этого не проходило дня, чтоб Ермолай Григорьич не бранил сыновей, особенно Кондратия. И когда он бранился, тревога как будто стихала в нем. Работалось плохо, да и работать на жадных сыновей, которые, конечно, при первым удобном случае выгонят его,— такая работа казалась ему унизительной. Дочери по-прежнему были ласковы: раз в голос спросили его, какое б варенье сварить ему на зиму. А ласковость эта еще более беспокоила Ермолая Григорьича, словно он ждал, что они сразу выскажут ему все накопившееся в них раздражение.

Однажды, наполненный такими мыслями, он встретил Анну: она несла в баню тяжелую охапку дров.

— Давай помогу,— сказал он, беря поленья с ее рук.

Она молча, с недоумением передала ему дрова, а проходившая мимо Василиса крикнула: «Что ей помогать, не беременна!» И голос ее был по-прежнему ласков, но он раздражил Ермолая Григорьича. Анна, все недоумевая шла позади него, и когда он скинул дрова у каменки и она наклонилась, дабы класть поленья в печь, Ермолай Григорьич легонько взял ее за плечи и сказал:

— Ты мне на сеновале стели спать, Аннушка.

— Душно, что ли, в горнице?— спросила она, не оборачиваясь.

— Душно.

И тогда она обернулась, робко взглянула в его лицо и почти прошептала:

— Ну, постелю.

Ермолай Григорьич построжал, сдвинул брови, и все ж таки ему пришлось облокотиться о косяк, когда он сказал:

— Ночью-то приходи.

— Господи,— пискливо вскрикнула Анна.

— Я те покажу господи,— жестко ответил Ермолай Григорьич, и весь день голос у него был командующий, грубый, и за обедом он ел поспешно и строго, и дочери боялись поднять на него глаза.

Убирая посуду, Анна спросила Василису:

— Сердитый стал батя? Рассердится, так поди и дом сможет отобрать. И сынов-то все ругает...

Василисе не понравилось, что Анна непочтительно говорит об отце, она уверенно сказала:

— И отберет, ему б захотеть. В царское время сколь бы «Георгиев» имел он... Куда ополоски-то льешь, в молоко!

— И то в молоко,— сказала Анна тихо.

Спать лег Ермолай Григорьич рано и лежал, вытянувшись, горячий, без одеяла, и даже в темноте хмурил брови. В пригоне рядом шумно вздыхала корова. Сено почти не имело запаха, и в сеновале остро пахло гниющей соломой крыши. Ермолай Григорьич был уверен, что Анна придет, и она, точно, пришла. «Ты не трусь»,— сказал Ермолай Григорьевич, схатывая ее за шею, и она молча, не шевелясь, вытянулась рядом с ним. Он уверенно, как и все на земле делаемое им, подхватил ее, и действительно, она скоро сладострастно раскрыла рот, и дрожащие зубы ее побежали по его лицу, и шумное дыхание коровы было заглушено ее усталым стоном. «Лежи»,— сказал Ермолай Григорьич, засыпая. Она покорно лежала. Вот закукарекал радостно петух, и от двора к двору побежало хлопанье крыльев. Анна тоже заснула, и ей снилось, что приехал из города Кондратий в новом пиджаке и желтых ботинках, ласково, как всегда, обнял ее и повел на сеновал. Он соскучился по ней и, как всегда, быстро заснул у ее груди, и ей было радостно лежать, чувствуя рядом с собой молодое, веселое только при ней и с ней, человеческое тело.

Она проснулась. Начинался рассвет. Ворота в сад забыли закрыть, и корова беспокойно ходила по стойлу. Ермолай Григорьич лежал на спине, и пухлый старче-

ский живот его — весь в морщинах — поднимался и опускался уверенно и легко. Анна вытерла слезы и крадучись пошла в кухню.

Ермолай Григорьич призывал ее еще раза два, и затем она стала приходить сама. Она как будто соглашалась с ним, когда он говорил, что Кондратию во всем далеко до него, и как будто на работу стала спорее, и, когда Ермолай Григорьич бранил сыновей, она так глядела на него, словно вот-вот скажет что-то очень обидное и правдивое про них, и, хотя Ермолай Григорьич часто с удовлетворением думал: «Чем бо́льшим можно было б отплатить чванствующему сыну?», тревога по-прежнему не покидала Ермолая Григорьича. По-прежнему Ермолай Григорьич не мог как следует взяться за дело и, чтоб как-нибудь оправдаться, начал жаловаться на недомогания, и было противно видеть, что дочери верят ему. И вот однажды за обедом, когда Ермолай Григорьич ворчал, что сыновья высохли от жадности и некому будет наследовать добро, Анна вдруг отложила ложку и, побледнев, выбежала на кухню. Василиса пошла за ней, и, когда вернулась, у нее было другое лицо. Ермолай Григорьич сразу смолк, прервал обед и ушел, хлопнув оглушительно дверью. В кухне завыла Анна, а Василиса встала перед образами на молитву. Помолившись, она пошла в Совет, а оттуда ее направили в вик. Было дождливо, слякотно, до вика было верст десять, она шла без платка, полями, дабы сократить дорогу. Жидкая, мокрая прядь волос упала ей на глаза, она взяла прядь в руки, вгляделась — много седых, и тогда она, внезапно обессилев, села у колосьев прямо на землю и долго, с закрытым ртом, плакала. В деревню вместе с ней приехал милиционер. Обед был все еще не убран, и милиционер, курчавый и курносый, строго приказал очистить стол. Затем он призвал Анну и жалостливо стал ее расспрашивать. Допросил и Ермолая Григорьича и с пренебрежением добавил: «На тебе, как на березе, две кожи, за такие дела не погладят,— па-артейный», и когда Ермолай Григорьич хотел возразить, он закричал: «Молчи!»— и самодовольно указал на свой револьвер.

Ермолая Григорьича увезли сначала в волость, потом отправили в уездный город, предъявили обвинение в насилии и вскоре назначили суд. Сыновья не приехали, они не хотели ради суда покидать работу, а заводский отпуск их выходил на глубокую осень. Явилась Василиса. Она все боялась, что на позор придет смотреть весь город, а

в камере оказалось пять-шесть человек, да и то трое из них скоро ушли. Она приготовила всякие оправдывающие отца слова, а получилось так, что все ее слова оказались на суде ненужными и говорили все совсем о другом. У нее было растерянное и слегка довольное лицо. Все дни до суда, да и во время суда, Ермолай Григорьич по-прежнему ощущал беспокойство и тревогу, а когда вышла к красному столу Анна, исхудавшая, с заметно выдающимся животом, и, стоя к нему боком (причем как-то особенно тронуло сердце судей острое ее плечо и маленькая заплатка на кофте, ниже плеча), начала давать показания и говорила о том, чего не было: будто Ермолай Григорьич гонялся за ней всюду, улещал подарками, грозил отнять у сыновей дом и под угрозой ножа положил ее рядом с собой и что она согласилась спать с ним, потому что это меньше видно людям, чем приставанье. «А с мужем-то мы дружны, как снопы»,— сказала она, и судьи жалостливо улыбнулись, и хотя Ермолаю Григорьичу обидно было, что по голосу ее нельзя было узнать, каким словам своим она верит, все ж ему тоже стало ее жаль и стало жалко самого себя. Он встал, вытянулся по-солдатски, чтоб было легче говорить, и сказал приблизительно так: «Виноват. За войну испортился, к бабе привык относиться хуже, чем к скотине. Все происходило так, как она говорит: зарезал бы, если б не согласилась»,— и было горько видеть, что все поверили его словам. Какая-то настолько раскрашенная женщина — волосы, губы, лицо,— что и глаза ее казались выкрашенными, испуганно взглянула на него и быстро и сладострастно заперебирала пальцами. Прочитали приговор. Василиса заплакала, и конвойный шепотом сказал неподвижно сидевшему Ермолаю Григорьичу: «Пошли, огурец!»— и сам засмеялся придуманному прозвищу. Так и в тюрьму вошел Ермолай Григорьич под прозвищем «Огурца».

Глубокой осенью приехали в Тошу на отпуск сыновья Ермолая Григорьича; они были довольны, что едут вместе и что удалось получить отпуск, когда еще нет снега и нет ранней осенней грязи, и, значит, хозяйство можно приготовить на зиму как следует. Кондратий слезал с телеги, из ворот выбежала простоволосая Анна и упала перед ним на колени. Кондратий взглянул на брата, тот бессмысленно улыбнулся,— и Кондратий тоже улыбнулся бессмысленно.

— Надо б ко мне приехать, выкидыш бы сделали, а

теперь, ишь...— сказал он и ткнул ее сапогом в живот,— морда-то будто камень без цвету. Брюхом робить будешь, да?.. Ставь самовар.

— Самовар-то поставлен,— тихо ответила Анна, и голос ее был хриплый, чужой.

Разговора за чаем не получалось, у сестер были испуганно-ждущие лица, и вскоре сам Кондратий начал ждать от себя неизвестно чего. Надо б было сразу, после чаю, пойти на овин, а он вышел на улицу, оглянулся; повеселевшие лица сестер смотрели ему вслед, словно они угадали, куда он идет,— он и пошел. А затем получилось так, что все в деревне стеснялись разговаривать с ним, и ему пришлось напиться, хотя пить ему вовсе не хотелось, и, значит, вышло так, как ждали сестры. Самогон с непривычки отрыгивал, и было такое ощущение, словно он всполоснул рот керосином. Он пил три или четыре дня, несколько раз в кровь избил жену, куражился, кричал, что все теперь в хозяйстве испорчено,— и все молчали и словно бы одобряли его. Раз ему попал под руки ножик, источенный так, что посредине получилась выемка; он сунул ножик в карман, а когда проснулся утром и почувствовал в кармане нож, ему стало и страшно и весело. Он велел,— именно велел, а не сам,— запрячь лошадь и поехал в уездный город, в тюрьме которого сидел его отец. Звонко лязгала копытами в подмерзшую грязь подкованная вчера лошадь, небо было ясное, высокое, и железо на шинах было почти что белого цвета.

Когда к Ермолаю Григорьичу подошли и крикнули под ухо: «Огурец, иди на свидку»,— он в это время стоял перед стенной газетой камеры и с горечью и страхом старался вникнуть в переписанные аккуратно стишки:

И теперь, чтобы в этапы
И в исправдомы не попадать,
Нужно меньше водки пить,
Да и в карты не играть.

Он легонько провел ногтем по стишкам, оглядел себя: борода росла клочьями, парусиновая рубаха и штаны были грязны и помяты. И вдруг он понял, о чем написаны стишки. «В карты не играть!»— повторил он с усмешкой и выпросил у соседа, смоленобородого молокана, судившегося за конокрадство, чистую рубаху. Туго затянув тесемки на воротнике, он думал: «Кто бы мог приехать?», и сразу же решил, что некому приехать, кроме Кондратия. Он распустил тесемки и вновь затянул,

«Не с добром приехал»,— подумал он, и сразу же горечь и страх, нестерпимо мучившие его, прошли и еще более стали понятны прочитанные стишки. «Главно, меньше водки пить, да и в карты не играть»,— сказал он молокану, и молокан, увидав его развеселевшее лицо, неизвестно чему подмигнул. Ермолай Григорьич вытер тряпкой громадные солдатские ботинки, тоже занятые у соседа, и, осторожно ступая, направился по длинному, тусклому и вонючему коридору. И он тоже, как и его сын, заметил, что день был высокий и ясный. Двор тюрьмы был весь в траве, и, переполненный неизвестно откуда хлынувшим чувством благодарности и успокоения, Ермолай Григорьич легким и немного смешным шагом шел по хрустящей и желтой траве к сыну. Кондратий сидел у стены, на грудке кирпичей. Перед тем как прийти в тюрьму, он выпил полбутылки водки, и хмель еще не успел ударить в тело, а где-то под сердцем лежало и шаяло дешевое, как от табаку, томление. Ермолай Григорьич остановился перед сыном, откинул назад голову и ждущим, в то же время успокоенным голосом сказал: «Ну?»— и тогда Кондратий встал, не спеша сунул руку в карман и ударил отца ножом в живот. Нож как-то необычайно быстро выскочил обратно, и Кондратий ударил еще. Ермолай Григорьич стукнул зубами, схватился пальцами за усы, затем за глаза и подогнул колена. Руки у него упали на грудь, да так и остались, впившись в чистую, с аккуратными тесемочками на вороту рубаху. Тут только Кондратий увидал на его ногах огромные, тщательно начищенные сапоги, крепко стянутые толстым кожаным ремешком. Сразу же хмель зашатал его, и Кондратий устало присел на кирпичи. Уже трещал напуганный свисток, к трупу бежали с мокрыми раскрытыми ртами арестанты, а лицо у убитого делалось все более и более успокоенным и благодарным.

1926

СЕРВИЗ

Едва показался у дверей церкви сторож, намеренно грохочущий ключами (дабы отогнать дремоту), как к паперти уже подошла Катерина Алексеевна. Был какой-то маленький церковный праздник; звонарь долго выбирал, в какой бы ему ударить колокол; священник, страдающий одышкой, белоголовый и глухой,— запоздал: старуха

многим была недовольна и кресты клала размашистые и твердые, и ей думалось, что все в церкви понимают и страшатся ее неудовольствия. И еще она думала, что она стоит вот в церкви строгая, прямая, во всем черном, а стеганая кофта ее, засаленная, с ленивыми заплатами, горбила ее и без того сутулую спину. Дряблые щеки ее были покрыты серым, грязного цвета, волосом, и острый нос ее всем казался распухшим и как бы потливым, и все оттого, что она редко мылась с мылом.

Опускаясь на колени, она каждый раз оглядывалась на Анфиску, девчонку, приставленную к ней; девчонка спешила ей помочь и делала такое лицо, какое делали все в доме, то есть что, дескать, страшно им гнева Катерины Алексеевны. А на самом деле Анфиска думала, что старуха притворяется, не богомольна она и в церковь ходит только потому — чем же она может отблагодарить хозяев, у которых чуть ли не пятьдесят лет служила она в кухарках и которые дали ей каморку за кухней, пищу и одежу до гроба и еще в прислужение Анфиску. Да и кому любопытно стоять в душной церквушке, пахнущей гнилым ладаном и дешевым воском, когда на улице август; зрелые слегка желтые листья, устав от радостной жизни, лениво падают с деревьев, виснут на железных зубьях оград; листья эти пахнут плодами, и плоды наполняют базары.

Громадная и солнечная осень надвигается на город; и город гремит, и гремят в небе птицы, и на душе тоже много шуму! А старухе холодно, и на ногах у нее несколько пар чулок, все шерстяные и все один чулок в другой. Шлепанцы у нее тоже толстые, кошемные, без задков, и когда они выходят к порогу церкви, то всегда Анфиска торопит старуху, тянет ее за руку и взвизгивает: «Пойдем, пойдем!» Сразу же с паперти видны сады, ветви сияют солнцем и ветром, а старуха запинается о плетенный из веревок половик, и всегда Анфиска забывает посмотреть на ноги старухи, и каждый раз старуха оставляет здесь туфли и по улице идет в чулках.

А на улице Анфиске и совсем не до старухи, здесь на углах расторопные и веселые мужики с алыми пальцами продавали отяжелевшую запоздалую малину; покупатели со смехом смотрели, как малина вываливалась на землю из кошелки и лежала все такая же сочная и радостная. На лотках сиял голубым цветом виноград. Виноград запахи, должно быть, таил про себя, и Анфиска думала, что никогда рот ее не узнает этих запахов, и так же ду-

мали стоявшие подле торговца мальчишки, хотя были, говорят, случаи, когда торговец давал мальчишкам по ягоде или по две. Но стоять тут Анфиска не могла, надо было вести струху домой,— да Анфиска и не завидовала мальчишкам, а была довольна их счастью, в которое, впрочем, она мало верила. И так же, как и всегда, и в этот день старуха, подымаясь на крыльцо, остановилась у дверей и пожелала вытереть ноги, дабы не наследить, хотя день был сухой и пыльный, но со старухой спорить было нельзя. Старуха ухватилась за скобу,— и тогда опять оказалось, что она забыла на половике в церкви свои шлепанцы. У Анфиски были всегда широко расставлены пальцы рук (словно между этими пальцами лежали еще другие, не видные никому пальцы, да и Анфиска, кажется, так и думала). Катерина Алексеевна посмотрела на эти напряженно рвущиеся в разные стороны пальцы и медленно сказала: «Иди». Анфиска и пошла, хотя ей и не хотелось.

В церкви теперь уже совсем сыро, сторож бродит и ворчит, детей в церкви он не любит, ему все кажется, что дети ходят в церковь воровать свечи (сторож — сапожник, были у него две дочери, а отца оставили, ушли на бульвар за веселой жизнью — может быть, они и нашли эту жизнь, но только отцу не сообщали). В квартире же хозяев Катерины Алексеевны было пусто—кто ушел на службу, кто на свиданье, а кто просто на солнце, и Катерина Алексеевна, как всегда в таких случаях, прежде чем пройти в свою каморку, обошла всю квартиру. Дверь ей открывала кухарка, она теперь громыхала посудой в кухне. Кухарка была рослая, толстозадая, и никак не могла родить ребенка, и муж ее, живший в деревне, грозил, что найдет себе другую жену. Кухарка говорила, что детей у нее нет от недостатка воздуха, она постоянно открывала форточку, чтобы проветривать, а хозяева запрещали ей открывать: они говорили, что из кухни пройдет холодный воздух в каморку Катерины Алексеевны и она может простудиться. Говорили они это не потому, что боялись, дескать, Катерина Алексеевна умрет, а потому, что не любили больных, от которых, казалось им, постоянно идет зараза, и хозяин, круглый и с зачесами на лысину, Федор Сергеич, даже ручку у дам целовать спешил первым, дабы не заразиться от остатков слюны тех, которые целовали руку раньше его.

Катерина Алексеевна же думала, что кухарка хочет ее свести со свету для того, чтобы самой занять каморку,

и поэтому она не говорила кухарке того средства, которое, как ей было известно, способствует деторождению. И кухарка понимала это, и они много лет уже собирались переговорить друг с другом, и у обеих не хватало решительности. Комнаты были светлые, просторные, но почему-то окленные темными обоями с крупными, неестественными цветами наверху, и все гости хвалили и радовались почему-то этой темноте и этим цветам, похожим на щепы. Лучше всего и веслей всего в квартире был буфет.

Буфет этот сохранился еще с тех времен, когда люди не стыдились того (как они стыдятся этого теперь), что они много и хорошо едят, а другие голодают. Этот буфет построили люди, которые ели много,— и когда Катерина Алексеевна остановилась против него, солнце целым окном падало на темный дуб; на резные листья, украшавшие боковые дверцы; на дверцы эти скользил деревянный темный виноград, и он тоже сиял на солнце и, казалось, просвечивал. Ниспадающее почти до полу чрево буфета поддерживали вырезанные из дуба веселые ребятишки, животы у них были крепкие и круглые и на твердых щеках ликовал тот жир, который они хранили целые столетия. Полка, соединявшая две половины буфета, была толстая, из цельного дуба. Из громадной этой плахи можно было выстроить лодку или, скажем, уложить на нее целого жареного быка. Вот запах мяса наполнил бы целый дом; хозяин подошел бы с ножом, и гости бы, поглядывая уверенно на быка, придвинули бы к себе ближе рюмки... На этой доске стоял забытый соусник французского фарфора с бледными, как бы тающими, розами. Этот соусник был из сервиза, которым гордилась вся семья, много семей, много хозяев Катерины Алексеевны.

О, этот сервиз! Катерина Алексеевна служила ему полсотни лет, больше, чем полсотни, семьдесят пять лет! Она пришла к нему впервые девчонкой из деревни, и кухарка, седая и ласковая, строго учила ее, как надо осторожно мыть сервиз, учила теми же словами, которые теперь говорит Катерина Алексеевна девчонке Анфиске. Много войн, банковских крахов, даже революций (во время которых исчезли из этой квартиры персидские ковры и керман-шали, сияющие белыми кругами, кашемировыми своими сердцами), многое прошло мимо этого сервиза, и бледные цветы его напоминали тонким и тощим своим владельцам, что есть розовые кусты, которые цветут даже зимой и не опадают в циклоны! Такие мыс-

ли многим людям доставляют удовольствие — и буфет цепко и радостно держал в своем животе глубокомысленные бледные розы...

Катерина Алексеевна хотела убрать соусник, чтобы не толкнул кто его случайно, убрать в буфет, она протянула уже руку, холодная гладь коснулась было ее кожи,— но тут она почувствовала мелкую и тревожную боль в боку. Боль эта быстро прошла, она сменилась тоже быстро промелькнувшим дремотным томлением. Но тревога осталась, и, не смея одолеть эту тревогу, Катерина Алексеевна прошла в свою каморку. Ход в эту каморку был через переднюю, в маленький темненький коридорчик, из которого одна дверь шла на кухню, а другая к Катерине Алексеевне. Дверь была низкая, так что всегда приходилось наклоняться, и всегда Катерина Алексеевна, за шаг не доходя, наклоняла голову, а теперь она ударилась и, главное, почувствовала боль только тогда, когда остановилась у своей кровати. Боль ее не удивила, но ее удивило то, что она не могла понять, откуда эта боль, и еще то, что она не верила — боль эта оттого, что она ударилась о косяк!.. Ее все более и более клонило ко сну, было такое чувство, особенно в руках, что ею исполнена какая-то очень долгая и не столько утомительная, сколько однообразная работа. Пальцы, казалось ей, слипаются, а глаза — уже давно слиплись, хотя она все отчетливо и ясно видела. Окно было плохо промыто; следы от воды бороздили его,— ей захотелось открыть окно. Она и сказала об этом окне вошедшей Анфиске.

Деревья в саду уже оголились, потому что сад стоял на ветреном холме, и через стволы были видны главы далекого монастыря, главы эти тускло блестели, как созревшие плоды. Когда Анфиска повернулась от окна, старуха лежала вытянувшись, и у нее было такое строгое лицо, от которого только теперь Анфиска действительно почувствовала страх. Обе руки старухи были плотно сдвинуты: концы пальцев, грубые и толстые, были в морщинах и грязи. Старуха внятно и раздельно сказала Анфиске:

— Поди принеси тарел... да не из кухни, из буфета.

Катерине Алексеевне хотелось говорить, и ей думалось, что она говорит шепотом, потому что ей хотелось закричать не то с радости, не то с горя, с какого-то неизвестного чувства, которого она не ощущала никогда. Она поджимала губы, но губы ее лежали неподвижно, и она видела, что Анфиска суетится и торопится так неумело,

что суета ее только путает ее движения, и когда Анфиска показалась в дверях с тарелкой в руках и бледную розу пересек переплет рамы, Катерине Алексеевне стало обидно впервые, что к ней приставили такого человека, который не понимает простых слов и простых желаний. Анфиска же видела на этом неподвижном и побагровевшем лице какую-то удалую злобу, и эта злоба была так ясна и так томительна, что Анфиска, понимая, что надо бы бежать и сказать о Катерине Алексеевне на кухне, все же не имела сил бежать, и когда старуха сказала ей сердито: «Чево принесла? Две надо принести!»— Анфиска пошла и принесла вторую тарелку. Старуха попыталась приподняться, Анфиска подложила ей под спину подушку, но этого показалось мало, и она положила еще стеганую кофту, а потом и валенки. И тогда старуха, преодолевая нестерпимую сонливость и стараясь как бы выпрямить свое стянутое в судорогу лицо и думая, что это ей удается,— разомкнула медленно слипавшиеся свои руки, взяла в каждую руку по тарелке, и когда она взяла эти тарелки, она ясно почувствовала — теперь ей бояться некого, она взмахнула яростно руками,— и веселая и легкая бодрость овладела ею, и сон дунул сухим ветром на ее глаза. Она уже не слышала, как стукнулись и разбились в ее руках тарелки и как большой палец ее руки упал на острый черепок фарфора и — не почувствовал острия. Лицо ее было багрово, и бледность начала медленно сходить с кончика носа на щеки. Белое это пятно ширилось, заполняло все лицо, а тело ее все выпрямлялось и выпрямлялось.

У табурета подле кровати стояла Анфиска, и ей было не страшно видеть то, как бледнеет это напряженное, багровое лицо, а ее пугала до озноба непонятная мысль: почему же старуха разбила тарелки? И только тогда, когда она подумала, что могут решить, что тарелки разбила не старуха, а она, Анфиска, ей стало легче, и неподвижное лицо старухи показалось ей страшным и в то же время родным, и она горько заплакала.

1927

БАРАБАНЩИКИ И ФОКУСНИК МАТЦУКАМИ

Услышав голос нищего, я внезапно понял, почему меня раздражила его жирная грязная рука и закрученные кверху усы. Легкий страх,— подобный тому, когда в книге прочтешь те мысли, которые взволновали тебя перед

чтением и которые вслух сказать невозможно,— страх охватил меня. На лице моем нищий увидал и понял сострадание. Сострадание это относилось более ко мне, чем к нищему, и оттого-то оно было более заметно и более выгодно! Нищий думал приблизительно так: «Страдая над прошлым, своим или чужим — не важно, сострадая своим мыслям, этот человек, идущий мимо закоптелой кузницы, переделанной из старого царева кабака, мимо кладбища и мимо меня, страстно желает остаться один! Он верит в свои силы, и ему кажется, что он разорвет ледяное кольцо, день и ночь лежащее у него в груди. Каждую минуту человеку кажется, что он нашел или вот-вот найдет мысль или совершит поступок, который уничтожит его холодные страдания! Если же с ним заговорить, то, как бы ни был он скуп, он купит мое молчание!» Я с утомленной боязнью следил за нищим. Он же следил за моими глазами: на чем я их остановлю? «Пусть он мне рассказывает об умерших,— подумал я.— Мне не нужно будет утомляться и ждать развязки истории. Развязка известна, если я стою подле могилы».

Нищий направился к холмику, украшенному двумя бурыми крестами и черной доской, по которой вился длинный белый иероглиф. Трава подле холмика была сильно утоптана, должно быть, много любопытных посещало это место. Многие размышляли здесь над смертью. Возможно, что мне суждено выслушать областную историю мести, или гнева, или революционного подвига! А жирный нищий с рыжими закрученными усами вдруг рассказал мне о любви двух барабанщиков и фокусника Матцуками — чудесных и веселых людей, работавших некогда со мной в цирке «Братьев Азгарц».

— Ваше благородь, ваше благородь, товарищ рыцарь. Ты сначала туда вон посмотри, за овраг. Там, за оврагом, туман, а в тумане, верь моему слову, есть деревня Вяземы, а в деревне той рукодельничал по сапожному делу мужичок-старичок по фамилии Николай Осипыч. И вырастил мужичок дочь: красивую, здоровую, поповского роста, одним словом. Характер у нее только неизвестный, а кроме — от нее счастье: вот он рукодельничает, скажем, и рукомесло у него не лучше, чем у других сапожников, а подойдет к ботинку Варвара Николавна, по гвоздям ногтем проведет — и сразу люди платят вдвое дороже за ботинок. Шить бы да шить, каж-

дый день по три пары, а только кожи тогда было еще меньше, чем сейчас, и времена были широкие: от деревни Вяземы до Москвы езды полдня, лес у нас — кошка заблудиться не сможет, а получалось тогда до Москвы езды пять суток, а если на шоссе, так при каждом шаге из-за каждого куста по пять чернобандистов! Пока ходили эти бандисты толпами, без атаманов, терпеть было можно, но не увидели они в том выгоды, и тут явилось у них три властителя: барабанщики Митя и Саша и японец такой, ласковый глазами,— православный по имени... по имени своему Вол.

— Забыл, дядя. Звали его Матцуками! Матцуками это был...

— Нет, то тебе другую историю рассказывали, про другого японца, а этого я сам видел, и зову я его правильно: Вол. Так! Вот и воюют эти бандисты и промеж Советской власти, и промеж себя, и стало бандистким властителям скучно: убивают много, а ни почету, ни денег...

Сучит раз сапожник Николай Осипыч дратву особого состава, так как, вишь, подгонял он подметку под милицейский сапог. Дочь Варвара Николавна самовар раздувает, карасину, как и сейчас, нету,— и в окне и в ограде луна да от самовара искры. Посмотрел на эту луну Николай Осипыч, а она пологая какая-то, как чугунок,— и стало сапожнику тревожно! Обернулся сапожник на дочернью красоту, а у ней брови тоньше и черней дратвы: совсем заныла у него душа. Смотрит Николай Осипыч на сапог, а сапог страшный, на подметку чуть ли не аршин кожи требуется, такой сапог, кажись, и через болота и через моря поведет тебя невредимым, а милицейский, сказывают, сам у бандистов служит. «Что же это такое,— думает Николай Осипыч,— жили-жили, крошили-крошили, а тут даже у сапога вид тревожный». И только подумал так, а за оградой уж бандистские телеги поют.

У бандистских телег тогда пенье было особое, легкое, бандисты дегтю не жалели, а мужицкие телеги выли в ту пору голодно. Бежит Николай Осипыч к воротам, почет оказывать. Сидят в телеге Митя-барабанщик в розовой гимнастерке, Саша-барабанщик в голубой, а православный японец Вол — при сюртуке и гластухе, а лицо у него добрей всех русских лиц. Говорит японец Вол так ласково Николаю Осипычу:

— Ты, старая карга, моментально чтоб четверть самогона на стол!

Прежде бы в деревне самогону в долг Николаю Осипычу не поверили,— водка, она твердый расчет любит,— а тут вся деревня поняла: по тяжелому делу приехали бандистские атаманы, и сразу три четверти получил старик.

А на столе у него уже скатерть праздничная синяя, а над ней три рожи: две малиновых, а одна ласковая желтая. А под рожами стаканье сияет, а перед стаканами наганы. «Ну,— думает старичок,— вся надежда на Варвару, какой у ней при таком событии характер скажется и как ответят ей разбойники». А Варвара ходит одинаковой походкой для каждого и каждому одинаково приятные слова говорит. Упало, замерло сердце у старика, когда заговорила ласково желтая рожа, отставляя от себя стакан и переставляя к себе наган:

— Мы, старик, не для самогона приехали! Нам на любой деревне и на любой поляне бочки самогона приготовлены! Приехали мы за славой.

— Какая ж у сапожника слава, господа чернобандисты? Убивайте старика, если в нем приготовлена вам слава.

— Дочь у тебя приготовлена для славы и для счастья! Вот воевали мы, воевали, вот убивали мы, убивали, а вдруг подумали: Митька убивает оттого, что всем завидует, Саша — потому, что радостно ему быть таким сильным и храбрым и людей крошить, а мне людей жалко, люди плохо живут, зачем им страдать лишнее, а умирать все равно придется, раз родились.

— Это ты правильно,— отвечает ласковому японцу Николай Осипыч.

— Правильно, конечно. И стало нам сразу веселей от таких мыслей! А потом начали мы думать — своим характером, мол, мало утешаться: надо и жену себе такого же характера подобрать. И помирает тут один человек и говорит нам: «Жалко мне вас, идите к сапожнику Николаю Осиповичу, есть у него дочь, и найдете вы с ней славу и счастье». Вот мы и пришли.

— Правильно,— говорил им старик.— Вот перед вами ходит моя дочь: пускай кого она хочет, того и выбирает.

Скосила Варвара глаза, лицо смиренное, рот дура дурой, говорит:

— Ваш выбор, мой выбор, Николай Осипыч! Вы — отец, я привыкла вам подчиняться.

Ну, тут старик напугался совсем: бандисты сидят

широкоплечие: Митя неизвестно чему завидует, Саша неизвестно чему радуется, а японец Вол ласково и страшно на всю землю смотрит. Барабанщика Митю выберешь,— Саша убьет; Сашу выберешь — Митя убьет; а про японца лучше не думать! Заскучал старик Николай Осипыч. Сидит, плачет, а бандисты смотрят на него с сочувствием и даже не улыбнутся, а ждут. Встал старик к дверям, а японец ему вслед:

— Ты особенно не беги, на улице наши телеги милицейский стережет. По пути и тебя ему приказано постеречь, да к тому же ты на ухо слаб, а милиционер громко кричать не любит,— вот и не услышишь ты солдатского окрику, и пальнет в тебя верный часовой.

А старик им разъясняет, что, мол, и с милицейским у него несчастье — нету в комнатах второго милицейского сапога. И тут даже бандисты подивовались размеру милицейского сапога! А старику не столько милицейский сапог нужен, сколько помолиться перед смертью, и не то чтоб он очень в бога верил, но коли умирать — так умирать по обычаю, а то треснут тебя как собаку и человеческой души показать не успеешь. Стоит Николай Осипыч во дворе, луна сияет еще больше, а сама мокрая вся, в слезах,— и жалко старику и на луну смотреть и на себя. Подле крыльца сапог милицейский валяется, а за воротами сам милицейский с ружьем ходит, босиком! Гвозди в сапоге как слезы, а подметка будто шелковая, и думает старик: «Вот шил я сапоги людям на свое горе, без сапог бы они меньше по земле ходили, сидели бы они на одном месте и думали бы да заботились о своем счастье, а не занимались бы устройством чужого». Думает он так и смотрит на сапог с укоризной, и вдруг зашевелился сапог и говорит ему басом:

— Ты, старик, не сердись на себя, что меня починил, я тебе за хорошую починку совет могу благодарный дать.

Стыдно старику от сапога советы слушать, но все-таки тихо спрашивает:

— Говори, если путное что можешь.

— Возьми ты, старик,— говорит ему сапог торопливо,— возьми ты дочь и запри ее на ночь в сарай.

— Да как же я запру дочь в сарай, если там свинья и кобыла стоят?

— Вот и запирай их всех вместе,— отвечает старику сапог.

Вернулся старик к бандистам и попросил у них милости подумать до утра: за которого ж из троих выдать

Варвару. Бандисты от спору устали, спать им хотелось, легли они в перины, а старик повел дочь свою в хлев. Варвара больно не удивилась, полагала, надо думать, что от свалки ее бережет,— расстелила она тулуп и легла на сено подле кобылы. А кобыленка была молоденькая, поплясывает, а свинья была из свиней грязнущая — грязью брызжет, и вонь и шум в сарае. Варвара как легла, так и заснула, старик даже и посоветоваться и вместе поплакать не успел!

Будят бандисты утром старика, наганы ему под усы суют:

— Куда спровадил дочь?

Идет старик с бандистами к сараю и про себя решает так: вот распахну дверь,— который из бандистов будет ближе к девке стоять, за того и отдам. Да к тому же утро, помирать не так страшно! Открывает старик замок, тянет дверь, и выходят тут, ваше благородие, товарищ рыцарь, сразу три Варвары, одна с другой — как икона в точности списаны! На всех троих шегреневые ботинки одинаковые; на плечах тулупы с заплатой у локтей синими нитками; и даже в бровях у всех по одинаковой соломинке застряло. И напугался и обрадовался старик: бандистов действительно утешил, а самому — сплошной убыток, потому что в сарае ни кобылки, ни свиньи нету, и опять же обидно, не разберешь.., которая Варвара, а которая свинья Хаврониха. А тут дождь пошел, бандистам удивляться некогда, забрали они трех Варвар и от радости, не говоря ни слова, уехали в дождь. Милицейский взял сапоги, и остался Николай Осипыч один. Был сначала ему большой почет в деревне: как же, три зятя, и все бандисты, а попозже, когда слава бандистская за леса да за горы укатилась и тише стала грохотать, а потом и совсем замолкла,— начали со стариком об цене за починку торговаться, в кооператив членом правления не выбрали, и самовар новый, за пятнадцать рублей купленный, потускнел,— затосковал старик Николай Осипыч и об Варваре-дочери стал все чаще и чаще думать. А мысли невеселые, нечеловеческие какие-то! Думает, как Варварушка живет,— а вдруг хорошо не Варварушка живет, а кобылка или свинья, и разозлится старик в конце своих мыслей. Разозлился он так раз крепко, слез с лавки, забрал кошель и пошел.

Времени прошло много, а на шоссе все такая же грязь и даже как будто больше: около каждой дерев-

ни — как ни остановишься, все рассказывают, что пастух Ермила или Афанасий в грязи утонул. Ну долго ли, коротко ли, подходит старик к Р.— город собой большой, красивый, а народ все какой-то хилый и смутный, и все страх как друг друга хоронить любят. Живет человек ничего, никто на него не смотрит, а как помер, тут и начнут: и музыку, и книжки пишут, и как в могилу несут — на каждом перекрестке плачут и на каждом перекрестке памятники обещают поставить, и каждую улицу, по которой несут, тут же в честь покойника переименовывают. Идет тут мимо Николай Осипыча человек с портфелем, собой хмурый и тощий. Гимнастерка на нем выцветшая, а на лице что-то барабанное есть. Спрашивает его старик:

— Не вы ли Митя-барабанщик будете?

— Я,— отвечает,— Митя-барабанщик.

Спрашивает его старик:

— А не помните ли вы, не отдавал ли я за вас дочь свою Варвару?

Отвечает ему Митя слабым голосом:

— Отдавали, верно, а вон и ваша дочь на лугу веселится перед домом.

И смотрит старик — выстроен новый дом, и перед домом луг разбит с сосеночками. Окна у дома такие широкие, как будто людям некогда и на солнышко выйти посидеть. Варвара-дочь по лугу бегает: юбка до пупа, глаза шальные, грива подстрижена. Перед ней мяч катится, и рожа у мяча тоже шальная. Побегает-побегает Варвара, да как захохочет! Вокруг нее парни, один другого плечистей и мясистей, посмотрят на нее, да как загрохочут тоже. А барабанщик Митя тощий, глаза уставил на нее и завидует: и мясу чужому, и хохоту, и самому себе, что от Варвары оторваться не может. А вокруг Мити р—ские жители ходят и смотрят на него, скоро ли хоронить его можно, и вспоминают, какие он подвиги совершил. Спрашивает барабанщик Митя:

— Как, Николай Осипыч, изменилась ли ваша дочь Варвара?

— Не моя это дочь Варвара,— отвечает старик.— Кобылка это из сарая, а пойду я дальше, в С., погибайте около нее одни.

С. — город большой, красивый, а народ в нем тревожный и занятой. У каждого в руке карандаш, и каждый на заседанье спешит, а на заседаньях тех буржуев признают друг в друге и немедленно друг на друга до-

носят. Если не работает: буржуй. Удивляются и заседают! А если работает — тоже удивляются и тоже заседают! А посредине города площадь, и на площади заседает нищий, грязнее всех и радостнее всех. Нищий тот еле ноги передвигает, потому что никто ему не подает,— да и кому радость такому счастливому человеку подавать: сам с собой заседает и сам на себя доносит. Обрадовался нищий, увидав Николая Осипыча, тут же на него донос написал и кричит радостным голосом:

— Здравствуй, дорогой тестюшка, сапожник! Жена у меня хорошая, преданная, не то что мои сотоварищи. Все на места поступили. Прихожу я к ним, еле добрался и рассказываю им: вот, мол, вели Ваньку Каина на казнь его бывшие разбойнички, которые в полицейские ушли, ведут мимо рощи, а среди кустов соловей поет, и говорит им Ванька Каин: «А не уйти ли нам, разбойнички-полицейские, в лес соловья послушать», и скинули полицейские мундиры и ушли с Ванькой Каином в лес! Сотоварищи из учрежденья мне и отвечают: «Зачем же нам, мол, в лес уходить, когда у нас граммофон есть, который и исполняет соловья гораздо натуральнее». Покличьте, дорогой тестюшка, тележку, так как сам на своих ногах я передвигаться не могу.

— Отчего же ты не можешь передвигаться на ногах?— спрашивает старик.— За грехи у тебя отняты ноги, что ли?

— Какие же мои грехи,— отвечает барабанщик Саша.— А не передвигаюсь я оттого, чтоб меня буржуем не сосчитали и заседанье насчет меня соседи не сделали. Соседям моим скучно. Картины, говорят, в кинематографе идут героические, им тоже героических подвигов хочется, а какие в С. героические подвиги: разве что посудишься да об знакомых заседание устроишь?

Торопится старик к дочери, себя не чувствует, и все-таки вдруг как-то тяжело ему стало идти, а барабанщик Саша радостно говорит:

— Ничего, шагай, это моим домом пахнет. Жена у меня опрятная, аккуратная, а вонь — это все соседи ко мне накидали, со злобы...

Смотрит старик: Варвара растолстела, грудастая, глаза заплыли, в избе вонь, грязь, к мужу подскочила, бабах его по морде.

— Когда же тебе будут подавать милостыню, не хочешь ли ты, чтоб я работала?

А барабанщик Саша смотрит весело и говорит старику:

— Редкая у тебя дочь, теплая у тебя дочь, радуюсь я человеческому мясу и теплу, благодарю тебя, сапожник.

Отвечает ему Николай Осипыч:

— Умирай, барабанщик Саша, рядом со своей свиньей, так тебе и надо, а я пойду в А.

И пошел старик верно в А.

А.— город большой, красивый, а народ там прямой по росту и гордый по голосу. Народ там любит праздники устраивать! Наводнение — они праздник устраивают. Десятое, говорят, по свету наводнение! Человек пятьдесят лет за столом сидит, бумажки подписывает,— они праздник устраивают, и речи говорят, и венки плетут: такой редкий случай. Посреди города зданья для торжеств приготовлены и сад разбит с памятниками, народу в саду том — тьма. Спрашивает старик:

— По какому случаю празднование?

— А вот,— отвечают ему,— помер японец Вол, и оказалось, что пятидесятый японец у нас помер в городе, и к гробу того японца пятисотый посетитель подошел,— вот мы и устроили общенародное гулянье. А кроме того, жена на него донесла, что бандист он и предатель. И донос тот у нас по счету мильонный!

Отвечает сапожник Николай Осипыч:

— Не могла жена донести! Жена у него — моя дочь Варвара, и спешил я к ней с большой радостью. Не спала она, как другая Варвара, как только с мужем.

Отвечает ему сосед:

— Этому я верю, хотя и был у ней случай со мной.

— И со мной!— говорит какой-то рядом.

И еще голоса раздались. Тут старик и закричал:

— Была она здоровая баба, почему ей с мужиком не поспать, зато чистая, опрятная...

Захохотали злорадно все и указали старику пальцами на Варвару и на лицо японца Вола. А было у японца лицо такое, что вот, мол, удрал я, извините; к вам я отношусь ласково, но жену с собой не возьму — вот в этом и заключается мой последний фокус. И была у него еще на лице ласковость такая, что жители А., вглядевшись, решили японский праздник в честь японца Вола устроить. Ищут предлога, чтобы речи предпраздничные начать говорить, и так заговорились, что про японца и забыли, а он лежит и ласково улыбается. Вот он лежит

день, лежит другой, а жена его Варвара уже нового мужа нашла, а за мужем возлюбенного выглядела, и муж ей уже не нравится, и написала она на него заявление, а в доме и грязь и жир... И сказал тут старик Николай Осипыч!

— А дочь-то моя сказалась подлей свиньи и глупей кобылы! Пойду я, братцы-товарищи, в город...

И вспомнил старик, что нет уже зятьев, нет у него городов, в которые пойти можно! Жалко ему стало бандистов, забрал он японца Вола и направился к городу С., а там над Волгой крики и беспокойства.

— Умер,— кричат,— нищий Саша, не посетивший ни одного заседания, умер и не успел кару получить.

Забрал старик нищего Сашу и направился к городу Р. ...

Я поднял голову. Шоссе и кладбище были пустынны. Жирный и пьяный рассказчик давно ушел.

Где я прервал его? С какого места я сменил рассказчика? Где сейчас старик Николай Осипыч? Не сам ли он подошел ко мне, и, обидевшись на то, что я прервал его (иначе почему ж нищему не спросить у меня милостыни?), Николай Осипыч покинул кладбище, покинул меня, не досказав истории о двух барабанщиках и фокуснике Матцуками.

1929

КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОДЧИК М. Д. ЛОБАНОВ

1

Кожевенный заводчик Михаил Денисович Лобанов владел многими предприятиями в Москве и других городах. Он имел длинный и низкий дом с таким огромным количеством комнат, что в нем постоянно путались, и все же супруга Михаила Денисовича, которую он прозвал Софьей Премудрой, всегда жаловалась, что в доме не хватает одной комнаты. У него было много коммерческих связей, большой и заслуженный кредит, но он както мало верил в мощность своего дела, хотя для сомнений не было и не могло быть причин. С женой своей он жил дружно; поссорился он с ней только однажды, когда

жена, обладавшая просторными хрустальными глазами, в которых неизменно отражались и блистали газетные истины, прочитав статью какого-то именитого профессора, доказывавшего, что России пора выйти на американский рынок, воодушевилась этой статьей и потребовала, чтобы Лобанов немедленно вышел на американский рынок, и так как они давно уже собирались за границу, то чтобы внес на иностранные предприятия соответствующие суммы. Лобанов отказался вложить деньги в иностранные дела, но, чтобы не продолжать ссоры, он предложил жене обоюдоудобное решение спора: он вносит определенную сумму на текущий счет в один из американских банков, сумму, которая как бы показывала возможности его участия в американских предприятиях. Жена согласилась. Немедленно явился господин Ристер, представитель американского банка, немолодой уже человек, с пухлыми и короткими седыми бровями, чем-то похожими на пилюли. Господин Ристер оказался очень услужливым и очень осведомленным человеком с плавной речью, доказывавшей, что спасение людей только в том, чтобы вложить в «Экспресс-банк» соответствующие их общественному положению суммы, и Лобанов не без удовольствия согласился участвовать в этом спасении. Все же крупной суммой он не рискнул!

Его постоянно грызла забота, он даже боялся хворать, потому что тогда в доме окончательно уже невозможно было ни в чем разобраться, и становилась понятной страшная для всех домашних истина, что в кожевенном деле никто, кроме Михаила Денисовича, ничего не понимает и боится даже понять. И ему было тревожно и боязно лежать в кровати и думать, что ж произойдет без него с заводами и куда потекут деньги, и этих дум даже не облегчала мысль о радостях работы, о том, как на склады привозили растрепанные тюки грязных и дурно пахнущих кож, на которых еще лежали куски земли Монголии, Туркестана или Урала, земель, куда он все собирался съездить, но съездить туда все не хватало времени. И вот эти грязные и противные кожи быстро превращаются в тяжелые и сияющие, как бронза, куски его славы, и марка его заводов гремит на полмира!..

Иногда, чувствуя, как невыносимо тяжело заглушать в себе заботы, Лобанов запивал, и тогда его тусклое лицо цвета пропускной бумаги, с нездоровым румянцем и отвислыми щеками, его сильно худое и длинное тело, за которое приказчики называли его подсвечником, напол-

нялось ясностью. Софья Предумрая, блистая хрустальными глазами и помахивая пальчиком,— во всей ее фигуре запоминался этот указательный опрятный пальчик, похожий на пшеничный колос,— приходила его укорять. Она скорбно смотрела на пачку писем, лежавших без ответа, на сор и грязь, которые почему-то только сейчас замечала!.. Но водку он переносил с трудом, а самое трудное было опохмеляться. Он долго смотрел на водку, которую, чтобы выпить залпом, он наливал в стакан, и, только заслышав осторожные шаги жены, вспомнив ее восторженные, хрустальные глаза с отблесками газетных истин, он зажимал пальцами нос, чтобы не чувствовать запаха, и глотал долго, пока опять все не становилось для него ясным и простым. Тогда он садился у окна своей рабочей каморки, и ему опять казалось странным, что огромный и низкий дом, с бесконечным количеством безвкусно обставленных комнат, могут занимать люди, почти неизвестные ему, хозяину, а он живет и работает в самой маленькой комнатушке и редко ему приходит желание выйти в так называемые «парадные». Вот дети, дочь и сын, неизвестно зачем и чему учащиеся, верхом въезжают в ворота. У них плохая посадка, но дворник, собиравший скверной метлой в железный совок замечательного цвета листья с осенних лип, не понимая того, что эти люди сидят очень некрасиво и тускло, кланяется им приниженно, низко... Дети проскочили через ворота, а дворник продолжал собирать необыкновенно прекрасные листья, думая, как и все, что листья эти — мусор и чепуха.

2

В революцию Лобанов потерял все: заводы, дом, жену и детей. Но через некоторое время, которому даже трудно дать сроки, потому что у одних людей страдание живет год, а у других — месяц или день, Лобанов начал разбираться в том, что произошло. Дольше всего и больше всего мешала ему в этом разборе мысль о покойной жене Софье Премудрой с ее маленьким отставленным пальчиком. Сына его убили на фронте, а дочь уехала с летчиком на Украину и жила там, по-видимому, столь счастливо, что не интересовалась отцом. Его давно выселили из длинного дома, с которым он расставался скорбно и от которого долго не мог отвыкнуть, он все путал переулки и все выходил на Пятницкую. Давно заняли его заводы и

захватили его сейф и его знаменитую чековую книжку «Экспресс-банка», из-за которой произошла его единственная ссора с женой. Понемногу Лобанов успокоился. Один из его прежних приказчиков рекомендовал его, и он поступил на службу по своей прежней специальности в соответствующий трест. Он женился на вдове Марии Ивановне, некогда ухаживавшей за покойной его женой Софьей Премудрой. Мария Ианoвна была женщина простая, с обширной спиной, за которую все ее называли грузчиком, с ней не надо было спорить о газетных истинах, она имела одну истину, к которой нетрудно было приспособиться: человек должен в первую очередь быть сытым, одетым, надо, чтобы ему было тепло, а обо всем остальном лучше не думать. Лобанов привык и даже полюбил коммунальную квартиру с ее постоянными ссорами и с возможностью наблюдать, как растут дети, как меняются взрослые и как люди постепенно овладевают искусством собственного достоинства, тем искусством, которое столь свойственно людям нашей страны.

Лобанов быстро увлекся своим новым делом и быстро превратился в крупного специалиста. Он много бывал на различных заседаниях, писал доклады, высказывал свои соображения, и он стал быстро замечать, что теперь отметено многое, что раньше мешало его работе, и в первую очередь отметены деньги, ибо то жалованье, которого ему хватало только на одежду и тепло,— разве можно считать деньгами, когда прежде, например, он игрушки мог детям своим дарить вроде железной дороги по восьми комнатам с рельсами и со стрелками и с настоящим паровозом. Он понял, насколько путало его мысли его прежнее богатство, которым к тому же пользовались другие люди, его окружавшие, и пользовались неразумно, и вот это-то неразумие, как он понял теперь, больше всего и злило и заботило его. Поэтому-то он раньше запивал и поэтому-то часто срывались те дела, которые он намеревался исполнить в ближайшие сроки. Теперь он постепенно отвык от водки и, случись захворать, мог хворать уже спокойно и не сопровождать свою болезнь выпивками и вздохами. Он лежал. В комнате было тихо. Он нашел покой. От всего его былого богатства и великолепия уцелели нелепые бамбуковые ширмы, за которыми и спит его жена Мария Ивановна. Цапли с длинными-длинными шеями сторожат ее сон, цапли на розовом шел-

ке, проданные ему когда-то как древняя японская работа и на которых он недавно нашел немецкую марку, и то, что раньше разозлило бы его, теперь только насмешило... В коридоре играют дети, и на улице тоже играют дети, а под окном, как только распахнешь створку, дворник жалуется, что рождаются везде и сплошь двойни, и у него был такой обиженный голос, как будто эти двойни рождаются у него. В окно Лобанов видел небо, похожее на дерево, долго лежавшее в воде. Ему думалось, что в тресте плохо ли, хорошо ли, но замещают его и не сетуют на его болезни, и забавно было подумать, насколько там, в прежней жизни, боялись его болезни и насколько теперь молодые специалисты даже рады его заболеваниям и рады попробовать без него сами вести сложное и ответственное дело.

Одно только несколько смущало Лобанова: он теперь, как и раньше, считал самым прекрасным достижением человека возможность передвигаться и видеть океаны, неизвестные острова, людей, леса и степи, но путешествовать,— что он желал сделать давно и чего, как ему думалось, по недостатку времени он не успевал сделать,— он и теперь не мог. Но и эта смущавшая его мысль получила внезапно свое разрешение: ему сказали, что трест желал бы направить его, Лобанова, в Париж для переговоров с французскими фирмами, которые хотели заказать на огромную сумму партию телячьих шкур, только что тогда входивших в моду. Из шкур этих выделывали манто и сумочки для парижских дам, а значит, и для дам всего так называемого цивилизованного мира. Лобанов, выслушав и согласившись на предложение, впервые после многих лет подошел к зеркалу в передней треста, где он мог увидеть себя во весь рост (дома он видел себя только, когда брился, и видел только свою бороду и свои несколько выпученные глаза), и здесь, разглядывая себя, он должен был признать, что он помолодел и кожа его с нездоровым румянцем, раньше похожая на пропускную бумагу, разгладилась и посвежела.

3

В Париже его, как и всех приезжих, знакомые повезли на площадь Звезды, где лежит прах Неизвестного Солдата и куда двенадцать улиц непрестанно вливают двенадцать потоков автомобилей. Неподвижными пока-

зались ему эти двенадцать улиц, все странно похожие друг на друга, и неподвижно катились в запахе бензина похожие друг на друга автомобили. Улицы эти напомнили ему лица предпринимателей, которых он встретил немедленно после приезда и с сознанием превосходства над которыми он разговаривал сегодня о кожах и торговле. Он чувствовал в их лицах то беспокойство, которое владело им раньше, и он понимал, что эти люди так же, как и он раньше, мало видят жизнь и мало ее, хотя бы плотски, воспринимают. Все они обладают отвратительным пищеварением, глянцевитые лица их старательно выбриты и напудрены, духовно они замкнуты и одиноки. Лобанов знал очень мало истин, но те, которые он знал, он знал теперь твердо, он мог твердо и уверенно наслаждаться своим знанием, а они знали еще меньше его...

Он купил раскрашенную открытку с могилой Неизвестного и решил послать открытку жене. И на открытке неподвижно и странно торчала толпа раскрашенных автомобилей, и Триумфальная арка походила на подкову. Лобанов распрощался со знакомыми, несколько удивленными тем, что он не выказал удивления и восторга перед площадью Звезды, и зашел в кафе. Он хотел было купить галстуки, так как все сослуживцы в Москве просили его привезти возможно больше парижских галстуков, но в витринах, мимо которых он проходил, лежали такие неприятные и пестрые ткани, что ему казалось странным и смешным, что в Москве можно было бы надеть такие пестрые и безвкусные тряпки на шею. И в кафе многое показалось ему смешным и странным, и он с удовольствием вспомнил, что Марья Ивановна ничего из Парижа себе привезти ему не заказала, да и вообще Парижа для нее не существовало, а Михаил Денисович в ее представлении уехал в какую-то длительную командировку чуть дальше Волги. Лобанов выпил и решил, что галстуки надо купить в магазинах, расположенных где-нибудь на окраине. Он встал, чтобы спуститься в подземную дорогу, но тут впереди себя, неподалеку от Оперы, он увидал здание с вывеской «Экспресс-банк».

Сначала ему стало неприятно, но затем он развеселился. Он вспомнил смешного господина Ристера со странными бровями, похожими на пилюли в облатках, он вспомнил, как у него ножеподобно разглажены были брюки, как он тогда гордился своей Америкой. Ему за-

хотелось узнать: жив ли этот господин Ристер и узнает ли он своего бывшего клиента. Он зашел. Ему немедленно и чрезвычайно любезно сообщили, что Ристер здоров, благоденствует, получил большой пост, и, если угодно, он может принять господина Лобанова через три минуты. И точно, через три минуты его попросили пройти и любезнейше раскрыли перед ним дзерь. Господин Ристер принял его с вежливостью, но уже более сдержанной и более достойной, чем вежливость служащих, встретивших Лобанова внизу. Забавные брови Ристера теперь уже совершенно походили на пилюли в облатках, причем, если можно так сравнить, в облатках, порядком заплесневевших от времени и невнимания. Одет он был теперь небрежно, в стандартный американский костюм, которыми так гордятся американцы, но он еще более гордился своей заокеанской страной, своим благополучием и тем, что ни черта не понимает, что происходит в России, и не обязан понимать. Господин Ристер сразу же сказал:

— Вот видите, господин Лобанов, как хорошо, что вы послушались своей жены и положили деньги в наш банк.

Лобанову неприятно было сознавать, что американец переменит тон и разговор о деньгах, как только узнает, что клиент его советский подданный, и Лобанов сказал по возможности проще:

— Что же хорошего — все равно пропали.

И тогда Ристер сказал то, что решил сказать сразу же, когда узнал, кто к нему пришел:

— Если бы даже на земле произошел потоп, то и тогда ваши деньги остались бы у нас целы. Правда, я знаю, у вас конфискованы документы и, может быть, даже у вас теперь и фамилия иная, но я знаю и помню ваше лицо, а этого достаточно, чтобы вы могли хоть сегодня же получить лежащие на вашем текущем счету семьдесят пять тысяч долларов.

Он с удовольствием осмотрел обстановку кабинета и повторил:

— Да, семьдесят пять тысяч долларов с соответствующими процентами.

4

— Семьдесят пять тысяч долларов?

— Да.

Господин Ристер изумился, что Лобанов даже не знает, сколько у него лежит на текущем счету, но незнание

это он приписал тем душевным волнениям, которые пережил теперь переживает Лобанов. Господин Ристер почувствовал почтенье к тем воображаемым заплатам, которыми был покрыт костюм Лобанова. Ристер взволнованно прошелся по длинному и узкому кабинету, обставленому той широкой и неудобной мебелью, которая так характерна для всех больших предприятий и банков и про которую все знают, что она и некрасива и неудобна, но которой все-таки продолжают обставлять. Ристер остался со своим мнением и впечатлением даже и тогда, когда Лобанов, как-то вкось оправив и без того удобно сидевший на нем пиджак, сказал, что он зайдет в банк на днях.

Лобанов сидел в метро скучный и усталый. Мир уже не казался ему теперь таким ясным и простым, каким он был недавно, он уже разветвлялся на несколько ручейков, и каждый ручеек медленно начинал шириться, и Лобанов вспомнил лица предпринимателей, которых он должен был встретить сегодня вечером, и лица эти, подумалось ему, конечно, более человечны и менее отчужденны. Усталость и духота метро овладевали им, мир же от этого не уменьшался в объеме, но как-то болезненно уточнялся. Мир опять наполнялся заботами и теми разговорами, которые Лобанов вел с предпринимателями, которым он мог выгодно продать кожи, но которым теперь не продаст, потому что он не сможет вести переговоров с прежней легкостью, а главное, с презрением, чем, собственно, он и поразил предпринимателей. Ему казалось, что он должен прекратить бессмысленное повторение: «семьдесят пять тысяч, семьдесят пять тысяч», хотя он ничего и не повторял, а все время думал об ином, главным образом о покупателях телячьих шкур. У входа в отель он остановился, и ему пришла забавная мысль, что он может потребовать сейчас на семьдесят пять тысяч долларов все, что бы ни пожелал, а что он может пожелать, он и сам не знал!.. Он уже старый и достаточно утомленный человек, а стоит, словно мальчишка, на улице и гадает, что же он может потребовать на семьдесят пять тысяч долларов. Ему стало неловко и стыдно.

Улица шла мимо него, разношерстная и развязная: люди целовались и плакали,— от счастья или несчастья, и никто на них не обращал внимания или притворялись,

что не обращают, потому что почти все люди в этом городе постоянно и каждый день твердили себе: «Мы в Париже»— и постоянно им казалось или старалось казаться, что они все иные, чем они есть на самом деле. И Лобанов подумал, что вот он стоит на улице и размышляет над собой только потому, что он в Париже, а в Москве бы он так никогда не остановился.

Он вошел в свой номер, оклееный невероятно яркими французскими обоями канареечного цвета с лиловыми пятнами. Но и в номере ему опять подумалось, что он может купить все, что хочет, и, так как легкое, хотя и тревожное удушье мгновениями охватывало его, он решил, что легче всего отвязаться от этой мысли, если заказать что-нибудь. Лакей с втянутой верхней губой, настолько, что нижняя совсем подходила к носу, вошел шумно. Лобанов стоял, долго раздумывая. Лакей привык ко всему, он стоял, наклонив голову, рассматривая сапоги Лобанова, которые тот все собирался почистить с того часу, как переехал пограничную станцию, и которые все еще были не чищены. Он попросил наконец воды. Лобанов вынул открытку с могилой Неизвестного. Лакей принес ему воду. Лобанов прислонил открытку к стакану с водой, и ему почему-то подумалось, что с вещами теперь надо обращаться осторожнее. Он скинул сапоги. Удушье, сладкое и легкое, опять пронеслось по его телу, он прилег, как был, в платье на кровать. Неподвижно и косо отражалась в воде стакана Триумфальная арка, и неподвижны и неправдоподобны были раскрашенные автомобили. Лобанов прислушался, и вот что встревожило его: он уже не слышал осторожного шипения парижских улиц, точно город весь шел в галошах. Он подумал: не подойти ли ему к окну, но внезапно он понял, почему и что его особенно беспокоило в этот вечер: теперь опять нельзя будет хворать! Но как только он это подумал, ему сразу же стало ясно одно: он не сможет остаться здесь, за границей, вдали от родины и от теперешней своей работы и еще другое — ведь трудится-то он теперь гораздо больше и с большей любовью, чем прежде, чем в прежней жизни. И, наконец, как бы он ни старался мысленно уменьшить и унизить значимость производимого им сейчас труда, дабы найти этим умалением оправдание своей прежней жизни, но оправдания ей не было и не могло быть! И от этой охватившей его ясности и от уже принятого им внутренне решения вернуться скорей домой ему стало легко, и он глубоко и свободно вздохнул, и тогда вдруг почувст-

вовал остренький и хрустальный, все расширяющийся холодок у сердца.

Он обрадовался этому холодку. Он лег и вытянулся во весь рост. С полным удовлетворением он вдохнул в себя воздух и протянул руку за стаканом. Нестерпимая жажда овладела им, он задел за что-то рукой, что показалось ему чужим. Ему все вдруг стало просто и ясно, словно бы прорвало плотину, и его понесло, высоко и легко вздымая...

От его последнего в жизни движения вращательно колыхнулась вода в стакане, и поплыли вокруг арки, автомобили, приобретая теперь истинный, необходимый им цвет, и сама Триумфальная арка тоже поплыла, постепенно линяя... Официальная врачебная наука, представленная стареньким и подагрическим доктором отеля, признала, «что советский гражданин М. Д. Лобанов умер от так называемого разрыва сердца».

1929

Б. М. МАНИКОВ И ЕГО РАБОТНИК ГРИША

1

Встрече Бориса Митрофановича Маникова с его бывшим работником Гришей предшествовали многие размышления. Размышления эти особенно остры стали с того дня, когда он, идя однажды по Москве, подумал, что люди, населяющие сейчас Москву, для него существуют, а он для них нет. Может быть, они замечают его тело, которое питается, спит, говорит и которое они иногда могут даже назвать Борисом Митрофановичем Маниковым, но понять его или даже попытаться понять они не могут. И он ощутил, проходя по этим знакомым с детства улицам, что улицы вот уже десять или пятнадцать лет как заселены иным народом и от прежнего города остались только здания: так же мало меняется посуда, когда в нее наливают разноцветные жидкости... Борису Митрофановичу было уже свыше шестидесяти лет; сухой и жилистый, он походил на гребенку с поломанными зубцами, громадные и прозрачные уши делали его лицо внимательным, приглядывающимся даже каким-то, а на самом деле он был рассеян и видел и слышал очень мало. Он жил за городом, в подмосковной деревне, вместе с

сестрой своей. Наталья Митрофановна с востреньким лицом и забытыми от юности черными бровями, хотя совсем стара, намного старее Бориса Митрофановича и часто прихварывала, любила знахарок и бабок, но по-прежнему в ней было много властолюбия, по-прежнему она любила думать и была уверена, что в теперешней жизни к богатству и славе все же можно найти, если поискать внимательно, ловкую лазейку и что ей еще не поздно найти эту лазейку.

Прежде, в прежней знакомой Москве, Борис Митрофанович Маников содержал «семейные бани» недалеко от Арбата, в одном из переулков. Дело это приносило большой доход и почет, да и отец передал ему это дело в исправности и без долгов. Борис Митрофанович выгодно женился, выгодно и быстро выдал сестру за торговца мебелью, почтенного и богатого человека. Этот почтенный человек и во времена нэпа лавировал вначале весьма искусно, но времена уже были не те, и он умер, говорили, от водки, но надо думать, больше от огорчения, что не может угнаться за более молодыми и беззаботными. Имел этот торговец и зять Бориса Митрофановича забавную семейную тайну, которая и переехала даже с Борисом Митрофановичем в подмосковную деревню: как-то еще до революции приобрел торговец редчайшую кровать с редчайшими четырьмя миниатюрами по углам, а затем так ее ловко закрасил, так прибеднил, что десятки опытнейших финансовых инспекторов, много раз описывавших его имущество, на эту кровать не обращали внимания, а один даже спросил презрительно: «И зачем вы такую дрянь держите?» И сам торговец смеялся, и жена его Наталья Митрофановна смеялась, и когда-то смеялся и Борис Митрофанович.

Неподалеку от улички, на которой они жили, протекала под мохнатым обрывом Москва-река, напротив стояла каменная церковь, мимо, в дачные местности, проносились автобусы, а если взять от улички влево, то сразу развертывались лиловые картофельные поля, и когда поднимался туман или метель, то не видно было Москвы, ее дыма и света, и казалось, что они живут далеко в провинции. Наталья Митрофановна, поглядывая на эти поля, любила упрекать Бориса Митрофановича в бездеятельности, а он хлеб свой действительно добывал с большим трудом, перепродавая различную чепуховину на толчке, с лицом и взором аристократа, а больше всего он любил сидеть у окна и маленькими ножницами вырезать конь-

ков из газетной бумаги, а затем, подрисовав им красным карандашом глаза и брови, уходил гулять и там незаметно разбрасывал этих коньков по дороге или по берегу Москвы-реки.

Весной тысяча девятьсот двадцать девятого года сидел, как всегда, Борис Митрофанович у окна и вырезал своих коньков. Конек за этот день был уже десятый по счету, когда он увидел подле палисадника человека в стеганом картузе, с коротенькой ищущей походкой. Сестра сразу же догадалась, у кого может быть такая походка, и сразу же скрывающе заворошилась в спальне, и Борис Митрофанович отложил ножницы.

2

Борис Митрофанович вначале подумал то же, что подумала и его сестра: это новый, назначенный на место прежнего, видимо, непригодного, фининспектор, потому что тот, прежний, с белокурым чубом, похожим на крендель, даже сам любил говорить: «Возможно, что, и учитывая вас, ошибаюсь я, граждане». Но прежде чем Борис Митрофанович успел сложить свои мысли в одну фразу с тем, чтобы их передать сестре, он с острой неприязнью вспомнил длинную и волосатую шею человека, стоящего подле палисадника. И еще больше неприятно ему было вспомнить свою гадость, которая так выпукло обозначилась в этом деле с наглым и самолюбивым номерным Григорием Гущиным. Гриша Гущин был нагл и скуп, он получал отличное жалованье и все же, несмотря на запрещение Бориса Митрофановича, выпрашивал чаевые у гостей. И вот не кому иному, как этому Грише, он, Борис Митрофанович, предложил отдать замуж племянницу свою Веру, которая воспитывалась у него в доме. А пожелал он отдать ее Грише, а не женихам-чиновникам, обильно посещавшим его дом, потому что Вера была опозорена. Возвращалась она от подруги как-то домой одна. Подле «семейных бань» строился чей-то громадный дом, стояли леса, и пьяные хулиганы затащили ее на постройку. Вера была сильна и высока, она лихо отбивалась и кричала, о лицо какого-то хулигана она сломала зонтик свой. Ее изнасиловали. Позже на крики ее прибежал полицейский, засвистал, и дело огласили... Стыд упал на дом Бориса Митрофановича. Женихи и раскрашенные открытки, которые посылались ей во все дни двунадесятых праздников, исчезли. Подруги покину-

ли ее. Она сразу стала шлюхой, сразу же в ее походке и в ее сильном теле, которым раньше так восхищались, увидали похоть и сластолюбие. Знакомые отворачивались от нее.

Борис Митрофанович вспомнил, как его мучила гордость, некудышняя гордость, которая и посейчас мучает его сестру, и она, так же как и он тогда, думает, что способна и своей гордостью, и своим умом пересились весь мир. Страдая этой гордостью, он подумал тотчас же о Грише. Гриша один мог без спора и разъяснений понять его. Грише Гущину было лет тридцать, он уже подумывал о возвращении в деревню, на покой и на солидное хозяйство. Борис Митрофанович призвал его и предложил ему получить две с половиной тысячи денег и Веру в жены. Гриша, погладив свою длинную и волосатую шею, склонил голову и со всегдашней своей привычкой прибавлять почти к каждой фразе «да» поспешно проговорил:

— Когда прикажете благословляться прийти?

И еще горше вспомнил Борис Митрофанович: как они пришли благословляться. Вера, рослая, грудастая и с розовыми щеками, которые за месяц сплошных слез все же не побледнели, стояла шага за три от своего жениха и все отодвигалась еще дальше, подергивая левым плечом. Был морозный канун Нового года. В окно Борис Митрофанович видел, как на углу переулка извозчики из торб, подвешенных к оглоблям, кормили коней овсом. Овсинки, окруженные пушистыми каплями пара, катились с морд коней. Голубой, звенящий, как новая сбруя, снег крутился над окнами, над крышами. Борис Митрофанович передал задаток — полторы тысячи — и сказал, что остальные получит Гриша после венчания.

У ворот толпились номерные, приятели Гриши, они смеялись, подталкивали друг друга, но, когда Гриша шел мимо со своей нареченной, сутулый, хмурый, в новом пальто с барашковым воротником, номерные не осмелились пошутить и как-то неумело замолчали. Невеста посмотрела на них смело. Они ушли в ворота. Невеста махнула рукой. Извозчик, натягивая большие, похожие на чемоданы рукавицы, подал им коня.

3

Борис Митрофанович знал, что племянница ничуть не осуждает его; для нее все исчезло: и женихи-чиновники, и наследство от Бориса Митрофановича, который не имел

детей, и легкая жизнь, которую она вела до этого,— и тогда видеть это ее понимание было приятно и лестно даже Борису Митрофановичу, но теперь вспоминать об этом ему было стыдно. Вспомнил он и то, как он радовался, что люди теперь уже не осудят, что испорченная девушка живет в его доме, и как ему было приятно узнать, что он был прав, она и впрямь дурна: повенчанные Вера и Гриша часто ссорятся, Гриша пьет и чуть ли не говорит о разводе. Слухи эти доходили до Бориса Митрофановича стороной, так как Вера, приходя, сама никогда не жаловалась на плохую жизнь и по-прежнему была румяной и стройной. Затем она забеременела и перестала посещать дом Бориса Митрофановича, а еще позже слышал он, что Гущины переехали в Самару и что родила она мальчика. В Самаре, говорили, Гриша открыл чайную, стал спокойнее, а мальчонка рос лихо. Тем временем Борис Митрофанович тоже рос капиталом, строя дома и бани. Он ходил на биржу и с несколькими друзьями разрабатывал план постройки огромных бань на манер римских, и даже очень умный архитектор подыскался... Но тут подоспела война, революция... «И сами мы попали в баню»,— так любил он и его приятели подшучивать, сидя за чаем и обсуждая свои проекты, в начале революции. Но шуточки эти продолжались недолго...

Во время нэпа несколько раз неудачно пытался подняться до прежних своих подъемов Борис Митрофанович, и во время одного из этих подъемов он узнал, что племянница его Вера умерла здесь, в Москве. Какой-то прыщеватый мальчонка, в лохматой бараньей шапке и коротком тулупчике, принес ему записочку от Гриши, который приглашал на похороны. Борис Митрофанович торопился куда-то с ходатайством; прочтя записку, он попытался вспомнить походку, лицо и голос Веры, и ничего не мог вспомнить, кроме широкого румянца на щеках. И о записке он забыл через полчаса, а сейчас, глядя на Гришу, рассматривающего палисадник, и на свою сестру, суетящуюся в соседней комнате, он вспомнил эту записку: написана она была карандашом на листике, вырванном из тетради «для арифметических упражнений», и Борис Митрофанович, дабы забыть эту записочку и свою тогдашнюю ничтожную суетливость и дабы освободиться от зрелища теперешней ничтожной суетливости сестры, пошутил:

— Ты вот, Наталья Митрофановна, хвасталась, что

удачно обвела фина, смотри, на его место нового назначили!— И он указал на Гришу.

— Так я же тебе об этом и говорила!— ответила она, пугаясь того, что даже и незадачливый Борис Митрофанович догадался о новом фининспекторе.

— Ты нашего Гришу помнишь, Наталья Митрофановна?

— Который Верку взял? Злодей был мужик,— ответила она, еще более пугаясь своих слов о злодействе, сказанных только потому, что лицо нового фина показалось ей знакомым, а знаком, значит, потому, что он мог когда-то и где-то их весьма успешно притеснять.

— Ну, так ты и присмотрись, Наталья Митрофановна. Гришу-то этого и назначили нам в фины!

Она так и ахнула. Тотчас же она вспомнила, что покойный ее муж рассказывал еще при Грише, какую он замечательную и бесценную кровать купил. Она, охая и потирая по привычке ладонью отвисшие и дряблые свои щеки, подбежала к окну. Точно, там стоял Гриша Гущин. Та же у него отвратительная и волосатая шея и тот же светлый взгляд.

Борис Митрофанович, накинув ватную свою тужурку, сшитую из солдатского сукна, вышел на крыльцо. С крыльца видна Москва-река, тающая и блестящая тем напряженным блеском, которым блестит олово, начинающее расплавляться. Деревья в палисаднике были тоже блестящи и как бы готовились к прыжку... Борис Митрофанович глубоко вдохнул воздух.

— Входи, что ли,— сказал он Грише.

4

Да, несомненно, это был Гриша!

И Гриша, видимо, сразу же узнал своего бывшего хозяина. Гриша не глядел ему в лицо, он касался своим взглядом только края, его взгляд скользил где-то подле прозрачных и больших ушей Бориса Митрофановича, и этот взгляд, в первые мгновения, был очень неприятен Борису Митрофановичу, но дальше он понял, что не только взгляд Гриши, но и вся их последующая и замечательная беседа происходила не здесь и не для Бориса Митрофановича и Натальи Митрофановны, а происходила и производилась она у кого-то и для кого-то в пространство; и эта манера, и это скольжение разговора, и путаность хотя и сильно раздражали Бориса Митрофановича, но в

то же время неудержимо влекли его за собой. Он тоже, как Гриша, говорил быстро, путаясь и волнуясь.

Но прежде, чем начался этот примечательный разговор, Борис Митрофанович и его гость прошли мимо церкви на высокий берег Москвы-реки. Здесь подул им в лицо весенний ветер, пахнущий тающим льдом; низкие горы, видневшиеся вдали, как бы раскрывались от солнца, и лес на горах весь дрожал и поднимался на цыпочки... Но они, не замечая ничего этого и не видя, как Наталья Митрофановна машет им рукой и кличет их в дом, подготовляясь, как бы разбегаясь для будущей беседы, быстро миновали ограду, каменную и потрескавшуюся, потрогали чугунную плиту на могиле какого-то почтенного протоиерея, умершего, как сообщала плита, совершенно в неправдоподобно преклонном возрасте. Правую руку Гриша постоянно держал за пазухой, а левой поглаживал свою шею, и рука эта у него была вся обветренная, красная и в дегте.

— Постарел ты, Гриша,— сказал Борис Митрофанович, и Гриша обрадованно как-то подхватил:

— Да ведь как же, да, пятьдесят пять, да, пятьдесят пять...

И он улыбнулся длинной своей улыбкой, которая вначале всегда казалась жалобной, но совсем неожиданно переходила в веселую, и тогда глаза его светлели... Борис Митрофанович вспомнил эту улыбку. Тогда Борис Митрофанович сам улыбнулся и подумал, что улыбается он тому, что, как и двадцать лет назад, Гриша все еще повторяет эти свои приставочки «да, да»; и Борису Митрофановичу подумалось: а ведь может статься, что Гриша не фининспектор, да и почему они решили, что он фин, формы же на них пока нет... просто Гриша впал в бедность и явился за помощью, и здесь-то вот нужно ему сказать с большим умением, что дать они ему ничего не могут и самое большое их угощение: морковный чай. И сказать это лучше всего сразу, чтобы Гриша не стеснялся и мог сразу же проявить свою злобу или радость, смотря по тому, какой в нем теперь преобладает характер.

Гриша вдруг широко раскрыл глаза и по лицу его стало понятно, что он только теперь увидал Москву-реку, что он не знает, что это за река, и у него даже губы раскрылись, чтобы спросить: какая и почему здесь река, но тотчас же весь внешний мир спутался, и выбрать слова для этого внешнего мира ему настолько было тяжело, что шея его туго налилась кровью, потемнела, и он быстры-

ми шагами направился к палисаднику, возле которого его и окликнул Борис Митрофанович и возле которого он, Гриша, приготовил уже все, что ему нужно и что должно сказать и сделать.

5

Когда они входили в дом, Наталья Митрофановна припрятывала последние свои тряпки, те, которые она считала своим долгом спрятать, и в поисках места для их укрытия она бегала все время, пока они гуляли: более надежного места, как под кроватью, она не могла найти, и она укладывала их под кроватью. Она вылезла потная, багровая и тупо уставилась на Гришу; и то, что он ее не узнал и даже не смотрел на нее, испугало ее неимоверно.

Гриша быстро опустился на лавку и заговорил так, как будто он давно уже начал:

— Ну вот, плывут они среди лесов один день, другой плывут, а кругом берега с церквами, а народу нету и нету армий...

— Кто плывет?— спросил Борис Митрофанович.

— Ну, флотилия плывет. Сын-то мой, звали его тоже Гришей, поступил матросом во флотилию, которую, слышь, прозвали волжской и направили против Казани, в которой, говорят, весь наш золотой запас хранился и на который, говорят, все буржуи мира сбегались. Плывут они, говорю, и плывут они ни больше ни меньше как в подводной лодке прямо по Мариинской системе из Петербурга. А из плаванья этого, Борис Митрофанович, получал я в эти времена от Гриши очень многое объясняющие письма... Сын писал, что при новой народной власти и жить надо по-новому.

— От Веры сын-то, что ли, был?— спросил Борис Митрофанович.

— Как же, от нее, в Самаре родился! Рослая была женщина, и все любила с палочкой ходить, и сын получился рослый и тоже с палочкой в матросы пошел, а тогда дисциплина свободная была, лишь воюй, а там с палкой ты ходишь или с бревном — безразлично. Однако какой-то главнокомандующий похохотал над ним: «Ты, говорит, молодой и революционный матрос, почему у тебя, как у старика, для выхода палка?» А он и ему ответил, и нам в письме написал, что палку ему для революции бросить не трудно, что он ради революции не только палки, но и жизни своей не пожалеет. И кинул он тут на

глазах всего флота палку в Волгу, и поплыла она в Каспий!.. Очень трогательно! А я, как вам известно, Борис Митрофанович, бани к тем временам бросил и промышлял извозным, и чайная у меня в Самаре, на берегу Волги, была. Самара — город отличный, хотя и запьянцовский. Сам я никогда, как вам известно, не пил и сына приучил; сын только, действительно, признавался, что когда подводная лодка опускается в воду и как весь инструмент, и весь воздух, и все стены вокруг начинают по мере опускания холодеть, то тогда даже и непьющему выпить хочется. Закроем нашу чайную, кончим извозные расчеты, выйдем мы с женой на берег и думаем, что для нас с некоторого времени Волга стала страшным синим морем. Никогда мы не думали, что она настолько страшна может быть, а текла она в те времена мимо всех пустая, и разве только щепка с какого-нибудь потонувшего парохода качается — проплывет. А ведь раньше, бывало, стоишь в праздник, ведь от большого чая до обеда мимо твоих глаз пароходов пятнадцать проплывет! И чем ближе наш сын подходил к Казани, тем больше мы думали: есть в Ленине справедливость и всегда он был прав, что буржуев необходимо уничтожать и уничтожать окончательно.

Здесь Наталья Митрофановна не удержалась. Она приоткрыла дверь и, просунув голову, боязливо и в то же время стараясь быть веселой, спросила:

— Ты что же, по финансам работаешь?

Гриша встал, поклонился и ответил с торжественной и смущенной улыбкой:

— Нет, я в полной и откровенной отставке! Да, да... Я грудь сломил на своем ломовом деле, да и действительно поступать так азартно на старости лет не годится. Заспорили мы, слышь! Я им говорю, что подниму пятнадцать пудов, и верно,— поднять-то поднял, но тут произошло в груди встрясение и стало мне как-то тесно дышать...

— Что же с твоим матросом-то?— спросил Борис Митрофанович. Ему и хотелось узнать, зачем пришел Гриша, и не любил он разговоров о болезнях.

— С матросом-то нашим? Известно, что может произойти с матросом! Идут они ночью, и наткнулись они ночью на мину, и взорвались, и кончились с того дня письма от него... Год с той смерти или три, я уж не знаю, мы все в чайной своей орудовали, торговали, и кони наши ходили по Самаре, так вот через год, что ли, выходим мы

с Верой Ивановной на волжский на берег. По нему пароходы идут, как и раньше, народ в буфетах стерлядей ест, а мы перед самым нашим выходом на Волгу письма Гришины перечитывали. Очень, скажу вам по совести, возвышенные письма и даже, если их с площади прочесть бы вслух, как теперь есть такое вслух говорящее радиво, многим бы пользы дали... Рассуждаем мы и дальше: вот мол, Вера Ивановна, сын-то наш жил правильно, погиб за трудовой народ, а мы живем как-то неточно, и вот ведь и женился-то я на тебе, говорю, Вера Ивановна, тоже неточно, не по любви, а потому, что банщик Борис Митрофанович дал мне за тобой в приданое или, лучше сказать, чтобы успокоить свою банную совесть, две с половиной тысячи рублей. Купил, одним словом, говорю, мужа тебе, Вера Ивановна!

Борис Митрофанович сказал — мучительно и торопливо:

— Ну о чем говорить, Гриша! От этого же никакого вреда не произошло. Если сын твой умер, то он, наверное, не знал же обстоятельств твоей женитьбы.

— Сын не знал, конечно, Борис Митрофанович.

— Да ведь и прошло этому двадцать с лишком лет, и что вспоминать то, что было двадцать с лишком лет, а?

— Двадцать с лишком лет прошло, верно, Борис Митрофанович. Но вот двадцать-то с лишком лет спустя и началось самое мое от этого главное несчастье.

— Двадцать лет, Гриша?..

— Да, двадцать лет,— ответил Гриша с болью и гордостью.

6

Гриша заговорил плавно и быстро, и Борис Митрофанович понял, что Гриша теперь только подошел к тому, что уже давно и плотно засело в нем, в чем уже нельзя изменить или переставить слова и что есть то главное, до чего он добирался с такой явной болью.

— Да, Борис Митрофанович, так вот мы и рассуждаем с Верой Ивановной! Говорю я ей: «Живем мы с тобой в отличном Самаре-городе, и хорошее у нас с тобой хозяйство, и четыре громаднейшие, может быть, самые громаднейшие и выносливые ломовые во всем самарском крае, и работники у нас к этим коням замечательные, и живем мы с тобой замечательно, и чай у нас по всему волжскому берегу самый крепкий, и при чайной у нас

квартира из двух комнат с отдельной кухней и даже, как у любого попа, есть у нас собственный комод и буфет!» — «И верно,— отвечает мне она,— замечательно живем!» — и сама смотрит в землю, а немного погодя поднимает на меня глаза и говорит: «Думать ли нам об этом?.. Борис Митрофанович как следует наказан за свою гордость!.. Вот кабы сынок наш вернулся, все бы узнав, он мог бы тебе посоветовать, а сейчас так думаю: вот мы с тобой, муженек, продержали весь военный коммунизм вплоть до свободной торговли четырех лучших коней в городе и самых лучших работников и дальше теперь хотим свое дело развивать,— правильно ли это?» Я ее еще тогда не понял, сознаюсь, я ответил, как, мол, теперь не развивать! Теперь овес куда легче, чем при военном коммунизме, доставать! Она тут сразу замолчала, и только румянец у нее вековой так и полыщет по лицу. Она это молчит, а я говорю: «Очень мне нехорошо, Вера Ивановна, думать я не привык, а главное, придумаешь, только бы сказать, а тут вместо настоящего слова либо выругаешься, либо выпить захочется, но только смотрю я на свое развивающееся хозяйство и полагаю, что неправильная у меня жизнь». Она мне и говорит: «Полагать мало, надо делать...» И сама отошла, как бы обиженная.

— На что же ей обижаться, Гриша?— спросила Наталья Митрофановна.

— ...И очень сильно с того разговора затосковал я, Борис Митрофанович, так затосковал, что откровенно и сказать-то неловко; и по сыну так не тосковал. Все, бывало, в кровати ворочаюсь, а кровать у меня богатая — с металлическими шишками и на пружинах и с замечательным богатым ситцевым пологом. И вот раз вскакиваю я, под рукомойник, умыться не мог, а на дворе еще темно и дождичек такой осенний, на всю жизнь кажется... Говорю я: «Вера Ивановна, решился я и телеги, и коней, и работников рассчитать!» Жена это на меня смотрит и говорит тихо: «Что же, сколько на конях ни вози, сколько ни скачи, а от своего сердца не ускачешь и горя своего никуда не увезешь. Продавай!» Отправился я на базар, кони тогда в цене были, да и народ видит: коней привел продавать Григорий Гущин — разорился! И каждому, конечно, лестно меня унизить и коней моих купить. Продал я и в своей чайной какое снаряжение и посуду, рассчитал своих работников и кухарку, и осталось у меня тогда ровно девятьсот сорок рублей. Выложил я эти деньги перед женой и говорю: «Вот, мол, и деньги за мо-

их коней и за телеги, и выходит по этим деньгам, что ты сама немногим была дороже моих коней и моей чайной». Она опять молчит и только дня через два так, мельком, сказала, что, верно, тяжело дожить до старости и понять вдруг такие мысли... Но и тогда-то, Борис Митрофанович, не дошли мы до самой главной нашей думы. Положили мы деньги те в сберегательную кассу, перебрались в Москву и поселились в Петровском парке, поближе к Савеловскому вокзалу, там много в уличках нашего ломового брата живет.

7

— Глупости это,— сказал несколько оправляясь от своего волнения Борис Митрофанович,— глупости это: деньги копить!

— Зачем глупости?— еще больше заволновался Гриша.— Совесть и честь никогда не глупости. Как только поселились мы в этой сырости, как только расставили наше имущество и стол клеенкой накрыли, так и понял я: надо нам друг другу свои мысли полностью открыть и что если открывать, так поскорей. Дрова я в эту минуту накладывал в печку, Борис Митрофанович, так я бросил дрова, встал и говорю: «Завтра мне на работу уже простым ломовым идти, Вера Ивановна, с завтрашнего дня мне, от усталости, может быть, али от злости, уже и говорить-то будет трудно, так я сегодня скажу. Я так думаю, Вера Ивановна, что те две с половиной тыщи, которые мне за мою совесть дал Борис Митрофанович, мне эти две с половиной тыщи надо ему вернуть целиком».

— Отдаст она, Верка-то, как же,— отозвалась из-за дверей Наталья Митрофановна,— жадна она была всегда, как черт!

Сказала она это не оттого, что действительно была уверена, что Вера жадна,— Наталья Митрофановна всегда была занята главным образом только собой, и если думала о том, каковы люди, то она их всех, кроме себя, считала дураками,— а сейчас о жадности Веры она сказала потому, что ей хотелось поскорей узнать, почему они согласились возвратить своему дяде и бывшему хозяину его деньги?.. Борису Митрофановичу было стыдно смотреть на ее потный и жадный старческий лоб, покрытый седыми и редкими волосами. Она отстранила Бориса Митрофановича и села перед Гришей к замасленному и грязному столу. В комнатах была пыль и слякоть, никак

не хотели убрать, почистить, все надеялись на лучшее будущее. Наталья Митрофановна смотрела прямо в рот Грише, но тот по-прежнему ее не видал.

— А она еще раньше меня, надо думать, возмечтала столь же гордо. Как я ей только сказал эти мои слова, так у ней лицо-то еще больше воспылало и она мне быстро, так быстро сыплет: «Отдать, отдать непременно, Гриша». А у меня от тех ее слов даже как-то дышать тяжело стало, сел я на табуретку, а она сама начала дрова в печку кидать. Я на нее смотрю и вслух думаю: «Позволь, Вера, мой сын буржуев уничтожал и лодку в том уничтожении и свою жизнь потопил, а тут выходит, что мы им поможем вновь на ноги подняться, когда мы их обязаны топить, как они нашего сына утопили?» А она мне напротив тоже вслух думает: «Я у них воспитывалась, жила и ими облагодетельствована, я их жизнь прекрасно, лучше своей понимаю. Они эти деньги получат и, верно, употребят их на свое возвышение и поднятие, а этому возвышению никогда уже в нашей стране не быть, и получится им от этого еще большее уничтожение, а нам полное освобождение наших мыслей». И так меня ее слова разожгли, что я обошел комнатешку нашу, и без того пустую, с мыслями, что бы еще продать можно, и вышло так, что сундучки и чемоданчики наши, в которых мы наше барахлишко привезли, вполне продать можно, так как никуда нам уже из этой комнатешки не выехать. И, верно, выручил я с этой продажи пятнадцать рублей, которые и отвез на книжку. Пошла моя Вера приходящей прислугой, ночами стирала артистам, которые снимаются в бывшем Яру, а живут неподалеку от нас, а я днем в ломовых ходил, а вечерами,— вспомнив детское свое обучение, мой батюшка-то из сапожников происходил,— починял ломовикам валенки и сапоги,— одежда, сам знаешь, у ломовиков как огонь горит, брал я дешево, и было у меня заработков достаточно. Вера-то, обо мне заботясь, поднималась раным-рано,— затопит печку, чтобы мне на работу из тепла идти. А стены, как я вам говорил, у нашего жилья глинобитные, и от глины по утрам уничтожительный и мерзкий запах идет, и я из запаха-то на какой-никакой чистый воздух выхожу, а Вера, перед тем как на приходящую уйти, еще и кушанье сготовит и починит для меня что... всю захватил ее этот запах, который, знаешь, пошел на сердце, а с сердца в кровь, что ли.. подлинно мне вся тонкость эта докторская неизвестна, но начала моя Вера Ивановна сначала покашливать, с румянца спадать,

а там и чахнуть. Доктора пришли, которые к нашему ломовому делу приставлены, но только у нас, у ломовых, болезни грубые, им, докторам, лечить их трудно, иной, смотришь, даже в слезу пробьется, а ничего с нашей болезнью понять не может, мы больше сами лечимся, есть у нас и такие-разные знахарочки, из цыганок, которые петь по случаю революции прекратили. Пришел такой доктор один, посмотрел; пришла попозже и цыганочка, тоже пощупала и посмотрела. Жалостливая такая цыганочка, и с голоском как весной сосульки ледяные на землю падают, и оба они сказали: «Выздоровеет!» А моя Вера Ивановна все чахнет и чахнет и только мне не забывает повторять: «Ты, говорит, деньги копи, а я и так поднимусь, самое главное человеку захотеть подняться, а он уже поднимется, сколько б ни лежал». Ну, как она ни хотела подняться, как ни отрывала голову, а прошлой осенью, вернулся я это как-то с работы поздно,— смотрю: нет у ней больше румянца, и лицо от этого хоть и страшное, но легкое какое-то, как будто зимой лист вынесет когда из-под снега и поднимет ветром. Посмотрела она на меня и, как вам известно, будучи прославлена своими улыбками, улыбнулась мне по-знакомому и говорит: «Сколько у тебя скоплено, Гриша, на сберегательной?» А я ей отвечаю, что, мол, Вера Ивановна, скоплено нами очень много: без малого две тыщи. Тут она подумала и говорит: «Ты, Гриша, на мои похороны больше полутораста рублей не трать, а то пышность ты любишь. Я, Гриша, теперь, скажу тебе по правде, плохо вижу, но все-таки тебе советую и на себя как-нибудь хоть в осеннюю лужу посмотреть, если зеркала не подвернется, и по виду тому своему ты и поймешь, что едва ли ты больше двух тысяч скопишь, да и, кроме того, времена такие для буржуев подходят, что лучше с ними сейчас рассчитаться, пока с ними окончательно советская власть не разделалась...»

— Я говорю: злюка!— сказала Наталья Митрофановна.

— ...И верно, израсходовал я из тех денег почти что полтораста на похороны, и то ли от ее слов, то ли, верно, пора ко мне такая подошла, но по утрам вставать все труднее и труднее стало, и решил я тогда навалиться на работу. Ну и навалился же. Пар от меня за версту идет, мяса я съедал по три фунта и хлеба почти по пять за день. Ребята мне: «Куда ты рвешься, старик?» А я им: «Поддай!» Да вот, как я вам уже и изволил говорить,

Борис Митрофанович, чтобы не столько удаль показать, а чтобы назначили меня на самые труднейшие работы, на которых я смог бы побольше заработать, и произошло у меня от подъема пятнадцати пудов внутреннее рассечение груди. Послушал меня доктор через такую трубочку с двумя резиновыми концами, головой качает в такт того, как я грудью свищу, и сказал этот доктор: «Старик ты резкий, так и я с тобой резок буду и говорю тебе: махни на все и кончай скорее все свои земные дела». Вот это доктор, настоящая душа! Он, оказывается, военным был, оттого у него и понятие жизни такое справедливое. Сильно я его поблагодарил, пошел в тот же день в кассу и взял оттуда все, что там нами скоплено, а оказалось этого всего две тысячи сто десять рублей. Сильно мне хотелось накопить до полной суммы, и тут бы я мог и справедливому доктору не поверить и работал бы до суммы, но сказал тут один человек: «Больно некрасиво живет Борис Митрофанович, под Москвой и без дела, как бы он в другие места не уехал...» А где мне вас искать в других местах, Борис Митрофанович? Как-никак, а у меня злостное рассечение груди!

И он больше из вежливости, чем из своего суждения, разворачивая грязный пакет из газетной бумаги, сказал о здоровье и о жизни Бориса Митрофановича:

— Однако же соврал человечек, живете вы отлично и собою все здоровы. Получайте, пожалуйста... да, да!

Но здесь на деньги навалилась всем своим рыхлым телом Наталья Митрофановна. Пришептывая, путая слова, то говоря, что пересчитает, то, что считать некогда, она закутывала деньги опять в бумагу. Бумага у ней ползла меж рук, она сорвала рваную и грязную шаль с головы, седые и жидкие ее волосы на висках были мокры. Нестерпимое отвращение овладело Григорием.

8

Борис Митрофанович понимал, что он не должен и не может принимать эти деньги, но он чувствовал и знал, что он не скажет этого. Он отвык от ссор, от брани по денежным делам. Он понимал, что это слабость, но от понимания этой слабости он и ненавидел эти комнатенки с их запахом картофеля и кошек, с киотом в углу и с плохими и некрасивыми иконами. Он ненавидел и Гришу, который, высказав все, что его томило и влекло сюда, сидел теперь улыбаясь; когда Наталья Митрофановна, не-

сколько поуспокоившись, все же начала пересчитывать деньги, он следил за счетом, и губы его безмолвно двигались за губами Натальи Митрофановны.

Борис Митрофанович поднял свою тужурку из солдатского сукна, и здесь Гриша, торопливо сказав Наталье Митрофановне: «Правильно, все правильно сосчитано»,— торопливо схватил картуз, и они пошли. В тужурке этой, вымененной на барахолке за отличные серебряные часы, всегда Борис Митрофанович чувствовал себя уютно и тепло. Ее никто у него не отнимет, ей цена самое большее полтинник, но она удивительно греет и бережет тело. Гриша сломил веточку из палисадника, но держать ее он не мог: по-прежнему он совал правую руку за пазуху, а левой почесывал волосатую свою шею. Он испуганно както оглянулся, видимо отыскивая столб, подле которого останавливается автобус, нашел и радостно улыбнулся. «Зачем,— думал Борис Митрофанович,— я, старик, не отказался от денег, которые мне совершенно не нужны, а этот, другой старик, отдал все свои деньги, на которые он мог жить отлично, лечиться и не страдать, и зачем третий старый человек, Наталья Митрофановна, думает, что Гриша принес эти деньги, чтобы поддержать прежних хозяев, и даже думает, что и Вера-то не умерла!»

Подошел автобус, синий, высокий, со светлыми окнами. В этом автобусе сидели веселые и молодые мужчины и женщины, они ездили снимать дачи, чтобы летом ходить при луне, целоваться, говорить глупости и плакать от этих глупостей. У них быстрая и широкая жизнь. Кондуктор взмахнул сумкой. Гриша, с осоловелыми глазами, не попрощавшись, вскочил на подножку и толкнул внутрь дверь. И в автобусе он так же, как и все прочие, сел бочком, голову откинул назад.

Долго стоял подле остановки Борис Митрофанович. Несколько автобусов промелькнуло мимо него. Стыдно и скучно возвращаться ему домой!

1930

СИЗИФ, СЫН ЭОЛА

Солдат сразу узнал их, родные горы!

В полдень горы угрюмы, щербато-серы, а глубокие ущелья, разрезающие их, оранжевы. Сразу узнал он и Скиронскую дорогу, что виднелась у крутой, южной сто-

роны гор. Дорога схожа с пастушьим бичом, свернутым в круг. Такой видел ее солдат Полиандр в детстве, такой она осталась и поныне. Дорога пользуется дурной славой. Путешественник может внезапно увидеть на ней выступившую кровь или иные знаки грядущих несчастий.

Но что Полиандру несчастья? Они отмерены ему полною мерою, и он выпил их полною чашею. Преждевременно он увял и пожелтел, словно от порчи.

Он давал клятву служить Александру, царю Македонскому, прозванному Великим, и служил. Позже он служил царю Кассандру, соединившему в себе рядом с беспощадной вспыльчивостью еще более беспощадное честолюбие. Царь Кассандр заточил в темницу жену и сына Великого вскоре после смерти того, перед которым преклонялись боги всех земель и оружие всех земель. А солдат Полиандр продолжал устремлять свой покрытый серебром щит против врагов Кассандра. Он хотел, глупый, чтобы Кассандр думал о нем хорошо! Говорят, вера и гору с места сдвинет. Царь Кассандр оказался неповоротливее самой большой горы. Кассандр не верил солдату Полиандру, всем солдатам,— он боялся его щита, его широкой красной шеи, его огромного голоса, к раскатам которого любили прислушиваться другие солдаты. Солдату не исполнилось и сорока лет, как царь Кассандр признал его больным пелтастом, слабым для службы в пехоте, и без денег отпустил на родину.

И вот перед ним горы, за которыми находится его родина — богатый город Коринф. Солдат глядел на гору и думал: «Как-то его встретит родной город и кто цел из его родственников?» Прошло много лет с тех пор, когда он последний раз видел родину. Тогда он был силен, а теперь раны его признаны опасными и он отпущен из армии царя Кассандра. Слаб, слаб!

«Для кого опасны мои раны, клянусь собакой и гусем? Не для тебя ли, о царь? Не тебя ли страшит мое уверенное ожидание, что сын Великого, ныне крошечный и малолетний Александр Эг, подрастя, будет таким же воинственным, как и его отец? Ему-то я буду нужен! Ему-то нужны походы! А тебе, о царь, хватит ума лишь на то, чтоб сохранить приобретенное Великим. Да и сохранишь ли ты его, о царь Кассандр?»

Так бормотал он, опасливо поглядывая на Скиронскую дорогу. Ему не хотелось подниматься по ней. Хватит ему и солдатских несчастий! Хватит предзнаменований!

Он хочет жить спокойной жизнью честного человека, например, окрашивателя шерстяных тканей.

И он вспомнил о тропе, которая некогда сокращала путь к Коринфу. Правда, тропа трудна, зато без знаков несчастий.

— Гей, вы!

Крестьяне из придорожного селения, убиравшие нивы, смотрели на него с уважением. Спасаясь от жары, он снял латы, но грудь его была так широка, что казалось, он и не снимал лат. Руки его были растопырены — и от привычки держать щит и копье, и оттого, что латы не позволяли им прилегать к бокам. Он и спал-то всегда на спине, широко раскрыв свой большой, чувственный рот. Глаза, как у всех много странствовавших, были удивленные и того зеленоватого цвета скошенной травы, которая вот-вот превратится в сено, но еще хранит цвет и запах молодости, обладая в то же время суховатой зрелостью.

Он стоял в картинной и величественной позе, подобающей солдату Александра Великого, который прошел вместе с царем от границ Фракии до студеного Местийского озера, где уже господствуют вечные зимы; который видел Кавказские горы, крайний предел земли, откуда уже начинается Царство Мрака; который видел и Мемфис, и Дамаск, и Сузу, и Эктабан, и все скалистые крепости Ирана, и берега Гидаспа, и топкие берега Инда, вдоль которых шли против него узкоглазые с крепкими желтыми клыками слоны индийского царя Пора.

Он пожелал крестьянам успехов в жатве, добавив, что Зевс и Афина им помогут, и после того попросил воды. Девочка лет четырнадцати с бойкими глазками и плотными русыми волосами, плохо подстриженными, принесла ему кувшин теплой воды. Из гумна пахло зерном. Мул, сопя, чесал себе бок. Поселянка, с крутыми сытыми бедрами, указывающими на близость богатого Коринфа, который умеет покупать и продавать, наклонилась и опять начала ловко и быстро срезать толстые, лоснящиеся колосья пшеницы и складывать их в корзины. Девочка укладывала их — надрезом к югу — на утрамбованную, черно-фиолетовую землю гумна. Легкая пыль поднималась от гумна: к нему шли вьючные мулы и волы везли молотильные телеги с тяжелыми сплошными колесами.

Полиандр сказал, возвращая кувшин:

— Клянусь собакой и гусем, девушки в Коринфе по-прежнему гостеприимны и прекрасны! И мастера по-

прежнему помещают их на вазы, в бронзу и на колонны, украшенные листьями акинфа.

Поселяне улыбнулись его мудрым словам, а девочка, подававшая воду, засунула от удивления палец в рот.

— Я спешу в Коринф,— сказал он.— Я устал от славы и хочу мирной жизни! У меня есть настоящий красный сок из пурпуровых раковин, которые я видел, как ловят, клянусь собакой и гусем. Я научился красить ткани в пурпур у финикиян и делал это у лучших мастеров в Тире, Косе, Тизенте.

И он показал свои жилистые пальцы, длинные волосы на которых были окрашены в цвет крови. Поселяне испуганно содрогнулись, и старик с выпуклым и толстым носом сказал ему:

— Ты спрашивал про Скиронскую дорогу? Она перед тобой.

Тогда солдат Полиандр спросил:

— Благополучна ли Скиронская дорога?

— Она благополучна более, чем какая-либо другая.

— В мое время,— сдержанно сказал солдат,— сильные и спешащие путники сокращали путь. Они сворачивали на тропу, которая называлась Альмийской. Мулы и быки там не проходили, но мои ноги хорошо помнят эту тропу.

Крестьяне переглянулись. Солдат прочитал испуг на их лицах.

— Или на тропу обрушилась скала?— спросил солдат.— Или открылась новая пропасть? Или боги пустили водопад?

Старик с выпуклым и толстым носом сказал:

— Плохое место.

— Разбойники?— спросил, смеясь, солдат и показал крестьянам свое короткое метательное копье и меч, прямой и тонкий, с рукояткой, украшенной серебряными гвоздями и слоновой костью.— Ха-ха! Много их? Ха-ха!

Старик, почесывая крючковатой палкой у себя между плечами, повторил неохотно:

— Плохое место. Иди по Скиронской дороге. Лучше. Тропу Альми много-много лет никто не топчет.

— Где же больше предзнаменований?— спросил солдат решительно.

— На Скиронской.

— Так кого ж мне бояться?

— Сына Эола,— ответил старик, боязливо оглядываясь.

Солдат захохотал.

— Сына Эола? Сына бога ветров? Кто он такой? Ветерок?

— Увидишь,— ответил старик, отходя. Другие крестьяне уже давно покинули беседовавших на такую опасную тему.

Солдат Полиандр, намеренно громко смеясь, поднял свой шлем с султаном из секущихся конских волос, грубые наспинные и нагрудные латы, соединенные наверху посредством измятых металлических наплечников. Он с грустью увидел, что войлок, которым был подбит панцирь, изъеден молью. «А я еще собирался выгодно продать свое вооружение в Коринфе. Придется покупать кусок греческого войлока, исправлять панцирь... Не трудна работа, но дело в том, что греческий войлок не ценится, а прекрасный персидский войлок пропал! Неужели и моль — предзнаменование?»

Ворча, взвалил он свое нагретое солнцем оружие на плечи и, широко шагая, как бы стараясь приблизить опасность, пошел к тропе Альми.

Он шел, шлепая подошвами башмаков, кожа которых была проложена пробкой. Умело связанное вооружение отдаленно рокотало, напоминая о походах и друзьях, которых время пожрало, как бездонная пучина пожирает мореплавателей.

Выйдя за селение, он увидал пересохший ручей, скрытый кустарниками. Несколько коз, встав на тонкие задние ножки, объедали листья. Ложе ручья было засыпано серовато-синими камнями, и злая безжизненность в виде тонкого, еле уловимого пара поднималась над ним. С высоких стенок ручья струился песок, создавая такой звук, словно кто-то строгал ножом мягкое дерево. Солдату стало не по себе. Он остановился и долго смотрел на коз, пока ему не захотелось есть.

Тогда он достал из коврового мешка лепешку и, кусая ее передними зубами, как козы, чтобы продлить удовольствие и чтобы обдумать положение, перевел свой взор на обнаженные и сверкающие скалы, куда ему следует подняться. «А не пойти ли мне по Скиронской дороге?— подумал он.— Значит, вернуться? Но разве может вернуться солдат, только что хваставший, как он влезал на скалистые крепости Ирана? Стыдно будет солдату Великого!»

И он начал припоминать Альмийскую тропу, по которой впервые поднимался лет тридцать назад, а то и более,

Он сидел на плече у дяди. Дядя был молод, могуч. Пахло маслом от его длинных, плотных волос, хитон его был мокрый, и ребенок осторожно дотрагивался до покатого его плеча. Дядя с шутливой строгостью глядел на ребенка и совал ему кусок лепешки, от которой пахло дымом и оливковым маслом. Ни одного дурного слова не слышно было тогда об Альмийской тропе, а того менее о нещадном сыне Эола.

«Почему нещадном? Откуда нещадном? Кто надел на него это слово — карательное, причиняющее сильную боль и заставляющее повиноваться, как строгий собачий ошейник? Кто, клянусь собакой и гусем?!»

Он остановился, положил вооружение на камень и нетерпеливо поглядел вниз.

Он уже достаточно много прошел по тропе Альми. Он узнавал ее, несмотря на то что она заросла и след ее отыскивался с напряженной чуткостью.

Селение внизу слилось с оливковыми деревьями и виноградниками. Долина приобрела цвет дикого, неотесанного камня. Непомерно сильное желание — уйти возможно выше — осуществилось. Он был один среди камней, несокрушимых, негибнущих, вечных. И нетленная, вечная тишина была вокруг него.

Но не в нем! В нем по-прежнему торопливо росло чувство грядущего зла, которого избежать невозможно, как и невозможно терпеть.

Солдат, словно конь, что от нетерпения бьет копытом, ударил ногой несколько раз о землю. Он задел камень, на который положил оружие. Звякнул меч. Он привязал меч к поясу, а остальное вооружение сложил в мешок и мешок этот плотно укрепил на спине.

Идти легче. Он шагал и думал, что нетерпение, как правильно говорят мудрые, сродни опрометчивости. Идти бы ему по Скиронской дороге! Пристал бы к какому-нибудь каравану и рассказывал бы купцам о способах, которыми он красил восточным властителям тонкие и запашистые одежды. Купцы смотрели бы на него с волнением, радовались бы, что у них такой защитник и попутчик, а вечером угостили бы его жирным и большим куском баранины. И в ночном мраке, у пламени костра, он бы чувствовал себя, словно днем на площади.

А здесь и днем он чувствует тревогу, словно над ним повисла ночная дуга. Вот он вспоминает о красках, и ему приходит в голову: «Ну, какой же ты окрашиватель в пурпур?» Подходя к Коринфу, он не пожалел щепоточ-

ку драгоценного пурпура, три порошка которого купил на последние деньги. Он развел эту щепоточку и окрасил крошечный кусочек ткани, оторванный от четырехугольного наплечника, который носил на левом плече. Волосы на руках окрасились в кроваво-красный цвет, а ткань неожиданно превратилась в пемзово-серую. «Что же, не тот рецепт окраски дали ему мастера в Тире? Напрасно заплатил он им драхмы?..»

И перед ним встал подвал, где в широких и низких чанах прел пурпур, а вокруг чанов кружились веселые мастера с гладкими лицами и разгульными глазами. Возле дверей два раба, мерно раскачиваясь, месили ногами валяльную глину, и глина верещала у них между пальцами... Ах, обманули его тирские красители! Обман был в этом подвале — тот самый, что был и при дворе царя Кассандра, и всюду!

И вот идет он в Коринф, в Коринф, коварный и беспощадный город торгашей и мореплавателей, который лежит так близко — и так далеко! Что ждет его в Коринфе?

Дабы не меркли надежды и дабы скорее одолеть этот непонятный страх, он прибавил шагу. Ему казалось, что путь в конце концов все покроет забвением, и он с радостью глядел на большую скалу в виде обрубка дерева, громоздящуюся над ним, на серую скалу с фиолетовым подножием. Он быстро обогнул ее.

Открылась лощина, заросшая дубами. Глубоко внизу, там, где кончались дубы, начиналась россыпь, а под ней, в камнях, ревел зеленый поток, бросая вверх снизки белой пены. Пепел жгучего солнца покрывал и дубы, и россыпи, и камни у зеленых вод.

Тропинка исчезла окончательно. Дубы проглотили ее.

Солдат вошел в их тень. Дубы стояли тесно, тень была густая, но чувствовал он себя в ней по-прежнему плохо, будто на дне узкого и гнилого оврага. Ревел безжалостно и глухо поток. Во всю ширь неба лежали недвижно дубы, и нижняя часть их стволов была заполнена короткими, высохшими сучьями, которые хватали солдата за плащ, за меч, за ковровый мешок и флягу.

Торопливо шепча молитвы богам, солдат выбежал из дубовой рощи и, сутулясь, так как мешок сползал с плеч, а не было ни времени, ни желания поправить его, побежал на россыпь, за которой виднелась еще скала.

Тропинку он уже и не высматривал.

Он прыгал по камням, срывался, падал. Камни сры-

вались и мчались вниз. Он ставил ногу в лунку, где только что покоились камни, а лунка плыла, и он отчаянно прыгал от нее. Руки он исцарапал. Ноги его были изранены. Подошвы, те подошвы, что переходили Евфрат в Зевгме, что выдержали путь от Эвксинского моря до крайних пределов Фиваиды, отскочили, и одну вскорости он потерял совсем.

Едкий, жгучий и кислый пот обузил кругозор. Обычная его наблюдательность исчезла, и он видел вперед не далее как на длину десяти копий. Он двигался лишь благодаря привычному дарованию воина, которого Великий приучил идти вперед при любых обстоятельствах и при любых силах, ибо добродетель — главная и всеединая цель человеческого существования и стремления богов.

Солнце, налюбовавшись покорностью скал, россыпей и дубов, а также редкой духовной красотой и настойчивостью солдата, убрало серый и злой жар, что подтачивает силы, как вода стены, и впустило мягкие, влажные фиолетовые тени. Солдат отпил глоток воды и воскликнул, ободряясь:

— Клянусь собакой и гусем, я найду эту исчезнувшую тропу!

И тут за скалой, которую ему как раз надо было обходить, он услышал звук очень необычный и странный для этих горных мест. Он услышал свистящий и жужжащий шум, испускаемый диском при его метании. Солдат превосходно знал этот шум. Диск его учили метать не только для игры, но и для создания уверенности при метании камней в неприятеля.

Он прислонился к скале и прислушался.

Звук рос, ширился и вдруг, точно пробившись куда-то, замолк, исчез.

Дразнящая тишина воцарилась над скалами. Надо опять что-то угадывать в этой едкой, как кислота, тишине... И солдату захотелось ухать, кричать мерным голосом с другими солдатами, как кричали они мерно для дружной тяги осадного орудия или в бою.

Он, набравшись решимости, обошел-таки скалу и увидал россыпь, такую же, каких он прошел много. Почудилось: ветер наскочил. Он вспомнил слова старика о сыне Эола и содрогнулся. Мысль эта прогремела над ним, будто огромная труба. Он присел на камни и долго и хрипло дышал.

Затем он обошел еще одну скалу и пересек еще одну россыпь. К скалам, которыми кончались россыпи, он уже

подходил с опаской, держась за меч и взывая к богам и к Эолу, в том числе. Выглядывал он из-за скал осторожно и однажды, перед тем как выглянуть, несколько подострил о камень свой меч.

И внезапно опять возник шум. Только теперь он уже не походил на шум бросаемого металлического диска, а его можно было бы сравнить с шумом морских волн, что, отлежавшись в глубине вод, идут, играя прибрежной галькой. Шум летел откуда-то сверху, хотя небо было по-прежнему безоблачно. Шум нарастал с такой быстротой и силой, что солдат отскочил от скалы. Шум пронесся за скалой, и от скалы отлетело несколько камней, как черенок отлетает от ножа, которым яростно взмахнули.

Солдат Полиандр боялся. Но он был солдат, и у него отлегло от сердца, когда он решил увидать врага лицом к лицу. Качаясь от страха, еле двигая ослабевшими ногами, он обошел скалу.

Россыпи за скалой уже не было. Открылась небольшая долина. От гор отступал, поспешно пятясь в эту долину, веселый ручеек. Дубы и плодовые деревья росли по его берегам. Подальше ручеек круто обрывался к реке, шум которой слабо доходил в эту долину.

Вдоль ручейка, в тени дубов, образующих здесь аллею, Полиандр увидал дорогу очень странной формы, какой он не видел никогда. Дорога эта, пробитая в камнях, цвета мокрой пробки, была в одну колею и, скорее всего, походила на желоб или на бесконечно длинное ложе, начинавшееся где-то высоко на горе и заканчивающееся внизу, у края лощинки, в небольшом болотце, как будто истоптанном копытом огромного коня.

По этому ложу, мелькая среди дубов, тени которых ложились на широкую, мускулистую спину, волосатый, плечистый, перепоясанный шкурами великан катил вверх черную, отполированную до блеска морской гальки круглую глыбу камня величиною в добрых три человеческих роста. Великан медленно и тяжело дышал. Отвислый живот его, похожий на винную бочку, то падал на камень, то отрывался от него. Пальцы его ног впивались в ложе потока, и с изумлением увидел Полиандр, что они выбили здесь себе ступени.

«Клянусь собакой и гусем!— дивясь на великана, воскликнул про себя Полиандр.— Много я видел чудес,

но такое встречаю впервые. Кто бы мог быть этот могучий, что катит камень с силою морской бури?»

Между тем великан, услышав приближение Полиандра, повернул к нему огромную голову с рыжими усами и бородой и с усилием сказал:

— Слава богам, прохожий. Р-р-рад! Иди в хижину. Р-р-рад! Разведи огонь. Поставь бобы. И смешай вино. Р-р-рад!— Он говорил слово «рад» каждый раз, когда ставил ногу в углубление в камнях, пробитое его пальцами, в такт слову толкая вперед камень.

— Кто ты, о диво?— спросил солдат Полиандр.

И великан ответил:

— Я сейчас вернусь.— И он прорычал:— Р-р-рад! За хижиной колодец. Спустись. Сбоку — яма. Р-р-рад! В яме — снег. Примешай к вину. О, р-р-рад!

И он еще раз оглянулся на Полиандра. Теперь солдат смог рассмотреть его лицо. Оно было морщинистое, старое, но наполненное тем победным избытком дней, который встречается крайне редко и прежде всего указывает на необыкновенную силу и умелое и терпеливое расходование этой силы.

Полиандр, пятясь, двинулся к хижине. Великан толкал камень, и камень, словно на стержне, быстро катился вверх, все уменьшаясь в величине и все увеличиваясь в блеске, так что потом казалось: великан несет к ярко-голубому небу отливку раскаленного оранжево-желтого металла.

Полиандр вошел в хижину, раздул в очаге дубовые угли под большим котлом, где уже лежали разопревшие бобы. Он подбросил дров в очаг, нашел возле хижины колодец и спустился туда, осторожно шагая по холодным и мокрым ступенькам.

Не доходя до воды, он увидал две ниши. В первой стояли глиняные кувшины с вином, вторая до краев была забита плотно слежавшимся снегом. Полиандр попробовал плечом ближайший кувшин. Кувшин тяжело отстал от пола и покачнулся вбок. Болтнулось. Пахну́ло вином.

— Клянусь собакой и гусем, я от него не скоро отклеюсь!— воскликнул Полиандр, подразумевая добродушного великана.

С трудом он донес до хижины самый малый кувшин с вином, а затем уже обратился к снегу, в котором нашел завернутое в целебные травы мясо дикой козы. Он положил это мясо в бобы, а при смешении вина с водой

и снегом добавил немного пряностей, драгоценную горсть которых нес с Востока.

Едва лишь он смешал вино, как опять возле раздался ужасный шум, свистящий и жужжащий одновременно, подобно металлическому диску, брошенному гигантом. Полиандр выскочил из хижины. Ветви дуба бросали дрожащие тени у порога. Далеко внизу несся, подпрыгивая, по своему ложу круглый камень. Легкая радужная пыль дрожала над ложем — дорогой вдоль потока. Каменный шар добежал до предназначенного ему конца и застрял в трясине, брызнув во все стороны травянисто-зеленой грязью.

Великан, посматривая из-под большой руки на солнце, вразвалку спускался с горы. Приблизившись к хижине, он вытер руки о козьи шкуры, опоясывавшие его бедра, и неловко улыбнулся.

— Рад, путник?..— спросил он хриплым басом.— Я р-рад!.. Р-рад. Откуда? Куда?

В хижине стало тесно, и на сердце у Полиандра тоже. Он ответил сдавленным голосом:

— Клянусь собакой и гусем, разве эта тропа не в Коринф?

— В Коринф?..— с усилием спросил хозяин.— Р-рад! В Коринф.

Великан подал гостю воду для омовения. Он оглядел, как солдат моет ноги, а затем руки, и большое, квадратное, как стол, лицо его, испещренное глубокими морщинами крестьянских забот и трудов, было наполнено мыслью. Казалось, он думал: что такое Коринф? И солдату пришло в голову, что снискать у этого великана доброжелательное понимание будет не так-то легко.

— В Коринф! Иду на родину!— воскликнул громко, как глухому, солдат.

— В Коринф? Р-рад! Садись. Ешь.

Они молча ели бобы. Затем хозяин руками, видимо привыкшими к жару, достал из котла мясо дикой козы и положил его на доску. Он густо посыпал мясо солью, указал на вино.

— Соль? Р-рад!.. Будем много пить.— И он захохотал, держась руками за живот. Видно было, что он с трудом подбирал слова, и добытые эти слова доставляли ему большое удовольствие, и он пьянел от них, как от крепкого вина.

Они вычистили руки скатанным хлебным мякишем,

и хозяин придвинул к себе сосуд с вином и снежной водой. Запах пряностей чрезвычайно был приятен ему, и это тоже указывало на то, что он давно не видал людей. Солдат жадно ел мясо, с хрустом раздробляя здоровенными своими зубами кости, и гордость, что великан увидал после долгого одиночества именно его, Полиандра, гордость укрепляла сердце солдата. Он воскликнул:

— Рад, клянусь собакой и гусем! Будем наслаждаться!

И он поднял деревянную чашу с вином. Некогда он пивал физасское, лесбосское, наксосское и славнейшее хиосское вино. Он-то знал толк в винах. Но это вино было лучше всех. И он выразил красивыми словами свое удовольствие хозяину.

— Р-рад!— пророкотал тот.— Р-рад. Пей. Р-рад!

И он добавил ему вина из кувшина.

Сам он пил мало, для него достаточно было наслаждения, что он видит человека. Солдат же желал рассказать про то, что он приобрел, нажил и разбросал. Он спросил:

— Разве здесь давно не проходил путник?

— Давно,— ответил, широко улыбаясь, хозяин,— Рад.

— А сам давно ли ты здесь?

— Давно,— ответил хозяин.— Сегодня — последний, последний день, да!

— Как последний?— спросил солдат.— Разве ты продал свою хижину, сад и ниву. Где же твой покупатель? И за дорого ли ты продал?

— Зевс, слава ему, освободил меня,— сказал хозяин, сияя темно-голубыми, небесного цвета, глазами.— Рад! Последний день.

— Слава Зевсу,— сказал привычным голосом солдат.— Но не Зевс же купил твою хижину, и сад, и ниву?

Тогда хозяин, сильно жестикулируя и стараясь, чтоб солдат понял его, сказал раздельно:

— Зевс поставил меня здесь. Зевс и освободил.

— А, жрецы?— сказал солдат, прихлебывая вино.— Они хотят поставить здесь храм? Место красивое.

— Не жрецы! Зевс,— настойчиво повторил хозяин.— Меня поставил здесь Зевс! Сам!

— Зевс? Кто же ты такой, если тебя поставил сюда сам Зевс?— спросил несколько насмешливо солдат.

— Я Сизиф, сын Эола.

Солдат захлопал глазами, и вино полилось ему густой струей на холодные колени.

— Клянусь собакой и гусем!— проговорил, заикаясь, солдат.— Ты Сизиф!

И так как хозяин утвердительно закивал лохматой головой, прихлебывая вино из чаши, солдат спросил:

— Я слышал о Сизифе, сыне Эола, бога ветров. Я знаю, что он правил Коринфом, и это было давно, еще далеко до времен Гомера.

— Это я,— ответил хозяин с такой величественной простотой, что солдат совсем выпустил чашу и почувствовал, как толстые балки, на которых покоилась крыша хижины, пошатнулись перед его глазами.

— Клянусь собакой и гусем, это ты!

— Это я, Сизиф,— ответил хозяин и опять прихлебнул из чаши.— Пей!

Солдат не мог пить, и хозяину пришлось пуститься в объяснения, как это ни трудно ему было:

— Я много грешил. Я убивал безвинных. Грабил. Зевс наказал меня. Мне вечно вкатывать в гору обломок скалы. Обломок достигает вершины, и неведомая сила снова сбрасывает его вниз. Ты видел. И сегодня ты видел последний день. Я был послушен. Зевс вчера явился ко мне и сказал: «Последний день». Р-рад!

И хозяин захохотал.

Солдат вздрогнул от страшной мысли и спросил:

— Скажи мне, о почтенный Сизиф, сын Эола. Ты ведь наказан был уже тогда, когда попал в подземное царство мертвых, в царство Гадеса. Неужели и я тоже уже нахожусь в нем?

Сизиф сказал:

— Бесчисленное количество дней вкатывал я камень в гору в подземном царстве Гадеса. Повторяю, я был послушен и не гневил богов ропотом. Прощение Зевса в том именно и заключалось, что незаметно для себя я перешел из подземного царства сюда, к солнцу. Вот почему я рад, что вижу тебя, о путник!

Солдат спросил:

— Скажи мне, о Сизиф, сын Эола, каково собою подземное царство Гадеса? Ты умеешь кратко и сильно изображать свои мысли.

Сизиф ответил:

— Слякоть. Дождь. Сырость. Всегда.

— Клянусь собакой и гусем,— воскликнул солдат,—

нельзя сильнее выразить свою благодарность богам за солнце и за вино!

— Пей,— сказал, смеясь, Сизиф.— Р-рад!

— Хвала мудрому Зевсу,— принимая чашу, полную мутного красного вина, проговорил солдат.— И долго ты был здесь, на вершине гор, один?

Хозяин ответил:

— Долго. Я вкатывал камень от восхода до заката. Я был послушен.

— А после заката ты копал огород, ловил зверей, собирал плоды.— Хозяин кивнул головой, и солдат продолжал перечислять трудности его жизни:— Тяжело в жару. А еще тяжелей в дожди, когда подходит зима. Тебе, наверное, мешала вода...

— О, целые потоки!— вскричал хозяин.— Навстречу — река! В грудь. Камень в воде. Руки скользят. Мокро. Иду против потока... Но я покорен богам. И вот Зевс простил меня

— Хвала мудрому Зевсу,— сказал солдат.— Прошу тебя, налей мне еще вина. Прекрасное вино. Последний раз я пил нечто подобное в Иране.

— Ты был в плену?

— Я — в плену? У гнусных и трусливых персов?— сказал с презрением солдат.— Да ты разве не знаешь, что Александр Великий прошел Персию от начала до конца?

— Не знаю,— ответил Сизиф.— Я катал камень. Кто такой Александр?

— О, боги!— воскликнул солдат Полиандр.— Он не знает, кто такой Александр, царь Македонский! Ты, значит, не знаешь о сражениях, им выигранных, о том, как он разбил царь Дария и разрушил индийское царство Пора, и как женился на прекрасной царевне Роксане, и как собрал множество других сокровищ?

— Ничего не знаю,— ответил Сизиф.— Камень был тяжелый, и мне было трудно оглядываться.

— Клянусь собакой и гусем,— вскричал солдат,— я расскажу тебе все от начала до конца! Налей мне вина.

Хозяин наполнил ему снова чашу, и солдат стал говорить.

Спустилась ночь. Сквозь ветви дубов глядели звезды. Ветви были неподвижны, неподвижны были и горы за ними, и едва доносился сюда, в хижину, лепет ручья. Си-

зиф сидел, обхватив большими руками колена, и медно-красные лучи света из очага освещали его лицо и глаза, ставшие подлинно синими.

Солдат рассказывал о городах Востока. Города эти построены из кирпича, высушенного на солнце и крепко связанного между собой черной и липкой смолой, оригинальным и натуральным продуктом вавилонской почвы. Он говорил об оазисах, где растут высокие пальмовые деревья, дающие столько же полезных употреблений из ствола, ветвей, листьев, сока и плодов, сколько дней в году. Он говорил о плавучих плотах на пузырях из кожи, которые везут по многоводным рекам с высокими искусственными плотинами прекрасные дары земли — коней, пряности и женщин. Таковы Персия, Египет, Индия...

— А что с ними сталось?— спросил хозяин.

Солдат встал и поднял вверх чашу с вином.

— Хвала богам!— воскликнул он.— Мы переправились через Геллеспонт, принесли на развалинах, наверное, тебе известного Илиона жертву предку нашему Ахиллесу, и направились к реке Гранику, где и победили персов. И мы пошли по их стране, зажигая города, разрушая плотины и рубя оазисы. Дороги, по которым мы проходили, были вымощены целыми рощами пальмовых деревьев. Мы все уничтожали и жгли! И мы дошли до того жаркого пояса, куда не могут доходить люди.

И, распаляясь от рассказа и вина, Полиандр пылко продолжал:

— В этом пустом пространстве мы встретили только сатиров с пурпуровыми рогами и золотистыми раздвоенными копытами. Волосы их взъерошены, носы сплюснуты, на щеке желваки, ибо они постоянно предаются любви, музыке и вину. Мы убивали их. Мы убивали и сирен. Эти горячие, иссушающие существа сидят на лугах, покрытых цветами, а вокруг них лежат кости людей, погибших от любви к ним. Мы убивали центавров и пигмеев, индийских и эфиопских. Одним своим мечом — ты видишь его, о Сизиф,— я уничтожил фалангу пигмеев, кавалерию их. Они каждую весну верхом на козлах и баранах в боевом порядке идут на добывание журавлиных яиц... Ха-ха-ха!..

— Р-р-рад!— закричал, поднимая чашу, хозяин. И рокотом отозвались на тяжелый голос его невидимые и тяжелые горы.

Солдат продолжал:

— Мы все это разрушали и предавали огню во имя

Ахиллеса и славы его потомка — Александра, царя Македонского! Отсюда и разбогател Коринф. Отсюда и разбогател царь Кассандр, который со мной поступил неблагородно...

Солдат пошатнулся от злобы, хмеля и внезапно посетившей его мысли. Он посмотрел на великана, недвижно сидевшего у очага, и сказал:

— Сизиф, сын Эола! Ты царь Коринфа?

— Я был царем Коринфа,— ответил Сизиф.

— И ты будешь опять царем Коринфа!— воскликнул солдат.— И будешь царем всей Греции. Ты уничтожишь корыстного, жадного и падкого на стяжение, неблагодарного царя Кассандра. И ты воцаришься!

Солдату хотелось сказать, что воцарится малолетний сын Великого Александр Эг... Но как сказать это? Глаза у Сизифа блестят, ему самому, видимо, хочется приобретать, и неизвестно, посадит ли он к себе на плечи малолетнего Александра Эга. Солдат, чтоб окончательно подчинить себе Сизифа, вскричал:

— Ты наденешь пурпур и воцаришься! Ты знаешь... Знаешь ли ты, о Сизиф, что я послан к тебе богами?

— Р-р-рад!

— И ты покинешь эти места и уйдешь со мной, знаешь?

— Р-р-рад!

— Мы будем грабить, убивать, насиловать и собирать сокровища!..

— Р-р-рад!..— рыкал хозяин. И рыкали, поддакивая ему, горы за дубами, в глубине ультрамариновой ночи.

Хозяин хохотал и покачивался от восторга. Огонь играл то на его широчайших плечах, то переходил на его круглые, как стог сена, колени. Солдат кричал и врал. Нет ничего прекраснее, когда горит подожженный город... Но индийцы стреляют из-за каждого угла, сокровища гибнут под пламенем, гарь и едкий дым режет глаза, молодые женщины бросаются в огонь, а в добычу попадают лишь одни старухи, убивать которых очень неприятно: о сухожилия и кости их тупится меч. Вранье и самому ему не казалось очень убедительным, и, глядя на пунцовый пламень очага, он вспомнил о царственном пурпуре, в который обещал одеть Сизифа.

Солдат Полиандр сказал:

— Твои козьи шкуры, в которые ты облачен, о Сизиф, грязного бурого цвета. Давай мне их сюда...

— Зачем?— спросил Сизиф.

— Давай мне их сюда, и немедленно я превращу их в пурпур!

Он нашел еще один котел, наполнил его водой, быстро вскипятил ее и высыпал туда все свои порошки пурпура. Вода закружилась багровыми пятнами. Полиандр обмакнул в нее длинную козью шерсть, стараясь, чтобы влага не задела кожу, а затем на палках развесил шкуры возле очага. Он любовался алой шерстью, и ему грезился шумный Коринф, чествующий царя Сизифа, мертвая голова Кассандра у его ног и сам он, Полиандр,— военачальник, стоящий рядом с Сизифом.

— Мы идем, о Сизиф! Идем к славе!— вскричал он.— Что тебе эта жалкая долина? Спать тебе в ней не удавалось, так как ночью ты возделывал огород, полол, поливал, ловил в сети рыб, а в капканы — диких зверей. Ты будешь спать на пуху, под песнопения красавиц, спать долго, до полдня.

— Я р-р-рад... спать...— рыкал, разевая твердый, прямой рот, Сизиф.— Р-р-рад...

— Ты царь Греции, а я твой соправитель...— И с этими словами солдат Полиандр лег на ложе и, по привычке, сунул под голову нагрудник и наспинник, а ноги прикрыл овальным своим щитом так, чтобы крючки и пряжки для прикрепления торчали наружу. Вдоль тела он положил свой короткий аргосский меч и, сделав все это, немедленно заснул.

Проснулся солдат от громкого шума сражения. Как всегда, он почувствовал холодный, дрожащий страх в плюсне ноги, охвативший затем и лодыжки. Но, как и подобает солдату Великого, он немедленно поборол страх и вскочил, держа меч наклонно.

Было раннее свежее утро. Шум сражения утих. Солдат пошел на узкую полоску света, щурясь. Открылась дверь.

И с порога хижины солдат Полиандр увидал, что поднимается над алыми горами изжелта-красная заря и внизу лощины, освещенной лучами этой зари, катится вверх в гору, по своему ложу огромный базальтовый черный шар.

И катит его Сизиф.

И тогда воскликнул Полиандр дрожащим с похмелья и от изумления голосом:

— Клянусь собакой и гусем, я не верю своим глазам! Ты ли это, о Сизиф?! Разве мудрый Зевс не простил те-

бя? И разве ты не дал мне согласия идти вместе со мною в Коринф и далее, куда поведет нас судьба?

И тогда ответил Сизиф, толкая камень плечом:

— Бедра, голени и ступни мои стары. Молодое поколение греков идет слишком быстро. Я могу отстать и тогда зачахну где-нибудь на Востоке, в жарком песке пустыни... А здесь... Здесь я привык. У меня имеются бобы, капканы для диких коз, вино изредка и к нему сыр. Что мне еще надо? Я привык. Иди, путник, в свой Коринф, а я пойду в свою гору.

И он, тяжело и с напряжением шагая, покатил камень.

И перед тем как исчезнуть из глаз солдата, Сизиф прорычал про себя:

— Р-р-рад вор-рочать навстречу ветру бесполезные камни, чем сеять быстро восходящее зло...

Он отвык говорить такие длинные фразы и потому сказал невнятно, и солдат не расслышал, а если б и расслышал, то вряд ли понял бы.

Из дородного и могучего Сизиф, уходя, превращался в поджарого, а его камень — опять раскаленный отливок металла. Оба они быстро приближались к верху горы, откуда невидимая сила должна была сбросить камень обратно. Солдату не хотелось услышать снова отвратительный, визжащий и дрожащий полет камня, и, поспешно схватив свои доспехи, он выбежал на тропу, явно обозначившуюся перед ним.

Он шагал по тропе, чувствуя в сердце жестокое колотье. Он предчувствовал, что Коринф встретит его не по-родственному, а сильно почерствевшим с исподу. Пожалуй, лучше совсем не показываться туда! Ну, а где ж тогда его родное место? Он выпущенная стрела, и нет счастливого ветра, который бы отнес его в сторону. Кто будет рубище, отрепье и ветошь красить в пурпур?

И он еще раз оглянулся на Сизифа.

Сизиф был высоко, на острой вершине кряжа. Пурпуром отливали на раменах его козьи шкуры, которые вчера сглупу окрасил ему Полиандр. Истратил последний драгоценный пурпур, ах... И воспаленным голосом проговорил Полиандр:

— Клянусь собакой и гусем, о Сизиф! Недаром Гомер

называл тебя корыстолюбивым, дурным и лукавым, о коварный сын Эола, ты обманул меня! И неужели это — предзнаменование, что я всегда буду обманутым?..

1941

В ГОРАХ БУХ-ТАЙРОНА

Из города Меди на строительство водохранилища в горах Бух-Тайрона ехал гастролировать укротитель тигров Святослав Аркадьевич Плонский.

В эти августовские дни 1943 года над всем Центральным Казахстаном стояла незакатная, неугасимая и нестерпимая жара. Ледники таяли. Реки разлились.

Святослав Аркадьевич — рослый, тяжелый, словно из свинца, с лицом цвета серого сафьяна, саркастическим и задумчивым, медленно покинул грузовик, чтобы, насупясь, замереть у разлившегося горного потока. Укротитель был человек образованный и начитанный; он считал себя поклонником изящной литературы восемнадцатого века. В Виннице, на Украине, немецкие фашисты сожгли его квартиру с небольшой антикварной библиотекой.

Давно, когда он еще учился своему ремеслу, тигр, играя, переломил Святославу Аркадьевичу два ребра, а попозже тигрица, тоже играя, повредила ему правый глаз. Святослав Аркадьевич после этого стал склонен к некоторым обобщениям. А высказывая свои обобщения, употреблял витиеватые образы если не восемнадцатого века, то начала девятнадцатого, во всяком случае. Так вот и теперь: глядя на разлившийся горный поток, на остатки снесенного потоком моста, он сказал:

— Торопитесь, сударь? На свидание с морем? Не скоро, не скоро, ибо я знаю, а ты нет. Перед тобой пустыня Бет-Пак-Дала! Не считая гор, дорогой мой. Конечно, река стремится к морю. Но море течет само по себе. И вообще свидания недолговечны.

Воды, не обращая внимания на его мудрые изречения, клубились и прибывали. Почва под ногами его тряслась. Струя воздуха играла штанами укротителя. Со стороны ледника, вдоль разлившейся речки, шел сильный и влажный ток.

«Пусть его играет штанами, как шторой в окне,— думал укротитель.— Но погано, что он играет обстоятель-

ствами. Я ведь предчувствовал, что мост снесен, и торопил шофера... подвергая зверей тряске, раздражал их перед самым аттракционом... и — зря! Машинам по расписанию — прийти к мосту в четыре часа дня. Я их пригнал к двум — и зря! Мост снесло».

Словно уловив его мысли, из кабины высунулся шофер Дементьев с лицом бледным, горьким и длинным. Он уныло прокричал:

— Глазомерно определяя: еще б полчасика подогнать, успели б. А теперь какие приказания, товарищ командир? Обратно в город?

Укротитель сказал:

— Человек может не обедать, но зверь любит точность. Подойдет вторая машина, и, если не переправимся, будем кормить зверей здесь.

Шофер скрылся в кабине так поспешно, будто зверей собирались кормить его телом. Укротитель снисходительно улыбнулся и подумал: «Когда шофер впервые везет зверей, ему, естественно, хочется поскорее избавиться от них. Хорошо еще, что настроение шофера не передается зверям, хотя, кажется, Кай-Октавиан чувствует раздражение». И он продолжал думать: «Вот резко сухой, черствый, но, к сожалению, необыкновенно крупный и красивый экземпляр тигра! Он родился в неволе и презирает удобства цирковой жизни. Соседи по делу, старшие тигры Тиберий и Калигула, романтизируя прошлое, наболтали ему, наверное, всяческой чуши о прелестном быте в уссурийской тайге, и этот дурак пользуется теперь всяческим поводом, чтобы выявить свои мрачные мысли!»

Впрочем, не оттого ли Кай-Октавиан так любопытен укротителю? Хочется подчинить его окончательно, выбить у него из башки романтические бредни, чтобы впредь он не скалил зубы, когда укротитель заставляет Кая-Октавиана лезть на высокую голубую тумбу.

— Ужо тебе! — сказал Плонский, сурово глядя на поток, словно на тигра.

А торжествующие и пенящиеся мутно-оранжевые валы по-прежнему волокли камыш и кустарник, словно собираясь где-то остановиться и свить гнездо.

Большой ствол арчи — древовидного можжевельника — застрял между уцелевшими сваями моста, которые были обвиты гирляндами камыша. Валы, шипя и шушукаясь, рвали сучья арчи, и можжевельник, толстый, в

обхват, трепетал, как былинка. Да, надо искать брод, пока не поздно! Вода не идет на убыль.

Укротитель обернулся ко второму грузовику, который тем временем остановился наверху, перед спуском к реке. Шоферы и ассистенты укротителя сошлись, чтобы покурить и посовещаться. Ассистент постарше, с толстой трубкой во рту, говорит, что Марья Анисимовна, супруга Плонского, предупреждала... а она всегда предупреждает с поразительной точностью! Второй ассистент — гладкий, приземистый — возражает: «Если Плонский обещал, надо выполнять обещание. Возвращаться нельзя. Да и Марья Анисимовна не предупреждала, а, наоборот, как все наши отважные женщины, высказывалась за поездку». Молоденькая девушка-шофер в сером комбинезоне глядит на него одобрительно. Она побаивается тигров, но ей лестно везти такой страшный груз...

Укротитель вынул из кармана большие серебряные часы. Он владел вещами только крупными и вескими. И вообще он все делал крупно и веско, как это делали его отец и дед, знаменитые дрессировщики и укротители. И с этой весомостью в каждом слове он приказал своим ассистентам и шоферам:

— Через три четверти часа найти брод.

— Где ж тут найдешь?— с беззастенчивой унылостью сказал шофер Дементьев.— Она разлилась, как в паводок.

— Вы лично, товарищ шофер, военный? Значит, умеете и любите исполнять приказания? Люди в горах работают день и ночь. Никаких развлечений! А тут, в условиях войны, мы привозим к ним тигров. Тигров!— подчеркнул укротитель.— Фильм — это механизм, клубок пленки; его поставить трудно, а возить легко, а тем более показывать. Тигра и поставить трудно, и возить, и показывать. Разве это товарищи, работающие в горах, не поймут?

Плонский несколько преувеличивал значение своих тигров. Но шофер как бы то ни было расчувствовался и проговорил:

— А разве я отказываюсь?.. Лично я хоть и ранен и уволен на поправку, каковую произвожу на строительстве... Доставить? Раз приказано — доставлю! Спасибо, товарищ командир, за разъяснение.

И шофер повернул влево, вверх по потоку, искать брод. Его сопровождали ассистенты.

От обильных испарений воздух был душен и мглист. Бродоискатели быстро скрылись за холмами.

— Ну, если мне душно, так зверям и совсем.

Укротитель снял полотно с клеток.

Три тяжелые объемистые клетки с тиграми стояли на первом грузовике. Второй вез длинные железные прутья, окаймлявшие арену цирка во время представления, и, кроме того, разобранный туннель, по которому тигры бежали к арене. Поверх туннеля лежали голубые тумбы, круги для тигровых прыжков, колокол, в который звонил тигр Тиберий, а внутри туннеля — корзины с мясом для зверей и чемоданы с костюмами.

Почувствовав лучи солнца, тигры привстали. Зевая и щурясь, они поглядывали на укротителя. Они привыкли к переездам, но тряска по камням мало нравилась им. Особенно был гневен Кай-Октавиан, хотя он и старался сделать свою морду беспечно смеющейся. Фыркая и глотая слюну, глядел он на поток, глубоко вдыхая запах разлившихся мутных вод. Он впервые видел, чтобы всегда смирная вода могла так бесноваться! Ее беснование до известной степени подтверждало рассказы о привольной тайге, слышанные от старых тигров. Глаза его потемнели, и блестящий зеленоватый огонек заиграл в них.

Укротитель резко сказал:

— Замкнуть пасть. Лечь!..

Кай-Октавиан с подчеркнутой мягкостью опустился на дощатый пол клетки. «И охота вам, Святослав Аркадьевич, кричать? Я очень спокоен и вполне вам повинуюсь»,— говорил его взгляд. Укротитель же подумал: «И как врет, мерзавец».

Воды между тем поднимались и разливались. Их мутные валы уже не бурлили сваями, уже не крутили камыш, не сотрясали ствол можжевельника. Все это или унесено, или ушло под воду. Обрушился и тот обломок скалы, на котором двадцать минут назад стоял укротитель. И он подумал: «А что, если броду не найдут? Возвращаться? Но ведь я обещал. И они в свою очередь обещали поднять производительность. Ах, нехорошо. Почему они никого у моста не поставили дежурить? Неужели воды разлились так внезапно?..»

И укротитель вспомнил троих стахановцев из гор Бух-Тайрона, на прошлой неделе специально приезжавших в город Меди, в цирк. От имени строителей Бух-Тайрона говорил Максимов, русский, десятки лет ходивший

по тайге. В горах Бух-Тайрона он работает только три года. Улыбаясь, он говорил: «Горы здесь — ничего, паря. Да сухи, комара нету. А я к комару будто к чаю привык». За эти три года Антон Максимов успел от чернорабочего-забойщика дойти до лучшего бригадира водохранилища, до звания лучшего стахановца строительства Бух-Тайрона! Вот как...

Укротитель с почтением слушал Антона и вспоминал своих тигров. Было что-то в повадках, в жилистых руках Максимова от царственно раскатистой жизни тайги. Его взор заставлял погружаться и углубляться в чащу лесов, размеры которых постепенно увеличиваются и вырастают на ваших глазах... По его инициативе строители приглашают тигров Плонского к себе в гости! Но стоит перевести взгляд на его двух спутников — людей Востока, на юношу и старца,— как начинаешь сомневаться: действительно ли это Максимов, выходец из сибирского леса, пригласил тигров? Вспоминаешь камыш рек, пески пустыни, а особенно белый, кубами, восточный город, утопающий в благоуханной весенней зелени. Чудесно прекрасное лицо юноши: матовое, с длинными глазами, лицо мечтателя и воина, лицо человека, который с одним кинжалом пойдет на тигра; лицо человека, который понимает звериную силу и то, как трудно ее укрощать.

Тут укротитель опять вперил взор в Антона Григорьевича Максимова. Какая неукротимая сила!

— Теперь, видишь, нам колхозники помогают: ведут канал,— продолжал говорить Максимов.— Теперь у нас воды будет вдоволь. Ну и у колхозников посевы обеспечены. Теперь надо показать, что все у нас в порядке,— и цирк приехал. На фронте мои-то четверо сынов...

— «Тигров» подбивают?

— Бьют,— ответил Максимов и скромно, чтобы показать, что его работа ни в коем случае не идет в сравнение с работой сынов, добавил: — А мы тут смотрим, как тигров на табуретки рассаживают.

— На тумбы,— поправил укротитель и сказал:—Проехать с тиграми по горной дороге двести километров — трудновато. Но я приеду ко дню открытия канала и покажу образец своей работы. Взамен чего вы обязываетесь, товарищи, показать и свои образцы? В университете, где я учился, про меня думали, что я откажусь от профессии отца. Пророчили мне звание философа или физика. А я окончил университет, и потянуло меня к зверю...

— Вроде как бы в тайгу,— сказал Максимов.

— Вроде как бы в тайгу,— повторил укротитель.— Стал я продолжать опыты над зверями, начатые моим отцом. И не раскаиваюсь. Меня называют любимцем Москвы и Ленинграда. Хочу быть любимцем и Бух-Тайрона. Поддержите?

— Будьте покойны.

Заговорил человек Востока, седобородый старец, Тайшегулов:

— Будет большой праздник у колхозников. Канал — это много га плодородной земли, много отечеству хлеба. Пустыню укрощаем, правда?.. Ничего не страшно. В камышах возле Балхаша — красивое озеро, правда?— живет красивый зверь: тигр. И тигра, между делом, укротили! Все укрощения надо показывать! Тигра надо показывать. Ха-ха...— Он тихо рассмеялся и добавил:— Мы тебе воду укрощенную показываем, ты нам — тигра. Кто чем гордится. Каждому свое!

— Каждому свое,— согласился Плонский.— К сожалению, тигры на Балхаше вывелись. Эти — уссурийские тигры.

— Тигры — везде тигры. Они — злы.

— Природа,— уклончиво сказал Плонский, который любил зверей.

Старик понял его и сказал, улыбнувшись:

— Верно. Природа требует укрощения.

Продолжение этого разговора произошло на квартире укротителя. Жена его со дня на день ждала ребенка. Ждала она терпеливо и скромно, а скромность и терпение всегда до слез трогали укротителя. Марья Анисимовна была хорошенькой белокурой женщиной, бесстрашным эквилибристом и жонглером. Когда Плонский сказал, что горняки Бух-Тайрона участвуют во всесоюзном соревновании и он, Плонский, должен помочь им, она утешила:

— Придется мне, Святик, родить без тебя. Постараюсь справиться. Но вот меня Кай-Октавиан беспокоит.

— Пусть он тебя не беспокоит,— проговорил укротитель,— хотя добраться до сердца Кая-Октавиана трудно. Но недаром я учился в университете. Это меня к чему-нибудь да обязывает, и что-нибудь я могу...

...И вот теперь Плонский стоит возле бешеного потока, думает о жене и чувствует, что в спину ему насмешливо и загадочно смотрит горящими зрачками Кай-Октавиан. А на них со всех сторон мутно смотрят высокие

горы с бледными утесами, усыпанными пучками голубовато-желтых кустарников, которые издали принимают нежнейшие и редчайшие тона... Смотрят они и думают: «Посмотрим, внемлет ли Кай-Октавиан нашему зову или твоему, Святослав Аркадьевич?..»

Наконец ассистенты и шоферы вернулись.

— Брод-то есть, а вязкий,— сказал шофер Дементьев.— С грузом где пройти? Да и вода, видишь, прибывает.

— С каким грузом?— спросил укротитель.

— С живым,— косо глядя на клетки с тиграми, сказал шофер.— Груз в клетке, упадет с платформы — потонет. Накрениться в этой струе ничего не стоит. А он, тигр, не пробка. Он клетки из воды не поднимет. В ней, в клетке, в каждой, глазомерно, не меньше тонны.

— Клетки разборные.

— Разборные. Да тигр-то не разборный. Клетку, допустим, разберу, а тигра — в портмонет?— и шофер мотнул головой в сторону гор.— Добро, уйдет туда, а если — в другую сторону? В мою?

Кай-Октавиан перевел с потока взор на шофера. Глаза его насмешливо щурились, а усы шевелились. Шофер икнул и отвернулся. «Ну какой же ехидный зверь!»— подумал укротитель, а вслух он спросил:

— Вы партийный, Дементьев?

— Без,— ответил шофер и, указывая плечом на девушку, добавил:— В комсомоле.

Плонский обратился к девушке:

— Звери, товарищ комсомолка, принадлежат не мне, а государству. Они должны прибыть в срок в намеченное место, как и все должно у нас прибывать в срок, и в намеченное место, и в надлежащем состоянии.

Второй шофер хрупким своим голоском отозвался:

— Я поддерживаю ваше требование, товарищ укротитель. Но три клетки вброд не перевезти. Или поодиночке, или по предложению товарища Дементьева — зверя отдельно, клетки отдельно. Он ведь об этом беспокоится, а не о себе.

— Конечно, не о себе,— сказал Дементьев с гордостью.— Когда я лично о себе беспокоился? Есть мне время!

И лицо Дементьева побагровело. Он крикнул:

— Вы что, хотите тигра голым везти? Давайте осуществим.

Укротитель проговорил:

— Осуществим.— И он обратился к ассистентам:— Мы поставим тигров в положение «Б».

Подобно многим новаторам, Плонский имел не только свой метод работы, но и свою терминологию. Так, например, положением «А» называлось появление тигров на арене и выравнивание их в шеренгу; положением «Б»— усаживание тигров на тумбы; положением «В»— старик Тиберий звонил в колокол... Плонский обратился к шоферу:

— Сначала мы вторую машину, как более слабо нагруженную, отправим на тот берег разведать трассу. К моменту ее возвращения мы выведем тигров из двух клеток и перетащим эти клетки на вернувшуюся машину. Тяжесть уравняется. Тогда мы выпустим из клетки третьего тигра, Кая-Октавиана, и поставим их всех в положение «Б». К сожалению, тигры привыкли работать втроем, иначе бы мы оставили Кая-Октавиана в клетке. Таким образом, на полотне машины мы приступим к репетиции, а вы поведете машину на тот берег. Там мы подведем машину ко второй и переведем зверей в положение «К», то есть обратно в клетки. Осуществим? Ваше мнение, товарищ шофер?

Шофер Дементьев смог сказать пока одно:

— Перевозим, значит, их голых...— И некоторое время спустя глубоким шепотом, который он старался сделать беззаботным добавил:— Не возражаю. Осуществим так осуществим.

Пошатываясь и горбясь, шофер влез в машину. Укротитель думал, что шофер так и застрянет там. Но шофер оказался более сложным человеком. Он тотчас же вылез с ключом в руке и направился заводить мотор. Он заводил мотор, глядел, как двинулась, шурша щебнем, вторая машина через речку, видел, как ассистент с трубкой помогает девушке-шоферу выгружать машину, а приземистый и гладкий ассистент развинчивает и вынимает болты из клеток, обрадованно слушал, как мурлыкают огромные коты, покидающие свои клетки.

Конечно, Дементьев испытывал страх. Но что ж тут удивительного? Дементьев — уроженец Прибалханья. Если он не видал тигров и не охотился на них, то, может быть, его отец и дед испытывали на себе силу этих толстых лап. И совсем нет позора в страхе, раз человек способен преодолеть страх. Шофер Дементьев, заводя туго поддающийся мотор, способен был даже объяснить

укротителю, что наравне с тиграми его, шофера, беспокоит девушка-шофер:

— Она..—«Трах! Трах»— пыль здесь сильно вредит мотору, товарищ командир.—«Трах, трах, трах!»— Она шофер третьего класса. Я за нее страдаю. Я ее учу. Я — первого класса. Выходит, моя первая профессиональная обязанность тигра везти. А не могу же я на две машины сесть?

— Она справится. Девушка, видно, смелая.

— Смелая-то, верно, смелая. А все-таки — женщина. Не женское оно дело, с тиграми ездить. Легче, Валя, легче!— закричал он в сторону второй машины, возвращавшейся с противоположного берега.— Не видишь, они без клеток, голым-голы.

Некоторые при опасности умолкают, но другие, как это было заметно по шоферу, впадают в неумолчную болтовню. Дементьев помогал перетаскивать по наклонным слегам клетки на вторую машину, глядел, сильно ли осели рессоры, проверял мотор — и все время говорил и говорил:

— Уравновесились, девушка? За худо примись, а худо — за тебя, а? Уравновесили, товарищ укрощающий. Теперь машина пройдет... Трогать? За кем очередь? Надо ей вперед, второй? А за ней и я.

— Прошу вперед вторую,— размеренно-радостно говорил Плонский.— Двинули.

Он старался говорить громко и четко, как обычно говорил на арене, рассчитывая, чтоб его слышал весь цирк, а особенно тигры. Надо сказать, что тигры сейчас удручали его, и ему была понятна болтливость шофера. Невольным движением — что случалось в другое время редко — он нащупывал револьвер у бедра. «Предпочту его убить, чем выпущу в горы»,— думал он, глядя на Кая-Октавиана, который с особенным удовольствием покинул клетку и встал на тумбу в положение «Б». Чувствовалось что-то неладное в настроении тигров.

Вторая машина раскачивалась и тряслась. Дементьев, идущий по ее следу, вел свою машину легко и осторожно, точно канатоходец тачку. Толчков почти не ощущалось. «Навсегда бы мне такого шофера»,— почти с умилением подумал Плонский.

Тигры сидели покорно. Даже Кай-Октавиан рассматривал арапник укротителя, а не поток. И, однако,— неладно...

Вдруг, посредине брода, машина с тиграми остановилась.

— Что, Дементьев?— крикнул Плонский.

— Мотор,— глухо отозвался Дементьев.

И он выпрыгнул из кабины. Вторая машина тоже остановилась. Показалась голова ассистента с трубкой. Дементьев, поднимая кожух мотора, сказал ассистенту:

— Не видишь, женщина — белей муки? Поставь машину на берег. А женщину уведи подальше. Подышать. Вонь от этого зверья, а не воздух для девушки. Верно, командир?

— Погуляйте, Алексей Валерьич... цветов нарвите...— сказал укротитель.— Шофер прав.

Плонский подозревал, что мотор исправен и что Дементьев для шофера первого класса берет на себя чересчур много обязанностей. Укротитель сказал только со всей выразительностью, на которую он был способен:

— Останавливаться крайне опасно. Звери — не мотор.

— У меня мотор — зверь,— ответил Дементьев беспечно. Он, видимо, уже освоился с обстоятельствами.— Занозистый.— И он указал на мутную воду, бурлящую у его колен.— Скорá еда толокно: замеси да в рот понеси! Какой области, товарищ укрощающий? С Украины? А я местный.

Тем временем вторая машина остановилась на противоположном берегу. Ассистент увел девушку-шофера рвать цветы.

Дементьв тотчас же обнаружил, что мотор его в исправности. Шофер направился к кабине. И тут он почувствовал, что ветер, дувший перед тем бойко и звучно с ледников, внезапно прекратился. Горячий потолок приблизился к самому его темени!.. Шофер нагнулся... Мимо него пронеслось громоздкое тело... Мертвящая темнота на мгновенье охватила его. Он зажмурился. Донесся голос укротителя:

— Кай-Октави-а-ан!..

«А, да это тот кот?!— подумал шофер.— А мне почудилось, снаряд». И, рассмеявшись, он открыл глаза.

В машине осталось только два тигра.

Третий, пользуясь тем, что укротитель повернулся к шоферу, выпрыгнул на берег. Покачивалась опустевшая голубая тумба.

— Ушел?— спросил шофер.

Укротитель смотрел на берег.

— Трогать?— грустным голосом спросил шофер.

— Прошу вас,— ответил укротитель.

Итак, арена, на которой производил свою репетицию со зверями Святослав Плонский, раздвинулась. Арена теперь занимала всю глубину ущелья, широко раскинувшегося от брода. Ущелье, как бархатом, покрыто кустарниками, травами, низкорослыми и узорчатыми дубами. Бледно-желтое, залитое солнцем, напряженное ущелье уходило до полосы трепетно-синих ледников, соприкасающихся с пронзительно ясным небом. «Широка ж ты, арена!..»

Внизу, под досками и железом машины, крутились первобытно-холодные воды, принявшие вдруг фиолетово-синий оттенок, как бы подтверждающий, что они бегут от ледников. Во всем и всюду чувствовался зов к вышине. Щебень на берегу был раскидан легкими копытцами диких коз и тяжелыми копытами домашнего скота, приходившего сюда на водопой, и раскидан поспешно, словно они спешили к вершинам. Тигру ли не спешить туда?!

Хотя Кай-Октавиан вышел впервые в своей жизни на дикий берег, он не ощущал шаткости. Он шагал, плечистый, большеголовый, царствено и медленно, с твердостью ставя свои толстые, как портерная бутылка, лапы. До самозабвения ему было приятно сознавать себя свободным! Правда, его тревожили какие-то мухи, жившие возле водопоя, но разве он не знал о них по рассказам старых своих друзей по работе, там, в цирке, в цирке, уже далеком теперь от него, как воспоминание детства? Он уходил. Он уходил пока в горы, а там будет видно! Он уходил, нюхая следы скота и с удовольствием предвкушая, как некое существо будет дрожать и трепетать у него в лапах... Короче говоря, он уходил на охоту!

Машина с двумя тиграми быстро выскочила на берег.

Укротитель видел, что девушка-шофер и ассистент собирают цветы, словно они ничем иным в жизни не занимались! А тигр Кай-Октавиан как раз идет к ним навстречу! Тоже — первый помощник! И укротитель сказал размеренным своим голосом второму ассистенту, оставшемуся с ним:

— Вы назначаетесь первым моим заместителем. Алексей Валерьевич отныне переводится на ваше место.— Затем он обратился к шоферу, который выскочил из машины и ждал распоряжений:— Кидайте мясо в клетки. Из корзин. Больше! Свистите: «На пищу».

Шофер вложил было пальцы в рот...

— Не вам. Ассистенту. Вы — вилы! На вилы — мясо, в клетку! Кай-Октавиан должен вернуться. Должен.

Отстегнув кобуру револьвера, укротитель побежал наперерез тигру.

Раздался металлический пронзительный свист: «К пище, тигры!» Тиберий и Калигула, послушные зову, прыгнули в свои клетки. Кай-Октавиан было остановился. Он даже приподнял лапу, как делал всегда, когда оканчивал еду. Он ведь шел в свои горы, на охоту!..

— Повторить свист!

Ассистент опять засвистел.

Кай-Октавиан остановился во второй раз.

Плонский уже перерезал ему дорогу. Он поднял арапник и наполовину вынул револьвер. Кай-Октавиан, расставив короткие лапы, наклонил голову и глядел на укротителя совсем не домашним взором. «Кто ты такой?» — спрашивал этот взор.

— Назад! В клетку! — отрубил Плонский.

Кай-Октавиан шевельнул усом, словно отбрасывая этим движением обрубок. «О, да ты забываешься!» — говорило это движение.

Шофер Дементьев спустил ноги за дверцу кабины и, упершись локтями в колени, наблюдал за беседой между укротителем и тигром. Он не сомневался, что укротитель уговорит тигра, иначе на правах шофера первого класса он должен был идти спасать девушку. Белое лицо Дементьева выражало умиление.

— Здесь-здесь, а по экскурсии тоскует, — мягко сказал он гладкому ассистенту. — И пожрать хочется. И сомневается, что запрут.

Гладкий ассистент, стоявший возле раскрытой клетки Кая-Октавиана, проговорил:

— Вы б заперлись сами. А если он на вас, на чужого, прыгнет? Он не цыпленок...

— Кабы цыпленок, я б его сам взял, — спокойно ответил шофер. — Только какой ему расчет — на меня? У меня в руке ключ, а в клетке — готово мясо. — И, встав, он крикнул Плонскому: — Товарищ укрощающий! Он запах мяса плохо чует. Ветер относит. Разрешите, я ему — поближе, на таком, глазомерно, расстоянии, чтобы успеть в клетку сбросить...

Плонский не отвечал. Он вынул револьвер. Тигр фыркнул, попятился было, а затем опять стал на прежнюю позицию, в положение «А».

— Я — мужик. Я и сено могу с вил,— продолжал шофер,— могу и мясо кинуть.

Сквозь шум потока Плонский расслышал шаги по щебню. Он перевел глаза. С плаксивым выражением длинного белого лица к укротителю шел шофер Дементьев, держа на вилах кусок мяса. Плаксивое выражение было у него оттого, что он держал во рту свисток ассистента, который по-прежнему дежурил возле дверей клетки, готовый захлопнуть ее.

— Ну, так свистите же,— громко сказал укротитель.

Шофер засвистел со страстью почти милицейской.

Тигр чуть повел плечом в сторону свистка. Шофер параболой, точно меча сено на стог, бросил вилами мимо тигра в клетку большой кусок теплого и пахучего мяса, а сам повалился — для безопасности — на землю. Мясо шлепнулось на сухой и горячий пол клетки. Ассистент наклонился, готовясь хлопнуть дверью...

Тигр собрался прыгнуть...

Но для того чтобы прыгнуть, он несколько попятился. Берег подломился под ним. Он упал в воду, но не на перекате, через который проходил брод, а в глубину!

Плонский кинулся к обрыву. Под ним, среди корней, которые крутил и ломал поток, что-то барахталось и фыркало. Корни, многочисленные, дубовые, крепкие, образовывали непроходимую сеть. Густая тень обрыва лежала на корнях и на воде. Трудно было разглядеть там желтое могучее тело. Но наконец Плонский разобрался. Тигра зажало между двумя мощными корнями. Он напряг силы. Показалась его морда, мокрая, присмиревшая, полная испуга, почти ребячьего.

— О-о!..— услышал возле себя Плонский голос шофера. Шофер, подобно псарю, порскающему по острову и ободряющему собак «оканьем», окал и на тигра!

— Шофер, трос!.. Которым машину!..

— Понятно.

Плонский схватил трос, накинул его на корень:

— Дергай.

— Через машину?

— Через.

Когда платье на теле укротителя высохло — ибо, после того как спасли тигра и он стремглав испуганно влетел в свою клетку, Плонский сам свалился в воду, и ассистент с шофером не без труда вытащили его,— Плонский важно говорил, стоя возле машины со зверями и

разглядывая букет, поднесенный ему девушкой-шофером:

— Красивые цветы. Но не цветы нам сегодня принимать бы, а розги. Что вы, в частности, не слышали свистка, Алексей Валерьич?

— Я исполнял ваше приказание,— пробормотал Алексей Валерьич, разглядывая трубку, каторая дымилась теперь уже во рту гладкого ассистента — и дымилась исправно,— я собирал букет.

— Вы собирали букет, но вы потеряли место моего первого помощника. Вперед, шофер.

Речка скрылась за дубами. Плонский наклонился к своему первому помощнику и сказал то, что он не мог сказать в присутствии шофера. Его чрезвычайно беспокоит Кай-Октавиан.

— Вы заметили — ненависть. Настоящая ненависть. Он даже не прикоснулся к мясу. Отказался от пищи. Как мы его сегодня выведем на арену?

— А надо.

— Надо,— сказал укротитель.— Мы обязаны.

Волнообразно, массивно вырастали террасы и утесы, изрезанные глубокими бурыми ущельями. Скоро начнется плоскогорье Бух-Тайрон, окончатся впадины, покрытые зеленью, встанет дикий камень, и в достаточном количестве. Говорят, что прежде через это плоскогорье даже птицы боялись летать, как через море, и верблюдов, из-за отсутствия травы, поили соком арбузов. Зелени не бывало даже и весной, и караваны старались идти через плоскогорье напроход, без остановок. Теперь многое изменилось и особенно изменится, когда колхозники окончат канал...

«Надо. Обязаны и мы!»

Укротитель вспомнил, что, когда машины тронулись, он услышал словно бы гул в горах от взрыва. Не подняли ли перемычку?

Укротитель посмотрел на свои большие часы. Они показывали двадцать минут пятого. «Да ведь это же просто. Как я не догадался!»

— Стой!

Он выпрыгнул из машины.

— Я забыл револьвер на берегу... Выбросил, когда тянул Кая... Обождите меня...

И он пошел обратно. Ассистенты и шоферы удивленно смотрели ему вслед. Револьвер-то находился у него в кобуре.

Он вскоре вернулся и спросил шофера:

— Дементьев! Когда вы рассчитывали прибыть к переправе?

— К мосту?

— Да, к мосту.

— Так его ж снесло!

— Вот я вас и спрашиваю: когда вам было приказано вашим начальством прибыть к мосту,— снесло его или нет, все равно?

— К четырем дня.

— А вы прибыли на два часа раньше?

— Жал, товарищ укрощающий.

— Напрасно, выходит, жали, мой друг. Полчетвертого строители взорвали пермычку, остановили поток, и воды его хлынули в котловину, где предположено быть Бух-Тайронскому водохранилищу. Теперь ясно?

Все по-прежнему глядели на укротителя с недоумением.

— Боже мой! Они не понимают. Да ведь строители хотели сделать нам подарок: моста нет, но и потока нет. Я сейчас был у потока. Его нет.

Шофер свистнул:

— Конфузное дело, товарищ командир.

Плонский сказал, указывая на горы:

— Мы все заинтересованы в четкой работе зверей, тем более что они принадлежат нашему государству. Поможем зверям. В чем заключается эта помощь? А в том, что, если люди узнают о наших переживаниях при переправе через речку, когда звери даже вырывались на свободу, зрители неизбежно взволнуются и передадут это волнение зверям. Звери очень чутки к настроению зрительного зала. Волнение может кончиться плохо. Я предлагаю: инцидента у речки не было. Переправа прошла благополучно, ровно в четыре часа дня, как и намечалось. Понятно?

Шофер Дементьев сказал:

— А два часа, которые мы нагнали?

— Нет. Переехали ровно в четыре часа. Как посуху!

— Есть как посуху!— сказал шофер Дементьев.— Понятно.

И шофер с бледным лицом и девушка в сером сдержали свое слово.

Для этого они сели в первый ряд и хлопали укротителю отчаянно, с веселыми и баззаботными лицами. Укротитель в безукоризненном фраке, с орденской ленточ-

кой выходил на аплодисменты. Лицо его было, как всегда, спокойно, и сдержанная улыбка была на его губах.

Арена цирка приобрела свои нормальные размеры, хотя позади наскоро сколоченных скамеек виднелись корпуса строительства, красивая электростанция и озеро, образовавшееся от запруды потока. В озере уже отражались горы, и даже слышался гам птиц, пробуждающихся от аплодисментов...

После представления артистов чествовали. За столом укротитель сидел рядом с почетным стахановцем строительства — Антоном Максимовым, который говорил:

— А мы вам здорово ответили? Велели приехать к мосту в четыре дня. Думаем: снесет мост, все равно речку отведем и пустим в пустыню. У нас тут посевы, брат, намечены — у-у... Ну, и для вас — повернули поток без десяти четыре... Как переехали?

— Как посуху,— ответил укротитель и взглянул на шофера Дементьева, который сидел напротив и прислушивался к разговору.

Дементьев сказал:

— Глазомерно, как — посуху!— и он поднял стакан с вином за здоровье жены укротителя, которая согласно полученной сейчас телеграмме благополучно разрешилась дочкой.

И Дементьев сказал:

— Я тоже телеграмму отбил. Дружок у меня, начальник гаража, жених...— Он указал на девушку в сером и добавил:— Ее жених! Я ему отбил, что, как мною лично проверено, его невеста вполне может отвечать за шофера второго класса.

Дементьев, как видели все, был чересчур разговорчив, но все желали слушать не его, а укротителя. И поэтому стахановец Максимов завел разговор о тиграх, обращаясь к Плонскому. Он пожелал получить «исчерпывающие данные по поводу укрощения». Плонский сказал:

— Тигр — зверь. Работать с ним трудно. Но человек, как всегда в битве со зверем, должен выйти победителем. И я стремлюсь к тому — и выхожу победителем. Разумеется, при помощи других товарищей. Общими силами мы ставим тигра в положение «Б», то есть на тумбу...

Мысли его, как видите, не отличались новизной, но говорил он мерно и веско, и все слушали его внимательно-

но. Он бы мог вдвойне и втройне увеличить эту внимательность, скажи он все то, что знал и о чем умалчивал, но о чем рвался сообщить своей жене. Кай-Октавиан больше не скалил зубов, исполнял приказания немедленно и с полным уважением глядел на руку укротителя, который, раскланиваясь с публикой не без уважения к своему дарованию, шептал, скрестив руки:

— Ужо тебе!

1945

АГАСФЕР

Воспользовавшись тем, что контузия на продолжительное время задержала меня в тылу, я предложил кинофабрике написать сценарий «Агасфер». Я прочел эту легенду на фронте. Образ человека, остающегося бессмертным среди многих десятков поколений и появляющегося в разных концах мира, поразил мое воображение. Надо думать, что смерти, которых я много видел, помогали моему воображению.

Кинематографисты встретили меня доброжелательно. «Это может быть оригинальный фильм,— сказал один из режиссеров и задумчиво добавил:— Да и тема близка западному зрителю, а мы для него мало ставим картин. Очень и очень оригинально».

Оригинально? Допустим. Но явление ли она — искусству? Вдумавшись, я вижу эту тему довольно-таки слабой. Недаром большие и малые поэты Европы, обрабатывавшие этот сюжет, потерпели неудачу. Андерсен, Шлегель, Жуковский, Гете, Евгений Сю, Эдгар Кине, Кармен Сильва, Франц Горн, Ленау... какая смена лиц и как она похожа на ту смену ряда исторических картин,— лишенных всякой реальной связи,— что пытались объединить именем Агасфера! И может быть, лучше всех объяснил это явление М. Горький несколькими строками, в великолепной статье своей «Легенда об Агасфере»: «Эта легенда искусно соединяет в себе и заветую мечту человека о бессмертии, и страх бессмертия, вызываемый тяжкими мучениями жизни, в то же время она в образе одного героя как бы подчеркивает бессмертие всего израильского народа, рассеянного по всей земле, повсюду заметного своей жизнеспособностью». Это, скорее всего, тема публицистики, чем художественного про-

изведения,— если допустить, что публицистика и художественность в чем-то противоположны.

Около двух часов ночи, отложив наброски в сторону, я решительно написал кинофабрике, что отказываюсь от обработки «Агасфера». А написав, грустно задумался. Ух, как отчаянно грустно, в наше время всевозможных удач,— стоять неудачником даже среди самых знаменитых неудачников!

Я холост и одинок. Мне тридцать лет. Несколько месяцев назад, после сильной контузии, мне дали полугодовой отпуск из армии. Тут-то я и подумал об Агасфере. Неудачное бессмертие, ха-ха!

«Моя любовь к тебе бессмертна и вечна»,— говорила она, когда я уезжал на фронт. И тут же хотела, чтоб я немедленно женился на ней. Мы познакомились с нею недавно. Ее горячность казалась мне чрезмерной,— может быть, потому, что моя горячность тоже казалась мне неправдоподобной. Мучительное желание проверить нашу страсть овладело мной. «Если наша любовь вечна,— сказал я ей,— то ничего не случится в те несколько месяцев, которые я пробуду на фронте: предчувствую, что меня скоро ранят и я вернусь». Предчувствие не обмануло меня, я действительно вернулся через несколько месяцев с предчувствием, что она верна мне. Она не пришла меня встречать к поезду. Подруга принесла записку — она полюбила другого. Я не спросил имени любовника. Зачем? Добавлю, что ее зовут Клава. Клава Кеенова. Неприятно писать ее фамилию: ее подруге я сказал, что я так и думал — она родилась и осталась Геeновой. Ах, как нехорошо и плоско!

Я живу в коммунальной квартире. На входной двери у нас — длинная, темная дощечка и, словно ряд пуговиц, перечисление фамилий и звонков: кому сколько раз звонить. Я — второй сверху, и ко мне два звонка. И вот, ровно в два часа ночи, едва лишь я подписался под заявлением, в большом, высоком и гулком коридоре, раздалось два звонка. Напоминаю, что происходило это все летом 1944 года, во время войны с немецкими фашистами, и для того, чтоб приходить ночью, надо было иметь ночной пропуск по городу и быть вообще человеком серьезным. Не удивительно, что я открыл дверь с бьющимся сердцем.

Мы экономим электричество, и коридор наш освещается светом из наших комнат. У меня только настольная лампа, да и она небольшой силы. Поэтому фигура посе-

тителя рисовалась уныло и расплывчиво. Это был человек среднего роста с тонкой и длинной головой. Он дышал тяжело и пошатывался от усталости и, может быть, истощения, так как платье на нем словно распухло и похоже было на волокно гнилой и растрепанной временем веревки. Платье хранило название, но не предназначение. Пахло от него прелым; плохо пахло.

Тощим и невыразительным голосом он назвал мое имя и фамилию.

Несмотря на слабость и явное истощение, вызванное, несомненно, войной, я не испытывал жалости к этому шатко стоящему человеку. Во мне поднялась холодная настороженность. Он сразу же понял мои чувства. Он наклонил длинную и тонкую, как нож, голову, и я увидал явственно слезы, катящиеся по борту его рваного, прорезиненного плаща, покрытого крупными темно-зелеными, камуфляжными пятнами.

И слезы эти мне показались притворными. Я пожал плечами. Можно распустить себя как угодно, но нельзя же рыдать в два часа ночи на пороге коридора перед незнакомым человеком!

— Что нужно?— спросил я.

Утирая полой плаща слезы, посетитель ответил:

— Мне настоятельно нужно переговорить с вами.

— Вас кто-нибудь направил ко мне?

— Нет, я сам.

Холодность-то холодностью, но он все-таки ухитрился благодаря своему слабому виду, отстегнуть мою наглухо застегнутую душу. Вместо того чтобы попросить его уйти, я посторонился. Он прошел в мою комнату.

Внезапная, острая и жгучая мысль потрясла меня. Э, да это ведь любовник Клавы Кееновой! И опять завизжало внутри —«гиена, гиена!», и стало очень нехорошо. Нужно во что бы то ни стало подавить эти гнусные слова, и я с преувеличенной вежливостью спросил:

— Вы москвич?

— Нет, я космополит и не прописан нигде.

Это происходило до антикосмополитической кампании, и поэтому я не обратил на его слова внимания.

В комнате много книг и мало мебели. Обилие книг мне всегда казалось воплощенным идеалом жизни ученого и умного человека, хотя книги доставляли мне много неудобств, так как умнел я чересчур медленно и на этом медленном пути приобретал много всяческой печатной дряни. Но ни одно из моих приобретений не

доставило мне столько раздражения, сколько появление среди моих книг фигуры этого человека с длинной и тонкой, как ржавый нож, головой.

— Что же вам нужно?— переспросил я.

Он повторил:

— Мне нужно настоятельно переговорить с вами.

— О чем переговорить?

— Переговорить о моей и вашей судьбе,— ответил он таким тоном, словно заранее был уверен, что я откажу ему в просьбе.

Я не разубеждал его. Присутствие нас двух в этой комнате казалось мне столь же несовместимым, как путешествие булыжника и стекла в одной бочке, хотя оба они могли быть из одного и того же вещества.

— Из ваших слов можно заключить, что странным образом наши судьбы взаимно связаны?

Он ответил:

— Нахожу, что связаны.

— Вы назвали мою фамилию. Очевидно, знаете меня? Хотелось бы и мне знать, кто вы?

Он молчал. Я более кратко и более зло повторил свой вопрос. Длинное ржавое лицо его передернулось. Он ответил:

— Я молчал, так как вам могло показаться, что допускаю большую вольность в обращении. К сожалению, я не шучу и говорю правду, чему приведу неопровержимые доказательства.

После некоторой паузы, он добавил:

— Видите ли, я действительно космополит Агасфер.

— То есть вы тоже работаете над сценарием «Агасфер»? Или вы должны играть роль Агасфера в моем сценарии? Но и тут разговора не получится: я отказался от работы над сценарием!

— Извините, видимо, вы не понимаете моих слов, Илья Ильич,— сказал посетитель, откидывая назад длинную голову.— Дело в том, что я действительно — Агасфер. Тот самый Агасфер... ну, да вы сами знаете легенду!

Камуфляжная плащ-палатка, изношенные солдатские ботинки с резиновыми подошвами, галифе в заплатах и дрянная замасленная гимнастерка с плеча какого-нибудь шофера, небритая ржавая и длинная голова с опухшими глазами, поблекший голос — все это было таким контрастом к жизнеописанию Агасфера, сочиненному где-нибудь в уединении средневековой монастырской

кельи... я расхохотался, хотя вообще я человек несмешливый.

Мой посетитель скромно глядел вбок, погрузив свой длинный и грязный нос в не менее длинную и грязную полу плащ-палатки.

— Мне приходилось слышать, что персонажи приходят к автору,— сказал я, продолжая смеяться,— но все они приходят в более или менее приличном виде. А вы, Агасфер! Вы, чья легенда едва ли не популярнее Фауста и Дон-Жуана,— а уж Роберта-Дьявола, Роланда, Робин Гуда, во всяком случае,— вы осмеливаетесь появиться в таком неправдоподобном образе? Ха-ха-ха!..

— Вполне разделяю ваш смех,— ответил унылый посетитель, медлено поворачивая ко мне длинную голову.— Сам не смеюсь лишь от переутомления. Впрочем, вы должны подчеркивать мою временность, как обложка книги подчеркивает и раскрывает эпоху. Если б я желал бессмертия или претендовал на звание пророка, я б оделся более странно, как, например, одевались Лев Толстой или Рабиндранат Тагор...

— Оставьте Льва Толстого! Вы утверждаете, что вам не надобно бессмертия и что вы ищете временности? Это значит: вы ищете смерти? Значит, Горький прав?

— В чем?

— В том, что бессмертие, так сказать, тоже не конфетка: долго жить, долго страдать. Впрочем, утешьтесь: вам долго не жить.

— Ах! Ну, зачем вы так?

— Затем, что так хочу!

Я поступил жестоко, напоминая о смерти лицу почти умирающему. В иное время, случись бы подобное, вид длинноголового оборванца, сразу же после моих слов рухнувшего на кипы журнала «Русский архив», вызвал бы ужасное отвращение к себе.

Тут наоборот. Должно добавить, что я высок, мясист, с широким лицом и несколько приплюснутым носом. И вот плотный, широколицый стоит, слегка наклонившись к тонкоголовому, небрежно оперщись ладонями о край письменного стола. Стоит — и хохочет. Мало того — хохочет, он испытывает наслаждение от своего хохота!

«Это шпион, подлец, провокатор,— твердил я самому себе,— не знаю, кем он подослан и зачем, но он, несомненно, провокатор и я разоблачу тебя, мерзавец, разо-

блачу! Как бы ты ни укрывался, как ни прятался, а я разоблачу,— и головой о стену, головой».

Хохот становился неудержимо истерическим. Надо бы крепиться, но я не мог поступить иначе, не мог! Впервые в жизни своей я ощущал внутри себя такую холодную и непреодолимую злобу, что ей, казалось, не будет конца.

Мой посетитель сидел на толстых номерах журнала, подобрав ноги и втянув голову в плечи, отчего голова его казалась особенно длинной.

Внутри меня, словно по холодному желобу, катилась тяжелая, как ртуть, свирепость. Мелькнуло: «Не ищет ли он ночлега, раз не прописан, не бежавший ли это из какого-нибудь концлагеря? И не оттого ли он так покорно выносит мои оскорбления?» Нет, нет! В каждом движении моего посетителя я искал важные причины, чтобы немедленно встать во враждебное положение.

— Если вы из арестованных... даже уголовник...

— Что вы, Илья Ильич!

Тогда я повторил:

— Кто же вы и зачем ко мне?

Он опять передернулся. Ему не хотелось отвечать, и если б я еще раз повторил свой вопрос, я получил бы тот ответ, который избавил бы меня позже от многих страданий. Теперь только я понимаю, что мне следовало его напугать донельзя — и он исчез бы. Мне ни в коем случае нельзя было его оставлять! Но, увы, свирепость моя, оказывается, не была стойкой! Я пожалел его только на одну секунду. К тому же жалость была смешана с любопытством, а это самое опасное смешение. Итак, я поддался жалости, крошечной капле жалости,— и мой посетитель поймал меня! Он торопливо спросил:

— Разрешите открыть вам, откуда я получил имя Агасфер?

Хотя и нехотя, но я отозвался:

— Значит, имя Агасфер — прозвище?

— О да! Мое настоящее имя Пауль фон Эйтцен. Если вы хорошо изучали материалы по Агасферу, вы, наверное, встречали мое имя. Пауль фон Эйтцен! Боже мой, как красиво это имя и как оно подходило к улицам моего родного города Гамбурга! Я, видите ли, из Гамбурга. Пауль фон Эйтцен. Я — доктор Священного писания и шлезвигский слуга господа... ах, как это было давно! В тысяча пятьсот сорок седьмом году я, Пауль фон Эйтцен, окончив образование в Витемберге, с радо-

стью вернулся к своим родителям в Гамбург. Родители мои — выходцы из Амстердама. Они торговали кожами, тиснеными преимущественно. Они были небогаты... на границе разорения... впрочем, зачем скрывать такие поздние коммерческие тайны! Они были нищи,— и я нищ!

— Почему же вы возвращались в Гамбург с радостью? Вы любили родителей?

— Я их ненавидел: разориться именно в те дни, когда мне более чем когда-нибудь нужны деньги!

— А, вы были влюблены?

— Да.

— История несчастной любви?

— Проклятой любви!

— Кем проклятой?

— По-видимому, той же любовью; выше ее, как я теперь знаю достоверно, нет бога.

— Ого!

— А почему греки достигли бессмертия? То есть в искусстве, потому что биологически другое бессмертие невозможно. Потому, что у них была богиня любви Афродита.

— У нас есть богоматерь Мария.

— Но она богоматерь, то есть родившая бога, и, значит, выше всех: попробуй-ка, роди другая бога! Невозможно. Афродита же заботилась о любви всех и вся, она была очень демократична. Нет бога, кроме бога любви!

— Простите, плотской или духовной?

— Одно вытекает из другого, разделить этого нельзя, аскетизм — величайшее преступление.

— Следовательно, плотская любовь выше всего?

— Если угодно, да!

— Ваши родители были евреи?

— Вы — по Розанову?

— Нет, но вы начали рассказывать о своих родителях.

— Да, да! Они выходцы, повторяю, из Амстердама, голландцы.

— Агасфера все называют евреем.

— Меня тоже. Я даже сидел в гитлеровском концлагере, правда, недолго, мне ведь нельзя задерживаться на одном месте. Я иду.

— Знаю.

— Что же вас превратило в Агасфера?

Он уже слегка оправился. Опасения и тревоги, му-

чившие его, покинули его лицо. Осталась только болезненность. Глаза приобрели окраску, они были цвета легкого пива. Он ответил мне свободнее:

— Вы знаете, что для человека достаточно и одного неудержимого стремления к славе и деньгам, чтобы причинить себе боль и скорбь.

— Значит, все ваше почти четырехсотлетнее хождение вызвано жаждой славы и денег?

Он ответил:

— Книга моей жизни состоит из многих страниц. Разрешите раскрыть вам только первую и самую страшную?

— Ее звали Клавдия фон Кеен.

— Как?

— Клавдия фон Кеен. Вас удивляет, по-видимому, имя Клавдия? Оно действительно редко встречается в Германии, но тогда...

— Продолжайте о ней.

— Она дочь богатых и знатных родителей. Мы любили друг друга. Всякий раз, когда мне удавалось вырваться в Гамбург, я встречался с ней. Она была великолепна: стройная, мощная, умная, пламенная. Я тоже достаточно силен и крепок. Она жаждала меня, я жаждал ее. Она пошла бы за мной по первому зову. Но куда? В бедность? В поденщики? Не забудьте, что в те времена было труднее передвигаться, чем в наше время, время пропусков и удостоверений. Нас могли соединить — навечно то есть — только лишь деньги и слава. Мы хотели вечной любви; вернее сказать, я; она, пожалуй, согласилась бы и на временную, на преступную даже: без венца и согласия родителей. Я же настаивал на венце, свадебном пире, о котором говорил бы весь город, визитах и так далее... «Но это невозможно!— воскликнула она с негодованием.— Твои родители бедны».—«Я разбогатею и прославлюсь, хотя бы для этого мне пришлось продать самое святое в мире!»— отвечал я, и она испуганно крестилась, а через минуту испуганно прижималась ко мне, спрашивала: «Что же такое страшное ты собираешься делать?»

Я и сам еще не знал.

В первое же воскресенье по приезде к родным я отправился в церковь. Во время проповеди я заметил человека высокого роста с длинными, падавшими на плечи

волосами. Босой, он стоял прямо против кафедры и с большим вниманием слушал проповедника. Фигура пилигрима была относительно сильна и молода, но лицо его изображало такое страдание, будто у него непрестанно и сильно болит все тело, и болит много лет. Я с раннего детства отличался мнительностью и остро чувствовал не только свою, но и чужую боль. Каждый раз, когда проповедник произносил имя Иисуса, пилигрим с безмолвным криком боли и с выражением величайшего благоговения ударял себя в грудь и трепетно вздыхал, так что заплатанный кафтан, надетый на голое тело, далеко отделялся от его груди. Зима была приметно холодная, видите ли, а на пилигриме, кроме кафтана и панталонов, чрезвычайно изодранных внизу, не было другой одежды. Я не один дивовался страннику, но мне одному пришла в голову ужасная и безнравственная мысль...

— Вы это поняли сразу же?

— О нет! Значительно позже...— Он вздохнул:— Да, значительно. Не могу точно сказать когда, но, кажется, через несколько лет, когда понял силу божества любви, которое в гневе и погубило меня. Говорил ли я вам, что одним из моих любимых занятий была палеография, чтение древних манускриптов, исследование их? Да, я, Пауль фон Эйтцен, был превосходный палеограф! Я огорожен был своими знаниями крепче любого палисадника, которым огораживает добрый хозяин свой дом. И эти-то мои знания и погубили меня...

— Вы только что сказали, вас погубило другое?

— Да, да, другое, разумеется, другое! Но, видите ли, и мои схоластические знания нанесли мне большой вред. Я смотрел на пилигрима, на его древнее лицо, и мне вспоминались пергаментные манускрипты. Вспомнился мне и манускрипт, недавно прочтенный в Виттенберге. Автором его был Матиас Парис, английский хронограф, умерший в тысяча триста пятьдесят четвертом году. В своей хронике он писал, что в тысяча двести двадцать восьмом году в Англию прибыл архиепископ Григорий из Армении. Архиепископ Григорий сообщил, что он видел Карталеуса, человека с древним лицом и древними словами. Этот Карталеус во время осуждения Христа был привратником претории Понтия Пилата. Римлянин, по-видимому? Когда приговоренный к смерти Иисус переступил порог претории, Карталеус, ударив его кулаком в спину и презрительно усмехаясь, сказал:

«Иди, чего медлишь?» На такие слова приговоренный ответил: «Я могу медлить. Но труднее будет медлить тебе, ожидая моего прихода». И он направился дальше, а Карталеус, который по обязанностям своим не должен был покидать претории, пошел за ним, влекомый тоской скитаний... И вот, тысячу лет спустя, архиепископ Григорий, объезжавший епархию, встретил Карталеуса рыдающим среди изголуба-серых скал Армении, где-то возле озера Ван. Карталеус рыдал от той мысли, имея которую никогда не заснешь, никогда не остановишься, никогда не умрешь! Вы понимаете, Илья Ильич, о какой мысли я говорю?

— Догадываюсь.

— Приятно. Позвольте продолжать? Итак, мысль эта — я разовью ее вам дальше — мелькнула во мне еще тогда, при чтении хроники Матиаса Париса. «Почему легенда о Карталеусе застряла в этой хронике? А ведь благодаря ей можно заработать и славу, и деньги, и любовь той, которая меня не любит!» Итак, глядя на пилигрима, я думал: «Карталеус, Карталеус! Бессмертный, ты забыт! Я воскрешу тебя. Большие деньги и слава ждут того, кто видел Карталеуса, беседовал с ним, сумей только найти те убедительные, те звонкие, те медно-красные слова, при звуке которых дрожит сердце каждого христианина». И вот, глядя на этого пилигрима с древним пергаментным лицом, мне показалось, Илья Ильич, что я нашел эти слова, я уже стою на пороге к богатству и славе!..

По мере того как мой посетитель углублялся в прошлое, я глядел на его жесткие и редкие, как хвощ, волосы, и мне виделся высокий храм в Гамбурге, ромбически-листные окна, откуда льется пепельно-серый свет ранней весны, длинные ряды деревянных скамей, звук органа, гложущий сердце, склоненные головы молящихся — и этот пилигрим с лицом цвета тех растений, что, прикрепляясь к скалам, разрушают их. Видел я и Пауля фон Эйтцена, его жадное вальковидное лицо, серо-белые, потрескавшиеся от волнения губы.

— Я был беден и нищ. Она — дочь миллиардера, по теперешней терминологии. Я ее любил, жаждал ее, я был силен, крепок. Она тоже. Как нам соединиться под венцом, а не в шалаше рыбака или разбойника? И я подумал: «Агасфер! Ага значит, по-турецки, начальник, ну, а сфера — вы знаете, что такое. Начальник небес! Ведь небеса только могут — если могут вообще — распоря-

жаться бессмертием». И я обратился к богу. Я просил его соизволения на великую ложь: «Разреши мне выдумать Агасфера! Разреши! Это — миф, мечта, глупость. Но именно благодаря мифу, мечте и глупости расцветают люди. Ну что изменится, если одной глупостью в мире будет больше?» Ответа, конечно, не последовало, но моя великолепная выдумка успокоила и развеселила меня. Агасфер, Агасфер! Придуманное слово, которое еще совсем недавно казалось чужим и далеким, стало теперь близким. «Я люблю тебя, Агасфер, ты ведь обогатишь меня? Был Карталеус, римлянин; я махнул рукой — и вот встал ты, Агасфер, еврей, и превратился в предка тех проклятых, кто во множестве живет сейчас на южной окраине Гамбурга!..» Ха-ха!

— И тогда?

— Мне стыдно, Илья Ильич. Разрешите, на этом прекращу свой рассказ? Я предполагал, что смогу его передать вам подробно, однако я не могу удержать слез при той мысли, имея которую никогда не заснешь: нельзя издеваться над богом любви!

Мой посетитель порывисто встал. Пачка журнала «Русский архив» с мягким шумом упала набок. Длинное лицо посетителя почти сплошь покрывали слезы. Но почему по-прежнему я не чувствовал к нему жалости? Влага? О, эта влага на лице, несомненно, издавна защищала его!

Сверх того, я чувствовал и усталость: напряжение, с которым я следил за его рассказом, было довольно сильным. Хотелось спать.

Я пробормотал что-то о том, расскажет, мол, в другой раз. Посетитель, тягуче шаркая ногами, покачал отрицательно длинной своей головой, и мы расстались. Хотя уже светало, но стекла на лестнице не пропускали света, и фигура моего посетителя едва-едва была различима. Впрочем, мне показалось, будто он стал несколько выше ростом и шире в плечах, да и его голова словно бы стала круглее. Того ради, я вышел даже на площадку. Тонкие шаги посетителя зачастили. Он исчез. Стараясь освободиться от нелепых предположений, меня одуряющих, я вернулся в свою комнату и лег.

Отказ от работы над сценарием «Агасфер» по-прежнему лежал на столе. Я встал и перечел его. Он показался мне пресным, мало энергичным. Я переписал, придав ему более резкую форму,— хотя что мне сердиться на кинематографистов? Не они же подсылают мне Агасфе-

ра и не им же принадлежит этот нудный и надоедливый, как овод в летний день, бред? Кому же тогда? Не мне ли самому?

Последующие часы я чувствовал себя мерзко, а последующие дни были еще более мерзки и противны. Лето было дождливое, с частыми холодными северными ветрами. Я бродил вдоль лентовидных набережных Москвы-реки и, не найдя сил справиться с тоской, пришел в военный комиссариат. Молодой лейтенант принял меня ласково. Он немедленно направил меня к врачу, тот — к другому, и, наконец, трое, посовещавшись, сказали, что сердце мое действует неважно, наружный вид хуже... «Вы что, даже вроде и ростом стали ниже? А ну-ка, смерим?» Я встал к линейке Врачи с недоумением переглянулись и поправили какие-то цифры в моем «деле». Затем старший врач сказал:

— И вообще, куда вам торопиться на фронт? Поправляйтесь.

— Друзья ждут,— отозвался я, хотя никаких особенно друзей на фронте у меня не было: я командовал ротой связи и давно уже не получал известий оттуда.

— Подождут.

— А галлюцинации у меня могут быть?— спросил я вдруг, совершенно, впрочем, не надеясь, что врач ответит правду.

Он снова выслушал меня, расспросил и сказал:

— Галлюцинации?— Помолчав, он добавил:— Могут. Но особенно не беспокойтесь: они скоро, месяца через два-три, исчезнут. Курите? Бросили? А вы закурите.

И он угостил меня папиросой.

Папироса успокоила. «Бред? И отлично!— думал я, весь дрожа от радости.— Раз доктор признал, что у меня бред, значит, он скоро исчезнет. Выздоровею, забуду про этого Агасфера... и поскольку у меня бред, не отбить ли мне любовника у Клавы? Вот будет потеха, когда он окажется Агасфером!»

Клава служила приемщицей телеграмм в почтовом отделении на Ордынке. Я пошел к окошечку Клавы. Я стоял в очереди, слышал за окошечком ее голосок, так хорошо мне знакомый, ее рука выбрасывала квитанции и сдачу, раза четыре возникала и исчезала возле меня очередь; наконец, когда помещение опустело, в отверстии показалось ее бледно-серое истощенное лицо с боль-

шими глазами, и она спросила без особого удивления:
— Каяться пришли?
— Каяться, — ответил я.— Простите за Геенову.
— Как?— спросила она со смехом.
— Я переделал вашу фамилию.
— Разве? Не помню. А если и переделал, то очень даже недурно. Геенова?! Это даже выразительно. Я себя, Илья Ильич, действительно чувствую гиеной, у которой перебили ноги. Они где живут, в болотах?
— Гиены-то? В камнях и песках.
— Ну, там подыхать легче. В болоте куда труднее. Да, хорошо!— добавила она, вздохнув и подавая посетителю телеграфный бланк.
Мы подождали, пока посетитель писал и оплачивал телеграмму, а когда он ушел, Клава подняла на меня мокрые от слез глаза и быстро проговорила:
— А я ведь продалась, Илья Ильич! Не махайте руками и не ахайте: надо торопиться сказать, а то посетители придут. Не за деньги, конечно,— за пропитание и комнату. Подманил один, из рыбного треста: он, должно быть, пирожки с рыбой продает на сторону. Переехала к нему, расписалась...
— Какая же это продажа, если расписались?
— То есть формально все правильно, а по сути — продажа. Старый, брюхастый, мордастый, лысый, противно: я из-за него сверхурочные полюбила.
— Оделись, по крайней мере?— спросил я, не знаю зачем.
Позже я понял, зачем так спрашивал: очень мне не хотелось, чтоб она подвиг какой-нибудь свершила. Боялся! Чувствую: если подвиг, конец, все прощу и, может быть, так полюблю, как никого и никогда не любил. И она меня поняла — и жалко ей стало меня: «Ради меня, Клавы, которая за пироги продалась, да мучиться? Вот еще!»
И она сказала:
— Оделась неплохо.
— А ну, покажитесь, выйдите!
— Что же, по-вашему, я на службу в манто ходить должна?
— Уж и манто!
— Уверяю.
— И мама с вами переехала? Племянница маленькая... как они?
— Все живы-здоровы. Заходите, Илья Ильич, с му-

жем познакомлю, он в конце концов ничего. Конечно, никаких подвигов не свершал,— воровать пирожки — какой же подвиг? — а все-таки добрый, и это хорошо... вот лысый только! Не нравятся мне, Илья Ильич, лысые.

— Агасфер не лыс,— вдруг сказал я.

Она помнила мои рассказы об Агасфере. Но вспоминать, по-видимому, ей эти рассказы было тяжело и неприятно; она спросила нехотя:

— А кто это?

— Да один из бессмертных, помните?

— Нет,— ответила она и с каким-то непонятным раздражением спросила у посетителя:— А зачем, собственно, вам четыре бланка? Время военное, бумагу надо экономить.

И она бросила посетителю два бланка. Выросла очередь, и я ушел, так и не сказав ей, что меня мучает бред. Да и зачем говорить? Жалость, что ли, я собираюсь у нее возбуждать? Жалость, конечно, стоит где-то рядом с любовью, но я в бреду, и мне не нужна ни жалость, ни любовь! Леченье мне нужно, леченье.... но чем?

Постепенно я начал успокаиваться. Сон улучшился. Жизнь казалась более сочной и возвышенной, взоры встречных не были колючими. Несколько нежных и слабо вьющихся мыслей указали мне на некий растущий замысел, которому еще не находилось названия. Сценарий, пьеса, повесть? Я не знал, что это еще такое...

Бороздчатый и глубокий звонок разбудил меня. Я подпер спиной стенку дивана. Срезанный, укороченный, иглоподобный звонок повторился. Я узнал эту манеру... а, подлец!

И почти со злорадством я раскрыл дверь. «Пауль фон Эйтцен, ты? — хотелось крикнуть мне.— Ах, черт! Или за душой пришел?!»

Мой посетитель,— клянусь, заметно укороченный и как бы снизу обкусанный,— кивнул мне головой, быстро прошмыгнул в мою комнату. Он, теперь уже не без грации, уселся на кипу «Русского архива» и, не объясняя причины своего появления, сказал голосом почти задушевным:

— Мы остановились, кажется, Илья Ильич, на том, что мне пришлось вдохнуть жизнь в имя Агасфер?

— Что же, батюшка, вы и вправду меня заморочить намерены?— сказал я раздраженно, в то же время испы-

тывая некоторое смутное удовольствие при виде моего посетителя.— Бу́дите вдобавок.— И я указал на раскрытый диван, на подушки, простыни.

— А вы и далее продолжайте думать, что спите,— хихикнул мой посетитель.— Мистика нынче в упадке и презрении, а сон еще имеет все права, тем более сон бархатный.

Единственно потому, чтоб посетитель не подумал, будто я и на самом деле чувствую себя спящим, я сказал, что согласно печатного экземпляра «Нового сообщения об Иерусалимском жиде, именуемом Агасфер» и принадлежащего перу Пауля фон Эйтцена, имя Агасфер впервые широко было брошено в мир в 1602 году. Так, во всяком случае, утверждает Гроссе, видевший экземпляр этого сочинения.

— Да, приблизительно так,— сказал посетитель.— Мне пришлось, видите ли, довольно долго и настойчиво вдалбливать это имя. Людская память ленива. Она любит брать то, что ближе ей. В Бельгии, например, меня пытались называть Исааком Лакедемом или, иногда, Григориеусом. В Италии — Баттадие или брат Джиованно. В бретонских легендах вы и поныне найдете меня под именем Будедес, что в переводе означает «толкнувший бога». Я же упорно настаивал, что имя мое — Агасфер!

— Почему вы так настаивали?

— Если идея ясна, ее выражение словом тоже должно быть ясным и точным, не правда ли? Я считал, что имя Агасфер полностью выражает мою идею. Человечество должно быстрее привыкнуть к этому имени и знать его хорошо. Кое-где этому моему желанию сопротивлялись, но вскоре я получил более того, что желал. Счастливый случай помог тому. Впрочем, относительно счастливый, конечно. Пилигрим, о котором я вам рассказывал прошлый раз, был приглашен на обед к фон Кеенам. Должен добавить также, что Клавдия фон Кеен уже имела жениха, нет, нет, не меня! По этому одному мне надо было торопиться. Женихом Клавдии был некий Карл Браман, пьяница, распутник и не без пытливости,— в известном дурном смысле, разумеется. Он был богат, княжески богат. Фридрих Варизи, тот, что был в одежде пилигрима и что ходил к святым местам замаливать грехи, тоже оказался человеком не безденежным. Пилигрим на обеде влюбился в Клавдию — и немедленно посватался. После обеда женихи отправились в кабак,— был очень хороший кабак на южной окраине Гамбурга,

под вывеской «Золотые ножницы». Здесь-то я с ними познакомился. Сильно напившись, они начали ссору,— разумеется, из-за невесты. Выждав момент, я сказал: «Ну, что вам, двум благородным и крайне честным людям, ссориться из-за какой-то продажной твари?» Они потребовали объяснений. Я сказал: «Я дам вам доказательства, а не словесные объяснения. Сколько, по-вашему, она стоит, если вы двое ляжете с нею на кровать? Предупреждаю, цена не малая». И я продал ее.

— Продали? Опоив и затащив в притон?

— Она пришла туда сама.

— Почему?

— Чтоб доказать свою любовь! Разумеется, тут подшутила немножко и Афродита. Она, при рождении Клавдии, вложила в нее чересчур много плотского. Я воздвиг слишком большую плотину, через которую это плотское не имело сил перелиться. Клавдия и не подозревала, как дрожит от напряжения эта плотина! Ну, отуманенная плотью, самопожертвованием, любовью и одновременно презрением ко мне, она согласилась. Та ночь была для меня не из важных. Я трясся от негодования на себя, на Клавдию, на этих двух плотоядных подлецов... Когда Клавдию утром увезли к ее тетке, где обычно у нас происходили свидания, я бросил два трупа, Карла Брамана и пилигрима Фридриха Варизи, против дома самого богатого еврея, обвинив в убийстве всех евреев квартала. Свидетелей я нашел с легкостью: это были те же самые латники, которые убили, по моему приглашению, и Карла Брамана, и пилигрима Фридриха Варизи. Еврейский квартал пылал, а я шел по городу и всем встречным рассказывал об Агасфере: самые долговечные легенды рождаются в огне пылающих городов, вспомните Трою.

Я говорил: при выходе из церкви я остановил пилигрима и спросил: «Кто ты? Откуда пришел? Куда идешь? Сколько пробудешь в Гамбурге?» Вот какие вопросы я будто бы задавал ему. И он будто бы ответил мне, что он — именем Агасфер, а по ремеслу — сапожник и что он будто бы собственными глазами видел, как прибивали Христа к дереву римские воины и как поднимали его на воздух и так далее! И с того времени Агасфер пошел... Он посетил много стран и городов, в доказательство чего он привел много подробностей о жизни других народов. О жизни Христа он тоже сообщил мне много нового, чего нет даже у самих евангелистов. Особенно подробно он описывал мне последние минуты Христа, так

как, видите ли, он лично присутствовал при всем происходящем, при его смерти...

Так началась слава Агасфера — и моя тоже.

— А Клавдия фон Кеен?

— Она-то и оказалась истинной виновницей всех моих ужасных страданий. Когда я, пустив легенду об Агасфере, пришел к ней с деньгами, полученными путем, вам известным, она прокляла меня. Вы думаете, за то, что я ее продал? Ну, это было бы не логично, а она обладала, повторяю, немалым умом. Она же ведь сама согласилась на продажу! Нет, она прокляла и выгнала меня за то, что я убил тех, кто оплодотворил ее... тех двух мерзавцев! Каково? Она, видите ли, не в состоянии видеть убийцу отцов ее детей,— словно она собиралась сразу родить четырех, по крайней мере. Посчитав ее проклятие недействительным и глупым, я ушел от нее, однако вожделея ее в сердце своем и дав себе слово никого никогда не желать, кроме нее!.. Но позвольте продолжить о моей славе?

— Она, по-видимому, сразу же стала доставлять вам большое удовольствие?

— Да! Это было начало мести проклявшей меня. Я тогда еще ни о чем не догадывался.

Меня начали всюду приглашать.

Из мелкого студента, сына жалкого торговца кожами, я быстро превратился в уважаемое лицо. Всюду, с амвона, и в частных домах, и в гостиницах, я рассказывал о своих встречах с Агасфером! Меня слушали жадно. Я приобрел много денег и много славы. Я ездил по Германии, был во Франции, посетил Италию.

Я говорил, кажется, что на мои расспросы Агасфер ответил, что во время суда над Христом он жил в Иерусалиме и занимался сапожным ремеслом? Кое-какие подробности о кожах, которые благодаря занятию моего отца я знал превосходно, делали рассказ мой совсем правдоподобным.

Агасфер, по моему рассказу, вместе с другими евреями, считал Христа за лжепророка и возмутителя, которого следовало как можно скорее уничтожить. После того как Пилат отдал Иисуса на распятие, его должны были провести мимо дома Агасфера. Агасфер стоял у дверей дома, держа в руке ребенка, а в другой — сапожную колодку. Волосы на его голове, как у всех сапожников, были стянуты ремешком, чтоб не падали на лоб.

Проходя мимо и сгибаясь под тяжелым обрубком дерева, Иисус остановился возле дверей его дома, чтобы отдохнуть. Он прислонился к стене, но Агасфер из злобы стал гнать Иисуса, требуя, чтоб он шел туда, куда лежит его путь. И тут, обливаясь слезами, я приводил фразу, которую вычитал в хронике Матиаса Париса и которая будто бы принадлежала Карталеусу: «Я могу медлить,— сказал будто бы Иисус,— но труднее будет медлить тебе, ожидая моего прихода». Иисус пошел, и тотчас же Агасфер опустил на землю ребенка, снял с головы ремешок и, держа сапожную колодку в руке, последовал за приговоренным. Он присутствовал при его распятии, страданиях и смерти.

Я рассказывал о них подробно, и люди рыдали, когда я говорил, что Агасфер дрожал от непонятного страха, прижимая к телу колодку, которую все еще не выпускал из рук. Колодка эта была придумана мною, и я гордился этой выдумкой: она опоясывала реальностью несколько костистое и выдуманное тело Агасфера. После смерти Иисуса Агасферу стало совсем страшно, и, будучи не в силах оставаться на месте, а того более — вернуться в Иерусалим, он отправился странствовать, и странствует по сей день.

— Он — бессмертен?

— Да, я утверждал, что он — бессмертен.

— А разве вашим слушателям не казалось странным, что Христос оставил в живых одного грешника? С образом милосердного Христа это чрезвычайно мало вяжется.

— Они верили. Я говорил, что, по мнению Агасфера, его оставили в живых до Страшного суда затем, чтобы он свидетельствовал верующим обо всем случившемся и убеждал бы маловерных. И так как никому не хотелось в те времена быть маловерным, то мне верили. Меня щедро снабжали деньгами, и обо мне шла слава как о великом проповеднике.

— Несмотря на то что реального Агасфера не существовало?

— Именно поэтому! Миф. Легенда. Глупость. И все бы шло отлично, кабы не любовь Клавдии фон Кеен. Ну, разумеется, и моя любовь к ней. Не Христос, а она, эта любовь, породила Агасфера и превратила его в реальность, то есть в меня самого.

— Однако!

— Долгое время я сам думал, что Агасфер — лицо выдуманное. И еще бы! Я подсмеивался над людским

легкомыслием и с удовольствием смотрел на шафранно-желтые монеты, которые получал как плод этого легкомыслия. Однажды, после длительной и многолетней поездки по Испании, я вернулся в Гамбург. Я остановился в гостинице «Меч и яйцо», так как думал, что после многих лет отсутствия мои комнаты в нашем доме могли быть заняты другим. Я хотел дать время, чтобы освободили их.

Слуга раскладывал мои вещи, а я пошел к нашему дому. Он показался мне более возвышающимся над другими домами, чем когда-либо, и носил он другой, несколько голубоватый цвет, тогда как прежде камень нашего дома был стального, сизого цвета. Я спросил у привратника, дома ли и как благоденствует высокопочтенный Отто фон Эйтцен, то есть мой брат.

Привратник ответил мне, что Отто фон Эйтцен умер восемь — десять лет назад, и что все фон Эйтцены перемерли, и что дом перешел по наследству к их дальним родственникам. Тогда я воскликнул, побледнев и дрожа всем телом: «Как так перемерли, когда перед тобой сам высокочтимый доктор Священного писания и слуга господа, сам Пауль фон Эйтцен!» Привратник перекрестился и сказал, что никто из фон Эйтценов не мог бы дожить до такой глубокой старости, ибо Паулю фон Эйтцену, да успокоит господь его душу, ныне было б сто сорок лет: последний раз он покинул Гамбург, направляясь в Испанию, шестидесяти с лишним лет.

Я устремился в гостиницу. Я подбежал к зеркалу. Как сейчас помню бахромчатые украшения из дутого серебра по краям языковидного стекла, в котором отразилось мое лицо. Я погрузился в него взором. Тусклое, почти растекающееся стекло показало мне длинное лицо с крючковатым носом. Несколько пергаментных пятен указывали на древность этого лица, а в остальном вы едва б дали ему пятьдесят лет. Правда, взор был притуплен и свежесть губ была обманчива... но сто сорок лет, но сто сорок лет!

Шатаясь, я вышел на улицу.

Я пересекал площадь неподалеку от еврейского гетто, когда вдруг позади себя услышал слово, произнесенное с явным ужасом: «Агасфер». Я обернулся. Еврейский мальчик, болезненный, со слабо закривленными ногами, шерстистый, большеглазый, с длинным серповидным ртом, который я помню отчетливо, глядел на меня.

Несколько детей, должно быть уважая в нем вожака, спешили к нему. Он сказал им громче, указывая на меня: «Смотрите, Агасфер!» И словно множество пробок, выпрыгивающих из воды на поверхность, когда упавшая бочка с пробкой расколется о дно, также выпрыгнуло и заплясало по всем улицам и переулкам гетто: «Агасфер, Агасфер, мимо идет Агасфер!»

Я почувствовал страх, тоску скитаний, которая уже давно мучила меня, но только теперь выявилась с неудержимой силой. Я бросился бежать.

Я бежал по Гамбургу, и вслед мне неслось: «Агасфер, смотрите, бежит Агасфер, ударивший нашего господа!» Эти слова прилипали к моим ногам, как расплавленная смола. Я смотрел на небо, покрытое приближающейся розовой корой заката, и молил небо ниспослать мне ночь. Ночь пришла. Но какая она была потрескавшаяся,— как моя душа. Я лежал в кустах. Все мышцы мои казались закостенелыми, но тоска моя была столь велика, что я встал и пошел!

Я шел и шел, а только лишь останавливался, мне казалось, что я углубляюсь в такие бездны ужаса, перед которыми страх смерти как лист перед величиной целого дерева. Я — Агасфер?! Я — тот Агасфер, о котором спорили люди весь семнадцатый век, о котором писались книги, легенда о котором с необычайной быстротой облетела всю Европу. Я — бессмертный Агасфер?! Не говорит ли это мое воспаленное воображение, напичканное глупыми книгами, а на самом деле я сластолюбивый старик, все мысли которого обращены назад, в историю далекого прошлого!

Мой посетитель почти задыхался. Его красно-синий рот был широко открыт, обнажая колесовидный оскал больших и острых зубов. Круглая тень его фигуры качалась по стеклам книжного шкафа, и мне казалось, будто лопасти парохода неслышно падают в воду, опускаются и выползают вновь... Я моргал глазами, чувствуя сильную слабость.

Как в прошлый раз, посетитель прервал рассказ внезапно, словно его вспугнули. Он вскочил и заметно более твердыми шагами выскочил в коридор, на площадку лестницы и дробно, словно еж, засеменил по ступенькам.

Я еле доплелся до выходный дверей, когда он уже был внизу, и я отчетливо услышал голос лифтерши: «Илья Ильич! Опозналась, значит?»

Жутко мне стало, когда я, вернувшись в комнату, разобрался во всем смысле этих слов лифтерши.

Можно думать о вашем посетителе как о помешанном или о том, что вообще все его посещение пригрезилось. Но когда после его ухода вы чувствуете чудовищный упадок сил, когда его фигура приобретает *ваши очертания,* когда его голос становится похожим на ваш и когда лифтерша путает его с вами, вы должны будете принять его за реальность, хотя бы для того, чтоб бороться с ним.

Я лежал пластом на диване и чувствовал себя придавленным и беспомощным. Мысли мои притупились. В голове стоял неприятный шум. Мой рот и зев были покрыты сухим и раздражающим налетом. Меня лихорадило.

Но коль скоро мне грозила погибель, раз мне не было уже покоя, я должен победить, пускай даже эта победа и ускорит мою погибель. Победить! А как победить? Добро б Агасфера можно было схватить за горло, придавить и выдавить всю правду. Нет! Физической силой здесь немногого достигнешь, а умственной хватит ли у меня? На его стороне многовековая опытность и знание людей, на его стороне — несомненная жестокая ловкость, а что на моей, что я представляю из себя?.. Впрочем, довольно самоизысканий! Не играла ворона вверх летучи, а на низ летучи играть некогда. Борись, бейся, если пришла беда!

Все последующие дни, преодолевая мучающую меня слабость и головные боли, я провел в напряженнейших размышлениях. Прежде всего я задал себе вопрос: почему Агасфер, вернее сказать, фон Эйтцен, пришел в Москву и почему именно ко мне? Он умен, хитер; то, о чем он говорит много, не имеет никакой ценности, а то, о чем он говорит мало, но о чем он молчать не в состоянии, несмотря на всю свою ловкость,— важно и ценно. Того ценней то, о чем он умалчивает.

Прежде всего, почему он толкует так нелепо слово «Агасфер»: какой-то ага сфер, начальник небесных сфер, когда это испорченное древнеперсидское слово Ксеркс. По-еврейски оно читается «Ахашверош», что почти соответствует его звучанию в клинообразном персидском шрифте. И дело тут вовсе не в небесных сферах, а в земных, очень земных. Ксеркс!

О, человечество много знает и много думает! Поистине, оно не бросает слова на ветер, а тем более на ветер вечности. Отдельная человеческая особь — смертна. Это — закон мудрый и постоянный. Ибо бессмертно лишь человечество. Поэтому человек, мечтающий о личном бессмертии,— глупо тщеславен, самоуверен, недалек и бесхарактерен, трус даже. Надо быть гордым, смелым, откровенным и верить в смерть и не бояться ее. Ибо тогда лишь придет настоящее бессмертие — бессмертие человечества. А теперь — о Ксерксе. Царь Ксеркс Первый, сын Дария Гистапса, правил Персией в 486—465 годах до нашей эры. Он был вял, недалек, бесхарактерен, легко подчинялся чужому влиянию, но отличался чудовищной самоуверенностью и тщеславием. Он называл себя бессмертным и верил в это. Жестоко подавив восстание Египта, сомневавшегося в его милостивом бессмертии и жаждавшего самостоятельности, царь Ксеркс задушил такое же восстание в Вавилоне. После этого он направился душить Грецию. Греки разбили его войско, сам он позорно бежал, и хотя война с греками продолжалась еще двенадцать лет, он уже не принимал в ней участия. Он пил вино в гареме, разбирал ссоры своих жен и разоблачал интриги своих министров. Убожество его ума и скудельность его сил, наконец, вызвали такое отвращение, что его зарезали люди, которые должны были его стеречь: начальник его стражи и главный евнух гарема... Недурен был характер у этого вечного странника, которому человечество прилепило имя царя Ксеркса? Какою едкою укоризной звучит это слово — Агасфер!

Однако несомненно, что фон Эйтцену много лет, быть может, больше того, в чем он сознается. В хронике Матиаса Париса я нашел фразу, над которой не задумывались раньше и о которой фон Эйтцен почему-то умолчал: «По словам преподобного Григория, армянского архиепископа, Карталеус, достигнув столетнего возраста, заболевает какой-то болезнью и впадает в род экстаза, после чего снова поправляется и возвращается к тому возрасту, который он имел в день, когда начал свое бессмертное путешествие». Да, почему умолчал об этих строках фон Эйтцен? Не заболевает ли он сам этой болезнью, этим родом экстаза и не встретились ли мы с ним в конце его столетнего возраста? И откуда считать столетний возраст? С того ли дня, как он стал бессмертным, или же со дня его рождения?!

Конечно же, с того дня, как он стал бессмертным!

Я перечел легенды и обнаружил, что последний раз Агасфер посетил Гамбург в 1744 году. Из Гамбурга он поспешно направился на восток. Предыдущие его посещения были более часты, но меня интересовало другое — посещал ли он Гамбург в 1644 году? Оказалось, посещал. А столетие позже? Ну, разумеется! Ведь сам же он сказал мне, что, окончив учение в Виттенберге, он приехал к родным, в 1547 году. Правда, три года разницы... а если это намеренная разница? Разница, чтоб запутать меня, не открывать того, чего ради он посещал Гамбург каждое столетие, не открывать пути, по которому он уходил из Гамбурга,— пути на восток?

Почему именно на восток?

Я еще раз тщательнейше перебрал все его слова и выражения, все его мельком брошенные фразы, и особенно остановился я на его возвращении в Гамбург, когда он впервые узнал, что превратился в Агасфера.

Если помните, он сказал, что не заехал к родным, а оставил слугу с багажом в гостинице «Меч и яйцо». Что это за гостиница и что это за странное название? Даже среди тогдашних вычурных названий гостиниц это одно из самых необыкновенных и самых малоправдоподобных. Нужно помнить, что немцы всегда старались возвеличить слово «меч», иронизируя над словом «яйцо» и особенно «яичница». Сопоставить эти два слова вряд ли бы отважился, да особенно в семнадцатом веке, какой угодно хозяин гостиницы.

Несомненно, что сопоставление это нужно было Агасферу для чего-то другого. Для чего же?

В рукописном отделе Исторической библиотеки есть ненапечатанный труд профессора Трубо: «Эмблемы и символы средневековья». Я без особого напряжения нашел сочетание «меч и яйцо». Опираясь на слова Кассиодора, Приока и Аммиана Марцеллина, а также на ученые примечания Гиббона, Линдеброгия и Валуа, профессор Трубо утверждал: «Нетрудно понять, что скифы должны были чтить бога войны и бога жизни с особым благоговением. Но так как они не были способны ни составить себе отвлеченное о них понятие, ни изобразить их в осязательной форме, то они поклонялись своим богам-покровителям под символическим изображением меча, воткнутого рукоятью в землю, возле острия которого лежал другой символ — символ жизни — золотое яйцо, золотое солнце».

Ага! Восток, скифы, меч, золотое яйцо... Сто почти лет мучает фон Эйтцена страх смерти, страх наказания, и к концу столетия страх этот приобретает особенно острую, непереносимую форму. Страх влечет его на восток, туда, где под символом «меча и золотого яйца» находится его смерть! Да, да, я понял его! Смерь фон Эйтцена лежала где-то на востоке. Мы мало говорим о своей смерти. Легенд об Агасфере, кроме заносных, не рождалось у нас на востоке, потому что фон Эйтцен избегал востока.

Наказание страшно. Пауль фон Эйтцен должен умереть, но беседа с каким-то человеком, думающим о нем, дает ему надежду на жизнь. Именно этому человеку Пауль фон Эйтцен должен рассказать о своей смерти! Если он способен обнаружить смерть бессмертию — Пауль фон Эйтцен умрет в ужасающих страданиях. Если же человек будет недостаточно дальнозорок, он погибнет, снабдив Пауля фон Эйтцена новыми жизненными силами, и Пауль фон Эйтцен отправится в новое путешествие, в новые сто лет!

Вот к каким необычайным выводам пришел я, размышляя об Агасфере и Пауле фон Эйтцене. Вы можете говорить обо мне что угодно, но вы должны согласиться, что при обстоятельствах, в которых находился я, других выводов быть не могло. Повторяю, я реальный человек реальнейшего двадцатого века, живущий в наиреальнейшем государстве, и если я пришел к таким необыкновенным выводам, значит, я имел к этому серьезные основания. Одно из них было то, что я *уменьшился* в росте, голова моя начала суживаться и *удлиняться*, голос ослабел. Короче говоря, я приобретал вид Агасфера, в то время как Пауль фон Эйтцен, несомненно, приобретал *мой вид!*

Я живу в Замоскворечье, неподалеку от Крымского моста. Вы помните, наверное, этот мост, похожий на среброкрылого жука, эти крылья, сахароподобно сверкающие на июльском солнце; рыжеватую кайму реки под ним; парк культуры и отдыха рядом, откуда выглядывают дула трофейных пушек.

Я шел через мост, возвращаясь из продмага, к которому я прикреплен. Ноша легка, но нести ее было тяжело: руки мои словно из песка, да и сам я весь бесформенный, мешкообразный.

Где-то *надо мной* раздался знакомый голос:

— Не помочь ли вам, Илья Ильич?

Вровень со мной,— нисколько *не ниже* меня,— шел мой, так хорошо знакомый, посетитель. Лицо его заметно поправилось, костюм был на нем новый, с широкими модными плечами и едва ли не из американского материала и вообще весь его колер был нахальный, лососево-красный. Шагал он с черзвычайной подвижностью, передергивая плечами от удовольствия и даже пританцовывая:

— Оздоровляющий воздух и сияние, Илья Ильич, а? Я всегда, пересекая Москву-реку, чувствую себя, видите ли, очищенным. Целебнейший город, батюшка, наицелебнейший. А я на вас смотрю и думаю,— кажется, он? Изменился Во мне — смятенье! Испуг! Обморок. Ха-ха-ха!.. Таких бы делов человек наделал — беда, а тут до чего довели, ха-ха-ха!..

С его точки зрения, он совершенно правильно сделал, что выбрал для разговора улицу. Он мог плести, сколько ему угодно, вставлять любые и необходимые для него *слова,* а я — только разводи руками. Мой ослабевший голос не покрывал бы текучего шума улицы, и фон Эйтцен всегда мог бы сослаться на то, что не слышит. И выходило так, что он очень остро издевался надо мной, а так как он брал всю мою жизнь, то и над моей жизнью. Так тому и быть...

Нет! Именно поэтому-то и не быть!

Я собрал последние силы, вскочил, под режущий уши свист милиционера, в трамвай и, не обращая внимания на брань и крики, протискивался к выходу. «Изгонять чертей, так изгоняй решительно!»— бормотал я, выскакивая через одну остановку.

Так же поспешно я перешел улицу и поднялся, прыгая через ступеньку, к лифту. Лифтерша еле успела спросить: «Братец будете Илье Ильичу?»— причем неизвестно было, к кому обращен был ее вопрос: ко мне или к фон Эйтцену.

Я бросился на диван. Стакан, наполненный водой, плескался в моей руке. Я медленно, глоток за глотком, поглощал воду и смотрел на встревоженное лицо Клавы. Да, да, она ждала меня в моей комнате!

Я предложил Клаве чаю. Она отказалась. Собственно, мне ей нечего было предлагать. Чаю у меня не было уже несколько месяцев. Иногда я ездил к своим знакомым в Толстопальцево, собирая там в лесу листья брус-

ники. Я утверждал, что настой из брусники очень тонизирует, гораздо больше, чем настой чая. Вряд ли знакомые верили мне. Они спекулянты, у них водится чай, сахар и даже печенье. Они, по-видимому, считают меня за сыщика, из тех, которые голодают,— есть и такие,— и которых можно подкупить продовольствием. Они усердно угощают меня. Мне стыдно,— какой я сыщик!— но я не отказываюсь от еды и говорю многозначительно. Ах, какая гнусная жизнь!

— А вы очень изменились, Илья Ильич.

— Ослабел.

— На улице возможно, я бы вас не узнала.

— К лучшему.

— Зачем меня обижать, Илья Ильич! Я вышла замуж по любви.

— Пару дней назад вы говорили другое.

— Врала.

— И насчет лысины?

— Нет, насчет лысины правда. В конце концов как его не любить? Ко мне, представьте, явилось пятеро родных из разбомбленного города. Больные, голодные. Теснота ужасная. Именно тогда он предложил стать его женой. Именно тогда я полюбила его.

— За доброту?

— Это великое качество!

— Ко мне вы некогда испытывали другое чувство, не правда ли?

Она промолчала. Я переспросил:

— Другое? Более плотское, а?

Она сказала:

— Пожалуй, я уберу вашу комнату. Вы, Илья Ильич, наверное, не убирали ее уже несколько дней...

— Недель, пожалуй.

Был вечер. Она убрала комнату, заварила листья брусники, попробовала мой хлеб, отложила его в сторону и, вяло улыбнувшись, достала из сумочки пирожки. Она молча положила их передо мной.

«В конце концов почему мне их не есть?..»— подумал я. Я не успел додумать, как пирожки уже были съедены. «Свинья и я, свинья и она, и безразлично, из какого корыта едят эти свиньи». Понимая, по-видимому, мои мысли, она, глядя мне твердо в глаза, медленно проговорила:

— Я буду приносить вам каждый день. Это тоже доказательство, что не совсем продалась.

Я вдруг обеспокоился. Связки «Руского архива» куда-то исчезли. Но она ведь не переставляла ничего! Ах да! Уходя сегодня в продмагазин, я их убрал под кровать. Я быстро сказал:

— А уж поздно, и у вас пропуска нет, Клава?

— Откуда ему быть?

— Еще полчаса, и тогда вам придется остаться здесь. Соседи, правда, тихие.

— Зато вы, Илья Ильич, нынче громкий.

Она засмеялась. Нехороший и недобрый был это смех! И однако, он нравился мне.

— Клавдия фон Кеен тщетно преследовала Агасфера сотни лет,— сказал я.— Он страстно желал, чтобы она догнала его: пусть даже это будет смерть! Мучительнейшее состояние, и все же он жаждал его.

Она ничего не сказала мне на эти слова: словно и не слышала. Полчаса между тем миновало. Она опять взглянула на меня тем твердым взглядом, от которого я весь содрогался, провела ладонями по своей голове, словно собираясь расплетать косы, но затем, раздумав, видимо, положила руки на колени. Так она сидела минут десять — пятнадцать, затем неторопливо поднялась и медленно, но умело разложила постель.

— Кабы полгода назад...— начала она, взбивая подушку.— Но люди так глупы, так глупы! Илья Ильич.

— А?

— Бросили бы вы думать об этом Агасфере.

— Да я уже от него отказался, от сценария то есть. А между прочим, почему?

— Не люблю я евреев.

— Вот тебе на! А что они тебе, Клава, сделали? — задал я вопрос, имеющий почти двухтысячелетнюю давность.

— Ничего. Да и я им. Впрочем, я и татар не люблю.

— А русских?

Она вдруг обняла меня и поцеловала.

По-видимому, со мной случались обмороки, которые я, так сказать, переносил на ногах. Во всяком случае, я совершенно не помню, когда исчезла Клава и когда появился фон Эйтцен.

С усилием размахивая руками, точно ломая скалы, я внезапно спросил его:

— Клавдия фон Кеен гнала вас к смерти, обещая у

порога ее свою любовь? Так? Вы — шли, но, не дойдя до смерти, быть может, трех шагов, пугались и кидались к тому, кто пожалует вам свою жизнь. Сейчас я тот, к которому вы свернули. Ну что же, я согласен. Я дам вам жизнь, если вы назовете место, где вы должны встретиться с Клавдией фон Кеен... то место, которое вы скрывали сотни лет.

Шероховатое и *округлившееся* — мое!— лицо Агасфера словно покрылось тонким слоем мыльной пены. Сквозь этот слой вспыхивали и испуганно гасли кроваво-красные глаза. Я со вкусом повторил:

— Да, вы должны мне сказать, где находится ваша смерть, Агасфер! Пора. Вам, по-видимому, известно, что до сих пор в Пикардии и Бретани, когда ветер неожиданно взметет придорожную пыль, простой народ говорит, что это идет Агасфер. Мне хотелось, чтоб говорили: «Пыль есть пыль и это даже не пыль от Агасфера»,— и смеялись бы, ха-ха-ха... Пришло время!

Он сел опять на экземпляры «Русского архива»— откуда они?— и, вытянув ко мне мясистую — мою! — круглую голову, словами как бы пополз ко мне, чтобы завиться вкруг меня и— задушить, высушить:

— А не забросить ли нам всю эту болтовню, как зазубренный топор, а, Илья Ильич?! Не взять ли, так сказать, извозчика и отправиться в другую сторону?..

— Беда, ха-ха-ха, бежать надо от беды, ха-ха-ха!..— смеясь через силу, чтобы ошеломить его, сказал я.— Ведь вы остановились на рассказе об Испании? Анно, тысяча пятьсот семьдесят пять?..

Я поймал его! Он поддавался моему смеху. Он испугался! Он послушно шел за мной, за *моими* словами, за *моими* мыслями. Потирая руки, я глядел на него, а он бормотал:

— Да, да! Анно, тысяча пятьсот семьдесят пять? Господин секретарь Кристоф Краузе и магистр фон Гольштейн пребывали некоторое время, видите ли, в качестве посланников при королевском дворе в Испании, а затем в Нидерландах. Вернувшись домой в Шлезвиг, они рассказывали, подтверждая клятвами, что видели в Мадриде удивительного человека, которого двадцать один год назад видели в Московии...

— Верно. Ха-ха-ха...— откинувшись на спинку дивана, сказал я.— Он пришел из Московии? А что говорит — анно, тысяча шестьсот сорок три, а?..

И тогда Агасфер послушно сказал:

— Анно, тысяча шестьсот сорок три? Илья Ильич!..

Я сказал совсем строго:

— Ну?

И тогда Агасфер сказал то, что я ждал страстно:

— Анно, тысяча шестьсот сорок три? В Кристмонде правдивым лицом из Брауншвейга написано, что в то время известный чудесный человек находился в Вене, затем в Любеке, затем в Кракове, а затем пошел в Гамбург, намереваясь побывать...

— Где побывать?— грозно привстав, спросил я.

— В Московии,— ответил он шепотом.

— Появлялся ли он в Московии?

— Хроники говорят: там его многие видели.

— Агасфера?

— Да.

Я воскликнул с торжеством и тревогой:

— И для приобретения жизни вы должны вызвать к *себе жалость* того, кто даст *вам жизнь* и возьмет *вашу смерть?*

Он прошептал своим, уже размочаленным, голосом:

— Вы меня, Илья Ильич, ведь жалеете...

Это был не вопрос или утверждение, это была просьба, унылая и молящая. Я расщепил его на мельчайшие волокна, и он сознавал это! Ему оставалось одно: вызвать во мне жалость к нему. Ту российскую традиционную жалость, которая и каторжника, убийцу невинных детей и жен, способна назвать «несчастненьким», ту жалость, которую в наши дни, когда много кричат о России и русских, вызвать особенно легко.

Я сказал:

— Ну что же, мне жалко вас, фон Эйтцен.

Если бы вы видели, как он подпрыгнул! Столетия он привыкал сдерживаться, а вот, смотри-ка, не сдержался. Он завизжал почти по-собачьи:

— Боже мой! Как хорошо, Илья Ильич!

«Считает меня совсем за дурачка»,—подумал я с раздражением, и жалость, если она действительно была, покинула меня.

Играя им, я сказал небрежно:

— Ну, что нам говорить о смерти! Вам, несомненно, пришлось многое испытать, однако смерть от вас далека. Очень далека.

— Разумеется, хе-хе-хе, далека, разумеется! В том-то и беда, Илья Ильич, что далека, хе-хе-хе! Мое столетие, видите ли, не кончилось.

— Ну, какое там столетие? Вам едва ли дашь шестьдесят лет.

— Значит, мой возраст не внушает вам опасения? — произнес он настолько вкрадчиво, что у меня похолодело под ложечкой. Но нащупывать истоки его смерти доставляло мне такое болезненное, а вместе с тем приятное удовольствие, что я не прервал опасной нити разговора, а сказал:

— Какие опасения!

Он весь так и расплылся в улыбке скорпионоподобной, если допустить, что скорпионы способны улыбаться.

Я внезапно повернулся к нему всем телом и спросил:

— Ваша смерть — на востоке? Вы приблизились к ее центру? Поэтому-то вы можете жить здесь более трех дней?

Думаю, что фразы мои обрушивались на него с тяжестью тех скал, о которых я говорил недавно. Он съежился и как бы вползал в какую-то щель, тряся головой и судорожно перебирая пальцами. Только взгляд его готов был пробить меня, как доску гвоздем, и, содрогаясь от ненависти к этому взгляду, я сказал:

— Она ужасна, *ваша смерть,* фон Эйтцен?

Я услышал шепот из щели:

— Да!

— Она — непереносима, эта ваша смерть, фон Эйтцен?

— Да!

Я продолжал наносить удары:

— Где же она находится, *ваша смерть*, Фон Эйтцен? Скажите мне адрес вашей смерти? Огорчил? Печалюсь, ха-ха-ха! Кручина большая, но говорите мне адрес вашей смерти!

Он быстро привстал. Или он хотел убежать, или — броситься на меня. Но, привставши, он, словно накрепко увязанный веревками, что от резкого движения впивались в тело, рухнул на пачки «Русского архива», из которых хлынула пыль.

— Она... она здесь...— еле шевеля распухшими, толстыми, точно из войлока, губами, ответил он.— Она, видите ли, здесь, Илья Ильич, здесь...

— Не молвя — крепись, а уж молвя — держись,— едко сказал я ему.— Так что же это значит: «здесь?» Здесь, в Москве?

— Возле...

— Да вы что, издеваетесь надо мной?!— крикнул я.— Говорите мне точный адрес!

Разговор с ним мне стоил дорого. Силы мои заметно уменьшались. И покуда сознание не покинуло меня, я подзадоривал себя всячески, а ему всячески показывал, что сил во мне еще много. «Самое главное, самое главное, не дать ему ускользнуть, надо показать ему мое могущество»— твердил я.

Он, поежившись, ответил:

— Станция Толстопальцево. Киевской железной дороги. От станции влево. Третья поляна. По ту сторону тропинки, на юг, шестое дерево... в корнях.

И тогда я резко задал ему последний вопрос, которого, по-моему, он особенно боялся:

— Какой вид у вашей смерти?

Я заметил уже давно, что слово «смерть» он не произносил. Оно шатало его, валило с ног. Поэтому, едва только он проявлял желание увильнуть, я бил его этим словом.

— Лежит... лежит, видите ли... лежит, Илья Ильич!

— В чем лежит ваша смерть? В коробке? В бутыли? В суме? В кошеле?..

Он кивнул.

— В кошеле?

Он еще раз кивнул, но совсем слабо.

О чем мне еще говорить с ним? Усталыми глазами я смотрел, как он, шатаясь и держась обеими руками за дверки книжных шкафов, плелся к выходу. Мне страстно хотелось, чтоб он исчез возможно скорее, особенно после того, как я заметил, что он *разного* со мной роста и что моя кепка, которую он взял со стула по ошибке, была ему как раз по его *круглой* голове.

После его ухода я почувствовал изнеможение, голова закружилась, и я грохнулся на пол. Очнувшись, я стал перебирать в памяти происшедшее. Голова работала, хотя и медленно, но ясно. Одно обстоятельство, на первый взгляд пустячное, заставило меня вскочить.

Я припомнил свою привычку: когда я говорю с кем-либо, мои руки машинально берут со стола книгу и начинают ее поглаживать по переплету, как вы, например, ласкаете кошку по шерстке. Так вот, *то же* самое делал мой посетитель! Мороз, именно вяжущий и мелкощетинный,

мороз подрал меня по коже. И в то же время, неизвестно почему, я вспомнил и начал бормотать фразу из Островского: «Поди-ка, поговори с маменькой, что она тебе на это скажет». И я не мог припомнить: то ли это из «Бедности не порок», то ли из «Грозы». Боже мой, да и какое мне до этого дело, когда тут такие змееуползающие дела!

Его день жизни двигался по моей, как двигается поршень на всем протяжении цилиндра машины. А мой день?! Неужели я позволю усыпить себя... Прочь! Да вставай же, Илья Ильич! Руки! Ноги!

Превозмогая тошноту и боль под сердцем, я нашел какую-то палку и, опираясь, потащился к выходу. Кожа моя лупилась, словно я ее обжег на солнце, а руки до локтей были покрыты клейким потом.

Не помню уже, каким образом добрался я до кассы пригородных поездов. Знаю только, что с севера попрежнему дул холодный ветер, а края низких облаков, быстро бегущих по небу, были оранжевы, блестяще-шелковы.

— Вы давно ждете?— услышал я слабый голосок Клавы.

— Жду фон Эйтцена,— без всякого удивления ответил я.

— Кто он?

— Агасфер. Но ему недолго им быть.

— А почему, собственно, он должен смотреть вместе с нами комнату, где жить нам?

«Нам? Значит, мы почему-то должны передать кому-то...— может быть, родственникам Клавы или Агасферу?..— мою комнату и переехать в Толстопальцево?»— подумал я смутно и сказал:

— Я хочу показать тебя Агасферу. Ты не отказывайся: это доказательство твоей любви ко мне.

— Согласна и на большее.

— А на что именно?— спросил я с трепетом.

— На все, что ты велишь.

— Нет, не на все!— закричал я громко.— Мало ли какие идиотские мысли мелькнут в моей голове. Ни в коем случае нельзя подчиняться всему! Ни в коем.

— Именно всему. Это и есть любовь.

— Но мне приходит в голову чудовищное. Если оно придет, не верь ему.

— Я верю всему, что ты говоришь.

— Даже существованию Агасфера?

— Даже!
— Ха-ха!
— Чему ты смеешься?
— Как быстро ты дисциплинировалась.
— Тебе не нравится?
— Нет. Мне бы хотелось видеть тебя недисциплинированной. Давно когда-то на островах Фиджи прибывший туда путешественник узнал, что стоящий перед ним вождь дикарей съел семьсот островитян. Путешественник сказал: «Но неужели вам, вождь, не противно было есть людей?» Вождь, вздохнув, ответил: «Есть их было действительно противно,— они такие недисциплинированные!» Смешно, верно?
— Смешно.
— И будет смешно, если я тебя захочу съесть?
— В Ленинграде одна моя подруга отдала свое тело своему любимому. Там, знаешь, ведь сильный голод,— ответила Клава спокойно,— и там всякое случается. Мы будем ждать?
— Агасфера? Да, мы будем ждать. Если я напугал его — он придет. Если нет — он нашел лазейку... впрочем, я не уверен!
Ушел трехчасовой. Следующий в четыре десять.
Двое каких-то знакомых с корзинками подошли к кассе. Они ехали по грибы. С участием они расспросили меня о здоровье и дали адрес гомеопата. Покупали билеты огородники с лопатами, завернутыми в тряпки, военные. Какой-то курносый юноша в полосатых брюках пожимал украдкой руку девушке, а та, нежно и гибко качаясь, улыбалась, показывая ряд крепких, северных зубов. Ушел и — четыре десять.
— Спал хорошо, милый?
— Великолепно.
Где уж там великолепно!
Всю ночь меня мучил бред и тупая, печатеобразная боль в боку. Я вставал, поднимал затемнение. Переулок наш выходит на широкую улицу. Я видел движение машин, везущих орудия и снаряды. Там где-то фронт, моя дивизия, товарищи, а я здесь — совершенно беспомощный. Ах, еще бы хоть ложечку силы, крупицу жизни! Я б ее употребил так умело, так умеренно, что никакому Агасферу не миновать и не обмануть меня!
— Что-то говорит мне, дорогой,— он не придет.
— Нет, придет!
Она права. Он не придет. Он взял от меня все, что

ему надо взять. А я... я — умирай!.. Я — покидай эту изумрудно-зеленую, шелестящую непрерывно листву, эту девушку в полосатой юбке, что улыбается крупными, как бобы, зубами и жмет руку молодому человеку. Пусть не мне, пусть, но я счастлив, что вижу, как она жмет ему руку и как шелестит это дерево, возле корней которого богатые впадины, где в жаркий день приятно прилечь... Нет Агасфера? Найди его! Поймай! Но где найдешь его, у кого спросишь и как спросишь?.. Граждане, вы не видели некоего Агасфера, похожего... похожего на меня, а, ха-ха-ха!..

Голова моя гудела, как пустое ведро. Я сжимал зубы, закрывал глаза. Я тер руками лицо, потому что кожа казалась мне грязной,— и сам я грязный, глупый, сбивчивый и бестолковый, как плоскодонная лодка.

— Клава, ты меня любишь?

— Безумно!

Вопрос, разумеется, банальный, да и ответ не лучше, но в глазах ее светится такое, что ярче и выразительнее любых не банальных слов.

— И готова доказать?

— Я уже доказала: бросила мужа и...

— Подожди, подожди!..

Я отвел ее от кассы. Мы остановились против входа на перрон. Я вспомнил, как ночью, перед рассветом, подошел к окну и поднял синюю бумагу, этот паспорт войны. Небо было холодное, глубокое, как только оно бывает поздней ночью. На краях стекол осела роса, и в ней дрожали разноцветные звезды. Я глядел, не отрывая глаз, на эту росу. Мучительный стыд охватил меня. Как я беспомощен! Неужели я ничего не придумаю?..

— Подожди, я потребую от тебя большую жертву... огромную! Быть может, бо́льшую, чем отдать мне на съедение свое тело.

— Я готова, милый.

— Не торопись, не торопись! Видишь ли, эти слова будут вроде заклинания: он, Агасфер, должен явиться на них. Ты сейчас будешь Клавдия фон Кеен, и ты должна будешь вернуть свою любовь Агасферу.

— Вернуть? Но я его никогда не видела, дорогой.

— Увидишь, как только скажешь, что согласна вернуть. Согласна.

— Я подчиняюсь тебе, дорогой.

— Нет, ты скажи, что согласна!

— Согласна,— ответила она твердо.

— Агасфер, вы?!

Клава с удивлением переводила глаза — с меня на него.

— Похожи? — спросил я быстро.

Она нехотя ответила:

— Есть некоторое сходство.

«Некоторое? Ха-ха! Абсолютное!»

Он теперь — высок, широкоплеч, широколиц, с маленьким подбородком и узкими, пронзительными глазами. Я — низенький, узкий, длинноголовый и тусклый, тусклый. И, глядя на него, я думал последними остатками *моего* интеллекта: «Вот она, снисходительность к врагу. Ты сам почти отдал ему все, что имел!» Я, разумеется, как всегда, преувеличивал. Отдано не все, раз я в состоянии бороться и думать, — однако отдано много. А как же иначе? Что я мог сделать? Должен же я узнать — чем и как вооружен мой враг? И в конце концов что такое моя жизнь, если враг всего человечества — побежден и ползает у моих ног?

Лишь бы не сплошать, лишь бы не промахнуться, Илья Ильич!

Я твердо знал, что не промахнусь. У меня есть средство для достижения цели. Неопровержимо, что он *должен* отвечать на мои вопросы о его смерти. Почему *должен?* А потому, что тысячу лет назад мои свободолюбивые предки — скифы признавали только двух богов: меч, защищающий нашу свободу, и — золотое яйцо, символ нашей жизни и творчества. Этим священным мечом они пронзали зло, и хотя не убили его совсем, хотя и зло осталось, но ведь остались и потомки, которые тоже могут держать меч! Ибо меч свободы на моей земле, и когда я с моей земли спрашиваю врага и он видит в моих глазах отблеск стали бессмертного меча моей родины, он, дрожа от злобного испуга, *должен* отвечать мне.

— Адрес вашей смерти, — спросил я, — Толстопальцево?

Он молчал, не отрывая глаз от Клавы. Какой там меч, какие скифы, какое там золотое яйцо! Любовь владеет и повелевает миром, а все остальное — шовинистическая болтовня и умственное ничтожество. Именно любовь, а не меч и золотое яйцо ведут нас в Толстопальцево!

— Толстопальцево?

Растопырив пальцы и поводя ими перед лицом Агас-

фера, я повторил свой вопрос. Мне было не легко. Даже мои пальцы, казалось, натыкались на колючие взоры моего посетителя, а про сердце и говорить нечего. Мне все думалось, что я вот-вот сорвусь, как срывается напряжение, когда свернешь нарез винта. Хмелем кружилась голова, во рту был дикий, острый вкус:

— Агасфер! Вы что, думали смести меня метелкой, как сметают пыль со стола? Вы думали, что вся моя жизнь уже в ваших руках, Агасфер? Нет! Нет! Пусть вы взяли половину моей жизни, пусть даже три четверти, девять десятых, а все же ваша жизнь вот где...

И, почти дотрагиваясь до его, от волнения покрытой словно мелкими и серыми чешуйками, я раскрыл емкую мою руку.

— А вы куда?— по-прежнему пристально глядя в лицо Клавы, спросил он.

— В Толстопальцево.

— А вы?— крикнул я ему.

— В Толстопальцево,— ответил он.

— Так поехали же!

Он послушно выпрямился и,— огромный, седоволосый,— поднялся надо мной с такой покорностью, что у меня, перед моим собственным могуществом, захватило дух. Я пролепетал:

— Указывайте путь!

Кассирша Киевской пригородной выбросила нам три билета шестой зоны. Я взял твердые темно-желтые квадратики.

Он сидел на скамейке против меня, опустив круглую голову и зажав руки между колен. В вагоне сильно курили, проходили певцы, пренебрежительно ставившие гармошку на колено и рассыпавшиеся фальшивыми звуками; слепой инвалид с заношенными ленточками ранений рассказывал об обороне Севастополя; девушки-зенитчицы смотрелись в карманное зеркальце, излучавшее густо-сплоченный свет. Почти без толчков, словно курьерский, несло вагон, и молочницы говорили, что пригородные поезда водят самые лучшие машинисты, а огородники с уважением поддакивали: «Как же иначе, молоко ведь расплескаешь!» И неизвестно было: кто над кем подсмеивался.

Вместо нижней пуговицы у воротника гимнастерки болталась и падала на небритую щеку его длинная су-

ровая нитка. Я смотрел на этот крошечный подбородок фон Эйтцена, так не вяжущийся со всем большим и круглым его лицом, и думал: «Кто же он, наконец? Шутник, диверсант, сумасшедший, больной манией преследования, контуженный при бомбежке или — потерявший семью? Узнаю я правду, или он опять убежит от меня? И что произошло, что заставило меня поверить ему? И кто я такой? Шутник, сумасшедший, контуженый?..» Нитка падала ему на толстые, распухшие губы, он нетерпеливо снимал ее, и ветер, рассеянно падавший в окна вагона, перебрасывал ее на грудь.

Кто он? А что, если — Агасфер? Биологически, повторяю, бессмертие невозможно — это всем известно, но никто не станет отрицать долголетия, и долголетия самого феноменального. В старину ученые эмпирически открывали, несомненно, такие тайны природы, к которым мы сейчас лишь подходим. Не могло ли так случиться, что он, этот неизвестный, открыл некую тайну долголетия, а затем от того же долголетия заспал ее, как неряшливая и усталая мать, случается, засыпает, удушает насмерть своего ребенка? Прожить почти пятьсот лет?! Сколько можно видеть, слышать, чему только научиться?! Какие бы можно было написать мемуары и каким бы можно было быть преподавателем истории?! А какие бы характерные черточки он дал для сценария фильма?!

Но когда мой спутник поднимал на меня безжизненные глаза, словно наполненные мелкой пылью, мысли мои пресекались и я направлял свой взор в окно. На проселке, бегущем вдоль железнодорожного полотна, словно пунктиром обозначая наш путь, сидели узкокрылые молодые грачи, учившиеся летать.

Молочницы, возвращающиеся из города, как известно, страдают в эту пору от мягких чувств. Они много подают певцам и жалуются на мужей. Одна из них, жгучеволосая, с длинными ковыльными ресницами, глядя на фон Эйтцена, сказала:

— Избаловались наши мужики. Сегодня — одна, завтра — другая. Уж лучше за инвалида выйти! — И она перевела свой густой взор на меня.— Верно говорю, инвалидушка?!

Спасибо этой молочнице. Если и возникла опять во мне жалость к Паулю фон Эйтцену, то она при этих словах, быстро исчезла. Я спросил Клаву:

— Вы не отказались от вашего решения?

Она ответила с тоской:

— Нет.

И, помолчав, добавила:

— Если вы настаиваете.

Я тоже помолчал. Назвать эту худенькую, плохо одетую девушку страстной Клавдией фон Эйтцен из средневековья — не насмешка ли над ней и над собой? Но что делать, раз жизнь так сложна и так отвратительна! Я сказал фон Эйтцену:

— Клавдия фон Кеен — ваша! Она догнала вас и снимает с вас имя Агасфер. Верните мне мою жизнь.

Он взглянул на Клаву. Она наклонила голову и сказала:

— Я ничего не понимаю, но раз он так хочет...

И она опять умолкла.

Шагая по остаткам «козьих ножек», докуренных до такой степени, что не оставалось не только бумаги, но и отпечатка типографской литеры, мы вышли на площадку вагона. Мальчишки — не то ягодники, не то грибники — спрыгивали на ходу, крича: «Сюда, сюда, живее, толстопальцы!»

Начальник станции, хромой, в большой алой фуражке, передал девушке-машинисту проволочный круг, вроде того, через который прыгают клоуны в цирке. Поезд двинулся дальше, и мы почувствовали холодный сильный ветер, дующий с севера. Низкие, крупно-ребристые тучи бежали над чернолесьем, в которое надо было нам сворачивать.

Наш спутник стоял неподвижно. На плотном затылке его вились тонкие волосики, давно не стриженные, и меня резануло по сердцу: «Черт возьми, да ведь это *мои* волосики, мне многие об них говорили, хотя бы та, кто меня так любит!» И я повторил:

— Адрес вашей смерти — Толстопальцево?

Фон Эйтцен, сморщив лицо, шагнул вперед.

Странно все-таки, что ни фон Эйтцен, ни я, ни Клава и не подумали задержаться в поселке, где она собиралась снять комнату. А я даже и не вспомнил о своих знакомых — спекулянтах, словно они здесь и не жили!

Станция скрылась в мелколапчатом чернолесье.

Травы между проселком и лесом были недавно скошены, но уже успела подняться сильная и сочная отава. Перед осинами, мелко шелестящими, за которыми и начинался серьезный бор, ели и сосны, которые если и раскачивались, то раскачивались не зря; перед осинами

виднелись низко остриженные кочки, на которых отава росла, должно быть, медленнее. Три-четыре соломенно-желтых листка, даже и летом падающие с осин, небрежно лежали на этих кочках, будто кто-то щедрый забыл сдачу...

Голова моя работала теперь хорошо и ясно. Шагал я твердо и, думается, не без сознания собственного достоинства. Именно это-то достоинство и придавало реальность всему странному происшествию.

Мы прошли не более трех километров. Лес приблизился плотно к проселку. Гул ветра в его кронах был похож на дурман. Небо было затянуто капустными тучами, бело-голубовато-зелеными, несомненно предвещающими бурю. Стволы елей испускали пепельно-сизый блеск, сосны были тревожно-никелевы, а затерявшиеся промеж них березы стояли все словно в коленкоре.

Наш спутник повернул вправо, по тропинке. Помню у поворота низенький можжевельник, весь завитый в кольца. Наш спутник быстро шагал, почти бежал. Дыхание у него было ровное. Мне же дышалось тяжело, но я молчал. Я смотрел только на тучи. Мне казалось, пойди дождь — и наш спутник немедленно исчезнет в сетке дождя.

Тучи, не переводя духа, неслись над деревьями, пригибая их все ниже и ниже к земле. Сильно пахло сыростью. Мы вступали, видимо, в область болот. Появлялись заросли осоки, той едкой и колючей осоки, которую никто не косит. Горизонт суживался до размеров палисадника. Всюду трещало и выло, и казалось, будто над нами вытрясают пыль из савана.

Спутник наш шел, балансируя руками, словно по проволоке. Да и то сказать, тропинка была очень узка. Сквозь кочки и осоку просвечивали сине-багровые пузырчатые воды. Откуда эти древние вековечные болота? Под Москвой?!

— Дорогой, долго еще идти? — послышался позади тихий и ласковый голос Клавы.

Не оборачиваясь, я ответил:

— Скоро.

— Скоро! — подтвердил фон Эйтцен.

Изредка на полянах шум бури стихал. Тогда мы слышали гул орудий. Видимо, неподалеку учились стрельбе артиллеристы. Впрочем, артиллерийские залпы казались треском и шумом падающих деревьев, и я невольно закрывал глаза, думая, что деревья валятся на меня.

Узкая, несколько расширяющаяся на юг просека. Сгнившие пни, покрытые великолепным фарфорово-зеленым мхом. Посредине просеки — высокий стог сена, прикрытый от дождя и ветра увядшими березовыми ветвями. За стогом — огромный, в десять охватов, дуб, лениво шелестящий тяжелой, яшмовой листвой. Казалось, он улыбается над бесплодными порывами ветра, над этими медвежьего цвета тучами с шалфейно-желтыми краями, то и дело выгоняющими из себя отростки.

Наш спутник согнулся, повернув к нам лицо. Губы его были судорожно втянуты, и такой страх был по всей его фигуре, что я отступил, хотя мне и хотелось услышать, что он бормочет.

— Здесь!

И он взглянул на Клаву.

— Узнаете?— спросил он.

— Я никогда здесь не была.

— Обманул?— крикнул я.

— Зачем, зачем мне вас обманывать?— воскликнул фон Эйтцен.— Посмотрите вон туда, на гребень, на дуб!

И он опять, почти истошным голосом, крикнул Клаве:

— Узнаете теперь?

— Да ничего я не узнаю.

— Уйдете со мной?

— Ой-ой-а-а-с-с-ф!..— подхватил ветер.

Сверкнула молния, самого густого цвета розы. Она провела по тучам схему горного хребта, и бархатистая матовость прикрыла молнию.

Кругло, железно-выпукло ударил гром — и огромный дуб, стоявший по ту сторону просеки, величественно покачнулся. Вздох пронесся по лесу. Листва дуба с горьким шумом упала на стог и скрыла его под собою.

Фон Эйтцен бросился, вытянув руки вперед, через просеку, к дубу. Пояс, перетягивавший его грязную гимнастерку, поднялся почти под мышки. Не знаю почему, но этот брезентовый пояс возбудил во мне ярость. Я схватил моего спутника за пояс и, несмотря на то что противник мой был выше и тяжелее меня едва ли не в три раза, откинул его в сторону, и он упал среди кочек.

— Держи его, милый, держи!— слышал я рядом с собой голос Клавы.

— Не убежать, шалишь!

Дуб лежал, вытянув кверху толстые, цвета густой

умры, корни. Они еще трепетали, и с них сыпалась мокрая земля.

В глубине, между вывороченных камней, я увидал продолговатый, обитый по краям медью, сундучок, несколько похожий на старинные кожаные футляры, в которых некогда хранились ценные охотничьи ружья. Сундучок при падении дуба, должно быть, сдавило камнями или землей, и, когда я наклонился к нему, я разглядел трещину, пересекавшую его вдоль. Я прикоснулся. Сундучок распался надвое. Выкатился небольшой меч и длинная синяя сумочка, плетенная из металлических колец. Внутри сумочки что-то поблескивало.

— Клад!

Молодая женщина толкнула меня локтем в бок и, смеясь, очень, по-видимому, довольная, устремилась к сундучку. Фон Эйтцен, оцепенев, глядел на мои руки. Губы его еще шевелились:

— Пожалуйста, Илья Ильич, очень прошу вас, осторожнее. Опасно...

Фон Эйтцен стоял среди кочек, в болотной нежно-лиловой лужице. Там было мелко, едва доставало до лодыжек, и, чтобы лучше видеть сундучок, он поднялся на кочку. Мальчишеское почти веселье овладело мною. Я крикнул:

— Слушайте, вы, припухлость! Ведь тут действительно меч и яйцо. Я вам сейчас покажу...

— Не трогайте, не трогайте!— продолжал он вопить, присев на кочку.— Умоляю вас, не трогайте!

Я всецело был поглощен находкой. Приятно и мило было прыгать по корням дуба, которые качались подо мной; приятно было взять в руки пепельно-серую холодную сталь лезвия; приятно было смотреть на рукоятку, сделанную, должно быть, из мамонтовой или слоновой кости в виде медведя, ставшего на дыбы, а еще приятней было взять тяжелую сумочку. Меч был короткий, не больше метра; вдоль его шел глубокий желобок, по дну выложенный золотом.

Размахивая мечом, я поднялся вверх по корням и опять встал на стволе. Радость, переполнявшая меня, требовала исхода. Я легонько ударил мечом по суку, толщиною не менее как в три пальца, и сук упал, скошенный. Однако с этой штукой надо быть осторожным! Она чертовски остра.

И я крикнул своим спутникам:

— Идите ближе!.. Сейчас во всем разберемся.— И я

начал рассуждать, разглядывая меч на полном свету:— Сначала думал: старинная шутка, а затем — откуда старине знать нержавеющую сталь? Ведь он много времени, столетия, быть может, лежал под дубом. И не заржавел! Не кажется ли вам, что это некий антиквар, эвакуируясь от немцев, здесь и припрятал его, а?..

Осторожно обернув часть лезвия носовым платком, я взял меч под мышку и, освободив руки, начал растягивать кольца металлической сумочки.

Тощий, срывающийся крик фон Эйтцена донесся ко мне:

— Умоляю-ю...

— Да идите вы к черту,— сердито сказал я,— что вы там, дядя, беситесь? Билет я вам дал, если вам неприятно смотреть на меня, возвращайтесь на станцию.

И, не раскрыв сумочки, я спрыгнул со ствола и пошел через просеку к моему спутнику.

Лицо его приобрело махрово-красный цвет. Он начал пятиться, и, странное дело, он уже не казался мне такого высокого роста, как прежде. Мало того, он был значительно *ниже* меня, а *удлиненная* его голова была непропорционально велика по отношению ко всей его фигуре. Впрочем, ни рост его, ни его *длинная* голова не занимали меня теперь так уж остро. Занимало другое. Его манера пятиться. Он пятился, мелко-мелко шагая, и все вокруг кочки, в той лиловато-нежной болотной водице, куда он попал, когда я его толкнул.

Он кружил по этой лужице, показывая мне то спину с высоко вздернутым ремнем из брезента, то суровую длинную нитку от пуговицы. И вот еще что было удивительно: он кружился и, клянусь, на глазах моих уменьшался в росте, словно винтообразно уходил в землю, хотя почва не понижалась, и тина не засасывала его, и вода по-прежнему доходила только до лодыжек.

— Ну, знаете, вы, дядя, фокусник,— сказал я, смеясь,— и если б вот не это дело...

— Да, да, надо посмотреть, что в сумочке,— сказала, тоже смеясь, Клава.

Тут я услышал голос фон Эйтцена.

Он сердито кричал:

— Я имею на нее все права! Почему она не идет ко мне?

— Слушай, дорогой,— сказала мне Клава,— его, кажись, засасывает: надо ему помочь!

— А и помоги,— сказал я, растягивая кольца сумоч-

ки, что отливала вишневым и слабо позванивала.— Протяни ему жердь, их здесь много.

— Он требует руку, милый!

— Ну, дай ему руку, раз он требует.

Кольца сумочки легко раздвинулись, и я увидел на дне небольшое, не больше голубиного, золотое яичко. На душе у меня стало легко и весело; я радостно рассмеялся.

Я осторожно достал яичко и положил его на ладонь.

Приятное, теплое чувство все росло и росло во мне. Казалось, прибавилось во мне сил, казалось, увидал я родные и широко знакомые места, казалось, встретил я ближайшего и любимого человека... даже рот был у меня окрашен каким-то невыразимо чудесным ощущением. Ух, хорошо! Ух, замечательно! А небо в ушастой шапке из туч! А горностаевые березы! А сосны, стволы которых ближе к вершине окрашены в цвет абрикоса! А базальт родного чернозема, тот базальт, через который не пробиться никакому врагу! Замечательно! Чудесно! Здравствуй, родной мой мир, так высоко поднявший свои бобровые ресницы!

Мне хотелось ощупать яичко со всех сторон. Я зажал его в руке.

И вдруг я почувствовал в руке своей медленное, еле ощутимое биение, словно я держал в руке крошечную птичку. «Тик, так, тик, так...»— билось в моей руке сердце жизни, и это биение было так сладостно, что я закрыл глаза.

Ветер утих. Лес стоял в голубом безмолвии, пробивавшемся ко мне сквозь прикрытые веки. Ах, так бы и стоять, стоять вечно, вросшим в этот лес, в это безмолвие...

Тишину вдруг разрезал грызущий и прерывающийся на невыносимо высоких нотах звук. Всплеснулась вода...

Я раскрыл глаза.

Возле кочки, вкруг которой кружил фон Эйтцен и куда направилась Клава, ходили легкие, нежно-голубые круги. Они делались все реже, реже, все медленнее, медленнее, и вот, вот прошел последний, такой тоненький, точно ниточка пробежала по воде,— прошел и скрылся навсегда.

— Клава, Клава!— крикнул я.

Лес безмолствовал. Тропинка к станции шла прямо, длинная и безлюдная.

Наш темный дом с ярко-желтым подъездом и двумя

серыми арками ворот, разрезающими его на три части, стоит возле крошечной площади. К площади выводят вас переулки, узкие и истертые, почему-то всегда напоминающие мне подтяжки. Я шел по одному из переулков.

Мне нравится московское затемнение. Это резко очерченный и выразительный снимок войны. Недавно был дождь. В переулке тускло поблескивали мокрые булыжники. Позади меня ревела, трещала и бушевала Москва. Над переулком темное небо, как тирада из старинного сочинения. Подвалы домов пахли перегноем и водой. Переулок напоминал мне конец девятнадцатого столетия, томительная, как перед вынутием жребия, поэзия которого мне так мила. Я шел, читая про себя стихи и раздумывая об Агасфере. Мне виделся он в маленьком итальянском городе, что-то вроде Римини во времена тирана Сигизмондо Малатеста, так умело соединявшего высокое художественное и научное образование пятнадцатого века с умышленной жестокостью.

«Нет, что ему делать в Москве?— думал я с усмешкой.— И как это мне взбрело в голову писать о нем сценарий? Он не для нас, и мы не для него. Глупо».

Вспомнив свою работу над Агасфером, я вспомнил и Клаву. Перебивая и вытряхивая пыль из томов «Русского архива», я нашел между книг ее профсоюзный билет. Странно, что я так долго не вспоминал о ней. Где я ее видел последний раз? Ах да, в Толстопальцеве! Она была с кем-то мне знакомым, но с кем — не помню. В тот день я мало набрал грибов. Перед отъездом на станции какой-то старик рассказывал, что два грибника, мужчина и женщина, подорвались на немецкой мине. Помню: размахивая почти пустой корзинкой, я возразил старику: «Да немцев и не бывало в Толстопальцеве!»— на что старик сказал: «Тогда на собственной», и стал описывать приметы погибших. Приметы подходили. Клава и ее спутник? И все-таки я не верил старику, так как не желал ее смерти, хоть она меня и разлюбила.

Нужно ей вернуть профбилет и, кстати, сказать, что ничего против нее не имею.

Ну, пусть разлюбила! Тому прошло много времени. Собственно, не так много, но здоровому время, когда ты был болен, кажется очень далеким. Я пошел в квартиру, где она жила. Мне сказали, что Клава, вместе со своими родственниками и мужем, давно уехала на Украину и адрес ее неизвестен: должно быть, счастлива — не жалуется.

— Ах, вот как! Извините за беспокойство, и до свидания.

— До свидания.

Итак, я шел переулком. Вспомнив опять измену Клавдии и ее теперешнее счастье на Украине, я сплюнул — не так, чтоб очень ее оскорбить, но сплюнул. Затем, я вынул платок, чтоб вытереть губы,— и вдруг, поскользнувшись, обронил его.

Наклонившись, я увидел, что через переулок, от тумбы к тумбе, низко над мокрыми булыжниками, протянута проволока. В Москве «пошаливало» хулиганье. Впереди, приближаясь к западне, крупно шагал, размахивая портфелем, какой-то широкоплечий человек. Я крикнул ему:

— Осторожней: проволока.

И кинулся под арку ворот, прорезавших дом насквозь. Под аркой мне почудились две неясно маячивших фигуры. Я решил проучить мерзавцев.

Фигуры бросились во двор, что-то хрипло говоря друг другу. Пространство двора упиралось в развалины школы, разбомбленной немцами еще в 1941 году. Я побежал наискось. Фигуры не успели скрыться в развалинах. Я схватил их и, стуча голову о голову, приговаривал:

— Не блуди, гадюка, не блуди!

Один из них кричал:

— Ой, не буду, дяденька, не буду! Не буду: кулак-то какой большой!

В последнем пункте я с ним согласен. Природа одарила меня, но и я одарил природу. Челнок моей жизни не так легко опрокинуть, хотя река, по которой мы плывем,— бурна, как и подобает разливу. Горестно зарыдает тот, кто попробует броситься на меня. Я — крепок, великолепно натренирован, широк в кости, и рост мой, пусть не с гору, однако и не с левретку. Без особого напряжения могу я, например, пробежать из одного конца Москвы в другой с грузом в пятнадцать килограммов. Спортивное мое увлечение — лыжник и пловец. В здоровом теле — здоровый дух.

7 сентября 1944 г.
5 ноября 1956 г

БЛИЗ ОЗЕРА АЛАКОЛЬ

Это поэтическое название долины я услышал еще в Алма-Ате. «Долина желтого ветра»! По этой долине, через Джунгарские ворота, вторгались гунны; шел в Китай Марко Поло... и лакомый к поэзии слух хранил это название, хотя все окружающие нас в этой долине называли ее очень просто — Алакольская долина. Укреплялось это название еще и потому, что сразу же после того, как мы сообщали встречным о целях и задачах нашей поездки, и они узнавали писателей и журналистов, разговор заходил о «эуге»— по-казахски, или «евгей»— по-русски.

«Эуге»— это ветер, дующий только в юго-восточном направлении. Скорость его неизвестна.

Ветер этот, рождающийся где-то в Восточном Туркестане, быть может, в пустыне Такла-Макан, идет в верхних слоях атмосферы и спускается к земле неподалеку от селения Токты. Идет он мощным и довольно узким потоком, сосредоточенным настолько, что может нести камни величиной в кулак. Но если вы будете находиться всего в нескольких шагах от этого потока,— возле вас будет совершенная тишина. Сила его такова, что в поселке Учарал, районном центре Алакольского района, «эуге» в 1943 году сбил пятьсот пятьдесят деревьев. Всадник не в состоянии двигаться навстречу этому ветру. В 1910 году, по словам старожилов, «эуге» унес и потопил в озере Алаколь семьсот юрт и больше тысячи голов скота.

Между селениями Коктума и Токты, вдоль берега Алаколя, протяжением в девяносто километров и шириною в двадцать пять — тридцать, по направлению к Джунгарским воротам, лежит безлюдная каменистая пустыня. Только в одном конце ее вы найдете скотоводческую ферму-зимовку колхоза «Октябрь», два низких глинобитных домика, загоны для скота и небольшую речку с курчавыми деревьями. Пустыня чуть прикрыта крошечными растениями, едва ли выше ладони — диким клевером, изредка кустарничком «боялыч», среди которого отдыхают ночью чуткие и быстроногие сайгаки. Гуляют по ней дрофы — птицы, толщиною со страуса, но с короткими ногами, да изредка пролетит над нею орел-ягнятник. Пустыня совершенно ровная, как может быть ровно превосходное шоссе. Мы ехали по ней, по щебню, напрямик со скоростью, предельной

для «Газ-67», ехали без дороги,— и машину даже не подбрасывало.

Пустыня эта окостенела и выровнялась от действия «эуге».

На обратном берегу Алаколя, на границе мрачной каменистой пустыни, в селении Коктума, есть Аргайтинский сельсовет.

Аргайтинский сельсовет, скромно считая, расположен в трехстах километрах от железной дороги. Даже в летнее время, благоприятное для передвижений,— когда «эуге» молчит,— столичные газеты приходят сюда на двадцатый день. Зимой газет здесь не бывает по два, по три месяца. Это, впрочем, не удивительно. Достаточно пояснить, что из Учарала, районного центра, лежащего к железной дороге ближе на восемьдесят пять километров, районные работники ездили в Талды-Курган, в свой областной центр, на какое-то совещание, потратив на дорогу туда и обратно девятнадцать дней.

И если говорить приблизительно, территория Аргайтинского сельсовета, включая, разумеется, сюда и каменистую пустыню, тянется вдоль Алаколя на сто пятьдесят километров, да в ширину, от озера до гор, километров на тридцать!

И на этой, казалось бы, затерянной, отдаленной, суровой и черствой земле неустанно трудятся стойкие советские люди, и трудятся так, что диву даешься! Кони и золото (на территории сельсовета старатели моют его в горах), шерсть и зерно, молоко, масло и картофель — все это рождается на территории Аргайтинского сельсовета. Сельсовет спокойно, уверенно выходит на путь, широкий и плодотворный, великого послевоенного развития.

Реки здесь свирепы. Мягко и нежно струится ручеек. Но прошел дождь, и ручей колюче вздувается, дышит на все холодом горных снегов, уносит мосты, подхватывает подводы, людей, всадников. В этом году колхозникам Коктумы пришлось почти заново ставить четыре моста. И все же, когда мы подъехали к селу, то увидали, что овраг снова размыло, и деревянный, с тщательным настилом, мост осел метра на три, и машине пришлось карабкаться по отвесным стенкам оврага.

Выбрались из оврага, и особенным, резким металлическим блеском засверкала перед нами каменистая пустыня за селом! Ярко зелены в этом году горы, и зелень эта очаровывает не только нас, путешественников, но и

всех местных жителей. Четыре года в Семиречье была засуха; в прошлую зиму вдобавок был «джут», гололедица. Этот год обещает быть хлебородным, травоносным, и у всех тепрь забота — только убрать в срок и убрать все! Даже в каменистой пустыне в этом году от обильной влаги открылись родники.

То лазорево, то серебристо отливает озеро Алаколь. Медными кажутся утесы необитаемого острова, безлюдного, угрюмого, но не молчаливого: там гнездовья птиц, там пеликаны, лебеди ходят у скал, там гогочут гуси и мчатся на своих упругих крыльях бакланы. За маслянисто-пестрой каменой косой, доходящей до середины озера, цинково, тускло колышутся камыши, и летят туда буро-серые журавли, летят низко, почти касаясь перьями земли.

И над всем этим сверканием и блеском, точно вбирая в себя этот блеск и сверкание, возвышаются косые, крутые, белые громады Джунгарского Алатау. Какая острая и сочная красота, какая невыразимая мощь! Никакое, самое широкое и длинное сравнение не кажется приторным. Наоборот, ты лакомишься им, этим сладчайшим медом жизни.

Искак Алибаев, широкоплечий, широколицый председатель Аргайтинского сельсовета, встречает нас за письменным столом. Он смотрит на нас с тревогой и с любопытством. Как я узнал позже, любимая его поговорка: «Что за черт!» Теперь он думает: «Что за черт, дескать: зачем они, из Москвы? И без того уборка сена на носу, и без того хлопот много, а тут какие-то писатели. О чем они писать будут?»

Но, по мере того, как он знакомит нас с работой сельсовета и колхозов, по мере того как перед ним самим развертывается большая, проделанная им и его друзьями работа, он наполняется довольством, гордостью, и ему хочется, чтобы об Аргайтинской территории было рассказано все, что только возможно в человеческих и поэтических силах! С особым уважением он относится к фотоаппарату: он требует, чтобы фотографировали актив сельсовета, колхозы, фермы, стада, горы, каменистую пустыню, Алаколь, камыши, школу, учительниц, учеников, охоту. Вдобавок ко всему он еще и охотник, и так как тема моего будущего произведения, которую я ему позже рассказываю, касается и охоты в Джунгарском Алатау, он ведет нас в горы. «Медведей здесь, что за черт, как коров», — говорит он. Я спрашиваю:

— А вы убивали медведей?

Если бы читатель видел, каким странным взглядом он окинул меня и какая острая усмешка промелькнула по его слегка рябоватому лицу! «Что за наивные люди, эти москвичи!»— говорит его усмешка. Я, однако, настаиваю, и он говорит:

— Убивал, что за черт! Почему мне их не убивать?

— Сколько же вы убили?

Алибаев — человек очень добросовестный, даже в охотничьих рассказах он ничего не добавляет, да и работа над сельсоветской отчетностью приучила его к точности. Он долго думает, считает про себя и, должно быть, сбившись со счету, наконец говорит:

— Много.

— Ну, как много? Десять?

И опять та же острая усмешка.

— Больше?

— Много больше.

Признаться, я не стал настаивать. Мне подумалось, что Алибаев все же поддается охотничьей страсти к преувеличениям. Но позже, когда я познакомился в Копале с другим охотником, директором промкомбината по фамилии Почтарь, о котором было точно известно, что он убил сорок семь медведей, а этот охотник и стрелял хуже и места знал не так, как Алибаев, я решил тогда, что Алибаев убил медведей очень много, быть может, больше сотни.

Итак, председатель Аргайтинского сельсовета Искак Алибаев встретил меня за письменным столом. Он встал, не выходя из-за стола, пожал мне руку и выразил радость благополучному нашему прибытию в Коктуму. Его приветствие было и величественным и благожелательным непритворно. Все дальнейшее он сообщил нам или в дороге, в горах, куда нас поднимали на своих выносливых спинах колхозные кони, или в каменистой пустыне, когда мы подкрадывались к дрофам и сайгакам, или возле озера Алаколь, когда мы смотрели на кишащую в прибрежной траве рыбу, приплывшую сюда на нерест, или, наконец, возле объектива фотоаппарата, когда он жалел, что нельзя сфотографировать прошлое. У Алибаева великолепное и, я бы сказал, знаменитое прошлое, которым не может не прельститься любой поэт наш!

В гражданскую войну сам он, Алибаев, был партизаном, бился в горах с войсками атамана Анненкова, сам ковал оружие и делал пули. Затем он долго служил в

погранвойсках, дрался с баями. Кроме того, он основал аул Комек, где сначала выстроил себе дом, а затем школу и организовал колхоз. Я был в этом ауле. Он расположен в горах, вернее у подножия гор, в здоровой и красивой местности, и я порадовался вкусу строителя, тем более, что аул процветает. Должен добавить также, что на мою долю выпало приятное удовольствие: в ауле Комек я был первым москвичем, которого видели аульные жители! Они чествовали меня. В мою честь был зарезан баран, сварили бешбармак, национальное казахское кушанье, был подан кумыс, а узнав, что я интересуюсь стариной Казахстана, меня повезли глубоко в горы, чтобы показать не известные никому наскальные рисунки древних людей. Мы ехали долго. Но, к сожалению, жители аула давно не бывали в ущелье Топчалы, и когда мы приехали туда, выяснилось, что от недавнего обвала скала, на которой были рисунки, обрушилась, и мы нашли лишь жалкие следы их. Алибаев развел руками и сказал:

— Что за черт! Я знал — книги распадаются, я не знал, что скалы тоже падают.

Я уверял его, что только поэты убеждены в вечности искусства и что природа более безжалостна и любит новое, и что поэтому лучше всего человеку творить неустанно. Он утешился, и мы покинули ущелье Топчалы с кроткими сердцами.

Теперь представьте, что мы с вами выехали верхом из села Коктума, переехали арыки, поля ячменя и проса, бахчи и выехали в поле. Издали доносится блеяние баранов. Полдень. Стадо, утомленное зноем, расположилось возле юрты, где живет чабан со своей семьей.

Чабан, добрый, небольшого роста старичок, угощает нас «айраном» в плоских деревянных чашках и рассказывает о своем стаде, которое обещает к концу пятилетки увеличить до трех тысяч овец. Сейчас в стаде около полутора тысяч. Мы сидим на кошме. Возле большого чугунного котла с айраном — сосуд из тыквы. В деревянной люльке спит ребенок, внучек чабана. Почти все убранство юрты, кроме котла, быть может, самодельное, и какой древностью, какой вечностью веет от этих вещей, от этого убранства, и как, глядя на эту юрту, отрадно думать, что и здесь, у самой границы каменистой пустыни, знают о первом годе пятилетки и работают ради него!

— Он здесь природный, — говорит Алибаев о чабане

Турспеке Коненеве.— У него здесь, в этих местах, и борода выросла.

Чабан вытирает руки об овчинные штаны, берет у меня чашку и наполняет ее кисловатым, с вяжущим вкусом, айраном. Сквозь дверное отверстие юрты видно, как сын его привязывает коня к кусту. На плотно утоптанной земле валяются клочья овечьей шерсти. Вдали — светло-зеленая степь и озеро с островами. Чабан говорит, медленно и веско выпуская слова:

— Я от колхоза своего «Октябрь» ничего не требую! Даже сена. Я даю колхозу только пользу. У меня за год погибло только семь овец...

— Он говорит правду!— восклицает Алибаев.— Но правду надо говорить быстро, аксакал. Мы спешим в горы.

Чабан улыбается шутке и говорит:

— Горы подождут. Медведи подождут. Слушай! Я доведу отару овец до трех тысяч. Я знаю дело.

— Он знает дело,— подтверждает Алибаев, допивая айран и вытирая полой пиджака губы.— Продолжай.

— Я знаю дело. Меня много премировали. Я хочу рассказать о всех премиях...

— Его премировали много! Рассказ будет длинный.

— Меня премировали много,— повторяет с удовольствием чабан.— В 1945 году меня за выполнение плана премировали восемью баранами и добавочными деньгами... А когда я был поливщиком — меня премировали телкой... А за образцовую возку почты меня премировали шестьюстами рублей...

И он рассказывает долго, подробно, как и где его премировали и кто ему вручал премии. Алибаев только одобрительно крякает. Чабан говорит хоть длинно, зато искренне и честно. Алибаев, следя за его рассказом, одновременно следит и за тем, как быстро бегает карандаш, записывающий беседу. На лице Алибаева — одобрение: в быстроте записи, в точности ее он ищет искренность и честность. Места здесь хорошие, и если писать об этих местах книгу — писать ее надо хорошо и честно! А мне кажется, что из всех человеческих качеств Алибаев больше всего ценит добросовестность, честность.

— Цифры?— говорит он, когда мы спрашиваем о показателях работы колхозов его района.— Цифры умеют все называть. А как выполняют, черт его знает!

Когда чабан переходит к частностям и Алибаеву не

нужно следить за разговором,— он думает о своем. Лицо его полно заботой. Разумеется, приятно проехать по горам, того приятней встретить козерога или марала, но — черт его знает! — сколько забот... Нужен вот материал для побелки школ. В школах учится сто двадцать три человека, из них кое-кто должен ехать сдавать экзамены в район: нужны подводы, да и понаблюдать надо, чтобы ребятишек приодели. Вообще с одеждой беда! Пока была война — терпели и ходили кое-как одетые, а теперь требуют — давай. И требуют не с сельпо, а именно от него, Алибаева! Давай, председатель! Давай посуду для сдачи молока, давай сети для ловли рыбы, давай лодки, давай лес! Все давай, председатель! Косилки быстро снашиваются, так что не видно рубцов на колесах, а когда колеса гладкие,— косилки идут плохо по земле, давай, председатель, косилки!.. Вообще, Алибаев — представитель и защитник интересов тысячи ста шестидесяти семи человек, разбросанных на территории, обширность которой мы уже пытались вам представить. Кроме людей, которые работают, хворают, женятся, живут тихо или скандалят,— на территории сельсовета множество других живых существ. В трех колхозах — около тысячи голов крупного рогатого скота, двести лошадей и верблюдов, свыше шести с половиной тысяч овец. Все это требует забот, ласки, ухода... А посевная площадь! Ведь ее — около семисот гектаров!.. А вода для посевов!.. А деревья, которых только в этом году посажено три тысячи двести корней... А комиссии в сельсовете — оборонная, бюджетная, сельскохозяйственная, по благоустройству села... Сколько забот, хлопот, разговоров по телефону с районом! Алибаев одновременно и судья, и милиционер, и загс, и вообще представитель и защитник интересов всех министерств республики...

Мысли и заботы одолевают его. Когда мы выходим из юрты и садимся на коней, взгляд его падает на внучат чабана, бегающих возле юрты. Он говорит:

— Казахи обещали за пятилетку увеличить поголовье скота в республике на десять миллионов голов. Сделаем. А дети как же? Отцы уйдут в горы, в пески со скотом, а дети? Дети ведь с ними. Дети, которые должны учиться, вместо школы попадают к баранам. Отцу будто ничего — помощь. А для меня — забота. Я ночи спать не могу! Я сам мало учился, значит детей учить должен. Я забочусь о них, выходит, больше отца, черт его знает?!

И он добавляет:

— Запишите в книгу, чтобы в центре не забыли о детях, которые при родителях, занятых отгонным животноводством. Им надо учиться!

Мы медленно поднимаемся в горы. Мы пересекаем сначала холмы, поросшие высокой, густой травой, по которой разбросаны алые, белые и желтые цветы. Затем, оставив холмы, вдоль речки, ловко пробирающейся среди крупных изжелта-красноватых камней, вступаем в ущелье Карагайлы, что значит «Сосновая щель».

Но до деревьев еще далеко. Перед нами голые, накаленные солнцем скалы. Они лезут все выше и выше к небу, закрывая степь, озеро Алаколь и обнажая обширную белоснежность вершин.

Алибаев говорит, зорко посматривая вперед:

— Два поворота, и будет Кок-тас. Синий камень. Там всегда стоят козлы. Можно сфотографировать. А стрелять нельзя. Камни дрожат.

— Как дрожат?

— Вглядись, дрожат. От камней идет пар: солнце калит. И зверь за дымкой кажется далеким. Трудно точный прицел поставить. Зверя надо стрелять рано утром и поздно вечером. А то колеблет воздух, пойми, что там такое!..

И верно, воздух колеблется, как волна в море, и камни, кажется, тоже в волнении.

Завернули, Алибаев указывает:

— Смотри, сторожевой. Стрелять надо всегда караульщика. Тогда козлы не знают, куда бежать, и получается — окружение. Ха-ха! Слушай. Сейчас сторожевой засвистит, и стадо побежит нам поперек дороги, вон туда, черт его знает!

Поговорку его, повторяю, не надо принимать всерьез. Алибаев совершенно точно знает то, что он знает.

...Над нами, в вышине неба, на скале вырисовывается громадный сторожевой козерог. Он некоторое время смотрит на нас, вниз, а затем, стремительно сорвавшись, мчится, прыгая с камня на камень. Вот он завернул за скалу, и через мгновение стадо голов в двадцать пересекает ущелье метрах в ста от нас.

Едем по ущелью час, другой. Въезжаем в лес. Кони осторожно перешагивают через поваленные деревья и тяжело дышат: подъем очень крут. Ели высоки, огромны, земля под ними черная и какая-то словно бы выдубленная. Стариной, вечностью дышит этот лес Джунгар-

ского Алатау, и невольно сжимается сердце, и невольно приходят на память чьи-то древние слова, несомненно, как думается теперь, относящиеся к дебрям, к лесам: «Призван быш, и придох!» Призвали дебри, и вот ты, странник, пришел...

— Прекрасно! — восклицает кто-то позади.

Алибаев говорит:

— Тут зверя много. Лес хороший. Только трава мелкая. А вот есть место, называется Алтыбай. Я вас туда поведу, будет время. Там трава такая, что пьянеешь. А медведя убьешь — три пуда сала в нем. Он жирный, из-за сала не убегает. Ревет, камнями бросается. Медведь здесь злой. У меня жена раз захотела посмотреть, как я медведя бью. Я ей говорю: не надо, медведь здесь злой. Она: «Нет, надо». Ну, повез. Нашел. Тут есть один бугор, называется от моего имени — Алибаев бугор, я на нем зверя бью. По нему ходят маралы на ямки, воду пить на ключи. И есть соленая глина, они ее лижут. А за маралом — медведь следит. Я его там и бью... Вот, привез жену, стреляю в медведя. Он орет, лезет на меня. Жена не знает — то ли помогать, то ли с испугу бежать в горы. Машет руками, кричит. Я хохочу, черт его знает. Чуть со смеху не помер!..

Мы смотрим на него в изумлении, а он, вспоминая происшествие с женой, хохочет, открывая большие, ослепительно белые зубы.

— И застрелили?

— Кого? Медведя? Застрелил, как же, — с хохотом говорит он. — Я ему ударил снизу вверх, и пуля через подбородок насквозь головы вышла.

Он наклоняет голову, смотрит на землю и показывает на траву.

— Видишь? Сначала шел марал, часа два назад. А за ним медведь. Торопились оба. Боялись! Марал, черт его знает, быть может, больной — на здорового медведь не нападает, он его рогов боится... Надо и нам идти, сфотографировать можно.

Он советует не отставать друг от друга и помнить, что раненый медведь свиреп и беспощаден. От него, если уж ты решил бежать, одно спасение — на скале. На скалу медведь не лезет: он плохо видит, что наверху, глаза шерсть закрывает. Но вниз он видит отлично, и не дай бог бежать от него вниз, по косогору. Запорет!

— А лучше всего стоять на месте. Он — к тебе. А ты ему — левую руку в пасть и ножом в брюхо.

Кони похрапывают, оглядываются. Солнце жжет. Тишина. Смотрим пристально на следы, смотрим по сторонам. Сердце бьется. И неотступны дебри, и неотступна мысль! «Призван быш, и придох!» Сполна отпущена тебе красота жизни, борьба ее, вглядывайся, впитывай ее в себя, человек, люби ее, наслаждайся ею!..

Алма-Ата, июнь 1946 г.

РОМАН О ПЕСНЕ

«АБАЙ»

Прежде чем говорить о прекрасном умном романе Мухтара Ауэзова «Абай», я позволю себе рассказать вам о доме-музее Абая Кунанбаева в Семипалатинске, который я посетил летом этого года. Мне кажется, что даже беглый взгляд на музей Абая объяснит многое в судьбе знаменитого поэта-просветителя казахского народа, и в судьбе романа об этом поэте.

Деревянный домик, где некогда гостил Абай, приезжая из степи в Семипалатинск, невелик. В нем пять тесных комнат. Невелико и собрание вещей, принадлежащих собственно Абаю, хотя разыскания, производимые работниками Академии наук Казахской ССР, ведутся тщательно. Так, из рукописей Абая сохранилось лишь несколько страниц: портретов его мало — две-три фотографии, что касается печатных книг стихов Абая... о них стоит сказать поподробнее.

Абай родился в сороковых годах прошлого столетия и скончался в 1904 году. Это были десятилетия могучего развития русской литературы. В это время творили Белинский, Герцен, Некрасов, Чернышевский, Добролюбов, Тургенев, Лев Толстой, Салтыков-Щедрин, Чехов, Горький. Абай мог не только читать произведения этих великих писателей, но и мог бы видеть некоторых из авторов этих произведений, быть с ними в переписке.

Казахский народ вел в те времена, как и столетия назад, кочевую жизнь. Русская общественная мысль и литература затрагивали лишь редкие единицы среди казахов, да и то краем своего движения. Абай стал сочинять стихи в юности и, говоря нашим языком, к концу своей жизни имел 30—40 лет творческой работы. Однако при жизни он не напечатал ни одной своей книги стихов! Его первая книга стихов была издана в 1909 го-

ду, пять лет спустя после его смерти. Издана не на родине, а в далеком Петербурге. Казахстан в те годы не имел ни казахских типографий, ни издательств, ни рабочих, которые умели бы набирать книги. Стихи Абая поэтому, равно как и переводы русских поэтов, сделанные им, ходили в списках или передавались акынами из уст в уста. Акыны, народные певцы, были тогда единственными проводниками светской казахской литературы.

И вот теперь, когда стоишь перед витринами дома-музея, где лежит множество изданий Абая и на родном, казахском, языке и на языках других народов СССР, понимаешь, как далеко ушел в области культуры и искусства советский народ, как преобразились все мы и как, в частности, преобразился казахский народ.

Не будем касаться превосходных казахских колхозов и совхозов, не будем говорить о неслыханных урожаях пшеницы, умолчим о гигантском медеплавильном комбинате Балхаша, о строительстве Иртышгэса, о заводах и рудниках Восточного Казахстана, о Казахском университете, о великолепной столице Алма-Ате, красующейся на фоне горных снегов,— взглянем только в лежащую перед нами книгу Мухтара Ауэзова «Абай».

Советская литература богата биографическими романами. На первом этапе развития советской литературы появился «Чапаев», действие которого, кстати сказать, происходит на границе Казахстана. Полководцы прошлого и настоящего, поэты, строители, государственные деятели часто встречаются с читателями на страницах наших книг. Пожалуй, можно сказать, что биографическая, то есть подлинная канва жизни ложится как основание всей системы социалистического реализма. И чем сильнее и крепче дарование писателя, тем шире и ярче полотно жизни, на котором развертываются события, имеющие биографический характер.

К числу таких ярких, жизненных, талантливых книг принадлежит и роман Мухтара Ауэзова «Абай».

Абай Кунанбаев происходил из кругов высшей степной аристократии. Его отец — глава богатого и большого казахского рода, деспот, цепко ухватившийся за власть. Абай рос и воспитывался, не зная лишений и труда. Отец готовился передать ему свою власть. И в конце концов из Абая вышел бы обычный правитель рода, разве лишь украшенный поэтическим дарованием, которое помогло бы ему воспевать любовь и попойки.

Жизнь вывела его на другое поприще.

Степь была перенаселена. Пастбищ кочевникам не хватало. Много родов, и в первую очередь род, которым управлял старый Кунанбай, отец Абая, вели между собой борьбу за пастбища. Схватки, побоища, родовая месть, кражи имущества, ожесточенная борьба родов делали прочное и счастливое устройство быта в степи невозможным. Вот что, прежде всего, почувствовал своим сострадательным сердцем Абай в дни детства. Убийства, насилия над бедными, произвол байства — таков фон, на котором протекало детство Абая.

Мухтар Ауэзов, строгий и смелый художник, показал этот байский произвол с огромной жизненной правдой. Отражая кочевой родовой быт в художественной литературе писатели или идеализировали его, рисуя чуть ли не как «золотой век», или же уходили в другую крайность — не находили в кочевом быту ничего человеческого, отрадного. Ауэзов нашел и правильные краски и правильное расположение фигур в этой огромной панораме степи, в ее быте, в ее нравах. Получилась и глубоко поэтичная и глубоко правдивая картина.

Как ни были оторваны казахи своим патриархально-родовым бытом от общественного движения, развивавшегося в России, струи этого движения все же проникали в степь, будили мысль, заставляли мечтать о другой, лучшей жизни. И мечта эта, естественно, лучше всего выражалась в песне.

«Абай» — роман не только о поэте, но и роман о песне, о мечте, о лучшей жизни. Идеалы этой лучшей жизни еще не оформились; смутно мерещатся Абаю новые, справедливые отношения между людьми. Мечта воплощается в песню, и поэт мечтает о песне необыкновенной, новой, смелой. В начале романа старый акын Дулат, предчувствуя талант мальчика, подает ему домбру и благословляет его на песню. «Абай,— пишет Ауэзов,— смутился и промолчал». Смущение это объясняется тем, что еще ребенком Абай понимает значение песни для степи и для него самого. И одной из самых трогательных страниц романа является описание того, как Абай почувствовал себя акыном, певцом, который нужен народу.

Путь Абая к песне сложен и тяжел. Овладев искусством степных певцов, он понял, что этого мало. Народ хочет других песен, еще более приближенных к жизни, еще более отвечающих мечтам его. Абай стал изучать арабских и персидских поэтов. Но и они не удовлетворили его. Тогда он обратился к русской поэзии, к Пушки-

ну и Лермонтову. Появление казаха в Семипалатинской городской библиотеке вызвало сенсацию среди семипалатинской интеллигенции тех времен. И до Абая, конечно, некоторые казахи учили русскую грамоту и читали русские книги. Но русскую поэзию уже наверняка он читал первым и не только читал, но и изучал, но и переводил! Здесь он открыл новый мир и для себя, и для своего народа.

«...Он не знал, что думать, что делать, что решить».

И вдруг в этой буре ощущений он вспомнил о прочитанной утром книге... Дубровский!.. Перед ним сразу же всплыли распри, переходящие от отцов к детям, вражда, терзающая его род из поколения в поколение. Кунанбай и Божей... Такежан и брат Баларалы — Валагаз... Другой его брат Оралбай... Несчастная Коримбала... Он вспомнил всех близких Базаралы, непрерывно терпевших обиды от родичей Кунанбая, и тут же перед ним возник умирающий старик Дубровский, сломленный насилием Троекурова... А Владимир? Ведь и он был в пламени вражды, но нашел исцеление в любви к Маше... Так ли виноват Базаралы?.. Впервые для Абая правда искусства слилась с жестокой правдой жизни.

Абай принял «Дубровского» как руководство к действию. Протестуя против неправильно проводимых выборов, Абай вместе со своими друзьями ломает праздничные юрты и выгоняет из степи губернское начальство, приехавшее на волостные выборы. Это — открытое возмущение против царских чиновников. Остается, подобно Дубровскому, уйти в лес.

Но Абай не уходит. И вовсе не потому, что у него нет смелости. Абай смел. Но он не Степан Разин, не Емельян Пугачев, он не народный вожак. Он хороший, добрый человек, страстно мечтающий о счастье своего народа, однако он плохо понимает и знает пути, по которым народ должен идти к счастью. Он — искатель правды, но еще не революционер. И недаром глава, идущая за описанием «бунта» Абая, начинается в Семипалатинске, в «каталажке», где арестованный Абай усердно читает русские книги, ища ответа на мучающие его вопросы. Вопросов много, и они все сложные.

Что такое Россия? Какова роль ее культуры в культуре казахского народа? Что такое русская поэзия? Что такое русская общественная мысль? Куда идти поэту? С кем идти?

Мне кажется, что М. Ауэзов в «Абае» дал правильные

и точные ответы на эти вопросы. В самые тяжелые и грустные дни жизни Абая к нему на помощь для разрешения мучающих его сомнений пришли умные и отважные представители русской интеллигенции. В поэте-бунтаре они увидели родного и близкого им человека. Прощаясь, перед отъездом в степь, с Михайловым, знакомившим его с современным движением русской общественной мысли, Абай говорит замечательные слова:

«Сегодня я узнал вас глубже, чем раньше. Только теперь я понял ваши неоценимые качества. Раньше я думал, что вы несете в себе лучшие мысли только русского народа, а я для вас — человек совсем из другого мира, далекого от вас, неизвестного вам, из чуждых вам пустынных степей с их непонятными вам мыслями... А вы точно взяли меня за руку, повели на какую-то вершину, показали оттуда стоянки всех народов и объяснили мне, что все люди — сородичи, пусть хотя дальние. Вы и моего Тобыкты не отбросили в сторону от мировой культуры. Мне радостно, что я не только сын казаха, но и сын всего человечества... Для меня это — и гордость и радость...»

Роман «Абай» написан в реалистической манере. М. Ауэзов, несомненно, учился у Льва Толстого. Однако автор «Абая» внес в роман свои своеобразные черты, и роман получился чрезвычайно оригинальным. Временами, особенно когда речь идет о любви Абая, он, подобно многим восточным героям, обменивается с любимой песнями. Искусство автора так велико, что этот, казалось бы, традиционный прием кажется совершенно реальным, и, читая роман, думаешь, что иначе и объясниться невозможно!

М. Ауэзов великолепно знает быт своего народа. Однако он не перегружает роман мелкими деталями — и роман течет быстро, читается с увлечением. Широкие картины жизни народа сменяют одна другую. Труд пастуха, кочевки, непрерывные поездки из аула в аул, топот коней слышится на каждой странице, боевые схватки, состязания певцов, шутки, охота с соколами — все это развертывается, окруженное яркой степной природой, залитое пышным степным солнцем.

И непрерывно над степью звенит песня! Прочтите чудесные страницы в начале второй части, когда Абай впервые после долгого сидения в городе выезжает в степь: «Повозка быстро катилась по обочине тракта, по-

крытой молодой, невысокой еще зеленью»,— и вы сразу, всей душой, почувствуете степь, ее приволье, ее широту, и у вас, вместе с Абаем, зародится песня. А какой полный нежности и печали ведет Абай разговор со своей сестрой! Через несколько страниц другая картина степи — Абай скачет рядом со своим другом, Ерболом. Чтобы читатель ознакомился с замечательным мастерством пейзажа, свойственного Ауэзову, спешу выписать несколько строк, поразительных по выпуклости и силе слов:

«У самого подножья холма путников настиг ливень с порывами ветра. Но ветер скоро затих, ливень перешел в теплый дождь. Склоны Орды волновались бледно-зеленой порослью низкого ковыля и полыни. Молодой весенний дождь шумел веселым потоком. В лицо путникам, ехавшим по каменистой дороге, непрерывной волной лился запах полыни. Дождь пошел сильнее, тучи заволокли небо, совсем скрыв солнце, лишь над самым горизонтом повисла желтоватая мгла. Был ли это отблеск вечерней зари, или отражались в тучах солнечные лучи — последние лучи, утратившие последние силы и потухающие, как слабеющая надежда? Еще немного — и этот бледный отблеск света поблек. Туманное его зарево на миг сгустилось в темно-багровую завесу лишь для того, чтобы, утеряв последние краски, уступить на печальном бесцветном небе место ночной тьме».

Мне думается, что эти строки, как и многие другие страницы книги, можно отнести к лучшим образцам советской художественной прозы. Не нужно забывать еще, что это перевод, и перевод весьма неровный. Роман поражает читателя силою своих картин, но кое-где она теряется из-за неряшливости перевода. Например: «Майбасар, тяжело дыша, вклинился между Кунанбаем и Даркембаем». На одной странице Базаралы стоит у входа в ущелье «словно тигрица, охраняющая детенышей», а на другой тот же Базаралы разгоняет своих противников, и они от него «бежали, как собаки от раненого, разъяренного тигра». Не споря о том, тигр тут или тигрица, само по себе сравнение совершенно не в духе книги, написанной спокойно, без вычурности. Встречаются «волнующие душу напевы» и вообще выражения чересчур плоские. Но все это частности, которые легко исправить в следующем издании книги.

В общем, перед нами громадное культурное явление: я бы не побоялся назвать его великим.

Тридцать один год тому назад, под мощными ударами социалистической революции, руководимой Коммунистической партией, в нашей стране впервые был прорван фронт мирового империализма. Русский народ вместе с другими народами нашей страны низверг империалистическую буржуазию. К власти пришел социалистический пролетариат, который в течение тридцати одного года, окруженный врагами, неоднократно нападавшими на нашу страну, построил социализм на одной шестой части земного шара. За исторически короткий срок наша отчизна, преодолев свою вековую технико-экономическую отсталость, предстала перед всем миром как могучая индустриальная держава, как держава, где культура и искусство подняты на необыкновенную высоту.

Сорок лет тому назад в Казахстане не было типографии, где можно было бы напечатать стихи Абая. Да что типографии! В сущности, казахи не имели и своих городов. Прочтите «Абая», и вы увидите, что казахи за некоторым исключением, жили в степи. А ныне,— не говоря уже о других культурных достижениях,— на юбилее МХАТа вы могли видеть, как казахские актеры с поразительным мастерством исполняли отрывки из Шекспира!..

Великим и несокрушимым законом нашего общества является равноправие всех национальностей и рас. Наша советская демократия, объединив в одну семью братские народы, направляет все их усилия на общее процветание нашей могучей многонациональной родины.

Вот почему в нашей стране могли развиться и расцвесть национальное искусство, национальная литература.

Вот почему у нас мог появиться роман Мухтара Ауэзова «Абай», роман, указывающий не только на громадный рост культуры казахского народа, но и на рост самого писателя, на его всестороннее развитие, позволившее создать многозвучный роман, нарисовать огромное полотно с множеством отлично отделанных фигур с движением народных масс, написать роман, полный человечности и веры в человека.

Абай говорит Михайлову: «Мне радостно, что я не только сын казаха, но и сын всего человечества». Тогда, в условиях царской России, эти слова могли сказать весьма немногие, а особенно среди казахов. Ныне вся страна наша — русские, украинцы, казахи, грузины, ар-

мяне,— все народности Советского Союза с гордостью и радостью могут сказать о себе, что все они являются истинными сынами великой социалистической родины и человечества, заинтересованными в процветании общечеловеческой культуры, в процветании мира, в его целости и счастье, в его творчестве.

И могут сказать это с тем большим правом, что они спасли мир от варварства, от фашизма, продолжают упорно трудиться за счастье мира,— а бороться им есть чем! Отчизна наша час от часу делается все краше и богаче, все сильней и могучее, и все выше поднимает она знамя животворящих победоносных идей учения Маркса-Энгельса-Ленина!

1948 г.

И ТОГДА МУХТАР СКАЗАЛ...*

Мой друг, Мухтар Ауэзов, известный казахский писатель, вместе с другими представителями советской культуры собирался в Индию. И в те дни он зашел ко мне.

Вспомнили поэтов, художников, писавших об индийском народе, искусстве, земле.

Ну, а затем говорили о родном Казахстане.

Уж не кажутся песчаными, заброшенными улицы Семипалатинска; не только скалами известен Усть-Каменогорск; пароходы бороздят недавно пустынное озеро «Тысячи колоколов»— Зайсан, и шумят Джунгарские горы.

— Каждую весну меня страстно манит в эту Страну Ежедневных Изменений!— сказал я.

Тогда Мухтар Ауэзов, поглядев на мои седины, поведал поэтическую историю:

— В одном ауле кобылица принесла красивого жеребенка белой масти. Жеребенок быстро рос. К трем годам он превратился в тулпара — превосходного скакуна. Как-то раз его владелец, в порыве любви к другу из соседнего аула, подарил ему Белого Коня. Скакун прожил в родном ауле только три года. В соседнем ауле он тоже жил недолго. Казах, получивший его в подарок, перепродал коня в отдаленный аул. И начал свои стран-

* Вступление к роману «Мы идем в Индию».

ствия Белый Конь! Через четыре года он стал скакуном, известным всей степи. Но находился он далеко от тех мест, где был рожден: возле самого Аральского моря!

Коней, родившихся не там, где они теперь пасутся, весной табунщики должны усиленно сторожить. Кони стремятся в родные места! По-видимому, табунщик Белого Коня был не опытен. Прискакал из-под Арала взволнованный владелец: «Не видал ли кто моего Белого Коня? Пропал!» Жители ответили: «Очень жаль, но Белого Коня не видели. Должно быть, на далеком тысячеверстном пути домой его поймал злой человек или загрызли волки». Владелец ждал три дня и с горечью покинул аул. А немного спустя из степи прибежали взволнованные ребятишки.

«Белый Конь вернулся!»

И действительно, на зеленой полянке, где он впервые раскрыл глаза и увидел белый свет, пасся Белый Конь! Весь аул, плача от умиления, любовался им.

— Жаль только, что годы Белому Коню прибавляли бега, а нам уменьшают,— сказал я.

— В искусстве быстрый бег пожалуй что и вреден?

И мы возобновили разговор об Индии.

Тут выяснилось, что Мухтару Ауэзову знакома Индия с такой стороны, с какой, пожалуй, она никому не известна, если только это представляет вообще какой-либо интерес.

— Я впервые увидел Индию,— сказал Мухтар,— у себя в Семиречье. Я видел тебя, Всеволод, когда ты под псевдонимом индийского факира Бен-Али-Бея шел в Индию! Перед тем как направиться в цирк, я думал: «Увижу факира, человека особого племени — стойкость, мужество, отвага!» И я не ошибся, хотя, предполагая увидеть мрачного, пожилого, смуглого мужчину, с глубоко впавшими щеками, увидел круглолицего, светлого юношу, веселого и жизнерадостного!

— Ты преувеличиваешь мои силы, Мухтар. И, быть может, преувеличивал мою жизнерадостность. Я был тогда довольно робким.

— Однако ты шел в Индию!

Я ответил со смехом:

— Шел!

— Ну, разве не удивительно вспомнить это сейчас?

— Пожалуй.

Да, пожалуй что и удивительно! Тогда там, в Семиречье, на путях моих в Индию, были лишь девственная

степь с казахскими аулами, редкими хатами переселенцев и казачьими станицами.

Как-то, в палящий полдень, я увидел с тракта, далеко за камышами, марево — огромное озеро и на берегу его высокий белый город. «Что это?» — спросил я встречного казаха, ехавшего верхом на тощем быке с продернутой сквозь ноздри волосяной веревкой. Казах ответил: «Озеро — Балхаш, а города нет, — это степь издевается».

Мог ли я думать, что через два-три десятилетия на берегу этого пустынного озера, в камышах которого тогда еще водились тигры, вырастет Большой Город Меди? Мог ли я думать, что вдоль тракта появятся богатые колхозы и совхозы, тракт превратится в железную дорогу — Турксиб, станицы — в города с театрами, институтами, библиотеками, фабриками, заводами? Мог ли я думать, что два захолустных городка, в сотнях верст от железной дороги, правратятся в столицы и даже будут иметь свои академии?

Мог ли я, наконец, думать, что не одинокие странники-мечтатели, безземельные, безработные, что месили прежде пыль этого Сибирского тракта и вливающихся в него проселочных дорог, а молодые ученые, юноши, люди новой, советской страны, нового социалистического общества, тысячами поедут сюда, чтобы поднимать целинные земли?

Тогда Мухтар проговорил:

— А не пора ли, Всеволод, рассказать этим молодым людям грустную и забавную повесть о том, как шел ты здесь, ища Индию?

Я ответил:

— Трудно! Многое забыто, а многое придется добавить из жизни других, чтобы образы моей юности стали убедительными и правдоподобными. Боюсь, что эти добавления покажутся чванством и хвастовством. Да, да, хвастовством!

Мухтар сказал:

— Одному покажется, а другому нет. А в общем, почему бы не попробовать?

— Попробовать, конечно, можно.

1956—1959 гг.

ТВОРЧЕСТВО И ДОРОГА

Заметки о прозе Всеволода Иванова

Чем ближе подходим мы к финишу двадцатого столетия, тем яснее и бесспорнее видятся художественные открытия Всеволода Иванова.

Впрочем, о том, что так и произойдет, не раз предупреждали наиболее прозорливые из его современников.

«Умер очень большой, не прочтенный нами писатель»,— заметил вскоре после смерти Иванова Виктор Шкловский.

«Я полагаю, что Всеволода Ивановича еще не прочли и не оценили по-настоящему и такая оценка будет ему еще дана если не в конце нашего, то в начале будущего века». Так писал Леонид Мартынов.

Между тем век уже на исходе. Не за горами новое столетие. Самое время вновь оглянуться на путь этого зоркого и строгого мастера.

* * *

Писатель, не похожий на самого себя... Именно таким Вс. Иванов многие годы представлялся критикам; казалось: многие его произведения разных лет написаны разными людьми.

Эти утверждения были эффективны — на первый взгляд, они парадоксально выражали истину. Что, действительно, общего между экспрессивными образами, орнаментальным стилем «Партизанских повестей» и психологическим реализмом цикла рассказов «Тайное тайных», между романом «Похождения факира» с его карнавальным миром и историко-революционным произведением о герое гражданской войны «Пархоменко»?.. Сопоставления можно продолжать — они будут открывать все новые метаморфозы ивановского таланта.

Да, по меткому слову Горького, Вс. Иванов умел «превосходно поссориться с самим собою». Убежденный в том, что искусство,

лишенное поиска, умирает, он всю жизнь уходил не только от проторенной литературной колеи, но и от своих прежних, порой блистательных, достижений. Может быть, более всего писатель боялся при этом остановиться...

И все-таки возгласы о «новом», «неожиданном» Иванове ничего не объяснили и не объяснят. Нужно не просто заметить амплитуды творческого процесса, нужно вычертить по этим амплитудам путь художника в живой его диалектике — с обязательными противоречиями, с почти непременным самоотрицанием.

Сегодня, спустя годы после кончины Всеволода Иванова, его творческое лицо вырисовывается все яснее. Вышло новое, посмертное, собрание сочинений, где одни произведения напечатаны после длительного перерыва, другие освобождены от наслоений редакторской правки, третьи даны в тех вариантах, которые объективно признаны наиболее совершенными. Стараниями комиссии по творческому наследию писателя и его вдовы Т. В. Ивановой опубликовано многое из того, что не увидело света при жизни автора. Появились в печати и воспоминания современников Вс. Иванова, и фрагменты из его дневников — мужественные, порой неожиданно пронзительные свидетельства о себе.

Сегодня уже очевидной становится простая, в сущности, истина. Как бы ни уходил от «самого себя» Вс. Иванов в разные периоды своих исканий, он всегда шел именно к самому себе. Стремился полнее, каждый раз в ином ракурсе раскрыть свой талант. И неизменной в главном оставалась его концепция мира, человека, искусства.

Среди тех «общих идей», которые писатель развивал всю жизнь, была проблема творчества и творца. Она не всегда сразу различима в книгах Иванова, так как варьировалась, своеобразно преломлялась. Она очень прочно связала все многогранное и «многоголосое» художественное наследие Всеволода Иванова.

Жизнь — творчество... Так коротко можно сформулировать ответ писателя на вечный вопрос об истинном назначении человека. Ответ сам по себе, конечно, не новый: тема жизни — творчества — традиционная тема искусства. Но «старая, старая» тема звучала у Вс. Иванова по-особенному, поистине индивидуально.

«Хмель, хмель, хмель творчества...

Кудрявый и душистый пламень жизни!»

Так закончил Иванов свою последнюю книгу. Она называлась необычно: «Хмель, или Навстречу осенним птицам». Автор сам шел навстречу осени. Он писал эти строки в 1962 году; позади была мучительная операция, медленное, трудное выздоровление, поездка в Восточную Сибирь, от которой его упорно отговаривали родные и в которую он все-таки отправился, мечтая, в сущности, о невозможном — возвратиться в собственную юность.

Лучше всех он знал: нельзя ничего вернуть, но — странно — все действительно повторилось: плоты и опасные пороги на сибирских реках, веселые и надежные спутники, тайга, ночные костры, звезды, по которым понимаешь бесконечность времени и мимолетность собственного, пусть даже, как у него, почти семидесятилетнего пути.

Да, и на склоне лет Иванова по-прежнему пьянил «хмель творчества». По-прежнему он открывал для себя «буйную, безмерно отважную», загадочную жизнь. Открывал смело: мышлению его, как никогда, присущ антидогматизм. Поиски смысла жизни, считал он, состоят в том, что «всякая вещь, предмет» должны выявить для человека свою подлинную сущность; должны как бы отбросить все лишнее, «сосредоточиться», «показать свой характер». Иванов, наконец, нашел для себя простой, несуетный смысл многих вещей: «назначение искусства — в прекрасном, науки — в истинном, человеческой деятельности — в справедливом».

Поиск смысла жизни и одновременно поиск того единственного слова, что способно выразить найденную, но ускользающую истину — вот, по Иванову, самая верная дорога художника. Его представление о творческой личности было полностью определено этим убеждением. Иванов высмеивает в дневнике ставшее почти стереотипным представление о писателе,— может, чье-то представление о нем самом: «Он — добр, учит, отвечает на письма, собиратель книг и прочих редкостей, хранит переписку, а создав себе имя, ездит за границу и дружит с европейскими писателями. Все остальное приходит само собой». Этот стереотип доводит до крайности, до смешного учительскую миссию литературы. Такому писателю все ясно; с годами он только увеличивает свою славу, а новые его произведения лишь подтверждают мнения критиков о прежних. «Таковые писатели встречаются,— решительно говорит Иванов.— И черт с ними!» Для себя он зачеркивает путь «повторения пройденного». Свою концепцию жизни как творчества и свою концепцию искусства как поиска он трудно, но неопровержимо доказал собственной судьбой.

Сквозь призму творчества Иванов своеобразно видел и дорогу человечества, и дорогу искусства. Творчество связывает годы, как бы пропавшие без вести в мировом океане дней. Творчество сопрягает судьбы многих и многих творцов, чьи имена навсегда растаяли или еще растаят во времени. Вс. Иванов усмехнется, думая о тщеславной надежде многих писателей на бессмертие: «...по-моему, всякая литература через сто, двести (триста лет уже для Шекспира) отмирает,— записывает он в дневнике в мае 1962 года.— И почему ей не отмирать, когда гибнут целые цивилизации, уходя бесследно во тьму? По-моему,— это очень хорошо. Лишнее доказательство бессмертия: умирая в одном, воскресать в другом».

Иванов, пожалуй, несколько произвольно определяет сроки жизни литературы, тем более классики. Но обратим здесь внимание на другое. На главное. Вечная ниточка творчества соединяет, по Иванову, людские поколения, соединяет известных и безвестных творцов. Как художник-демиург, он останавливает в своих произведениях время. Оживляет и реконструирует эти исчезающие художественные миры, внимательно прослеживает бытие творческого духа. Иванов говорит через века со своими товарищами по искусству — Ломоносовым, Левшой, поэтом Махмудом иль-Каманом... Героями выдуманными и невыдуманными. Судьбы их величественны и трагичны. В этот же ряд со спокойной мудростью, преодолев мучившие его в юности мысли о звонкой славе, становится и сам Всеволод Иванов.

Писатель рассматривал искусство как одну из форм человеческой деятельности, судьба у которых одинакова: умирая в одном, воскресать в другом. Вечный человек— мечта философов и поэтов — таким образом, реально существует; сквозь века, как эстафета, передается любовь мужчины и женщины (любовь-сотворчество); завещаны человечеству поиски смысла бытия; навсегда остается дорога... Вот он, «вечный двигатель» жизни. Об этом Иванов беспечально и трезво думал еще в юности. «Все пойдет мимо,— читаем мы в рассказе «Отец и мать» (1921),— но цветом неохватным расцветает за горем радость. Каждую весну трава! Каждую осень летят журавли в Египет!»

Идея личного бессмертия казалась Иванову аморальной, даже жестокой. В 1944 году он начинает писать одно из лучших своих философских произведений — рассказ «Агасфер». Он задумывается здесь о судьбе, тщете иллюзий и безнравственной сущности человека, осужденного жить века. Среди многих легенд об Агасфере (были и такие, где Агасфер являлся символом добра) Иванов выбирает ту, что наиболее точно отвечала его взглядам. В идее личного бессмертия, утверждает автор, меньше всего духовности, за ней — суетность, мелкое тщеславие, безграничный эгоцентризм, да еще детская боязнь боли, неизведанности, конца. Человечество отвергает личное бессмертие не потому, что не смогло понять поэзию этой мысли, но потому, что оно, человечество, знает более высокую гармонию и поэзию. Эта гармония рождения, жизни и смерти, это не поэзия вечного статичного сохранения конкретного бытия, но поэзия движения, становления, перехода. «О, человечество много знает и много думает!— восклицает автор в «Агасфере».— Поистине, оно не бросает слова на ветер, а тем более на ветер вечности. Отдельная человеческая особь — смертна. Это — закон мудрый и постоянный. Ибо бессмертно лишь человечество. Поэтому человек, мечтающий о личном бессмертии,— глупо тщеславен, само-

уверен, недалек и бесхарактерен, трус даже. Надо быть гордым, смелым, откровенным и верить в смерть и не бояться ее».

Ивановские партитуры на тему «жизнь — творчество» различны. Например, многие его произведения 30-х годов — это не всегда ровная, не всегда на одном дыхании, но всегда радостная песнь социалистическому созиданию. В произведениях, написанных в дни Великой Отечественной войны, он, как правило, думает о вечном творческом духе своего народа, который делает его непобедимым. Иванов проводит смелые параллели во времени: автор повести «На Бородинском поле», рассказов «Близ старой смоленской дороги», «При Бородине» возвращается к Отечественной войне 1812 года; в вечном видит современное, в сегодняшнем — непреходящее... В сороковые годы в творчестве Иванова крепнет, своеобычно развивается «фантастическая» линия. Но и здесь, как ни покажется странным, останется тот же основной конфликт. Это конфликт между творчеством и застойной косностью. Между механическим существованием человека, которого уносит за собой карусель повседневности, и «живой жизнью»— навстречу ей всегда шло искусство... Характерна пьеса «Ключ от гаража», написанная Ивановым в 1943 году, в Ташкенте. Пьеса о большой войне, скромном кассире консервного треста Шелкане и возрождении человеческой души, которому помогает купленный героем на базаре... волшебный ковер.

Потом тема «жизни — творчества» будет звучать у Всеволода Иванова то исповедально, то полемично, то романтически-приподнято, то (как в «Хмеле...») почти прощально: старый художник ведет здесь свою «вечернюю службу».

Шли годы: менялись у писателя жанры, стиль, менялись быт и психология его героев — тема, в сущности, оставалась одна. Она хорошо видна и в произведениях, которые вошли в этот сборник.

* * *

Его путь в литературу был трудным. И не только потому, что легких путей в искусстве нет.

Вот строки из автобиографии Всеволода Иванова, написанной в 1922 году: «Видел растянувшиеся на сотни сажен мерзлые поленницы трупов. В снегах — разрушенные поезда, эшелоны с замерзшими ранеными. Видел, как партизаны жгли трупы (закапывать не хватало сил),— один ряд трупов, другой ряд бревен из изб, и так на двухэтажную высоту. И от человечьего дыма небо было словно копченое».

Как жить после этого? И что, как после этого писать? Трудные вопросы. Иванов нашел на них ответ.

Может быть, прежде всего, в «Партизанах», «Бронепоезде 14-69», «Цветных ветрах» удивляет редкое сочетание суровости и радости, праздника, который дарит каждому человеку жизнь.

Хорошо почувствовал это один из самых тонких критиков Вс. Иванова Александр Воронский. Он, кстати, был редактором первого советского «толстого» журнала «Красная новь» — там печатались произведения Иванова, принесшие ему огромный, даже в ту пору редкий литературный успех. В своей статье, опубликованной в начале 20-х годов, Воронский проницательно замечает:

«Словно после грозы, ливня и бури, когда солнце особенно жгуче, весело и молодо льет свет свой, вещи Вс. Иванова освещены этим чувством и ощущением теплой, светлой и материнской ласки жизни...»

Читая письма Иванова, его автобиографии тех лет, видишь: радость автора была выстраданной, сознательной; он думал при этом о будущих дорогах народа.

Не случайно в качестве героя новеллистики Иванова часто выступает повествователь, которому автор отдает сокровенные свои мысли.

О чем короткий рассказ «Встреча» (1925)? О том, как идет по пустыне небольшой отряд Красной Армии. В повестях Иванова, в романе «Голубые пески» очень много лирических отступлений. Здесь — «лирическое отступление» почти весь рассказ. В самом стиле новеллы мы опять находим соединение радости и печали, нежности и мужества:

«Весеннее таянье мое!

С тающей быстро, как степной снег, радостью наблюдаю я, как сонные птицы медленно скользят над логами, над травами; и тени их тяжелы, будто вылиты из чугуна».

Тени, вылитые из чугуна... Одна фраза лучше многих подробных описаний говорит о времени, о состоянии человеческой души, которой многое пришлось переплавить в себе, чтобы выстоять и не сломиться. И вот однажды, ночью, происходит встреча героя с кузнецом-киргизом: он пришел издалека, просится в отряд. Как пароль, как страшный залог своей верности революции, киргиз пронес много километров тело жены, над которой жестоко надругались белые. Человек просит «обменять» труп жены на «верную винтовку» — ею он будет бить врага.

А потом, в финале рассказа, пред нами снова монолог автора. Гармония, которую он обретает, настоена на трудном знании, на тяжком опыте:

«Пора весенняя — таянье мое, пора зажечь костры мудрости! Ибо кони пустыни приближаются к большим дорогам!»

* * *

...«Всеволод Иванов был первым прозаиком на восходе нашей литературы — первым в ее молодости, первым в ее надеждах». Это Константин Федин. В своей статье он хорошо сказал о «необычайном»

таланте Иванова, о его партизанской трилогии: «В повестях пенилась нещадная правда быта с неудержным полетом воображения, и слово, которое поэту явилось будто чудом, многоцветно озаряло пену. Книги его — кипучая брага».

Тут сразу замечаешь все ту же тему «хмеля творчества», «жизни — творчества». Конечно, к такой жизни герои «Партизанских повестей» тянутся во многом подсознательно, интуитивно. Кажется, это мощный бунт самой человеческой природы: ивановские партизаны бросаются под бронепоезд белых, разрывая таким образом предопределенность судьбы.

Когда-то в «Партизанских повестях» критика не раз находила апсихологизм. Меж тем больше и прежде всего Иванова интересовала психология. Психология партизанской массы. Психология отдельной личности.

Как совмещает Иванов два этих ракурса собственного писательского взгляда? Он всматривается в народную массу, которая, по точному замечанию Н. Яновского, у Иванова «не отвлеченное понятие»: она «дышит», «орет», «воет», «потеет», «наседает», «лезет», «падает»... Автора при этом занимает интересный, уникальный по своей сути процесс: приобщаясь к революции, крестьянская масса все более превращается в коллектив личностей.

Писатель чуток к этому процессу пробуждения человеческой души. Процессу, который резко обозначен в «Партизанах». Здесь Иванов движется вослед за четырьмя молодыми, однако уже знающими горький вкус жизни парнями: Кубдей, Беспалых, Соломиных, Горбулиным... Им не сидится на месте, тянет их к себе артельная работа — плотничают. Кажется, они сами не знают, куда же их путь,—«метательные» эти ребята. Так и идут по жизни: бездумно, бесприютно. Лишь попав в партизаны, находят самих себя. «Не избу рубим, а свою жизнь»,— говорит Кубдя. И вся повесть, объективно,— против не такой уж редкой в те годы «философии»: «человек — что его, его всегда сделать можно. Человек — пыль». Для автора заветны другие слова, тоже звучащие в повести: «У всякого человека есть внутри свой соловей».

Иванов уверен: путь сибирского крестьянства в революции — это и путь к обретению своего лица. Ведь революция рушит не только социальное неравенство, но и стереотипы мышления, ломает лед отчуждения человека от живой жизни.

Можно по-разному доказывать необходимость революции. Можно — и вот так.

В «Партизанах», придя в отряд, мужики впервые формулируют для себя некоторые вопросы мироздания. Это трудно — труднее, чем их физическая, часто на износ, работа:

«Говорили они медленно, с усилиями.

Мозги, не привыкшие к сторонней, не связанной с хозяйством

мысли, слушались плохо, и каждая мысль вытаскивалась наружу с болью, с мясом изнутри, как вытаскивают крючок из глотки попавшейся рыбы».

Результаты этой работы возьмут революция и человек — вместе. Вскоре тот же Кубдя скажет на собрании партизан: «...не надо нам колчаковского старорежимного правления, желаем свою крестьянскую власть. Что мы, волки, всякого охотника бояться?»

* * *

«Родился в поселке Лебяжьем, Семипалатинской области, на краю киргизской степи — у Иртыша. Мать, Ирина Семеновна Савицкая, родом из ссыльнокаторжан польских конфедератов, позднее смешавшихся с киргизами».

Это опять автобиография Иванова. Уже 1924 года.

Он не раз говорил, что с детства знал обычаи, быт, язык казахов. Дружил с ними; часто бывал в аулах. Любовь и сочувствие к талантливому, бесправному народу явственно различимы уже в первых произведениях Иванова, опубликованных в дореволюционной сибирской периодике. И — в первой его книжке «Рогульки», которая вышла в 1919 году, в походной типографии, в Омске.

А в прозе Всеволода Иванова двадцатых годов исследователи (в частности, литературовед А. Галузо) выделяют даже особый «казахстанский» цикл. Тут повесть «Цветные ветра», роман «Голубые пески», рассказы «Киргиз Темербей», «Отец и мать», «Лога», «Дите», «Лощина Кара-Сор», «Встреча» и другие. Тут своеобразная хроника того, как пробуждалась для новой жизни бывшая национальная окраина царской России.

Очень характерен в этом смысле рассказ «Киргиз Темербей». Это рассказ настоящего интернационалиста, тонкого психолога — читатель видит по-своему беспримерную перестройку человеческого сознания.

Рассказ не случайно печатался под названием «Смерть» и «Могила». Смерть показана здесь резко — поистине «крупным планом». Но закономерна и перемена названия —«Киргиз Темербей». В центре повествования все-таки именно он, киргиз Темербей; сквозь призму его сознания мы видим обычные в годину революции и одновременно — чудовищные, почти ирреальные события.

Гуманизм рассказа и сложность его в том, что о смерти, о смысле и бессмылице войны напряженно думает здесь не философ, не интеллигент, которому подобные рассуждения привычны, но человек, чье сознание пока дремлет.

Киргиз Темербей живет в маленьком ауле из семи юрт. Живет так, как живут трава, ветер, дерево, как жили его деды — в работе, в нехитрых делах. Он вовсе не чувствует себя униженным, маленьким, забитым. Напротив. Темербей идет по годам с ощущением

достоинства этого «естественного» бытия, с выношенным чувством презрения к суете мира, который открывается за пределами его аула.

В таком существовании есть и своя логика, и годами выверенная мудрость. Почему же Темербей становится другим? Иванов «реконструирует» этот процесс. Герой перерождается внезапно, вдруг. В степи, куда Темербей отправится искать потерявшуюся лошадь, он окажется свидетелем рядового эпизода: белые казаки привели на расстрел двух красноармейцев, но прежде чем расстрелять, заставляют их рыть себе могилы...

Темербей долго не может понять в чем дело. Ведь он не видит на лицах казаков злобы — видит скуку, усталость, слышит их монотонный разговор о покосах, споры о делянках. Только однажды на лице одного из казаков различит радость: когда уставший красноармеец сбрасывает с себя тужурку, молодой казак стремительно хватает ее как свою собственность. (Эта радостная торопливость показалась «непонятной и жуткой Темербею»).

Однако и на лицах красноармейцев Темербей не замечает печати смерти. Замечает опять-таки усталость, пот от тяжелого труда. А рядом — смерть, жара, иссохшая земля... Обратим внимание: молодой писатель несколько по-иному повествует здесь о смерти. Она, смерть, подается тут как работа. Одни — белые — пытаются сделать ее побыстрее: им надоело возиться с пленными; другие — красные — делают ее обреченно, но с достоинством.

С удивлением отмечает Темербей: по-разному предстают красноармейцы в этой работе. Каждый остается самим собой. Один копал яму с ожесточением, далеко откидывая землю. Другой даже здесь, на краю могилы, порой привычно, «словно нехотя», улыбался.

Темербей видит все это издалека, спрятавшись в кусты. Фигуры белых и красных, палачей и жертв возникают в рассказе словно через стекло бинокля — не слишком четко, порой даже мелко. Писатель опять очерчивает физические движения людей — их лица читателю почти не видны; то, что происходит в их душах накануне смерти, закрыто, вроде бы, для нас. Лишь одна душа раскрывается полно — душа Темербея. Она, здоровая душа эта, инстинктивно сжимается, когда герой догадывается: тяжелая, монотонная работа русских людей в степи — работа смерти. Темербей «почувствовал себя одиноким и в то же время связанным с людьми, совершающими убийство, а сказать «не хочу»— не было силы. И показалось Темербею, что он словно ест дохлятину, и даже начинала щекотать горло тошнина».

Потом, когда все свершилось и казаки уехали, Темербей вышел из кустов и подошел к могиле. Увидел торчавшую из земли человеческую руку — она «была белая, с желтоватым отливом, и у большого пальца на ссадине темнело пятно крови». Теперь Иванов по-

казывает происходящее уже не через бинокль — через увеличительное стекло. Если раньше, глядя из кустов, Темербей видел самое общее (например, «загорелое, похожее на голенище лицо»), сейчас герой замечает детали. Вплотную придвигается к Темербею мир, на который раньше он старался не обращать внимания, — мир за пределом его аула... Темербей — опять-таки инстинктивно — хочет уйти: «непослушные, вдруг вспотевшие ноги, быстро подгибаясь, понесли его в степь». Но он уже чувствует: никуда не убежать ни от этого мира, ни от самого себя.

* * *

Как рождался роман «Похождения факира» — одно из самых «ивановских» творений?

Исследователи верно связывают эту книгу с общей темой становления, воспитания личности — темой, характерной в нашем искусстве 30-х годов.

Но важно почувствовать и внутреннюю закономерность движения писателя от одной вещи к другой. В начале 20-годов Иванов торопливо — боясь что-нибудь упустить — фиксировал вехи трудной дороги, какой шло в революцию сибирское крестьянство. В середине и конце десятилетия он углубился в жизнь отдельной человеческой души. В 30-е годы писатель стремится соединить в своей прозе эти два качества — эпичность и психологизм. Стремится осмыслить пережитое. «Очень хочется сказать о себе правду...» — напишет Иванов Горькому в марте 1933 года.

Легко почувствовать: автобиографическая тема для Вс. Иванова — это тема пути, тема дороги. Внутренний драматизм движения таится уже в названиях главных его книг о самом себе: «Похождения факира», «Мы идем в Индию»... Эти вещи, не являясь автобиографическими в. полном смысле слова, в главном отразили духовные маршруты автора.

Перед нами произведения разной жанровой ориентации, хоть и созданные во многом на одном материале. В «Похождениях факира» (1934—1935) сильна традиция авантюрно-бытового, плутовского романа с его чрезвычайной свободой вымысла. В романе же «Мы идем в Индию» (1956—1959) читателю открываются выписанные объективно (пусть и романтически приподнято) картины социальной жизни дореволюционной Сибири и Казахстана.

Причудлив и все же на редкость един общий абрис этих книг. Общее здесь не в конкретных фактах биографии автора-героя, которые всякий раз видятся в чем-то по-иному; может быть, общее в том, что автор-герой всегда находится в дороге.

В этих произведениях Иванова мир предстает как огромная творческая мастерская. Герой «Похождения факира» напоминает

скульптора, бесконечно делающего автопортреты: один портрет при этом мало чем напоминает другой. Но, пожалуй, еще больше герой похож на факира, взмахивающего волшебной палочкой: он ощущает себя творцом жизни. Становится то приказчиком в лавке, то фокусником — Бен-Али-Беем, то типографским наборщиком... Развитие сюжета, кажется, обусловлено только тем, что человек упорно перебирает варианты своей судьбы. Все варианты увлекательны, все жизненные маски хороши; однако ни одна так и не становится лицом. Многие из попутчиков героя ему симпатичны, но никто не близок; города завораживают, но везде он чужой. Не сразу осознаешь, что в результате герой все-таки делает выбор. Из всех городов он выбирает нескончаемую дорогу, всегда удаляющийся горизонт; из всех масок он выбирает смену масок; а в человеческих отношениях ему нравится более всего сам процесс вживания в чужую жизнь. Не сразу понимаешь, что постепенно герой становится писателем Всеволодом Ивановым.

Интересно следить за развитием этой темы в творчестве автора.

Вот рассказ «По Иртышу»— один из тех, что Вс. Иванов когда-то посылал Горькому из Сибири. В рассказе есть герой, примеряющий маски, жонглирующий ими; причем, это не герой-повествователь. Это молодой парень, которого казаки прозвали Бураном: «Врет здорово». В его облике примечаешь нечто от горьковских босяков: курчавые слипшиеся волосы, грязная бордовая сатинетовая рубаха... И еще Буран, живущий весело и отчаянно, очень похож на героя более поздней автобиографической прозы Иванова. Он все время в пути. И имени у него «как будто нет. Говорил мне раз пять свое имя, но каждый раз новое».

Буран тоже блестяще выступает в разных ролях. То в роли семипалатинского дворянина, недоучившегося гимназиста, сельскохозяйственного техника. То говорит, что «ездил с какой-то экспедицией в Тибет и начал это путешествие с восьми лет. Ездил по Тибету пятнадцать лет, знает тибетский язык и даже посвящен в чин ламы».

Но в то время, что описывается в рассказе, Бурану нравится первая роль. Вместе с повествователем они плывут по Иртышу, плывут пятьдесят верст — отвозят на лодке домой молодую учительницу. Сумерки, луна, мигание бакенов, тишина... Типично романтическая картина. Буран знает эту книжную романтику и с полупрезрением смотрит на рассказчика и девушку, восхищающихся природой, предчувствующих свою любовь. Все же привычка менять роль в зависимости от ситуации срабатывает. И Буран рассказывает про то, как был сельскохозяйственным техником, влюбился в красавицу, дочь бая, похитил ее, уносился на тройке в ночь, спасался от погони, кое-как скрылся в камышах... Рассказ Бурана обрывается

многозначительной недоговоренностью, которая — он чувствует — полагается «по жанру». Концовка предполагает вопрос. И Буран не ошибается:

«— А девушка?— взволнованно спрашивает учительница.

— Поймали ее, да потом — через неделю — сулемой отравилась. Померла...»

Романтический ореол трагической загадки повисает над Бураном. Похоже, учительница готова отдать ему свое сердце... «Взрыв» Бурана внезапен, ему надоедает его роль, вовсе не хочется легкой победы, не хочется произносить слова, которые заранее известны и которые находят отклик в девичьем сердце потому, что многократно употреблялись писателями. А девушки, понятно, стремятся к жизни, похожей на роман...

«— Ну вас к черту!— вдруг срывается Буран.— Тоску наводите только!» И кричит, стараясь перекричать самого себя, что он не дворянин, а сапожник; что не бывал в Тибете, а таскал в Омске кули на баржи; что никакой не техник он, а шпана... Однако больше всего возмущает Бурана романтическая картина, которая насквозь фальшива на фоне простой и грубой жизни. Буран — из этой жизни; она тяжка, но — истинна. «Сидите тут, любуетесь,— а мне чо!— язвит Буран.— Ишь, наводишь буркалы-то, думаешь — отобью... Не лезь! Пошли вы к черту!»

За этим озлоблением — стремление снять маску. Тоска по собственному лицу. Тяга — почти инстинктивная — к настоящей жизни.

Критики не раз говорили о народности ивановского таланта. Это верно. Не забудем лишь о том, что народность как эстетическая категория — понятие всегда конкретное, материализующееся в художественном тексте: народный писатель Пушкин не похож на народного писателя Гоголя или Толстого... Думая о Вс. Иванове, видишь, что не случайно с мельканием жизненных масок связана у него тема карнавала; природа его искусства очень родственна этой древней форме подлинно творческой жизни народа. «...В карнавале сама жизнь играет, а игра на время становится самой жизнью»,— писал М. Бахтин. Кажется, это сказано о художественной системе Всеволода Иванова.

Каждый участник ивановского карнавала увлеченно исполняет свою роль. Роли часто меняются — увлеченность остается. С вдохновением начинает играть бабка героя роль «святой подвижницы», жертвуя ради этого многим: «Она любила водку, хорошую закуску, веселых гостей, но от всего этого отказывалась, а в последние годы, чтобы меньше видеть греха, начала притворяться слепой». Человек у Вс. Иванова азартно верен своей маске: «Бабка Фекла ничего не понимала ни в травах, ни в болезнях, но так как все предания говорили о том, что святые излечивали больных травами, то лечила и она». В этой карнавальной игре актеры хорошо чувст-

вуют своего партнера: «Думаю,— лукаво замечает Вс. Иванов,— приходили к ней лечиться не столь больные, сколь желающие похвастать, что их излечила лебяженская святая Фекла».

Как объясняет Вс. Иванов метаморфозы своих героев, их характеры, их переход от одной боли к другой? Роман «Похождения факира» он начинает признанием: «Вся моя семья отличалась удивительнейшей тщеславностью». Но уже эта первая фраза обманчива: она — тоже маска. Ведь роман написан и особым карнавальным языком: слова ускользают, часто прямо у нас на глазах меняют смысл, таят в себе некую взрывчатую силу.

«Вся моя семья отличалась удивительнейшей тщеславностью»...

По одной этой фразе можно отгадать художественный код всего романа. Чем оборачивается на поверку «тщеславие» ивановских героев? Обычным для карнавала превращением. Человек на карнавале, пишет М. Бахтин, «как бы перерождался для новых, чисто человеческих отношений. Отчуждение временно исчезло. Человек возвращался к себе самому и ощущал себя человеком среди людей». «Тщеславие» ивановских персонажей и есть их возвращение к своему внутреннему «я». Это возвращение происходит, когда дед героя по матери в свои семьдесят лет рассказывает «всем, что ему сто семнадцать, что он ссыльный из польских конфедератов, что он каторжник. В переднем углу, возле божницы, висели громадные цепи, которыми его будто бы приковывали к тачке на каторге». Трудно возвращается к самому себе и отец героя: учит для этого шесть восточных языков, проводит с пляской уроки арифметики и чистописания, будучи в здравом уме, попадает в сумасшедший дом, лелеет мечту об открытии поселкового банка, где, конечно же, его ждет директорское кресло... Да, «Похождения факира»,— это книга духовных возвращений, точнее — возрождений. Надеются на такие возвращения все: даже приказчик Федор Малых, тоскующий оттого, что никак не может научиться воровать; даже жена лесного объездчика Елизавета, мечтающая стать обитательницей публичного дома... Что ж, маски на карнавале часто неожиданны, причудливы, порой — уродливо-гротескны.

По-своему живет в нашей литературе и «карнавальная» книга Вс. Иванова. От нее логичен путь к последующим произведениям писателя.

* * *

И, конечно же, в тему жизни-творчества входит тема искусства-творчества. И, естественно, что эти темы совпадают.

Тут нет случайности. Еще в юности Вс. Иванов решительно принял традицию руской литературы, которая в основе своей всегда была резко чужда идеалистической эстетике. Эстетике, уводящей

искусство от реального человека. Как бы с недоумением Всеволод Иванов воспринимал такую «рафинированную» литературу. Ее антигуманность с годами все больше и больше осознавалась писателем. Прочитав на склоне лет любимый им когда-то «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда, Иванов лишь вздохнул: «Ах, этот эстетизм, боже!»

Примечательная особенность: в течение десятилетий он вел дневник, который по сути представляет собой монолог автора о литературе. Только о литературе. Однако, читая эти записи, видишь: вопросы искусства не мыслились Ивановым как вопросы внутренние, «цеховые». Они прочно сопряжены с тревогами и проблемами жизни.

...Произведения писателя, созданные в два с половиной — последних — десятилетия его жизни опять «неожиданны»: различны по стилю, сюжетам, жанрам. Однако во всех — истинный интеллектуализм, глубокая философичность. В те годы Иванов окружает себя многочисленными трудами по истории, философии, теории словесности, религии. Работы эти не только прочитываются — конспектируются, Иванов возвращается к ним снова и снова. Иногда повод для таких штудий конкретен: писатель упорно создает книгу по теории прозы, работает над историческими вещами. Но нередко внешний повод отсутствует: Иванов следует какой-то своей, внутренней программе.

По тому, каким образом он ставит и разрешает вопросы искусства, произведения Иванова условно можно разделить на две части. В первой — роман «Эдесская святыня», рассказ «Агасфер», пьесы «Вдохновение», «Ломоносов», «Левша»... Большинство этих произведений построено по законам притчи, столь любимой автором. Взгляд Иванова обращен в историю. В конкретных исторических ситуациях и судьбах он улавливает, находит «вечные» коллизии искусства. Писатель исследует законы, действительные для творческого акта во все времена.

И вторая группа произведений: романы «При взятии Берлина», «Вулкан», незавершенный автором роман «Поэт». Здесь везде, как пишут в ремарках драматургии, «время действия — наши дни»...

Здесь разговор об искусстве открыто публицистичен.

Задумывая книги о художниках, Иванов надеялся: работа над ними не будет мучительной, как случилось это с другими его вещами в 30-40-е годы. Автор мечтал добиться легкости и глубины — качеств, из которых, по его мнению, складывается в искусстве совершенство. Легкость в данном случае оказалась иллюзорной. Далеко не везде Иванов достиг полной, столь желанной гармонии.

Однако буквально в каждом из произведений, посвященных искусству, Вс. Иванов интересно раскрывается как писатель-философ, писатель-гражданин. За скобками того или иного его сюжета неиз-

менно видишь самого Мастера: усталого, измученного, но все-таки не сломленного обстоятельствами. Примечателен его рассказ «Сизиф, сын Эола». Это мужественная притча о знаменитом Сизифе, солдате Полиандре и человеческом выборе. Прав В. Каверин: «В рассказе Иванова древнегреческий миф приобретает странные, смутно знакомые очертания. За фигурой могучего и прямодушного солдата, которого боятся именно потому, что он прямодушен, чудятся мне нелицемерные черты старого друга, идущего вперед «при любых обстоятельствах и при любых силах, ибо добродетель главная и всеединая цель человеческого существования».

Произведения Вс. Иванова о творчестве и творцах многомерны — может быть, это одна из главных их особенностей. Вот автор уходит вместе с читателем в древний Багдад, в Россию 17 и 18-го веков. Конечно, он думает и о своем современнике, и о себе. Однако сами художественные системы здесь таковы, что выводы писателя-философа не однозначны. Кажется, перед лицом возвращенного им времени Вс. Иванов особенно четко понимает относительность любой человеческой мысли. Кажется: автор и стремится исследовать условность привычных истин.

В романе «Эдесская святыня» в этом смысле сфокусировано многое. Перед нами роман парадоксальный. А парадоксы в произведениях Иванова выполняют «роль ключей, отворяющих двери, которые ведут в область неразрешенных противоречий» (Л. Гладковская). В «Эдесской святыне» с помощью парадокса автор постигает многие вопросы мироздания: счастья, добра, человеческого выбора, любви...

Мы убедились, талант Иванова вообще парадоксален. Парадоксально мышление писателя, парадоксальны его стиль и язык. Когда Вс. Иванов уходил от парадокса, он терял нередко свою индивидуальность. Его книги могли быть даже интересными, но они уже были менее... ивановскими.

Роман «Эдесская святыня» по-настоящему многозначен. Трагическую историю жизни и смерти главного героя, поэта и оружейника Махмуда, можно прочитать по-разному. Можно увидеть здесь традиционный конфликт между поэтом и царем: поэт погиб, потому что стал служить царю, тем самым изменив своему истинному призванию... Можно найти в «Эдесской святыне» и отголоски реальных нравственных проблем, которые волновали наше общество в 1930—50-е годы. Кажется, это не кади Ахмет, а один из современников автора говорит о том, как и в самые трудные дни человек старался сохранить в себе человеческое: «Мы все же думали! Мы даже думали, что мир можно устроить лучше, да и надо устроить лучше...»

И тем не менее это не слишком плодотворный путь — искать в «Эдесской святыне» каких-либо прямых выходов в современность. Мысль автора движется совсем в другом русле. Она открывается

читателю через парадоксы кади Ахмета, в интонациях голоса которого близкие Вс. Иванова явно узнали интонации самого писателя. «Жизнь подобна дорогой гостинице, где за все нужно платить...»— говорит кади Ахмет. И мы понимаем: цена поступков каждого из героев — его собственная судьба. Поэтому-то в финале автор заявляет о том, что отказывается судить действующих лиц. Все они по-своему правы. Прав строгий и «нерастворимый» законовед Джелладин, видящий основы жизни в исполнении незыблемого для всех закона. Прав и кади Ахмет —«ходячий сборник сомнений в необходимости незыблемых форм и образцов».

Истина посещает героя, вытачивающего острые ножи, которые находит, и тогда, когда теряет свою любовь. Иначе жизнь не была бы жизнью; «...так поступают все влюбленные,— говорит кади Ахмет.— Сначала они добиваются любви, а затем, добившись, сжигают ее».

Истина посещает героя вытачивающего острые ножи, которые пригодятся в борьбе с врагами его Родины. Истина светит Махмуду, сочиняющему свою песню о любви. Парадокс состоит в том, что герой умирает во многом из-за этих стихов и от собственного же ножа «с орнаментом из семи роз и тремя лепестками на лезвии»...

«Так жил и умер поэт»,— словно бесстрастный летописец, заканчивает свой роман Иванов. Но тут же сам отвергает традиционную формулу, переиначивая ее: «Он умер, *но он и жил»* (Выделено мною.— Е. Ц.). В этом противостоянии человека уходящему времени Вс. Иванов находит еще один парадокс — чрезвычайно волнующий его парадокс вечной жизни творческого духа.

* * *

«Хмель творчества» во многом был связан для Иванова с Казахстаном. Связан с детством, юностью, мечтами, первыми путешествиями «факира».

Уехав в Москву, он не забыл родные места. Поездки; письма; книги казахстанцев...

Не буду сейчас повторять многочисленные воспоминания земляков, появившиеся после смерти Всеволода Вячеславовича. Не буду повторять и того, о чем рассказала в своей статье Т. В. Иванова. Пусть своеобразным постскриптумом в этих заметках, посвященных пути большого русского писателя, станут несколько страничек о его работе литературного критика, наставника молодых авторов.

Широко известны статьи Иванова о Джамбуле, Мухтаре Ауэзове. Но вот совсем маленькая, затерявшаяся в периодике заметка. Что послужило поводом для нее? 17 мая 1936 года. В Москве по-

казан первый спектакль казахского государственного музыкального театра «Кыз-Жибек». Уже через два дня Иванов откликнется на спектакль в «Литературной газете»:

«Я с особенным волнением смотрел эту пьесу. Сквозь строй песни я видел свое детство — казахские степи, Иртыш, огромное солнце над камышами озер и встречного казаха, тоскливый голос которого слышался далеко-далеко. Вот выходят верблюды, всадник, размахивая укрючиной, гонит от степи стадо — это уныло идет на новое урочище аул. Или «джатаки»— казахское гетто возле богатых сел, где жили работники кулаков и торговцев, окна, вместо стекла затянутые пузырем, голодные, голые ребятишки, слякоть и болезни...»

Теперь все это стало прошлым, стало материалом искусства. Строки Иванова продиктовала «память сердца»: «Я рад этому празднику, этому отлично прозвучавшему голосу степи, и рад за себя, что мне пришлось испытать такие счастливые часы...»

А вот еще одна его работа, не перепечатывавшаяся более 30 лет. Статья называется «Дружба»: перед Ивановым произведения писателей наших братских республик. Среди книг «очень хороших»— книг, где тема дружбы народов органична, естественна,— он видит роман Сабита Муканова «Сыр-Дарья». И так важно для автора статьи, что «роман написан писателем, прекрасно знающим Казахстан», что язык книги «блистает казахскими пословицами, преданиями», а герои «нарисованы с той широтой воображения, которая так развита у казахов» («Литературная газета», 1949, 1 мая).

...Многие годы Иванов работал с молодыми писателями. То была долгая, на десятилетия растянувшаяся литературная страда. Он почти никогда не рассказывал об этом; лишь однажды, вскользь, заметил, что прочитывает до ста рукописей в год, часто очень толстых. Между тем поражает масштаб деятельности, которую Иванов считал саму собой разумеющейся. Был он редактором, литконсультантом, председателем приемной комиссии Союза писателей; был профессором и председателем государственной экзаменационной комиссии Литинститута; был просто «живым классиком», к которому начинающие обращались, не зная его должности,— зная прекрасные его книги.

Иванов радовался, встречая произведения молодых казахстанцев — А. Нурпеисова, М. Джумагулова, В. Филатова и других. Нет, он не скрывает своих пристрастий земляка. Читая статьи критика П. Косенко, признается: «...Тема работ Косенко близка мне как казахстанцу, и, в основном, все труды, о которых он пишет, мне знакомы».

И, разумеется, с добрым вниманием следит Всеволод Иванов за творчеством известных русских писателей, живущих в Казахстане,— за творчеством своего старого друга Н. Анова, И. Шухова, А. Брагина. А о Дм. Снегине, о его книге «На дальних подступах»,

посвященной подвигу панфиловцев, он пишет статью. И в чужом произведении Иванов прежде всего замечает «хмель творчества». «Автор книги — поэт,— размышляет Всеволод Вячеславович,— но он не цитирует своих стихов. Нет, он цитирует Лермонтова и Абая, великих поэтов, которых с одинаковой силой любит и русский, и казах. Однако, хоть стихов в книге мало, поэзия царствует в ней. Поэзией проникнуты и пейзажи Казахстана, и пейзажи подмосковные, и все чувства людей, приехавших сюда со всех концов страны, чтобы защитить Москву» («Литературная газета», 1949, 18 мая).

Спустя много лет, в библиотеке Вс. Иванова, которая хранится на его даче в Переделкине, я нашел ту книгу Дм. Снегина с дарственной надписью автора: «Максиму Горькому моей жизни».

Эти слова могли бы сказать о Всеволоде Иванове многие писатели-казахстанцы.

* * *

...В 1985 году ему исполнилось бы девяносто лет. Стареет и век, сыном которого был Иванов. Но теперь особенно очевидно, что попрежнему молода его проза. Прав был писатель: никогда не умирает вдохновение; не стареет «хмель творчества.., кудрявый и душистый пламень жизни»...

Е. Л. ЦЕЙТЛИН

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ. ПОВЕСТЬ

РАССКАЗЫ. ПУБЛИЦИСТИКА

Всеволод Вячеславович Иванов

ЭДЕССКАЯ СВЯТЫНЯ

Составитель
Евсей Львович Цейтлин

Редактор Е. Мосина
Художник Қ. Абдикаримов
Художественный редактор Қ. Зульпикаров
Технический редактор Л. Қарханова
Корректор Г. Руднева

ИБ № 3607

Сдано в набор 30.08.85. Подписано к печати 30.01.86. УГ18037. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1 и тип. № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 27,7. Усл. кр.-отт. 28,1. Уч.-изд. л. 30,2. Тираж 200 000 экз. (1-й завод 1—100 000 экз.). Заказ № 2854. Цена 2 р. 20 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Жазушы» Государственного комитета Қазахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480124, г. Алма-Ата, пр. Абая, 143.

Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «ҚІТАП» Государственного комитета Қазахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480124, г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93.

Всеволод Иванов

Эдесская святыня